М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

5

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

«Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я

Л И Т Е Р А Т У Р А»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

*

Редакционная коллегия:

А. С. БУШМИН, В. Я. КИРПОТИН,

С. А. МАКАШИН *(главный редактор)*, Е. И. ПОКУСАЕВ

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1966

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том пятый

*

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

1856—1864

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1966

Р1
С16

Подготовка текста и примечания —
И. М. Белявской, Д. И. Золотницкого, В. Я. Кирпотина, Р. Я. Левита, И. М. Лурье, С. А. Макашина, Н. С. Никитиной, В. В. Прозорова, П. С. Рейфмана, Л. М. Розенблюм, П. Г. Рындзюнского, И. Т. Трофимова

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1

Подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография С. Левицкого.

Середина 1860-х гг.

СТАТЬИ

1856—1860 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА

Москва, 1856 г.

Новое издание стихотворений Кольцова не имеет никаких отличий от прежнего, явившегося десять лет тому назад.

О Кольцове было писано довольно; между прочим, имеются две весьма замечательные статьи, из которых одна принадлежит покойному Белинскому, а другая Валериану Майкову. Тем не менее мы не думаем, чтобы они вполне исчерпывали эту замечательную личность. Интерес статьи Белинского чисто биографический, и с этой стороны она не оставляет желать ничего лучшего; но оценка таланта Кольцова носит характер исключительно эстетический, и с этой точки зрения едва ли достаточна. Что же касается до статьи Майкова, то хоть и нельзя отрицать, что она имела в свое время большое значение по вопросам, в ней возбужденным, но Кольцова собственно все-таки касалась мало. Поэтому мы не думаем, чтобы голос наш об этом вполне русском поэте был лишним в русской критической литературе.

Прежде, однако ж, нежели мы приступим к самому Кольцову и его произведениям, считаем не лишним сказать несколько слов о том, что мы разумеем под словами «художественность» и «народность» — словами, с которыми нам не раз придется встретиться в продолжение настоящей статьи.

Вопросу о художественности дана в последнее время слишком обширная область. Он сделался чем-то вроде вопроса о трех знаменитых единствах. Что же разумеют под словом «художественность» наши эстетики? Это, говорят одни, та прирожденная сила, которая дает художнику возможность всецело обладать избранным предметом, проникать все его подробности и самому проникаться ими; одним словом, способность отожествляться с избранным предметом. Что же это

за предмет? откуда он? приходит ли извне или порождается собственною фантазиею художника? Наконец, каким путем приходит художник к обладанию «избранным» предметом? На все эти вопросы мы не встречаем никакого положительного разъяснения. Можно, однако ж, догадываться, что творческою силою в художнике признается собственно сила созерцательная и что, следовательно, путь созерцания есть единственный, которым художник приходит к обладанию предметом. Таким образом, здесь сразу исключается из области искусства все добытое анализом; мало того, область анализа и область созерцания строго разграничиваются, так как первый составляет основу науки, второе — искусства [1]. К такому же и даже еще более крайнему результату приходит и г. Майков в статье своей о Кольцове, напечатанной в «Отеч. записках» 1847 года. Он признает необходимость особой *художественной* мысли, отличной от мысли обыкновенной, общечеловеческой. «Чистая мысль,— говорит он,— есть вывод последствий из аксиомы или, по крайней мере, из того, что тот или другой принимает за несомненное; художественная мысль — не что иное, как чувство тожества, чувство общения какой бы то ни было действительности с человеком. Как всякое чувство, оно возникает бессознательно: *но может случиться и так, что художник успеет разложить его анализом и объяснить себе значение мысли, кроющейся под его оболочкой»*. Последние слова, очевидно, составляют противоречие сказанному выше. Очевидно, в понятии г. Майкова, художественная мысль есть не мысль собственно, а чувство, возникающее бессознательно, то есть тем же путем созерцания.

Ясно, что оба эти представления дают искусству область, находящуюся вне действительного мира и, следовательно, фантастическую. Белинский идет далее и, определяя свойства «гения», наделяет его правом и способностью возвещать людям новую жизнь.

Способность созерцания — способность синтетическая. Она дает нам возможность усматривать строй и гармонию в разрозненных данных, добываемых анализом, группировать их и вообще обращаться с ними, как с матерьялом, преисполненным жизни и значения. Откуда же добываются эти факты? Ужели может быть допущено такое напряженно-творческое состояние духа человеческого, в котором фантазия является

---

[1] См. «О значении художественных произведений» и пр. («Русский вестник», № 2). Г-н Анненков не объясняет, впрочем, положительно, что он понимает под словом «художественность». Сказанное нами выведено из общего смысла его статьи. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

силою самодеятельною, творящею вне пространства и времени? Предположить возможность такого состояния значило бы допустить и все последствия его, допустить ряд таких произведений ума человеческого, в которых нет ничего общего с жизнью, значило бы поставить художника на такую высоту, в которой для него самого нет ничего занимательного, отрешить его от всякого участия в труде действительности и современности. Такое лицо могло бы быть интересным явлением патологическим, но для живущего и развивающегося нет до него никакого дела. Мы тогда только интересуемся произведением науки или искусства, когда оно объясняет нам истину жизни, истину природы. Чем ближе к нам объясняемый жизненный факт, чем более касается он наших интересов, тем понятнее, тем ценнее делается для нас и самое объясняющее его произведение. И художнику, и служителю науки равно и вовсе не случайно нужен анализ, эта разлагающая сила, которая лежит в основании не только искусства и науки, но и вообще всякого действия человеческого. Нельзя даже сказать, чтобы в нормальном состоянии человека какая-нибудь из этих двух способностей (аналитическая или синтетическая) являлась преобладающею. Обе они взаимно друг друга питают и объясняют. С одной стороны, всякий факт, добытый анализом, заключает в себе зерно жизни, и эта жизненная сила так велика, что поглощает простого исследователя и претворяет его в художника. С другой стороны, над чем будет оперировать художник и ученый, если у него нет факта, взятого из действительности? Где та земля, на которую ему придется опереться? Следовательно, силы, присущие труду художника и труду ученого, в существе своем одни и те же, и мысль художественная в действительности не что иное, как мысль общечеловеческая.

Но, сказавши, что факт дается искусству жизнью действительной, а не фантастической, мы должны принять и все последствия этого положения. Обыкновенно сравнивают искусство с солнцем, которое равно освещает как темные, так и светлые стороны природы. Мы согласны на это сравнение, если смотреть на искусство с точки зрения чисто отвлеченной; в таком случае действительно нет явления, которое не могло бы служить предметом для искусства. Но такой отвлеченный взгляд едва ли может быть истинным, потому что искусство тогда только становится делом, когда оно проявляется в личности, которая им обладает. С понятием об искусстве нераздельно понятие о лице художника, и весь вопрос заключается в том, может ли последний быть равнодушным к явлениям природы и жизни, или, лучше сказать, может ли он в одинако-

вой степени симпатизировать всем им? Такое предположение могло бы быть допущено, если бы можно было вообразить себе художника не человеком, а существом вне влияния страстей и внешнего мира, если б жизнь художника развивалась под другими условиями, нежели жизнь прочих личностей человеческого общества. Но на деле не так; на деле развитие художника есть продукт той же общественной среды, в которой он живет; он принимает все ее страсти, все ее стремления; одним словом, печать современности вполне над ним тяготеет. Разница между ним и личностью обыкновенной заключается в том единственно, что последняя подчиняется влиянию современности бессознательно, тогда как художник обладает возможностью уяснить себе ее явления, анализировать их и на основании этого анализа делать свои выводы. Ипотеза чистого художника такой же абсурд, как ипотеза человека, для которого было бы возможно перестать быть человеком. Восхваляемое творческое бесстрастие, которое из учтивости называют беспристрастием, есть вещь человечески невозможная, и человек, который равнодушными глазами может смотреть на ложь и зло, не только не заслуживает названия служителя искусства, но, в строгом смысле, не может быть назван даже человеком.

Вообще, нам кажется, что теоретики искусства для искусства, защищая свои теории, увлекаются преимущественно тем спокойствием, которое разлито в творениях великих художников, каковы, напр., Гомер, Шекспир, Гёте и пр. Мы думаем, однако ж, что это спокойствие — отнюдь не бесстрастие; скажем более, оно не что иное, как знание дела, результат той уяснительной работы, того анализа, который есть принадлежность труда художественного. Мы не думаем утверждать, чтобы назначение художника заключалось в том, чтобы орать и коверкаться при всякой горести, при всяком печальном зрелище — вовсе нет! Мы, напротив того, признаем, что ближайшее объяснение явлений жизни в их соотношении и последовательности может убедить художника лишь в той истине, что общий их смысл и направление никогда не перестают быть разумными и что масса добра все-таки тяготеет над массою зла. Эта-то сознательная уверенность и дает художнику право быть спокойным и употреблять все усилия, всю энергию на водворение в мире добра и истины и искоренение зла.

Признав, таким образом, художника представителем современной идеи и современных интересов общества, мы должны принять и ту мысль, что лишь такое явление, которое носит на себе все признаки современности, может служить, без ущерба для самого искусства, предметом его. Обращаться к

формам жизни отжившим или же придуманным значило бы задать себе такую же работу, как наполнение водой бездонной бочки или витье веревок из песку. Нам возразят, быть может, что таким образом мы подчиняем вечное преходящему, абсолютную истину — истине относительной,— искусство ставим в зависимости от страстей минуты. Добро и истина вечны, скажут нам, а современное направление общества нередко представляет уклонение от того и другого. Да, они вечны, ответим и мы в свою очередь, но почему? не потому ли именно, что они всегда живут в человечестве, что они всегда с нами и что ими проникаются все стремления наши? Нам кажется нередко, что человечество уклонилось от этого пути, что законы, которые им управляют, далеко от осуществления той идеи добра, которая председательствует в мире, и мы с великолепным презрением говорим о страстях минуты, о преходящем, не догадываясь, что это уклонение только кажущееся, что оно лишь исторический факт, оно та внутренняя борьба, которая служит к утверждению в мире добра и истины, к приведению их в общее сознание. Не догадываемся мы, что эта борьба, это зло, как мы его называем, есть уже само по себе добро, и добро положительное, и что, следовательно, как наука, так и искусство равно должны служить обществу в его вечном искании. Скажем более: в этом-то благородном служении и лежит значение науки и искусства; оно одно узаконяет их право на существование; без него они низошли бы на степень пустой и праздной забавы. Нам говорят, что наука должна быть чистою, искусство чистым, но разве служение обществу и его целям может сделать науку и искусство не чистыми?

Замечательно, что вопрос о чистой художественности навязывается у нас преимущественно критикою, которая до сего времени еще охотно занимается делами детскими. В сущности же, на практике, ни один из писателей никогда не следовал и, вероятно, не будет следовать этой теории. Байрона, Шиллера все признают величайшими поэтами всех времен и народов, а между тем ни тот, ни другой не могут назваться чистыми художниками в том смысле, как понимает это наша критика. Ссылаются чаще всего на Гёте, в котором как бы воплотилась идея чистого искусства, но и это неверно. Действительно, последние произведения Гёте поражают необыкновенным спокойствием, каким-то безучастием, которое равнодушно смотрит на проходящие перед глазами его явления, объясняя себе только связь и смысл их. Но, во-первых, мы не видим в этом явлении (если б оно и было) ничего, говорящего в пользу чистого искусства (мы уже выше высказали

наше мнение о спокойствии художника); во-вторых, если взглянуть на дело ближе, то и тут Гёте никогда не являлся чем-то своеобразным, отрешенным от окружавшей его среды, а был, напротив того, полнейшим выразителем одной из сторон народности германской. Вообще говоря, куда бы мы ни хотели бежать от жизни, она везде с нами, везде преследует нас, доказывая, что самое желание освободиться от нее есть желание нелепое, свидетельствующее только о чрезмерном развитии самолюбия.

Везде необходима мысль, полная животрепещущего интереса, и художник, непричастный труду современности, может быть создателем лишь бесцветных и в высшей степени странных созданий. Ссылки на исторические романы, историческую живопись и т. п. вовсе ничего не доказывают, ибо и история может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя нам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни. Мы искренно убеждены, что отчуждение от современных интересов и непонимание их может повести только к созданию различных кунштуков и tours de force[1]. К сожалению, некоторые весьма талантливые писатели не внемлют этому, и нам нередко случается видеть, как много потрачивается таланта à propos des bottes[2]. Одни на нескольких печатных листах серьезно доказывают вам превосходство одного корнета перед другим; другие посвящают свой труд изображению гибельных последствий обжорства или пристрастия к женскому полу,— как будто в действительности нет живой струны, которая представляла бы достойнейший предмет для таланта. Чему приписать это? Узкости ли умственного кругозора или же преднамеренному желанию высказать, что вот, дескать, какой у меня талант: возьму я навозную кучу и опишу ее, и будет прекрасно, и все вы будете читать и похваливать. Во всяком случае, и то и другое предположение грустно.

Восстают против непосредственной наставительности в произведениях искусства. Ссылаются в этом случае на Гоголя и на автора комедии «Свои люди — сочтемся», говоря, что там, где они переставали быть чистыми художниками и являлись просто умными людьми, там, где хотели быть наставниками, они впадали в ошибки и утрачивали способность давать ясное выражение физиономиям. Упрек этот довольно справедлив в отношении к Гоголю и г. Островскому, но, говоря вообще, не имеет никакого основания. Свойство талантов этих двух писателей таково, что для них возможна роль наставников только

---

[1] фокусов.
[2] по пустякам.

путем отрицательным — путем сатиры. Если принять в соображение еще и то обстоятельство, что народная жизнь сама по себе не без труда и усилий выработывает что-либо положительное, что это дело времени [1], то сделается понятным, почему писатель, желающий отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет, ставит себя в фальшивое отношение к ней и сразу признает себя несостоятельным и поставленным именно в то положение, в которое ставит художника распространяющееся у нас понятие о чистом искусстве.

Изложенное выше, как нам кажется, довольно ясно определяет наш взгляд на искусство и наши требования в отношении к нему. Но дабы не могло быть ни малейшего недоразумения, повторим здесь вкратце свои понятия. Во-первых, мы требуем от искусства, чтобы оно было проникнуто мыслью, и мыслью исключительно современною. Эта мысль добывается не чутьем художника, как хотят уверить нас многие, а деятельною и добросовестною разработкою фактов, действительным участием в труде современности. Могут возразить нам, что истина может чрезвычайно разнообразно проявляться в обществе и что, следовательно, художник найдется в крайнем затруднении относительно выбора этих проявлений. Но в том-то и заключается величие таланта, чтобы уметь различить истинное проявление от ложного, абсолютное от условного, чтобы определить тот путь, по которому идет человечество. Иначе, где же была бы заслуга и в чем заключалось бы преимущество талантливого человека от обыкновенного? Во-вторых, необходимо для художника полное сочувствие к этой идее, без чего невозможно полное обладание ею, невозможно выражение ее в живых и всем доступных формах. Наконец, в-третьих, каждое произведение искусства необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный. Мы не думаем сказать этим, чтобы художник обязан был произведением своим высказать голословно придуманное им нравоучение, доказать известную аксиому; мы требуем только, чтобы произведение имело последствием не только праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника. Каким путем достигается этот результат — отрицанием ли или исканием *положительных и идеальных сторон жизни,* — это все равно; дело в том, что результат непременно должен быть — в противном случае искусство

---

[1] Гранка повреждена. Слова «усилий» и «времени» читаются предположительно.

теряет весь свой благотворный характер и становится на степень простого акробатства.

Сказанное нами о современной мысли и ее выражении в искусстве прямо приводит нас к вопросу о народности. На этот счет господствуют мнения совершенно противоположные; одни требуют искусства исключительно русского и науки русской; другие, напротив, утверждают, что и искусство и наука — достояние общечеловеческое и что, следовательно, воззрение на истину, ими добываемую, не должно носить на себе характер национальной исключительности. Есть, наконец, и третье представление, допускающее рядом с национальным воззрением и общечеловеческое. Этот последний взгляд, впрочем, не что иное, как благовидная формула, которою стараются прикрыть нелицемерное стремление к национальной исключительности.

Подобными толками о воззрениях наполняются книжки наших журналов. Принесли ли они какую-нибудь пользу для науки или искусства? выиграет ли то или другое, если мы примем одно из объясненных выше воззрений за истинное? Сомнительно, потому что тут дело идет, собственно, не о науке или искусстве, а только о воззрениях на то и другое. У нас нет еще, в строгом смысле, ни науки, ни искусства, а между тем имеется бесконечное множество воззрений на ту и другое. Нельзя без тягостного чувства читать эти прения, возникающие не по поводу дела, а по поводу каких-нибудь воззрений, от которых делается, наконец, тошно читающему люду. Они принимают иногда и драматическую форму. В последнее время явилось драматическое представление, в котором изображается господин, помышляющий о введении между русскими крестьянами благотворительных хороводов и тому подобных нелепостей. Это, изволите видеть, сатира на тех, которые будто бы обращают глаза свои на Запад. Но сатира, по нашему мнению, тогда только достигает своей цели, когда она бьет по больному месту, когда она поражает не эксцентриков, а действительных представителей известного воззрения. В противном случае это решительно все равно что являться в публику в вывороченном наизнанку фраке и думать, что это смешно. Конечно, оно смешно, но здесь смех возбуждается не самым фактом, а единственно личностью, породившею этот факт.

Откинем всякую заднюю мысль, отнесемся к жизни прямо, с глазами невооруженными, примем скромно то, что она нам дает, и не будем заранее заботиться о том, какие выйдут из этого результаты, будут ли они соответствовать нашим тайным симпатиям или нет. Примем за правило или, пожалуй, и

за воззрение (если это слово необходимо) одну добросовестность, то есть добросовестную разработку тех матерьялов, которые должны дать прочную основу нашей науке и нашему искусству. Кто знает, быть может, при таком взгляде на дело оно пойдет успешнее...

Требование исключительно национального направления в искусстве ведет к вопросу о каком-то идеальном обращении художника к народной жизни. По мнению теоретиков национального искусства[1], в этой жизни нет (читай: *не должно быть)* ни диссонансов, ни фальшивых звуков. Смотрите, говорят они, какое смирение, какая чистота семейных нравов, какое уважение к приговорам искусства, какая вера в провидение! Вслушайтесь в народную песню — там изображается, например, жена, которую бросил муж, но она не волнуется этим, она не эманципируется, как женщина, изуродованная цивилизацией; нет, она с терпением и верою ждет, пока буйное разгулье мужа кончится. Всмотритесь, с другой стороны, в эту физиономию первобытного человека: черты ее искажены отчаяньем, из груди его вылетает глухой вопль ропота, рука судорожно сжимает нож, готовый пресечь нить ненужной жизни,— и вот слышатся звуки колокола; человек жадно прислушивается к ним; грудь его тяжело поднимается, но стон, вылетающий из нее, есть уже стон раскаянья и примиренья с жизнью; глаза наполняются слезами; нож далеко летит прочь, и человек, весь обновленный, бодрый и свежий, возвращается к жизни. Все в глазах этих защитников первобытности и непосредственности принимает радужные цветы. В предрассудке и закоснелости, свойственной всему малоразвитому, они видят не исторический и переходный факт, а факт абсолютный, достойный уважения, знаменующий глубокую привязанность к преданиям старины. Слова нет, прошедшее уже по одному тому заслуживает всякого уважения, что оно усыновлено историей, что оно существовало как живой и законный факт; но остановиться на нем, навсегда приковать к нему жизнь какого бы то ни было народа — не значит ли отказать человечеству в прямой и самой законной его потребности — потребности постепенного развития?

Напрасно вы будете говорить, что если и есть тут привязанность к преданиям, то не к духу (что имело бы, по крайней мере, некоторый смысл), а лишь к букве их, и, следовательно, привязанность, в основании которой лежит одно праздносло-

---

[1] Любопытствующих отсылаем к статье г. Филиппова, по поводу комедии Островского «Не так живи, как хочется» («Р. беседа», № 1). *(Прим М. Е. Салтыкова.)*

вие: вам возразят целыми рассуждениями о важности буквы народных преданий, о неприкосновенности бороды и кафтана. Любопытно было бы горячие панегирики чистоте семейных нравов <сравнить> с целым циклом песен, в которых преимущественно говорится о совсем недвусмысленных отношениях старого свекра к молодой невестке, где слышатся беспрестанные жалобы на свекровь-злодейку, на золовок и т. д. И вместо того чтобы подумать об искоренении тех причин, которые породили такое состояние, вместо того чтобы пробудить в массе сознание, которое сделало бы для нее самой настоятельной потребностью те качества, которыми мы заблаговременно и так легкомысленно ее наделяем, мы убаюкиваем ее и наивно мечтаем о возвращении времен кошихинских...

Мы думаем, что до тех пор, пока наука и искусство не приступят к разработке русской жизни без предубеждений, пока жизнь эта не будет исследована в ее мельчайших изгибах,— у нас не может быть ни науки, ни искусства. Конечно, роль современного художника и ученого весьма скромна,— это роль почти монографическая, но такова потребность времени, и идти против нее значило бы, несомненно, впасть в ложь и преувеличение. Посмотрите на Гоголя: он до тех только пор остается истинно великим художником, покуда относится к русской жизни в качестве простого исследователя; то же самое должно сказать и о г. Островском. В «Свои люди — сочтемся» и отчасти в «Бедной невесте» он является художником потому именно, что изображает истину жизни; все прочие произведения не выдерживают самой снисходительной критики, и виною этого явления то новое слово, которое г. Островский усиливался сказать, новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором. А между тем это «новое слово» сказано именно в «Своих людях», который <!> до сих пор один <!> и упрочивает за г. Островским право на почетное место в истории нашей литературы.

Однако же,— скажут, быть может, нам,— как согласить эту монографическую деятельность с тем требованием современной идеи, направления и поучительности, которое мы поставили как необходимое условие всякого художественного произведения. Мы находим, однако же, что в словах наших нет никакого противоречия. Мы думаем, что самая идея монографической деятельности есть идея вполне современная и что такая деятельность вовсе не исключает возможности направления, которое составляет несомненную ее принадлежность, как жизнь составляет принадлежность факта, и что наставительность и поучение истекают из добросовестной разработки матерьялов, как непременное ее следствие, даже в

таком случае, если б автор на самом деле и не высказал никакого наставления.

Высказавши таким образом наш взгляд на искусство и народность, мы можем приступить к обзору поэтической деятельности Кольцова.

Жизнь Кольцова, столь увлекательно описанная Белинским, есть одна из тех ежедневно повторяющихся драм, в которых талант и жажда преуспеянья являются в постоянной и иссушающей борьбе с невежеством, самодовольством и косностью. Любопытных мы отсылаем к самой статье Белинского, согретой истинным и теплым чувством симпатии к этой замечательной личности. Что касается до нас, то мы вкратце расскажем только то, что необходимо для уразумения дальнейших наших выводов. По рождению Кольцов принадлежал к сословию мещан, следовательно, к такому сословию, которое не представляет особенно счастливых условий для чьего бы то ни было развития. И действительно, даже элементарное образование его было до крайности скудно; десяти лет он был уже взят из уездного училища, в котором пробыл не более четырех месяцев. Полагали, вероятно, что уже достаточно учен, а между тем дома лишний человек не помеха, хоть бы для того, чтобы приучить его к торговле в том смысле, как ее понимает класс мещан. Отец Кольцова был человек не бедный и промышлял стадами баранов, что нередко требовало поездок в степь, куда он брал с собою и десятилетнего сына. Этим поездкам в степь обязан был Кольцов первым знакомством своим с природою, которая, в свою очередь, пробудила в нем первоначальное поэтическое настроение души. Мало-помалу развилась в нем страсть к чтению, но к чтению бестолковому, которое может скорее убить талант, нежели развить его. Присоедините к этому то обстоятельство, что домашние не совсем доброжелательно смотрели на стремления пылкого юноши к образованию, прибавьте всю непривлекательную сторону исключительно матерьяльных интересов, которыми охвачена была жизнь его,— и вы получите картину той глухой борьбы, которую должна была вынести эта светлая, артистическая натура. А впрочем, кто знает? не пройди он этой жизни, не выстрадай своего таланта всеми нравственными страданиями, вышло ли бы что-нибудь из него? Светлыми минутами его жизни могут быть названы только дни знакомства его с Серебрянским и Станкевичем. Что же касается до поездок в Москву и Петербург, то мы полагаем, что знакомство с литературными знаменитостями того времени могло преисполнить душу Кольцова только полынью и горечью.

Вообще положение русского литератора весьма неза-

видно и до настоящего времени, и тот, кто приближается к святилищу литературы с надеждой получить там насущный кусок хлеба, горько ошибется в расчете. Вампир журнализма вопьется в него всеми своими клыками, высосет весь талант, заставит кривляться и насиловать воображение и бросит, как ненужную ветошь, когда производительные силы действительно ослабеют от неумеренного возбуждения. От этого первая вещь, обдуманная и написанная с любовью, не под влиянием неотступно грызущей нужды, остается навсегда лучшею вещью; все дальнейшее носит отпечаток поспешности и заказа: так и видишь, что автору есть хочется. Надобно быть или очень сильным талантом, или иметь средства к жизни, независимые от литературного труда, чтоб выдержать это чисто механическое давление журнализма. Куда, например, исчез Бутков, автор «Петербургских вершин»? Конечно, он был не то, что обыкновенно называют сильным талантом, но тем не менее у него был талант, и талант несомненный, в этом сознавались все. Другой экземпляр подобного же явления представляет Белинский. Кольцов, как видно, очень хорошо понимал положение русского литератора и предпочел остаться в обществе тем, чем поставила его судьба. Он понял, что тут все одно — дело торговое: салом ли, баранами ли, книжками ли — дело только в виде торговли, а genre остается один и тот же. Не красна, но, по крайней мере, матерьяльно обеспечена текла его жизнь среди домашних хлопот, среди общества, члены которого смотрели на него как на умника, то есть как на человека с поврежденной головой и практически бесполезного. Тем не менее жизнь эта доставляла ему возможность не умереть с голоду, что также чрезвычайно не лишнее, потому что умирать никому не лестно. Вот как писал он об этом одному петербургскому знакомцу (литератору?), звавшему его в столицу: «Но, приехавши туда (то есть в Петербург), что я буду делать? Положить надежду на мои стишонки: что за них дадут! И что буду за них получать — пустяки: на сапоги, на чай и только». И далее: «Что, если в сорок лет придется нищенствовать?» И действительно, надежды были не блестящие; но смерть разрешила все сомнения; письмо было писано в начале 1842 года, а 19 октября того же года Кольцова не стало.

В произведениях своих Кольцов является выразителем исключительно народных инстинктов и стремлений. Инстинкты эти могут быть общи всем народам, принимая здесь слово «народ» в смысле массы, в смысле коренного и основного населения известной страны. Главный характер их заключается в стремлении к матерьяльному благосостоянию, стремлении

весьма естественном, потому что довольством матерьяльным обеспечивается довольство духовное, потому что первое служит источником всякой независимости, без которой нет ни сознания собственного достоинства, ни уважения к своей человеческой личности. Оттого-то в народных, или, лучше сказать, простонародных песнях, всего чаще слышатся отголоски той будничной жизни, которая со всех сторон охватывает простолюдина. Там говорится и о косе, и о пашне, и об урожае, и о трудовом поте; словом, обо всем, к чему мы, люди порядочные, так не привыкли и на что смотрим несколько свысока. И между тем — странное дело! — в книжках эта будничная жизнь кажется нам и оригинальною, и привлекательною! Откуда же в нас это пристрастие к ней? Мы думаем, что источник его заключается в той несомненной истине, что как бы мы ни отдалялись от природы, как ни искусственно было бы наше развитие, все-таки в душе нашей остается неприкосновенным запас искренней привязанности к природному, первобытному состоянию. При самом слабом намеке на него нам делается как-то отраднее и мы вновь воображаем себя на лоне природы, в глуши деревенской, среди зелени лугов, и нам становится особенно любезен и дорог тот, кто воскресил в нас эти неясные побуждения.

В русской простонародной жизни сверх этого общего стремления есть еще свои характеристические черты, усвоенные ей историею и составляющие как бы необходимый продукт всей совокупности обстоятельств, среди которых мы живем и развиваемся.

И здесь, во-первых, мы обратимся не к смирению, не к чистоте семейных нравов, а к той беспечности, тому всемогущему русскому «авось», которое составляет как бы необходимую принадлежность наших экономических отношений: легкости матерьяльного труда, не требующего глубоких соображений и пр. и пр. Это может служить[1] для многих источником глубоких умилений; думают, что мы рождены затем, чтобы жить на всем готовом, что нам не нужно никакого труда, чтоб стать на ту высоту, которая другими народами достигается ценою многих усилий и чрезмерной работы мысли. К сожалению, привычки народные, в основании которых лежит какая-то фаталистическая надежда на внешнюю помощь, с излишеством оправдывают эти странные соображения. Кольцов в совершенстве выражает в своих песнях этот заду-

---

[1] Начало фразы густо зачеркнуто (правка по замечаниям цензора) и читается предположительно.

шевный инстинкт народа. Прочтите обе песни «Лихача-Кудрявича», и вы вполне убедитесь, что нужно было самому с молоком матери принять эти инстинкты, чтоб выразить их так верно и отчетливо. Радость и горе, удачу и неудачу — русский человек все привык сваливать на судьбу. С одной стороны:

Что шутя задумал —
Пошла шутка в дело;
А тряхнул кудрями —
В один миг поспело.

С другой:

Зла беда, не буря —
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.
От ее напасти
Не уйти на лыжах:
В чистом поле найдет,
В темном лесе сыщет.

Очевидно, тут нет даже поползновения освободиться от какой-то слепой, неизвестно откуда являющейся необходимости, посылающей и беду и счастье. Тут все пассивно, хоть и нет собственно равнодушия. Неравнодушно смотрит Лихач на постигшее его несчастье; он страдает и тяготится им, но пошевелиться-то ему нету моченьки, а потому и страдание выражается у него не как-нибудь деятельно, а только предъявляется толпе в виде бесплодной и бесполезной жалобы. И действительно, что ж и за жизнь, когда никто не хочет за нас ни подумать, ни сварить, ни испечь, ни выпить: всё, говорят, делай сам. Посудите же, добрые люди, где ж тут самому к чему-нибудь приступиться, когда

И щемит и ноет,
Болит ретивое:
Все — из рук вон — плохо,
Нет ни в чем удачи.

Положение поистине горестное; ничего не остается делать иного, как сидеть, да жаловаться, да призывать всуе имя господне. Впрочем, Лихач-Кудрявич не унывает; не без основания надеется он, что

...Там бог уродит,
Микола подсобит.

(«Размышление поселянина»)

Это чувство воспитано в нем самою жизнью, не представляющею ничего, кроме случайностей, которых нельзя ни пред-

отвратить, ни предвидеть. При таком положении вещей равнодушие к будущему и непредусмотрительность делаются явлениями, вполне нормальными и логически последовательными. Совершенно понятны становятся для нас тогда следующие слова песни:

Мы, гуляя,— все потратили,
Молодую жизнь, до времени,
Как попало — так и прожили!
(«Перепутье»)

Действительно, жизнь бьет таким обильным ключом в этой крепкой, неиспорченной натуре, что является настоятельная потребность каким бы то ни было образом истратить ее, и так как разумно-деятельного поприща для нее не представляется, то безрасчетная трата сил становится явлением законным, оправдываемым самою необходимостью. И нельзя сказать, чтобы Лихач-Кудрявич не сознавал хоть изредка всей неестественности этого положения. Нет, он сознает его, но и самое это сознание выражается у него как-то не положительно, а в виде иронии, которую, пожалуй, можно с непривычки принять и за довольство самим собою и своим положением. Раздумывая о своей доле, он как будто и не без некоторой гордости говорит:

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горах — леса, сады, домà;
На дне моря — груды золота;
Облака идут — наряд несут!..
(Там же)

Именно так! облака, одни облака, принесут наряд твой, Лихач-Кудрявич!

Эта надежда на что-то случайное, внешнее, неразумное составляет одну из характеристических черт народа, находящегося еще в младенчестве. Кольцов необыкновенно живо подметил эту черту и выразил ее, как истинный художник, в ясных и отчетливых образах, не примешивая никаких рассуждений от своего лица, не пускаясь в изыскания причин такого странного явления.

Тем не менее так как народный характер слагается не из одной только стихии, так как, напротив того, элементы, его составляющие, чрезвычайно сложны и разнообразны, то они необходимо должны были отразиться во всей полноте и в поэзии Кольцова, возращенной на почве народной. Прочтите его «Песню пахаря», и вы убедитесь, что русскому человеку доступно не только отрицательное и ироническое, но и прямое и плодотворное отношение к жизни. Не можем себе отказать в удовольствии выписать вполне эту чудную «Песню».

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной,
Выбелим железо
О сырую землю.

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит

Весело на пашне;
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею...
Ну! тащися, сивка!

Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.

Его вспоит, вскормит
Мать-земля сырая;
Выйдет в поле травка —
Ну! тащися, сивка!

Выйдет в поле травка —
Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.

Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы,
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых!

Ну, тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

С тихою молитвой
Я вспашу, посею.
Уроди мне, боже,
Хлеб — мое богатство!

Как глубоко поняты здесь отношения поселянина к природе! с какою благодарностью смотрит он и на землю, его кормилицу, и на сивку, участника в его благосостоянии! Благодатно и животворно действует на душу эта тихая песня; она заставляет любить и творца ее, и всю эту толпу труждающихся, о которых в ней говорится. Чувствуется, сколько силы и добра посеяно в этой толпе, сколько хороших возможностей заключает она в себе! В целой русской литературе едва ли найдется что-либо, даже издали подходящее к этой песне, производящее на душу столь могучее впечатление. Вслушайтесь в нее ближе и пристальнее, и перед вами встанет вся жизнь поселянина, со всеми ее заботами, с ее скромными надеждами, со всеми ее скудными радостями. Тем не менее обаяние, производимое ею, несмотря на всю его могущественность, никогда не подействует на душу вашу обманчиво. Здесь предметы вдохновения слишком конкретны, слишком обыденны, чтобы дать большой простор фантазии читателя, чтобы породить в душе его ложное самодовольство. Чувство его, готовое расплыться, необходимо сдерживается представлением сурового труда, и в этой-то именно истинности образов, в этом глубоком отвращении от всякого преувеличения и заключается вся тайна таланта нашего автора.

Все стихотворения Кольцова, для которых предметом послужил упорный труд поселянина, дышат тою же грустною симпатией к трудящемуся, тою же любовью к природе. Возьмите, например, «Урожай», прочтите хоть следующие двенадцать стихов:

И с горы небес
Глядит солнышко,
Напилась воды
Земля дóсыта.

На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельские
Не насмотрятся:

Люди сельские
Божьей милости
Ждали с трепетом
И молитвою.

Везде человек на первом плане; везде природа служит ему, везде она его радует и успокоивает, но не поглощает, не порабощает его. Тем именно и велик Кольцов, тем и могуч талант его, что он никогда не привязывается к природе для природы, а везде видит человека, над нею парящего. Такое широкое, разумное понимание отношений человека к природе

встречается едва ли не в одном Кольцове. При всем уважении к таланту г. Аксакова, нельзя не сознаться, что его великолепные картины природы как-то подавляют читателя. Неосмысленная присутствием и трудом человека природа является чем-то недоконченным, недоговоренным. Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос. Что природа хороша — Кольцов чувствует это более, нежели кто-либо другой, потому что ей он обязан лучшими, светлыми минутами своей жизни, она была его первою наставницей, она воспитала в нем ту свежесть сердца, которая, в свою очередь, заставила его симпатизировать всему доброму, прекрасному и истинному. Но тем не менее он совершенно верно угадывает, что как бы ни была хороша природа, она все-таки второстепенный член в искусстве, что все-таки прямым предметом искусства должен быть человек. Поэтому-то рядом с успокаивающими картинами сельской природы и жизни он вызывает иные картины, в которых эта же сельская жизнь является уже не в столь привлекательных формах, в которых уже слышатся фальшивые звуки, как будто портящие гармонию целого. Знакомство с этими картинами спасительно; оно не допускает нас расплываться в нашем стремлении к дешевому примирению с жизнью; оно, как memento mori[1], вечно стоит на страже нашего чувства. Замечательнейшие стихотворения Кольцова этой категории, по нашему мнению, следующие: «Что ты спишь, мужичок», «Не на радость, не на счастье», «Доля бедняка» и «Размышление поселянина». Содержание их небогато: чужой угол и горькая доля. Вообще оказывается, что жизнь поселянина не изъята своего рода тревог и волнений, хоть, быть может, они и не бьют в глаза какому-нибудь туристу, проезжающему на почтовых мимо деревни и превращающему мысленно каждую хижину в приют мира и любви. Оказывается, что

У чужих людей
Горек белый хлеб;
Брага хмельная —
Не разымчива.
. . . .
И бел-ясен день
Затуманится,
Грустью черною
Мир оденется.
И сидишь-глядишь
Улыбаючись,
А в душе клянешь
Долю горькую.

---

[1] помни о смерти.

Стало быть, в этих хижинах живут не всё Филемоны и Бавкиды... Понятие о силе и объеме этих маленьких горестей относительно. То, что для нас кажется мелким и ничтожным, будучи перенесено в иную сферу, неожиданно приобретает чрезвычайные размеры. Поэтому весьма естественным делается стремление освободиться от этих покалываний и пощипываний, совокупность которых составляет истинное и действительное горе. Благо тем, для кого эти стремления разрешаются удовлетворительно, но горе тому, кто не находит ничего более, как сказать:

Но куда умом ни кинуся —
Мои мысли врозь расходятся,
Без следа вдали теряются,
Черной тучей покрываются...

Всего замечательнее в этом отношении стихотворение «Что ты спишь, мужичок». Мы выписываем его здесь вполне:

Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои
Работàют давно.

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Чтò ты был? и чтò стал?
И чтò есть у тебя?

На гумне — ни снопа,
В закромах — ни зерна;
На дворе, по траве —
Хоть шаром покати.

Из клетей домовой
Сор метлою посмел;
А лошадок за долг
По соседям развел.

И под лавкой сундук
Опрокинут лежит,
И погнувшись изба,
Как старушка, стоит.

Вспомни время свое:
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой!

Со двора и гумна,
По дорожке большой,
По селам, городам,
По торговым людям!

И как двери ему
Растворяли везде,
И в почетном угле
Было место твое!

А теперь под окном
Ты с нуждою сидишь,
И весь день на печи
Без просыпу лежишь.

А в полях, сиротой,
Хлеб нескошен стоит.
Ветер точит зерно,
Птица клюет его!

Что ты спишь, мужичок?
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит.

Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.

Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

Стихотворение это поражает нас своею истиной. Нам не объяснены положительно причины нищеты, в которую впал человек, но мы чувствуем их. Для нас кажется смешным говорить о каких-нибудь копейках, тогда как мы в один вечер равнодушно проигрываем тысячи рублей, а между тем эти копейки служат иногда источником глубоких несчастий. Некоторые подробности жизни кажутся нам до того в натуре вещей, что мы говорим об них, не изменяя даже интонации нашего голоса, а между тем сколько слез, сколько вздохов, сколько обманутых надежд за этими, по-видимому, ничтожными мелочами.

Столько же хорошо и стихотворение «Размышление поселянина», неизвестно почему отнесенное Белинским к числу слабых стихотворений Кольцова.

Покуда мы слышали только жалобу, жалобу, полную грусти, но еще сдержанную. Однако ж не всякая личность может остановиться на ней, приняв ее за нормальное состояние. В бо́льшей части случаев от этой жалобы прямой переход или к отчаянью, или к буйному веселью, к оргии. Русская народная поэзия имеет в себе целый обширный отдел песен разбойнических, содержанием для которых служит дикий и необуз-

данный разгул человека, почувствовавшего себя без узды. Кольцов, как истинно русский человек, явился толкователем и этой стороны народного духа; у него имеется целый ряд стихотворений, в которых этот разгул, эта жажда необузданности и безобразия являются на первом плане. Жгучее чувство личности, не умеренное благотворным сознанием долга, разрывает все внешние преграды и, как вышедшая из берегов река, потопляет, разрушает и уносит за собою все встречающееся на пути. Таковы стихотворения: «Удалец», «Измена суженой», «Песнь разбойника», «Тоска по воле» и «Дума сокола». Душная сфера поселянских работ делается недостаточною; она томит душу, теснит грудь удальца; ему нужен воздух, нужен лес, а не прогорклая атмосфера избы. «Мне ли»,— говорит он:

Мне ли молодцу 2
Разудалому
Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин,
Молотить овес?

(«Удалец»)

И вот является в воображении его идеал той жизни, к которой манит его разгоряченная и долго сдерживаемая фантазия:

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!
Снаряжу коня,
Наточу булат,
Затяну чекмень,
Полечу в леса.
Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть.

(Там же)

Или:

Знать, забыли время прежнее,
Как, бывало, в полночь мертвую,
Крикну, свистну им из-за леса —
Аль ни темный лес шелохнется...
И они, мои товарищи,
Соколья, орлы могучие,
Все в один круг собираются
Погулять ночь, пороскошничать.

(«Тоска по воле»)

Этот разгул, порождаемый избытком матерьяльной силы, является разрешителем всех горестей, всех сомнений. Изменила ли «Лихачу-Кудрявичу» суженая,— он, правда, горюет и падает духом, но не надолго. Если от этой измены и может на время «замутиться свет в глазах его», то не менее справедливо и то, что тут же является у него и всемогущее средство, чтоб избавиться от грызущей его тоски, и это средство — тот же буйный разгул, то же искание приключений, которое при всяком огорчении является ему на помощь, как врач душевный и телесный. Тотчас после постигшего его страшного горя он уже говорит:

В ночь под бурей я коня седлал;
Без дороги в путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться...

(«Измена суженой»)

Или:

Забушуй же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку...

(«Песня разбойника»)

Всего полнее выражает это стесненное, ненормальное состояние души стихотворение «Дума сокола». Вот оно:

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Мою молодость
Ни за что губить?

Долго ль буду я
Под окном сидеть,
По дороге вдаль
День и ночь глядеть?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Иль боится он
В чужих людях быть,
С судьбой-мачехой
Сам собою жить?

Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Иль зачем она,
Моя милая,
Здесь сидит со мной,
Слезы льет рекой;

От меня летит,
Песню мне поет,
Все рукой манит,
Все с собой зовет?

Нет, уж полно мне
Дома век сидеть,
По дорожке вдаль
Из окна глядеть!

Со двора пойду,
Куда путь манит,
А жить стану там,
Где уж бог велит!

Вот те стороны русской жизни, которых объяснителем явился Кольцов. Употребляем слово «объяснитель» потому собственно, что действительно ничто не объясняет лучше читателю известного явления, как представление его в живом образе. Был бы только образ, не искаженный идеально, но верный действительности, объяснительная работа родится сама собой в уме читателя. Везде, где Кольцов удалялся от русской жизни, в тесном значении этого слова, везде, где он хотел стать на точку зрения общечеловеческую, он падал и утрачивал ясность своего взгляда. И это понятно: он не был достаточно образован для такой точки; как бы ни были велики природные способности человека, все-таки они, как улитка, заключены в тесноте домашней раковины, которая со всех сторон угнетает их. Только знание, только наука и сопряженная с нею возможность сравнения могут расширить умственный кругозор человека, сделать его вполне человеком. Лучшим доказательством служат «Думы» Кольцова: что означают они, кроме немощного желания вывести мысль из той тесной сферы, в которую она заключена обстоятельствами? Что такое все эти вопросы, которые задает себе тревожимый сомнениями поэт, как не реторическая амплификация, собрание слов, доказывающее только ту несомненную истину, что поэт не умел даже формулировать свои сомнения? Конечно, нельзя строго винить Кольцова в том, что он не умел совладать с своими сомнениями: как человек глубокого ума и горячей души, он не мог, без тяжкого и оскорбленного чувства, видеть, что книга природы и жизни по воле независящих обстоятельств навсегда закрыта для него. И вот он ищет про-

никнуть в этот запертый для него храм, но увы! двери его остаются по-прежнему холодны, глухи и немы, и эта печальная картина тревожных сомнений и стремлений к разрешению их имеет лишь тот результат, что делается драгоценным достоянием для биографа Кольцова, объясняя ему внутренний мир души его. И чем разрешаются эти тревоги?

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам провиденья!
Ум наш не шагает
Мира за границу;
Наобум мешает
С былью небылицу.

(«Неразгаданная истина»)

Или:

Ужели в нас дух вечной жизни
Так бессознательно живет,
Что может лишь в пределах смерти
Свое величье сознавать?..

(«Лес»)

Какой же это ответ? Это более ничего как бессилие, и притом бессилие, к сожалению, публично высказанное. Очевидно, что Кольцов берется здесь не за свое дело; его дело ограничено было тою небольшою средой, в которой он жил и которую по этой причине постигал в таком совершенстве. И зачем пускаться вдаль, зачем тревожить прах усопших, когда вблизи нас, между живыми, все еще так мало объяснено и даже не тронуто? зачем искать драм на луне, когда в семействе какого-нибудь Ивана Федотова совершается драма с большим спектаклем?

Точно так же несамостоятельным и несостоятельным является Кольцов и в тех своих произведениях, где он обращается к идеальным сторонам русской жизни. Таковы, например, стихотворения: «Люди добрые, скажите», «Первая любовь», «Совет старца», «К ней», «Поминки», «По-над Доном сад цветет» и множество других. Все эти стихотворения явно говорят о подражании и даже фактурой своей напоминают фактуру сентиментальных романсов времен Дельвига и Мерзлякова.

Для подтверждения наших слов приведем одно из них:

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?

За далекими ль горами
Он живет один, тоскуя?
За степями ль, за морями
Счастлив с новыми друзьями?

Вспоминает ли порою:
Чья любовь к нему до гроба?
Иль, забыв меня, с другою
Связан клятвой вековою?

Иль уж ранняя могила
Приняла его в объятья?
Чья ж слеза ее кропила?
Чья душа о нем грустила?

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? вы молчите.
Злую тайну вы храните!

Кольцов велик именно тем глубоким постижением всех мельчайших подробностей русского простонародного быта, тою симпатией к его инстинктам и стремлениям, которыми пропитаны все лучшие его стихотворения. В этом отношении русская литература не представляет личности равной ему; он первый обратился к русской жизни прямо, с глазами, не отуманенными никаким посторонним чувством, первый передал ее нам так, как она есть, со стороны ее притязания на жизнь общечеловеческую.

Трудно определить степень влияния Кольцова на русскую литературу, тем более трудно, что у него не было непосредственных подражателей, кроме разве г. Никитина. Тем не менее влияние это несомненно. Мы не думаем и не намерены утверждать, чтобы настоящее направление русской литературы обязано было своим началом единственно влиянию Кольцова. Однако ж, если сравнить литературу, современную Кольцову, в которой все было так чуждо коренной русской жизни и мысли, с позднейшею деятельностью наших писателей, то нельзя не признать, что голос его раздавался не втуне. Он обогатил наш поэтический язык, узаконив в нем простую русскую речь, и в этом смысле он является в истории нашей литературы как бы пополнителем Пушкина и Гоголя, и, несмотря на свою малую производительность, должен быть поставлен рядом с ними, как человек, давший нашей поэзии новую и чрезвычайно плодотворную точку опоры. Достаточно прочесть его «Косаря», чтобы вполне убедиться, как живо и до сих пор влияние Кольцова на нашу литературу. Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной

разработке явлений русской жизни, есть ряд продолжателей дела Кольцова. Это дело принимает все более обширные размеры; отвсюду слышатся голоса, полные жизни и мощи; чувствуется, что мы как будто тверже стоим на родной почве, что мы сознаем себя уже не в гостях, а дома. Но если бы в настоящее время шаги наши на этом пути были робки и нетверды, то мы еще не так стары, не так изношены, чтоб не надеяться на будущее. Таково наше искреннее и крепкое убеждение, и мы с глазами, полными надежды, глядим на нашу молодую литературу, которой попытки обещают в будущем так много прекрасных и благотворных результатов.

СКАЗАНИЕ
О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ, МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ ИНОКА ПАРФЕНИЯ

В 4-х частях. Издание второе с исправлениями. Москва.

Направление, принятое русскою литературой последних годов, заслуживает в высшей степени внимания. Русский человек, с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями, сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и ученых. Всякий стремится посильною разработкою явлений русской жизни уяснить для себя загадочный образ русского народа; всякий, с нетерпеливою поспешностью, спешит наворожить младенцу-великану блестящую и благоденственную будущность. Несмотря на эту, быть может, преждевременную и юношескую запальчивость и нетерпеливость, нельзя сомневаться, что настоящее литературное движение скрывает в себе зачатки, весьма плодотворные по своим последствиям. Нельзя сомневаться, что даже и в настоящее время мрак, обнимавший многоразличные проявления русской жизни, начинает мало-помалу рассеиваться, ибо мы в течение немногих последних лет приобрели уже достаточное количество материалов для знакомства с характером и внутренним бытом русского народа, и если процесс этого ознакомления еще не вполне завершился, то нельзя не иметь крепкой надежды, что молодая русская литература, став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело. Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которою стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором идет речь о России. Не далее как лет десять тому назад книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компи-

ляциями, в которых русского были только слова; в настоящее время, можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким образом, было бы весьма печально. И это стремление изучить самих себя, воспользоваться почти нетронутою сокровищницею народных сил, чтобы извлечь из них все, что может послужить на пользу, заметно не только в сфере литературы и науки; оно проникло в практическую деятельность всех слоев нашего общества, и всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста.

И действительно, давно ли, кажется, было в ходу то сонное полуидиллическое воззрение, которое смотрело на народ как на театральную толпу, в известных случаях являющуюся на помост, чтобы прокричать заветную фразу, вроде «идем!», «бежим!», или как на кордебалет, отплясывающий где-то у воды. Давно ли считалось необходимым условием, выводя на сцену русского мужика, заставить его несколько раз произнести слова: «кормилец», «шея лебединая, брови соболиные» и т. д., и затем все литературные формальности относительно этого неопрятного субъекта, cet ours mal leché[1], считались соблюденными? Давно ли, не на нашей ли памяти, процветало и наслаждалось жизнью это прискорбное воззрение, и между тем как далеки мы от него! Мы убеждены, что в настоящее время труды Полевых, Кукольников и прочих усердных выводителей русского народа на сцену Александринского театра ни на чьем лице даже улыбки возбудить не могут,— до такой степени они наивны и невинны.

Перед нами лежит сочинение, которое, по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа, мы не обинуясь ставим рядом с «Семейною хроникой» г. Аксакова. Многим, быть может, странным покажется такое сопоставление двух сочинений, которые и по предмету и по изложению не могут иметь между собою ничего общего. В действительности же эта невозможность только кажущаяся, ибо и г. Аксаков, и многоуважаемый отец Парфений, конечно, в различных сферах, имеют в виду одну и ту же цель — правдивое изображение известных сторон народного быта, известных народных потребностей; оба они одушевлены одною и тою же

[1] этого грубияна.

любовью к своему предмету, одним и тем же знанием его, вследствие чего и самое изображение у обоих приобретает чрезвычайную ясность и полноту и облекается в художественные формы.

Участие, возбуждаемое «Сказанием», делается еще более понятным, если принять в соображение, что главный интерес его заключается не столько в защите известных богословских положений,— для того чтобы достойно оценить достоинство и значение последних, необходимо быть специально к сему приготовленным,— сколько в том, что оно делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям. Одним словом, предметом сочинения о. Парфения служат: паломничество и раскол, два явления, которые и по настоящее время не утратили своего значения в русской народной жизни. Почтенный автор, будучи сам смолоду раскольником, видел лицом к лицу все тайные и явные условия, которые объясняют возможность существования раскола и делают это явление фактом весьма замечательным в истории русской цивилизации; он с юных лет был обуреваем жаждою внутреннего, духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие его душу, и только пройдя через все искушения, через все испытания, достиг наконец того состояния, в котором человек может смотреть на свет и истину глазами невооруженными. Автору, таким образом приготовленному и обладающему сверх того большим запасом того внутреннего жара, который в избранном предмете заставляет находить его лучшую, симпатичнейшую сторону, нельзя не верить на слово: воспроизводимые им образы, описываемые им дела красноречивее всяких математически точных доказательств говорят в пользу того дела, на защиту которого он вооружился.

Нельзя сказать, чтобы наша духовная литература была бедна сочинениями, направленными против заблуждений «глаголемых старообрядцев». Из новейших мы можем в особенности указать на сочинения высокопреосвященного Григория, нынешнего митрополита С. Петербургского[1], и преосвященного Макария, епископа Винницкого[2]. С догматической стороны, в сочинениях этих так называемое старообрядчество опровергнуто на всех пунктах, с замечательною ясностью и знанием дела; нельзя думать, чтобы раскольник, как бы он

---

[1] Истинно древняя и истинно православная Христова церковь, 2 ч. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

[2] История русского раскола. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

ни был озлоблен и закоснел в своей злобе против св. церкви, не сознал своей неправды при столь положительных и неопровержимых обличениях, и если результат, в противность всем ожиданиям, оказывается не вполне решительный, то очевидно, что такое явление имеет свою причину не столько в религиозных догматах, сколько в целом круге понятий и требований самых разнообразных; очевидно, что в самой сущности раскола есть нечто особое, что дает ему живучесть и силу, несмотря на всю неопровержимость доводов, выставляемых против него святителями православной церкви. Это «нечто», эту особенную силу заставляет нас предполагать и о. Парфений, когда рассказывает нам на стр. 97—130 1-го т. своего сочинения прение на соборе, созванном в молдавском раскольническом селении Мануиловке против него и друга его Иоанна за уклонение из раскола. Обличения, говоренные автором, до такой степени не только ясны и просты, но, что важнее всего, согласны с свидетельством Св. писания и отеческих преданий, что нет материальной возможности не согласиться с ними,— и между тем каков оказался результат собора? Тот, что «некоторые воздыхали и плакали, а некоторые распыхались сердцами и роптали», и решили наконец все-таки на том, чтобы с уклонившимися из раскола никому не разговаривать и не иметь никакого сообщения.

Подобно сему, многознаменательны и следующие два случая, рассказанные почтенным автором. Первый имел место в стародубских раскольнических монастырях, куда автор, тогда еще раскольник, пришел в чаянье найти таких для себя наставников, которые «проходят строгую иноческую жизнь» и которые «победили страсти и достигли совершенства». На вопрос странствователя о таких подвижниках стародубские раскольники с полною откровенностью отвечают: «Брат! далеко ты лезешь! Мы про страсти и про совершенство почти и не слыхали; а в нынешние времена какие дары духа святого?» Другие советовали жить как живется или указывали на таких старцев, которые оказывались или малограмотными, или вовсе безграмотными и пользовались уважением только потому, что «ни с кем не пьют, не едят, и всеми гнушаются, и всех хулят, и всех осуждают и даже своих единоверных; и всех считают грешниками, а только себя святыми; и толкуют день и ночь, а о иноческой жизни и не знают, в чем она состоит». Второй случай имел место в Константинополе, где автор встретился с некоторыми раскольническими монахами, проживавшими вместе с ним в Молдавии в Мануиловском скиту. О. Парфений повел их в патриаршую церковь и указал на древнюю икону пресвятыя богородицы, на которой благо-

словящая рука превечного младенца изображена именословно. Древность иконы не подлежит сомнению: она принесена была из Иерусалима царицею Еленою, потерпела много от огня и иконоборцев, ввержена была в море и чудесно спаслась; свидетельство такой иконы не могло быть, следовательно, сомнительным для раскольников, и между тем на деле оказался результат совершенно противный. «Они (раскольники) подошли к ней,— рассказывает о. Парфений,— и стали смотреть; но мой знакомый монах Дорофей вдруг отскочил от нее и, переменившись в лице, с дерзостию сказал: «Не только мы этой иконе не поверуем, но если бы и сам Христос нам явился и сказал, что эта церковь правая, и то не поверуем». Эти три случая заставят призадуматься всякого. Очевидно, что раскольники не только не могут выдерживать состязания о вере с лицами, которые могут доказать им неправость их понятий по сему предмету, но даже не хотят допускать подобные состязания из опасения, что могут «посрамиться». Очевидно, что если за всем тем упорно отстаивается ими свое собственное неправое убеждение, то причина такого упорства должна лежать не в самом этом убеждении, а, как мы сказали выше, в целом круге иных понятий и явлений, составляющих для главного, выставляемого напоказ и, так сказать, официального убеждения нечто если не совершенно постороннее, то, во всяком случае, не существенно с ним связанное.

Предпринимая разбор сочинения отца Парфения, мы заранее считаем нужным оговориться, что не можем и не считаем себя вправе касаться той стороны его, которая заключает в себе защиту святой православной церкви против раскольников. Мы не признаем себя достаточно приготовленными для такой оценки, и притом правота православия составляет для нас факт столь несомненный, что распространяться об нем значило бы только испестрить предлагаемую статью ссылками и выписками из сочинений лиц, специально посвятивших себя делу обличения неправды раскольников. А потому мы ограничиваемся здесь лишь упоминовением двух названных нами сочинений, а также сочинения протоиерея Андрея Иоаннова «о стригольниках», о котором мы, впрочем, предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее, по тому уважению, что оно, во многих отношениях, представляет разительное сходство с «Сказанием» о. Парфения.

В последнее время, на развалинах сонных и водевильных понятий о русской народности, сложилось много самых разнообразных и оригинальных воззрений на этот предмет. Однако ж пальма первенства между ними, по оригинальности, бесспорно принадлежит тому воззрению, которое, видя в рус-

ском человеке осуществление всех человеческих совершенств и наделив его жаждою внутреннего просветления, семейными добродетелями, смирением, кротостью, благодушием и всеми качествами, которые приводят в результате к благоденственному и мирному житию, награждает его сверх того аскетическими поползновениями. Нельзя не сознаться, что, при такой ловкой обстановке, вопрос поставлен на такую почву, на которой всякое противоречие или спор о народности становится неудобным и даже невозможным. Претерпевая постоянные и довольно горькие неудачи на всех прочих пунктах, относящихся до различных добродетелей, воззрение благоразумно прячется за коноплянипами аскетизма и оттуда смело кричит своему противнику: «Найди меня в этой трущобе!» Уловка эта, впрочем, далеко не новая. Пресловутый французский журналист Louis Veillot в пресловутой газете «Univers» давным-давно подвизается на этом поприще, и наши ненавистники лукавого и гниющего Запада не имеют в этом отношении никакой иной заслуги, кроме той, что с Запада же переносят готовое и вдобавок противуобщественное воззрение.

Нельзя, однако же, не отдать полной справедливости той строгой последовательности, с которою пересадители на русскую почву воззрений Veillot и комп. проводят принцип аскетизма через все человеческие отношения. В сфере семейной — аскетизм младших в пользу старших, слабых в пользу сильных; в сфере гражданской — аскетизм отдельных личностей в пользу общины, мира, живых и действительных интересов в пользу интересов искусственных, и, наконец, в сфере высших духовно-нравственных интересов — полное отречение от всего, что смягчает жизнь человека, составляя ее прелесть и красоту, от всего человеческого в пользу принципа безграничной духовной свободы, принципа мрачного и безжалостного по своим противоестественным последствиям. Само собою разумеется, что при таких условиях жизнь утрачивает свою цельность и делается лишь подвигом послушания; общество, в котором живет человек, перестает быть средою, представляющею наиболее споспешествующих условий к удобнейшему удовлетворению его законных потребностей; напротив того, оно является тесно замкнутым кругом, который все отдельные личности, его составляющие, порабощает своему отвлеченному эгоизму, в котором до потребностей отдельного лица никому нет надобности, где всякий должен жертвовать своими живыми интересами в пользу интересов искусственных.

И за всем тем не здесь еще геркулесовы столпы аскетического воззрения. Проводя принцип презрения к личности до крайних его последствий, воззрение необходимо должно

прийти к тому заключению, что как бы оно ни поработило частную личность в пользу личности высшей и коллективной, все-таки первая, живя в обществе и составляя одну из деятельных единиц его, невольным образом вынуждена будет предъявить свои эгоистические притязания. Как бы ни предусмотрительно, как бы ни искусственно была придумана форма общежития, в которую мы хотели бы втянуть личность человека с целью сделать ее безгласною, каким бы духом самоотвержения ни были одушевлены самые личности, согласившиеся принесть себя в жертву общежитию, все-таки хоть в слабой степени, хотя в мелочах, личный принцип найдет для себя исход и возможность протестовать против подавляющих притязаний общежития. Очевидно, следовательно, что порабощение частной личности в пользу общины, мира, есть только половина того нравственного подвига, на который *осужден* человек, очевидно, что тут нет еще полного аскетизма, ибо как бы мы ни дисциплинировали волю человека, живущего в обществе, все-таки самое поверхностное понятие о значении последнего предполагает уже существование каких бы то ни было отношений, в которых отдельная личность *непременно* должна выразиться. Где же искать таких благоприятных условий, где найти ту среду, в которой человек являлся бы почти в абстрактном состоянии, отрешенным не только от внешнего мира, прелестного и многомятежного, но, так сказать, от самого себя или, по крайней мере, от своей чувственной природы, где самый подвиг жизни мог бы иметь значение лишь в смысле упорной, безустанной борьбы человека с самим собою? Очевидно, что эта среда находится в лесу, в ущелиях, пещерах и что переход от общества к вертепу делается весьма логически.

Из всего сказанного выше ясно усматривается нелепость воззрения, которое мы не обинуясь назовем аскетическим. Только необычайная слепота и крайнее фанатическое изуверство может приурочить целую народную массу к такому противообщественному стремлению и сделать сие последнее непременным условием будущего преуспеяния этой массы. Но не оправдывается ли оно, по крайней мере, тем, что корни его лежат в народных обычаях, в духе народа? Нет сомнения, что в историческом развитии народов встречаются такие моменты, когда аскетические воззрения на отношения человека к самому себе, к обществу и к высшему существу являются как бы преобладающими. Это те моменты, когда все другие интересы жизни до того скудны, до того неразвиты, что не могут удовлетворить даже самым невзыскательным требованиям, когда личность и самые матерьяльные условия сущест-

вования человека до такой степени не обеспечены, что ему нечего терять, когда, вследствие совокупного действия всех обстоятельств, среди которых живет человек, мысль его, не находя окрест ничего успокоивающего, освежающего, невольным образом отвращается от настоящей жизни, как от жестокого искуса, служащего лишь тесным преддверием к иной, лучшей жизни. Но такое воззрение не составляет исключительной собственности одного какого-либо народа; напротив того, все члены семьи человеческой имели свою эпоху аскетического фанатизма. Крестовые походы и религиозные войны, которые так долго составляли все содержание истории Западной Европы, всегда будут неотразимым опровержением обвинения в религиозном индифферентизме, в котором заподозрена образованнейшая часть человеческой семьи со стороны воззрения, столь щедро наделяющего русский народ аскетическими добродетелями. Нам скажут, быть может, что на Западе это было явление искусственное, возбужденное, результат высшей политики пап, но это едва ли основательно, ибо чьи бы ни были соображения, они не могли бы иметь таких поразительных результатов, если бы в основании их не лежала общая и настоятельная потребность века. Толпе, которая шла за Петром Пустынником, не было дела до высших потребностей; она шла, одушевленная действительным энтузиазмом к предпринятому святому делу освобождения гроба господня; она смотрела на этот подвиг как на исключительную цель всех стремлений жизни, нисколько не доискиваясь посторонних пружин, двигавших этим делом.

Тем не менее подобное напряженное состоянье целого общества не может продолжаться неопределенное время. Самое торжество христианской идеи делает уже фанатические порывы ненужными и даже крайне вредными.

Какая же причина, какие факты могут заставить предполагать, что Россия была причастна этому явлению в сильнейшей степени, нежели прочие народы Западной Европы? Что оно выразилось у нас в иных, своеобразных формах — это вопрос другой, но тем не менее принцип явления был один и тот же как для России, так и для Западной Европы. Затем, чтò заставляет предполагать, что этот принцип и для России не есть уже принцип отживший, исчерпавший все свое содержание? С того времени, когда он безраздельно властвовал над обществом, воды утекло так много, что нельзя думать, чтобы одни аскетические воззрения остались незыблемы и неприкосновенны. Бесспорно, что мы встречаем и в истории и в особенности в памятниках народной старины несомненные свидетельства этого воззрения (об этом будет говорено ниже),

но ведь потому-то и называются эти памятники «стариною», что в настоящее время они уже утратили то значение и смысл, которое имели в эпоху своего появления. Где в настоящее время пустыни, где вертепы, где леса, населяемые странниками, где, наконец, эта богатая народная литература, проникнутая аскетическими воззрениями? Осматриваясь кругом себя, мы видим гражданское общество, видим много недостатков, много порочных людей рядом с людьми, проникнутыми самыми благими побуждениями,— одним словом, все то, что встречается во всяком гражданском обществе, но не видим ни пустынников, ни вертепов. Стихи аскетического содержания стали уже достоянием нищих, которые передают их от поколения в поколение, не придавая этому факту никакого особенного значения. Одним словом, если еще и существуют гдe-нибудь аскетические воззрения на жизнь, то исключительно в небольших группах раскольников, и то самых закоснелых, которые и до настоящего времени убеждены, что царство антихриста уже настало и что спасение возможно не иначе как под условием жительства *в горах, вертепах и рассединах земных, в плачех бесчисленных.*

Но посмотрим, однако же, в каких формах являлось у нас аскетическое воззрение по свидетельствам памятников нашей старины.

Дошедшие до нас памятники народной русской поэзии сохранили в себе много следов этого воззрения. Изданные г. Киреевским русские народные стихи духовного содержания (Чт.<ения> в имп.<ераторском> общ.<естве> ист.<ории> и древн.<остей> росс.<ийских>, № 9) будут служить нам значительным пособием для раскрытия того, в чем заключалось и обнаруживалось это воззрение. Возьмем для примера стих о царевиче Иоасафе, входящем в пустыню. Молодой царевич Осафий покидает свое царство, «свою каменну палату» и приходит в пустыню. Стих не объясняет даже причин такого решения: до того просто и естественно кажется для слагателя это явление; видно только, что юноша просит пустыню:

Научи ты меня, мать-пустыня,
Волю божию творити!
Да избави меня, мать-пустыня,
От злыя муки от превечной!
Приведи ты меня, мать-пустыня,
В небесное царство!

Напрасно пустыня напоминает ему о царстве, о каменных палатах, которые он хочет оставить, напрасно, с другой стороны, предостерегает его, что

Нет во мне царского ества,
И нет во мне царского пойла;
Есть-воскушàть — гнилая колода;
Испивать — болотная водица.

Осафий отвечает ей:

Не стращай ты меня, мать-пустыня,
Своими великими страстями!
Могу я жить во пустыне,
Волю божию творити,
Есть гнилую колоду:
Гнилая колода
Лучше царского ества!
Испивать болотную водицу
Лучше царского пойла!
Житье наше, мать, часовое;
А богатство наше, мать, временное!

Напрасно также пустыня, в противоположность лишениям и «страстям», представляет ему картины природы, которых прелесть должна обаятельно подействовать на впечатлительную душу юноши; напрасно говорит она ему:

Придет мать весна крàсна,
Лузья, болоты разольются,
Древа листами оденутся,
И запоют птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты из пустыни вон изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!

Решение его неизменно. «Не прельщусь», говорит он,

Не прельщусь я на все благовонные цветы!
Оброщу я свои власы
По могучие плечи
И не буду взирать я на вольное царство;
Из пустыни я вон не изыду
И тебя, мать прекрасная, не покину!
. . . .

Тогда только мать-пустыня принимает его на свое кроткое, безмолвное лоно, тогда только она решает наградить «свое милое чадо» «золотым венцом» и «взять его на небеса царствовати». И все, прибавляет от себя слагатель, «все святые, все пустынные жители младому царевичу Осафью вздивовалися, премногому царскому смыслу» [1].

---

[1] Мы имели случай видеть в Нижегородской губ. другой вариант этого замечательного стиха; считаем неизлишним познакомить с ним здесь читателя. Озаглавлен он просто: «Стих Асафа-царевича».

«/Восплачется младь-юношь пред пустынею стоя: /Прекрасная пустыня, любимая мати!/ Прими мя, пустыня, яко чада, на руце; /Научи мя, пустыня, волю божию творити; /Избави мя, пустыня, злыя превечныя

Стихотворений, подобных приведенному выше, ходит множество в народе. В недавно открытом древнем русском стихотворении «Повесть о Горе-Злосчастьи» герой ее, после многих тревог и волнений, приходит к тому же «спасенному пути», на который указывает и «Стих Асафа-царевича». Содержание всех этих «стихов» исключительно аскетическое. Явно, что в представлении народном «пустыня» получала совершенно особый смысл, что в ней русский человек находил удовлетворение всем своим грубо мистическим стремлениям. Действительно, раздолье и беспредельность пустыни, тишина, царствующая окрест,— все это как-то особенным образом настроивает все душевные силы человека, отрешает их от всего временного и ограниченного и устремляет исключительно к вечному и беспредельному. Мир изображается исполненным растления, а о жизни говорится как бы для того только, чтобы напомнить о ее скоротечности и представить в перспективе человеку ожидающую его смерть.

Но здесь-то именно и высказывается вся несостоятельность народного воззрения. Покуда представление народное оставалось лицом к лицу с одною природою, на лоне которой возросло и укрепилось, оно находило и простоту и неизысканность красок для изображения ее, оно само, так сказать, проникалось тою чуткою, поэтическою струею, которая необходима для того, чтобы достойным образом воспроизвести красоты первобытной девственной природы. Но вы уже по

муки; /Введи мя, пустыня, в небесное царство!/ Пророчет мати пустыня архангельским гласом: /Ты млады юношь, Асафей-царевич!/ У меня во пустыни много нужи приняти, /У меня во пустыни постом попоститися,/ У меня во пустыни скорбя поскорбети, /У меня во пустыни терпя потерпети!/ Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: /Прекрасная пустыня, любимая мати!/ Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами, /Могу я, пустыня, много нужи прияти;/ Могу я в тебе, пустыня, постом попоститися;/ Могу я в тебе, пустыня, трудом потрудитися;/ Могу я в тебе, пустыня, скорбя поскорбети; /Могу я в тебе, пустыня, терпя потерпети!/ Пророчет пустыня архангельским гласом: /Ты млады юношь Асафей-царевич!/ У меня во пустыни негде погуляти; /У меня во пустыни не на что смотрити;/ У меня во пустыни не с кем слово говорити;/ У меня во пустыни нет сладкого брашна; /У меня во пустыни нет медвяного пойла!/ Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: /Прекрасная пустыня, любимая моя мати!/ Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами; /Разгуляюсь я во пустыни во зеленой во дуброве;/ Насмотрюсь во пустыни на различные светы; /Со мной будут говорить вси райские птицы;/ А стану я носить черную ризу; /А стану я питатися гнилою колодою;/ А стану я пити болотную воду... /Тебя, мати пустыня, вси ангели знают; /Тебя, мати пустыня, пророцы прославляют;/ Тебя, мати пустыня, ангели хвалят; /Тебя, мати пустыня, преподобные ублажают;/ Тебя, мати пустыня, Предотеча воспевает; /В тебе, мати пустыня, господь на престоле/ С херувимы и серафимы, с преподобною силою». *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

тону «стиха» подозреваете, что природа с ее красотами тут дело постороннее, что все эти обращения к ней как будто только арабески, которыми слагатель вирш хотел украсить свою задушевную мысль. И вот он действительно предъявляет нам ее, с ее скудным и однообразным содержанием, которое составляют: скоротечность земной жизни и награды и наказания, ожидающие в жизни будущей. Но, перенесясь из сферы ему близкой, сферы конкретной в сферу отвлеченную, он не может совладать с своим положением. Все его представления о добре и зле так материальны, так младенчески грубы, что он и будущую жизнь не может сознать иначе, как в «плотяной», темной форме.

В чем же заключается, по этому представлению, заслуга и подвиг жизни? Для объяснения этого обращаемся к «Стиху о нынешнем веке и будущем». Здесь исчисляются, с одной стороны, все добродетели, за которые следует вечное блаженство, а с другой — все грехи и преступления, за которые следует вечная мука. Большинство тех и других заимствовано из св. Евангелия (глава о Страшном суде), но слагатель не ограничивается этим и, обращаясь к праведникам, прибавляет:

Скитались вы в горах, в вертепах, во пу́стынях,
Всё ради меня, ради господа;
Вы всякие нужды принимали
От человека неподобного
Всё ради меня, ради господа.
Закупали вы пищу райскую,
Ели гнилую колоду,
А пили болотную воду
Всё ради меня, ради господа...

Затем грешникам говорит:

Дьявольские помышления
Вы всегда помышляли.
Вы в гусли, во свирели играли,
Скакали, плясали
Всё ради его, ради дьявола.

В другом «стихе» («Прощание души с телом») душа, расставаясь с телом, предрекает себе бесконечную муку. «Почему ж ты, душа, себя угадываешь?» — спрашивает тело.

Потому я, тело белое, себя угадываю:
Что как жили мы были на вольном свету,
Мы на вольном свету, на прошедшем веку́,
Не имели мы ни сѐреды, ни пятницы,
Ни великого поста, понедельничка,
Ни трехденного воскресеньица;
Мы по сѐредам, по пятницам платье зо̀ловали,
Платья зо̀ловали мы, льны прядовали;
Из чужих мы коров молоко выдаивали,

Мы из хлеба спорынью вынимывали,
Не ходили ни к обедне, ни к завтрени;
Мы не слушали звона колокольного,
Мы не слушали пенья божьего, церковного...

Таковы представления о грехе и заслуге; последствия того и другого, выражающиеся в возмездии, ожидающем человека в будущей жизни, вполне соответствуют этому представлению. В особенности, наказания столько же неумолимы, сколько материальны, и с этой стороны совершенно противоречат духу кротости и любви, проникающему христианское учение. Таким образом, грешникам обещается:

Всякиим грешныим
Будет мука розная:
Иным будет грешникам
Огни негасимые;
Иным будет грешникам
Зима зла студеная;
Иным будет грешникам
Смола зла кипучая;
Иным будет грешникам
Черви ядовитые и т. д.

Очевидно, что такого рода представления могут родиться только в голове человека, в котором еще слишком слабо сознание внутренней красоты добра и внутреннего безобразия порока, которого все действия, хорошие и дурные, обусловливаются лишь грубыми, материальными побуждениями, ожиданием внешней осязаемой награды или наглядного и жестокого наказания. Очевидно также, что при таком воззрении жизнь не может являться напуганному воображению человека иначе как в форме сурового подвига, лишенного даже своего поэтического покрова. И в самом деле, как голо, как непривлекательно и безжизненно это холодное, безучастное перечисление мук и страданий самых бесчеловечных! Где тут судия праведный и строгий, но вселюбящий и всепрощающий? Здесь не может быть места ни одному из тех наслаждений, которые, не содержа в себе ничего противоестественного или противозаконного, составляют всю привлекательность и красоту жизни, ибо все, что не подходит под узкие требования аскетизма, беспощадно и безвозвратно предается проклятию. Более всего пострадала от этого воззрения бедная женщина, которая вообще в памятниках нашей старины изображается как начало злое, скверное и *языческое*. Конечно, в народных сказаниях об этом предмете встречается изображение *доброй* жены, которая представляется как муравей в доме, и *доброй* дочери, но памятники как-то чересчур уж умеренны на этот счет: им привольнее говорить о жене *злой*, которая

«всякого зла злее», которую ни с чем иным сравнить нельзя, как с «козою неистовой, сатанинским праздником, гостиницею жидовской». Самая жена *добрая,* в древнем представлении народном, есть не что иное, как работница, «муравей в дому», и если она не удовлетворяет этому представлению (а не удовлетворить ему, по необычайной строгости требований, слишком нетрудно), то делается немедленно *злою.* Иногда даже вообще говорится о женщине, как о пагубе для души, как, например: «некто плакал по жене, приговаривая: не об этой плачу, а о том, что будет другая» [1]. Стих «о грешной матери» коллекции г. Киреевского, во всей отвратительной наготе, выражает это неистово нелепое воззрение на женщину. Вот вкратце его содержание. Сын спрашивает у матери, почему она едет «среди огненной реки на змее трехглавном огненном»:

Жила я была на вольном свете —
Любила я кататися
На добрых конях любодеевых.

Сын спрашивает, почему «крыса скрежет главу» матери:

Жила я была на вольном свете —
Носила я кокошники всё любодеевы.

Вопрос: почему в ушах сидит по мыши проклятой, которые «выедают из главы мозг»; ответ:

Жила я была на вольном свете —
Носила сережки любодеевы...

И так далее, все кресчендо. Надеемся, что от картин такого рода с отвращением отвернется воображение, привыкшее к самому мрачному разврату. Даже странно как-то, следом за этими циническими образами, прочесть следующее поэтически-наивное троестишие, оканчивающее «стих», которое кажется будто позднейшею прибавкою: до такой степени оно мало гармонирует с общим складом целого стиха:

Речет ему мати рожденная:
«Сыне мой возлюбленный!
Не можно ли тебе за меня помолитися?»

Но еще более простора находит себе древнеаскетическое воззрение в сказаниях об антихристе, которого царство, в большей части случаев, изображается уже наступившим. Как мы увидим ниже, беспрестанное ожидание антихриста, в некоторых сектах раскольнических, и доныне возведено на сте-

---

[1] См. по этому предмету любопытные разыскания проф. Буслаева, «Р. Вестн.» 1856 года, № 13. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

пень догмата. Но в чем же заключают признаки появления антихриста? На это отвечает нам «стих о антихристе»:

Народился злой антихрист,
Во всю землю он вселился,
Во весь мир он воружился;
Стали его волю творити:
Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду носити,
Распроклятую траву пити.

Эти признаки весьма замечательны, и мы предоставляем себе высказать ниже наше мнение о них, теперь же посмотрим, какое средство дает слагатель, чтобы избегнуть пагубного влияния антихристова. Эти средства опять леса, пустыни и вертепы; «вы бегите», говорит он:

Вы бегите в темны́я леса,
Зарывайтеся песками,
Рудожелтыми хрящами;
Помирайте вы гладом:
Вы не у́мрете — оживёте,
Моего царствия не минёте! [1]

Везде вертеп, везде пустыня, везде явное нарушение всякого гражданского общества и заменение общественных обязанностей какою-то дикою свободою, более приличною зверям, нежели людям.

---

[1] В рукописных сборниках и так называемых «цветниках» раскольнических и до настоящего времени можно найти самые нелепые легенды о пришествии антихристовом. Нам неоднократно случалось встречаться с этими безобразными извержениями аскетической фантазии. Признаки пришествия врага рода человеческого описываются, между прочим, таким образом: «Когда будет мерзость запустения на месте святе, и исполнится число зверино 666, и рассыплется рука людей освященных, пения и чтения явного нигде же услышится, и будут брани ратные на земли не тако яко же ныне: копие, стрелы, мечи и палицы железные, но будут оружия огнепальные, о них же страшно и рещи, и не будут воинства его нарещатися воинами, но название некое странное, и брады не имуще, яко жены; одеяние имут носить коротко и обтянуто и хвост имущ... Мнози християне впадут в растление и приимут обычаи еллинские и проклятых немец; мужие имут носити одеяние коротко, выше колену и штаны натянуты, жены же будут иметь образ бесовский, главы непокровенны имущи, и на главах имут носити рога скотские и змеины, уподобяся бесу; лица будут мазать вапами, а власы вонями... возлюбят (люди) несытое лакомство, безмерное питие от травы листвие, идоложертвенное, крапленное змеиным жиром; от китян сие будет покупаемо обменою на товары, на осквернение християнских душ...» Предоставляем читателю самому достойно оценить такие идиллические картины и сделать нужные сближения; мы же, с своей стороны, можем только удостоверить, что многое нами здесь выкинуто, по причине крайней омерзительности выражения, прибавленного же или преувеличенного ничего нет. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

Но покуда все эти воззрения остаются только воззрениями, покуда неумолимое, ядовитое жало аскетизма не проникло в самую жизнь, они внушают только отвращение, не принося существенного и положительного вреда. Совершенно в ином виде представляется дело, когда аскетический фанатизм делается принадлежностью жизни, принимает живой образ. Тогда нет пределов зверскому безобразию его.

Одним из разительнейших выражений аскетического воззрения является раскольническая секта так называемых «странников» или *бегунов.*

«Странники, говорит преосвященный Макарий, автор «Истории русского раскола» (стр. 280—283), принимая все начала беспоповщины, смотрят на церковь русскую, как на отступническую, еретическую, и веруют, будто антихрист уже пришел и царствует на земле... Посему — единственным путем ко спасению эти сектанты почитают не только совершенное отчуждение от русской церкви, но вместе совершенное непризнание над собой царской и всякой земной власти и, при невозможности бороться с нею, бегство от антихристова владычества, удаление от семейства, общества, от подчинения каким бы то ни было гражданским законам и *странствование* в лесах и пустынях... Секта странников состоит из двоякого рода членов: из действительных странников и так называемых жиловых христиан или страннопримцев. Действительными странниками признаются те, которые, разорвав все узы семейные и общественные, бродят из места в место, проживают в лесах, пустынях, а часто в городах или селениях, только скрытно, и считают такое странничество единственным условием для спасения в настоящее злополучное время антихристова владычества. От желающего поступить в согласие странников требуется: а) прежде всего, чтобы он бежал из того общества, к которому принадлежит; б) чтобы истребил пашпорт или документ о звании, который считается выдумкою антихриста; и в) наконец, чтобы принял новое крещение. Сан свой странники считают иноческим... Брак совершенно отвергают и признают бо̀льшим грехом, чем блуд, говоря, что общения с законною женой не осудят, потому с нею легче и грешить, а блуд осуждают, и тем отчасти искупляется грех... Эти сектаторы, постоянно скрываясь, даже при простой встрече с кем-либо не объявляют своего звания, следуя правилу: «аще кто вопросит: откуда — ответствуй: граду не имею, но грядущего взыскую»... Жиловыми христианами называются те, которые, еще не вступив в странничество, только приготовляются к нему, живут в мире и принимают у себя странников, разделяя их верования. Как находящиеся еще во

власти антихристовой, страннопримцы могут записываться притворно в ревизских книгах или раскольниками разных сект или даже православными... Под конец жизни страннопримцы и сами уходят в странство; в случае же тяжкой болезни их выносят из домов куда-нибудь в лес или пустыню для того только, чтобы зачислить их состоящими в бегстве и дать им возможность умереть в звании странников, хотя бы они скончались «и в самом близком расстоянии от собственного дома» [1].

Как ни уродливыми, как ни бессмысленными кажутся нам такие противообщественные стремления, тем не менее мы должны сознаться, что не им предоставлено довести аскетическое воззрение до его крайних пределов. Нам очень прискорбно огорчать читателя такими картинами из той давно минувшей русской жизни, которой предания сохраняются лишь в разрозненных и осиротелых группах закоснелых раскольников да в запоздалых и безусловных защитниках русской старины, но мы не считаем себя вправе оставить этот предмет, не исчерпав его до глубины.

Понятия раскольнической секты, известной под именем филипанов, о самосожжении и самоубийстве составляют как бы палладиум аскетизма. Подвиг самоубийства возводится филипанами на степень высочайшей християнской добродетели и самоотвержения, и если эта секта в настоящее время, сколько нам известно, почти не существует, то менее чем за два столетия тому назад она была до такой степени распространена, что составляла действительную и страшную общественную язву.

Послушаем рассказ протоиерея Андрея Иоаннова об этом

---

[1] Хотя многоуважаемый автор «Истории русского раскола» и признает самостоятельность секты странников, но мы, с своей стороны, из его собственного изложения учения этой секты, не видим никаких таких характеристических черт, которые бы оправдывали мнение о таковой самостоятельности. Имев случай практически изучать раскол в многоразличии его проявлений, мы убедились, что догмат «странничества» есть принадлежность и логическое следствие всякого раскольнического учения или, лучше сказать, крайнее выражение их, и что, следовательно, всякий отдельный раскольнический толк имеет своих странников и пустынножителей. Указываемый почтенным автором догмат неповиновения властям гражданским, общий частью всем раскольническим сектам, весьма определенно выражается в учении сект: *федосеевской* и *филипповской,* а потому невольно западает в голову мысль: не есть ли рассматриваемая секта *сопелковцев* (по селу Сопелкам Ярославской губернии и уезда) лишь крайнее и фанатическое выражение одной из поименованных выше беспоповщинских сект. На это же сомнение наводит и общее всем раскольникам учение о числе 666, которое заставляет предполагать, что не одни сопелковцы, а все вообще раскольники разумеют царство антихристово уже наступившим. Впрочем, это не более как догадка, которую мы отнюдь не думаем выставлять как факт несомненный. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

раскольническом толке, помещенный в сочинении его «Полное известие о древних стригольниках и новых раскольниках».

«К самоубийству (филипане) столько склонны, что всегда наведываются, где, когда и сколько сожглось или запостилось самовольно. Старики и старухи, увидя какой-нибудь дом или покой, на их вкус устроенный, со слезами взывают: «О, если бы в таком бог привел сгореть!» Они всякого новоприходящего уговаривают запоститься, чтоб получить венец мученический. Ежели кто согласится на то, таковым заповедуют четыредесятодневный пост. А как знают они, что человеческие силы без пищи сорок дней не вынесут и что человек жив быть не может, то, исповедав по потребнику сих постников, постригают их в монашество и, посхимив, сажают в пустую избу, а чтоб *прежде времени* не умертвили себя, снимают с них всю одежду и пояс и крест и приставляют нарочно к тому определенных, чтобы напоминали им обещание, ими принятое, сообразно Христу. Постники дотоле молчат, доколе силы их сносят, а как начнут ослабевать, то вообразить не можно того мучения, которое терпеть принуждены бывают; они, бедные, тоскуют, тысящекратно раскаиваются, проклинают день рождения своего и прельстивших их, сами себя кусают и терзают. Желают скорой смерти, но не обретают, ибо все способы отняты. Молят о свободе, но не получают. Просят жаждущей гортани каплю воды, но в ответ от приставов слышат: не дастся вам, не дастся, да не лишитеся венцов мученических... Напоследок, истерзавши сами себя, в неописанном безобразии и отчаянье испускают бедную душу свою».

«В 1781 году, продолжает тот же автор, на светлой неделе пасхи, Киевской губернии, в слободе Злынке, один из филипан перекрестил жену свою беременную и троих детей, которых всех в ту же ночь сонных убил, для того, чтобы новокрещенных мучеников удобнее отправить в рай. Поутру же сам пришел в тамошнее правление и, дерзновенно объявляя о себе, говорил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в царстве небесном мученики».

Еще более поучителен переданный в этом же сочинении рассказ о морельщиках некоего Ксенофонта, впоследствии обратившегося из раскола в недра православной церкви. Речь идет о некоем Ионе, который запер двадцать человек в ригу, «и как стало им тошно, то они, взявши камни из каменницы, били в дверь и выбили доску и поползли вон, а мы (то есть ученики Ионы) *каменьями в головы их били, и тако двоих убили,* и, заградивши дверь, донесли о том Ионе, что с ними велит делать? и приказал соломой ригу окласть и сожещи; что

мы тогда ж и исполнили». Замечательнее всего, что за эту послугу Иона своим помощникам «дал по двадцати рублей».

Что эти рассказы не вымышлены, доказательством тому могут служить известия о самосжигателях, сохраненные официальными документами и другими историческими памятниками. Таким образом, в грамоте 24 августа 1685 года царей Иоанна и Петра Алексеевичей на имя новгородского митрополита Корнилия (Акты историч., том V, № 127) говорится, что в деревне Острове, вотчине монастыря Хутыня, собралось в овине и сгорело тридцать человек. В 1687 году сожглись добровольно раскольники, запершиеся в Полюстровском монастыре (Акты историч., т. V, № 157). В 1693 году произошел случай такого же самосожжения в Пудожском погосте, в деревне Строкиной (Акты историч., т. V, № 223). Более же всего страдала от фанатизма раскольников страна Сибирская, где случаи самосжигательства повторялись часто и иногда в огромных размерах. Так, напр., в 1679 году, вверх р. Тобола, на речке Березовке, сгорело разом 2700 душ, прельщенных учением бывшего попа, тюменца Дементьяна.

Замечательно еще, что основание учения филипан взято из Священного писания, и именно они приводят в оправдание своего фанатизма слова св. Евангелия: «Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю» (Марк., <гл. 8>, зач. 35 [1]).

Но увы! и не здесь еще крайний предел аскетических воззрений на жизнь и подвиг ее. Так называемые скопцы превзошли морельщиков в фанатическом безобразии. К сожалению, мы имеем очень мало свидетельств об этой секте, замечательной как высочайшее уклонение человеческого разума. Впрочем, почтенный о. Парфений дает нам некоторое понятие о скопцах в своем «Сказании». Послушаем его:

«Когда мы приехали в Яссы,— говорит он,— то ясские скопцы, узнавши, что мы оставляем раскол и хотим ехать в Россию, захотели покуситься прельстить нас в свою погибель и желали иметь с нами разговор. Хотя я не соглашался входить с ними в разговор, потому что мне уже наскучили и свои толки и раздоры, и думал, что не успели мы еще из одной ямы вылезти, а уже другую бездну нам готовят, однако мой друг Иоанн согласился с ними войти в собеседование. Выбравши место, все сели; и я с ними. Отец Иоанн спросил: «Что хощете у нас спросить, или что хощете сказать нам?» Они отвечали: «Мы наслышаны, что вы оставляете свой раскол и хощете ехать в Россию; мы бы советовали вам лучше остаться здесь и присоединиться к нам». Иоанн: «На чем же вы утверждаетесь в

---

[1] В рукописи ошибочно: 37.

своей вере и какое имеете свидетельство от Священного писания?» Скопцы: «Мы идем по Евангелию; ибо там сказано: *суть бо скопцы, иже из чрева матерня родишася тако; и суть скопцы, иже скопишася от человек; и суть скопцы, иже исказиша сами себе, царствия ради небесного* (Матф. 19. 12). Вот на чем мы утверждаемся».

Опровергнув, устами друга своего Иоанна, нелепое учение скопцов, автор рассказывает кратко историю утверждения этой ереси в Молдавии. Скопцы переселились в Молдавию из России в царствование императора Александра I-го, но никто не принимал их там под свое покровительство. Напоследок, по усиленным их мольбам, принял их молдавский митрополит Вениамин, под условием, чтобы приходили в митрополитскую церковь, прислуживали как митрополитские слуги, причащались ежегодно св. таин по трижды и отнюдь никого не скопили. Но вскоре благодушие митрополита было самым печальным образом обмануто. Думая искусить их, он сделал для них обед, изготовив всю пищу мясную. Скопцы взбунтовались и едва не убили своего благодетеля. Митрополит отрекся от них и передал гражданскому начальству, а молдавский сенат приговорил: «Как людей непотребных и царству бесполезных, выгнать скопцов всех в поле и побить из пушек». Только заступничество русского консула, рассказывает о. Парфений, могло спасти их от исполнения этого решения. И с тех пор они живут в Яссах спокойно, обязавшись только подпискою никого впредь не скопить.

Мы надеемся, что ввиду этих фактов, едва ли кто-нибудь найдет возможным продолжать умиляться над аскетическими стремлениями древней Руси. Да и исчерпывали ли они всю древнюю жизнь нашу? Сомнительно, потому что рядом с «пустынею», рядом с «спасенным путем», встречаются «кони любодеевы», «сережки любодеевы», встречается та безобразная наклонность к пьянству и буйству, против которой так упорно и, к сожалению, почти безрезультатно ратовали святители православной церкви. Не странно ли же связывать настоящее и будущее целого народа такими воспоминаниями и приковывать его навечно к такому бесплодному, невозвратимому прошедшему? Не странно ли обвинять нас в том, что мы как будто бы лишены органа для понимания тех светлых подвигов веры и благочестия, о которых рассказывает нам почтенный автор «Сказания»? Нет, не эти подвиги, полные християнской любви к ближнему и светлой снисходительности к человеческим слабостям, не эти подвиги, допускающие суровость и неумолимую строгость лишь к себе самому; не эти подвиги для нас непонятны; но мы действительно не в силах понять, каким образом

может совершиться возвращение к тому хладнокровному фанатизму, которое, не будучи умерено ни светом истинной веры, ни ясным представлением обязанностей человека и гражданина, дышит ненавистью ко всему, что ставит преграду этой противуобщественной страсти и, питаясь, так сказать, лишь собственным своим содержанием, доходит до неистовства и исступления.

Всякий без труда согласится, что между этими грубыми и уродливыми порождениями фанатизма и суровыми, но в высшей степени человеческими образами, вызываемыми отцом Парфением, целая бездна. Читая рассказы почтенного автора о подвижниках Афонской горы, чувствуешь, какому несомненному развитию подверглось воззрение на подвиг жизни и истинное благочестие. Стремление «переплыть многоволнистое житейское море» и «удалиться в тихие безмолвные пустыни» осталось, но оно не навязывается целой массе народной, а делается достоянием тех немногих избранных, которые считают себя способными и достаточно сильными, чтобы вместить этот безмерный подвиг. В существе своем, это стремление высказывает множество юношески теплых и симпатических сторон, чего ни под каким видом нельзя признать в цинических картинах древнего аскетического воззрения. Между тем и другим так же точно невозможно сближение, как и между побуждением, которое заставляет юношу с бо́льшим сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материяльной сферы, и циническим скептицизмом распадающегося от дряхлости старика, который громит жизнь и ее наслаждения потому только, что пресытился ими до отвращения. В первом случае юноша в одной своей вере в любовь всеисцеляющую и в истину всеразрешающую находит и самую любовь, и самую истину, и разрешение всех сомнений, и сладостное успокоение от всех тревог ума и сердца; во втором — человек находит только холодное озлобление и неумолимую строгость ко всему, что составляло всю прелесть и все содержание прежде изжитого существования.

Разъяснению этой-то могущественной, юношески светлой потребности любви и истины посвящает о. Парфений свое сочинение. Будучи сам причастным этой потребности, нося ее в своем сердце с самого детского возраста и целую жизнь проведя в отыскивании, часто трудном и бесплодном, средств для удовлетворения ей, он находит, для изображения своего предмета, краски, поражающие самого обыкновенного читателя своею высокой поэзией, своею искренностью и свежестью. Воспитание и все обстоятельства, в которых возрос почтенный автор, сложились таким образом, чтобы возжечь в нем

тот светлый огонь веры, который поддерживал его в многотрудных странствиях. Названые родители его были русские раскольники, поселившиеся в Молдавии; первоначальное воспитание автора было, следовательно, основано на правилах раскола, что не помешало, однако же, ему познать истинный страх божий и исполниться того ненасытного стремления к уразумению вечных истин Христовой веры, которое помогло преодолеть все препятствия, встречавшиеся на пути к такому уразумению. В самом деле, если мы примем в соображение, что с самых детских лет вокруг его слышались только постоянные жалобы на мир «суетный, прелестный и многомятежный», которому противопоставлялись картины «тихих и безмолвных мест, пустынь, гор и вертепов», в которых люди, «отложив всякое житейское попечение, посвятили себя на служение единому, истинному своему господу богу и воспевают его день и ночь»; если мы припомним, что подобные картины не случайные только слова, а составляют в известной среде постоянное правило, до такой степени действительное, что оно как бы слилось с жизнью, то нам сделается понятным это страстное желание укротить необузданную юность, прожить опасные младые лета и «переплыть многоволнистое и страшное житейское море, наполненное всяких опасностей душевных и телесных, чтобы достигнуть в тихое и небурное пристанище бесстрастия и там приобрести совершенную любовь к господу богу и к ближним своим, соединиться с богом и наследовать царствие небесное».

И вот, действительно, едва достигнув совершенного возраста, автор немедленно отправляется в странствие «на всю временную жизнь». Надо взвесить беспристрастно последние слова, чтобы вполне оценить все глубокое значение их, чтобы не раз задуматься над громадностью подъятого автором подвига. Тут, в этих немногих словах, слышится полное отречение не только от всех житейских радостей, но даже от самого себя, от своей человеческой воли, и всецелое порабощение всего своего существа идее сурового долга, со всеми его лишениями и беспрерывным трудом. Понятое в этом смысле, решение автора принимает действительно все размеры подвига, исполнение которого под силу только избранным личностям. И мы все, мы, люди, принадлежащие, по обстоятельствам, к миру суетному и, следовательно, стоящие вне этой страстной струи, которая проникает почтенного автора, мы тем не менее сочувствуем его горячему убеждению и с любовию и непрерывающимся интересом следим за его странствием, ибо в каком бы ни стояли мы отдалении от его убеждений, они оказывают на нас чарующее действие уже по одному тому, что в основа-

нии их лежит искренность и действительная потребность духа. Мы далеки от того, чтобы разделять воззрения почтенного автора на «суетный» мир, и между тем готовы сочувствовать ему в его отречении, в его искании тихих и безмолвных мест, в которых человек живет, отложив всякое житейское попечение. Причина этому очень понятна:нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрений этого лица, и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными, и беспрекословно, с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях.

Убеждение, возведенное на такую степень, находит для выражения себя и слово, соответствующее этой энергии. Нельзя без особенного чувства умиления читать рассказы почтенного автора о жизни, проведенной им в пустынях, и о подвижниках, которыми наполнены эти пустыни, эти леса, где не бывала нога человеческая, где люди живут подобно птицам небесным, не зная, что обещает завтрашний день, но твердо веруя, что этот завтрашний день не обманет их, а напитает подобно всем прошлым дням подвижнической их жизни. Считаем не лишним, чтобы познакомить читателя с воззрением автора на жизнь в пустыне, сделать здесь выписку из его поэтического описания местности, в которой находится скит, служивший некоторое время убежищем для нашего странствователя. Скит этот расположен внутри Карпатских гор, в такой непроходимой пустыне, что трудно до него и пешему дойти.

«Проживая в том скиту немалое время, я часто ходил и странствовал по великим горам Карпатским, и по высоким холмам, и по непроходимым лесам; и много утешался, и радовался, и благодарил господа бога моего, царя небесного, что привел меня в такую тихую и непроходимую пустыню. Ибо совершенно закрылся от моих очей суетный и многомятежный мир со всеми своими прелестями и соблазнами. По Карпатским горам мало человеческая нога проходит; разве только одни те, которые ловят зверей. Весь Карпат покрыт великими и непроходимыми лесами и испещрен беспрерывными горами и холмами. Внутри гор нет никакого жительства, ни дорог. Ежели сойти между гор в долину, то и солнца мало увидишь; ежели взойти на высоту гор, то гора горы выше, и холм стоит на холме.

Над всеми же горами Карпатскими стоит, как отец выше детей своих, славная гора Щаглуй с плешивой своей головою.

Сколько ни высоки горы Карпатские, но против Щаглуя ничего не значат: видно его через горы за 200 подобно как за 10 верст. А стоит он внутри гор Карпатских, от преддверия два дня ходу, над рекою Быстрицей, близ самой границы австрийской. На него один день ходу; но мало бывает такого удобного времени, что можно на него взойти; потому что всегда ниже его стоят облака, и часто кругом его бывают дожди; верх у него плоск; на севере стоит гребнем. На верху горы весьма холодно; часто и летом выпадает снег. Внизу, кругом горы, при подошве находятся три монастыря. Но я сам близ нее не бывал, а жил от нее на один день ходу. Сказывали мне те, которые на ней бывали не по одному разу, что путь на нее труден и в ее неприступных пропастях и ущелиях много водится великих змей.

Карпатские горы тянутся от севера на юг и идут сквозь Австрию, Венгрию, Молдавию и Валахию до самого Дуная. За Дунаем называются горы Балканские. Карпатские горы имеют поперечнику 300 верст; ходу 6 дней; леса по горам больше сосновые и еловые, пихтовые, буковые и грабовые; довольно дубовых и березовых; в них множество родится разных грибов, груздей и рыжиков. И часто я ходил по горам и восходил на высоту гор утешать свои скорби любопытным зрелищем: посмотришь на все четыре страны — и ничего не видно, ни полей, ни городов, ни сел, только видны одни горы, покрытые лесами, и выше гор голые вершины; ровного места отнюдь нигде нет. Иные горы дымятся подобно как от пожара; иные испускают наподобие дыму из труб: это всё исходят пары, и делаются облака, а из них идут дожди. Часто мне и сие случалось видеть, что на горе вёдро и сияет солнце, а внизу между гор стоят облака и гремит гром, но только весьма глухо; и когда сойдешь вниз, в скит, то сказывают, что там был сильный дождь и гром, а мы на горе ничего не видали. Таковы горы Карпатские!»

Нельзя не остановиться перед этою просто, но ясно начерченною картиною природы. Многие, быть может, посетуют на автора за то, что некоторые штрихи картины как будто недостаточно развиты, что вся она слишком просто скомпонована, что нет тут ни «переливов света», ни «высей гор, теряющихся в безграничной синеве неба», и прочих витиеватых подробностей, которыми любят украшать современные рассказчики свои затейливые пейзажи. Но нам именно потому-то и нравится эта суровая картина, что в изображении ее все поражает своею умеренностью и трезвостию. Мы постоянно помним и сознаем, что ее воспроизводит нам человек, для которого все существенное, весь смысл жизни заключается в том суровом подвиге,

на который он себя обрек; ясно, что этот человек и на природу смотрит с той точки зрения, с какой она споспешествует совершению этого подвига. Здесь, одним словом, на первом плане стоит не природа, а самый человек, и эта-то зависимость первой от последнего препятствует человеку находить в раскинутой перед ним картине иные краски, иные подробности, нежели те, которые заставляют его искать в ней внутренняя потребность и настроение его духа. Чтобы сделать нашу мысль более доступною, позволяем себе сделать другую выписку из сделанного автором описания Афонской горы.

«Открылась нам восточная страна св. горы Афонския: множество гор и холмов и великих удолий; покрыты все темными лесами. Из-за гор выше всех холмов показывает свою обнаженную голову сам Афон. Но до него было еще далеко, более ста верст. У Афона самый верх голый и острый; сам он стоит выше всех гор и холмов, как отец выше детей своих. И мы ему поклонились, как отцу всея горы Афонския. Монастырей среди скитов ни одного не видим: они все спрятались под крылышки своей матери; стоят между гор в удолиях, в тихих, безмолвных местах. Мы же шли, радуясь и веселясь. *Яко же агнцы на траве пасущися играют: тако мы, по св. горе Афонской идуще веселихомся.* По левую сторону у нас было море, по правую страну св. гора, и впереди нас св. гора, и позади нас св. гора. Оставайся теперь ты, мир, со всеми своими прелестями и со всеми превратными и непостоянными своими красотами. Уже не боимся теперь твоих буйных ветров; не боимся твоих великих волн, ими же ты прельщаешь и уловляешь, разбиваешь и потопляешь рабов божиих, хотящих спастися. *Уже мы теперь в тихом и небурном пристанище...* И тако идохом по св. горе, радостные слезы испускающе и благодарственные гласы воссылающе. И шли мы всё с горы на гору: по обеим странам великие леса, больше сосновые и кедровые; попадалось много дерев прекрасного платану, но мы не знали, как называется, а только удивлялись его красоте и прекрасному листвию. По дороге всё камень. По сторонам много было разных цветов, и много цвело дерев, как в Молдавии весной, и много на древах плодов было, но мы не знали, как их звать, и боялись их вкушать. Это была комарня красная и белая».

Какая простота и умеренность в изображении картин природы, но зато как ярко и выпукло выступает перед читателем самая личность автора!

Но последуем за отцом Парфением, вступим с ним в тот мир, которого двери он нам отворяет. Нельзя без особенного и очень сильного чувства умиления читать рассказы его об этих суровых, но вместе с тем беззлобивых и кротких подвиж-

никах, которые отложили помыслы о всем земном и всецело посвятили себя богу. Мы сознаем, что жизнь эта как будто не по нас, что все коренные понятия наши о жизни и ее требованиях сложились совершенно иным образом, что мы не в состоянии были бы понести и тысячную долю тех нужд и лишений, которые добровольно приняли на себя эти странники моря житейского; мы сознаем еще — что всего важнее,— что через эту неспособность к высоким подвигам отшельнической жизни мы не делаемся ни преступными, ни недостойными членами христианского общества, что, оставаясь в мире, среди его соблазнов и искушений, мы совершенно удобно можем исполнить все обязанности, налагаемые на нас христианским учением; мы сознаем всё это, и между тем не только понимаем, но и всем сердцем сочувствуем этим людям, которые, по-видимому, умертвили в себе все страсти человеческие, отреклись от всего, чтобы исключительно проникнуться одною идеею сурового долга, одним желанием послушания. В конце четвертой части «Сказания» рассказаны жития знаменитейших подвижников св. Афонской горы. Пространнее прочих передана жизнь русского иеросхимонаха Арсения, который был духовником автора и, следовательно, ближе к нему, нежели прочие старцы афонские.

Родился он в г. Балахне Нижегородской губ. от мещан, но на двадцатом уже году оставил родительский дом и пошел странствовать. Посетивши множество святых мест русских и нашедши себе спутника Никиту, уроженца Тульской губернии, пришли оба в Молдавию и там пострижены в монашество. Но не здесь суждено было совершиться подвижнической жизни обоих друзей; внутреннее чувство призывало их на Афонскую гору, в те прекрасные и безмолвные пустыни, о которых с юных лет тосковало их сердце. И вот, преодолев все трудности, без денежных средств, питаясь мирским подаянием, они достигают-таки своей цели и, пришедши в Афон, в то время совершенно разоренный турками, постриглись там в великую схиму. Дальнейшая их жизнь в уединенной келии, в непроходимой почти пустыне, протекла в служении богу и скромных подвигах добра. «Достигли они,— говорит автор,— в тихое пристанище душевного спокойствия и безмолвия, сиречь соединения ума с богом. Отцу Авелю (Арсению) дал господь дар рассуждения, вкупе и прозорливства; отцу же Никандру (Никите) — дар слезный: ибо плакал день и нощь до самой смерти». Этот «дар слезный» принимает иногда под симпатическим пером автора размеры глубоко потрясающие. Таков, например, рассказ о служении литургии. «Многажды мне случалось,— говорит автор,— взойти в притвор и слушать их громогласную

литургию и музыкальное их пение, слезами растворенное. Вижду двух старцев, постом удрученных и иссушенных: один в алтаре, пред престолом господним стоит и плачет, и от слез не может возгласов произносить, только едиными сердечными воздыханиями тихо произносит; а другой стоит на клиросе и рыдает, и от плача и рыдания, еще же и от немощи телесной, мало что можно слышать».

Начало жизни своей они проходили по пустынному уставу, не занимаясь никаким житейским попечением, ни садом, ни огородом, ели единожды в день, а в среду и пяток оставались без трапезы. Пищу их составляли: сухари, моченные в воде, и черные баклажаны квашеные, посыпанные красным перцем. Ночь всю препровождали в молитве, и если сон превозмогал, то «сидя давали место сну, не более часу во всю ночь, и притом *неприметным образом»,* разговоров между собой отнюдь не имели, а пребывали в молчании и беспрестанной умной молитве. Жить с собой они никого не принимали и говорили: «С нами жить никто не может. Мы едва в тридцать лет достигли в эту меру жизни, и теперь еще искушаемся и изнемогаем: хотя дух и бодр, но плоть немощна, аще не бы благодать божия подкрепляла нас». «Сии два старца,— прибавляет автор,— толико возлюбили господа своего, что ни на одну минуту не хотели с ним разлучиться, но всегда с ним беседою соуслаждались, умом и сердцем и устнами».

Это не тот черствый, беспощадный аскетизм, который поражает нас в памятниках древней русской жизни; здесь подвиг благочестия и самоотвержения, растворяемый любовью к ближнему и смягчаемый светом истинной веры, является читателю украшенным всеми своими симпатическими сторонами. Бескорыстие и готовность жертвовать собою на пользу ближнего возведены здесь на ту степень, где человек является как бы отрешенным от своей индивидуальности. Таков, например, рассказ о хиосском христианине, у которого турки увели в плен жену и детей и требовали за выкуп их пять тысяч левов. У отца Арсения было две тысячи левов, которые он, с учеником своим, долгое время и с великим трудом накопил, имея в виду поправить этими деньгами свою келью. Однако великий подвижник Христов ни на минуту не усумнился отдать их сполна бедному христианину и сам остался вновь ни с чем. Рассказ этот, под пером почтенного биографа, дышит необыкновенным благодушием и тою симпатическою теплотою, которая необходимо одушевляет истинную любовь христианскую.

В высшей степени замечательно также описание смерти другого подвижника Афонской горы, схимонаха Макария, родом грека. Причастившись св. таин, он пришел к игумену и

сказал: «Прости меня, отче святый, и благослови: я хочу умереть». Вышедши от игумена, пошел в больницу и просил койку, и на вопрос больничаря: «На что тебе, отец Макарий, койку?» — отвечал: «Умирать хочу». Потом со всеми простился, возлег на постель и скончался.

Таковы афонские отцы по рассказам почтенного автора, но кроме их, есть много и таких отшельников и пустынножителей, живущих кругом самого Афона, которых и в монастырях никто не знает. Живут они в пещерах, одежда на них обветшала, ходят полунагие или покрытые власами, питаются «самрастущими травами», а от людей укрываются. Заставши однажды одного такого пустынника, монахи узнали от него, что он уже сорок лет живет в пустыне, с небольшим числом пустынников, не видя никого, кроме своей братии. На вопрос «как проживали они в течение шести лет, когда Афонская гора была разорена и всюду ходили турки», он отвечал: «Ничего мы не видали и не слышали».

Или вот еще изображение схимника Иоанна, жившего в келии, близ монастыря Вороны (в Молдавии): «Роста был он среднего, власы на голове поседелые, белые, брада небольшая, белая; и так был сух, что крови и мяса неприметно, кроме кожи и костей; лицем светел и весел, и всегда очи его были наполнены слез, и никогда ничего не мог говорить без слез. Слово его было тихое, мягкое и кроткое, трогательное, так что мог всякого заставить с малых слов плакать; на ходьбе был легок; пищи употреблял мало, лакомства отнюдь никакого не имел; всех учил и наставлял наипаче терпению, послушанию, посту, смирению и любви; некоторых — и созерцательному богомыслию, но не всех; а наипаче всем внушал, чтобы истово ограждали лице свое крестным знамением».

Необходимо, однако ж, при этом сказать, что самая среда, в которой живут афонские отцы, и образ их жизни делают понятными те почти сверхъестественные подвиги, которых примеры приведены нами выше. Молитва и труд, и то и другое почти безустанно: вот обычное течение жизни иноков. Известный Святогорец, в своих письмах о св. горе Афонской, говорит, что там в простое время продолжается утреня от 4 до 5 часов, а бдения продолжаются от 8 до 14 часов. Между прочим, первый вечерний псалом *«благослови душе моя господа»* продолжается... *час с четвертью!!!* (См. Письма Святогорца, ч. I, изд. 2, стр. 86.) После таких подвигов, которых ни один из иноков даже не считает за подвиг, делается понятным даже правило схимника Тимофея (Сказ. о стр., ч. III, стр. 67), который каждую ночь становился среди церкви на умную молитву и стоял двенадцать часов и более, как столп, недвижим.

«И от того стояния,— прибавляет почтенный автор,— *ноги у него опухли и сделались весьма толсты».*

Понятно, что при таком исключительном, особенном образе жизни, и ум и чувство человека приобретают своеобразный склад, совершенно отличный от понятий и чувств общепринятых. Здесь является особенный дар прозорливства, дар обонять то «благоухание», о котором так часто говорит о. Парфений, особенное пристрастие везде находить чудесное и всякое явление в природе объяснять вмешательством какой-то высшей, самостоятельно действующей силы. Так, например, старцы афонские почти все заранее предугадывают время смерти своей и при жизни еще делаются как бы причастными откровению, которое раздирает для их глаз завесу будущего. С этим особенным направлением всех чувств и помышлений нас в совершенстве знакомит о. Парфений, передавая в книге своей как собственные впечатления, так и рассказы посторонних лиц о разных явлениях природы. Чтобы ознакомить читателя с этим взглядом, не излишним считаем сделать выписку из заключительных параграфов 4-й части «Сказания».

«От Афонской горы три дня ходу есть полуостров Кассандра. Там наш русский монастырь имеет водяную мельницу. Вода на мельнице удивительная: когда она сбегает с колеса, то претворяется в камень и замерзает сосульками, как лед чистый; но это не лед, а камень; такожде обмерзает и колесо, и часто его обрубают и очищают. Таковая же вода есть и в Афоне, в монастыре Хилендаре.

Болгары сказывают вещь неудобь вероятную,— что в Македонии, в двух местах, одно близ города *Неврокопа,* а другое от Солуни день ходу, стоят по целому обозу, один за другим, окаменелые люди, верховые и пешие, мужчины и женщины. А предание о них имеется такое: якобы в древние времена, когда еще были там идолопоклонники, ехали беззаконные свадебные поезда и окаменели. Мне самому видеть сего не случилось, а пусть рассуждает кто как знает.

Еще скажу следующее: шли мы из Иерусалима и стояли в карантине двенадцать дней, на острове Самосе, внутри гавани, подле монастырька; там, близу нас, из-под камня протекал большой источник воды холодной и сладкой, которою пользовались мы три дня, и благодарили бога, что привел стоять в карантине, подле такой воды благодатной. В тех странах ничто так не нужно, как добрая вода. Но в четвертый день утром, когда мы пришли взять воды, ни одной капли не нашли, и источник весь высох; видевши сие, мы весьма ужаснулись и много тому удивлялись, куда девался толь великий источник воды; плакали и говорили, что, видно, за великие наши грехи

взял от нас господь эту благодать. Потом пришел игумен и сказал нам, что сия вода раза три и четыре в год престает течь, а после паки начинает течь. И мы три дня великую имели нужду в воде, а после паки она потекла по-прежнему: и мы много тому удивлялись. А отчего это происходит, никто сего не знает. А источник столь велик, что может быть пригоден для мельницы».

К этому же разряду воззрений относятся два рассказа, приводимые в «Письмах Святогорца». В одном идет речь о пустыннике, который, «пробудившись в полночь, засветил огня, и едва стал на молитву, вдруг услышал звуки труб и литавр, гам вооруженных людей и звон кровавой сечи; смутившись такою нечаянностью, пустынник с изумлением спросил себя: откуда и что здесь за война в глубокой пустыни? Действительно, война, и война жестокая, отвечал представший ему демон, ложись и спи; тогда и не будет войны, потому что я с ленивыми не борюсь». Другой рассказ заимствован из истории Георгия Кедрина. «Вшед проклятый Иулиан (богоотступник) в Персиду, посылает беса к Западу принести ему ответ оттуда скоро. Но сей бес воспящен был в шествии от некоего пустынника десять дней, и не могши шествовать далее, паки возвратился к Иулиану. Сей вопросил беса о причине коснения. Бес ему ответствовал: и укоснел я и без всякого был действия. Ибо дожидался я некоего Пуплия пустынника, *доколе докончит он свою молитву, и не скончав ея в десять дней,* воспрепятствовал мне сотворить твою волю».

Но в то самое время, когда на юге, среди чуждой народности, совершаются указанные выше подвиги самоотвержения, тот же самый склад мысли, та же струя чувства и с тою же силою отзывается на отдаленном севере. Здесь выразителем их служит ссыльнокаторжный богомольского винокуренного завода (Томской губ.), Даниил Корнильев Дема. В этом заводе он находился несколько лет под ведением первого пристава, Егора Петрова Афанасьева, от которого претерпел много гонения. «Сей называл его святошею,— говорит о. Парфений,— и употреблял его в самые тяжкие работы. Но он все работы, возлагаемые на него, исправлял без опущения и по вся ночи стоял на молитве; пищи вкушал очень мало, и то только хлеб и воду. Среди дня, когда прочие отдыхали, он удалялся на молитву в уединенное место, где бы его не видно было. От того наипаче начальник Афанасьев на него сердился и насмехался, говоря ему: «Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!» Однажды, в зимнее время, обнаженного его посадил на крышу дома своего, велел из машин поливать его водою и с насмешкой кричал ему: «Спасайся, Данил! ты святой!» Он ему ничего не отвечал,

а молился только о нем же богу, чтобы не поставил сего ему во грех»...

Этот рассказ, заимствованный из достоверных источников, приводит нам на память другой подобный, переданный тем же Ксенофонтом, на свидетельство которого мы уже ссылались.

«1783 года. Познавши тоя волости (Вологодской губ. Устюжского уезда) священник, что много отверглось от сообщения святыя церкве детей духовных, и наведавшись про нас, где живем и куда приходим, донес в духовную консисторию, а сия просила светское правление поступить с нами по законам. Вследствие чего, из губернии отправлен был капитан-исправник, который, приехавши к нам с командою нощным временем, и *вначале взявши детей наших*, допрашивал о нас с жестоким истязанием. Я в то время с дядею отлучился в жило для нужной потребы, а показанный Тимофей (живший вместе с рассказчиком) за несколько перед тем вышел к соседу. Дети при допросе показали, что нас дома нет, что мы отлучились в жило; а как капитан спрашивал и о Тимофее, то они показали, что и он с нами был. Когда же, по приходе нашем, увидел он, что с нами Тимофея нет, то начал допрашивать меня, где Тимофей, и как я его не показал и грубыми речьми *нарочно капитана раздражал, чтоб он меня начал бить и убил до смерти, то он так жестоко бил меня плетью, и так пробил тело на хребте моем, что оно висело лоскутами, а после, сгнивши, опало; от чего так тяжко было мне, что я не помышлял себе живому быть*. Болезнь от побоев продолжалась более полугода, через все же это время был я под стражею, и потому ниже лекарства принять было можно. А какие претерпел изнурения, будучи при допросах и скован по рукам и по ногам, то в своем Красноборске, то в Устюге и в Вологде, хотя бы все сие пострадал я, но не по разуму, поелику все то противно было богу и церкве, яко же и апостол пишет: «аще и постраждет кто незаконно, не венчается». Бог един ведает, что не было в моем разуме желать и искать суетной и тщетной славы человеческой, или скорогибнущего и суетного богатства, и потому вся сии мои страдания и внутренние и внешние ни во что полагал, понеже нельзя человеку, спасающемуся без сих великих искушений, в познание себя прийти, и аз многогрешный зело о сем радуюся, что через вся сия великая искушения познал себя и матерь свою святую соборную и апостольскую церковь, которая меня издетска породила и воспитала, якоже матерь питает сосцами любимое свое чадо; и хотя супостат и наветник душ человеческих, восхитив овцу от Христова стада, загнал в горы, во тьму заблуждения прелести своей; но создатель мой

господь, видя скитающуюся по дебрям заблудшую овцу, сыскал ее и, возложив на рамена своя, привел в ограду словесных овец» (Полн.<ое> Истор.<ическое> изв.<естие> о стригольниках и пр. протоиерея Андрея Иоаннова, изд. 5, ч. IV, стр. 115 и 116).

Хотя в последнем рассказе истязуемым субъектом является раскольник, тем не менее значение обоих фактов совершенно одинаково. С одной стороны, являются пристав Афанасьев и капитан-исправник, явления равно безобразные, равно убежденные в законности торжества материяльной силы над силою нравственною и во имя первой совершающие самые вопиющие бесчинства; с другой стороны, встречаем мы Даниила и Ксенофонта, которые, несмотря на все различие положений и убеждений, становятся в наших глазах представителями той великой нравственной силы, которая до того живуча, что, несмотря ни на какие препятствия, ни на какие утеснения, постоянно всплывает наверх. Здесь не может быть речи о том, находится ли заподозренный субъект в обладании истины или нет; здесь весь вопрос заключается в том, что субъект этот есть представитель известного убеждения, которое образовалось в нем не случайно, а вследствие продолжительной и трудной работы мысли, и что по этому самому обладатель такого убеждения не заслуживает того высокомерного презрения, с которым относятся к нему люди, убежденные в своем праве потому только, что обладают матерьяльными средствами, чтоб поддержать это право. Практическая мудрость всех времен и народов положительно доказывает, что такое вмешательство материальной силы в сферу нравственных убеждений не только не уничтожает сии последние, но еще более раздражает их и возводит на ту степень ожесточения, которая преступает даже пределы самого слепого фанатизма. Вообще вопрос о том, какого рода должны быть отношения к такого рода явлениям мира нравственного, есть предмет, заслуживающий самого серьезного изучения, и мы намерены ниже коснуться его несколько подробнее. Здесь же можем только сослаться на обоих уважаемых нами авторов. Оба самым убедительным и, так сказать, наглядным образом объясняют нам не только явную бесполезность, но и совершенный вред насильственных мер в этом отношении. Убеждение, воспитанное работою целой жизни, до такой степени всасывается во все существо человека, сливается с ним, что даже в то время, когда уже начинает сознавать свою собственную ложность, оно не может вдруг отказаться от самого себя, потому что это значило бы отказаться от труда целой жизни, а такого рода подвиги совершаются не легко. За первыми возникшими сомнениями следует

тяжелая и болезненная борьба, и благо тому, который найдет в себе достаточно силы, чтобы выйти из этой борьбы, сохранив в себе прежнюю свежесть и ясность души. В этой борьбе всякое возникающее сомнение вызывает за собою целый ряд новых сомнений, из которых каждое взвешивается не только с крайнею осмотрительностью, но даже с придирчивостью самою мелочною. Долгое время сердце остается на стороне старых, обветшавших убеждений, с которыми давно свыклось, и до тех пор длится это межумочное состояние, доколе разум, уже подкопавшийся под все основания старого здания, не нанесет ему решительного удара, от которого оно обратится в безобразные и не имеющие живого смысла развалины. Послушаем, например, что говорит о. Парфений о своем обращении в недра православной церкви:

«Получивши паспорт, мы отправились в путь через австрийское владение в Россию, с намерением ехать в единоверческий Высоковский монастырь, что в Костромской епархии. *Вот сколько в человеке укореняется раскол* (и не один раскол, прибавим мы от себя, а всякое убеждение, которого корни лежат в сфере нравственной) *и как бы совершенно обращается в природу! Хотя мы непринужденно и по искреннему своему расположению,* истинно и добровольно обращались ко св. восточной греко-российской Христовой церкви и во всем ее признали справедливою, но в православные монастыри еще прямо поступить не пожелали, а только захотели присоединиться к единоверию. *Что же сказать о тех, которые из раскольников присоединяются к св. церкви по принуждению или по какому-либо нечистому побуждению? Не только церковь иметь не будет от них какую-нибудь пользу, но они еще горшее сотворят. Я много таких знал».*

Слова эти в полной мере подтверждаются и тем рассказом инока Ксенофонта, на который мы уже столько раз ссылались. Что должен был чувствовать этот Ксенофонт в то время, когда слишком усердный капитан-исправник, по энергическому выражению инока, «превратил в лоскутья тело у него на хребте»? Очевидно, что в уме его не могло крыться иной мысли, кроме той, что будь этот капитан-исправник, безобразный и пропитанный сивухой, в эту минуту в его руках, то, конечно, матерьялом для лоскутьев послужила бы иная спина, иное тело! И действительно, только разумное слово, только благость и милосердие растворили сердце бедного, отуманенного лжеучением раскольника, только кротость и тихие, ласковые слова преосвященного митрополита Гавриила нашли доступ к этому ожесточенному сердцу, а терпение довершило остальное. Великие и милосердые святители православной церкви всегда по-

нимали, что человек, как бы ни была извращена его природа, все-таки носит на себе образ божий, и по этому одному уже заслуживает, чтобы к нему относились, по крайней мере, с терпением. Таким же образом действовали и благодушные монархи наши, как это будет показано ниже. Одни только капитаны-исправники XVIII столетия не умели отличить в человеке его человеческого образа.

Но обратимся к прерванному нами рассказу о жизни старца Даниила, извиняясь перед читателем в слишком пространном уклонении от этого рассказа. Отпущенный, за неспособностью к работе, на волю (на пропитание), он ни о чем уже не думал, кроме спасения души своей. Поселился он близ города Ачинска в деревне Зерцалах. Там была и келия его, «подобно гробу, выкопанному в земле, ширины — вершков двенадцать, вышины и длины — в его рост, а окошечко на восток самое маленькое». Пища его была хлеб, и то больше гнилой, да еще иногда картофель; одежда, по рассказам очевидцев, такая, что «если б бросить ее на улице, то никто бы не поднял», да и ее он оставлял в сенях, а сам пребывал в келии нагой. Молитва его была беспрестанная и духовная; он весьма любил молчание и даже нужное говорил кратко и мало и более притчами, «а разговоров мирских, политических и исторических даже отнюдь не терпел». Чтобы дать понятие о его подвижнической жизни, достаточно сказать, что пред вкушением пищи он под пояс себе забивал деревянный клин, чтобы менее съесть. Незадолго перед смертью он снял с себя вериги, и на вопрос, почему он это сделал, отвечал, что они не стали уже ему приносить пользы, потому что тело его так привыкло к ним, что не чувствует ни тяжести, ни боли. Замечательно высказанное при этом следующее воззрение на подвижническую жизнь: «Тогда только полезна вещь, или подвиг, или добродетель для души, когда они наносят скорбь или обуздание телу... Пусть лучше говорят, что Даниил ныне уже разленился и вериги с себя скинул: это будет для меня полезнее...» Нестяжание его было совершенное; милостыни не принимал, но и не подавал, потому что подавать было нечего; работал безмездно, к бедным ходил жать и косить, но преимущественно в ночное время, чтобы никто не мог его видеть. От постоянного молитвенного стояния на коленах его наросли струпы бугром, и под ними завелись черви.

Но остановимся здесь. Хотя многое в образе старца Даниила, начерченном автором «Сказания», неполно, а многое оставлено как бы необъясненным, тем не менее и по отрывочным данным, которые предлагаются о. Парфением, читатель удобно может воссоздать себе эту высокую личность. И нет со-

мнения, что, несмотря на всю ее суровость, читатель найдет в ней много таких сторон, которые вызовут всё его сочувствие. И во-первых, эта незлобивость, эта кротость перед буйством матерьяльной силы, выразившейся во всей ее отвратительной наготе в лице пристава Афанасьева; во-вторых, это бесконечное нестяжание, соединенное с совершенною любовью к ближнему,— все эти факты ставят личность Даниила неизмеримо выше грубых порождений древнерусского аскетизма. Древнее воззрение на подвиг жизни носило характер несомненно противообщественный; это понятие и понятие о гражданском обществе не могут уживаться рядом; там, где человек порывается в леса и пустыни, там, где всякое подчинение гражданскому закону считается грехом и печатью антихриста, там, конечно, не может быть и речи о каком бы то ни было общественном строе, ибо здесь нет элементов, достаточных для устройства гражданского общества, а есть стадо, которого многочисленные единицы, не связанные между собою никакими взаимными обязательствами, стремятся окончательно эманципироваться в лесах, из которых им удобнее изрыгать свои хулы на человека. Напротив того, характер нынешнего благочестия православного не подрывает общества и, оставаясь в своей скромной сфере, оставаясь верным своему христианскому назначению, не бьет по глазам и не проклинает тех, которые не в силах вместить всей громадности подвигов, способность к которым дается в удел только немногим избранным натурам. Прекрасно стремление всецело посвятить себя на служение богу, в высшей степени симпатична эта жажда успокоиться на лоне природы и в утешениях молитвы от тревог и волнений жизни, но для удовлетворения этому стремлению нет надобности принимать звериный образ и разрывать всякую связь с обществом. Для этого существуют монастыри, в которых и жажда молитвы, и самое строгое благочестие могут вполне достигнуть своих целей. Скажем более: по мере выхода общества из младенческого состояния, по мере большего и большего заселения территории, древние, необузданные формы жизни делаются невозможными. Благоустроенное общество вправе требовать от каждого из своих членов, чтобы он, по крайней мере, не причинял ему вреда своими действиями, если уже не в силах принести положительную пользу. Кто может определить, для каких целей человек разрывает связи свои с обществом, кто может ручаться, что в этих пустынях, в этих лесах находит себе пристанище именно благочестие и жажда молитвы, а не преступление и разврат. С своей стороны, мы никак не взяли бы на себя ответственности утверждать, что последние побуждения оказывают менее влияния на решимость человека необразован-

ного, нежели побуждения чистые и светлые. Напротив того, мы практически имели случай удостовериться, что истинное благочестие не бегает света, что леса и пустыни скрывают нередко самые гнусные, самые безобразные преступления и что, наконец, в настоящее время, когда сознание гражданских обязанностей все ярче и ярче выступает вперед, беганье по лесам и пустыням сделалось уделом исключительно одних фанатических сторонников раскола.

Все изложенное выше, по мнению нашему, достаточно удостоверяет в невозможности применения начал древней русской жизни к будущему развитию нашего молодого, но крепкого, исполненного жизни общества. Эти начала носят в себе так мало задатков чего-либо положительного, органического, они сами по себе так односторонни и бедны содержанием, что возвращаться к ним, в настоящее время, значило бы подвергнуть самих себя реформе самой насильственной и неестественной. Раскол служит тому самым убедительным и наглядным доказательством. Это единственное наследие, оставшееся как бы неприкосновенным от прожитой нами жизни. Но и здесь, и в этом явлении видим мы уже несомненные признаки разложения, которые явно свидетельствуют о его несостоятельности и предсказывают ему скорый и неизбежный конец.

Хотя мы и касались выше неоднократно этого предмета, но занимательность и важность значения его в сфере русской жизни таковы, что мы считаем не лишним подвергнуть его более подробному объяснению, тем более что рассматриваемое нами «Сказание» содержит в себе множество указаний, которыми мы и не преминем воспользоваться.

ЗАМЕТКА О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН

Меры правительства, по изменению и устройству быта помещичьих крестьян, должны дать начало целому ряду новых отношений, доселе нам совершенно неизвестных. В настоящей заметке мы желаем коснуться исключительно одной категории этих отношений, и именно той, которая определяет будущее положение крестьянина в личных сношениях его с помещиком.

Прежде всего встречается здесь вопрос, какого рода могут быть отношения крестьянина к помещику: исключительно ли имущественные, как наемщика известного имущества к его владельцу, или вместе и имущественные и личные? Что касается до первых, то не может быть подвержено сомнению, что, по крайней мере, в продолжение первых двенадцати лет, когда крестьяне, за отведенные им в пользование помещиками земли, будут обязаны отбыв[ать определе]нные денежные или н[атуральные по]винности и когда вм[есте с тем] они будут лишены права переходить с места на место, между ними и помещиками должны завязаться весьма тесные сношения, имеющие характер имущественный. Но, несмотря на свою особенность, эти отношения не представляют существенного отличия от тех, какие могут существовать между кортомщиком и владельцем всякого другого имущества. Это отношения двух участвующих в контракте сторон, и хотя здесь нет контракта писаного, однако это нисколько не изменяет существа дела, потому что обязательность имущественных отношений в этом случае так же действительна, как и обязательная сила контракта.

Совершенно другое дело отношения личные. Здесь мы видим, что обыкновенный или свободный наем частного иму-

щества не обязывает нанимателя ни к каким личным отношениям к владельцу его, что они могут остаться лично совершенно чуждыми друг другу, лишь бы с той и другой стороны были соблюдены постановленные контрактом условия. Следует ли эту свободу и необязательность личных отношений перенести и в ту юридическую сферу, которая имеет образоваться, как необходимое следствие предпринятой правительством реформы? И ежели следует, то с какого именно времени, то есть с началом ли переходного состояния или только по окончании его?

Но предварительно необходимо дать себе отчет, в чем заключается истинное значение того состояния, которое называется переходным, и в каких видах оно является необходимым. Обращаясь к циркуляру г. министра внутренних дел, мы находим, что переходным состоянием называется тот период времени, в продолжение которого крестьяне должны выкупать свои усадьбы, а цель, с которою оно установляется, заключается в том, чтобы крестьяне оставались в это время крепкими земле. Крепкими земле должны остаться крестьяне как для того, чтобы устройство новых поземельных отношений произошло постепенно, без крутых и внезапных потрясений, так и для того, чтобы предотвратить в сельском населении подвижность, которая в видах государственных признается преждевременною. Из этого возникают для крестьянина два рода отношений к помещику: во-первых, обязанность производить по частям уплату выкупной суммы, во-вторых, обязанность отбывать определенные повинности за право пользования пахотными землями. Отношения, как видится, чисто имущественные, которые могут быть формулированы сле-д<ующим> образом: А. дает усадьбу, Б. выплачивает ему ее стоимость; А. отдает внаем участок земли, Б. уплачивает ему за это ежегодный оброк. Кажется, тут нет и не может б[ыть недоумени]й. Но, возразят нам, отношения [эти не могут] быть названы в полном смысле слова юридическими, потому что они основаны не на обоюдном согласии договаривающихся сторон, а на обязательной силе высшего распоряжения, истекшего из начал государственной необходимости; следовательно, тут и норма оброка, платимого за землю, и самое количество земли, отводимой в пользование,— все определено заранее, так сказать, фаталистически. Согласны; тем не менее, однако ж, каким бы порядком ни были определены отношения крестьянина к помещику, они все-таки такого рода, что изменение их не зависит ни от той, ни от другой стороны; все-таки, значит, они имеют всю твердость юридических отношений, ибо помещик даже в продолжение переходного состоя-

ния не будет иметь право требовать отправления иных каких-либо повинностей, кроме тех, которые будут определены подлежащим Губ<ернским> Комитетом и утверждены правительством. Следовательно, приведенное выше возражение может вести лишь к тому, что для обсуждения столкновений, которые могут возникать из такого рода исключительных отношений, необходим также исключительный суд, но не более того. Удовлетворение этой потребности уже предусмотрено в предположении об учреждении особых уездных присутствий, которых назначение должно заключаться именно в разборе недоразумений между помещиками и крестьянами по их взаимным имущественным отношениям. Где же во всем этом предлог для продолжения личных отношений между крестьянином и помещиком, или лучше сказать, для продолжения личной зависимости крестьянина от помещика, ибо, при неравенстве условий, личные отношения без личной зависимости немыслимы.

Предлога этого (по крайней мере, внешнего) ищут в том, что «вотчинная полиция предоставляется помещику». Слова эти истолковываются весьма различно. Одни полагают, что на время переходного состояния необходимо вооружить помещика понудительными средствами или, точнее, правом наказания, как единственным путем для обеспечения исправного отправления повинностей. Но это толкование, очевидно, несостоятельно, ибо обязанности полиции не в том только состоят, чтобы наблюдать за выгодами помещика: помещик, делаясь полициймейстером своего имения, становится вместе с тем и органом общей государственной полиции, и в этом качестве нередко должен будет найтись в явном противоречии с своими выгодами. Все это, как мы увидим далее, не только возможно, но и должно. Другие идут еще далее и смотрят на помещиков как на прирожденных полициймейстеров в районе своих имений, которым принадлежит право полицейской расправы не только в тесной сфере отношений, образующихся между помещиком и крестьянином, но и в смысле более обширном, государственном, и не только на время переходного состояния, но и на вечные времена.

Посмотрим, в какой степени возможно применять к означенным выше словам, лишь в общих чертах характеризующим будущее устройство вотчинной полиции, подобные матерьяльные и даже [более че]м буквальные толкования.

Представим себе помещика, сделавшегося полициймейстером своего имения. В чем могут заключаться его полицейские права и обязанности относительно крестьян, кроме права наказывать крестьян за неисправное отправление господских

повинностей? По общим законам, обязанности полиции обнимают: охранение православной веры и прав церкви, охранение общественной тишины и спокойствия, наблюдение за нравственностью, за ненарушением правил, предписываемых особыми уставами о паспортах, о производстве торговли, о народном здравии и т. п. Из числа сих обязанностей, вполне только одна, а именно: наблюдение за нравственностью, и частью тоже одна: охранение общественной тишины и спокойствия, предоставлялись доныне помещикам и составляли одну из характеристических черт того, что мы называем крепостным правом; прочие же и доселе подлежали ведению общей полиции. Такой порядок вещей весьма рационален: вера, церковь, народное здравие, торговля — все это такие понятия, которые выходят из узкой сферы частных интересов, и как бы ни была велика сила обстоятельств, допускающая временное владычество частного на счет общего, тем не менее в сфере народной жизни все-таки найдутся такие явления, на которые нельзя смотреть иначе, как с высшей точки зрения, оставив в стороне все пришлое и случайное. Как ни сильно пустило корни крепостное право во все общественные отношения, все-таки оно не могло проникнуть их до такой степени, чтобы связать с собою участь всего государственного организма, и овладело только одною, самомалейшею частью одной из отраслей государственного управления: полиции. Правда, что все предметы полицейской деятельности так тесно между собою связаны, что нельзя уступить из них одного, чтобы прочие от этого не пострадали. Таким образом, мы видим, что, при возможности распоряжаться личностью крестьянина, помещики мало-помалу сделались судьями и в делах, подлежащих ведению общей полиции, потому что нередко от произвола их зависит или отдать известное преступное действие на суд полиции, или ограничиться относительно его домашнею расправою. Но все-таки это не более как злоупотребление, конечно, необходимо вытекающее из практики, но законом оно допущено не было и всегда подвергалось его преследованию. Да притом это положение вещей, которого корни питаются отживающим свое время крепостным правом, и не может служить образцом для будущего полицейского устройства, по той простой причине, что не будет тех условий, которые его породили. Нам скажут, быть может, что помещик, делаясь полицийместером в районе своего имения, этим самым становится на ту общую точку зрения, которая необходима для того, чтобы исполнять полицейские обязанности сообразно с требованием закона и общих государственных нужд. Мы и не отрицаем для помещика возможности лично стать на

эту точку, но утверждаем, что эта возможность останется для него навсегда недостижимою, коль скоро он будет окружен теми условиями, в которые ставит его необходимость быть всегда готовым полицеймейстером именно той местности, к которой он привязан фаталистически. Не забудем, что именно здесь, а не в другой местности, имеются у помещика к крестьянам отношения имущественные, которые могут беспрестанно ставить его в положение истца. Кто поручится, что помещик эти отношения не будет вносить в сферу своей полицейской деятельности? Очевидно, что приманка слишком привлекательна, чтобы большинство не устремилось к ней, как к единственному средству, которое дает ему возможность по желанию и без хлопот устроить свои личные интересы. Очевидно также, что, при таком смешении понятий частного и общего, крепостное право не только не будет de facto уничтожено, но даже вся полицейская деятельность, в полном своем составе, сделается частною собственностью, и мы не замедлим возвратиться к средневековым воззрениям на существо и значение правительственных учреждений.

Но пойдем далее: допустим, что ни один помещик не увлечется до такой степени своими личными отношениями, чтобы упустить из виду обязанности, возложенные на него, как на орган общей полиции. Какая смесь разнообразных воззрений на существо полицейских обязанностей и на способы выполнения их представляется глазам нашим! Воззрений неуловимых и недостижимых ни для какого контроля, потому что как бы ни был сложен и искусно организован правительственный контроль, он никогда не может быть доведен до такой степени растяжимости, которая дала бы ему возможность простирать свое действие на все эти чуть заметные дроби, которые называются поместьями. Да притом, можно ли поручиться, что контроль этот действительно будет полезен? Не следует ли, напротив того, думать, что как скоро однажды допущен известный порядок вещей, то контроль над ним будет проникнут тем же политическим элементом, который присутствовал и при самой организации этого порядка. А сколько поводов к злоупотреблениям со стороны контролирующих чиновников? И кому поручить контроль? И какой контроль? контроль самый мелочный, самый придирчивый, влекущий за собой огромное бумажное производство, контроль, не приводящий ни к какому существенному результату, живущий, как паразит, на счет дела, к которому приставлен, но тем не менее совершенно независимый от него! Положение фальшивое и вместе с тем едва ли не безнравственное.

Все эти вопросы еще более усложняются, если мы вникнем глубже в различные условия и способы управления помещичьими имениями и в разнообразные качества управляющих. *Во-первых,* никто не будет отрицать, что и между помещиками, хотя они принадлежат к сословию, стоящему во главе просвещения, могут найтись люди не вполне благонадежные и что еще более найдется таких, которые если не совершенно незнакомы, то, во всяком случае, знакомы слишком поверхностно и с законами и с способами их применения. Как поступать в таких случаях? Оставлять ли исполнение полицейских обязанностей в жертву неспособности и самой неблагонамеренности? или заменять неспособных помещиков другими лицами по выбору от правительства? В первом случае весьма легко предвидеть, какие могут быть последствия; во втором вмешательство правительства будет явным нарушением прав помещика, ибо если сохранены между ним и крестьянином личные отношения, то очевидно, что судьею в этих личных отношениях, столь тесно связанных с отношениями имущественными, может быть не кто иной, как сам помещик, и всякая замена, происходящая не с его свободного и невынужденного согласия, есть нарушение не только личных прав его (за правами он, пожалуй, и не погонится), но и материальных выгод. Стало быть, в обоих случаях положение будет весьма странное, если не безвыходное. *Во-вторых,* как мы сказали выше, управление помещичьими имениями бывает весьма различно: в одних существует личное управление помещика, в других он управляет через доверенное лицо, в третьих, наконец, через выборных от самих крестьян, только под наблюдением или самого помещика или его управляющего. Есть и другие условия, которые оказывают решительное влияние на способы управления и которые не исчезнут даже с введением нового порядка вещей, а именно: в одних имениях существуют отношения барщинские, в других только денежные или оброчные. Наконец, явятся и такие имения, которых крестьяне посредством выкупа или иным путем приобретут себе от помещика участок земли в свою полную собственность. Если сохранить непосредственные личные отношения помещика к крестьянам, то для каждого из упомянутых выше условий управления потребуется совершенно особый устав, в котором нужно будет определить, в какой мере, в каждом из вышеприведенных случаев, помещик может простирать к крестьянам свое полицейское домогательство. И тогда странное зрелище представится глазам нашим; будут рядом существовать следующие полиции: полиция барщинских имений, полиция оброчных имений, полиция имений выкупившихся с

землей, полиция казенных имений, полиция удельных имений, полиция горнозаводских имений, находящихся на посессионном праве, полиция горнозаводских казенных имений и пр. И над всем этим носится общая государственная полиция, которая теряется в этих подразделениях и недоразумениях, которая не может ни к чему приступиться, не припомнив себе бездны различных изъятий, и которой действие на каждом шагу подрывается скрытным действием этих частных полиций.

Вот к каким результатам приводит нас буквальное толкование слов: «вотчинная полиция предоставляется помещикам». И напрасно будут нам говорить, что такое облечение помещиков полицейской властью обязательно только на время переходного состояния: во-первых, ни из чего не видно, чтобы обязательность этого правила простиралась именно на двенадцать лет, а не далее, а во-вторых, подобное положение вещей не только на двенадцать лет, но и на одну минуту не может быть признано возможным.

Утверждают, что необходимость [предупреждения неисправности] со стороны крестьян в [отбывании господских повин]ностей есть уже достаточный повод для облечения помещиков личною полицейскою властью. Но как же не [сознать, что предупреждение это принадлежит] к разряду отношений имущественных, не имеющих ничего общего с личными, что для разбора первых могут быть и действительно будут учреждены особые присутствия, которые вполне удовлетворят своему назначению, и что, наконец, имущественные отношения могут продолжаться и далее 12-летнего периода и что, следовательно, связывая их с отношениями личными, необходимо будет и для последних продолжить срок на неопределенное время.

Согласны мы, что, по существу и способу отправления полевых работ, там, где существуют барщинские отношения, не все равно, сейчас ли принять меры для понуждения крестьян или ожидать этого понуждения от сторонней полицейской власти. Но во-первых, это затруднение может быть устранено установлением таких штрафов, которые служили бы вместе и возмещением помещичьего ущерба, и предупреждением для крестьян на будущее время; во-вторых, с предоставлением помещику права наказания нельзя уклониться и от определения матерьяльных способов этой расправы. В чем будет заключаться этот способ? если в телесном наказании, то он имеет ту невыгоду, что не вознаграждает помещика за ущерб, и сверх того, предоставленный усмотрению частного лица, он слишком напоминает о крепостном праве, чтобы желательно

было удержать его. Прибавляют, что наказание может быть окружено гарантиями для крестьян, как, например: мера его должна быть определена законом, оно должно совершаться в присутствии выборных с объявлением вины, и наконец, крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления. Все это действительно представляет значительное усовершенствование против ныне существующих способов проявления помещичьей власти; однако существенной гарантии для крестьян мы все-таки не замечаем. Гарантия наказания заключается в его законности, в той сопровождающей его мысли, что оно является как орудие общественного или государственного суда, а не как орудие личного произвола, часто основанного на одном недоразумении. Определение меры наказания совершенно ускользает от власти закона, потому что в ежедневных мелочных отношениях одного лица к другому, там, где преступное действие является не столько в матерьяльной положительно очерченной форме, сколько в намерениях, выражении лица, интонации голоса, недосказанных речах и т. п., есть столько тонких оттенков, которые определить совершенно невозможно. Закон может наименовать преступным то или другое деяние, выразившееся в известной для всех видимой и понятной форме, но с улыбками, понижением или повышением голоса, выражением глаз и т. д. он не может иметь дела. Притом если бы закон и принял на себя такую власть, кому неизвестно, как растяжимо применение закона на практике, если правильность этого применения не гарантирована соблюдением известных законом же определенных формальностей. А именно присутствия этих-то формальностей и недостает в рассматриваемом случае, ибо совершение наказания при собрании выборных с объявлением вины никакой формальности не составляет и только без нужды привлекает сторонних людей к зрелищу не для всех приятному. Присутствие выборных тогда бы могло служить еще некоторою гарантиею, если бы можно было положительно удостоверить, что выборные, находящиеся под личным влиянием помещика, не будут составлять массы безгласной, а утверждать это, при существовании личных отношений помещика к крестьянам, едва ли дело возможное. Наконец, право жалобы на злоупотребления власти помещика есть такое сомнительное право, которым не всегда может воспользоваться даже человек, вполне сознающий свое право. Всякая жалоба влечет за собою и проволочку времени, и ущерб для истца; следовательно, если крестьянину придется гнаться за каждым случайным тычком, то ему недостанет на это ни времени, ни матерьяльных средств. При этом, все-таки повторяем: не на-

добно забывать, что здесь личные отношения истекают из имущественных и что, следовательно, взаимное положение обеих сторон все-таки должно быть, по возможности, уравн<ов>ешено, но какое же будет равновесие, если одной стороне мы предоставим право немедленно удовлетворять свои требования, а другой лишь право ожидать десятки дней этого удовлетворения от подлежащего судебного установления? Но если мы даже предположим, что крестьяне воспользуются этим правом, то какие могут выйти из этого результаты? Во-первых, соблазн будет так велик, что нельзя не ожидать, чтобы крестьянин не перетолковал себе права жалобы в самом преувеличенном виде и не стал пользоваться им на каждом шагу, и в деле и в безделье, а во-вторых, какая бездна дел должна возникать из этих ежемгновенных (и, надо добавить, натянутых, вызывающих взаимное раздражение) отношений? Очевидно, что никакое присутственное место не будет в состоянии с успехом удовлетворять всем требованиям.

Возвращаясь затем к главному предмету настоящей заметки, мы не можем не заключить, что все недоразумения, указанные нами выше, основаны на слишком буквальном, а потому и превратном толковании слов, которые мы неоднократно имели случай приводить. Вместо того чтобы видеть в словах этих лишь зародыш будущего местного полицейского и административного устройства, зародыш, подлежащий дальнейшему развитию, хотят непременно видеть в них окончательную норму, в которой должно выразиться действие полицейской власти. Как будто тем, что полицейская власть оставляется в руках помещиков, уже все сказано? Как будто вслед за этим не надлежит положительно определить, под какими условиями, среди [каких учр]еждений, гарантирующих правильное ее действие, должна выражаться эта власть?

Здесь мы должны сказать несколько слов о том, с какой точки зрения мы смотрим вообще на различные системы применения административных начал. Но предупреждаем читателя, что и по объему и по характеру настоящей заметки мы можем коснуться этого предмета только слегка, предоставляя себе в непродолжительном времени, в особой статье и во всей подробности, развить взгляд наш на этот предмет. Вообще мы не принадлежим к числу приверженцев бюрократии; мы думаем, что она вовсе не способна ни понимать истинных интересов земства, ни тем менее управлять ими таким образом, чтобы это управление имело результатом действительную для дела пользу. Бюрократия имеет свое специяльное назначение:

оно заключается в том, чтобы охранять интересы государства от излишнего наплыва интересов местных. Назначение, как видится, чисто наблюдательное, и затем всякое вмешательство бюрократии в сферу исполнительную может быть допущено только в случаях чрезвычайных, то есть тогда именно, когда есть основательный повод думать, что от небрежности муниципальных властей известной местности могут страдать интересы государства или интересы других соседних местностей. Местное же управление должно быть основано на муниципальных началах; только тогда оно не будет служить обременением для края, только тогда может принести для него действительную пользу, когда в нем принимают участие все элементы, из которых составляется то, что в законе называется именем земства. До сих пор элементов этих у нас не было. Крепостное право наложило запрещение на целую половину народонаселения России (или около того), и потому весьма естественно, что муниципальные учреждения не могли у нас развиться. Но мы впадем в большую ошибку, если и теперь, когда представляется полная нравственная возможность применить муниципальные начала к нашей местной администрации, мы окружим эти учреждения всеми стеснениями бюрократической регламентации. Вспомним, что только то дерево бывает и крепко и здорово, которое растет на свободе, за которым нет бестолкового и случайного ухода всякого проходящего человека, произвольно принимающего на себя роль садовника. Допустим даже, что, быть может, вначале и действия, и приемы муниципального управления будут шатки, но не будем слишком поспешно выводить из этого неблагоприятные для него заключения, а напротив того, убедим себя раз навсегда, что ни один принцип, а тем менее принцип административный, обнимающий столько разнообразных интересов, не может сразу предъявить все свои результаты, и будем ждать с терпением. Часто случается нам слышать мнение (а в недавнее время оно выразилось и печатно), что злоупотребления чиновников имеют своим источником тот же строй понятий и воззрений, которые служат основою для крепостного права. В этой мысли есть своя справедливая сторона: если существует кормление законное, то никакая власть не в силах будет искоренить кормления незаконного, опирающегося на те же самые основания. Но не надо при этом забывать, что, вне этого строя понятий, есть еще иная, особая сфера понятий и воззрений, которая составляет принадлежность собственно бюрократии и которая осуждает ее на вечное бессилие относительно добра и пользы и, напротив того, вооружает ее страшною силою относительно зла и вреда. Эти

понятия прямо истекают из положения бюрократии относительно управляемой местности. Считая себя представительницею интересов высших, государственных, бюрократия с пренебрежением смотрит на местные интересы, которые кажутся ей и ничтожными и вздорными, и с нетерпеливым презрением выслушивает даже самое легкое замечание или представление со стороны местных обывателей, не говоря уже о противоречии. Сверх того, действия ее ничем и никем не контролируются, ибо устройте какой угодно сложный контроль, окружите бюрократию коллегияльными учреждениями, требуйте от нее отчета в каждом ее действии, в каждом шаге ее служебной деятельности, результатов все-таки никаких не получится. Ибо и коллегияльный и даже одноличный контроль тогда только может быть действителен, когда он сосредоточен в иной разнокачественной среде, имеющей и возможность и интерес контролировать; если же он находится в руках представителей тех же самых начал, то в таком случае может произойти одно из двух: если контроль одноличный или иерархический, то контролирующее лицо будет вовлечено в огромную переписку, в бесчисленное множество бесполезных и нелепых действий, и все-таки будет обмануто, потому что обмануть лицо, ни с которой стороны не причастное интересам и выгодам земства, ничего не стоит; если же контроль будет коллегияльный, то коллегия эта будет только фикцией, служащей лишь к тому, чтобы бюрократическим злоупотреблениям и произволу придавать формы некоторой легальности, ибо бюрократия вся основана на началах дисциплины, и эта последняя столь необходима, что даже там, где высшая власть, для обуздания произвола, связанного с одноличным управлением, нашла полезным окружить своих агентов коллегиями, она вместе с тем была вынуждена вооружить председателей этих коллегий правом давать предложения, сразу уничтожающие все коллегияльные мудрования. Да и какое странное положение: с одной стороны, доверять чиновнику, поручать ему управление целой местностью, с другой стороны, стеснять его на каждом шагу контролем другого лица, имеющего совершенно одинаковые с ним свойства и качества? И почему не А. контролирует Б., а именно Б. надзирает за А.? Кто поручится, что Б. действительно надзирает хорошо, и не нужно ли, в свою очередь, и к Б. приставить надзирателя?

Итак, невозможность, или, по крайней мере, почти безвыходная затруднительность контроля, соединенные с такою же неспособностью понимать интересы местности и с затаенною мыслью, что интересы эти так пошлы и вздорны, что можно и

должно, без всякого зазрения совести, гнуть их в ту или другую сторону, смотря по личным воззрениям чиновника, порождает третье явление, которое окончательно делает бюрократию неспособною к административной деятельности. Явление это — произвол действий. Произвол этот сам по себе имеет столько привлекательного, что не нужно никаких посторонних более или менее сильных побуждений, чтобы он вполне не овладел всеми действиями чиновника. В какой бы мере ни увеличивали мы угрозу закона, запрещающего и карающего произвол, сила обстоятельств всегда возьмет перевес, и чиновник, раз вступив на стезю произвольных действий, употребит все усилия, чтобы подорвать действие закона и сделать его ничтожным. Во Франции, где не только не существует крепостного права, но где все граждане равны перед законом, мы тем не менее видим, до каких размеров может достигать бюрократический произвол. А там между тем существует и общественное мнение достаточно развитое, и гласность. Чему же приписать такое явление, как не недостаточной крепости муниципальных учреждений или, лучше сказать, безграничному подчинению их бюрократии?

Таким образом, мы естественным путем приходим к тому заключению, что из всех учреждений, которые могут быть установлены для управления местными интересами (ибо здесь нам об них только и предстоит вести речь), самым лучшим учреждением будет то, в котором все элементы земства найдут своих естественных представителей и защитников, и где значение бюрократии будет ограничено единственно сферою государственных интересов, из которой они не должны и выходить. Среди этих-то именно учреждений, которые могут иметь и свое иерархическое развитие, сословие дворян-землевладельцев должно занять принадлежащее им по праву место, но занять его не произвольно и исключительно, а совместно с представителями других сословий, имеющих в данной местности постоянную оседлость или постоянный промысел. Мы не должны при этом терять из вида, что в настоящее время дворянское сословие находится в выгоднейших, против земледельческого, условиях и со стороны образованности и со стороны материальных средств; следовательно, оно без труда, с помощью одних только этих средств, приобретет себе, если только захочет, то законное влияние на дела местности, которое было бы желательно предоставить ему и в котором только и можно видеть единственно твердую, а не мечтательную опору для дворянского сословия. Нам возразят, быть может, что страсти и сословные увлечения, по крайней мере в первое время по уничтожении крепостного права, могут за-

глушить самый голос рассудка и что в этом случае все предположения насчет законного влияния дворян-землевладельцев могут рушиться сами собою. Хотя опасения эти представляются иногда и в слишком преувеличенном виде, но нельзя отрицать, что в них есть своя доля справедливости. Но разве нет способов предупредить осуществление этих опасений? Во-первых, можно постановить, чтобы первенство дворян-землевладельцев в делах местного управления вообще и в делах местной полиции в частности было фактом обязательным. По мнению нашему, эту обязательность достаточно было бы распространить на тот период времени, который называется «переходным состоянием», потому что этого времени весьма достаточно, чтобы новые отношения, истекающие из настоящих мер правительства, определились вполне и восприяли свой законный, непринужденный ход. Во-вторых, если бы и этого оказалось недостаточным, разве правительство не имеет возможности продолжить эту обязательность отношений дворянского сословия к земледельческому до тех пор, покуда, по высшим политическим соображениям, окажется это действительно нужным и удобным?

Вот наше искреннее мнение о значении той меры, которая предоставляет помещику полицейскую власть над прежними крепостными. Понимать ее иначе — значило бы завязывать между помещиками и пользующимися его землями крестьянами такие искусственные отношения, которые повлекли бы за собою лишь взаимное и постоянное раздражение. Устранить последнее можно не иначе, как предоставив дворянам-землевладельцам ту же самую полицейскую власть, но не непосредственно, а окруженную известными гарантиями, которых присутствие сообщало бы ей законность и отняло бы у ней тот оттенок произвола и несправедливости, который составляет непременную принадлежность всякой одноличной власти.

К этому не излишне будет прибавить и то соображение, что исполнение полицейских обязанностей в том составе, в каком они значатся в общем полицейском учреждении, требует и личного весьма хлопотливого труда, и материальных издержек, которые будут, в общей массе, тем значительнее, чем ограниченнее будут районы действия местных полиций. Если непосредственною полицейскою властью над крестьянами облечь землевладельцев-дворян, то на кого должны падать эти издержки? по справедливости, на помещиков, потому что предоставление им личной полицейской власти может быть допущено не иначе, как <в> видах ограждения их же выгод. Согласятся ли помещики принять на себя эти издержки?

очевидно, нет, потому что они для всех вообще тягостны, а для многих и совершенно разорительны. Остается, стало быть, или действовать на них принудительными мерами, что несправедливо, или же привлечь к участию в сих издержках те сословия, для которых самое учреждение полиции, в этом виде, не представляет ни гарантий, ни пользы, что не логично.

По этим основаниям, а также принимая в соображение, что нынешние крепостные крестьяне должны быть разделены на сельские общества, мы полагаем, что как внутреннее, так и полицейское управление этих обществ может быть, без затруднения и с большою для дела пользою, устроено на муниципальных началах. Участие помещика в этих учреждениях должно быть ограничено лишь делами, имеющими значение для всей местности, как, напр., делами общественного спокойствия и благоустройства, делами по учреждению училищ, благотворительных заведений, ярмарок и т. п., в прочих же делах, касающихся исключительно интересов крестьян, составляющих сельское общество, как, напр., при раскладке податей и повинностей, отправлении рекрутской повинности, разделе семейств и земель и т. п., участие помещика может быть допущено не более как в качестве совещательном. Гораздо значительнее может быть участие дворян-землевладельцев во второй и третьей инстанциях полицейского управления. Второю инстанциею должна быть волость, третьею уезд. Необходимость волостного управления, устроенного на основаниях, гарантирующих правильное и законное действие полицейской власти, очевидна для всякого. Никто уже не отстаивает ныне существующие становые управления, как потому, что они, совершенно устраняя коллегияльное начало, дают слишком большую область одноличному произволу, так и потому, что они, по многим причинам, не удовлетворяют даже прямому своему назначению, то есть действительности полицейского надзора. Как в волостных, так и в уездных учреждениях, первенство может быть предоставлено дворянам-землевладельцам безо всякого ущерба или опасений, ибо соучастниками их по управлению будут и представители от других сословий, в нем заинтересованных. Само собою разумеется, что над всеми этими земскими учреждениями должен возвышаться контроль центральной власти, уравновешивающий борьбу частных интересов.

Что же касается до столкновений, могущих возникать из имущественных отношений между помещиками и крестьянами, то способы разбора их уже указаны правительством. Тем не менее мы смеем думать, что этот исключительный по-

рядок разбирательства не может быть обязательным на неопределенное время; с окончательным выяснением отношений свободного труда к общему экономическому строю, минуется и необходимость в исключительной для них юрисдикции; но до тех пор («переходное состояние» в истинном значении этого слова) она необходима. Но при этом мы, с своей стороны, полагали бы полезным (и именно в видах устранения личной зависимости крестьян от помещиков), кроме уездных присутствий, учредить еще присутствия более местные, дабы через это достигнуть более скорого и доступного средства для разбора, в известных пределах власти, возникающих претензий и споров.

ЕЩЕ СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

(По поводу статьи: «Косвенные налоги на фабрики», напечатанной в «Вестнике пром.», 1860 г., № 2-й)

Читая в иностранных газетах рассказы о случаях и видах эксплуатации человека человеком, мы, русские, приходим всегда в столь сильное негодование, что сторонний зритель может подумать, что нас кровно обидели. Не говоря уже о торговле неграми, о несносном положении последних в Южных Штатах Северной Америки, нет, даже обыденное притеснение фабрикантом-капиталистом пролетария-работника производит в нас благородное волнение крови и непривычную суматоху мыслей. И это я говорю не о нынешнем дне, когда мы сделались... тово, и когда у нас на этот счет образовались понятия... тово, но о дне вчерашнем, когда между нами не слишком-то много было сочувственников тому порядку вещей, который в настоящее время выражается нами словом «тово». Разве уж какой-нибудь поистине заиндевевший патриарх, слушая или читая подобные рассказы, воскликнет, бывало: «ишь шельма», или «ах ты бестия», но воскликнет таким голосом, который дает сразу понять, что под «шельмой» следует разуметь «голубчика» и что говорящий всей своей преисподней сочувствует глаголемому «бестии».

Поэтому нельзя не взирать без сожаления на те редкие случаи, когда мы отказываемся от привычной нам опрятности в словах, ежели не в мыслях и действиях. Подобный поразительный случай, к величайшему удивлению, встретился недавно на страницах «Вестника промышленности» (февраль 1860 года), в статье под названием: «Косвенные налоги с фабрик» по поводу некоего чудовищного дела, случившегося в городе Нововласьевске.

Любезные обыватели разных концов России любят посвящать свободные от отдохновения часы литературным потугам разного рода, результатом которых бывает сообщение пуб-

лике некоторых узловатых и шишковатых дел. Стремление похвальное, и я отнюдь не намерен порицать его, ибо сам был неоднократно свидетелем того, как лезли глаза на лоб у некоторых администраторов при напоминании о замаранных их хвостах. Конечно, литературным этим опытам мешает то, что в них всегда присутствует какое-то странное балагурство à la половой или à la гостинодворец. Но и это опять не беда, если принять в соображение, что мы вообще народ не словесный и что недалеко еще то время, когда, кроме «папы» да «мамы», мы и слов других произносить не смели. Тем не менее не отыскивалось еще такого пишущего ироя, который взялся бы публично защищать аферу, основанную на человеческом мясе, и столь же публично клеветать на тех, которые сию неприличную аферу называли принадлежащим ей именем.

В статье «Косвенные налоги на фабрики» рассказывается дело, положительно и близко мне известное во всех его гадких подробностях. Рассказывается оно следующим образом. В городе Нововласьевске некоторые добродетельные фабриканты задумали облагодетельствовать своих ближних. В этих мыслях они начали, благословясь, выкупать на волю у соседних помещиков мужичков и приглашать их к себе на фабрику, где «судя по тому, что всякая 12-ти летняя девочка зарабатывает от трех до пяти руб. в месяц, то сколько же должны получать совершеннолетние». Где «директор не брезгует русским народом» (вот-то достоинство особого рода), где «вникают в быт рабочих людей и помогают им в нуждах». Шутка сказать: ешь, пей и веселись. Тем не менее подобно тому, как невинного ребенка, доверчиво купающегося в волнах Нила, стережет из-за камышей крокодил, так и благодетельных купцов стерегли, среди их невинных занятий, не один, а два крокодила: некто Бесчленный и некто Лисичка. Виноват, в рассказе есть еще третий крокодил: Эмансипация. Этот последний крокодил, я думаю, был даже поважнее первых двух, потому что без него ни Бесчленный, ни Лисичка, будь они семи пядей во лбу, пороха бы не выдумали. И посмотрите, как все просто сделалось. Бесчленному и Лисичке понадобились деньги — ну, разумеется, к кому же и обратиться, как не к благодетелям рода человеческого. Однако «фабриканты, зная образ жизни просивших, отказали».

...Не говоря худого слова, Бесчленный и Лисичка призвали простодушных мужичков, да вдруг и объявили им: вы, дескать, вольные... или нет: вы, дескать, и *без того* будете вольные. Неизвестно, что померещилось нашим мужичкам, но они внезапно вообразили, что была между фабрикантом и помещиками какая-то темная стачка — «взяли да и подали прось-

бу, что их приписали к Нововласьевскому мещанскому обществу без согласия». Здесь является четвертый крокодил — губернатор, который назначает следствие, и, наконец, пятый крокодил — чиновник особых поручений, который производит следствие. Этот последний описан особенно уморительным образом. «Он должен быть польский жид, помесь с альбиносом, глаза — белые, с кровавыми оттенками, и таращит их, как корова, которую ведут на бойню; нос крючком», и т. д. Увы, мы, русские, не можем обойтись без наружного остроумия. Если кто-нибудь сделал не по-нашему, то, наверное, у него или глаза коровьи, или нос крючком. Это не нами заведено, не нами и кончится: в этом состоит наш насущный обывательский юмор. Разумеется, этот г. Помесь действует самым гнусным образом: с первого же раза требует у фабриканта тридцать тысяч целковеньких (ах, если бы знал ты, злосчастный Помесь, о своих неумеренных требованиях! С каким бы удовольствием съехал бы ты хоть, ну хоть на одну тысячку), застращивает людей (то есть тех же самых, которые возбудили все дело), сажает без всякой причины в острог некоего незнакомца Самознаева, единственно потому, что ему так от начальства приказано[1], и к довершению всего (о глупый дурак!) рассказывает о своих подвигах всем и каждому, в том числе и ему, Проезжему. Разумеется, из всего этого выходит нечто чудовищное, ибо невинность страждет, а порок и злодейство торжествуют. Итак, вот как опасно, милые дети, купаться в Ниле благодеяний.

Рассказ, сверх того, украшен разными эпизодами. Во-первых, является городничий Банин, оторванный, по несправедливости начальства, от тучных пажитей Нововласьевска и брошенный на бесплодные скалы Горогорска. Этот Банин имеет мутные от слез глаза и, подобно Пояркову Печерского, поющему под тенью дерев «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», беспрестанно бормочет себе под нос «не бойся суда, а бойся судьи». Сверх того, он обливает слезами и беспрестанно целует часы, нечаянно подаренные ему растроганными нововласьевцами. Этот городничий — прелесть. Во-вторых, является губернатор, который купает в теплой воде своих малолетних детей. В-третьих, вся обстановка наивна и поэтична до крайности: действующие лица беспрестанно про-

---

[1] Впрочем, из той же статьи явствует, что это же начальство, которое приказывало (не зная и не предвидя, как разовьется дело) посадить Самознаева, по рассмотрении следствия, выпустило его из острога. Вот и подите с этой логикой. Впрочем, тут же прибавляется, что выпустил его младший секретарь губернского правления (такой и должности-то нет), но об этом дальше. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

ходят по водочке, закусывают груздочками, слушают каких-то певиц <«Мои споют тебе что-нибудь»,— говорит некто г. Немилов. Кто это мои? Я подозреваю, что эти «мои» — те самые существа, которых в шутливом русском тоне называют «канарейками» и за излишнее разведение которых люди, подобные г. Немилову (а отчего же и не сам Немилов), попадают под опеку> и выпивают целые партии шампанского.

И вот, можете себе представить, что дело происходило совершенно иначе, нежели рассказывает г. Проезжий.

Благоразумный читатель, еще при чтении самой статьи Проезжего, почувствует, что есть в ней что-то неладное, как будто шитое живыми нитками. Откуда и с чего, например, эта внезапная злоба против благодетельных фабрикантов со стороны так называемых губернских властей? Может ли существовать на свете такая губерния, где губернатор занимается только купанием детей своих, и вице-губернатор послушен не совести своей, а приказаниям какого-то младшего секретаря губернского правления? Возможны ли, наконец, городничие, обливающие слезами подаренные им часы? Все это такого рода вопросы, которые могут смутить и не слишком дальновидного читателя, но не смутили Проезжего, который, по-видимому, совершенно доволен самим собой.

Я не хочу брать на себя защиту человека, именуемого помесью жида с альбиносом. Может быть, он хотел взять деньги с добрых фабрикантов, может быть, и не хотел — это тайна между ним и фабрикантами. Но что он не взял денег, это не подлежит никакому сомнению и явствует из самого простого изложения обстоятельств этого дела. Постараюсь быть кратким.

В апреле 1858 года некоторые вольноотпущенные от помещиков Нововласьевского и соседнего с ним уезда (назовем его хоть Сараевским) принесли жалобу местному начальнику губернии (кстати заметим, что как губернатор, так и вице-губернатор, о которых идет речь в рассказе Проезжего, были только что определены к своим должностям и не имели никакого понятия о благодетельных фабрикантах) на контору фабрики братьев Х. в том, что последняя, против их желания, причисляет их к Нововласьевскому мещанскому обществу, причем часть жалобщиков оглашала и то, что самое увольнение их от помещиков произошло без их согласия, а по принуждению и посредством угроз. На первый же спрос следователя вольноотпущенные крестьяне и дворовые люди показали: а) что помещики прислали их на фабрику для заработков и приказывали повиноваться директору фабрики, как самим себе, стращая, в противном случае, солдатством; б) что неко-

торым из них во время переговоров помещики их давали какие-то бумаги для подписания, но какие — им неизвестно; в) что о том, что они вольные, они узнали только по случаю производства 10-й народной переписи, когда их стали приписывать к Нововласьевскому мещанскому обществу; г) что от имени их заключены с конторою фабрики какие-то контракты на зажитие денег, внесенных за них фабрикантами, но они контрактов этих лично не заключали и о заключении их никого не просили и д) что содержание им выдается на фабрике скудное, директор фабрики притесняет их, а местный городничий (тот самый, который обливает слезами подаренные часы) жестоко их наказывает по первому требованию фабричного управления. В доказательство жестокого обращения на фабрике один из крестьян привел 18-го июня 1858 года к следователю своего двенадцатилетнего сына, и по свидетельству медика оказалось: на руке у него красная полоса в два вершка длиной и полвершка шириной, очевидно, происшедшая от удара ремнем. Из собранных следователем сведений от фабричной конторы и местных присутственных мест видно, что фабрика братьев X. с половины 1857 года (о, эмансипация) по февраль 1858 года выкупила на волю 66 человек помещичьих крестьян, и притом в большинстве случаев не поодиночке, а партиями, так, например: у одного помещика выкуплено 31 человек. Прошения, при которых были явлены отпускные в уездный суд, в большинстве случаев, писаны и подписаны за крестьян, как за безграмотных, посторонними лицами; в получении отпускных расписывались тоже посторонние лица. Большею частью подписчиком является тот самый Самознаев, о котором упоминается в статье Проезжего. Были при этом такие случаи (и нередко), что при явке отпускной расписывалось, за неумением грамоте, постороннее лицо, а при получении (чрез несколько, впрочем, месяцев) расписывался сам получивший свободу. Из расчетных книжек выкупленных крестьян не видно, какая им производится ежемесячная плата, хотя в каждой из них есть особая страница с заголовком: «поряжен в работу на год с платою в месяц». Вообще, из этих книжек можно извлечь только сведение о той сумме, которую крестьянин должен заработать, и о том, сколько именно зачтено фабрикантом из заработной платы на погашение долга. В этом отношении есть указания весьма любопытные. Так, например, один крестьянин (назовем его хоть Константином Трифоновым), обязанный с женой и братом заработать 600 руб. сер., в течение полугода уменьшил свой долг на 32 руб. 15 к., но из этого числа вычтено конторою фабрики штрафных и на лекарство 17 руб. 55 к., так что Три-

фоновым погашено долга, в сущности, только 14 руб. 60 к. Если предположим, что он и впредь будет таким же образом действовать, то годовую его заработку следует считать в 29 руб. 20 к.; спрашивается теперь, во сколько лет это несчастное семейство освободится от тяготеющей над ним кабалы? Но возьмем более благоприятный пример: крестьянина Михаила Евстафьева. Крестьянин этот с братом и двумя женщинами, обязанный заработать также 600 руб., в шесть месяцев заработал 42 руб. 25 к., из которых вычтено 5 руб. 85 к. Если семья эта вперед будет действовать столь же успешно, то ежегодное погашение его долга будет выражаться суммою 72 руб. 80 к., и, следовательно, она освободится от кабалы лишь в течение восьми с половиною лет. Но идем дальше. Крестьяне показали, что от имени их заключены контракты, содержание которых им неизвестно; следователь пожелал познакомиться с этим содержанием — что может быть естественнее. Контракты эти заключались в следующем: *во-первых,* от крестьян, принадлежавших одному и тому же помещику и привезенных на фабрику в одной и той же партии, всегда писался один контракт; *во-вторых,* крестьяне обязывались заработать взнесенную за них сумму в течение 4-х лет «или более или менее» (тогда как закон положительно воспрещает заключать контракты на зажитие рабочими денег более, нежели на четыре года); *в-третьих, предоставляли управлению фабрики право исправлять их полицейскими мерами,* и, *в-четвертых,* ручались друг по друге относительно непременной заработки внесенных денег, так что если бы кто из них умер, не заработавши своей части, то часть эта падала бы на остальных. (Любопытно знать, если бы, например, из пяти человек, заключивших контракт, четверо в течение первых двух лет умерли, то обязан ли был бы пятый, оставшийся в живых, контрагент заживать внесенные за всех деньги, и сколько времени потребовалось бы, чтобы достичь этой цели? В этом случае люди, употребившие свой досуг на составление контрактов, делали не только противозаконное, но, по мнению моему, даже просто глупое дело.) При этом весьма важно следующее: 1) что в большей части случаев контракты подписаны за крестьян, по безграмотству их, посторонними людьми, тогда как между крестьянами многие грамоте знают, и 2) что контракты писаны от имени крестьян, как вольноотпущенных, тогда как по делу доказано, что во время заключения контрактов отпускные контрагентов не только не были выданы им, но даже не были явлены в суде.

При дальнейшем расследовании некоторых темных обстоятельств этого дела оказались следующие диковинные вещи.

Некоторые крестьяне не были даже в Нововласьевске в тот день, когда по документам уездного суда они значатся бывшими в суде для явки отпускных, и этот факт основан не на голословном показании самих крестьян, а на неоспоримых доказательствах, как, например: на свидетельстве книг фабричной конторы, по которым значится, что крестьяне те не были в тот день на работе; на присяжных показаниях крестьян той деревни, где отпущенники в то время находились, и т. д. Но еще поразительнее то обстоятельство, что некоторые крестьяне значатся явившими *лично* свои отпускные не в Нововласьевском, а в Сараевском уездном суде, в тот самый день, когда они, по книгам фабричной конторы, числятся наличными работниками. Что крестьяне были отправляемы из деревень на фабрику не добровольно, это доказывается следующими фактами: а) присяжными показаниями односельцев крестьян г. У., которые засвидетельствовали, что означенных отпущенных на волю крестьян увозили в г. Нововласьевск насильно и что они горько плакали, расставаясь с родной деревней; б) некоторая г-жа З. дала директору фабрики подписку в том, что за выданную девке Устинье вольную получила 250 руб., и *ручалась,* что девка та взнесенные за нее деньги заработает, если же почему-либо не в состоянии будет выработать, то обязывалась девку Устинью взять обратно и поставить вместо нее другую, подобную же:[1] она же, г-жа З., посылая к директору отпускную Устиньи, особым письмом убедительно просила не выдавать ее Устинье в руки, а в случае незаработка ею денег прислать отпускную обратно к ней, помещице; в) некто г. В. просил директора фабрики прислать ему денег, обещаясь выслать за это на фабрику еще «девок», «от которых для него больше выгод, нежели от мужчин»; г) некто г. Н. (отчего же и не Немилов), отдавая в заработки на фабрику своего крестьянина за 300 рублей, в восторге от своей сделки, передает конторе свои права над упомянутым крестьянином (можно ли передавать кому-либо какие-либо, а тем более «свои» права над *свободным* человеком, г. Проезжий) и даже — где, дескать, наше не пропадало — обещает в помощь к упомянутому крестьянину прислать еще двух «девок»; д) некоторая г-жа П., заслышав в своем отдалении (совсем в другом уезде, говорите после этого, что

---

[1] Осмелитесь ли, г. Проезжий, утверждать после этого, что крестьяне *действительно* получили свободу и знали об этом, когда от усмотрения фабрикантов зависело, во всякую минуту дня и ночи, *свободную* Устинью обратить вновь в крепостное состояние а на место ее вызвать из мрака Лукерью, Акулину и т. д. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

добрая слава лежит, а худая бежит) о благодетельности фабрикантов X., пожелала также вкусить от плода благотворительности; но, должно быть, она мало была знакома с аферистами Нововласьевского уезда, и потому, не смущаясь эмансипацией, разочла только, что весьма, должно быть, выгодно, вместо получения с крестьян оброка по 10 рублей с души, отдать их на фабрику целым обществом, с тем чтобы контора вычитала в пользу ее у каждого из них из заработанных денег по 2 рубля серебром в месяц: для этого она вызвала крестьян в свою усадьбу (за несколько верст от деревни) и объявила, что так и так, друзья мои, в деревню вам возвращаться незачем, а ступайте-ка вы прямо отсюда в Нововласьевск. К прискорбию, крестьяне отошли несколько верст и разбежались, а сделка ограничилась тем, что г-жа П. получила в задаток от фабрикантов полтораста рублей; и е) сам директор фабрики, англичанин, отвечал следователю, что мысль об этой мерзостной операции истекла не от крестьян, а от владельцев, которые неоднократно его о том упрашивали. В предупреждение же могущего быть возражения, вроде того, что директор фабрики англичанин и не знал порусски ничего, кроме «сейчас» и «будилька пива», считаю долгом заявить здесь, что директор отвечал по-английски и вопросы ему были предлагаемы тоже по-английски бывшим при следователе переводчиком, преподавателем английского языка при губернской гимназии.

Вот голый остов той драмы, которой узел завязался в одном из трактиров города Нововласьевска. Прибавьте к этому, что весь цвет как служащих, так и выгнанных из службы подьячих принимал в этом деле живейшее участие, и вы получите полное понятие о всей обстановке.

Но есть и отдельные темные пункты в этой драме, а именно: 1) отречение фабрикантов от права на дальнейший вычет из заработной платы отпущенников; 2) о страданиях и гонениях, невинно понесенных городничим Баниным, и 3) о неправильном заключении в тюрьму крестьянина Самознаева. Постараюсь разъяснить и эти эпизоды.

I. Вы говорите, г. Проезжий, что губернатор обещал фабрикантам прекратить дело, если они согласятся оставить свою денежную претензию на крестьянах. Не знаю, обещал ли губернатор что-либо подобное или нет, но и вы, г. Проезжий, и сами фабриканты должны знать, что губернатор не полновластный паша, который, по усмотрению своему, может начинать и кончать дела. Губернатор не мог и не имел права прекратить дело, во-первых, потому, что о прекращении его просила лишь одна из участвующих сторон, во-вторых, потому,

что прекращению этому противятся закон и общественная совесть, приказывающие обнаруживать и преследовать *уголовные преступления,* хотя бы они были совершены не только устроителями бумагопрядильных фабрик, но и самим Аркрайтом, и, в-третьих, наконец, потому, что в деле этом открывались *бесчисленные подлоги и преступления со стороны должностных лиц,* и притом такие, которые не могут быть терпимы не только в благоустроенном, но даже и в расстроенном государстве. Довольно ли этих оснований? Но вы, быть может, не удовлетворитесь этим, и спросите меня: зачем же фабрикантам было соваться вперед с пожертвованием их денежных претензий на отпущенников, если они не имели положительного обещания, что дело этим будет прекращено. На это могу вам отвечать, что мысль о пожертвовании могла быть внушена, во-первых, присущим всем русским фабрикантам убеждением, что деньгами они могут поразить и привести в параличное состояние мыслительные способности всякого человека, а во-вторых, желанием смягчить свое нечистое участие в нечистом деле в глазах будущих судей своих.

II. Хотя вы, г. Проезжий, утверждаете, что городничий Банин пострадал напрасно, но это совершенно неверно. Понятия о долге бывают разные; может быть, г. Банин действительно думал и был убежден, что обязанность городничего состоит только в том, чтобы угождать фабрикантам г. Нововласьевска, но это убеждение крайне ложно, ибо городничему не мешает иногда думать и о тех, которые находятся *под* фабрикантами. В этом последнем отношении с его стороны было замечено крайнее забвение обязанностей, потому что не только жалобщики, но и полицейские служители под присягой показали, что Банин, принуждая отпущенников приписаться к Нововласьевскому мещанскому обществу, сек их жестоко (доходя до 80 ударов розгами), сажал их в арестантскую, и притом не давал ни пить, ни есть. Конечно, здесь действовал не столько сам Банин, сколько управление фабрики, над ним тяготевшее, но разбор побуждений и прочих больше или меньше смягчающих вину обстоятельств входит уже в круг обязанностей судебного места, а не административной власти, которая могла оказать лишь одно снисхождение г. Банину, а именно, не удаляя его вовсе от службы, перевести в другой город, где не может существовать подобного рода столкновений.

III. Самознаев был заключен следователем в тюрьму, как человек заведомо фальшиво подписавшийся на актах за людей грамотных, из которых притом некоторые находились в то время в отлучке. Однако ж губернское правление при рас-

смотрении следствия, обсуждая, между прочим, и действия следователя относительно пресечения Самознаеву способов уклоняться от суда и следствия, нашло, что действия эти не только преждевременны, но и пристрастны, ибо, по заключению следователя, Самознаев является как бы главным обвиняемым в деле лицом, между тем как, по всем раскрытым обстоятельствам, оказывается, что он был лишь орудием других, более виновных лиц. Поэтому губернское правление и сделало распоряжение о немедленном освобождении Самознаева из-под стражи.

Спрашивается, к каким заключениям можно прийти ввиду всех рассказанных выше фактов и действий? А вот к каким.

Г-н Проезжий утверждает, что жалоба не была бы возбуждена крестьянами, если б не замешались здесь внушения злонамеренных людей. Не бывши на месте и не имея сведений о закулисной или, лучше сказать, о сплетнической стороне этого дела, я, конечно, не могу положительно удостоверить, собственным ли движением крестьяне подали жалобу на действия фабричного управления или по чьему-либо внушению, но знаю, что у нас вообще всякое жалующееся лицо охотно называют ябедником. Может быть, и действительно нашелся человек, который взял на себя труд объяснить крестьянам, что нет такого закона, который бы разрешал отдавать людей в кабалу на неопределенное время. Если он сделал это, руководствуясь единственно побуждениями правды и добра,— тем более чести для него; если же к этому примешивалось чувство мести или другое какое-нибудь неблаговидное побуждение, то это относится лишь к личности внушителя, но ни на волос не умаляет важности самого факта. При обсуждении какого-либо дела мы вообще любим заниматься более околичностями, нежели самым делом; в обществе беспрестанно приходится слышать возгласы вроде следующего: «Да, если б не такой-то, то все было бы тихо и смирно». Причем «такому-то» посылаются иногда весьма сильные эпитеты. Нам хотелось бы обделывать наши делишки в веселии сердца своего; мы желали бы, чтобы вокруг нас царствовало милое безмолвие, которым грады и веси цветут. Пора, однако ж, нам разуверить себя и приготовиться к иному порядку вещей. Пора отвыкнуть от мысли о старинных «делишках», или же, если не можем отвыкнуть, то стараться обделывать их так, чтобы иголки под нас подточить было нельзя. Для нас в этом деле важно не то, кто внушил и почему внушил крестьянам жаловаться, но важно самое дело. Вы, быть может, скажете, г. Проезжий, что крестьяне очень хорошо знали сами о про-

исходившей между помещиками и фабрикантами стачке. На это могу только заметить, что справедливость предположения вашего более нежели сомнительна. Ежели б крестьяне знали, а главное, если бы принимали добровольное участие в стачке, то к чему было бы управлению фабрики поднимать на ноги весь этот арсенал подлогов и угроз[1]. И притом мало ли что допускается людьми по неведению прав своих, и неужели, ежели права эти, на некоторое время находившиеся под спудом, были впоследствии, хотя бы даже и случайно, обнаружены, то обиженный должен быть лишен возможности протестовать против попрания их потому только, что он сам, неведением своим, допустил это попрание? Нет, и тысячу раз нет. Если человек, у которого отняли вершок земли, может отыскивать этот вершок в течение десяти лет, то тем более сохраняет право искать тот, у которого отняли лучшее благо жизни — его свободу. Но вместо того чтобы обвинять крестьян в каком-то лукавстве и недостатке рыцарства, не лучше ли поискать другую, более естественную причину их молчания до апреля 1858 года. Я, например, более склонен думать, что крестьяне ни во время производства стачки, ни долго после нее, действительно не знали о своей свободе[2], а были, напротив того, убеждены, что они просто-напросто отданы в кабалу на фабрику, чтоб заработать выданные за их труд вперед деньги, и что этим не прекращалось их крепостное состояние. Что открыло им глаза? Случайное ли обстоятельство, заключавшееся в 10-й народной переписи, или зародившиеся в городе слухи, или же чье-нибудь непосредственное внушение — до этого нам нет дела. Но нам кажется странным, почему крестьяне, если б они действительно знали о свободе, дожидались именно апреля месяца, а не жаловались ра-

---

[1] Замечательно, что некоторые крестьяне, которых отпускные уездный суд не успел своевременно утвердить (не потому ли, что не было надлежащего хождения), быв, впоследствии времени (то есть тогда, когда уже пошел по городу говор), призваны в присутствие суда к подтвердительному допросу, отказались от получения свободы, и таким образом отпускные их остались недействительными. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

[2] Возражение, что некоторые крестьяне сами подписывались под разными документами, не может быть принято за основательное. Одно уже то, что одни и те же лица под одними документами подписались сами, а под другими просили будто бы подписаться за себя других (и притом почти всегда одно и то же лицо, кассира фабрики, Самознаева), доказывает, как мало вероятия можно дать упомянутому возражению, и как, напротив того, естественно делается показание грамотных крестьян, что в то время, как привели их в Нововласьевск, им *действительно* давали подписывать какие-то бумаги, не объявляя о содержании их. Не знаешь, чему удивляться в этом деле: нахальству ли подлогов или неумению, неловкости, с которыми они сделаны. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

нее, тогда как многие из них были в этом положении уже около года.

Проезжий с умилением говорит о приятном содержании рабочего класса на фабрике, о том, как вникают в его нужды и даже не брезгуют им. Однако дело показывает совершенно противное. Оно говорит, что содержание (по крайней мере, отпущенникам) давалось самое скудное, а именно, не более как от трех до пяти рублей в месяц на взрослого человека, что, при дороговизне жизни в Нововласьевске, очевидно недостаточно. Кроме того, в отношениях фабричного управления к этим людям царствовал полный произвол, тем более преступный, что последние не могли, подобно свободным работникам, выбирать между работой на фабрике или работой на стороне. Да и в жестоком обращении недостатка не было, и полиция (не говоря уже о домашних средствах исправления) во всякое время со всеусердием повергала посильные средства свои к услугам фабрикантов. Замечательно то, что один из надзирателей, спрошенный о причине удара ремнем, полученного упомянутым выше мальчиком, отвечал, что он смотритель, а потому и считает себя вправе бить ремнем нерадивых. Можно себе представить, что за кагал должна представлять из себя фабрика, управляемая посредством ремней. Вот вам и свободный труд, претворяемый, по манию благодетельных фабрикантов, в каторгу.

Проезжий лишь слегка говорит о помещиках, принимавших участие в этой операции, но из тона всей статьи видно, что они возбуждают его полное сочувствие. Напротив того, все факты, добытые следствием, доказывают, что участие это было основано единственно на корыстных побуждениях. Некоторые из них даже положительно знали, что предпринимают дело недозволенное законом, и в следствии есть, например, подписка г. У. в получении от фабричной конторы денег, в которой он делает такого рода оговорку: *если уездный суд встретит препятствие к утверждению отпускных, то деньги обязуюсь возвратить.* Спрашивается, какие препятствия мог встретить суд, если бы люди шли на сделку добровольно. И к чему такая зоркая предусмотрительность, если дело шло о чем-либо действительно законном. Но уездный суд не встретил препятствий и деньги могли быть удержаны г. У. без дальнейших затруднений. Итак, не филантропия и любовь к ближним служили основным мотивом этой трактирной симфонии, а... Поверите ли вы мне, г. Проезжий, если я вам скажу, что мотив этот лежал все в ней же, все в этой эмансипации, которая произвела такой переполох в наших умственных отправлениях. Любезные обыватели наши рассчитали недур-

но: «Не сегодня, так завтра наступает эмансипация,— сказали они себе,— а при новых условиях крепостной человек есть только лишнее бревно в глазу, поди еще, да наделяй его землею, да и соседство это безобразное останется. А между тем фабрика предлагает от 200 до 300 рублей за ревизскую душу совершенно голую, да не брезгует притом и неревизскими — сем-ко воспользуюсь: и земля будет моя, и деньги будут хорошие». И начали, таким образом, помаленьку заранее разрешать трудную проблему применения свободного труда к русскому сельскому хозяйству.

Фабрикантов X. Проезжий положительно называет людьми благодетельными. Но обращаюсь к общественной совести, можно ли, без греха, назвать благодеянием такое действие, которое закабаляет на неопределенное время и труд, и свободу, и человека. Пусть рассудит это дело благомыслящий читатель, к которому обращаются настоящие строки, а я больше препираться об этом не стану, тем более что уже из самого изложения дела видно, что в ведении всей этой «механики» преимущественное участие принимало фабричное управление, стараниями и хождениями которого и приведена она к вожделенному концу. Но, зачеркнув слова «благодетельные люди» из статьи вашей, вы, быть может, скажете, г. Проезжий, что все-таки на поступок фабрикантов нельзя смотреть слишком строго на том основании, что дела подобного рода делались прежде на каждом шагу и не считались в общественном мнении ни безнравственными, ни преступными, и что, следовательно, фабриканты, живя под влиянием ходячих понятий о нравственности, могли и не подозревать, что делают дурное дело. На это отвечу вам двумя примерами. В Вятской губернии существует татарская деревня Агрызь, которой жители поголовно занимаются конокрадством и отнюдь не могут понять, что в этом могут находить дурного другие. Следует ли оставлять этих конокрадов безнаказанными? Другой пример. В известном мире злостное банкротство считается не бесчестным поступком, а ловкою аферою — следует ли оставлять злостных банкротов спокойно наслаждаться плодами мошенничества своего? Идя по этой покатости, мы можем дойти, наконец, до нелепого, до смешения всех понятий; мы станем, например, утверждать, что подлецов следует окружать ореолом славы, а честных людей вешать. Но успокойтесь, г. Проезжий, даже подобное снисходительное толкование действий фабрикантов не может иметь места в настоящем случае. Может быть, и действительно, руководствуясь правилами ходячей нравственности, с первого раза они и могли, подобно татарам деревни Агрызь, принять предлагаемую им

аферу за обыкновенное будничное дело, но впоследствии, когда дело пошло по судам, когда для успеха его потребовались подлоги, неужели не было времени одуматься?

Я кончил, но не могу не прибавить нескольких слов в защиту вице-губернатора, который выставлен Проезжим чем-то вроде шута, из которого делает все, что хочет, мифический младший секретарь губернского правления. Вице-губернатор этот мне очень близок, и я смею уверить Проезжего, что не только младший секретарь, но и весь губернский синклит не заставит его сделать что-либо противное его убеждению.

Если вы, г. Проезжий, знаете еще какие-нибудь дела, касающиеся этого вице-губернатора, то потрудитесь сообщить. Я готов отвечать.

ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ
1861 г.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

В № 11 журнала «Наше время» помещена статья г. Ржевского «Несколько слов о дворянстве». Статья эта указывает на то высокое положение, которое должно занять дворянство наше с разрешением крестьянского вопроса.

Не будем спорить с автором о том, что он говорит о дворянстве вообще во вступлении к своей статье. Спорить о том, будто умственная образованность есть привилегия высших слоев общества и что на этом основании последним должно принадлежать преобладание над прочими слоями, как это явствует из смысла всей статьи г. Ржевского, совершенно бесполезно. Эта истина всем известная, освященная мудростью веков и потому приобретшая преимущество бесспорности; она звучала в предостережениях наших нянюшек, когда они говорили нам: «Стыдись, сударь, не клади пальчиков в рот: этак только крестьянские дети делают!»

Но все, что ни говорит автор о дворянстве, есть не более как вступление; сущность статьи заключается в указании того участия, какое обязывается принять дворянство в устройстве быта нашего сельского сословия на новых основаниях, положенных законодательством 19-го февраля.

Заметив весьма основательно, какое огромное значение должна иметь, при осуществлении предстоящего преобразования, должность мировых посредников, занятие которой почти исключительно предоставлено дворянству, автор указывает на ту выгодную обстановку, которую правительство признало полезным придать этой должности. В особенности хвалит он независимость мирового посредника, заключающуюся в том, что «каково бы ни было его решение, никакое начальственное лицо не имеет права не только выразить ему свое неудовольствие выговором или замечанием, но даже и

косвенно дать почувствовать свое одобрение или неодобрение».

Но, при самом полном сочувствии к принципу независимости, действительно составляющему одно из самых завидных преимуществ вновь учреждаемой должности мировых посредников, невозможно, однако ж, смешивать с ним понятие о какой-то свободе от всякой личной ответственности за действия. Подобного рода смешение, вообще нетерпимое ни в какой сфере человеческой деятельности, было бы в особенности вредно в применении к тому великому делу освобождения, которому положено ныне столь счастливое и столь многожеланное основание. Пределы власти мировых посредников, по учреждению об них, до такой степени обширны, что многие не без основания думают, что успешное исполнение законодательства 19-го февраля тесно связано с вопросом о том, как примутся на нашей почве мировые учреждения. Представить себе такую власть без строгой ответственности за употребление ее точно так же немыслимо, как и вообразить себе, что вся сущность предпринятой реформы заключается лишь в перенесении прежних помещичьих прав с одного лица на другое. Чувство человеческой справедливости не может быть удовлетворено тем, что то или другое негодное действие будет отменено: оно требует, чтобы самое лицо, недобросовестно допустившее это негодное действие, получило достойную кару за него.

Но требование строгой и немедленной ответственности за действия скажется еще яснее и настоятельнее, если мы взглянем на дело с точки зрения практического его применения, если примем в соображение ту трудность, которая сопряжена с выбором лиц для занятия должности мирового посредника. Как известно, выбор этот предоставлен губернаторам, по соглашению с губернским и уездными предводителями дворянства, и притом среда, из которой могут быть выбираемы посредники, стеснена ограничениями. Сознаем вполне, что правительство, установляя и этот порядок, и эти условия выбора, не могло поступить иначе по многим причинам. Оно не могло применить к назначению посредников выборное начало, покуда новое законодательство не будет усвоено обеими заинтересованными сторонами, покуда та и другая не придут к сознанию своих прав и обязанностей.

Но положение губернаторов отнюдь не делается от того легче. Практика доказывает, что в таком деле недостаточно «клич кликнуть», недостаточно убеждать «не уклоняться от труда и не пропускать случая, единственного в истории». На деле оказываются преткновения, корень коих лежит в нашем

прошедшем, в том духе распущенности, который еще живет среди нас, в тех обычаях удальства, кумовства и всенипочемства, от которых мы еще долго не отделаемся. Постараюсь указать на некоторые из этих затруднений.

Первое важное затруднение представляет господствующий в нашем обществе взгляд, в силу которого всякое новое учреждение, каковы бы ни были его последствия для народной жизни, представляется нам лишь источником должностей, сопряженных с теми или другими материяльными выгодами. Мы не даем себе труда размыслить о самом существе обязанностей, сопряженных с отправлением известной должности, мы не исповедуем себя, мы не спрашиваем себя, достаточно ли мы способны и сильны, чтоб добросовестно исполнить принимаемую нами обязанность. Нет, сущность дела остается для нас чем-то посторонним, чем-то таким, что придет само собой, без особых с нашей стороны усилий; главный же вопрос заключается в окладах и преимуществах, присвоенных должности. «Сколько жалованья?» — вот вопрос, повторяемый толпой искателей, вот магическое слово, производящее переполох даже в таких людях, которые давным-давно отказались от всякой общественной деятельности и не прекратили дружественных сношений только с самыми близкими соседями: Сопиковым и Храповицким.

Еще недавно, на судебных следователях, мы видели поучительный пример подобного рода уменья низводить вопрос до степени служения исключительно целям побочным. Кто не зарился на присвоенные этой должности тысячу рублей? Кто не считал себя способным занять эту должность, без малейшего на то права, на том только основании, что идут же в следователи и Иван Петрович и Петр Иваныч, отчего же не идти и мне, Сидору Трифонычу? И зато как скоро обнаружилась несостоятельность этих Трифонычей! Как скоро бросились они бежать от мест, искусивших их неопытность! И благо еще тем, которые бежали: это самые добросовестные, а сколько еще остается таких, которые упорствуют и до настоящей минуты, продолжая ляпать следствия кое-как!

Второе, еще более важное затруднение заключается в крайне недостаточной подготовке той части общества, которая призвана к деятельному участию в великом деле преобразования. Нельзя, конечно, не сознаться, что формы этой части общества в последнее время действительно изменились к лучшему; они сделались мягче и благовоспитаннее; победоносные руки уже не стремятся вперед; слово ругательства и поношения хотя и в употреблении, но уже не пользуется почетом. Все это правда; правда даже и то, что к самому во-

просу уже образовались в обществе если не всегда искренние, то по крайней мере стыдливые отношения. Но стыдливость и более приличные формы общежития еще не составляют признаков действительной подготовки к делу, которое для большинства и доныне продолжает представляться более или менее приятною неожиданностью. Предоставляю всякому, читающему эти строки, положа руку на сердце, спросить себя, многие ли из нас с сердечным участием следили за постепенным развитием вопроса, многие ли старались уяснить себе то положение, которое должно вытечь из разрешения его? Помещиков наших можно разделить на две категории: одних, которые живут вдали от поместий и пользуются своим положением, как синекурой; других, которые постоянно живут в своих имениях и входят в мельчайшие подробности управления. Первые вовсе не имеют никакого понятия ни о крестьянском быте, ни о нуждах его; понятия вторых нередко бывают превратны. Первые вообще более образованны, чем последние. Но отношения тех и других к крестьянскому быту чисто отрицательные. Эта последняя черта очень верно подмечена в нашей литературе, которая до сих пор выработала только два типа помещиков: или помещика, олицетворяющего собою самодурство и произвол, или помещика-мечтателя, подходящего к делу с доброю совестью, но не умеющего взяться за него. Типы, подобные гоголевскому Костанжогло, не удавались именно потому, что они не были вызваны жизнью, а скорее были навязываемы ей. Да и откуда было выработаться в нас положительным отношениям к жизни? Легкость получать возмездие навязала нам скверную привычку жить спустя рукава и смотреть на будущее, как на что-то вполне для нас обеспеченное, несомненно нам принадлежащее. Мы не видели конца нашему благополучию, и если наконец убедились случайно, что старые боги умирают, то остались верными заповеди и не сотворили себе новых кумиров. А без новых кумиров, без новых воззрений на жизнь, воля ваша, трудно идти по пути новому, неисследованному, да еще вести за собой большинство. Конечно, у нас теперь «мода ездить в деревню и идти в посредники», как выразился недавно «Русский вестник», но нельзя забывать, что мода всегда увлекается только наружною стороною дела, а не сущностью его. Самое применение моды к такому делу, в котором главным двигателем должно быть убеждение, уже доказывает, как мало уяснены нашим обществом его отношения к реформе.

Третье затруднение в выборе посредников заключается в самой многочисленности претендентов, которых должно вызвать учреждение подобного рода. Красивость положения ми-

рового посредника, независимость его, которую большая часть смешивает с безответственностью, наконец, мода — все это составляет такую приманку, которая, несомненно, привлечет к себе множество искателей. Какою бы проницательностью, какою бы добросовестностью ни наделили мы лицо, обязанное во что бы то ни было сделать выбор между этими соискателями, все-таки должны будем сознаться, что, по свойственной человеческой природе ограниченности, невозможно не растеряться между сотнями лиц, со всех сторон рекомендуемых. Не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет статский советник Стрекоза — оба неустанно строчат рекомендательные письма. Первая рекомендует своего protégé по причине comme il faut; второй своего за скромность, за то, что он с молодыми молод, со старцами стар. Матрена Ивановна хорошая женщина, и отличные приготовляются у ней пироги; Стрекоза припоминает в письме о приятных минутах, проведенных вместе тогда-то и там-то, и заверяет, что минуты эти оставили неизгладимое впечатление в его сердце. Да, трудно, неловко отвечать отказом на такое учтивое, в душу лезущее приставание, а если прибавить к этому еще потребность уживаться, столь многими принимаемую как высшее выражение административной дальновидности, если взять в соображение естественное пристрастие к лицам, с которыми часто обращаемся в обществе, то возможность и даже необходимость ошибок и увлечений в выборе лиц делается очевидной.

Повторяем: в таком важном деле, каким представляется освобождение крестьян от крепостной зависимости, недостаточно клич кликнуть, недостаточно надеяться, что авось-либо выбор падет на людей порядочных и добросовестных. Напротив того, надобно заранее примириться со всякого рода случайностями, надобно сказать себе, что люди везде и во всякое время не изъяты слабостей и ошибок и что корректив этой человеческой погрешимости должен заключаться в самой обстановке мирового учреждения.

Этим коррективом, по нашему мнению, при тех условиях, в которые поставлены мировые посредники Положением 19-го февраля, может быть только возбуждение строгой ответственности за их действия. Правительство, давшее столь несомненные доказательства заботливости своей о благе общем, очевидно, не могло упустить из вида и это обстоятельство. Оно оградило мировых посредников от придирчивого влияния местной административной власти на их действия и убеждения, но не сняло с них ответственности за последствия тех и других.

В самом Положении о губернских и уездных учреждениях по делам крестьян мы встречаем несомненное указание на ответственность, которой могут быть подвергаемы посредники, не исполнившие добросовестно обязанностей своих. Указание это изложено в 21 статье Положения, по смыслу которой посредники подлежат взысканиям в том же порядке, как и уездные предводители дворянства. Конечно, нам могут возразить, что подсудность правительствующему сенату есть нечто отдаленное, выходящее из ряда обыденных явлений административной сферы, делающее самое возбуждение ответственности актом крайне трудным и сомнительным; но возражение едва ли верно.

Оно неверно уже потому, что в нем слышится наше стародавнее воззрение на права и преимущества административной власти, в силу которого действия ее и произвол являлись понятиями совершенно однозначащими. Мы до такой степени привыкли видеть административную власть, действующею, так сказать, наотмашь, что введение даже самомалейшего препятствия, самомалейшей обрядности, ограничивающей ее произвол, ставит нас в тупик и порождает мысль, что лицо или учреждение, в отношении которого допущено ограничивающее начало, уже поставлено, в некотором смысле, выше закона. Мы не хотим понять, что здесь ограничение касается лишь форм, в которых возбуждается ответственность, но не самого начала ответственности, которое во всяком случае остается в своей силе. Конечно, отношения местной административной власти к мировым посредникам сложнее и деликатнее, нежели к исправникам и становым приставам; но это доказывает совсем не то, что посредники могут, ничтоже сумняся, делать всё, что пожелают, а то, что в настоящее время условия административной деятельности труднее прежних. Еще недавно некоторые администраторы действиями своими прообразовали полет, то есть летели всё прямо и прямо; нынче этого недостаточно; нынче искусный администратор обязывается прежде всего сесть на крышу и там в уединении обдумать, как бы таким образом пролететь, чтоб и воробья не спугнуть; а спугнуть, так спугнуть дельно. Возьму, для пояснения моей мысли, пример из следственной практики, близко подходящий к настоящему делу. Во всех государствах, где развита гражданственность, привлечение граждан к следствию составляет акт, требующий величайшей осмотрительности; затем, один из самых тяжких следственных обрядов, домашний обыск, почти не допускается вовсе. Следует ли из этого вывести заключение о безнаказанности преступления в таких государствах? Отнюдь нет. Напротив того, мы положи-

тельно знаем, что там гораздо менее остается преступлений нерасследованных, нежели в таких государствах, где привлечение гражданина к следствию нередко составляет предмет игривой затеи полицейского чиновника, а домашний обыск до того вошел в привычки следователей и даже самих обывателей, что без него и следствие как будто не в следствие. Итак, стеснение административной власти в формах ее сношений с мировыми посредниками отнюдь не лишает ее права вчинать иск к сим последним при всяком случае, когда в том будет настоять действительная надобность. Губернские начальства, которые не воспользуются этим правом, очевидно не исполнят обязанности, возлагаемой на них самим законом.

Но если бы и действительно ответственность мировых посредников оказалась слабою или сомнительною, то и тогда найдутся средства поддержать этот существенный принцип.

Мысль, которую мы намерены предложить в видах достижения этой цели, не новая, и была уже частию применена в отношении к судебным следователям в одной из наших внутренних губерний. Мысль эта заключается в устройстве периодических съездов всех посредников одной губернии в губернском городе, но не только для взаимного обмена мыслей и разъяснения общим советом частных вопросов и недоразумений, возникших в той или другой местности, но и для представления подробного отчета о всех действиях каждого посредника по вверенному ему участку.

Представление этих отчетов много облегчается правилом, изложенным в 69 ст. Пол. о губ. и уезд. учр. по крест. делам, в силу которого о всех производимых каждым посредником делах должно быть записываемо или в журнал, или в книгу и т. п. Этот журнал сам по себе должен составлять неподкупную отчетность, из которой каждый участвующий в губернском съезде может получить ясное понятие о том, каким образом тот или другой посредник воспользовался предоставленными ему правами. Поэтому журналы эти должны быть всегда налицо и предъявляться по первому требованию съезда, а еще было бы лучше, если б журналы посредников одного уезда были подвергаемы поверке посредников других уездов, с тем чтоб отчет об этой поверке был представляем съезду.

Сверх того, было бы желательно: *во-первых,* чтобы в губернских съездах мировых посредников участвовали в качестве свидетелей члены уездных мировых съездов, определяемые от правительства; *во-вторых,* чтобы к участию в совещаниях были приглашаемы члены губернских присутствий; *в-третьих,* чтобы съезды были организованы благообразно, то есть имели своего председателя и секретаря, и чтобы самый

порядок совещаний был установлен не такой, первообразом которого служат наши сходки, а тот, какой существует во всех совещательных собраниях, более или менее благоустроенных; и *в-четвертых,* наконец, чтобы результаты совещаний и поверки отчетов были публикуемы в местных «Губернских ведомостях».

Мы думаем, что только при такой обстановке начало ответственности будет тем действительным, гарантирующим началом, которого необходимость, при исполнении законоположений 19-го февраля, неоспорима. Нельзя сомневаться в плодотворных последствиях, которые повлечет за собою устройство подобных съездов: оно даст крепость и силу мировому учреждению, оно навсегда изгонит из него негодные элементы произвола и коснения, оно сообщит ему привычки законности и сделает доступным для развития. Мы убеждены даже, что одна мысль о возможности подобной поверки действий много очистит этот рождающийся у нас институт. Не один из сторонников идеи самоуправления, переложенного на русские нравы, задумается при мысли об этой возможности; не один из тех, которые в юношеском восторге поверяют друг другу: «mon cher! nous serons indépendants!» [1], оставит свою затею и удалится восвояси пасти гусей.

Зато те, которые останутся, те, которые сознают в себе силу выдержать искус, те будут действительно хорошими и полезными мировыми посредниками.

---

[1] дорогой мой! мы будем независимы!

К КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

На основании Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях, в каждой губернии учреждается особое губернское присутствие, на обязанности которого лежит не только окончательное разрешение споров и недоразумений по делам крестьян, вышедших из крепостной зависимости, но и определение всех подробностей, относящихся до приведения в действие законодательства 19-го февраля. Независимо от коронных членов, в состав этого присутствия входят четыре члена из местных дворян-помещиков, которые, как люди, не несущие на себе никаких других служебных обязанностей, и должны представлять собою, так сказать, ядро губернского присутствия.

Несомненно, что самое большое затруднение при исполнении нового законодательства представится в слишком недостаточном распространении грамотности в народе и в тех привычках недоверия, которые поселены в нем крепостным правом. То спокойствие, с которым встретили крестьяне столь давно желанную весть об отмене крепостного права, служит достаточным ручательством, что с их стороны нельзя опасаться в будущем беспорядков. Но нельзя отвергать, что в некоторых помещичьих имениях, где в особенности чувствительно заявляло себя действие крепостного права, недоразумения не только возможны, но даже и естественны, как вследствие уже упомянутых нами причин, так и вследствие неясного понимания силы и значения законодательства, дающего права массе до сих пор бесправной [1].

---

[1] Особенное внимание в этом отношении заслуживает так называемая смешанная повинность, которая была введена в большей части наших оброчных имений. Для крестьян это самая тяжелая повинность, ибо она ста-

Желательно было бы, чтоб эти недоразумения, эти ошибки принимались за то, что они есть на самом деле, и чтобы к представлениям о них не примешивались те гнусного свойства опасения, выражение которых и до сей поры нередко случается слышать в обществе. К сожалению, общество наше довольно склонно к преувеличениям и опасениям; в самомалейшем противоречии, в самом законном желании простолюдина уяснить себе известное требование или дело оно уже видит заднюю мысль. При малейшем шорохе, при самом ничтожном замешательстве являются на сцену пессимисты-каркатели гнусностей и бодро поднимают головы. «А что, говорили мы! предсказывали мы!» — повторяют они.

Надо надеяться, что губернские власти не последуют примеру этих пессимистов и взглянут на дело с другой, более человечной точки зрения. При всех недоразумениях подобного рода, особую, неоцененную услугу могут оказать им те дворяне-помещики, которые назначаются ныне членами губернских присутствий. При тех выгодных условиях, в которые они поставлены Положением, при том знании дела и крестьянского быта, которое всякий вправе предполагать в них, действие их, с целью личного разъяснения крестьянам их прав и обязанностей, представляется не только желательным, но даже совершенно необходимым.

Случаи, требующие этого действия, не могут быть многочисленны. Нельзя сомневаться, что большая часть недоразумений будет без труда устранена в самом начале деятельностью мировых посредников; следовательно, участие членов губернских присутствий потребуется в немногих случаях недоразумения упорного, которое, по каким-либо причинам, не поддается действию местной, уездной администрационной власти. Обращаться в подобных случаях к содействию полицейских мер было бы не только несправедливо, но и нерасчетливо. Во-первых, участие полиции, со всеми ее атрибутами, является необходимостью лишь при существовании действительных беспорядков, а не там, где существует только заме-

---

вит их в неопределенное положение относительно их обычных промыслов и мешает сознать в точности ту сумму повинностей, которую они действительно несут. Если же мы, сверх того, возьмем в соображение, что рабочие дни, отбываемые сверх уплаты оброка, требуются если не исключительно, то преимущественно летом, то есть в такую пору, когда день особенно дорог для крестьянина, то увидим, что смешанная повинность (в некоторых имениях число рабочих дней достигает 50 с тягла в год) есть почти то же, что барщина с легким прибавлением оброка. Утешительно думать, что наши просвещенные помещики сами позаботятся об уничтожении смешанной повинности, этого главного источника всех недоразумений. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

шательство, требующее для своего прекращения одного толкового и терпеливого разъяснения дела; во-вторых, полиция не может быть даже компетентным судьей в таком деле, к участию в котором она вовсе не призвана.

Повторяем: деятельное участие членов губернских присутствий (дворян-помещиков) в случаях подобного рода совершенно необходимо. Они более, нежели другие лица губернского и уездного управлений, способны внушить доверие крестьянам; они более, нежели кто-либо, могут уяснить себе и самый дух нового законодательства и ту обстановку, среди которой оно приводится в исполнение. То, в чем полицейские власти могут видеть неповиновение, беспорядок и сопротивление букве закона, в глазах добросовестного члена губернского присутствия может принять характер события, которого основа лежит, быть может, в неясном понимании обязанностей с одной стороны, а быть может, и в старании удержаться на прежней почве произвола — с другой. Законоположения 19-го февраля не уполномачивают начальников губерний обращаться к содействию членов губернских присутствий в делах такого рода, но и не воспрещают этого обращения. Мы думаем даже, что губернаторы имеют полное право требовать этого содействия, ибо существенное в деле освобождения крестьян заключается в то̀м, чтобы великое преобразование, предпринятое правительством, совершилось спокойно и беспрепятственно, а не в бесплодных словопрениях о том, прилично или нет тому или другому члену присутствия принять на себя обязанность, с исполнением которой в деле нашем до сих пор соединялось представление о полиции.

Да и сами члены губернских присутствий, надеемся, поймут, что обязанность их заключается не в одном только канцелярском разборе жалоб и дел, но и в живом воздействии на крестьян, жаждущих только слова добра и истины, чтобы с достоинством и твердостью идти по новому пути, указанному рукой царя-освободителя. Всякие споры и пререкания по этому поводу были бы не только бессмысленными, но являлись бы положительным преступлением против общества, и герои, которые рассуждают, что «я, дескать, не за тем призван, чтоб заменять станового, а за тем, чтобы рассуждать в мире и безмятежии», заслуживают того, чтобы имена их были занесены на страницы истории крестьянского дела, как назидательные примеры чванства и неуместной умственной мягкости.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТИННОМ ЗНАЧЕНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

Представьте себе несчастного петербургского чиновника, который, в течение тридцати и более лет своей службы, ежедневно прохаживался из Галерной гавани в тот департамент, где он имел честь состоять писцом, и который давным-давно забыл мечтать о том, что есть на свете места помощников столоначальника, дающие человеку возможность износить в год лишнюю пару сапогов; представьте себе этого чиновника, с надсаженною грудью, с поблекшим сердцем, с посрамленною вечным механическим трудом душою, и потом предположите, что этот забитый и загнанный судьбою человек совсем неожиданно получает известие, что где-то в Якутске скончался некто Прижимистый, который доводится ему чем-то вроде седьмой воды на киселе, и что, по этому случаю, ему достается наследство в миллион рублей. Как поступит, как поведет себя бедный труженик?

Что касается до меня, то я живо представляю себе его положение. Прежде всего, думаю я, он не поверит полученному известию, и сомнения его рассеются уже тогда, когда объявляющий ему эту весть квартальный поручик назовет его «сиятельством». Потом, я полагаю, он сочтет первым долгом нагрубить своему столоначальнику и не встать с места при появлении начальника отделения. Потом, он примется переписывать брошенную ему на стол бумагу, но работа пойдет худо и неспоро, и он, не окончив ее, сбежит из департамента туда, в свое отечество, в свою любезную гавань. Там он, что называется, закричит благим матом, созовет товарищей своего прежнего безотрадного существования и учинит дебош, о которой долго, между гаваньцами, будут переходить из рода в род преувеличенные рассказы.

С точки зрения людей благонамеренных, мой бедный, загнанный герой, конечно, должен бы поступить совершенно иначе. Он должен бы был, прежде всего, отправиться в храм божий, потом сходить в баньку и вымыться, потом отправиться к своим добрым начальникам и испросить у них отпуска, потом, пожалуй, созвать своих сослуживцев и т. д. Одним словом, тихо и добропорядочно совлечь с себя ветхого человека и кротко и не брыкаясь прокрасться в новую жизнь.

И тем не менее я отнюдь не удивляюсь, что герой мой идет не в баню, а в трактир, не просит отпуска, а бежит с поля сражения самовольно. Не удивляюсь я по следующим, довольно основательным в моих глазах, причинам. Во-первых, думаю я, в жилах этого человека течет кровь, а не слякоть; весть, которую он получил, так доброгласна, что сердце невольно в нем заиграло, а в таком расположении души что может быть естественнее, как подпрыгнуть до потолка и показать, в некотором роде, язык своему прошедшему? Во-вторых, я не упускаю из вида и того, что в Галерной гавани о приятных и приличных манерах имеются понятия весьма смутные и что тамошнее comme il faut совсем не похоже на comme il faut Английской набережной; следовательно, рассуждаю я, отчего же герою моему не напиться отечественного, не отпраздновать своей радости по-своему, сообразно с теми привычками, на которые указывает вся проведенная доселе им жизнь?

Поведение героя моего тем более кажется мне естественным, что оно безобидно, что, в сущности, оно даже не задевает никого. Я убежден, что пройдут дни увлечения, выбродятся дрожжи, произведшие первое брожение,— и жизнь по-прежнему войдет в естественную свою колею. Кто знает? Быть может, прежняя, нуждная гаваньская жизнь будет представляться ему даже в розовом цвете? Быть может, попривыкнув к яствам Донона и беседуя с бывшим своим сослуживцем, не получавшим наследства и потому живущим еще в гавани, он даже вздохнет полегоньку и скажет: «А ведь вы, канальи, там очень счастливы, в гавани-то?» Кто знает?

В подобном, или приблизительно подобном, положении, как этот внезапно разбогатевший труженик, находятся в настоящее время наши крестьяне, воспользовавшиеся благодеяниями дарованной им свободы. Припоминая всю горечь условий, в которых они находились доселе, и взвешивая те последствия, которые влечет за собою для них нынешняя реформа, невольным образом спрашиваешь себя: возможно ли и естественно ли, чтоб сердца их не раскрылись при вести о новом воскре-

сении, о новом сошествии Христа во ад для освобождения душ их? Возможно ли, чтоб эта добрая, неслыханная весть не потрясла их до глубины души, чтобы при получении ее они сохранили всё благоразумие, всё хладнокровие?

Конечно, было бы приятно и весело слышать, что крестьяне, выслушав эту весть, оделись в синие армяки, а крестьянки в праздничные сарафаны, что они вышли на улицу и стали играть хороводы, что, проиграв кротким манером до вечера, спокойно разошлись себе по домам и заснули сном невинных, с тем чтобы на другой день вновь благонравно приняться за исполнение старых обязанностей. Но, увы! как ни соблазнительна подобного рода идиллия, едва ли, однако ж, она возможна на деле. Всякий благоразумный помещик поймет, что требование такого ненарушимого благонравия не только неуместно, но даже несправедливо; что оно не согласно с условиями человеческой природы и что ход и развитие жизни не могут быть ни столь плавными, ни столь идиллическими уже по тому одному, что в числе условий этого развития немаловажное место занимают невольные ошибки, неприготовленность и неожиданность. Благоразумный помещик поймет возможность увлечения в таком горячем деле; он сознает, что для крестьянина, преисполненного новым для него чувством свободы и довольства, трудно воздержаться от того, чтобы даже не предъявить чего-нибудь лишнего, и на этом основании снисходительно взглянет на могущие возникнуть недоразумения, устранение которых невозможно без пожертвования частью материальных выгод. Зато, мы уверены, и крестьяне скоро поймут такого помещика.

А между тем люди, предъявляющие, относительно крестьян, ожидания и требования буколического свойства, выискиваются нередко. Этим господам хотелось бы подменить человеческую природу и сделать из нее, хоть на время, хоть на два годочка, исключительное хранилище чувств благонравия и благодарности. Понятно, что, заручившись однажды этою мыслию и заранее определив, на основании ее, будущий ход событий, они не могут оставаться хладнокровными, не могут не сердиться, видя, что жизненные явления на каждом шагу противоречат утопии. Им кажется, что жизнь идет не так, как было бы желательно, и не потому не так идет, что она не может и не должна так идти, а потому, что есть какое-то преднамеренное озорство, которое засело там-то и там-то (называют даже по именам) и которое необходимо следует истребить. Отсюда вопли, отсюда внезапный, диковинный переход от идиллии к драме.

Нельзя не сознаться, что ввиду этих воплей, ввиду этих

внезапных переходов от идиллии к драме, положение наших мировых учреждений и губернских присутствий до крайности затруднительно. Чтоб действовать с успехом, для них необходимо с первого же раза приобрести свободное доверие крестьян, а им указывают на угрозу, на страх наказания, забывая при этом, что окончательная и истинно разумная цель преобразования быта сельских сословий заключается не только в улучшении материальных условий этого быта, но преимущественно в *нравственном перевоспитании* народа.

Очевидно, однако ж, что и приобретение народного доверия, и нравственное перевоспитание народа могут быть достигнуты в том только случае, если всякий благомыслящий человек согласится, что в настоящее время все усилия должны быть направлены к тому, чтобы предпринятая правительством реформа прошла спокойно, без потрясений, и чтобы плодом ее было сближение двух заинтересованных в деле сословий, а не разъединение их. Но результат такого рода, единственный прочный и плодотворный результат, может быть приобретен не иначе, как путем неторопливого и мирного согласования взаимных прав и обязанностей, а отнюдь не силою. Конечно, с точки зрения избавления от тягостей умственного труда, решение возникающих вопросов при посредстве полицейских мер представляет значительные удобства; но мы твердо убеждены, что соблазн подобного рода не увлечет наши уездные и губернские учреждения по крестьянскому делу. Мы твердо убеждены, что они вполне проникнуты святостью лежащих на них обязанностей и потому не остановятся ни перед огромностью предстоящего им труда, ни перед значительностью сопряженных с этим трудом пожертвований. Не на завладение ферулой, а на искоренение понятия о необходимости ее из наших административных обычаев и нравов должно быть обращено ревнивое внимание этих учреждений, и в этом заключается одно из завидных преимуществ их плодотворной деятельности. И они, несомненно, достигнут этого результата, если, вместо того чтоб наскакивать на факт недоразумения, так сказать, с налету, они будут входить в разыскание причин этого факта и сумеют отличить его действительное значение от тех наносных преувеличений и украшений, которые придаются ему страстями минуты. Считаем не лишним сказать здесь несколько слов по этому поводу.

Мы уже упомянули выше о тех причинах, которые на первых порах могут произвести брожение в массах. Причины эти заключаются в самой новости положения и в естественности увлечения, отсюда истекающего. Ошибаться насчет

истинного смысла этого явления, не признавать, что оно, по самому свойству своему, должно необходимо и притом в самом скором времени притупиться и уступить обычному, трезвому ходу жизни, было бы непростительно. Здесь самый лучший и самый верный корректив — время. Но нельзя отрицать и того, что, в некоторых случаях, к этой естественной и неопасной причине брожения могут примешаться элементы, в сущности ей посторонние, но сообщающие ей прискорбный характер упорства и горечи. Тут на первом плане стоит, с одной стороны — недостаточное распространение грамотности в массах народных, а с другой — неискренность, с которою заинтересованные в деле стороны выступают на новый, широкий путь, указываемый реформою. Для устранения первого из этих явлений нет иного средства, кроме терпеливого и толкового разъяснения крестьянам их прав и обязанностей. Никакие полицейские меры не могут в один час поправить то, что запущено веками; никакие полицейские меры не совмещают в себе ни силы убеждения, ни силы доказательства. Уголовное законодательство наше объясняется на этот счет совершенно определительно, причисляя к разряду обстоятельств, уменьшающих вину и наказание, *невежество,* а равно и *раздражение, произведенное обидами, оскорблениями и иными поступками лица,* против которого направлено известное действие, признанное незаконным. Но ежели закон поставляет судье в обязанность согласоваться с этим воззрением на побуждения, которыми руководится человек в своих действиях, при обсуждении преступлений действительных и юридически доказанных, то тем большую силу должно оно иметь к таким действиям, преступность которых главным образом заключается в настроении минуты, настроении столь общем, что невозможно ни уловить, ни определить его источников. Теоретически говоря, невежество в этом случае есть не только уменьшающее, но и отпускающее вину обстоятельство, тем более что самое существование невежества, как побудительной причины действия, вовсе не зависит от произвола тех лиц, которые наиболее от него терпят. К тому же результату придем мы, если будем смотреть на дело и с точки зрения исключительно практической, ибо кому неизвестно, что невежество бесхитростно, несмотря на кажущееся его упорство, что оно не заключает в себе никаких истинно жизненных стихий, из которых могло бы выделиться что-нибудь связное и сильное, и что по этому самому оно не может долго противостоять богатым и разнообразным средствам, которыми обладает сторона, имеющая в свою пользу все преимущества цивилизации.

Что касается до второго из поименованных выше явлений, то есть неискренности, с которою вступают на путь реформы заинтересованные в деле стороны, то оно довольно важно, чтобы остановиться на нем с некоторою подробностью.

Законодательство 19-го февраля на два года оставило крестьян, относительно отбывания господских денежных и смешанных повинностей, в том же положении, в каком они были прежде. Мера эта, очевидно допущенная в видах устранения замешательства в помещичьих хозяйствах, может дать повод к превратным толкованиям и в некоторых (конечно, немногих) личностях возбудить желание остаться хоть на время на прежней почве крепостного права.

Чтобы доказать тщету подобных надежд, достаточно припомнить одно: что и при существовании крепостного права не всякая повинность признавалась законною и не всякое требование — подлежащим удовлетворению. В уставе о пресечении и предупреждении преступлений (Св. Зак., XIV) заключается целый ряд законоположений, имеющих предметом именно устранение излишних и стеснительных для крестьян требований. Следовательно, если в то время, при полном произволе помещичьей власти, закон все-таки установлял некоторые меры ограждения в пользу крестьян, то, разумеется, невозможно предположить, чтобы новое законодательство, вносящее начало законности и правомерности в сферу отношений крестьян к помещикам, допускало не только на два года, но даже на минуту, положение худшее против того, которое существовало доселе. Это так ясно, что не нуждается даже в доказательствах. Но дело в том, что при прежнем порядке вещей, благодаря безгласности, на которую осуждены были крепостные крестьяне, случаи стеснительного для них управления всплывали на поверхность довольно редко; теперь же, когда крестьянам даны личные права, когда с них снята тяжесть безгласности, стеснительность повинностей в тех имениях, где она действительно допускается, очевидно должна обнаружиться с первого же раза. И здесь-то именно может заключаться, по нашему мнению, единственный источник столкновений действительных и серьезных, против которых могут оказаться бессильными всякие убеждения. Как поступить в таком случае? Устранить ли самую причину, породившую столкновение, или же, в угодность букве закона, требовать непременного выполнения прежней повинности, хотя бы излишество ее было признано и компетентными в этом деле судьями? Мы думаем, что ответ на этот вопрос не может быть сомнителен. Конечно, сами помещики убедятся, что невозможно в настоящее время оставаться при том порядке вещей,

который и прежде сносился лишь скрепя сердце; но если бы убеждения этого местами не последовало, то очевидно, что в это дело вынуждена будет вмешаться администрационная власть, в видах охранения общественного спокойствия и устранения прискорбных беспорядков.

Но, помимо приведения в ясность причин, произведших беспорядок, необходимо, как мы сказали выше, поставить самый факт в его истинном свете, очистить его от наносных преувеличений и украшений. Кто испил на деле чашу провинциального, захолустного существования, тот, без сомнения, достаточно испытал на себе, какое огромное и решительное значение имеют в нем так называемые мелочи жизни. При оценке известного явления, выделяемого этой жизнью, отнюдь не следует упускать из виду эти мелочи, ибо, только окруженное ими, оно становится перед глазами нашими в надлежащем свете. При том полном затишье, какое царствует в наших деревнях, всякое слово взвешивается пудами, всякий вершок кажется с аршин. Особливо в таком бойком, горячем деле, как освобождение крестьян. Какая-нибудь ключница Мавра донесет барыне, что дядя Корней, лежа на печи, приговаривал: «Мы-ста, да вы-ста» — вот уж и злоумышление. Какой-нибудь староста Аким подольстится к барыне, что «у нас-де, сударыня, Ванька-скот давеча на всю сходку орал: а пойдем-ка, братцы, к барыне, пускай она нам водки поднесет» — вот уж и бунт. И барыня Падейкова пишет туда, пишет сюда, на весь околодок визжит, что честь ее поругана, что права ее попраны... И вместо того, чтоб унять ее, ей вторит целое воинство, и Ванька-скот летит в становую квартиру, а дядя Корней записывается в книжечку, как будущий зачинщик и подстрекатель.

Но могут быть, скажут нам, такие случаи, когда, несмотря на теоретическую несправедливость применения полицейских мер, необходимость тем не менее заставляет прибегнуть к ним, как к единственному средству для пресечения в самом начале беспорядков, грозящих разлиться на значительное пространство. Это случаи так называемых примеров и подражаний. Мы и с своей стороны не отрицаем возможности такого рода случаев, но при этом считаем не лишним оговориться. Прежде всего, главная причина подобных явлений все-таки заключается в беспечности местных властей, которые, вместо того чтоб захватить беспорядок в его зародыше, то есть тогда, когда он наиболее доступен мерам убеждения и соглашения, обращают на него внимание уже в то время, когда он успеет, так сказать, организоваться. Конечно, уследить за этими чуть приметными зачатками беспокойств довольно трудно, но ведь

и власть не для того существует и не для того называется властью, чтоб действовать спустя рукава. Следовательно, местные власти отнюдь не должны быть избавляемы от ответственности в делах подобного рода. Но пойдем далее; допустим, что вследствие той или другой причины, то есть единственно ли по вине крестьян, или же с примесью посторонних обстоятельств, но факт беспорядка уже совершился: каким образом действовать для прекращения его? Смеем думать, что действие мерами, не выходящими из пределов закона общего (порядком следственным и судебным), принесет в этом случае пользу несравненно более действительную и прочную, нежели употребление мер экстренных. Убеждение это мы основываем на следующих соображениях. Во-первых, спокойное исследование дела даст возможность отличить раздражение действительное и злостное от возбуждения, вызванного подражанием, не имеющего собственной почвы и потому скоропреходящего; одним словом, оно даст возможность ограничить развитие беспокойств тем именно районом, где они имеют, так сказать, причину бытия. Для этого не нужно ни особенной проницательности, ни особенной сметки, не требуется даже слишком много времени. Сами обстоятельства, с первого же раза, положительно укажут на центр беспорядков; самый поверхностный разбор дела на месте выяснит, куда именно обращаются все взоры, куда тянут все умы. Все остальное, в глазах добросовестного исследователя, есть не что иное, как аксессуар, имеющий значение только до тех пор, покуда заявляет о своем существовании действительно больное место. Очевидно, что, следуя этому методу, лицо, действующее против беспорядка и беззакония, значительно облегчит себе задачу и что самые размеры беспорядка весьма уменьшатся в глазах его, так как оно будет иметь дело уже не с безразличной, недоступной разумным убеждениям, толпою, а с отдельными личностями. Во-вторых, употребление силы, как средства к прекращению беспорядков, хотя и имеет за себя быстроту и действительность первого производимого им впечатления, но вместе с тем имеет и *против* себя скоропреходимость этого впечатления, не укрепленного сознанием. Напротив того, действие путем исследования хотя и кажется на первый взгляд медленным и неудовлетворительным, тем не менее всегда приводит к результатам благоприятным и прочным. Здесь самая проволочка дела имеет свою выгодную сторону, ибо дает время раздражению притупиться, а лицу, действующему против этого раздражения, представляет возможность оглядеться и приступить к искоренению зла с полным знанием его сущности.

Оканчивая беседу нашу с читателем, мы позволяем себе заявить здесь одно желание, а именно, чтобы заседания наших губернских присутствий по делам крестьян происходили публично. Законодательство 19-го февраля не разрешает определительно этого вопроса, но мы думаем, что ежели принцип гласности допускается при обсуждении дел мировыми посредниками и уездными мировыми съездами, то нет причин не допускать благодетельного его действия и в отношении к губернским присутствиям.

Проницательный читатель поймет, что утвердительное или отрицательное решение этого последнего вопроса отнюдь не чуждо тому, что составляет главный предмет настоящей статьи.

ОТВЕТ г. РЖЕВСКОМУ

Когда покойный Ф. В. Булгарин намеревался уязвить кого-нибудь из современных ему писателей, то руководился при этом следующим любезным правилом: подбери из сочинений подлежащего уязвлению автора несколько отрывочных фраз, без всякой связи с последующим и предыдущим, оболги автора по мере убогих сил своих, и затем придай статье своей фо́рму доношения.

Я не напомнил бы читателю об имени этого прискорбного публициста, если бы на днях со мной не произошло случая, который живо перенес меня в эпоху дней давно минувших.

В № 91 «Московских ведомостей» нынешнего года я напечатал статью об ответственности мировых посредников. Цель статьи заключалась в том, чтоб указать на непрочность учреждений, основанных на одной вере, и из этих указаний вывести необходимость применения к мировым посредникам начала ответственности, как единственного обеспечения правильности их действий. Тут вовсе не было речи ни о подчинении мировых посредников административной власти, ни о «поставлении их в одно положение с исправниками и становыми приставами» (какая обида!); тут шло дело лишь о праве, не только правительства, *но и общества,* контролировать действия посредников — ни больше, ни меньше. Полагаю, всякий согласится, что в этом требовании не заключалось ничего излишнего.

Но в статье моей я коснулся воззвания г. Ржевского, напечатанного в № 11 журнала «Наше время», под заглавием: «Несколько слов о дворянстве». Упомянул я об этом воззвании мимоходом, как о довольно странном выражении довольно странных поползновений, и этого было достаточно, чтобы на-

влечь на меня гнев г. Ржевского[1]. Ответ его помещен в № 22 «Современной летописи Русского вестника».

Приемы, посредством которых он изливает на меня этот гнев, напоминают точь-в-точь манеру Булгарина. Тут есть и злостное перетолкование слов; нет недостатка и в инсинуациях; допущены даже некоторые усовершенствования в духе новейшем.

Усовершенствования состоят в том, что г. Ржевский обносит меня именем «бюрократа». Небезызвестно мне, что в понятиях наших Собакевичей, Маниловых и Ноздревых это — ужасно ругательное слово, все равно что «моветон» в понятиях Земляники и Тяпкина-Ляпкина. Слушать, как рассуждают эти господа о централизации и бюрократии, поистине поучительно. Один доказывает, что децентрализация заключается в учреждении сатрапий, другой мнит, что децентрализация в том состоит, чтобы водку во всякое время пить. «Что̀ такое бюрократ?» — спрашивает Фетюк-Мижуев. «А вот, братец,— объясняет Ноздрев,— хочу я, например, теперь водки выпить, ан тут бюрократ: стой, говорит, водку велено пить в двенадцать часов, а не теперь».

Меня, однако ж, это слово отнюдь не пугает. Во-первых, я знаю, что оно выражает собою принцип, в котором ничего нет постыдного или паскудного и которого участие в жизненных отправлениях государства в известной мере необходимо и не устраняется развитием земства; а во-вторых, я сомневаюсь, чтобы даже наиученейшие из Ноздревых могли удовлетворительно объяснить, какое отношение имеет понятие о бюрократии собственно к русской почве. Где взяли, откуда

---

[1] Чтобы судить, в каком тоне и духе написана статья г. Ржевского, достаточно выписать из нее следующее место: «Начиная с Фон-Визина, Державина и Карамзина, целый ряд громких имен в литературе и науках, как, например: Жуковский, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грановский, Тургенев, Милютин, Кавелин и множество других принадлежат к тому классу, который мы называем дворянством, а все прочие классы, вместе взятые, не могут доставить и десятой доли подобного блестящего списка». Вот одно из доказательств, на котором г. Ржевский строит свою теорию о праве дворянства на политическое преобладание в государстве. По-нашему, это не право, а только средство, равно доступное каждому сословию. И притом, что это такое: упрек ли, сожаление ли или просто оскорбление? Если это упрек, то справедливость требовала разъяснить и причины, вследствие которых «прочие классы» не могли выделить из себя столько замечательных деятелей, как дворянство, и тогда, быть может, упрек пал бы сам собою. Если это сожаление, то, вместо того чтоб сожалеть бесплодно, следовало бы указать на средства к устранению причин, обусловливающих существование предмета сожаления, причин, ни для кого не составляющих тайны. Если это оскорбление, то оно неуместно, ибо направлено против лиц, которые не могут отвечать. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

вывели эти господа русскую бюрократию, отдельную от русского дворянства,— это тайна, разгадку которой следует искать в трущобах сердец ноздревских. Быть может, их сбило с толку наше подьячество; но, во-первых, подьячество представляет собою пародию на адвокатуру, а отнюдь не подходит к тому, что обыкновенно разумеется под именем бюрократии, а во-вторых, подьячество есть явление своеобразное, принадлежащее нашей жизни наравне с такими явлениями, как юродивые, калики перехожие и т. п.; в самом чиновничестве (дворянство тож) оно стоит таким особняком, что служит для первого лишь предметом потех и насмешек.

Очевидно, г. Ржевский, обнося меня бюрократом, сам не сознавал, что употребляет выражение, которому в русской жизни нет соответствующего представления. У нас как между служащим дворянством, так и между дворянством неслужащим (но служившим) могут быть отдельные личности с такими или иными воззрениями на условия развития народной жизни, личности, проводящие эти воззрения и в сфере своей деятельности; но бюрократии, как корпорации дисциплинированной, служащей определенным политическим целям, нет и не может быть, по той естественной причине, что нет еще в виду земства. Ужели, например, гоголевский губернатор, отлично вышивающий по канве, может претендовать на название бюрократа? Ужели этот добродушный человек когда-либо помышлял о каких-то государственных целях, преследуемых бюрократией? Нет, воля ваша, это совсем не бюрократ; это просто патриарх, отец семейства, беседующий с пасомым им стадом в халате, запросто, и только в указанные дни натягивающий на себя досадный мундир. По всей вероятности, и г. Ржевский разумеет это дело точно таким же образом, но ему было нужно слово «бюрократ», и нужно совсем для других целей. Позднее, когда я буду говорить об инсинуациях, читатель ближе увидит, что́ именно подразумевает г. Ржевский под этим словом.

Обозвав меня бюрократом, г. Ржевский для подкрепления своей правоты прибегает к булгаринству. Но прежде, нежели начать речь об этом, я должен оговориться. Статья моя «об ответственности мировых посредников» напечатана в «Московских ведомостях» не совсем в том виде, в каком была мною написана, а выражения «найдутся средства», на которое так сильно напирает г. Ржевский, даже вовсе в ней не было, и ежели я не счел нужным протестовать в свое время, то это произошло от того, что истинный смысл статьи все-таки был сохранен.

Затем продолжаю.

Булгаринство г. Ржевского может быть рассматриваемо с двух сторон: во-первых, с точки зрения искажения чужих мыслей, и во-вторых, с точки зрения инсинуаций.

Рассмотрим сначала искажения.

Г-н Ржевский утверждает, что я поступаю не согласно с истиной, приписывая ему мысль, что «мировые посредники поставлены вне всякой ответственности». Но я этой мысли г. Ржевскому не приписывал, хотя, судя по тону статьи его, и имел полное на это право. Я ограничился выпискою одного места из его статьи и даже не разбирал его; я воспользовался этим местом лишь для того, чтоб опровергнуть ошибочное мнение, к сожалению, весьма распространенное в нашем обществе, о какой-то мнимой безответственности мировых посредников. Я именно так и выразился: «но при самом полном сочувствии к принципу независимости (слова эти могут относиться к статье г. Ржевского)... невозможно, однако ж, смешивать с ним понятие о какой-то свободе от всякой личной ответственности за действие (чье понятие? г. Ржевского, или кого-либо другого? об этом не сказано ни полслова)». Слова эти могли бы еще, по нужде, быть приняты за дальнейшее развитие мысли г. Ржевского (чего, однако ж, не было), но отнюдь не за опровержение ее. Опять-таки повторяю: я не имел ни малейшего желания опровергать г. Ржевского; статья его есть воззвание, напоминающее собой объявления некоторых журналов по случаю открытия подписки на будущий год. Над подобными объявлениями, составляющими литературный куриоз, позволительно посмеяться, но опровергать не позволительно.

Г-н Ржевский, называя меня *адвокатом благоусмотрения начальствующих лиц,* говорит, что я хлопочу о том, чтобы распространить на мировых посредников *неделикатные отношения,* на которые губернские власти имеют будто бы право во всем, что касается исправников и становых приставов. Однако ж это выдумка, принадлежащая собственному игривому воображению г. Ржевского. Всякий, кто хотя поверхностно читал мою статью, мог убедиться, что я не только не распространяю ни на кого *неделикатных отношений,* но и настаиваю на необходимости искоренения и тех неделикатностей, которые действительно еще продолжают жить в наших административных обычаях. Г-н Ржевский напрасно даже приписывает употребленному мною выражению «деликатность отношений» то значение, которого оно не имеет. У меня говорится о *сложности* и деликатности отношений, и если б он, с умыслом или без умысла, не выпустил слова «сложность», то, конечно, никому бы и в голову не пришло придавать слову «де-

ликатность» то дикое значение, которое придает ему г. Ржевский. И за всем тем, я все-таки остаюсь при своем выражении, что отношения местной административной власти к мировым посредникам сложнее и деликатнее, нежели к исправникам и становым приставам, ибо последние находятся в прямом подчинении к губернским административным властям и *обязаны* исполнять их указы и предписания, а первые *не* обязаны, что́, однако ж, не лишает административную власть права вчинать <иск> к мировым посредникам, точно так же как имеет она право вчинать иск к предводителям дворянства, с тем, разумеется, непременным условием, что право признания основательности или неосновательности начатого иска все-таки остается за правительствующим сенатом.

Г-н Ржевский обвиняет меня в том, будто бы я возбуждаю вопрос об ответственности посредников *в видах облегчения положения начальственных лиц*. Это тоже выдумка. Фраза: «положение губернаторов отнюдь не делается от того легче» — вырвана г. Ржевским с крайнею недобросовестностью. У меня она служит только приступом к рассуждению о затруднениях, которые могут быть встречены губернаторами при выборе лиц в мировые посредники, рассуждению, оканчивающемуся словами: «в таком важном деле... недостаточно клич кликнуть, недостаточно надеяться, что выбор авось-либо падет на людей добросовестных. Напротив того, надобно заранее примириться со всякого рода случайностями» и т. д. Очевидно, здесь шла речь вовсе не об облегчении положения начальственных лиц, а о том, что невозможно и легкомысленно было бы требовать, чтобы выбор этих лиц был вполне безошибочен, и здесь я, конечно, являюсь менее бюрократом, нежели г. Ржевский. Что же касается собственно до этого мнимого *облегчения,* о котором так много ораторствует мой оппонент, то я не только не хлопочу о нем, но даже выражаюсь об этом предмете весьма определительно: именно, в статье моей говорится: «Еще недавно некоторые администраторы наши действиями своими преобразовали полет ворон, то есть летели всё прямо и прямо; нынче искусный администратор обязывается прежде всего сесть на крышу и там, в уединении, обдумать, как бы таким образом пролететь, чтобы воробья не спугнуть, а спугнуть, так спугнуть дельно». Есть ли тут что-нибудь похожее на мысль об *облегчении положения начальственных лиц?*

Г-н Ржевский не может понять, почему я нахожу поучительным пример на судебных следователях, и находит, что пример этот совершенно опровергает мои бюрократические тенденции. Сверяюсь с статьей своей и нахожу, что там при-

мер судебных следователей введен эпизодически, как доказательство «господствующего в нашем обществе взгляда, в силу которого всякое новое учреждение, каковы бы ни были его последствия для народной жизни, представляется лишь источником должностей, сопряженных с теми или другими материяльными выгодами». Одним словом, примером этим я заявлял опасение, чтобы тот же взгляд, то же умение низводить вопросы общие до степени служения исключительно целям побочным — не были перенесены и на должности мировых посредников. Думаю, что в этом опасении не слышится никаких бюрократических тенденций, если же г. Ржевский отыскал их, то виноват в этом не я.

Но главное обвинение, на которое преимущественно упирает г. Ржевский, обращается к словам моей статьи: «если б и действительно ответственность мировых посредников оказалась слабой или сомнительной, то и тогда *найдутся средства* поддержать этот существенный принцип». «Найдутся средства!» — подчеркивает г. Ржевский; «посмотрите, что написано: найдутся средства!» — повторяет он, мысленно обращаясь к Ноздреву: «какие это средства?» Но ведь вы опять-таки позабыли доложить г. Ноздреву, что фраза «найдутся средства» *непосредственно* предшествует развитию моей мысли об учреждении губернских съездов. Само собой разумеется, что в этой мысли заключается и разгадка таинственных средств. А вы, быть может, думали, что я предлагаю бить или сечь?..

Таким образом, опровержения г. Ржевского оказываются направленными против положений мнимых, им же самим придуманных. Инсинуации г. Ржевского... но прежде чем изложить их содержание, считаю не лишним сказать несколько слов об исконном характере инсинуации вообще.

Инсинуации, как во времена Булгарина так и в нынешние, всегда обращаются к третьему лицу. Что это за третье лицо, кто этот таинственный незнакомец, какие его права на суд и расправу — никогда не объясняется, но читатель чувствует, что есть что-то неладное, что есть, непременно есть тут третье лицо, которому предлагается принять участие в деле. Булгарин доносил обыкновенно о неблагонамеренности писателя или журнала вообще и о недостатке преданности в особенности; в настоящее время ни для кого не тайна, к кому он взывал при этом. Нынче неблагонамеренность и недостаток преданности, как термины, утратившие свой жизненный характер, оставлены в стороне; взамен их приисканы выражения более сильные, и принято за правило приглашать к участию в деле не того прелестного незнакомца, к которому простирал руки Булгарин, а незнакомца другого, не менее прелестного

и не менее сильного, хотя и вопиющего, будто бы его со всех сторон обидели.

По этой методе поступает и г. Ржевский. Он не обвиняет меня в неблагонамеренности, а только дает слегка почувствовать, что был, дескать, на свете француз Бабёф и русский полковник Скалозуб, что бывают заблуждения, проистекающие из увлечения «направлением известной школы реформаторов, желающих во что бы ни стало благодетельствовать низшим классам» и т. д. (вот оно, истинное-то значение слова «бюрократ»!). Спрашивается, какое дело Бабёфу и реформаторам в вопросе о мировых посредниках? И какое право имеет кто-либо доискиваться в словах писателя не того смысла, который ими буквально выражается, а другого, который почему-либо, в данную минуту, считается контрабандой?

Это одна инсинуация г. Ржевского, а вот и другая. Он говорит: «по мнению г. Салтыкова, выбор лиц в мировые посредники будет дурен». Однако я никогда ничего подобного не утверждал; я только что сказал: «в вопросе о выборе посредников надобно заранее примириться со всякого рода случайностями», что, однако ж, вовсе не обозначает, чтобы выбор лиц в посредники был *непременно* дурен. Очевидно, г. Ржевский, переиначивая мои слова, хотел сказать: «посмотрите-ка, господа, из вас нельзя выбрать даже одного хорошего мирового посредника!» Не похвально.

Но кроме переделок моих мыслей и выражений на собственные г. Ржевского нравы, в рассматриваемом «ответе» имеются и другие опровержения против некоторых высказанных мною положений.

Г-н Ржевский сердится на то, что я «советую губернским начальствам шиканировать мировых посредников вчинанием противу них исков»; он настаивает на том, что посредники подсудны только правительствующему сенату и что вчинание исков может иметь место только в случае совершения ими преступления: «именно преступления,— прибавляет он в скобках,— потому что ошибки исправляются решениями высшей инстанции». На *первое* я могу возразить, что никогда не настаивал и не настаиваю на том, чтобы посредники были подсудны какому-либо иному правительственному учреждению, кроме сената (на этот счет слова закона вполне ясны), а утверждал и утверждаю, что было бы странно и противно здравому смыслу предполагать, чтобы губернское начальство, отвечающее за спокойствие губернии, имеющее ежедневно дело с распоряжениями мировых посредников, не сохраняло за собой права, при виде явной и упорной незаконности действий, *предстевлять* о них правительствующему сенату. На это

мне могут возразить, что преступные действия мировых посредников могут быть обжалываемы сенату самими обиженными сторонами. Конечно, так, и я отнюдь не отвергаю этого способа обжалования, но считаю при этом долгом обратить внимание читателя, что деятельность должностного лица никогда не может представляться с тою ясностью, как в то время, когда она рассматривается в своей совокупности. Жалоба Ивана, взятая отдельно, может и не произвести на судью особенного впечатления, но если этих Иванов окажется множество, то сомнение в правильности действий должностного лица усиливается невольным образом. Вот эта именно связь, этот общий характер деятельности мировых посредников и не может быть никем указан столь верно и определительно, как местною административною властью. И об этом только я и говорил, это только и хотел выразить в статье моей, а вовсе не хлопотал об изменении подсудности, как внушает г. Ржевский. На *второе* отвечаю, что ошибки бывают различные по своим последствиям, ибо и медведь, ударивший пустынника камнем в лоб, в сущности сделал только ошибку, а не преступление. Как поступить в том случае, если деятельность посредника будет лишь рядом ошибок (предупреждаю, что это только предположение, а не утверждение с моей стороны)? Уволить его нельзя (предупреждаю, что я вовсе не сожалею об этом), сам он не уходит, а между тем, помимо того что высшие инстанции будут заняты только исправлением ошибок, эти последние *неминуемо* влекут за собой и материальный ущерб для обиженной стороны, ибо исправление ошибок сопряжено с хождением по делу, и, сверх того, во множестве случаев они могут быть немедленно приведены в исполнение (а там поди жалуйся!), а отсюда новый процесс, отыскивание убытков и т. д. Неужели это ошибки не вредные и неужели лицо, допускающее их, не должно отвечать перед судом?

Г-ну Ржевскому не нравится мое предложение о губернских съездах мировых посредников, и в особенности то, что я требую, чтобы на этих съездах поверялись действия мировых посредников. «Что̀ будет делать губернский съезд? — спрашивает г. Ржевский,— перечитывать тетрадки или книги мировых посредников, гладить по головке тех, у кого тетрадки чисты, просить других быть старательнее, писать четче, не капать чернилами и т. п.?» Что касается до мысли о губернских съездах, то она может нравиться и не нравиться г. Ржевскому, это его дело; мне, собственно, она нравится, потому что в ее осуществлении я вижу самый действительный в настоящее время корректив против распространения ноздревских понятий о децентрализации и против ноздревских же по-

ползновений мыть наше грязное белье втихомолку. Но если уже допустить однажды возможность и пользу подобных съездов, то вопросы о том, что̀ они будут делать, крайне забавны. Конечно, они будут собираться не затем, чтобы досыта наболтаться, досыта наедаться и досыта напиваться (что и бывает с нашими сходками), а затем, чтобы разъяснить частные недоразумения и поставить некоторые общие меры, и затем *поверить действия каждого мирового посредника в отдельности.* Что может служить основанием для этой поверки? Очевидно, журналы или книги посредников и, наконец, свидетельства прочих мировых посредников того же уезда, уездного предводителя дворянства и т. д. Очевидно также, что тут идет речь вовсе не о закапании листов чернилами, а о поверке живой деятельности посредников, могущей повести лишь к плодотворным результатам. Вообразим себе, например, что такой-то мировой посредник замечается в излишнем пристрастии к телесным наказаниям: губернский съезд одним своим молчанием может весьма красноречиво выразить свое неодобрение подобному пристрастию. Вообразим себе, что некоторый посредник, вместо того чтобы действовать путем соглашения и убеждения (что особенно важно на первое время), слишком охотно прибегает, для разрешения недоумений, к вмешательству полиции: губернский съезд может сделать только «гм», и, конечно, посредник, о котором идет речь, хорошо поймет значение этого «гм». Нет, г. Ржевский, воля ваша, а я имею более доверия к совестливости и деликатности мировых посредников, нежели вы, которые всё чего-то опасаетесь, всё как-то не спокойно себя чувствуете, когда идет речь о возможности требовать отчета в их действиях и распоряжениях. И заметьте, что я нигде не высказывал желания, чтобы мысль об учреждении губернских съездов шла каким-нибудь официальным путем.

В заключение настоящего ответа не лишним считаю остановиться на следующих двух обстоятельствах:

Во-первых, г. Ржевский ставит мне в укор, что я подражаю «великим писателям, украшающим своими произведениями «Свисток». Не знаю, имею ли я сходство с этими «великими писателями», но убежден, что свистать во всяком случае приятнее и для себя и для других, нежели злостно сопеть. Как иначе можно назвать, например, как не сопением, сопоставление Бабёфа и Скалозуба? ***Француз*** Бабёф и ***русский полковник*** Скалозуб, как это зло! Бабёф и Скалозуб! Да Ноздревы, пожалуй, животики надорвут от смеха!

Во-вторых, г. Ржевский думает уязвить меня словами одного из действующих лиц моего очерка «Неумелые». По всей

вероятности, он мнит, что слова эти противоречат направлению моей статьи о мировых посредниках, да, сверх того, не прочь, пожалуй, внушить читателю, что противоречие это есть плод мечтаний о крутогорском губернаторстве. Смею, однако ж, уверить г. Ржевского, что в убеждениях моих не последовало никакой перемены, что я именно желаю того самого, что̀ выражено в заключении очерка «Неумелые», но что г. Ржевский только не желает понять меня. О крутогорском же губернаторстве я столько же помышляю, сколько он, г. Ржевский, тоскует о губернаторстве, например, орловском.

Заверяю г. Ржевского, что я даже не возражал бы на его «ответ», если бы документ этот не был напечатан в таком журнале, как «Русский вестник».

Надеюсь, однако ж, что читатели оценят мой труд, ибо каково же в самом деле отвечать на обвинения в небылицах?

ГДЕ ИСТИННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДВОРЯНСТВА?

Покуда наши наивные публицисты приглашают дворян воспользоваться каким-то единственным в истории случаем, чтоб утвердить свое политическое *преобладание* над прочими сословиями, благоразумнейшие из дворян помышляют совсем не о преобладании, и даже не о том, чтоб удержаться, так сказать, на поверхности возникающего земства, а о том, чтобы просто-напросто сделаться членами этого земства, и членами не случайными, признающими за собой только права, а не обязанности, но членами действительными и деятельными, связанными с земством всею совокупностию условий, налагаемых этим званием.

Такая заботливость весьма понятна. В самом деле, какими бы привилегиями ни было ограждено известное сословие, какими бы правами оно ни пользовалось, действительная сила государства все-таки лежит в земстве. Там источник его материяльного могущества и благосостояния, там же залоги и дальнейшего его политического и умственного развития. Оторваться от всего этого значило бы оторваться от общей жизни государства, значило бы стать в класс бобылей. Ибо как бы ни было громадно внешнее значение искусственно созданных прав и преимуществ, как бы ни были настойчивы меры, предпринимаемые к поддержанию этих прав, все-таки они останутся фактом без внутреннего содержания и без всякого отношения к свободному развитию жизни.

В настоящее время, кажется, нет надобности распространяться о том, что государство может правильно развиваться только под условием дружного содействия всех сил, как материяльных, так и нравственных, совокупность которых оно со-

бою представляет. Нам еще слишком много остается желать в этом смысле.

Лучшие люди русского дворянского сословия сознают, что сила их должна заключаться не в предании, а в тесном общении с народом. Сословные интересы дворянства, если мы будем рассматривать их только с точки зрения содержания, которое они получили от крепостного права, очевидно утратили свое прежнее значение. Принцип изменился, изменилась и почва для действия; то, что прежде уступало напору силы, может в настоящее время уступить только личной работе, личному достоинству каждого гражданина. Лучшие люди знают, что для них общение с народом будет и легко и скоро достижимо, а потому не выставляют вперед никаких внешних преимуществ, хотя бы эти последние и действительно состояли в высшей степени общего уровня образованности одного сословия перед другим и в более твердом сознании прав гражданских. В глазах их эти преимущества не дают им никаких беспрекословных прав на *преобладание,* а предоставляют лишь благоприятный шанс более плодотворным и прочным образом влиять на общество, нежели влияет, например, какой-нибудь мироед или горлан.

Признаки такого общения дворянства с народом уже начинают сказываться. Газеты не редко передают известия не только об удовлетворительно поконченных расчетах между помещиками и их бывшими крестьянами, но и о случаях искреннего и действительного доверия одних к другим. Стало быть, была сила, которая, и при существовании крепостного права, столь враждебного духу общения, сохранила это общение в целости![1] И этого явления для нас достаточно, чтобы на основании его сделать посылку к будущему.

Сближение дворянства с народом составляет в настоящую минуту предмет размышлений всех мыслящих людей России. В одной из наших статей «Об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» («Московские ведомости» № 128) мы развивали ту мысль, что первым шагом к сближению должно служить прямое и не преувеличенное воззрение на те естественные недоразумения, которые необходимо должны возникнуть из самого существа реформы. Смеем думать, что предположение наше оправдалось и что в тех местностях, где дворянство, а рядом с ним и местные власти выказали более

---

[1] Нам известно, например, что один помещик Киевской губернии был единогласно выбран крестьянами волостным старшиной и принял это звание. О значении и достоинстве этого факта излишне было бы говорить: он достаточно говорит сам за себя. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

гуманный взгляд на дело, волнений не было. Однако ж это только первый шаг, после которого заинтересованные стороны все-таки остаются в выжидательном положении относительно друг друга.

Необходимо сближение деятельное, сближение действительное.

Средство к такому сближению одно. Оно представляется в том, чтобы помещик стал сам членом того сельского общества и той волости, в районе которых находится его поместье.

Это участие в делах сельских и волостных обществ с каждою минутой приобретает для помещиков значение более и более настоятельной нужды. И не только в смысле общения с народом, но и в смысле охранения своих собственных материяльных интересов. Прочтите исчисление предметов, подлежащих ведению сельского схода. Откинув те из них, которые имеют к помещичьим интерсам отношение лишь отдаленное, нельзя не остановиться на таких, как, например: выбор сельских должностных лиц, составление приговоров об удалении из общества вредных членов его, увольнение из общества членов и прием новых, совещания и ходатайства о нуждах общества, раскладка повинностей и пр. Более нежели очевидно, что помещик не может оставаться равнодушным к такому или иному разрешению упомянутых дел, что они составляют жизненный вопрос по отношению к его материяльному благосостоянию. К тому же результату придем мы и при исчислении предметов ведомства сходов волостных.

Но если участие дворянства в делах крестьянских обществ выгодно и необходимо для дворян, то оно не менее выгодно и необходимо для самих крестьянских обществ. Нельзя не согласиться, что сознание права, в массе крестьянского сословия, находится еще на весьма слабой степени развития, а при таком положении дела невозможно не дать места опасению, чтобы те свободные учреждения, те начатки самоуправления, которым дало жизнь законодательство 19 февраля, не замерли преждевременно, не принеся желанного плода. Мало этого: можно опасаться, что, благодаря грозному присутствию в каждом сельском обществе в каждой волости писаря, они подпадут под влияние приказных или иных лиц, столь же мало имеющих отношений к земству, как и приказные. В этом смысле не только голос, но даже простое присутствие лица, сознающего независимость общества, очевидно принесет неисчислимую пользу. Но, кроме сего, нельзя не обратить внимания и на то нравственное влияние, которое может иметь такое лицо как на течение общественных дел, так и на отдель-

ные лица, составляющие общество. А это нравственное влияние получится непременно, если только будет желание и уменье приобрести его. Упомянем, для примера, вопрос об учреждении сельских школ, о призрении неспособных работников, об искоренении пьянства и, наконец, столь жизненный для всего крестьянства вопрос об улучшениях по части сельского хозяйства и домашней экономии.

Итак, обоюдная польза деятельного сближения дворянства с крестьянами неоспорима. Но здесь мы должны оговориться. Сближение это только тогда может быть плодотворно, когда оно с обеих сторон будет искренно. Не скрываем, что со стороны дворян это качество тем более важно и необходимо, что на их долю выпала наибольшая сумма нравственной силы и материяльных средств. Следовательно, чтобы не скомпрометировать на первых же порах дело сближения, мало одних слов,— нужно самое дело.

В этих видах, мы желали бы, чтоб участие помещиков в делах сельских и волостных обществ было обставлено условиями, которые отнимали бы у него характер случайности, а напротив, делали бы его как бы необходимым следствием самого существа дела. Условия эти, по нашему мнению, в общих чертах, должны касаться: во-первых, участия помещиков, наравне с прочими членами обществ, в платеже государственных податей и земских повинностей, лежащих на обществе, и во-вторых, совершенного, при посредстве выкупной сделки, окончания всех расчетов, которые возникли между крестьянами и помещиком вследствие обнародования законоположений 19 февраля.

Соблюдение первого из этих условий необходимо уже на основании общего закона, гласящего, что всякое право влечет за собою и обязанность. Право быть членом какого бы то ни было общества и участвовать в распоряжениях его было бы насильственным правом, если бы, со стороны претендующего на него, оно не было подкреплено обязательством подчиниться всем тем условиям, которым подчинены и прочие члены общества. На этом основании помещик, по всей справедливости, должен принять участие в платеже состоящих на ответственности сельского общества податей и земских повинностей, и притом участие, соразмерное с количеством оставшейся у него во владении земли. Когда податная и земская повинность переложена будет с душ на землю, то, без сомнения, при этом будут приняты в расчет и земли, оставшиеся во владении помещиков, но и до того времени не может встретиться препятствия к немедленному принятию помещиками участия в столь прекрасном деле, ибо степень этого участия

легко может быть определена по сравнению количества земли, владеемого помещиком, с таковым же, отведенным в надел крестьянам.

Что же касается до второго условия, то есть до совершенного окончания расчетов между помещиком и бывшими его крепостными крестьянами, то необходимость его столь очевидна, что мы не считаем даже нужным останавливаться на этом предмете. Без соблюдения этого условия не может быть равноправности в отношениях, а следовательно, не может быть и доверия.

СТАТЬИ
ИЗ «СОВРЕМЕННИКА»
1863 г.

МОСКОВСКИЕ ПИСЬМА

I

Я не знаю отчего, но всякий раз, как я проезжаю мимо нашего Малого театра, мною овладевает какой-то священный ужас. Мне все кажется, что там не играют, а совершают какие-то таинства, производят какие-то возлияния. Мне кажется, что там в темном углу стоит стыдливая богиня искусства, что Рассказов сметает с нее пыль, что Садовский стоит в одеждах верховного жреца и нюхает табак, окруженный Шумским, Самариным и Никифоровым, что Дмитревский произносит возгласы, а М. С. Щепкин, в виде старого причетника, сдавшего дьяческое место дочери, дрожащим от слез голосом поет:

Мы искусству честно служим,
Даже денег не берем!
Мы, не евши день, не тужим,
И не евши ж, спать идем! [1]

Впрочем, Москва вообще производит на меня это подавляющее впечатление. Еду ли мимо университета, мне кажется, что там, перед лицом Науки, г. Никита Крылов возлагает руки на г. Бориса Чичерина, причем гг. Бабст, Бодянский и Капустин поют:

Не увлекшийся прогрессом,
Ты, продукт родной страны,
Служишь скромно интересам
Государственной казны! [2]

Еду ли по Спиридоновке, мимо редакции «Дня», мне чудится, сквозь тьму, царствующую в ее окнах, что там есть ка-

---

[1] Взято из водевиля «Гризетка Лизетта, или Нас не оставит бог!». *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

[2] Взято из водевиля «Сила судьбы, или Волшебный четвертак». *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

кой-то храм, в котором стоит богиня Народности, перед которой преклоняет колена И. С. Аксаков и приносит в жертву цыпленка, приготовленного à la polonaise[1], а гг. Погодин, Бессонов и Беляев поют:

Ты, Аксаковым воспетый,
О, славян могучий род!
Что-то выйдет из атлета?
Мускулистейший урод![2]

Знаете ли что? Даже когда я проезжаю мимо Лоскутного трактира — и тогда мне кажется, что там не готовят, а молебны Молоху служат. Мне чудится, что стоит главный повар и обдумывает, каким бы образом устроить, чтобы целого слона в кастрюлю уложить; стоят кругом поварята и, разиня рот, ожидают, что вот-вот главный повар скажет предику, и вдруг вода закипит в кастрюлях, и вдруг начнут с боку на бок перевертываться на сковородках чудодейственные поросята и до отвращенья откормленные индейки. Даже когда я проезжаю по Арбату, Плющихе и проч., мимо всех этих запустелых и не освещенных домов, то и тогда мне кажется, что там скрываются безвестные, покрытые пылью богини и боги, вокруг которых стоят почтенные московские обыватели и поют гимны Праздности...

Каких результатов достигло и из-за чего хлопочет в Москве поклонение Науке, Народности, Молоху и Праздности — об этом я расскажу вам в следующих письмах; теперь же буду говорить исключительно о театре.

Как ни строго впечатление, производимое на меня московском театром, я, не далее как на этих днях, решился, однако ж, войти туда. Вхожу — как будто пахнет некиим куревом: что сей сон значит? «Это,— объясняет мне спутник мой,— еще Михайло Семеныч закурил, да как забыл закрыть курильницу, так она и чадит с тех пор». Хорошо. Осматриваюсь кругом — всё сидят персоны строгие, сосредоточенные, которые как будто говорят: а ну, попробуй-ка ты сыграть скверно, попробуй-ка не понять мысли автора, попробуй-ка не разжевать каждого выражения представляемого тобою лица — вот мы тебя ужо! расславим на весь московский трактир!

— Неужто это всё действительные статские советники? — спрашиваю я моего спутника, не поняв сначала, в чем дело.

---

[1] по-польски.

[2] Взято из водевиля «Невинное препровождение времени». *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

— Нет, это всё любители и ценители искусства! — отвечает мне спутник.

Хорошо.

— Черт возьми! стало быть, сегодня артистическое торжество какое-нибудь? стало быть, дают Гоголя или Островского? а может быть, встал из гроба Мочалов и принес с собою Гамлета или Отелло?

И я с наслаждением потираю себе руки, как потирает себе руки голодный, который думает: вот-то сейчас славно пообедаю!

Ничуть не бывало: смотрю на афишу и вижу — «Пасынок»! Что за «Пасынок»? чей «Пасынок»? и откуда взялся этот «Пасынок»?

С литераторами случаются иногда прекурьезные вещи. Представьте себе на минуту, что вы литератор, читатель. Сидите вы, например, в клубе или в ресторане за обедом; подле вас поместился какой-то приятный незнакомец. Мало-помалу между вами завязывается беседа, и наконец дело доходит до того, что незнакомцу очень было бы приятно знать, с кем он имеет удовольствие говорить. Вы называете себя.

— Ах, так это вы! — восклицает незнакомец, слегка приподнимая центр тяжести,— ах, как приятно! ах, как приятно!

Вы несколько сконфужены, но самолюбие ваше не страдает; напротив того, оно даже как будто играет.

— Это тем приятнее,— продолжает между тем незнакомец,— что ведь мы собраты! Как же! Как же! И я тоже служу златокудрому богу и ветреным богиням! ведь и я тоже... как же! как же! некогда стихи в «Библиотеке для чтения» пописывал!

Оказывается, что это автор такой-то повести, автор таких-то стихов и что вы ни о повести, ни о стихах не имеете никакого понятия. Оказывается, что у вас есть братец, которого ваша maman, неизвестно почему, держала до сих пор en nourrice[1]. Оказывается также, что весь этот разговор, вся эта история затеяны приятным незнакомцем именно для того, чтобы заявить во всеуслышание, что он не кто другой, а литератор. Если б, паче чаяния, случилось, что вы не литератор, а статский советник, он и тут нашелся бы.

— Ну, а я литератор такой-то,— сказал бы он вам, слегка вздохнувши,— я написал такую-то повесть, напечатал такую-то интермедию... да нет! хочу бросить!

Или, например, идете вы справиться по своему делу в какой-нибудь департамент; вам указывают на начальника отде-

---

[1] на воспитании у кормилицы.

ления, седого старца, который в скором времени ожидает себе отставки за возрастием. Старец озлоблен и принимает вас с каким-то плотоядным недружелюбием.

— Что нужно? — спрашивает он.

Вы рассказываете.

— Фамилия?

Вы называете себя. Происходит внезапная метаморфоза. Старец простирает руки; старец чуть-чуть не проливает слез.

— Да ведь мы собраты! — говорит он, предлагая вам стул,— прошу покорно, собрат! Как же! как же! Пописывали... пописывали!

И вы узнаете, что любезный старик действительно когда-то пописывал в «Северной пчеле» и что еще недавно послал статейку в «Северную почту» под названием «Нечто о нигилистах, или Новая проделка наших агитаторов», но почему-то ее не печатают.

И вы идете домой, раздумывая, что бы такое означал сей факт, что в русской литературе существуют литераторы, которых никто не знает, публицисты, которых никто не читает, и поэты, которых стихов никто не кладет на музыку? Каким образом эти поэты, публицисты и литераторы залезли в литературу? И главное, каким образом они в ней прижились так, что и печей словно не топят, и кушанья не варят, и не умываются, и в баню не ходят,— одним словом, никаких-таки признаков жизни не обнаруживают. Cur? quomodo? quando? quibus auxilliis? [1]

Это тайна русской литературы, прямо указывающая на младенческое ее положение. Это доказывает только, что литература наша нуждается еще в деятелях хотя бы для одного счета, что она, как мужицкое горло или как суконное бёрдо,— все мнет. В литературе более зрелой все эти личности исчезли бы сами собой немедленно после первых попыток и занялись бы ремеслами полезнейшими; у нас они не пугаются ни равнодушия публики, ни ореола неизвестности, который их окружает; они продолжают работать с трудолюбием неслыханным и, соорудив какой-нибудь литературный мавзолей, действуют настоятельно. «Ты меня в книжке читать не хотел, так я заставлю тебя слушать меня, смотреть меня, обонять меня... публично!»

Нынче таких литераторов развелось очень много, потому что и самый доступ в литературный цех значительно облегчен. Литераторы эти — народ легкий, тяжелый, веселый, угрюмый, горячий, равнодушный, ученый, невежественный —

---

[1] Почему? каким образом? когда? посредством чего?

всего в них накладено понемножку. Одного в них нет — идей своих нет, а потому они заимствуют таковые из свода законов; возьмут на выбор статью да и начнут роман или драму такого содержания строчить, что вот, дескать, жил на свете Иван Иваныч, который очутился в таком-то положении (обыкновенно украл, но украл-то не он, а Петр Петрович); что к нему применена такая-то статья свода законов, и применена совсем несправедливо. Разумеется, к этому приплетается какая-нибудь Марья Ивановна, которая или плачет, или смеется, смотря по тому, в каком расположении находится автор, а в конце непременно следует резолюция: Ивана Иваныча простить, а об законе подумать. Отсюда главная специальность этих авторов — помогать правительству, а как таланта у них никакого нет, то они заменяют его усердием. Их никто не просит помогать,— они помогают; им говорят, что и без них давно заметили несообразность такой-то статьи,— они помогают; им говорят, что усердие их запоздало,— они помогают! Невиннее этих людей нет ничего на свете.

Велико было мое удивление, когда я узнал, что автор «Пасынка» не какой-нибудь новичок, вроде, например, г. Устрялова, автора знаменитой драмы «Слово и дело», но литератор уже искусившийся [1]. «Что он создал? какую статью свода законов применил к Ивану Иванычу?» — мучительно спрашивал я себя, и спрашивал бы напрасно, если б спутник мой не объяснил мне, что автор «Пасынка» есть вместе с тем автор двух повестей, из которых одна была напечатана в «Современнике», а другая произвела впечатление в «Русском вестнике».

Признаюсь откровенно, я не читал этих повестей; из знакомых моих, к кому я ни обращался, тоже никто не читал их; экземпляры нумеров «Современника» и «Русского вестника», в которых были они напечатаны, все затеряны; статьи свода законов, которые, вероятно, в них разбираются, несомненно исправлены; в довершение всего журналистика не сказала об этих произведениях ни полслова. Одним словом, публика их игнорирует.

Теперь автор напоминает о себе публике драмой. Игнорировать больше нельзя, уже по одному тому, что он сам действует настойчиво.

Дело заключается в следующем:

У помещика Николая Петровича Оловянникова (г. Дмитревский) есть дочь Софья Николаевна (г-жа Медведева) и

---

[1] Я не считаю себя вправе назвать его, потому что он скрыл свое имя в афише, но имя это ни для кого не тайна. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

пасынок Сергей Иванович Бурцев (г. Шумский). Оловянников вдов, и жена его, умирая, оставила ему в пожизненное владение все свое имение (вот она, статья-то свода законов!); разумеется, пасынок до крайности недоволен этим распоряжением — отсюда драма. Пасынок этот глупейшее, пустейшее и притом развратнейшее существо на свете; он воспитывался в каком-то корпусе, и в голове его вмещаются только три представления: ресторан Дюссо, рысаки и камелии (не найдете ли, дескать, удобным пересмотреть устав военно-учебных заведений?). Отчим, с своей стороны, ничем особенным не отличается, кроме того, что очень много кашляет и еще больше плюет.

Драма начинается тем, что на сцене сидит Софья Николаевна и стонет; она вдова, но, натурально, у нее есть друг, который вместе с тем и воспитатель ее сына. Софья Николаевна стонет о том, что она вдова, стонет о том, что у нее есть друг, о том, что у нее есть отец, о том, наконец, что у нее есть единоутробный брат. Стон всеобщий, повсеместный; нет той по́ры в этой женщине, нет той жилки, которая бы не стонала; стон тем более огорчающий, что производить его поручено госпоже Медведевой, которая действует в этом случае вполне неукоснительно. Приходит Михаил Афанасьевич Любанович, друг Софьи Николаевны и воспитатель ее сына; они говорят. Потом приходит помещик Оловянников; он кашляет, плюет, стучит палкою и вообще изображает дряхлого старика. Потом являются: Владимир Григорьевич Полубов, уездный судья (г. Никифоров), с супругой Агафьей Петровной (г-жа Акимова) и объясняют, что они приехали, потому что мимо ехали. Наконец уходят все, кроме Софьи Николаевны. Является Бурцев и рассказывает, что он оставил военную службу, потому что прожился окончательно и задолжал двадцать тысяч; что он покуда остановился на постоялом дворе, чтоб не озадачить сразу своим приездом кашляющего отчима; что двадцать тысяч ему нужны до зарезу, потому что его всякую минуту могут посадить за долги в тюрьму, и что вследствие сего он поручает Софье Николаевне склонить старика отчима заплатить эти долги. Софья Николаевна говорит, что постарается, но что, впрочем, ручаться не может. Бурцев просит водки, и занавес падает.

Во втором действии отчим с пасынком свиделись; они ругаются в какой-то беседке, а из окон виднеются кусты роз. Пасынок говорит: мне мало двух тысяч в год, которые вы мне даете; отчим говорит: довольно. Пасынок говорит: имение-то ведь мое; отчим говорит: врешь! Одним словом, происходит сцена возмутительная, сколько по содержанию своему, столь-

ко же и по выполнению. Этаких сцен автор, мало-мальски одаренный трудолюбием, может писать десятки ежедневно. Например:

Он. Я пойду есть устрицы к Елисееву.
Я. Нет, не пойдешь ты есть устрицы к Елисееву.
Он. Да почему ж мне не пойти есть устрицы к Елисееву?
Я. А потому, что ты вчера ходил есть устрицы к Елисееву и т. д. и т. д.

Или:

Он. Я куплю себе новое пальто!
Я. Зачем тебе новое пальто: ходишь и в старом!
Он. Помилуйте, в старом пальто все швы уж истерлись.
Я. Ничего, ходишь и в старом! и т. д. и т. д.

Присутствовать при подобных сценах тяжело; совестно за пьесу, совестно за театр, совестно за автора, совестно за актеров, совестно за зрителей. Слышишь крики и спор на сцене, и ничего-то человеческого в этих криках, ни одного-то светлого промежутка; словно бред внезапно овладел всеми актерами, словно вдруг перенесся в дом умалишенных и слушаешь, как один из них уверяет, что он дух долины, а другой ему возражает: врешь! ты не дух долины, потому что я сын фараона!

Но вот и опять приезжает Полубов с женою; и опять они заехали потому, что мимо ехали. Несколько минут по очереди говорят и потом уходят обедать; остается на сцене г. Шумский и произносит монолог, где он рассказывает нечто о камелиях и о рысаках; монолог длинен, даже очень длинен, но это не мешает ему быть и бесцветным и вялым. Ни одной типической черты, ни одного меткого слова, кроме каких-то: «едешь этак, черт побери, по Невскому», или «приедешь этак к Дюссо, спросишь себе» и т. д. и т. д.[1]. Опять на сцену возвращается Оловянников, и опять Бурцев начинает грубить ему; Оловянников кашляет и стучит палкой; среди всего этого сумбура приезжает Григорий Иванович Крюков, становой пристав (г. Садовский), по какому-то касающемуся до Оловянникова делу. Оловянников просит Григория Иваныча выгнать от него пасынка, но Григорий Иваныч отвечает, что не может этого сделать, потому что имение принадлежит собственно роду Бурцевой, а Оловянников — лишь временный владелец его. «Пьяная рожа!» — кричит на него Оловянников.

[1] Разумеется, не имея под руками пьесы, я не могу отвечать за совершенную точность выражений, ни даже за вполне точное изложение хода пьесы. Я отвечаю только за правдивую передачу *смысла* выражений и *содержания* пьесы. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

«Рожа,— отвечает Григорий Иваныч,— это так, но пьяная — никогда!»

Крюков — это комик пиесы; на нем автор сосредоточивает все свое остроумие, точно так же как на Софье Николаевне — всю свою чувствительность, а на Бурцеве — все свое негодование. Таким образом выходит, что когда на сцене г-жа Медведева, то следует плакать; когда на сцене Бурцев, то следует говорить: «ах, мерзавец!», а когда на сцене Крюков, то следует смеяться. В самом деле, не остроумно ли, например, что этот Крюков однажды на следствии шубу съел? Не остроумно ли, что после такой необыкновенной пищи Крюков каждую минуту плюется? Сверх того, он рожа; сверх того, он заикается. Соединение всех этих качеств делает из него очень приятного собеседника в обществе и очень эффектное явление на сцене. Ходит человек по сцене и плюется — ха-ха! ходит человек по сцене и ни одного слова произнести не может, чтоб не захлебнуться и не щелкнуть языком — хи-хи! А рожа-то, рожа-то какая! а пальцы-то, пальцы-то какие! а штаны-то, штаны-то!

Писатели, которых игнорируют, но которые не желают, чтоб их игнорировали, прибегают к наружному комизму как к единственно доступному для них средству разутешить почтеннейшую публику. Не будучи в состоянии доискаться до комизма внутреннего ни в отдельной человеческой личности, ни в целом общественном организме, они щедро снабжают своих героев всякого рода противоестественными телесными упражнениями. Что ж? по-моему, они правы. В драме, где действуют люди сумасшедшие, в драме, где действующие лица уходят и приходят как будто затем только, что платки носовые забывают, в драме, где одно действующее лицо хочет уйти, а другое идет ему навстречу и не пускает: «Погоди, дескать, дай же и мне поговорить»,— в такой драме персонаж, подобный Крюкову, есть явление отдохновительное, почти отрадное.

Надо отдать справедливость добросовестности г. Садовского: он сыграл свою роль отвратительно. Он именно производил телесные упражнения, то есть плевался и заикался — и ничего больше. Ничего больше он не мог и сделать, ничего больше и не требовалось. Автор должен быть совершенно доволен им, так как и собственные его замыслы не шли далее изображения человека плюющегося и заикающегося.

В продолжение всего третьего акта я просидел в фойе и потому не знаю, что происходило на сцене. Слышал, однако ж, что в течение этого акта Бурцев задушил или иным образом лишил жизни Оловянникова, в чем достаточно и

изобличен. Я спрашивал моего спутника, какие же были уважительные причины, заставившие молодого человека решиться на такое страшное дело, но не мог добиться никакого толку. «Просто, говорит, сначала ругались, потом отчим пошел спать, а пасынок остался на сцене да и говорит: убью я его! Ну, и убил! и представьте, даже предосторожностей никаких не принял, точно стакан воды выпить отправился,— такой болван!»

Четвертый акт застает нас у судьи Полубова, который оказывается величайшим мошенником. Кому слезы, а ему смех; кто плачет и стонет, а он все радуется да радуется. Теперь его занимает одно очень смелое предположение: каким бы образом так устроить, чтобы «привлечь» Софью Николаевну к делу об убийстве отца ее и сделать ее *сообщницею* в преступлении единоутробного ее брата. Если он успеет достигнуть этого, то богатое имение Бурцева достанется малолетнему внуку Оловянникова и, до его совершеннолетия, поступит в опекунское управление, а там... там можно будет «около опеки лакомиться», как выражается Григорий Иваныч Крюков (да пересмотрите же, ради бога, законы об опеках! — умоляет автор) [1].

Хорошо обдумано, но исполнение еще легче. Точно как в старинных повестях: «Теперь я поведу вас, читатель,— говорит, бывало, автор,— в такое-то подземелье, не потому чтоб это было нужно, а потому что я автор и имею право ходить всюду». Ну, и поведет в подземелье, что с ним поделаешь! Открывается, что Софья Николаевна в испуге созналась, что Бурцев как-то проговаривался при ней, что убьет отчима. Разумеется, Бурцев проговаривался об этом в минуту мальчишеской запальчивости; разумеется, на ерунду, которую автор влагает ему в уста, не только не должно обращать ни малейшего внимания, но даже и запомнить ее нельзя, но судье Полубову и автору нет никакого дела до этого. Им нужно сделать Софью Николаевну *сообщницей*, и они выполняют злодейский свой замысел. И замечательно, что решение, состоявшееся в этом смысле, прошло через три инстанции и везде получило санкцию. Что ж это такое? Не только не нашлось во

---

[1] Мы недоумеваем, каким образом имение родовое, бурцевское, может перейти в чужой род Оловянниковых. По закону оно должно или перейти к ближайшим родственникам Бурцевых, или сделаться выморочным. Сверх того, нам кажется загадочным, каким образом покойная жена Оловянникова могла передать в пожизненное владение мужу родовое имение, тогда как у них был прямой наследник — сын от первого брака? Ведь эти передачи тогда только возможны (да и то с высочайшего разрешения), когда у супругов нет прямого нисходящего потомства. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

всех трех инстанциях ни одного человека, который потщился бы различить ерунду от дела, но даже сама обвиненная, сами защитники — и те ничего знать не хотят, и те молчат себе да слегка стонут! Но покуда Полубов облизывается на будущую опеку, к нему приходит Крюков. Оказывается, что он гнусен только по наружности, а впрочем малый чудесный; жаль только, что глуп ужасно. Представьте себе: сам же он производил следствие об убийстве Оловянникова, сам же глупейшим образом записал показание Софьи Николаевны, которым она наклепала на себя такую ужасную напраслину, и теперь сам же приходит заступаться за нее и даже предлагает судье деньги, чтоб только оставил «этого ангела» в покое. Мало того что предлагает деньги: он угрожает, он даже плачет. Какая причина такой полицейской чувствительности — это тайна автора, который в этом случае действует наперекор Гоголю и показывает сквозь видимые слезы невидимый миру смех. Но судья не трогается (в следующей пиесе автора, конечно, судья будет хороший человек, а становой — мошенник: все это в его руках), ибо имеет в предмете опеку. Крюков уходит, приходит бурмистр бурцевского имения и предлагает судье, от имени крестьян, две тысячи рублей тоже за то, чтоб не привлекал добрую барыню Софью Николаевну, но судья и этим не трогается (даже деньги не берет), ибо имеет в предмете опеку. Какой, подумаешь, дальновидный! Но вот, наконец, опять приходит Софья Николаевна, и поднимается стон. Она стонет до такой степени, что даже вынуждена сесть, чтоб легче было стонать. И тут происходит нечто столь удивительное, что сразу переносит нас в сумасшедший дом. Производится передопрос подсудимой — передопрос в квартире судьи! Правда, судья оговаривается, что такого рода дела производить в частных квартирах не велено,— и все-таки передопрашивает. Даже призывает секретаря и шепчет ему что-то на ухо: поди, дескать, запиши! Этот секретарь — прелесть! Если можно прожить <?> московским молебнам богине искусства, то именно в пользу этого секретаря. Я вижу его, как живого, я осязаю его. Он безгласен, он не зависит от автора, но он жив! Это просто собственное создание г. Ермолова 1-го; это создание балетное, если вы хотите, но все-таки создание, и притом безукоризненное.

Весь пятый акт есть бледное и неловкое подражание драме г. Дьяченко «Жертва за жертву» [1]. Этот акт изображает

---

[1] Да, есть и такая драма; есть еще «Институтка», «Не первый и не последний» — и все г. Дьяченко. «Институтку» я пошел было смотреть, но больше двух актов высидеть не мог — так она противна. Там чародейст-

привал арестантов. Он состоит из стонов; кончается пьеса тем, что г-жа Медведева получает прощение.

Итак, вот эта пьеса, по поводу которой я спрашивал самого себя:

Какое торжество готовит древний Рим?

Вот пьеса, которую наши актеры играют совершенно серьезно и из которой силятся даже сделать нечто художественное.

Я понимаю трагическое положение актеров. Иметь возвышенные чувства — и тратить их на «Пасынка»; воспитывать в груди целый океан любви — и обращать эту любовь к «Институтке»! Ведь это совершенно то же, что иметь огромный капитал и употреблять его на витье из песку веревок. Что московские актеры должны любить искусство, благоговеть перед искусством, даже трусить перед искусством — это разумеется само собою. Такая уж вышла им линия. Вся Москва благоговеет, вся Москва перед чем-то цепенеет; на это она имеет неотъемлемейшее из всех прав — право праздности. Но посредством какого таинственного процесса московские актеры приурочивают благоговейное служение искусству — к «Пасынку», к «Институтке», каким образом они даже находить могут, что слово «искусство» может быть не чуждо «Пасынка»,— это вещь очень любопытная.

Я понимаю, что можно и преклоняться, и чародействовать, и вообще серьезничать, но надо знать всему меру. Нельзя, например, выпивая стакан воды, насупливать брови, драть на голове волосы и вообще показывать вид, что выпиваешь яд. И г. Славин (сей презент Москвы Петербургу) не все же в златотканых одеждах ходит, но, пришедши домой, тоже халат, чай, надевает. Надо следовать его скромному примеру.

Между актером и лицом, которое он изображает на сцене, должно быть самое близкое соотношение. Какого бы нравственного урода ни представляло собою изображаемое лицо, но ведь не все же оно сплошь урод, ведь и в нем должны же отыскаться человеческие стороны, ведь и в нем основа-то человеческая. Вот на этих-то человеческих сторонах, на этой-то человеческой основе и мирится актер со своею ролью. Если этой основы нет, лицо делается недоступным для воплощения;

вует, вместе с гг. Шумским и Самариным, г-жа Познякова, из которой чуть-чуть было не вышла маленькая Ристори и из которой, благодаря руководству г. Самарина, наверное, выйдет маленькая Медведева. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

то есть, коли хотите, оно и можно играть, если такая уж горькая судьба вышла, но это будет уже не искусство, а водевиль с переодеванием.

Плохие, малодаровитые актеры так и поступают. Чем ничтожнее и пустее роль, тем для них лучше; они могут *стараться,* они могут гримировать себя, они могут переодеваться, сколько душе угодно. Это ничего, что они изобразят перед вами не человека, а тирольца или жида: в том-то именно и состоит, по мнению их, искусство, чтобы исковеркаться так, чтобы живого места не осталось и чтобы как можно меньше дать чувствовать зрителю общечеловеческие основы роли. И зритель понимает это; насильственно воспитанный на водевилях с переодеваниями, он любит, чтоб ему давали пищу легкую и притом знакомую; он хлопает коверкающемуся актеру и кричит: протей!

По моему мнению, глупые пьесы следует играть как можно сквернее: это обязанность всякого уважающего себя актера. От этого может произойти тройная польза: во-первых, прекратится систематическое обольщение публики каким-то мнимым блеском, закрывающим собой положительную дребедень; во-вторых, это отвадит плохих авторов от привычки ставить дрянные пьесы на сцену, и, в-третьих, через это воздастся действительная дань уважения искусству. Даровитые актеры, как, например, г. Садовский, так точно и поступают. Они плюют там, где написано: *плюет,* они потирают руки там, где написано: *потирает руки;* одним словом, не играют, но состоят при исправлении своих должностей. Публика даже удостоила г. Садовского вызовом после четвертого акта,— только не знаю я, за что именно: поняла ли она, что г. Садовский с умыслом играет не хорошо, и хотела поощрить его именно за этот умысел, или же просто нашла, что игра Садовского есть новое возлияние искусству, тому искусству, которое находится под сохранением в Москве и поклонение которому производится отчасти в Малом театре, отчасти в московском трактире.

Но не так поступил другой даровитый актер московской сцены, г. Шумский. Это московский протей, точно так же как г. Самойлов — протей петербургский. Г-н Шумский нашел-таки способ и возможность отнестись к роли Бурцева, и, надо отдать ему справедливость, выбрал способ самый верный, если не единственно возможный. Он отнесся к ней посредством ловко сшитого сюртука и отменно сидящих брюк. Запасшись этими задатками, он сыграл свою роль отлично: он изобразил хорошо одетого мужчину и говорил те самые слова, какие может говорить только такой негодяй, как Бурцев. Мало

того: он горячился, он увлекался; очевидно, он принял Бурцева за что-то серьезное.

Скажите мне, пожалуйста: отчего г. Шумский так охотно берется за подобные роли, и именно *только* за подобные роли?

Я полагаю, оттого, что он — протей.

Но скажите же на милость, отчего нам, москвичам, в течение целого сезона почти ни разу не дали ни одной пьесы Островского, а потчуют все «Пасынками», да «Ветошниками», да «Извозчиками», да «Испорченными жизнями»?

Неужели и тут замешались протеи?

Итак, вот каких результатов достигло в Москве служение искусству; вот по поводу чего великие московские актеры произносят возгласы, поют молебны и творят возлияния! Кто мог бы поверить этому?

Ведь это все равно как если бы кто-нибудь, лет десять тому назад, стал уверять, что московская наука, покинувши университетские твердыни, раскинет свой лагерь на толкучем рынке и выберет себе последним убежищем убогую газетку «Наше время»?

Ведь это все равно как если бы кто-нибудь стал уверять, что практический результат многолетнего московского служения Народности ограничивается тем, что на вывеске Лоскутного трактира славянскими буквами написано: *Лоскутный трактир?*

Кто же поверит этому?

II

На этот раз побеседуем о московской публицистике.

Московские газеты волнуются. Все их занимает, ничто им не чуждо. Прусско-русская конвенция вызывает в них чувствительность, датско-голштинский вопрос наводит на соображения. Император Наполеон III не может слова сказать без того, чтоб этого слова не подхватили московские публицисты и не похвалили его: очень уж хорошо действует! По-видимому, великие политические деятели для того только и существуют, великие политические события для того только и совершаются, чтобы доставить московским публицистам случай высказать прозорливость! Одних они порицают, других поощряют... «В прусско-русской конвенции, говорят, поступлено прекрасно, а в голштинском вопросе и того лучше»... Точно им кто-нибудь кого-нибудь защищать поручил! точно они и в самом деле газеты! точно они и не афишки!

Мало того что волнуются: заключают притворные союзы, производят притворные ссоры.

— Постой,— говорят «Московские ведомости» «Нашему времени»,— я сначала задеру о прусско-русской конвенции...

— А я буду молчать,— отвечает «Наше время».

— А если тебя спросят: зачем ты молчал?

— А я скажу: я ждал!

Или:

— Надо нам поссориться! — говорят «Московские ведомости».

— Будем ссориться! — отвечает «Наше время».

— Надо нам доказать, что мы не одного поля ягоды!

— Будем доказывать!

— Что мы не из одного источника пьем воду!

— Да ведь мы из одного?

— Это нужды нет, что из одного, а мы будем доказывать, что не из одного!

— Будем!

И начинают доказывать, начинают спорить и соглашаться, и опять спорить, и опять соглашаться! Точно они и взаправду газеты! точно они не афишки!

Но все это волнение происходит лишь по вопросам внешней политики; по вопросам же внутренней политики все обстоит тихо. О мирной агитации, которую некогда возбуждал «Русский вестник», нет и помину; очевидно, что все вопросы уже исчерпаны, очевидно, русская жизнь уже обставилась, по инициативе «Русского вестника», надлежащими гарантиями, очевидно, теперь остается только пользоваться плодами и молчать. Так и поступают московские газеты.

Но так как без вопросов и времяпрепровождения все-таки обойтись нельзя, то и пресса наша предположила до поры до времени заняться мирной агитацией по следующим трем существенным вопросам:

1) По вопросу об опаздывании поездов Николаевской железной дороги.

2) По вопросу о дурном поведении машиниста московских театров г. Вальца.

и 3) По вопросу о выборах в члены нового московского городского управления.

Что поезды Николаевской железной дороги опаздывают — это вообще весьма прискорбно; но еще прискорбнее то, что они не привозят в Москву ни «Русского инвалида», ни «Северной почты». Московские газеты теряются, ибо лишаются вдохновения (16 февраля «Московские ведомости» заявили об этом с особенным негодованием). В самом деле, не из головы же сочинять руководящие статьи! не выдумывать же самим факты вроде того, что в таком-то селении, такого-то уезда и

губернии семилетняя крестьянская дочь Прасковья Тимофеева съедена свиньею! А ведь факты эти драгоценные, ибо доказывают нравственное состояние русского народа! И не столько этим еще полезны, сколько тем, что, при помощи их, можно наполнить целый столбец газеты... безвозмездно! А приказы о производстве в чины? А распоряжения разных ведомств? «Разве мы взаправду газеты! — кстати догадываются при этом московские газеты,— разве мы не афишки!»

И. С. Аксаков в 7 № «Дня», с свойственным ему огорчением (Иван Сергеич вообще очень любит огорчаться: он огорчается и тем, что везде царствует ложь, и тем, что за построение в западных губерниях православных церквей наградили г. Четверикова орденом, и тем, что г. Батюшков не так его понял), говорит, что «современная русская журналистика напоминает, *в большей части своих представителей,* былые оркестры музыкантов, которых помещики старались выдавать за вольных артистов». Это правда, но решительно не понимаю, что же тут огорчительного? Напротив того, это очень приятно. По крайней мере, тут нет ни напускной важности, ни чародейства, ни всех тех декораций, до которых такие страстные охотники москвичи. Тут дело ясное: крепостные музыканты — и все тут; всем так и известно, что крепостные музыканты. И никому не придет даже в голову предположить, что это музыканты вольные: ведь не верил же никто, когда помещики божились, заверяя, что их крепостные музыканты суть вольные артисты,— ну и в настоящем случае никто не поверит! Это факт — и больше ничего. Такая ясность и определительность положения делает отношения весьма легкими. Знаешь, с кем имеешь дело, знаешь, зачем и куда идешь, и не путаешься. В прошлом моем письме я говорил о чувстве трепета, которое меня объемлет при одном упоминовении о различных московских заведениях. Отчего же этот трепет никогда не овладевает мною, когда я проезжаю, например, мимо редакций тех журналов, которые г. Аксаков так остроумно назвал «крепостными музыкантами»? А оттого и не овладевает, что я знаю, что тут нет ни возлияний, ни жертвоприношений, что тут работают люди, которых сердца столь же прозрачны, как бы они из стекла были сделаны! Это, быть может, единственное исключение из всех явлений московской жизни, которое рекомендует себя просто и определительно. Я знаю, что здесь я не могу ошибиться: я знаю, что никто мне не будет выдавать за философию то, что в действительности не более как балет, в котором неизвестное принимается за известное, да потом посредством этого неизвестного-известного и объясняются дальнейшие судьбы действующих лиц. Я знаю, что

никто не будет мне заволакивать глаза народностью, тогда как, чуть дело коснется практики, то эта «народность» оказывается, право, ничем не хуже государственности, даже краше ее.

Напротив того, мне прямо так и скажут, что философии нет, а балет есть, и что он покамест необходим («разумеется, для масс, милостивый государь! для масс, а не для нас с вами!» — объяснят мне — не скроют даже и этого!); что народность вздор, а вот государственность не вздор, потому что необходима.

Вот, например, и теперь: я читаю в «Московских ведомостях», что «Русского инвалида» и «Северной почты» в Москву не доставлено,— ну и знаю, что московская пресса на этот раз исключительно займется полемикою гг. Пановского и Арновского с г. Вальцем и московскими городскими выборами. Это меня радует, потому что и сам я больше наклонности чувствую к маленьким вопросам, нежели к большим. Ну их, эти большие вопросы! еще беды с ними наживешь! Станешь рассуждать, пожалуй,— и вдруг тебе скажут: врешь, не так рассуждаешь... ну их!

О вы, которые любуетесь на сцене Большого театра великолепно поставленными балетами, вы, перед глазами которых летает и носится пернатый рой корифеек, исчезают и появляются целые леса и долины, увядают и распускаются целые кусты роз! Быть может, вы думаете, что все это точно так и происходит, как вам представляется? что корифейки эти действительно духи долин, равнин, гор, рек, озер, света и тьмы, что кусты роз действительно распускаются и действительно увядают? что г-жа Богданова действительно плавает, а г-жа Лебедева действительно летает?

Увы! благодаря неисправной доставке «Северной почты», вы должны во всем этом разочароваться! Вот уже несколько недель сряду фельетонисты «Московских ведомостей» и «Нашего времени» всеусерднейше доказывают почтеннейшей публике, что духи совсем не летают, цветы совсем не распускаются, но что это все производит г. Вальц, который, однако ж, производит это так плохо, что даже они, фельетонисты, это заприметили.

Славно этому г. Вальцу жить в подпольном его царстве! Велика, почти безгранична власть этого подпольного духа! Представьте себе, он не только может любой танцовщице переломить ногу или руку, но даже имеет право любую из них прищемить или иным образом лишить жизни! И по всему видно, что он пользуется этою властью во всем ее пространстве — по крайней мере, так удостоверяют гг. Пановский и

Арновский, по свидетельству которых г. Вальц, в течение прошлого зимнего сезона, уже распорядился изувечением нескольких танцовщиц. Если верить г. Пановскому, стоит только танцовщице не понравиться г. Вальцу, как он тотчас же и распорядится: или прищемит ее, или повредит ей руку. Это же самое подтверждает и г-жа Надежда Богданова, которая собственным опытом убедилась, что идти против г. Вальца дело рискованное, и потому решилась оставить балет и сделаться публицисткою.

Какие виды имеет г. Вальц, делая свои членовредительные распоряжения? Ужели он удовлетворяет этим только природной неучтивости своего сердца? Или, напротив того, он этим удовлетворяет учтивости своего сердца?

Не знаю, как г. Вальц, но будь на его месте я,— я удовлетворял бы только учтивости своего сердца! Помилуйте, да ведь это больше, нежели обольщение! Прищемить! переломить ногу! да кто же устоит против такого обольщения!

Г-н Вальц, разумеется, оправдывался; он говорил, что во время представления балета «Наяда и рыбак» был в Петербурге,— оказалось, что он и из Петербурга должен был усматривать; он говорил, что танцовщицы ломают себе руки оттого, что не слушаются режиссера,— оказалось, что г-жа Богданова слушалась; он говорил, что для него все танцовщицы равны,— оказалось: гм... ну, гм... ну, всяко бывает! он говорил, что состоит машинистом чуть ли не тридцать лет,— оказалось, что это ничего; он говорил, что многие иностранцы видели машины московских театров, удивлялись им,— оказалось, что и это ничего...

Одним словом, г. Вальц был разбит на всех пунктах, а московская пресса провозгласила: ну вот и еще маленькая победа! вот и еще маленький труп, растерзанный посредством мирной агитации!

Вот главнейшие результаты, которых достигла московская публицистика, по части внутренней политики, в течение последних двух месяцев. Все эти прусско-русские конвенции, все эти политические вопросы,— все было примерное, притворное, допущенное с единственною целью как-нибудь различиться от простых афиш. Собственно задор и полемическая страстность только и выказались по вопросу о г. Вальце.

Не знаю, посещает ли г. Юркевич балеты и следит ли он за полемикою, возникшею по поводу самовластных распоряжений г. Вальца, но если он посещает балеты и следил за полемикой, то открытия, сделанные гг. Пановским и Арновским, должны были задать ему трудную задачу.

Подтверждают ли балеты его философскую систему или опровергают ее? Может ли он сослаться на них во время публичных лекций о философии, которые предполагает прочесть в течение великого поста?

С одной стороны, подтверждают, потому что в философской этой системе, точно так же как и в балете, есть свое подпольное царство, в котором сидит своего рода Вальц и приводит в движение всю эту механику.

С другой стороны, опровергают, потому что Вальц балетный есть существо конкретное и, стало быть, осязаемое, а Вальц г. Юркевича есть существо, которое он сам уловить до сих пор не успел.

Но во всяком случае, г. Юркевич должен убедиться, что посредством Вальца всякие балетные упражнения объясняются с легкостью изумительною.

Но балетная полемика, по-видимому, уже истощилась. Г-жа Надежда Богданова нанесла последний удар г. Вальцу и доказала положительным образом, что этот властелин подпольного царства, нанося танцовщицам раны и увечья, ничем не руководствуется, кроме своего усмотрения. Совсем другое зрелище представляет полемика, возникшая по поводу городских выборов: она решительно угрожает быть нескончаемою.

Признаться сказать, мы несколько оплошали на выборах. Чтоб было ясно, до какой степени мы оплошали, надо вас предупредить насчет того, что для нас сделано. Для нас сделано то, милостивые государи, что мы, московские обыватели, относительно прав состояния сравнены с петербургцами! Нового, собственно, конечно, ничего, но ведь в этом-то и важность, что ничего нового. Значит, мы можем шествовать по следам старого, и притом шествовать, не оступаясь. И, сверх того, мы можем служить примером для других городов, которые, однако ж, никакого внимания на нас не обращают. Известно, например, нам, что в Петербурге новая система городского управления, введенная в 1846 или в 1847 году, породила в обществе какие-то толкования, вот мы, москвичи, и мотаем теперь себе на ус, чтоб этого у нас не было. Известно нам также, что в Петербурге, несмотря на толкования, дело обошлось как нельзя лучше, то есть городское управление осталось городским управлением, а не деженерировало во что-то другое,— вот мы, москвичи, и мотаем себе на ус, чтоб и у нас было то же самое. По-видимому, похвальнее таких намерений быть ничего не может.

Сверх того, не надо забывать, что, наподобие петербургского самоуправления, мы приобрели для себя одно весьма

важное право: деятельными членами нашего городского общества сделались домовладельцы-дворяне; стало быть, от нас теперь зависит, если пожелаем, стать под команду гг. Каткова или Леонтьева, которые, в качестве московских домовладельцев, имеют право быть и московскими воеводами. Эта последняя мысль соблазнила даже И. С. Аксакова; по крайней мере, в 7-м № «Дня» он только о том и хлопочет: «Выберите, говорит, городского голову из дворян! увидите, каких он вам дел наделает!..»

И все-таки оказывается, что сердца наши недостаточно приготовлены даже для таких похвальных намерений: не могут их вместить. Представьте себе, что из тысячи шестисот с лишком дворян-домовладельцев, имеющих право голоса на выборах, воспользовалось этим правом менее трехсот человек, а прочие сословия выказали равнодушие даже бо́льшее. Чем можно объяснить себе подобное явление? тем ли, что у москвичей есть вкус (чувство гадливости), или же тем, что Москва ни примера с кого бы то ни было брать не хочет, ни сама кому-либо примером служить не желает? «Буду, говорит, брать пример с самой себя, да и служить примером тоже только самой себе буду: хоть и яичница у меня, однако своя собственная!»

Как бы то ни было, но те москвичи, которые воспользовались своим правом, оказались именно такими гражданами, какими быть москвичам надлежит. Например, дворян-избирателей собиралось в залу благородного собрания от 150 до 280 человек, и из них предстояло выбрать сто выборных; ясно, стало быть, что господа избиратели могли действовать широкой рукой: ты выбери меня, а я выберу тебя. Это первое (зачем же они шары-то класть трудились?). Во-вторых, они клали друг другу шары, сопровождаемые какими-то провожатыми, но и тут-таки ухитрились так устроить, что у некоторых избранных оказывалось шаров вдвое более против наличного числа избирателей. Значит, вышло тут чудо, и, что чуднее всего, чудотворами оказались те самые провожатые, которые именно должны были наблюдать, чтоб никакого чуда не было. В особенности изрядным чудотвором выказал себя некто К — н, который и был от этой должности немедленно отрешен. Я этого К — на знаю: ничего, мужчина хороший! До сих пор он избегал всяких историй, однако тут не избег: стало быть, нельзя было — глядели! До сих пор он попадал всюду, куда попадать хотелось, однако тут не попал: стало быть, нельзя было — не пустили! Это напоминает мне разговор, происходивший между двумя почтенными гражданами по поводу одного спорного платка.

— А вы бы, Иван Петрович, его полегоньку в кармашек схоронили!

— Нельзя, братец! глядят!

— Так вы бы, Иван Петрович, сами полегоньку в публику схоронились!

— Нельзя, братец! не пускают! говорят: иди в часть!

В-третьих, москвичи, уставши класть шары или проголодавшись, без церемоний уезжали домой и там облекались в халаты. От этого происходило, что в начале собрания шли несколько монотонно, а под конец оживлялись. «Мне три шара! мне четыре шара!» — раздавалось со всех сторон. Ну, разумеется: бери хоть девять, только клади! В-четвертых, некоторые сословные первым делом устроили у себя буфеты, в которых и поздравляли Москву с новым управлением. Это тоже очень помогало делу, ибо придавало ему разнообразие и какой-то пестрый вид. Сказывают, что один купец баллотировался в выборные и почтен был этого звания 6 избирательными шарами против 161 неизбирательного. Однако он не впал в уныние; вышел из буфета в залу и закричал «ура!». Развеселились. Разумеется, выбрать все-таки не выбрали, однако развлеклись-таки порядочно. Что ж, и на том спасибо, что полезное с приятным соединяют!

При виде подобных фактов на многих напало раздумье. М. Н. Катков скорбит, однако не говорит; Н. Ф. Павлов радуется, но до поры до времени тоже не говорит. Оба они предпочитают, чтоб в их газетах происходили непрестанные турниры, которые, как известно, вознаграждения не требуют, а журналам все-таки придают оживление. Когда полемизаторы истощат свои убеждения, когда доведут дело до той степени темноты, что читателям ничего разобрать нельзя будет, тогда наши знаменитые публицисты скажут и свое слово. М. Н. Катков скажет: «Кто же мог этого ожидать?»; Н. Ф. Павлов скажет: «Ну, вот и дали! ну, вот и дали!» И целый год будет таким образом дразниться в доказательство того, что давать никогда ничего не следует.

Если вы меня спросите, какого я мнения об этом предмете, я откровенно отвечу вам: не знаю. Думаю, однако ж, что все замешательства и даже некоторые робкие опыты престидигаторства произошли от того, что мы, москвичи, еще не умеем: никто нам этого, как следует, не показал. Впрочем, худого от этого еще не бог знает что произошло: самое худшее, что могло выйти,— это то, что лица, которые в действительности не были выбраны, оказались выбранными, а те лица, которые были выбраны, оказались невыбранными. И только.

Само собой, однако, разумеется, что эту легкую неисправность устранить необходимо. Конечно, мы не можем, мы не должны, мы не имеем права терпеть равнодушно, чтобы даже малейшая тень легла на наше самоуправление. Поэтому мы обязаны изыскать средства: средств этих много.

Во-первых, можно лучших из москвичей (излюбленных граждан) послать на казенный счет за границу, чтобы там наглядным образом научиться, каким образом шары сами собой переходят с правой стороны на левую.

Во-вторых, можно из Англии выписать несколько лордов (я уверен, эта идея понравится М. Н. Каткову), которые покажут у нас нам дома, каким образом следует производить выборы.

В-третьих, наконец, можно и должно закрыть при залах собраний буфеты.

Это последнее условие необходимо выполнить немедленно. А то помилуйте: сам себе кричит человек «ура!» — на что ж это похоже!

В этом покамест состоит вся наша общественная жизнь; на этом же сосредоточивается и вся деятельность наших публицистов по части внутренней политики. Поэтому, если письмо мое вышло мало разнообразно, прошу не осудить меня. Я хотел писать вам о московской науке, о московской народности, о московской праздности, о московском обжорстве, но нельзя же упустить такой факт, как зачатки московского самоуправления. Наука, народность и обжорство от нас не уйдут, а самоуправление-то, еще бог знает, что скажет! А ну, как Н. Ф. окажется прав? А ну, как нам, вслед за ним, придется только повторять: «Ну, вот и дали! ну, вот и дали!»

Стало быть, об науке — до следующего письма; теперь же заключу мое послание несколькими мелкими слухами.

*

Носится слух, что, по старости лет г. Пановского, должность фельетониста «Московских ведомостей» не может быть при нем оставлена. А так как он обладает большою наблюдательностью и несомненным изяществом манер, то и решено: отпускать его на балы с тем, чтобы, по возвращении оттуда, пересказывал все виденное Байбороде, который уже и будет сообщать публике о том, кто где был, что ел и с кем шептался.

*

Носится слух, что некто, увидев в английском клубе М. Н. Лонгинова, сказал: «Сей человек утонул, распух, да с тех пор в оном виде и остался».

*

О трудах Михаила Николаевича известно следующее: во-первых, он на днях издал исследование по поводу слов: la legalité nous tue[1]. Оказывается, что их сказал во Франции депутат Vienné (он же академик и баснописец), который, однако ж, их не говорил. Во-вторых, он ждет, не соврет ли еще кто-нибудь чего-нибудь, чтобы тотчас же написать еще новое исследование. В-третьих, он приготовляет к изданию полное собрание сочинений А. А. Краевского и изыскивает средства для составления его биографии.

*

Для того чтоб эта последняя была сколь возможно полнее, Михаил Николаевич не жалеет никаких издержек. С этою целью: 1) он командировал г. Геннади в гор. Чебоксары, чтобы узнать, не был ли там Андрей Александрыч, а если был, то что говорил и что ел; 2) в самое лоно редакции «Отечественных записок» подослал библиографа Эфирова, который обязан, под видом сотрудничества, собирать на месте различные черты из жизни ученого редактора и сообщать их Михаилу Николаевичу; 3) чтобы маскировать этот подсыл и поселить в редакции «Отечественных записок» неограниченное доверие к г. Эфирову, завел с ним библиографический спор.

*

Носятся слухи, что скоро последует окончательное примирение между М. Н. Катковым и Н. Ф. Павловым. Необходимым условием признано, чтобы первое свидание происходило ночью и в неосвещенной комнате.

*

Носятся слухи, что примирения этого не будет, потому что М. Н. Катков требовал, чтобы при первом свидании непременно присутствовал П. М. Леонтьев.

*

Носятся слухи, что примирение уже последовало.

---

[1] Нас губит законность.

*

Носятся слухи, что примирения не было и не будет.

*

Носятся слухи, что книжек «Русского вестника» ни за январь, ни за февраль, ни за март, ни за апрель, ни за май не будет. Первая книжка будет за июнь, но и она выйдет в октябре.

*

От этого один из подписчиков, получив книжку в октябре, подумает, что на дворе еще июнь, и пойдет купаться. Искупавшись, схватит горячку и умрет.

*

На похоронах будет М. Н. Лонгинов, который скажет, что только бог его спас от подобной же участи.

*

Носятся слухи, что М. П. Погодин скажет речь, а М. С. Щепкин заплачет. По этому случаю М. П. Погодин и еще скажет речь, а М. С. Щепкин и еще заплачет. Н. Х. Кетчер уведет Михаила Семеныча домой и упрекнет Михаила Петровича: ведь вы совсем старика расстроили!

*

Носятся слухи, что М. С. Щепкин в настоящем году возьмет последний бенефис и выйдет в отставку.

*

Гг. Шумский и Самарин прослезятся.

— Если вы, Михаил Семеныч, оставляете сцену, то и мы выходим в отставку!

— Служите! служите, молодые люди! на вас вся моя надежда! — ответит Михаил Семеныч и будет плакать вплоть до самой квартиры Н. Х. Кетчера.

*

Носятся слухи, что гг. Шумский и Самарин останутся на сцене, потому что М. С. Щепкин тоже, с своей стороны, подумывает, не послужить ли ему еще годик, другой.

*

Носятся слухи, что, по случаю избрания М. Н. Каткова в выборные по городскому общественному управлению, будет

в английском клубе устроен парадный обед, на котором будут подавать скунксовую кулебяку и жареного швейцара. М. Н. Катков не будет ничего есть.

*

Носятся слухи, что издателю «Искры» г. Степанову заказана картина: на горе стоит М. Н. Катков, по бокам у него гг. Леонтьев и Георгиевский; внизу, в овраге, стоит г. Пановский и не знает, что ему делать; в стороне почивает М. Н. Лонгинов, рот у него облепили мухи; вдали поспешает г. Геннади (одежда празелень, борода до чресл, внизу раздвоенная): боится, чтобы М. Н. не потускнел без него; еще далее виднеется пламя, среди которого мучится Н. Ф. Павлов. Если г. Степанов сумеет выполнить эту задачу хорошо, то ему обещана та самая июньская книжка «Русского вестника», которая выйдет в октябре, с предупреждением, что купаться в день получения не следует.

*

Носятся слухи, что М. Н. Катков каждую ночь видит самого себя во сне.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

<«Слово и дело». Комедия в пяти действиях Ф. Устрялова. «Карл Смелый». Опера в трех действиях, музыка Дж. Россини.>

Я семнадцать лет не был в Петербурге. Я оставил этот город еще в то время, когда г-жа Жулева впервые появилась в «Новичках в любви», когда г. Самойлов играл иудеев и греков, но в то же время еще старался заслужить расположение публики, когда для русской Мельпомены и русской Талии существовал только один храм — Александринский театр, когда не было обольстительного г. Бурдина, когда г. Каратыгин изображал смешных чиновников, а г. Григорьев смешных помещиков, в то время, наконец, когда о театральном комитете и в помине не было и драматическое искусство ведалось чуть ли не капельдинерами.

Теперь все это миновалось. Г-жа Жулева оставила «Новичков в любви» для высшей комедии, но, с непривычки, все еще делает жесты, не соответствующие изображаемому действию, полагая, вероятно, что чем несоответственнее жесты, тем выше будет комедия. Г-н Самойлов хотя по-прежнему играет иудеев, греков и тирольцев, но уже не заискивает в публике, а, напротив того, дает ей чувствовать, что он удостоивает играть на театре единственно из снисхождения. Гг. Григорьев и Каратыгин играют бояр, полководцев и гроссмейстеров и увеселяют публику не какими-нибудь сверхъестественными носами, лысинами и бородавками, но величественностью жестов и благородством манер. Г-н Славин из Гамлета сделался простым Юстинианом, из Кина — герольдом Гронтенгельма и от горести до того сконфузился, что не только произносит одну речь вместо другой, но даже переставляет слоги в словах; так, например, вместо «долг красен платежом» — произносит «долг платен краснежом».

Но что всего удивительнее — это театральный комитет. Признаюсь, это известие даже испугало меня. «Как,— думал я,— даже и туда проник конституционализм! даже и капельдинеры и те уступают частицу своего всемогущества!» И долго бы я волновался, если б мне не сообщили, что это такой комитет, в котором президентствует г. Юркевич и вице-президентствует г. Краевский, а заседают гг. Стороженко, Василько-Петров и Манн.

«Ну, слава богу,— сказал я себе,— стало быть, все остается по-прежнему! стало быть, Россия долго еще будет наслаждаться «Новгородцами в Ревеле» и «Ермаком Тимофеевичем»... слава богу!»

Однако комитет не вполне оправдал мои ожидания. Увы! и он заразился новым духом, и он счел невозможным не заплатить долга мальчишеству! Рядом с «Новгородцами в Ревеле», служащими как бы продолжением прежней, капельдинерской традиции, он выпустил... шутка сказать! драматическую рефютацию мсьё Базарова! он, с помощью г. Устрялова, потщился доказать г. Тургеневу, что действительный представитель нынешнего молодого поколения называется не Базаровым, а Вертяевым... О, мальчишки! вот до какой степени пронзителен яд ваш, что даже члены театрального комитета — и те заразились им, и те сочли долгом протестовать в вашу пользу! Как хотите, а это прогресс! Конечно, мы идем вперед шагами неслышными, однако же нет-нет да кого-нибудь и продолбим!

Пьеса, о которой идет речь, называется «Слово и дело». Расскажу вам содержание ее.

По поднятии занавеса на сцене сидит Лавинский (г. Нильский). Этот Лавинский идеалист, но идеалист в вицмундире; он поклонник Фихте и Канта, но в то же время не прочь и обществу пользу принести; одним словом, такой идеалист, каких в настоящее время шатается по Петербургу великое множество. Все у него в порядке: и письменный стол, за которым он, по-видимому, проводит бессонные ночи, и шкапы с книгами, да с какими книгами! все in quarto да in folio — страсть смотреть! Лавинский этот сидит и говорит о том, как сладко трудиться и как сладко любить. Люблю и тружусь, тружусь и люблю; сегодня тружусь, завтра люблю, а послезавтра опять тружусь, опять люблю, опять тружусь... Господи! да что ж это за масленица! Через пять минут, однако, он встает и надевает вицмундир: чувствует, что настало время пользу приносить. Но тут приходит некто Бродко (г. Прон-

ский) и спрашивает, будете ли, мол, вы у Мартовых. «Разумеется, буду!» — отвечает Лавинский. Потом приходит Вертяев и сразу объявляет, что не верит ни в чувство, ни в бессмертие души, а верит в одно мыло. Оказывается, что Вертяев — тот же Базаров, потому что и Базаров, с своей стороны, не верил ни в чувство, ни в бессмертие души, а верил в лягушек. «А ведь я влюблен!» — говорит между тем Лавинский. «Быть не может! — возражает Вертяев,— ведь это вздор, пойми ты меня!» — «Нет,— говорит Лавинский,— я влюблен — это верно!» — «Вздор, говорю я тебе! — настаивает на своем Вертяев,— вздор, потому что разум и чувство исключают друг друга! Свези ты меня к твоей невесте, и я докажу тебе, что все это вздор!» Слыша такое предложение, идеалист Лавинский искоса посматривает на испачканное и закапанное пальто Вертяева. «Я сюртук надену!» — спешит разуверить Вертяев, угадывая мысль своего друга. Потом приходит некто Лушин (г. Яблочкин), потом он с Вертяевым куда-то уходит, потом опять приходит, и Лушин напивается пьян. Первое действие кончилось; благонамеренные зрители довольны, потому что надеются, что вот-вот сказнят нигилиста; неблагонамеренные зрители тоже довольны, потому что ждут: что-то сделает этот человек, не верующий ни во что, кроме мыла.

Второй акт в доме Мартовых. Это семейство состоит из старухи Мартовой, дочери Наденьки и госпожи Репиной, которая введена автором в пьесу единственно для того, чтобы доказать, что в природе могут существовать и тетки. Эти дамы сидят и говорят, что Лавинский хороший молодой человек; потом приходит к ним Лушин, потом приходит Бродко, и наконец приходят Лавинский с Вертяевым. Само собой разумеется, что Вертяев хотя и надел сюртук (допустил, значит, компромисс), но, как нигилист, все-таки без перчаток и в фуражке и, кроме того, не умеет ни сесть, ни стать. Г-н Самойлов отлично выразил это томное состояние души человеческой, не умеющей дать определительного положения обременяющему ее телу. Вместо того чтобы несколько сробеть на первый раз (хоть бы он вспомнил *настоящего* Базарова, как тот сробел перед г-жою Одинцовою!), он как-то неглиже кивает головой, он всенародно вертит в руках свою фуражку (знай, дескать, наших!) и вообще заявляет ежеминутную готовность нагрубить. Собравшись таким образом, эти господа начинают между собой разговаривать, а потом оказывается, что они собрались затем, что теперь именно следует объявить Наденьку невестой Лавинского. Приносят шампанское и предлагают тосты. Лавинский, Бродко и Лушин, как люди простые, предлагают и тосты простые: кто за любовь, кто за ра-

зум, кто за веселье; но Вертяев, как человек сугубый, и тосты предлагает сугубые, то есть подхватывает темы своих сопьяниц, и начинает и начинает! Веселье, дескать, хорошо, но тогда только, когда при этом не оставляется без внимания, что есть на свете несчастные труженики, и т. д. и т. д. Открывается также, что Лавинский куда-то уезжает из Петербурга, и еще открывается, что Наденька слушала-слушала речи Вертяева (и говорил-то, злодей, всего две минуты!), да и задумалась. «Что ты как будто задумчива?» — спрашивает ее мамаша. «Нет, я ничего, мамаша!» — отвечает Наденька, и отвечает неправду, потому что яд нигилизма и веры в мыло уже заполз в ее маленькое сердце. Занавес опять опускается; вызывают г. Самойлова, который выходит и кланяется боком, обращая глаза на одну ложу; публика хочет, чтоб он и ей поклонился, и вызывает другой раз; г. Самойлов опять выходит и опять кланяется боком; публика начинает понимать, что это так и должно быть.

Содержание третьего акта рассказать нельзя, потому что его нельзя понять. Сначала Бродко подучает Лушина подсмотреть за Наденькой и Вертяевым, и Лушин действительно подсматривает и видит, что Наденька отдает письмо Вертяеву; потом Бродко пересказывает об этом Лавинскому, который, в свою очередь, говорит Вертяеву: «Вон из этого честного дома, соблазнитель!» Устроив эту штуку, Лавинский думает, что из нее выйдет дуэль, и добывает секундантов. Занавес опускается снова; благонамеренные торжествуют и в восторге кричат: наша взяла!

Содержание четвертого акта также нельзя рассказать, и опять потому, что его нельзя понять. Это я совсем не шутя говорю; память решительно отказывается следить за происшествиями, сменяющими одно другое без всякой разумной причины, которая объясняла бы, почему на сцене стоит Бродко, а не Лушин. Происходит нечто странное: оказывается, что письмо не письмо, что Вертяев не Вертяев, то есть не гаер и не наглец, каким его обзывал в третьем акте Лавинский, а преданный друг и преисполненный всяких чувств человек. Все это как нельзя больше кстати подслушала Наденька Мартова, которая до того заразилась нигилизмом, что, без спросу мамаши, убежала к Лавинскому. В довершение всего, Лавинский должен драться не с Вертяевым, а с Бродко. «Так я и знал!» — говорит сидящий подле меня начальник отделения и сладко вздыхает в уверенности, что в пятом акте Вертяев поступит на службу.

Однако надеждам благонамеренной части публики не суждено осуществиться. Пятый акт застает нас в Гейдельберге.

Пятый акт — это прелесть, пятый акт — это благоухание всей пьесы. Вертяев скрывается в Гейдельберге от любви своей, Вертяев учится или, лучше сказать, скромно трудится. Он готовит России, в лице своем, чернорабочего, что заставляет зрителя думать, что идея о мыле продолжает, несмотря на треволнения любви, быть властительницею дум его. Он с презрением отзывается о Париже («Вы лучше поезжайте в Париж!» — говорит он Лушину, который в комедии обязан быть выражением пустого человека) и с чувством говорит о Гейдельберге, потому что в нем есть довольно много хороших людей.

Посреди разговоров Вертяев узнает от комика Лушина, что Лавинского нет на свете и что Наденька находится в Гейдельберге по случаю болезни своей maman. Но вот и сама она. «Наденька! вы ли это!» — «Вертяев! вы ли это!» Следуют объяснения. Наденька признается; она говорит, что она все та же, что полюбила Вертяева с первой минуты знакомства, что теперь, когда нет никаких препятствий, и т. д. Вертяев, который, как истинный мыловар, ни об чем до сих пор не догадывался, в первую минуту трогается наивным признанием Наденьки и выказывает чувства почти человеческие, но потом... Что происходит потом, того не в силах выразить язык человеческий! В то время, когда все сидящие в зале чиновники берутся за шляпы, в уверенности, что из всего этого выйдет гименей и что Вертяев, подобно прототипу своему, Манилову (от Базарова к Манилову — каков скачок?), за хороший образ мыслей будет произведен в генералы, этот мыльный идолопоклонник оказывается одержимым колером. «Не хочу жениться, хочу учиться!» — восклицает этот самозванный представитель молодого поколения, подобно тому как представители старого поколения некогда восклицали: не хочу учиться, хочу жениться! «Да почему ж вы не хотите жениться?» — спрашивает, чуть не плача, Наденька. «А так, говорит, потому что я чернорабочий! — И, раз попавши на эту линию, уж не сходит с нее до конца пьесы.— Ты, говорит, сама не знаешь, что такое чернорабочий! — ведь это ужасный человек! Если я отказываюсь от тебя, так это потому, что не хочу погубить тебя! Ты пойми, как мне-то, мне-то должно быть это тяжело — ведь я люблю тебя! И вы, зрители, поймите всю великость приносимой мною жертвы — ведь я жертвую своею любовью, своим счастьем для счастья любимой женщины!»

— Пошел вон, идиот! — восклицает Наденька, и занавес опускается.

Но нет, она не восклицает этого, и занавес опускается про-

сто посреди полнейшей анархии здравого смысла. «Автора!» — кричат благонамеренные люди, думая, что пьеса написана в пику нигилистам. «Автора!» — кричат нигилисты, думая, что пьеса направлена против благонамеренных. Выходит, что называется: всем угодил!

Очевидно одно: пьеса действительно для чего-то написана, действительно усиливается нечто провести, нечто доказать. Это одно, впрочем, и заставляет говорить об ней, потому что во всех других отношениях вся пьеса есть не что иное, как ряд диалогов, более или менее бесцветных, более или менее бессвязных.

Посмотрим же, в чем заключались собственно намерения автора.

Во-первых, пьеса обязана своим появлением «Отцам и детям» г. Тургенева. «Вы напрасно думали изобразить нынешнее молодое поколение в лице Базарова,— говорит г. Устрялов г. Тургеневу,— нет, это не Базаровы, это Вертяевы!» Но здесь-то именно и заключается первая ошибка г. Устрялова. Он, очевидно, принимает Базарова за что-то серьезное, тогда как серьезного в нем нет ровно ничего.

В самом деле, чем Базаров заявляет о своей серьезности? Тем ли, что хвастается своим нигилизмом перед старичками Кирсановыми? тем ли, что приударяет за госпожой Одинцовой? Но разве тут есть что-нибудь серьезное, заслуживающее опровержения? Хвастливость и способность к приударению, конечно, суть свойства не чуждые человечеству, но, сколько нам известно, никогда не составляли типического признака какого бы то ни было поколения, ни древнего, ни нового. Над хвастунами смеются чуть ли не со времен Аристофана, а об охотниках до клубнички существует такая разнообразная литература, что сам г. Лонгинов затруднился бы написать ее библиографию. По нашему мнению, г. Тургенев именно так и понимал это дело: он просто писал свою повесть на тему о том, как некоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавок еще из проходимцев, вздумал приударить за важною барыней, и что из этого произошло. Все остальное, как-то: словопрения с братьями Кирсановыми, пребывание юных нигилистов у старого нигилиста (Базарова-отца) — все это не больше как эпизоды, которые искусный писатель необходимо вынуждается вставлять в свою повесть для того, чтобы она не была короче утиного носа. Вольно же было людям, во всем доискивающимся сокровенного смысла, доискиваться этого смысла и в романе г. Тургенева. А если этого смысла нет, то, стало быть, сочинение, имеющее задачей опровергнуть Базарова, есть сочинение мнимое, сочинение, выступающее с це-

лым запасом смертоносных орудий затем, чтобы умертвить клопа.

Но, быть может, мне возразят, что дело не в том, какие имел цели г. Тургенев, а в том впечатлении, которое произвела его повесть. Ибо небезызвестно всем и каждому, что нынче название нигилистов распространено безразлично на все молодое поколение. Ну, вот это другое дело, и желание противоборствовать такому странному действию во всяком случае заслуживает похвалы. Но для того, чтобы достигнуть этого, для того, чтобы уничтожить или ослабить тот вред, который нечаянно нанесен г. Тургеневым, что было нужно? Нужно было или разобрать произведение г. Тургенева серьезно и серьезно же доказать добрым людям, принимающим Базарова за представителя современного молодого поколения, что он совсем не имеет нужных для того качеств, что он точно такой же материалист, как, например, Ноздрев, которого именем, однако ж, никто и не мнил клеймить никакого поколения; или же нужно было нарисовать другой образ, образ действительного представителя молодого поколения, его стремлений, его деятельности и его надежд.

Эта последняя цель и была второю целью г. Устрялова; она же была и второю его ошибкою. Прежде всего, он непоследователен. В начале пьесы он заставляет Вертяева рабски подражать Базарову, в конце — делает из него нечто вроде Кирсанова-отца; недостает только дать ему скрипку в руки и заставить наигрывать, в ночной тиши, хоть не «Ritter Toggenburg», а какую-нибудь песню о сладостях труда или, пожалуй, хоть английскую песню «о рубашке». Ибо идеализм совсем не в том состоит, чтобы веровать непременно в Шиллера и ненавидеть Бюхнера; можно любить и признавать Шиллера величайшим поэтом и в то же время не быть идеалистом, как равно можно быть последователем Бюхнера и в то же время быть яростнейшим идеалистом; тут все дело заключается в отношении лица к предмету своих симпатий и антипатий. Итак, хотя Вертяев, в конце пьесы, и продолжает настаивать на вере в мыло, но это не мешает ему вести себя как идеалисту самого нелепого свойства. Истинные сыны века сего вообще приносят жертв мало, но в особенности таких жертв, которые сопряжены с поруганием законности их человеческих стремлений и требований. Они женятся и посягают, как и прочие смертные, и в этом не видят никакой помехи для предстоящего им труда, ибо от любимой женщины считают себя вправе требовать одного: чтоб она не становилась между ними и трудом, чтоб она не представляла в их деятельности начала ослабляющего или растлевающего. Совершенно противное

явление представляет Вертяев: он чурается женщины, ибо видит в ней конфету или, еще хуже, прелесть бесовскую, ибо он внутренно презирает женщину, ибо в самой жизни усматривает не жизнь, а упорно скромное толченье воды, которое, по его мнению, требует и усидчивости и сосредоточенного, ничем не развлекаемого внимания. Это идеализм мрачный, идеализм аскетический, но все-таки идеализм. Многие находят, что конец пьесы безобразен, что он противоречит началу; я, напротив того, нахожу, что весь шик пьесы заключается именно в последнем акте, что вся пьеса написана на тему: «Вот человек, который имеет все наружные признаки Базарова, а между тем смотрите, какой он Кирсанов!», что здесь, наконец, начало противоречит концу, а не конец началу.

Посмотрим, однако ж, каково это молодое поколение, которое изобразил г. Устрялов.

В противоположность Базарову, хвастливому, на словах поднимающему горы, а на деле слоняющемуся из угла в угол и умильно посматривающему на *богатое тело* г-жи Одинцовой, Вертяев весь предан труду, до того предан, что самую жизнь с ее требованиями и разнообразием считает помехой для себя. Что ж это за труд? Увы! Вертяев никому не сказывает об этом; из слов его явствует только, что труд этот скромный, что он маленький, производящий результаты с булавочную головку, и что, наконец, это труд ни для кого не подозрительный. Таким образом, судя по тому роду занятий, о котором Вертяев заявляет в начале пьесы, зритель вправе предположить, что он в Гейдельберге занимается изобретением какого-нибудь нового, чудодейственно смягчающего кожу мыла.

Отсюда три главных качества, определяющих Вертяева: скромность, некоторое тупоумие и ни для кого не подозрительность. Новый Молчалин, он надеется с этими качествами прожить скромно, тупоумно и ни для кого не подозрительно.

Спрашивается теперь, что такое эта *скромность* труда? Чем она определяется: отношением ли к труду трудящегося лица или самым предметом труда, результатами, им добываемыми? Это различие очень важно, ибо в первом случае про трудящегося человека говорят: какой скромный молодой человек, а какой ученый! во втором случае говорят: какой трудолюбивый молодой человек, и как жаль, что из этого ничего не выходит! В первом случае скромность есть качество приятное для глаз, хотя и не всегда полезное, во втором — скромность есть качество для глаз неприятное да и в существе своем мало полезное. Трудиться дни и ночи, потеть и напрягать свои силы затем только, чтобы плюнуть маленькую-маленькую капельку

в сосуд общего преуспеяния — вещь, конечно, никакими законами не воспрещаемая, но характеризовать подобным трудом деятельность целого поколения совершенно непозволительно. Это просто значит сказать в глаза целому поколению, что оно, подобно знаменитой Закхеевой смоковнице, поражено бесплодием, что оно навсегда осуждено на большие труды и на малые результаты. Каков комплимент!

Мне кажется, что автор положительно зарвался; он увлекся благонамеренною своею целью; он хотел смыть с молодого поколения пятно совершенно им не заслуженное; он хотел наглядным образом показать кому следует, что мы, дескать, совсем не такие подозрительные люди, какими нас прославили, мы просто милые дети, любящие читать хорошие книжки,— и больше ничего. Все это очень похвально и благонамеренно со стороны г. Устрялова, но вряд ли молодое поколение, которое он таким образом защищает, поставит ему за это монумент.

Выходит, что автор хотел объяснить стремления и потребности молодого поколения — и не объяснил; хотел защитить молодое поколение — и не защитил; хотел получить благодарность — и не получил. Он затевал что-то обширное и съехал на полицейскую точку зрения: спрашивается, не здесь ли настоящая-то, действительная Закхеева смоковница?

Гг. актеры исполнили свое дело как следует, то есть каждый из них играл свое амплуа. Г-н Самойлов в первом акте играл амплуа дикого мыловара, во втором — амплуа грубияна, в третьем — амплуа непризнанного друга, в четвертом — амплуа друга признанного, в пятом — амплуа мыловара, которого дикость дошла до воспаления в мозгу. Г-жа Жулева играла амплуа старухи, г. Нильский — амплуа серьезного jeune premier, г. Яблочкин — амплуа беспутного jeune premier, г. Пронский — амплуа коварного друга. Я, признаюсь, всего больше смотрел на тонкую игру г. Пронского: этот актер, с помощью верхней губы и указательного пальца правой руки, изображает какие угодно чувства.

Всем известно, что г. Самойлов — актер великий, но он актер всех стран и времен, а преимущественно всех костюмов. В штатском платье ему не по себе: тесно. Хорошо еще, если это штатское платье представляет собой какой-нибудь старинного покроя фрак (еще лучше, если при этом сапоги с отворотами), сильно потертый по швам, как, например, в давнишней пьесе «Отставной музыкант и княгиня»,— ну, тогда играть можно, ибо старинный костюм есть эмблема старинного же человека; следовательно, тут и гримировать себя можно самым искусным образом, и кашлять можно, и пла-

кать чаще, нежели того требует человеческий организм, находящийся в нормальном состоянии. «Старик,— говорят себе зрители,— что с него и взыскать-то!» Недурно также, если штатское платье дозволяет изобразить сильно иззябшего человека, как, например, в роли Любима Торцова («Бедность не порок»). Но беда, если штатское платье обыкновенное и если притом изображаемое в этом платье лицо не пьяно, не иззябло и фамилия его не оканчивается на *ский* (как, например, Кречин*ский*). Подобная роль, очевидно, не может быть благодарною.

Г-н Самойлов в высшей степени обладает этою способностью приурочивать свои роли к какой-нибудь национальности, к какому-либо возрасту, а по нужде даже и какому-нибудь исключительному состоянию человеческого организма. Даже в «Короле Лире» он играет лишь очень-очень дряхлого старика и с этой точки зрения обдумывает свою роль до такой степени добросовестно, что зритель действительно ни на минуту не может усомниться, что перед ним очень-очень дряхлый старик. Но смертных, простых, бескостюмных и не старых смертных он играть просто не может, потому что это прямо противно его артистической натуре, потому что простой смертный не представляет никакого наружного сучка, за который можно было бы сразу схватиться, потому что простого смертного надобно еще допрашивать и раскапывать, чтобы допроситься и докопаться до того, что составляет его сущность. Поэтому он и Вертяева играет вяло, хотя и старается к чему-то приурочить его, то есть делает из него поочередно: грубияна, дикого мыловара и т. д. и т. д. Но воображаю я, ка̀к был бы хорош г. Самойлов в балете!

Г-жа Снеткова усиливалась отыскать в своей роли что-нибудь человеческое и действительно сделала из нее нечто весьма грациозное, хотя это было очень трудно. Личность Наденьки вообще бесцветная и даже несколько глупенькая: например, она, во втором акте, в первый раз видит Вертяева и, по пьесе, должна тут же влюбиться в него. За что влюбиться? за то ли, что он сказал несколько строк общих мест? за то ли, что он ходит без перчаток? Положение очень трудное, но г-жа Снеткова выходит из него с честью; она уже в половине акта начинает задумываться, и задумывается очень мило, как-то по-детски задумывается.

Теперь следовало бы, по-настоящему, сказать несколько слов о театральном комитете, но что могу рещи об нем? Что̀, кроме того, что я уже сказал в начале настоящей статьи, то есть что он представляет собой ограничение капельдинерской власти и что благодаря ему капельдинерская традиция на на-

шем театре не только не прекращается, но даже наипаче процветает?

Сошлюсь на возобновление таких пьес, как «Ермак Тимофеевич», как «Маркитантка», «Параша сибирячка» и мн. др.

Сошлюсь на постановку таких пьес, как «Новгородцы в Ревеле», как все пьесы гг. Дьяченко и Чернышева.

Сошлюсь, наконец, на то, что ни г. Юркевич, ни г. Краевский, ни гг. Манн, Василько-Петров и Стороженко никакого отношения к русской литературе не имеют.

Или, быть может, все это псевдонимы?

Или, быть может, кто-нибудь из них написал «Цырульника на Песках»?

Или, быть может, они все вместе «Цырульника на Песках» написали?

А быть может, что они статские и действительные статские советники?

А быть может, они оставшиеся за штатом чиновники бывшего инспекторского департамента гражданского ведомства?

А быть может, это просто добрые малые, которые не знают, куда деваться от скуки?

Вот сколько вопросов, которые предстоит разрешить благосклонному читателю.

Тем же, которые желают в подробности ознакомиться с действиями театрального комитета, мы рекомендуем прочитать в журнале «Время» (сентябрь, октябрь и ноябрь 1862 г.) весьма приятные статьи под названием «Современное состояние русской драматургии и сцены». Там все очень ясно изложено.

P. S. Не успел я кончить мое обозрение, как получил от одного из провинциальных моих знакомцев письмо, в котором он описывает впечатления, вынесенные им при представлении оперы Россини «Вильгельм Телль», дающейся на петербургском театре под названием «Карла Смелого». Я не обременил бы внимания читателя этим письмом, если бы в нем шла речь единственно об опере; но в нем говорится об одном из весьма ярких проявлений современной общественной жизни и, сверх того, довольно определительно высказывается одна из двух сторон, наиболее заинтересованных вопросом об общественном преуспеянии.

Вот это письмо.

«Государь мой!

Вы желаете знать, какое впечатление производят на меня ваши столичные увеселения; исполняю желание ваше тем охотнее, что, будучи сам человеком благонамеренным, уверен

и в вас найти такового же. Вообще скажу, что нынешний Петербург, против прошлогоднего, мне больше понравился. Хотя нигилизм еще распространяет крыле свои, но в то же время и благонамеренность не скрывается стыдливо в колодцах и помойных ямах, куда было загнало ее нахальство мальчишек, но появляется на стогнах града бессрамно, с лицом улыбающимся и торжествующим. Одним словом, всякий может исполнять свои гражданские и семейные обязанности свободно, не опасаясь, что его застанет на месте преступления нигилист и начнет стыдить и увлекать в соблазн. Поэтому и театры посещать стало не в пример против прежнего безопаснее. Затем приступаю к настоящему предмету моего письма, то есть к театру.

Доныне видел я две пиесы: «Карл Смелый» и «Боярин Матвеев». Но наперед изложу вам мой общий взгляд на театральные зрелища. По мнению моему, на зрелища сии, как и вообще на все, принадлежащее к области искусств, можно взирать с двух точек зрения: с точки зрения общественного благоустройства, коим заведует полиция, и с точки зрения собственно искусства, коим никто не заведует. В большей части случаев эти обе точки зрения составляют нечто тождественное, ибо полиция, в противность принятому у нас мнению, не только не враждебна искусствам, но даже, по сущности своих занятий, им доброжелательна. Все дело в том, чему служит искусство. Если оно служит искусству же, то очевидно, что оно, только иными путями, стремится к тем же целям, к коим стремится и полиция. Цель искусства — красота, цель полиции — порядок; но что такое красота? что такое порядок? Красота есть гармония, есть порядок, рассматриваемый в сфере общей, так сказать, идеальной; порядок, в свою очередь, есть красота... красота, так сказать, государственная. В сем смысле искусство и полиция не токмо не делают друг другу помешательства, но, напротив того, взаимно друг друга питают и поддерживают. Искусство, отвращая взоры человечества от предметов насущных и земных и обращая их к интересам идеальным и небесным, оказывает полиции услугу; полиция, с своей стороны, принимая в соображение, что занятие интересами небесными ничего предосудительного в себе не заключает, оказывает искусству покровительство. И таким образом сии две власти идут рядом, не ссорясь и взаимно друг друга ободряя.

Таково, повторяю, должно бы быть естественное отношение искусства к общественному благоустройству, если бы фальшивые мудрования современности не напустили и в это дело своей пагубы. Благодаря этим последним, ныне положительно

должно различать точку зрения полицейскую от точки зрения искусства и даже нередко забывать сию последнюю. В этом я убедился, присутствуя недавно при представлении «Карла Смелого».

Отнюдь не ожидал я, государь мой, чтобы пришлось мне на сию оперу взирать с точки зрения общественного благоустройства. Зная ее почти наизусть и весь проникнутый небесною сладостью ее мелодий, я никак не подозревал, чтобы она заключала в себе зерно безнравственности, беспочвенности, безверия и беспорядка, одним словом, всего того, до чего так лакомы нигилисты. Я мнил, что Тамберлик поет: до-ре-ми-фа-соль-ля-си,— оказывается, что он напоминает публике об lex agraria;[1] я думал, что он поет:

Oh, Mathilde! o mon idole![2]

оказывается, что он доказывает необходимость эманципации женщин! Можете себе представить восторги нигилистов и горькое чувство, овладевающее людьми благонамеренными!

Начать с того, что я помещен был весьма невыгодно; кресло мое приходилось рядом с ложей первого яруса, в которой помещалась девица, предъявлявшая такое изобилие телесных форм, которое невольным образом отвлекало меня от представления. Не спорю, что, с точки зрения общественного благоустройства, подобное соседство может иметь даже свою полезную сторону; красота (я признаю красоту во всех проявлениях, даже в виде приятно развитого женского бюста) развлекает человека; она вызывает его из угрюмой и вредной сосредоточенности и поселяет в организме нисколько не лишнюю в наше время игривость; следовательно, в отношении к нигилистам красота может служить даже как отличное административное средство. Но я не нигилист, и потому соседство этой женщины возбуждало во мне беспокойство совершенно напрасное. Во-вторых, рядом со мной, в кресле, помещался некоторый гусарский штаб-офицер, которого я, судя по мундиру, принял за благонамеренного, но который впоследствии оказался величайшим нигилистом. К довершению всего, озираюсь кругом и решительно не узнаю обычной оперной публики. Одного только и приметил я зрителя в чине действительного статского советника, все же прочие — и вверху, и внизу, и сзади, и спереди, и по бокам,— все поголовно нигилисты! Но буду рассказывать по порядку.

---

[1] аграрном законе.

[2] О, Матильда! о, мой кумир!

Увертюра. Вам известна эта прелестная вещь, но неизвестно, конечно, что сделали из нее нигилисты и какие сообщили ей тенденции. Мы видели в ней адажио, анданте и аллегро, нигилисты же видят любезное им безначалие. Вследствие сего: адажио выслушивают с презрением, анданте — с сожалением и все свое неистовство, всю наглость сосредоточивают на аллегро. Изумительны, государь мой, и сожаления достойны эти крики: bis! фора! которыми надсаживаются сии молодые груди! Чего хотят они и что мнят видеть в этом аллегро, которое потому только и аллегро, что всякая правильно составленная увертюра должна иметь и адажио, и анданте, и аллегро? Не уподобляются ли они, с своими видениями, тому несчастному, который, каждый день читая календарь, вообразил себе, что он через то получил личное знакомство со всеми иностранными герцогинями и принцессами, о коих в том календаре говорится? Жалкое, поистине жалкое состояние! Но буду продолжать.

Занавес открывается; на сцене поселяне, которые поют песни, прядут, молятся богу и вообще занимаются приличными поселянскому званию занятиями. Нигилисты молчат. Посему можно было бы слушать со вниманием, но препятствует девица, предъявляющая изобилие форм. Приходит рыбак и поет песню — нигилисты все молчат; приходит старик Мельхталь, поддерживаемый сыном; соседние нигилисты скрежещут и шепотом доказывают друг другу, что такого старика не поддерживать следует, а пришибить. Я, со своей стороны, не прочь от этого, потому что г. Чеккони, который изображает Мельхталя-старика, поет свою партию таким голосом, как бы он целую неделю не ел. Затем все уходят, приходят на сцену Дебассини и Беттини и начинают вести с Тамберликом беседу, из которой образуется прелестнейшее трио. Оказывается, что Дебассини и Беттини увлекают Тамберлика в нигилизм, а Тамберлик беспрерывно восклицает: «Oh! Mathilde!» — и не идет. Тем не менее нигилисты аплодируют, и именно Тамберлику, что должно приписать незнанию итальянского языка. Потом Тамберлик уходит, а на сцену опять приходят поселяне; начинаются браки, поют, молятся богу... как вдруг врываются австрияки под предводительством некоторого Пальтриньери. Австрияки говорят: «Убирайтесь вон!», швейцарцы отвечают: «Не хотим, ибо мы занимаемся невинными занятиями!» Выходит скандал; австрияки вынимают мечи и дуют ими поселян по головам; поселяне бегут, но в то же время грубят... Нигилисты ревут и плещут руками, потому что в этой свалке убит г. Чеккони.

Мы с вами, бывавшие в этой опере неоднократно и неодно-

кратно же наслаждавшиеся бессмертными ее красотами, ни об чем об этом не имели понятия. Мы думали, что Тамберлик есть Тамберлик, а Дебассини — Дебассини, что они поют арии, дуэты, трио, потому что они солисты и ангажированы на сей именно конец театральною дирекцией. Мы думали, что поселяне обязаны петь хоры и что вынимание мечей есть не что иное, как обстановка пьесы, служащая приятным разнообразием для глаз. Нигилисты сумели увидать совсем другое; они, посредством какого-то анафемского чутья, сумели распознать австрияков от поселян и из поведения первых вывели заключение, что они заботятся не об учреждении воскресных школ, а о чем-то другом.

Буду откровенен: я не оправдываю поведения австрияков в этой опере и не могу разделять их политических убеждений. По моему мнению, постоянно драться, и только драться — большая политическая ошибка. Народ, видя, что, вместо того чтобы вводить какие-нибудь непредосудительные улучшения, победители думают только о том, как бы побольше плюх надавать, может прийти в сомнение и даже... нагрубить. Дальновидный победитель знает это и сообразно с сим устраивает свою политику так, что не только не мешает поселянам забавляться, но даже сам изобретает забавы, так как забава есть самое верное средство, которым может воспользоваться общественное благоустройство для предотвращения общественного неустройства. Но, скажите на милость, из-за чего нигилисты-то ревут и неистовствуют? Что́ они швейцарцам, что́ швейцарцы им? И откуда эта ненависть к австриякам? Или они думают применять? Но разве они забыли, что в нашей стране покорения-то не было, а было призвание? Да! Призвание, государи мои, призвание!

Однако сюжет сей столь важен, что не могу воздержаться, чтобы не поговорить о нем подробнее. Нынче пошла мода на национальности. Итальянцы не хотят знать австрийцев, венгерцы не хотят знать австрийцев, славяне не хотят знать никого. А там шевелятся голштинцы, а там где-то пискнули ирландцы... Хвалю, хвалю сих людей, потому что, занимаясь вопросом о национальности, они тем самым предъявляют миру, что сердца их волнуются не какими-либо разрушительными интересами, какова, например, так называемая свобода, но интересами возвышенными, политическими. Например, итальянцы почти освободились от австрийцев — это очень приятно; голштинцы также, вероятно, в скором времени освободятся от датчан — и это будет приятно. Почему приятно? а потому, что из всего этого никакой другой перемены не произойдет, кроме некоторой в географических учебниках сумя-

тицы. Скажу даже более: чем больше в данное время возбуждено интересов политического свойства, тем приятнее для общественного благоустройства; ибо в руках опытного охранителя общественного благоустройства политический интерес может быть доведен даже до степени интереса небесного и служить самым лучшим отвлечением от интересов ближайших, земных. Посему нигилисты в этом отношении кажутся мне лишенными всякой прозорливости. Чему они хлопают? По какому поводу стонут? Они хлопают швейцарцам и целым театром требуют очищения свободной швейцарской земли от австрияков... Ну, и пусть хлопают!

Во втором акте мы видим даму приятной наружности в прекрасной амазонке и с хлыстиком в руке. Нигилисты молчат, потому что, как объясняет мне сидящий подле меня гусарский штаб-офицер, дама эта принадлежит к лагерю филистимлян — австрияков; это та самая Матильда, в которую влюблен Тамберлик, о которой он так сладко вздыхает в первом акте: oh! Mathilde и которая, расслабляющим образом влияя на своего возлюбленного, вместе с тем тормозит и партию действия. Г-жа Бернарди поет свою прелестную арию, но поет совершенно иным образом, нежели г. Чеккони. Сей последний поет, как голодный, г-жа Бернарди, напротив того, поет, как бы только что пообедала и в горлышке ее еще остался кусочек, о который задевает ее крошечный голосок. Слушая ее, думаешь, что она разом поет две арии: одну полутоном выше, другую — полутоном ниже, аплодировал ей только действительный статский советник, но и сей оробел. Приходит Тамберлик и поет с г-жою Бернарди дуэт; нигилисты молчат; штаб-офицер даже видимо не одобряет Тамберлика, потому что говорит шепотом: «Как жаль, что голос его слабеет!» Но вот, наконец, наступает момент настоящего, непрерывного нигилистского торжества. Матильда ушла; на сцене Тамберлик, Дебассини и Марини; два последних сообщают первому, что австрияки напали на безоружных поселян, начали бить их мечами по головам и что в этой свалке убит его отец... восхитительное анданте! Что делать Тамберлику? Сыновнее сердце кричит: vendetta![1] а правила музыкальной композиции не только не препятствуют этому, но даже положительно требуют, чтобы за анданте непосредственно следовало аллегро. И вот из груди его вылетает фраза, которая повергает в неописанное умиление всех нигилистов. Все дело в том, что фраза эта кончается словом libertà[2], словом, кото-

---

[1] мщение!
[2] свобода.

рое, как известно, первый выдумал наш известный публицист М. Н. Катков. Но в устах г. Каткова оно имело смысл весьма благоприятный и означало лишь умеренность и аккуратность. С этой точки зрения libertà не только не заключает в себе ничего предосудительного, но даже может служить прекрасным административным средством. Но нигилисты ничего этого не поняли и все перепутали. Вследствие сего им померещилось черт знает что. «Bis!» — стонут они на все лады — Тамберлик повторяет с удовольствием. «Bis!» — стонут опять на все лады — Тамберлик опять повторяет с готовностью. И, конечно, этому позорищу не было бы скончания, если бы в скептические умы нигилистов не заползло сомнение. «Как жаль,— формулирует это сомнение сосед мой, гусарский штаб-офицер,— что такое славное движение родилось не вследствие внутренней потребности духа, а вследствие смерти отца!» Как бы то ни было, но крики умолкают; начинается трио... Вы помните это трио, государь мой, вы испытали на себе то тихое очарование, которое всецело охватывает человека, которое, так сказать, подавляет его, изгоняет из него всякую мысль, всякую деятельность ума и всего наполняет блаженством, одним блаженством! Что это за звуки! что за звуки! И ласкают-то они! и жгут-то! и истомой томят! Театр не шелохнется, словно дремлет; словно весь мир исчез перед глазами, весь мир с его политическим и неполитическим озорством, с его благонамеренными и неблагонамеренными тревогами... остались звуки, одни властительные, сладкие звуки... одна гармония, то есть порядок! Надо отдать справедливость нигилистам — они не шевелятся, ибо и они люди. Быть может, со временем и эти остатки первородной благонамеренности в них утратятся, но покуда еще они существуют (повторяю, опытный и ревностный охранитель общественного благоустройства может сим качеством воспользоваться с большою для себя выгодою). Неистовство начинается уже в то время, когда потухает последняя фраза трио. «Bis!» — кричат нигилисты, тогда как я и действительный статский советник все еще сидим на своих местах недвижимо, как бы упоенные и озадаченные. И трио повторяется, но нигилисты уже сморкаются; увлечение небесными интересами охладело; выступает на сцену пресное резонерство; хладный календарский утопизм окончательно вступает в права свои. «Все это хорошо,— бормочет штаб-офицер,— только в таких вещах адажио никуда не годится; тут надо аллегро, да еще какое allegro!» И вследствие такого рассуждения полный и действительный восторг выказывается только в то время, когда начинают собираться

amici della patria[1] и на сцену впопыхах вбегает г. Фортуна и рассказывает о какой-то новой проделке австрийской политики. «All'armi!»[2] — восклицает толпа хористов... Но что тут произошло, какой конфуз, какое бешенство — того не в силах изобразить скромное перо мое! Довольно того, что друг мой, действительный статский советник, державший себя дотоле скромно, не вытерпел и, повернувшись всем корпусом к публике, явно выразил ей свое неодобрение и даже угрозу. «Ну, вот это так! Это так!» — шептал штаб-офицер, потирая руки. «Что̀ *так*-то?» — хотел я спросить, но не спросил. Одним словом, весь театр одобрял поведение швейцарцев, весь театр требовал для них конституции! Скажите на милость! кто̀ бы требовал, а то театр требует! театр, государь мой, требует — поймите вы эту штуку! да ведь этак скоро Палкин трактир, скоро Адельфинкино заведение потребуют конституции... для швейцарцев! вот и поди тогда с ними!

Разумеется, никакой конституции им не дали, и вот в третьем акте мы видим толстого австрияка. Австрияк занимается именно тем, чем следует заниматься образованному австрияку в мужицкой земле, то есть заставляет мужичек петь и плясать.

Но и здесь позволю себе некоторое отступление: не могу одобрить и плясательной австрийской политики. Не потому, чтобы она сама по себе была ошибочна, но потому, что она, как и всякое другое административное средство, должна быть употребляема в меру. Австрийцы же, очевидно, пользовались этим средством до пресыщения и употребляли его столь же неразумно, как и тот весьёгонский барин, о котором недавно писали в газетах и который вместо того, чтобы занимать своих временнообязанных, в барщинские дни, трудами полезными, заставлял их плясать и играть на гармонике. Ибо и мужик, как бы ни был он груб и по природе своей наклонен к плясательному времяпрепровождению, может, наконец, утомиться и в часы дозволенного отдыха (разумеется, другое было бы дело, если б можно было заставлять плясать без отдыха!) спросить себя: неужели же я, мужик, только на то и рожден, чтоб выворачивать ноги перед его светлостью австрияком! И таким образом в голову мужика заползает ядовитая змея резонерства, а вместе с тем уничтожается и возможность продолжать плясательную администрацию.

Но не буду утруждать вас дальнейшим изложением содержания этого третьего акта, тем более что конец оного изложен

[1] друзья отечества.
[2] К оружию!

даже в истории Кайданова. Скажу одно: я вышел из театра словно в чаду. Ночь была морозная: извозчики и кучера хлопали руками у горящих костров; взирая на них, я восклицал: невинные извозчики! Вы счастливы, ибо вас не волнуют страсти! Вы счастливы, ибо между вами нет нигилистов! И вместе с тем, ощущая на себе самом действие мороза, я не мог не прийти к заключению, что и мороз мог бы в руках опытного и ревностного охранителя общественного благоустройства составлять прекрасное средство администрации, ибо и он предохраняет человеческий ум от мечтательности и сосредоточивает его на одной заботе: на заботе отогреть ознобленные члены тела. И я невольно воскликнул: как жаль, что начальство не имеет возможности устраивать мороз по своему усмотрению!

Итак, вот впечатления, вынесенные мной из этого достопамятного вечера! Я вспомнил 1844, 1845 и 1846 годы, я вспомнил незабвенную Виардо, незабвенного Рубини, незабвенного Тамбурини, вспомнил горячие споры об искусстве, вспомнил теплые слезы, которые мы проливали, читая «Историю двух калош» и «Аптекаршу», слушая потрясающее «maledetto!» [1], которым в Лючии оглашал своды Большого театра великий Рубини... Вспомнил и заплакал.

Ничего этого теперь нет; в сердце холодно, в голове смутно, во рту скверно...

Скверно, несмотря даже на «Боярина Матвеева», хотя, с точки зрения общественного благоустройства, пьеса сия безукоризненна. Вот все, что могу я сказать об этом приятном произведении, автор которого едва ли не родной брат того Ободовского, который сочинил весьма полезный географический учебник. Всякому свое.

P. S. Сейчас получил приятное известие из Москвы: на днях был там конгресс, на котором присутствовали редакторы журналов: «Наше время», «Московские ведомости», «Русский вестник» и «Современная летопись». М. Н. Катков предложил вопрос: «Привлекать ли в настоящем 1863 году к сотрудничеству в названных журналах лондонских агитаторов?» Рассудили: привлекать. Затем П. М. Леонтьев предложил следующее: «Платить ли лондонским агитаторам за таковое их сотрудничество?» Рассудили: не платить.

---

[1] проклятый!

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

Первое представление новой драмы г. Островского

23 января, на Мариинском театре, было первое представление новой драмы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живут». Мы не будем говорить здесь об этой драме, потому что она составляет в нашей литературе такое явление, касаться которого в летучей заметке неуместно. Но не можем отказать себе в удовольствии высказать от лица всех дорожащих успехами русского сценического искусства глубокую признательность гг. актерам и актрисам, участвовавшим в пиесе, за отчетливое и вполне талантливое исполнение ролей. В особенности же г-жи Линская и Снеткова 3-я и г. Самойлов подарили нас минутами действительного и глубокого наслаждения. Даже у г. Бурдина вырвались два-три движения весьма недурных.

Мы слышали, что г-жа Снеткова 3-я совсем оставляет сцену. Это потеря покамест незаменимая.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

«Горькая судьбина». Драма в 4-х действиях А. Писемского

Появившись в 1859 году в печати, «Горькая судьбина» произвела на публику очень мало впечатления. Большинство смотрело на нее, по малой мере, как на обмолвку со стороны автора, в котором привыкли видеть одного из талантливых представителей русской беллетристики. Зачем заставил автор двигаться эти фантасмагорические тени? — спрашивали себя недоумевающие читатели,— зачем заставил их выть, скрежетать зубами, наконец совершать убийства? Хотел ли он изобразить, какие на свете бывают уголовные преступления, и с этою целью разжидил и раскрошил на акты и явления краткое известие, почерпнутое из Костромских губернских ведомостей (по-видимому, место действия происходит в Костромской или ближайшей к ней губернии)? хотел ли доказать, что русский мужик грубиян, подобно тому как недавно он того же самого мужика представил в виде пошлого дурака? Хотел ли, наконец, написать нечто в пику г. Григоровичу (который изображал крестьянство с точки зрения благоуханной и которого поэтому барыни называли l'auteur d'Anton [1]), подобно тому, как в недавнее время он же, в пику «Искре», написал целый шеститомный роман? Мы не беремся разрешить эти вопросы, но думаем, что драма написана именно в пику кому-то или чему-то и что другого резона для ее существования нет и не может быть.

Несколько лет эту драму не давали на театре,— вероятно, все собирались с духом, как бы не слишком ошеломить публику,— но наконец-таки решились. Оказалось, что публика осталась к пьесе, поставленной на сцене, точно так же равнодушною, как и к пьесе, некогда погребенной на страницах «Библиотеки для чтения»; оказалось, что в ней нет ни грему-

---

[1] автор Антона.

чего серебра, ни других разрывающих составов, которые в ней предполагались. Пьеса прошла тихо, не возбудив ничего, кроме недоумения и тех же самых вопросов, которые слышались при первоначальном появлении ее в печати.

Никто из самых рьяных поклонников Писемского, конечно, не возьмет на себя доказывать, что талант этого писателя симпатичен. В нем прежде всего поражает необыкновенная ограниченность взгляда, крайняя неспособность мысли к обобщениям и замечательная неразвитость. По-видимому, все, что выходит из ряда самой простой, обыденной жизни: умыванья, одеванья, питья, еды и половых влечений, совершенно недоступно ему и возбуждает в нем насмешку и недоверие. Отношения автора к создаваемым им образам и рассказываемым происшествиям имеют характер темный и, так сказать, плотяный. Он удачно ловит внешние признаки и лепит из них фигуры, по большей части довольно выпуклые, но глаза у этих фигур всегда оловянные, а той тонкой струи жизни, которая именно и заставляет выхваченный из действительности образ двигаться, радоваться, страдать и трепетать, здесь нет и в помине. Можно сказать, что г. Писемский относительно героев своих постоянно исправляет роль гробовщика; подобно статуе командора в «Дон-Жуане», эти лица проходят мимо глаз читателя и стучат своими каменными ступнями.

Даже в нашей, насквозь проникнутой реализмом литературе г. Писемский представляет явление крайнее и исключительное: он и в ней стоит особняком, несмотря на то что, с точки зрения внешних признаков, вполне принадлежит ей. Всякий, самый неважный писатель реальной школы, принимаясь за свое дело, знает, что он хочет сказать; в самом ничтожном рассказце этой категории читатель чувствует отношение автора к факту, видит мысль, видит свет. Г-н Писемский положительно не знает, что он хочет сказать и в какие отношения может стать к предмету; он выкладывает перед читателем груды человеческих тел и говорит: вот тела, которые можно было бы назвать мертвыми, если б в них не проявлялось некоторых низшего сорта движений, свойственных, между прочим, и человеческим организмам. Отсутствие идеала выходит полное, миросозерцания никакого, и в результате — страшная духота. Читатель страдает, но совсем не от того, что автор выводит его из состояния бессознательного очарования и заставляет делать посылки от действительности художественной к действительности настоящей, а просто от того, что его вынуждают несколько времени оставаться в злокачественной, зараженной тлением атмосфере. Ясно, что талант, обладающий такими грубыми свойствами, может заявить

свою силу только в создании известного рода диковин и что интерес, возбуждаемый этими диковинами, совершенно удовлетворительно объясняется простым чувством любопытства.

Жить в тюрьме еще не значит понимать весь ужас этого положения; быть поставленным в необходимость копаться в навозе и нечистотах еще не значит сознавать, что эти нечистоты суть действительно нечистоты и что роль изыскателя в настоящем случае есть роль ненормальная и даже в высшей степени противная. Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение?) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтоб освежить всякого рода духоты веяньем идеала. Каким путем эта цель может быть достигнута — это зависит от интимных свойств каждого отдельного таланта, но дело в том, что писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего.

Да не подумает, однако ж, читатель, что мы требуем от писателя изображения людей идеальных, соединяющих в себе все возможные добродетели; нет, мы требуем от него совсем не людей идеальных, а требуем идеала. В «Ревизоре», например, никто не покусится искать идеальных людей; тем не менее, однако ж, никто не станет отрицать и присутствия идеала в этой комедии. Зритель выходит из театра совсем не в том спокойном состоянии, в каком он туда пришел; мыслящая сила его возбуждена; обок с запечатлевшимися в его уме живыми образами возникает целый ряд вопросов, которые, в свою очередь, служат исходным пунктом для умственной работы, совершенно особой и самостоятельной. Зритель становится чище и нравственнее совсем не потому, чтобы он вот-вот сейчас пошел да и стал благодетельствовать или раздавать свое имение нищим, а просто потому, что сознательное отношение к действительности уже само по себе представляет высшую нравственность и высшую чистоту. Тут дело совсем не в том, чтобы прописать человеку какой-нибудь буколический рецепт, вроде тех, которые прописываются в каллиграфических прописях и тех противных детских книжонках, которыми московское общество распространения бесполезных книг отравляет наших детей, а в том, чтобы напомнить человеку, что он человек. Все это очень верно, хотя несколько вычурно, изображено самим Гоголем в его «Разъезде», который мы не можем достаточно рекомендовать писателям, упражняющимся, подобно г. Писемскому, на поприще русской беллетристики.

Но, кроме этих внутренних отношений автора к изображаемому им миру, свидетельствующих, так сказать, о степени его личной силы, работа художника предполагает и еще много кой-чего, что также требует, с его стороны, величайшей осмотрительности. Таким образом, например, одна из главных обязанностей художника заключается в устройстве внутреннего мира его героев. Человек есть организм сложный, а потому и внутренний его мир до крайности разнообразен; следовательно, тот писатель, который населит этот мир признаками совершенно однообразными, который исчерпает его одной или немногими нотами,— тот писатель, говорим мы, быть может, нарисует картину очень резкую и даже в известном смысле рельефную, но вместе с тем наверное и безобразную. Нет того человека на свете, который был бы сплошь злодеем или сплошь добродетельным, сплошь трусом или сплошь храбрецом и т. д. У самого плохого индивидуума имеются свои проблески сознания, свои возвраты, свои, быть может, неясные, но тем не менее отнюдь не выдуманные порывания к чему-то такому, что зовется справедливостью и добром. Эта-то нравственная невыдержанность и составляет ту общечеловеческую основу, на которой художественное чувство, с одной стороны, мирится с безобразием известных жизненных типов, а с другой стороны, не допускает себя расплываться в море безразличия и отвлеченностей. Если художник не проникнется этим условием всецело, если он будет видеть в людях носителей ярлыков или представителей известных фирм, то результатом его работы будут не живые люди, а тени или, по меньшей мере, мертвые тела.

Это условие, равно обязательное как в жизни, так и в искусстве, соблюдается г. Писемским лишь в самой слабой степени. Он положительно смотрит на своих героев, как на организмы совершенно простые, и потому неизменно заставляет их тянуть одну и ту же ноту сквозь всю цепь обстоятельств и происшествий, которыми он считает нужным обставить их существование. У него уж если женщина развратна (Софи Ленева), то развратна до конца и не может взирать на мужчину без особенных соображений; если мужчина самец (отец Леневой), то самец до конца. У него Калинович, пройдоха, зараженный грошовым честолюбием, делает всю жизнь те самые пошлости и подлости, которые грошовому честолюбцу делать надлежит; у него Ананий Яковлев... но об нем мы скажем после. Понятно, что честолюбцы выходят картонные, самки и самцы тоже картонные. Из этого очарованного круга хотя он и выходил иногда (и именно в тех произведениях, которыми начал свое писательское поприще), но до крайности редко.

Затем нам остается еще сказать об отношениях г. Писемского к народу, или, лучше сказать, к той его части, которая называется простонародьем. Нет ничего удивительного, что для русских писателей эта среда составляет, так сказать, неизвестную землю; во-первых, она до сих пор сама по себе была до крайности замкнута, а во-вторых, большинство писателей наших принадлежит к таким общественным сферам, которые не имеют с народом ничего общего, и потому весьма естественно, что в их отношения к последнему невольным образом вносятся все недоумения и предубеждения, которые так свойственны кастам. Следовательно, здесь представляется обширное поле для всякого рода предположений, и писатель, поставивший себе задачею художественное восстановление народного образа, имеет возможность более, нежели во всяком другом случае, руководствоваться угадываньем или даже и произволом, не опасаясь быть уличенным в лжесвидетельстве. А если мы, сверх того, не забудем принять в соображение, что массы показывают себя только издали и притом исключительно со стороны внешних признаков, которые, вследствие самых условий обстановки, не могут быть особенно привлекательны, то поймем без труда, что здесь свобода писателя почти всегда сопряжена с ущербом для истины, и притом далеко не в пользу исследуемому предмету. Тем не менее и за этою свободой кроется известного рода узда, которая не допускает писателя делать слишком широкие размахи пера и удерживает его от искушений, граничащих с клеветой. Узду эту составляет, во-первых, чувство приличия и, во-вторых, известного рода сообразительность, которая и в неизвестном дозволяет открывать черты, не противные законам вероятности. Чувство приличия, заставляющее писателя быть осторожным относительно сфер ему неизвестных, слишком понятно, чтобы нужно было много распространяться об нем; что же касается до сообразительности, то это то самое свойство ума человеческого, которое дозволяет человеку, с помощью наведения, сравнения, анализа и отвлечения, приближаться к истине даже там, где последняя является неясною. Так, например, в рассматриваемом нами случае сообразительность должна указать, что хотя простонародье и составляет массу темную, но что массу эту составляют индивидуумы совсем не низшей и даже не иной породы, нежели та, к которой мы принадлежим сами, что самая многочисленность этих индивидуумов заставляет предполагать в массе большое разнообразие цветов и теней и что, следовательно, ни в каком случае недозволительно предполагать ее сплошь грубою, нелепою или пьяною. Все, на что мы можем указать в массах

достаточно утвердительно,— это на их замкнутость и неразвитость, но эти существенные недостатки не мешают, однако ж, им жить своею оригинальною и притом очень разнообразною и совершенно человеческою жизнью. Вот к каким результатам и предположениям должна привести нас сообразительность, и если мы при этом припомним, что наша собственная жизнь есть не что иное (да и не может быть ничем иным), как продукт той же жизни масс, то необходимость относиться к этой последней со всевозможною осмотрительностью и полным вниманием сделается для нас еще более ясною и настоятельною.

В произведениях г. Писемского, особенно же позднейшего, ближайшего к нам времени, такого рода узды совсем не примечается. Чувство приличия является до такой степени попранным, что можно даже подумать, что автор лично чем-то огорчен. Мужик — грубиян, бахвал, дурак и пьяница, одним словом, мужик,— вот единственное представление, которое оставляют в уме читателя его так называемые народные типы. Выйти из этого порочного круга не помогает ему даже та сообразительность, о которой говорено выше, ибо г. Писемский, как кажется, возмнил себя писателем политическим, а политика, как известно, способствует развитию только страстей и огорчений, но отнюдь не сообразительности. Стоит только припомнить описание крестьянских волнений в последнем романе этого автора, чтобы понять, до каких пагубных последствий может довести недостаток проницательности и привычка останавливаться на одних внешних признаках. Из этого выходит такая ребяческая и смешная безурядица, что читатель решительно мог бы усомниться в существовании здравого смысла на свете, если б не спасало его в этом случае то обстоятельство, что вся смешная и ребяческая сторона этого дела падает исключительно на голову самого автора, а отнюдь не на изображаемый им предмет...

Расскажем, однако ж, содержание самой драмы, подавшей повод к изложенным выше размышлениям.

Первое действие открывается разговором двух баб: Матрены и Спиридоньевны. Из разговора видно, что у Матрены есть дочь, Лизунька, которая находится замужем за крестьянином-питерщиком, Ананием Яковлевым, он же и герой драмы. Этого Анания теперь ждут в побывку домой, но ждут не радостно; оказывается, что Лизавета, в отсутствие мужа, слюбилась с помещиком, Чегловым-Соковиным, с которым прижила ребенка, и что Ананий об этом еще не знает. Наконец Ананий приезжает вместе с женою, которая ездила к нему навстречу, и с пьяненьким мужичонком Никоном, привезшим

его на своей лошади. Анания старуха Матрена рисует так: «человек этакой из души гордый, своебышный», «родителю своему покориться не хотел», а «теперь, сам собой раздышамшись, поди, чай, еще выше себя полагает». А Спиридоньевна к этой характеристике прибавляет: «Сказывали тоже наши мужички, как он блюдет себя в Питере: из звания своего никого, почесть, себе и равным не находит... тоже вот в трактир когда придет чайку испить, так который мужичок победней да попростей, с тем, пожалуй, и разговаривать не станет». Мы нарочно привели здесь эту характеристику, потому что в ней, как увидим ниже, заключается вся разгадка несложного характера Анания. Начинается сцена поклонов и целований; Ананий раздает подарки, причем Лизавета и прочие бабы целуют у него руки (драгоценная черта, которою, конечно, не преминет воспользоваться русская этнография). Садятся обедать; Ананий говорит всё умные речи, рассказывает про чугунку, про пар, про машины при употреблении торфа; но рассказывает до того уж умно, что зрителю делается неловко, начинает даже казаться, что тут есть что-то глупое. Никон, как мужичонко пьющий и притом малодушный, разумеется, сразу напивается и начинает хвастаться, как он в молодости тоже в Питер хаживал и как однажды с сорокасаженной вышины свалился; «барин тут сейчас из военных был: приведите, говорит, его, каналью, в чувство; и сейчас привели... он мне два штофа водки дал, я и выпил». Зрителю опять делается как-то неловко и словно совестно, и мы не только понимаем это чувство, но можем даже разъяснить его. Дело в том, что весь этот разговор решительно форменный, что сценическим пейзанам исстари положено говорить таким, а не иным образом. Подобно тому, как французская сцена свято хранит известные сценические предания и передает из поколения в поколение даже жесты и интонацию голоса, наше русское драматическое искусство передает из поколения в поколение стереотипную форму разговора, который должны вести между собою простодушные дети природы. Тут-то обыкновенно полное раздолье всевозможным изобретениям досужей праздности, выражающимся в анекдотах о немце, который «самого дьявола к своему делу приспособил», о русском мужичке, который соскочил с сорокасаженной вышины и не расшибся, и т. д. и т. д. И из-за всех этих противных анекдотов непременно выглядывает личность самого автора, который так и режет в глаза читателю или зрителю: послушайте, дескать, что толкуют эти бедные, глупые люди, и поймите, как я тонко над ними подсмеиваюсь! Слово за слово, речь заходит о том, какое звание выше, торговца или купца; подгулявший Никон

начинает городить совершенную бессмыслицу; умный Ананий обижается этой бессмыслицей и, в свою очередь, чем-то оскорбляет Никона. Тогда Никон окончательно раздражается и говорит, что хотя он и мастеровой человек, а уж бабе его не надуть; что у него полна изба ребят, а все его, все Никонычи; и наконец прямо объявляет Ананию, что он, Ананий, «барский свояк». Ананий узнает горькую истину; наступает момент, который мог бы быть исполнен драматизма, если бы драматический элемент хотя на сколько-нибудь входил в число условий таланта г. Писемского.

По всем требованиям мышления, на этом открытии должна бы была разрешиться развязка всей драмы. Ибо что, в сущности, может составлять содержание драмы вообще? Это содержание может составлять исключительно протест, протест, быть может, и не формулирующийся определенным образом, но явственно выдающийся из самого положения вещей, из того невыносимого противоречия, в котором находится действие или требование, послужившее для драмы основой, с его обстановкою. Есть требования и действия, которые сами по себе не идут вразрез ни указаниям здравого рассудка, ни общим законам человеческой природы, но которые тем не менее, вследствие известных условий общественного развития, признаются незаконными. Сила естественная и (с точки зрения драматурга) разумная, но вследствие разных причин попранная и непризнанная, представляется в борьбе с силою искусственною и (тоже с точки зрения драматурга) неразумною, но, вследствие тех же причин, торжествующею и установившеюся — вот единственный материал, из которого может возникнуть действительное драматическое положение. Но такое содержание неминуемо должно иметь влияние и на самое развитие драмы. Отовсюду окруженное враждебностью и препятствиями, всякое требование такого рода на первых порах невольным образом облекает себя известною таинственностью и, прежде чем придет к мысли о необходимости открытой борьбы с враждебными силами, внутри самого себя испытывает известную борьбу. Эта внутренняя тайная борьба, предшествующая борьбе явной, отнюдь не может быть названа продуктом человеческого малодушия или слабости — это просто законная потребность человеческого духа, в силу которой человек прежде всего ищет ориентироваться и уяснить свое положение. Затем уже следует переход борьбы из тайной в явную, затем развязка, то есть кара, то есть посрамление. Таков обычный и естественный ход драмы. Если она пропустит хотя один из названных выше моментов, то в результате получится впечатление отрывочное и спутанное.

В противоположность такому естественному ходу, г. Писемский начал свою драму именно с конца, то есть взял за исходную точку тот момент, где основа драмы уже совершенно исчерпана. Мы уже не говорим о том, что факту, на котором он построил все свое произведение, не дано никакого развития, что он представляется во всей своей наготе и грубости и что вследствие этого в зрителе возбуждается не интерес, а только смущение, но мы невольно спрашиваем себя, что может автор сказать об этом предмете более того, что уже сказано им в первом акте? Куда может он повести зрителя далее того, до чего он довел его в конце первого акта? Какой ряд насильств изобретет он, чтоб поддержать погасший в зрителе интерес? или же все дальнейшее развитие драмы будет уже представлять ненужную тавтологию, неловкое переливание из пустого в порожнее, свидетельствующее о тяжкой необходимости, чем бы то ни было и во что бы ни стало наполнить остальные четыре акта?

Да; г. Писемский именно находился между этими двумя печальными необходимостями и выбрал из них последнюю. Остальные три действия именно составляют не более как неловкую пришивку к драме, не начинавшейся, но уже совершенно закончившейся в первом акте, и притом пришивку, решительно ничего не поясняющую и не проливающую никакого света ни на характеры, ни на отношения действующих лиц.

Но виноваты: мы еще не досказали содержания конца первого действия. Ананий призывает жену к допросу и, дознавши от нее, что и как, начинает срамить ее. С известной ограниченной точки зрения он прав: он любил Лизавету, по-своему, горячо; он взял ее из бедного семейства, он поссорился из-за нее с отцом, он для нее терпел в Петербурге всякого рода лишения... все это совершенно естественно могло вспомниться ему в эту горькую минуту, и всего этого, для неразвитого его ума, весьма достаточно, чтобы получить право истерзать бедную женщину, оказавшуюся недостаточно твердою в той вере, в которой так тверд сам герой пиесы. А потому мы и не виним г. Писемского за то, что он заставил своего героя разгневаться на Лизавету; мы вовсе не требуем, чтоб он сделал из него Жака или Лопухова; но мы положительно ставим ему в вину, что он не сумел воспользоваться даже теми примирительными элементами, которые сами собой напрашивались под перо его и с помощью которых искаженный образ его героя мог бы быть возведен на степень образа человеческого. Очевидно, наш драматург задался мыслью, что пишет драму *оригинальную,* русскую и что русский человек

никакого душевного движения не может выразить иначе, как посредством ругательства, и вследствие такого решения просто-напросто превратил, на время, душу Анания в лексикон отборных ямских слов. Сцена вышла поистине возмутительная. По наружности Ананий волнуется и находится под влиянием величайшего пароксизма гнева и негодования, но, в сущности, все это беснование есть не что иное, как холодная злость и преднамеренное резонерство, украшаемое выражениями вроде: «шкура ободранная», «криворожая», «шельма бесстыжая», «лукавая бестия» и т. п. В результате дело кончается чем-то вроде сделки, выражающейся в следующих словах Анания: «Одного стыда людского теперь обегаючи, за неволю на себя все примешь, и по крайности для чужих глаз сделать надо, что ничего аки бы этого не было: ребенок, значит, мой, и ты мне пока жена честная! *Но ежели что, паче чаяния, у вас повторится с барином,* так легче бы тебе... слышишь ли: голос у меня захватывает... легче бы тебе, Лизавета, было не родиться на белый свет!.. Кому другому, а тебе пора знать, что я за человек: ни тебя, ни себя, ни вашего поганого отродья не пощажу, так ты и знай то!.. это мое последнее и великое тебе слово!» Каково само по себе достоинство подобной сделки, и также представляется ли возможность вывести ее оправдание из действительной жизни,— это вопрос покамест посторонний, но дело в том, что на ней, на этой сделке, драма совершенно исчерпывается. Ананий высказывается тут вполне; он является чем-то вроде Жака, но, разумеется, с примесью крепостного права, то есть: за прошлое не взыскивает, но впредь грешить не разрешает. Мораль известная, хотя, при условиях крепостного права, и довольно трудно выполнимая, ибо крепостное право тем-то именно и было характеристично, что оно проявляло себя необыкновенно цельно, резко и определенно и что при подобной обстановке не могло быть места для сделок, а было ли, нет ли место, так или для совершенной приниженности, или для явного и резкого протеста. Но г. Писемский пожелал продолжать драму и тем в миллионный раз доказал, что ежели желание сильно, то его одного достаточно, чтобы заменить всевозможные основания и поводы.

Второе действие застает нас в доме помещика Чеглова-Соковина, того самого, который нехитрыми мерами успел обворожить Лизавету. Что это за личность — даже определить невозможно. Из того, что он сидит, потупивши голову, надобно заключить, что он человек слабый, из того, что он говорит вздор,— что он человек глупый, а из того, что между этим вздором прорываются сентенции в катковско-либеральном

духе,— что он человек либеральный и если бы дожил до известной крестьянской реформы, то был бы, пожалуй, мировым посредником и удивлял бы Россию своею гуманностью. Тем не менее г. Писемский коснулся всех этих качеств только слегка и предпочел остановиться на четвертом, а именно, он изобразил Чеглова-Соковина человеком пьющим,— свойство души, как известно, тоже очень трогательное. Слабо-глупо-либерально-пьяный помещик беседует с зятем своим, г. Золотиловым (он же предводитель дворянства). Золотилов говорит, что не понимает, «чтоб из-за крестьянки можно было так тревожиться», что от бабы только и услышишь: «Ах ты, мой сердешненький! ах ты, мой милесенький!»; что, наконец, во всем уезде ходят слухи, что Чеглов пьет и что Лизавета поддерживает в нем эту страсть; на это Чеглов-Соковин отвечает *(с горькой усмешкой)*: «Что ж тут непонятного?», откровенно сознается в пристрастии к чарочке (в доказательство чего тут же выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой), но с негодованием отвергает всякое подстрекательство со стороны Лизаветы к поддержанию в нем этой несчастной привычки и в заключение решительно отказывается перестать тревожиться. Одним словом, происходит один из тех разговоров, какие могут происходить между двумя благородными людьми, из коих один пьяно-либерально-глуп, а другой трезво-консервативно-ограничен. Приходит бурмистр, Калистрат Григорьев, и докладывает барину, что Ананий Яковлев «из Питера сошел», да «уж оченно безобразничает», и что Лизавета пришла с жалобою. Тип бурмистра очерчен г. Писемским довольно метко; это именно один из тех пронырливых, в душу пролезающих людей, которыми так обильны были недра крепостного права. По-видимому, слабо-глупо-либерально-пьяный помещик больше с помощью бурмистра и приурочил к себе Лизавету; по крайней мере, мать ее именно так объясняет это дело. Во всяком случае, Калистрат Григорьев составляет лицо вводное, и потому мы на нем останавливаться долее не будем. Лизавета, вопреки сделке, заключившей первый акт, продолжает-таки похаживать к барину; она плачет, жалуется, что ей «оченно опасно», что муж третью ночь не спит и все «глядит ей в лицо», и в заключение просит барина поговорить с Ананием лично. Чеглов разводит руками, говорит: «Послушай, не плачь, бога ради», и обещает принять меры. Призывают Анания: барин внушает ему, что связь его с Лизаветой была делом одной любви, что если он, Ананий, оскорблен, то это может очень просто разрешиться дуэлью, но что если он думает сделать жене своей какое-нибудь зло, то сделает это не иначе, как перешагнув через его, Чеглова, труп; затем Чеглов, поша-

тываясь от слишком частых возлияний Бахусу, уходит. Остаются на сцене Ананий и бурмистр и ругаются, причем последний обещается первому что-то «всучить». На этих ругательствах занавес опускается.

По крайнему нашему разумению, весь этот акт совершенно лишний. Он еще может быть терпим и понятен как отдельная живая картина, но отнюдь не как часть драмы. Все эти новые лица совершенно для драмы не нужны, все происходящие между ними разговоры не имеют с драмою ни малейшей связи, по крайней мере той связи, которая называется живою и органическою и которая в картине более или менее цельной одна только и может служить законным оправданием для введения тех или других подробностей. Правда, что личность Лизаветы, в первом акте очень сбитая и спутанная, здесь несколько выясняется, но это выяснение такого рода, что, пожалуй, лучше бы, если б его не было вовсе. Зритель хочет узнать мотивы, из которых вытекла несчастная страсть, он думает понять и объяснить их себе, надеется, наконец, набрести на что-нибудь человеческое, уловить хоть какой-нибудь луч, который вывел бы его из тюрьмы на свет вольный, и, к полному своему разочарованию, вынуждается автором (впрочем, помимо воли последнего) остановиться на том предположении, что вся эта драма есть не что иное, как дело рук Калистрата Григорьева. И невольным образом выражения «шкура ободранная», «псовка» и т. д., которыми так изобилует первый акт, остаются единственным мерилом для определения этой загадочной личности.

В третьем акте Ананий Яковлев, все еще не решаясь на крайность (он только бил жену, но это, как известно, еще не составляет крайности), уговаривает Лизавету «образумиться», жить, как «прочие добрые люди», но бабу, очевидно, обуял сам сатана, потому что она на все ласковые и разумные слова мужа отвечает бессмысленною брехотнею. Во время этих переговоров является бурмистр с выборными и объявляет Ананию господскую волю взять от него Лизавету и с ребенком. Выборные скроены по известной мерке; они говорят всякий невнятный вздор и сплошь оказываются дураками, подлецами и трусами. Лизавета уже готова идти за бурмистром и уходит только за перегородку, чтобы взять ребенка, но Ананий бежит вслед за нею. Через мгновенье раздается вопль и слышится голос Лизаветы: «Батюшки! убил младенца-то!» Ананий выбивает окно и убегает.

В этом акте есть действительно нечто похожее на драматическое движение, и характер Анания Яковлева получает, по временам, оттенки довольно человеческие. Но и здесь хорошие

проблески совершенно утопают в куче разного ругательного мусора и бессмысленной, ничем не мотивированной Лизаветиной брехни. Во всяком случае, этот акт лучший и единственный, который вызывает в зрителе нечто похожее на мысль, хоть бы о том, что бывают же на свете такие разудивительные положения (оба положения здесь равно доказательны: и Лизаветы и Анания), что человек какою-то сверхъестественною силой устраняется от участия в своей собственной судьбе. Правда, что г. Писемский вводит зрителя в это положение путем чисто уголовным, но, судя по той закладке, которая положена в первых двух актах, мы и на это не имели права рассчитывать, а просто думали, что дело кончится тем, что Ананий кого ни на есть разразит, и разразит именно тем хладно-резонерским способом, к которому он так охотно прибегает в первом акте. Ну, а тут выходит, что убийство-то совершается словно как бы между делом. Стало быть, и на этом спасибо.

Третьим же актом второй раз оканчивается драма, потому что четвертое действие прибавлено единственно с целью выставить франта-чиновника из «новеньких», из сил выбивающегося, чтоб открыть в деле истину, и ограничивающего свое усердие разными пошлостями и гадостями. Тип этот нарисован широкой рукой, но увы! не мастерской; он носит на себе обычные недостатки манеры г. Писемского — крайнее однообразие тонов и происходящую отсюда утрировку. Ананий Яковлев добровольно является из бегов; следователь сажает его в острог; происходит сцена прощанья: бабы воют (Лизавета делает это почти в продолжение всего четвертого акта); занавес опускается в последний раз.

Таково содержание этой новой на сцене и не новой в печати драмы г. Писемского. Мы рассказали его со всеми подробностями, без всяких ужимок, которые могли бы подать повод к обвинению в преднамеренном искажении мысли автора. Содержание оказывается скудное, мотивы для драмы — ничтожные, развития драматического нет вовсе, характеры действующих лиц однообразны и монотонны, и притом вылеплены на скорую руку и из самого грубого материала. Одним словом, драма, не заключая в себе никаких элементов, из которых могла бы родиться действительная драматическая коллизия, не имеет никакой разумной причины существования, кроме воли автора.

Понятно, что даже наша снисходительная публика, строгими мерами приученная терпеливо выносить разных «Неровней» да «Бедных племянниц»,— и та пришла в какое-то недоумение от произведения г. Писемского и отнеслась к нему

если не враждебно, то, во всяком случае, совершенно равнодушно...

Но есть в этом произведении еще одна сторона, которой мы до сих пор не касались,— это именно его так называемый реализм.

Русская публика видит в г. Писемском одного из самых сильных представителей реального направления в русской литературе и, между прочим, к числу произведений, порожденных этим направлением, относит и «Горькую судьбину». Что реализм есть действительно господствующее направление в нашей литературе — это совершенно справедливо. Она, эта бедная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвления настало наконец и для нее. Действуя под влиянием какого-то одуряющего чада, живя чужими страданиями, болея напускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты и, убедившись в ней, весьма естественно пожелала освежиться. Попытки в этом смысле делались постоянно от времени до времени, но решительным образом освежение это начато Гоголем и с тех пор продолжается непрерывно. Гоголь положительно должен быть признан родоначальником этого нового, реального направления русской литературы; к нему, волею-неволею, примыкают все позднейшие писатели, какой бы оттенок ни представляли собой их произведения. Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским миросозерцанием, а последний — татарским. Но дело в том, что мы иногда ошибочно понимаем тот смысл, который заключается в слове «реализм», и охотно соединяем с ним понятие о чем-то вроде грубого, механического списыванья с натуры, подобно тому как многие с понятием о материализме соединяют понятие о всякого рода физической сытости.

Это, однако ж, не так. Мы замечаем, что произведения реальной школы нам нравятся, возбуждают в нас участие, трогают нас и потрясают, и это одно уже служит достаточным доказательством, что в них есть нечто большее, нежели простое умение копировать. И действительно, ум человеческий с трудом удовлетворяется одною голою передачей внешних признаков; он останавливается на этих признаках только случайно, и притом лишь на самое короткое время. Везде, даже в самой ничтожной подробности, он допытывается того интимного смысла, той внутренней жизни, которые одни только и могут дать факту действительное значение и силу. Очевидно,

что если б реализм не отвечал этой потребности, то он ни под каким видом не мог бы войти в искусство как основной и преобладающий его элемент.

И в самом деле, истинный реализм не только не потворствует исключительности и односторонности, но даже положительно враждебен им. Таким образом, имея в виду человека и дела его, он берет его со всеми его определениями, ибо все эти определения равно *реальны*, то есть равно законны и равно необходимы для объяснения человеческой личности. Обращаться с ними грубо, выставлять напоказ только те из них, которые сами по себе выдаются наиболее резко, он не имеет права, под опасением впасть в противоречие с самим собою, под опасением оказаться совершенно несостоятельным перед тем делом, которое, собственно, и составляет его задачу. Точно таким же образом, приступая к воспроизведению какого-либо факта, реализм не имеет права ни обойти молчанием его прошлое, ни отказаться от исследования (быть может, и гадательного, но тем не менее вполне естественного и необходимого) будущих судеб его, ибо это прошедшее и будущее хотя и закрыты для невооруженного глаза, но тем не менее совершенно настолько же *реальны*, как и настоящее. Конечно, очерчивая таким образом значение реализма в искусстве, мы очень хорошо понимаем, что рисуем идеал очень трудно достижимый, но дело не в том, в какой степени легко или трудно достается та или другая задача искусства, а в том, чтобы отыскать мерило, которое дало бы нам возможность с большею или меньшею безошибочностью обращаться с произведениями человеческой мысли, и отдавать себе отчет в том впечатлении, которое они на нас производят.

В смысле всего изложенного выше г. Писемский является реалистом весьма сомнительным, а рассматриваемая его драма едва ли может удовлетворять требованиям строгой критики. Выведенные в ней лица не только не имеют в себе никаких задатков действительной жизненности, но скорее напоминают собой деревянные фигуры, к которым прибиты ярлыки с надписями: «бахвальство», «тупоумие», «пронырливость», «пагубная страсть к пьянству» и т. д. Самый язык является верным только со стороны внешних признаков, но ни силы, ни меткости, ни юмору, ни поэзии (какими, например, отличается язык простого русского человека в комедиях Островского, в рассказах Тургенева, Слепцова и друг.) в нем не найдется и следа. Поэтому г. Писемский совершенно напрасно причисляется к сонму реалистов. В произведениях его проглядывает какой-то темный саддукеизм — и ничего более.

В заключение скажем несколько слов об исполнении пьесы на петербургской сцене. Положение актеров, а в особенности исполнителя роли Анания Яковлева, довольно тяжелое. В продолжение четырех актов тянуть все одну и ту же ноту, и притом ноту грубую и фальшивую, в продолжение целой пьесы не играть, а все, так сказать, приготовляться к игре — как хотите, а это ремесло совершенно несносное. Поэтому игры, собственно, никакой и не было, а было точное и неуклонное исполнение обязанностей. Г-н Васильев 2-й (Ананий Яковлев) отчеканивал свои ругательства в самом лучшем виде и говорил каким-то неестественным басом, г-жа Петрова (Лизавета) мучительно выла; прочие подругивались и подвывали с полным усердием. Неслыханные ругательства и бессмысленное вытье оглашали сцену в продолжение трех часов сряду, и зритель, вместо живого образа, вместо мысли, уносил из театра довольно значительный запас бранных, но неострых слов.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

«Наяда и рыбак». Фантастический балет в трех действиях и пяти картинах. Соч. Ж. Перро; музыка г. Пуни

Нет сомнения, что самую характеристическую черту современного искусства составляет стремление его к реализму. Искусство начинает сознавать, что, отрешенное от жизни, гадливо взирающее на ее подробности (как на что-то деловое, прозаическое и, следовательно, не входящее в область поэзии), оно не может обстоятельно выполнить даже ту задачу, выполнение которой издревле считалось первейшею и священнейшею его обязанностью: *не может возбуждать благородных чувств*. Значение и характер «благородных чувств» странным образом изменились. По мнению Павла и Николая Кирсановых (да простит мне г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих милых, но выдохшихся старичков), благородство чувств заключается в рыцарски вежливом обращении с дамами; по мнению Базарова, «благородство чувств» ни в чем не заключается. Есть третьи, которые думают, что «благородство чувств» есть такая рубрика, которую можно оставить с пользою и под которою следует разуметь ряд полезных, добропорядочных и целесообразных действий. Быть может (да и наверное), есть еще четвертые, пятые, десятые и т. д., которые и еще кой-что разумеют под «благородством чувств» и, конечно, находят, что правы они, а не братья Кирсановы и не Базаров. И таким образом выходит, что для того чтобы выказать себя «благородными», Кирсановы играют на виолончели, говорят об «даже», купаются в душистых ваннах и вообще предъявляют «благородные манеры», очень наивно принимая их за «благородные чувства»; для этой же цели Базаров режет лягушек; для этой же цели третьи, не отрицая игры на виолончели, отдают свое время преимущественно полезным и добропорядочным делам. Но во всяком случае, ни те, ни

другие, ни третьи не суть люди, лишенные прав состояния, а потому имеют право пользоваться своими понятиями о «благородстве чувств» по усмотрению и без всякого со стороны начальства помешательства.

Но искусство не частный человек и потому на задачи свои смотреть «по усмотрению» не может, под опасением действительного лишения за это прав состояния. Оно и радо бы, например, век свой идти рядышком с братьями Кирсановыми, но не смеет, ибо знает, что эти чистенькие, но выжившие из ума старички не поддержат его. Пискнет искусство по старой привычке, в лице какого-нибудь запоздалого шутника-поэта, песенку о вежливом отношении к природе, к Аглаям и Хлоям, ее населяющим, да так и останется при своем писке: никто не ответит на него, даже Кирсановы застыдятся. А какая причина такого явления? А причина та, что ниву человеческую со всех сторон загромоздили мужики, а братья Кирсановы так-таки и затонули в этом мужицком приливе. Мужики говорят искусству: смотри! стань на эту точку, да на этой линии и вертись! а братья Кирсановы молчат и только исподтишка презрительно улыбаются, но до того уж исподтишка, что никто, даже само искусство, этих их презрительных улыбок не замечает.

Впрочем, на первых порах искусство еще возражает. «Позвольте, господа! — говорит оно мужикам,— я согласно стать на почву реальную (еще бы!), но ведь я все-таки искусство, и потому мои реальные основы общечеловеческие!» И затем начинает доказывать, что «благородные чувства», хотя и не имеют права отрываться от действительности, тем не менее все-таки должны носить характер общечеловеческий и в этом смысле оставаться до некоторой степени безразличными. Одним словом, что «благородство чувств» все-таки должно быть «благородством чувств» — и ничем более. Но мужики, несмотря на свое невежество, очень сообразительны. Они говорят искусству: «Погоди! хотя ты и правду говоришь, но ты врешь! Это правда, что искусство, как и всякая другая истина, должно опираться на общечеловеческие основы. Но ведь эти общечеловеческие основы надобно еще отыскать, а для того, чтобы их отыскать, нужно, между прочим, принять в счет и нас, мужиков,— потому что только тогда эта основа будет невыдуманная и только тогда ты, искусство, не впадешь в то бесстыдное вранье, которому ты до сего времени предавалось!»

Одним словом, мужики ответили искусству точь-в-точь то же самое, что они же в свое время отвечали ловким политико-экономам и администраторам, которые предлагали им гото-

вые, свежеиспеченные экономические и административные теории... pour leur bien[1].

А так как мужики все-таки сила, то искусство ослушаться их не осмелилось и приступило к «возбуждению благородных чувств» совсем на другой манер, нежели прежде. Оно обуздало себя, временно ограничило свои цели, специализировалось и перестало действовать подобно тем детям-сочинителям, которые преимущественно стремятся к изображению таких впечатлений и чувств, о каких даже приблизительно понятия не имеют. Не теряя из вида основ общечеловеческих (без всякого спора, составляющих конечную его цель), искусство приняло характер национальный, обратило свое исключительное внимание на воспроизведение той особенной жизни, которая ближе всего находится у него под руками.

Один балет благополучно избежал этого общего переворота, и не только у нас в России избежал, но и вообще в целом образованном мире. Можно сказать утвердительно, что европейский балет находится в состоянии еще более младенческом, нежели, например, поэзия гг. Майкова, Фета и проч. В произведениях этих, доселе еще привилегированных русских поэтов все-таки замечается некоторое стремление выйти на реальную почву, некоторые попытки пройтись хоть по части «благоденствующего» русского мужичка, некоторый стыд, наконец... а в балете даже и стыда нет. И до сих пор он с непостижимым нахальством выступает вперед с своими «духами долин», с своими «наядами», «метеорами» и прочею нечистою силой. Все это до такой степени противно и нестерпимо, что положение балетного посетителя можно сравнить разве с положением человека, внезапно очутившегося в обществе полоумных спиритистов или вынужденного читать журнал «Эпоха» и следить за полетом «стрижей». Он видит, что перед ним выделываются всевозможные па, раскрываются таинственные раковины, поднимаются ноги, двигаются цветы, отворяются и затворяются трапы, он сознает, что все это самое непробудное невежество, самая беспардонная гиль — и остается подавленным — именно громадностью этого невежества и гили. Судите, например, возможно ли относиться равнодушно к следующей пошлости, представляемой на петербургском Большом театре под названием «Наяда и рыбак»?

Действие происходит неизвестно где; перед глазами зрителей берег моря и толпа поселян и поселянок. И те и другие очень мило одеты, хотя обнаженные (обтянутые трико далеко не безукоризненной чистоты) их ноги свидетельствуют, что по

---

[1] для их же блага.

временам им должно быть довольно холодно. Поселяне и поселянки пляшут. Зачем пляшут? Пляшут потому, что починивают сети; пляшут потому, что вытаскивают сети из моря; пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве *должны* плясать... Приходит Джианина, делает несколько курбетов и этим выражает, что ждет жениха, который наконец и является. Маттео, с своей стороны, вертится на одной ножке и этим выражает, что сегодня назначен сговор с Джианиной. Все уходят. Маттео остается один, и вдруг в глубине сцены что-то разевается: это раковина, из которой выходит Ундина. Ундина также делает множество курбетов, которые должны выражать, что она влюблена в Маттео. Надо сказать правду: Ундина, изображаемая г. Муравьевою, очень мила, и надо удивляться, что Маттео может хотя на минуту колебаться, чтоб не предложить ей руку и сердце. Все возвращаются и опять ни с того ни с сего начинают плясать; к этой пляске присоединяется и Ундина, которая, по выражению балетной программы, «как бы каким-то чудом» появляется между танцующими группами. Потом Ундина бросается в воду, потом (опять как бы каким-то чудом) появляется на вершине скалы. Зрители не понимают, но аплодируют.

Картина переменяется; декорация представляет рыбачью хижину, в которой размахивают руками и ногами: Джианина, Маттео и мать его, Тереза. Джианина делает несколько курбетов, что означает: «Милый! о чем ты задумался?» Маттео тоже делает несколько курбетов, что означает, что ему тошно. Вдруг отворяется окно, и в хижину влетает Ундина. Начинаются прыжки и курбеты — Ундина исчезает; Джианина и Маттео становятся на колени.

Картина переменяется. «Молодые, прекрасные наяды, вышед из воды, играют и резвятся на прибрежном песке, подражая телодвижениями плавному течению и струям родной стихии» (так гласит программа). Появляется Гидрола (и откуда г. Сен-Леон таких имен набрал!), «легкая и стройная царица наяд». Она машет руками в знак того, что нечто повелевает. Опять прыжки, и опять Ундина. Она становится на носки, переходит на носках всю сцену, и это означает, что она «любит Маттео». Все пляшут. Приходит Маттео, вертится на одной ножке и, как алебастровый кот, мотает головой — это значит, что он «с упоением прислушивается к песне соловья». Он рвет цветы: сорвет один — отставит ногу и прижмет руку к сердцу, сорвет другой — отставит ногу и прижмет руку к сердцу. Пот льет с него градом, ибо беспрерывно отставлять ногу утомительно; белила и румяны ползут с его лица, на котором обнажаются старческие морщины. Вдруг со всех сторон налетают

наяды и между ними Ундина, которая во что бы то ни стало хочет отнять у Маттео букет цветов, нарванный им для Джианины. Происходит танец, который г-жа Муравьева исполняет с надлежащим усердием, а затем является «веселая толпа рыбаков», которая и уводит Маттео.

Картина переменяется. Брачный пир на дворе деревенского трактира. Пляшут... Но здесь действие до такой степени спутывается и перепутывается, что следить за ним нет возможности. То есть, собственно, действия даже нет совсем, а есть беспрерывные, бессмысленные появления и исчезновения. Дело кончается тем, что Ундина все-таки увлекает Маттео, который и бросается вслед за нею в озеро. Все пляшут.

Вот содержание балета. Конечно, я рассказал его не во всех подробностях, но смысл передан верно. Скажите на милость: о чем эти картонные куклы печалятся, чему они радуются, зачем пляшут, с какого повода приходят и уходят? Cur? quomodo? quando? quibus auxilliis? [1] Ни на один из этих вопросов не ответит ни один из самых заматерелых философов, кроме, быть может, г. Юркевича. Почему наяды принимают участие в жизни человека, какого рода это участие, до какой степени это справедливо, почему именно наяды, а не лешачихи?.. Замечательно, что ни один из зрителей не задает себе подобного вопроса, замечательно, что зала театра всегда полна, замечательно, что ни один из присутствующих не отвернется с омерзением от всей этой галиматьи...

Стало быть, эта галиматья нужна, стало быть, она как раз в меру нашего роста. Конечно, мне могут сказать, что в деле привлечения зрителя к подобным зрелищам не последнюю роль играет поднимание ног, обнажение плеч и прочие более или менее возбуждающие балетные ингредиенты. Но в таком случае будем же откровенны: будемте услаждать наши взоры (если уже для этого необходимо поднимание ног), но зачем же искажать нашу мысль? зачем засорять наше и без того уже засоренное воображение еще новыми сплетнями разнузданной спиритуалистическо-трансцендентальной фантазии?

Знаю, что балет, как и спиритизм, как и философские упражнения г. Юркевича, как и бездонное словоизвержение «Московских ведомостей», есть в некотором роде «средство». Знаю я это, милостивые государи, знаю! Но если уже необходимо, в видах отвлечения, устремлять человеческое внимание на поднимание ног, то нельзя ли устроить это последнее по поводу несколько менее бессмысленному, ближе подходящему к нашим существенным интересам?

---

[1] Почему? каким образом? когда? посредством чего?

Я полагаю, что можно, ибо поднимать ноги отнюдь не возбраняется по какому угодно поводу. Проникнутый этой истиной, я счел за надобное подкрепить мою мысль ясным и для всех очевидным доказательством, то есть сочинил программу балета, которая, по моему мнению, должна удовлетворить всем требованиям. Льщу себя надеждою, что представители санкт-петербургских театральных искусств не только не посетуют на меня за мой труд, но, напротив того, поспешат воспользоваться им и поставят балет моего сочинения на сцену с великолепием, вполне соответствующим его достоинству.

Вот моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ,
или
ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ!

Современно-отечественно-фантастический балет в 3-х действиях и 4-х картинах Соч. хроникера «Современника»; музыка соч. г. Серова; машины и полеты гг. Юркевича, Косицы и Ф. М. Достоевского; костюмы того самого портного, который, взамен полистной платы, одевает сотрудников «Эпохи».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Отечественно-консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова.

Иван Иванович Обиралов, Иван Иванович Дантист — наперсники и друзья Давилова.

Отечественный либерализм, скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова. Пасынок Давилова.

Анна Ивановна Взятка, женщина уже в летах, но вечно юная; напрасно полагает себя вдовою.

Аннета Потихоньку-Постепенная, молодая женщина; напрасно полагает себя девицей.

Лганье, Вранье, Излишняя любознательность, Чепуха, Эпохино семейство — Отечественно-анакреонтические фигуры.

Мужики. Полицейские, солдаты. Внутренняя стража. Стрижи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА I

Обширная комната в городе Глупове. Посредине стоит стол, покрытый серым сукном. На столе беспорядочно валяются кипы бумаг.

I

Толпа мужиков, около которых суетятся и исполняют свое дело Обиралов и Дантист. Мужики с радостью развязывают кошельки и подставляют шеи. Давилов сидит у стола, погруженный в чтение бумаг. Он думает: «Сегодня придет моя милая Взятка, и мы соединимся с нею навеки; мы пойдем в Большой московский трактир и там славно закусим и выпьем!»

II

Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается вдребезги, и из нее вылетает Аннета Потихоньку-Постепенная. Она стоит некоторое время на одной ножке, потом с очаровательною грацией ударяет пальчиком Давилова по лысине. Давилов в изумлении простирает руки, как бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сделала тебе эта бедная чернильница, за которое ты так безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотрит на него с грустною и в то же время кокетливою улыбкою. «Пойми!» — говорит она и исчезает тем же путем, каким появилась. Чернильница появляется на столе снова и в прежнем виде. Давилов хочет устремиться за очаровательницею, но вместо того попадает пальцем в чернильницу. «Пойми!» — повторяет он в раздумье. «Чтó хотела она сказать этим «пойми»?

III

Между тем Обиралов уже выпотрошил мужиков, а Дантист обратил в пепел множество зубов. Обиралов легким прикосновением руки выводит Давилова из раздумья. Но Давилов долго еще не может прийти в себя и, беспрестанно повторяя: «пойми!», устремляется к тому месту, где скрылась очаровательница, но снова попадает пальцем в чернильницу. В это время из рук Обиралова внезапно выпархивает Взятка и разом овладевает всеми помыслами Давилова. Происходит

Танец Взятки

Взятка порхает по сцене и легкими, грациозными скачками дает понять, что сделает счастливым того, кто будет ее обла-

дателем. Она почти неодета, но это придает еще более прелести ее соблазнительным движениям. Давилов совершенно забывает о недавней незнакомке и с юношескою страстью устремляется к новой очаровательнице. Он старается уловить ее; движения его порывисты и торопливы; ловкость поистине изумительна. Но Взятка кокетничает и не дается; вот-вот прикасается он к ее талии, как она ловко выскользает из его рук и вновь быстро кружится в бешеной пляске. Наконец, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабевает... ослабевает... и тихо исчезает в карман Давилова. Обиралов и Дантист, умиленные, стоят в почтительном отдалении и слегка подтанцовывают.

IV

Мужики, видя, что сердце начальников радуется, сами начинают приходить в восторг и выражают его благодарными телодвижениями, которые постепенно переходят в

Большой танец Лаптей

В танце этом принимают участие: Давилов, Обиралов и Дантист.

V

«Спасибо, друзья!» — говорит Давилов мужикам и обещает им дать на водку, когда будут деньги. Затем обращается к Обиралову и Дантисту и говорит: «Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдемте в Большой московский трактир и там славно закусим и выпьем!» Он уже застегивает вицмундир и хочет взяться за шляпу, как чернильница вновь разлетается вдребезги, и на столе опять появляется Аннета Потихоньку-Постепенная. Она по-прежнему стоит на одной ножке, но вид ее строг. «Слушай! — говорит она Давилову,— я предупреждала тебя, но ты не внял словам моим и продолжал безобразничать с паскудною Взяткою. Итак, буду ясна: вызови немедленно из заточения твоего пасынка, Ивана Александрыча Хлестакова,— или... ты погибнешь». Сказавши это, Аннета исчезает, оставляя всех присутствующих в ужасе и стоящими на одной ноге. Картина.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА II

Пустынное местоположение. Болото, по коему произрастают тощие сосны. В глубине сцены секретная хижина. На соснах заливаются стрижи:

Сироты ли мы, ах, сиротушки!
Забубенные мы, ах, головушки!
А и нет у нас отца с матушкой!
А и есть у нас только детушки!
А и первой-ет сын несмысленочек,
А второй-ет сын да дурашливый,
А и треть-ет сын — хуже первого,
А четвертой сын — хуже третьего,
А и пятой сын — самой жалконький,
Самой жалконький, вовсе гнусненький,
И проч. и проч.

I

Из самой глубины трясины появляются три отечественно-анакреонтические фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя любознательность. Некоторое время они как бы не узнают друг друга, но через минуту недоразумение исчезает и друзья целуются. Начинается совещание. «Я буду лгать умышленно!» — говорит Лганье. «А я буду врать что попало!» — говорит Вранье. «И будет хорошо?» — «И будет хорошо».— «А я буду подслушивать»,— скромно отзывается Излишняя любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженные находчивостью своей подруги, и с некоторою завистью смотрят на нее. «Вы будете мне помогать, будете, так сказать, популяризировать меня»,— еще скромнее прибавляет Излишняя любознательность и этою приветливостью возвращает на лица собеседниц беспечное выражение. «Не станцевать ли нам что-нибудь, покуда не пришел наш добрый друг и начальник Иван Александрыч?» — предлагает Вранье. «Пожалуй,— соглашается Лганье,— но где он так долго пропадает, бедненький?» — «Внимайте! я поведаю вам ужасную тайну»,— отвечает Излишняя любознательность.

II

Начинается

Секретный танец Излишней любознательности

«Прошлую ночь,— так танцует она,— я, по обыкновению своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за ним. Все покровительствовало мне: и испарения, поднимавшиеся от нашей трясины, и отсутствие луны, и тихое, усыпляющее щебетание стрижей. Однако я шла и озиралась: что́, думала я, если меня поймают! Что́ сделают со мной? закатают ли до смерти или просто ограничатся одним шлепком?

Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что же? На верху неприступной скалы я увидела чертог, весь залитой светом! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши к скважине... и что же? Я увидела нашего Ивана Александрыча, который, вместо того чтобы стоять на страже, покоился в объятиях девицы Потихоньку-Постепенной!»

III

Протанцевав все вышеизложенное, Излишняя любознательность вдруг останавливается. Она догадывается, что сделала дело совершенно бесполезное и даже глупое, что Иван Александрыч ее друг и руководитель и что, следовательно, подсматривать за ним нет никакой надобности. «Зачем я подслушивала! зачем подглядывала!» — говорит она и в негодовании на свой собственный поступок высоко поднимает одну ногу.

IV

«Теперь слушайте же и меня!» — говорит Лганье и начинает

Танец Лганья

«Я тоже внимательно следило за нашим другом и покровителем Иваном Александрычем и, видя его грустным, от всей души соболезновало. Однажды, узрев его гуляющим на берегу нашей трясины, я не вытерпело и подошло к нему. «Покровитель! — сказало я,— отчего так грустен твой вид?» — «Мой верный слуга! — отвечал он мне,— я грущу, потому что оказываюсь неблагодарным. Я достойно наградил всех моих

слуг: ни Излишняя любознательность, ни Вранье не могут жаловаться на мою расчетливость... одно ты, бедное Лганье, осталось без награды! Но я надеюсь поправить это. Бог даст, с твоею помощью, успею вконец оболгать любезное отечество, и тогда...» Он умолк, но я поняло его мысль и не могло не облизнуться!»

V

Протанцевав вышеизложенное, Лганье останавливается в недоумении, ибо догадывается, что лгало своим и о своих же и, следовательно, лгало напрасно. «Зачем я лгало?» — с грустью спрашивает оно себя и в негодовании высоко поднимает одну ногу.

VI

«Нет, послушайте-ка вы меня!» — вступает, в свою очередь, Вранье и вслед за тем начинает

Танец Вранья

«На днях я встретило нашего милого Ивана Александрыча в самом оригинальном положении: он лежал животом кверху на берегу нашей трясины и грелся на солнце. «Чтó ты, mon cher, тут делаешь? — спросило я его (ведь вы знаете: я с ним на ты),— и что означает эта оригинальная поза?» — «Молчи! — отвечал он мне,— я сочиняю либеральные учреждения! Ты знаешь,— продолжал он после краткого молчания, отерев слезы, струившиеся из его глаз,— ты знаешь, друг, что я сделался главноуправляющим отечественной благонамеренности... и... и...» Тут он вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее: «До тех пор не успокоюсь, покуда не переломаю все ребра!»

VII

Протанцевав это, Вранье спохватывается, что оно врало своим и о своих же и, следовательно, совершило бесполезный подвиг. В унынии оно высоко поднимает одну ногу.

VIII

Таким образом, все трое стоят некоторое время, каждый с одной поднятой ногою. Все трое телодвижениями выражают:

Зачем я { Подслушивала?
Лгало?
Врало?

В глубине сцены является Чепуха. Быстрым и смелым скачком она перелетает всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами. «Вы потому совершили столько ненужных подвигов,— говорит она,— что с вами была я!» Начинается

Большой танец Чепухи

«До тех пор,— танцует она,— покуда я буду с вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Все ваши усилия в этом смысле будут напрасны, потому что всякий, даже не учившийся в семинарии, разгадает их! Вы будете подслушивать, лгать и врать без системы, единственно для препровождения времени. Всякий, встретившись с вами, скажет себе: будем осторожны, ибо вот это — излишняя любознательность, вот это — постыдное лганье, а это — безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались от меня,— и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете от меня нигде, не скроетесь даже в эту трясину; везде я застигну вас и буду руководящим началом всех ваших действий! Вы спросите, быть может, зачем я это делаю?..»

IX

Чепуха останавливается и в недоумении спрашивает себя: зачем, в самом деле, она так делает? В ответ на этот вопрос она высоко поднимает ногу. Начинается

Танец Четырех поднятых ног,

который прерывается

Чрезвычайным полетом стрижей,

как бы возвещающим прибытие некоторых важных незнакомцев. Незнакомцы эти суть не кто иные, как Давилов и Хлестаков. Они проходят с поникшими головами через сцену и скрываются в секретную хижину. Стрижи свищут: «Вот они! вот наши благодетели!»

КАРТИНА III

Внутренность секретной хижины.

I

Давилов и Хлестаков предаются воспоминаниям. Оба растроганы. «Сколько лет я томился в изгнании! — говорит Хлестаков,— оторванный жестоким вотчимом от чрева любимой матери, я скитался по этим пустынным местам, но и среди уединения посвящал свои досуги любезному отечеству!» — «Прости меня, мой друг! — отвечает Давилов,— ведь я думал, что ты либерал!» — «Как «либерал»? но теперь, в сию минуту, разве я не либерал?» — «Кхе-кхе!» — делает Давилов. «Так позвольте вам сказать, милый папенька, что вы не понимаете нашего отечественного либерализма!» Сказавши эти слова, Хлестаков дает знать музыке умолкнуть, а стрижам повелевает свистать. Начинается

Большой танец Отечественного либерализма

«Что такое отечественный либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как то па, которое я выделываю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в струях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одною постепенностью. Это тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить все-таки ни под каким видом не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Как она угодна нашим нравам и как мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали — даже пороха! — но выдумали «либерализм» и сразу стяжали вечное право на бессмертие! Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления — и никто ничего не получает. И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо

ждать и проливать слезы — есть удел человека в сей юдоли плача!»

Хлестаков падает в изнеможении на пол.

Большая трель Стрижей

II

«Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то есть что ты благороднейший человек, хотел я сказать,— говорит Давилов,— и потому вот что я придумал: забудем прошлое и заключим союз!» — «С охотою, но предварительно я должен предложить тебе несколько условий, без соблюдения которых никакой союз между нами невозможен».— «Слушаю тебя с величайшим вниманием».— «Во-первых, ты должен прекратить пагубные сношения с Взяткою *(отрицательное движение со стороны Давилова)*... не опасайся! я вовсе не требую, чтоб ты отказался от секретного с нею обхождения, но ради самого создателя, ради всего, что тебе дорого! не показывайся с нею в публичных местах и делай вид, что она тебе незнакома! Ты не знаешь... нет, ты не знаешь! сколько вреда приносит откровенное обращение с Взяткою! Это бросается в глаза всякому; самый малоумный человек — и тот понимает под Взяткою что-то нехорошее, несовместное с либерализмом. Всякий, встретившись с тобой на дороге, говорит: вот взяточник, и никто не скажет: вот либерал! До сих пор ты брал взятки и давил... продолжай и на будущее время! но сделай так, чтоб никто не смел называть тебя ни взяточником, ни Давиловым!» — «Стало быть, потихоньку можно?» — робко спрашивает Давилов. «Потихоньку... можно; (*с жаром*) все потихоньку можно!» — «Однако ж... ты требуешь, чтоб я отказался от моей фамилии... я Давилов, любезный друг! и надеюсь...» — «Не я требую, а система! и ежели она потребует, чтоб ты отказался от материнского чрева,— откажись!» — «Ну-с... второе условие?» — «Второе условие: удали из числа твоих приближенных Чепуху!» — «Эту за что ж?» — «Друг! Чепуха опаснее даже Взятки. Если Взятка марает отдельного человека, то Чепуха кладет свое клеймо на целые группы людей, на целый порядок, на целую систему! От Взятки мы можем отделаться секретным с ней обхождением; от Чепухи — никогда и ничем. Она сопровождает нас всюду, она отравляет все наши действия... она делает невозможною Систему! Наконец, сознáюсь ли тебе? — я сам, сам, как ты меня видишь... сам не свободен до некоторой

степени от Чепухи!» — «Но ведь Чепуха сколько раз спасала меня, выручала из беды?» — «Это нужды нет; отныне тебя должна спасать Неуклонность...»

Начинается

Большой танец Неуклонности,

который отличается тем, что его танцуют не сгибая ног и держа голову наоборот.

III

Друзья задумываются и полчаса молчат. В это время стрижи чистят носы, как бы приготовляясь запеть по первому требованию. В самом деле, момент этот наступает. Хлестаков выходит из задумчивости и говорит: «Третье условие — ты должен уметь танцевать «танец Честности».

Начинается

Большой танец Честности,

во время которого стрижи поют:

Ах, когда же с поля чести
Русский воин удалой...

Но «танец Честности» решительно не вытанцовывается. Напрасно понуждает Хлестаков свои ноги; напрасно стрижи то ускоряют, то замедляют темп, с целью прийти в соглашение с их покровителем,— ничто не помогает. Опечаленный неудачею, но в то же время скрывая оную, Хлестаков развязно говорит: «Все равно, будем, вместо этого, танцевать

Большой танец Московской благонамеренности»,

который и танцует, под свист стрижей, поющих:

По улице мостовой...

IV

«Это все?» — спрашивает Давилов. «Покамест все, и ежели ты согласен, то мы можем приступить к написанию взаимного оборонительно-наступательного трактата».— «Согласен!» — «В таком случае идем в секретную комнату...» — «Но

я думал, что это именно и есть секретная комната?» — «Да, это действительно секретная комната, но секретная вообще *(на ухо Давилову)*: в ней есть еще *секретнейшее отделение!!»* Давилов изумляется; открывается трап, и друзья исчезают. Стрижи поют:

Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тут чуду! быть тут чуду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА IV

Прелестное местоположение; в глубине сцены храм Славы.

Содержание этой картины составляет процесс Чепухи с Излишнею любознательностью, Лганьем и Враньем. Судьи: Хлестаков и Давилов; асессор: Обиралов; протоколист: Дантист. Чепуха доказывает свои права и опирается преимущественно на то, что она одна в состоянии смягчить слишком суровую последовательность прочих анакреонтических фигур. Последние, однако ж, оправдываются и говорят, что малый их успех происходит единственно от участия Чепухи. Хлестаков колеблется, но Давилов явно склоняется на сторону подсудимой. Выходит решение: «Подсудимую Чепуху сделать от суда свободною и допустить по-прежнему в число отечественно-анакреонтических фигур». В народе раздаются крики восторженной радости. Стрижи хлопают крыльями. Сами судьи взволнованы. Затем происходит

Шествие в храм Славы

Дошедши до порога храма, Хлестаков и Давилов, «как бы волшебством каким», сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную фамилию Хлестакова-Давилова. С своей стороны Взятка и Потихоньку-Постепенная тоже сливаются в нераздельное целое и принимают тройную фамилию Взятки-Потихоньку-Постепенной. Начинается

Апофеоз

Хлестаков-Давилов стоит на возвышении, освещаемый молнией. По сторонам народ, полицейские, солдаты и преобразованная внутренняя стража. Перед Хлестаковым-Давиловым на коленях Взятка-Потихоньку-Постепенная преподносит

Изящнейший портсигар из черной юфти. На одной стороне крупными бриллиантами славянской вязью изображено:

Ивану Александровичу Хлестакову-Давилову.

На другой стороне, тоже крупными бриллиантами, сделан герб Хлестаковых-Давиловых

Римский огурец.

Вдали, в костюме слесарши Пошлепкиной, просит прощения аллегорическая фигура «Эпохино семейство», окруженная стрижами.

Занавес падает.

А с ним вместе естественно прекращается и мой отчет о петербургском балете.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ», ПОМЕЩЕННОЙ В ОКТЯБРЬСКОЙ КНИЖКЕ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» ЗА 1862 ГОД

Наше время есть время самых разнообразных и существенных преобразований. Блистательно начатый отменою крепостного права, ряд этих преобразований не истощается, но продолжается непрерывно. Укажем на распубликованные уже основания нового устава о судоустройстве и судопроизводстве, на предполагаемое создание земских учреждений, на готовящиеся изменения в организации полиции, в податной системе и т. д. Нельзя не быть благодарным правительству за такую очевидную заботливость о благе отечества, как равно и за то, что к участию в этих коренных преобразованиях и к составлению многочисленных проектов, сюда относящихся, призываются особенно назначаемые просвещенные чиновники, которых беспристрастие в делах этого рода тем обеспеченнее, что они не имеют в них никакого своекорыстного интереса, могущего затмить в их глазах истину.

Наряду с названными выше преобразованиями, правительство наше обратило внимание и на положение русского книгопечатания. Известно, что литература наша до сих пор состоит под покровительством цензуры, но, быть может, не всякому известно, что покровительство это заключается не столько в расширении свободы печатного слова, сколько в снисходительном ограждении его от разного рода излишеств. Оказывается, что в настоящее время эту последнюю обязанность может принять на себя само общество, которое уже достаточно созрело для того, чтобы различить вредные и антисоциалистские учения от невредных и социалистских. Оказывается также, что цензура, как учреждение попечительное, не только ставила литературу в условия стеснительные и несоответствующие ее нынешнему развитию, но даже не достигала и той предупредительно-полицейской цели, для которой она была создана. Пи-

сатели с антисоциалистскими намерениями находили способ проводить свои идеи под покровом идей социалистских; мысль скрывалась, нельзя было ничего разобрать... Мало того: мысль до такой степени сжилась с различными покровами и изворотами, что даже откровенно приняла их за единственно нормальный способ выражения; литература до такой степени приучила публику читать между строками, что не было того темного намека, который оставался бы для нее тайною, не было полуслова, которого бы она не прочла всеми буквами и даже с некоторыми прибавлениями. Прохаживался ли, например, «Русский вестник» насчет Австрии — публика знала, что это хоть и не опечатка, однако нечто вроде опечатки; восхвалял ли «Русский вестник» австрийского министра Брука — публика понимала, что это значит: посмотрим, дескать, что-то у нас делается... Одна цензура ничего не понимала, да, по строгому, добросовестному толкованию цензурного устава, и не имела права понимать. Если верить «Русскому вестнику» и г. Громеке, от этого выигрывали только нигилисты, которых речь, по милости беспрерывных преград, приобрела какую-то не лишенную заманчивости таинственность и даже силу. Если верить тому же «Русскому вестнику», эта сила должна сама собой уничтожиться, как только ей дана будет возможность высказаться. Тогда всякий поймет, что это не сила, а ложь, и всякий же получит средство «легко справиться с ней без всяких карательных мер». Вполне разделяем такое мнение «Русского вестника», радуемся его радости и будем ожидать.

Таким образом, в обществе созрела мысль о необходимости пересмотра действующих законов о книгопечатании, и правительство сочло нужным удовлетворить этой потребности. Мы не имели случая читать подлинный проект нового «устава о книгопечатании», составленный особо назначенною для того комиссией, но знаем о содержании его из «Русского вестника». Вот каким образом пересказывает этот журнал своим читателям основные начала, принятые комиссией в соображение при исполнении возложенного на нее труда (октябрь 1862 года. «Заметка»).

Новая законодательная мера должна, сколько нам известно, существенно изменить положение нашей печати. Предполагается совершить переход от старого к новому со всевозможною осторожностию. Старое не будет разрушено прежде, чем успеет образоваться и утвердиться новый порядок. Предупредительная цензура останется, но она утратит свое исключительное господство. Кто не решится принять на себя полную и нераздельную ответственность за свое сочинение или издание, тот может оставаться под цензурой; но для других откроется возможность выйти изпод опеки предварительной цензуры; свободы печать еще не получит; свобода печати, как и вообще всякая общественная свобода, состоит в ответ-

ственности перед одним законом, то есть перед одним судом. Но суд только что еще устанавливается у нас, и потребуется время, пока новая организация его вступит окончательно в действие; еще более пройдет времени, пока эта новая великая сила окажет все свое влияние на нашу общественную жизнь и совершенно с нею освоится; а в ожидании этого было бы неблагоразумно оставлять нашу печать в ее нынешнем неудовлетворительном положении. Условное освобождение, под контролем административным, будет состоянием переходным; оно ближе ознакомит и правительство, и общество с истинными потребностями дела и приготовит литературу к состоянию более полной свободы.

Как предупредительная цензура, так и административный контроль над печатью должны, по новому проекту, сосредоточиться в министерстве внутренних дел. От главы этого министерства будут зависеть и цензурные комитеты, и разрешение новых изданий, равно как и освобождение от предварительной цензуры. Отсюда будут исходить предостережения журналам и определенные взыскания. При министре внутренних дел предполагается особый совет или особое управление по делам печати; но тем не менее вся ответственность по этому управлению должна сосредоточиться в лице министра. Одно из самых важных начал, принятых в основание нового проекта, состоит в том, чтоб управление по делам печати не прикрывалось высочайшим именем и не вовлекало в свои распоряжения верховную власть. Нельзя не оценить великой важности этого правила, которое еще так ново у нас и без которого администрация никогда не может развить в себе чувство полной ответственности. Верховную власть не должно смешивать с администрацией; она простирается над всем и есть или источник, или утверждение всякой власти; к ней восходит не одна администрация, но и судебная власть. Нигде и ни в чем она не должна быть замешанною партией; управляющие и управляемые должны быть равны перед нею. Все распоряжения министра внутренних дел по делам печати (кроме запрещения повременных изданий) будут производиться им под своею собственною ответственностию, и в этом одном будет уже не малое обеспечение для печати.

Затем «Русский вестник» прибавляет, что «нынешнему министру внутренних дел достанется трудное, тяжкое, но с тем вместе и славное дело», что все «будет зависеть от его проницательности и твердости, от его распорядительности и умеренности» и что «успех его управления будет тем славнее, что во многих случаях ему достанется быть вместе партией и судьей»... Одним словом, «Русский вестник», в радостных попыхах, сам не замечает, что он зарапортовался. В начале статьи говорит о какой-то созревшей жизненной силе, а под конец сводит эту силу к министерству внутренних дел; в начале говорит: «Подайте нам их, этих глашатаев лжи,— мы с ними справимся и без карательных мер!», а под конец возлагает всю надежду на министра внутренних дел; одним словом, и радует читателя и тут же отравляет его радость. Очевидно, что тут что-нибудь есть, что при написании этой статьи автором руководила цензуробоязнь, и мы, привыкшие читать между строками, вполне понимаем, что вся статья эта есть не что иное, как горький памфлет, язвительный плод обманутой

надежды, что вот-вот так и выдадут «Русскому вестнику» головой всех этих мальчишек и нигилистов, кощунствующих над святыней науки, и он, «Русский вестник», будет мять и топтать их и производить над ними всяческие телесные упражнения.

Итак, из изложения «Русского вестника» явствует следующее:

1) Что заведование делами книгопечатания переходит из министерства народного просвещения в министерство внутренних дел.

2) Что реформа будет приводиться в исполнение не сразу, но постепенно.

3) Что предварительная цензура остается, но утрачивает свое исключительное господство.

4) Что печатное слово будет подлежать не только ответственности перед законом, то есть перед судом, но и контролю административной власти.

5) Что контроль над печатью сосредоточивается в министерстве внутренних дел; при лице министра внутренних дел предполагается особый совет, который и будет заведовать этого рода делами. Контроль заключается в следующем: в разрешении новых изданий, в освобождении от предварительной цензуры, в посылке журналам предостережений и в наложении определенных взысканий

и 6) что управление по делам печати не будет отныне прикрываться высочайшим именем; все распоряжения будут производиться исключительно министром внутренних дел под собственною его ответственностью.

Разберем эти положения:

I. С точки зрения практической, для литературы, конечно, все равно, в каком ведомстве будет сосредоточен контроль по делам книгопечатания, то есть в ведомстве ли министерства народного просвещения, где он ныне находится, или в ведомстве министерства внутренних дел, куда предполагается его перевести. Тут все зависит от того, каков личный взгляд на литературу того или другого министра, и таким образом литература может почувствовать себя хорошо, будучи под начальством министра внутренних дел, и худо — под начальством министра народного просвещения, и наоборот. Но с рациональной точки зрения это совсем не так безразлично. Не надо забывать, что литература есть один из могущественнейших рычагов народного просвещения и что, напротив того, в министерстве внутренних дел, в том составе, в каком существует это учреждение в России, сосредоточивается высшая полицейская власть. Какое отношение может существовать между литературой, как органом просвещения, и поли-

цией, как органом охранения государственной безопасности, угадать хотя и не трудно, но не трудно именно вследствие той перепутанности понятий и определений, которая в последнее время, вследствие разных случайных причин, так сильно господствует в обществе нашем. Сфера действий полиции, сама по себе очень почтенная и заслуживающая полного сочувствия людей благомыслящих, есть вместе с тем сфера совершенно особая и притом строго ограниченная; она сообщает всей ее деятельности особенный характер и даже особенные привычки. Постоянно имея дело с противообщественными попытками и наклонностями самого грубого, несложного и незамысловатого свойства, полиция и в действиях своих против них обнаруживает некоторую грубость, несложность и незамысловатость. Теперь же она будет поставлена лицом к лицу с преступлениями мысли, преступлениями свойства деликатного и почти неуловимого, преступлениями, уже по тому одному относящимися к особому разряду, что при обсуждении их невозможно не принять высший против обыкновенного умственный и нравственный уровень совершивших их лиц. Полиция, очевидно, затруднится. Привыкнув иметь дело с врагами общества, она, неслышно для самой себя, и на литературу перенесет это воззрение; обращаясь с фактами грубыми, конкретными, не имея надобности прибегать ни к анализу побуждений, ни к более или менее тонким толкованиям содержания этих фактов, она тотчас же почувствует свою несостоятельность в отношении преступлений слова и постарается заменить ее чем-нибудь. Что, если она, по свойственной человечеству слабости, не захочет сознаться в этой несостоятельности и заменит ее подозрительностью и придирчивостью? Конечно, это только предположение, но всякий сознáется, что в нем ничего нет неправдоподобного. Конечно также, что и во Франции делами книгопечатания заведует министерство внутренних дел, да ведь какое же нам дело до Франции? Поэтому мы думаем, что с рациональной точки зрения было бы удобнее, чтобы делами книгопечатания заведовало по-прежнему министерство народного просвещения, хотя, с точки зрения практической, не имеем причин соболезновать и о том, что заведование это переходит в министерство внутренних дел.

II. Что реформу предполагается произвести не сразу, а постепенно — это, разумеется, и правильно, и понятно. Мало того: отсюда может выйти несомненная польза и для самой литературы. Русская литература столько десятков лет притворствовала и уклонялась, что нельзя сразу дать ей возможность выложить на стол накопившиеся в ней сокровища, ибо легко может быть, что и сокровищ-то совсем нет. Следова-

тельно, пускай высказывается постепенно. В этом отношении мы желаем только одного: пускай эта постепенность прилагается ко всем равно; пускай не будет того, например, что один журнал обязывается пройти сквозь все фазисы, все колебания строгой школы постепенности, а другой журнал, при самом своем рождении, уже предполагается прошедшим сквозь постепенность. Здесь равенства требует простое приличие, и мы уверены, что ничего подобного такой вопиющей несправедливости и не будет. Иначе мы придем к вопросу о единоторжии мысли, к вопросу об исключительности права печатать казенные объявления, которую с такою восторженностью защищала «Современная летопись Русского вестника» против «Нашего времени». Мы понимаем, что обращение журнала к «постепенности» может служить репрессивной мерой, но только репрессивной — никак не больше. Мы даже очень жалеем, что «Русский вестник» пропустил этот важный вопрос без внимания; мы тем более жалеем об этом, что в последнее время «Современная летопись» начала что-то заговариваться о редакторах, заслуживающих доверия, и редакторах, доверия не заслуживающих. Мы желали бы также, чтобы принцип постепенности не был слишком преувеличен. Ведь, читая слабонервные протестации «Русского вестника», можно подумать, что и невесть какой яд заключается в наших журналах, что и невесть какою опасностью грозят они обществу. Если верить этому, то придется, пожалуй, и усугубить «постепенность». Но не надо забывать, что протестации эти суть плод невинного желания как можно скорее сравняться в «рвении» с «Нашим временем»[1]. Не надо забывать, что литература русская относится к русскому правительству точно так же, как Гулливер к тому великану, который где-то нашел его в траве. «Он схватил меня,— рассказывает Гулливер,— поперек тела большим и указательным пальцами и поднес к глазам, чтобы ближе рассмотреть. Я не противился; я позволил себе только поднимать к небу глаза и складывать руки умоляющим образом, ибо я опасался, чтоб он нечаянно не раздавил меня». Сравнение не лестное, но правдивое и притом способное успокоить самую раздражительную подозрительность.

III. Предупредительная цензура остается, но она утрачивает свое исключительное господство. Так говорит «Русский

---

[1] Когда-то «Современник» в припадке гордости назвал «Русский вестник» подготовительным журналом, необходимым для сознательного чтения статей, помещаемых в «Современнике». Теперь этого нет: теперь «Русский вестник» служит подготовительным журналом для уразумения «Нашего времени». Но из подготовительности все-таки не вышел. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

вестник», и, признаемся, мы не понимаем его слов. Что значит: «предварительная цензура остается»? и что, рядом с этими словами, означает: «утрачивает исключительное господство свое»? Одно что-нибудь: или остается, или не остается. Или, быть может, она не будет существовать для сочинений известных размеров, известного характера, известного направления, для всех же прочих остается в прежней силе? или, быть может, она устраняется и для журналов, но тогда только, если со стороны последних исполняются известные обязательства? Какие это обязательства? К сожалению, «Русский вестник» выражается насчет этого очень темно; он говорит только, что тот, «кто не решается принять на себя полную и нераздельную (?) ответственность за свое сочинение или издание, тот может остаться под цензурою; но для других (?) откроется возможность выйти из-под опеки предварительной цензуры». Кто эти «другие»? Что это за «возможность»? Каким путем она может «открыться»? Обо всем этом «Русский вестник» умалчивает. Стало быть, и мы, с своей стороны, не будучи знакомы с канцелярскими подробностями этого дела, можем судить об нем только гадательно, теоретически. Первый вопрос, который представляется в этом случае, есть следующий: какой встречается повод к оставлению в ее силе предварительной цензуры, когда рядом с нею признается возможность и действительность цензуры карательной? Таких поводов может быть три: во-первых, можно сослаться на то, что даже и в тех государствах, где свободные учреждения и изустные парламентские прения воспитали политический смысл народа, даже и там одни репрессивные меры оказываются недостаточными, но возбуждается потребность в полицейских предупредительных распоряжениях; во-вторых, относительно периодических изданий можно сказать, что они действуют непрерывно систематически, образуя таким способом целое направление, которое невозможно формально преследовать, потому что оно не представляет частных осязательных случаев, доступных для преследования; в-третьих, относительно тех же изданий, можно сослаться на то, что газеты и журналы могут, в отношении к преследующей власти, принять особую систему, и именно: не нарушая явно важнейших предписаний закона, тем не менее выходить из пределов дозволенного, утомляя силы преследующей власти и связывая ее беспрерывным опасением неудачи или скандала. Подобного рода умозрения случалось нам выслушивать неоднократно, но, прежде нежели будем возражать на каждое из них порознь, позволяем себе сделать одно общее замечание. Мы положительно думаем (это преимущественно относится к последним двум умозрениям), что правительство

крепкое, прочно установившееся не может иметь подобных соображений. Действия, в основании которых лежит такого рода праздное умоизвитие, могут приличествовать разве каким-либо темным корпорациям, пролагающим себе пути подземною работою. Правительство сильное, опирающееся на сочувствие народа, не имеет надобности руководиться иезуитизмом: оно действует открыто, то есть открыто дозволяет и открыто же что-либо запрещает. Но, отвергая таким образом *вообще* аргументацию задней мысли, мы не можем оставить без опровержения и каждый аргумент в частности. Первый аргумент не составляет для нас новости, но не составляет и убеждения. Он ложен в самом зерне своем, потому что имеет в предмете указать на Францию. На это можно сказать одно: Франция, с конца прошлого столетия и до настоящего времени, представляет собой страну брожения, страну, развивающуюся под влиянием панических восторгов и столь же панических страхов. Если это положение еще и можно оспаривать относительно самой страны, то никак нельзя — относительно правительств, которые, одно за другим, ее эксплуатировали. Вполне свободных учреждений, свободных парламентских прений в ней никогда не было, а тем менее они существуют теперь, и отношения нынешнего французского правительства к стране слишком известны, чтобы допустить какое-нибудь двусмысленное в этом случае толкование. Зачем же эти вечные ссылки на Францию? зачем этот вечный кошмар? Во Франции такой порядок мог установиться вследствие особых, ей одной свойственных причин; во Франции, сверх того, порядок, сегодня установленный, может быть завтра развеян по ветру: что для нас Франция? что мы для нее? Но ведь и там все-таки предупредительной цензуры нет, и там все-таки оставлена писателям хотя незавидная свобода, но все-таки свобода: свобода грешить и подвергаться за грехи наказаниям. Отчего же не предоставить и русским писателям этой свободы? Ведь русская литература все-таки не больше как Гулливер: пускай же и наслаждалась бы свободою находиться между большим и указательным перстами великана! Что мы, русские, не имели до сих пор свободных учреждений и не пользовались парламентскими прениями — тут, конечно, хорошего мало, но политический смысл наш разве более будет воспитываться, если ко всему этому мы прибавим еще и отсутствие свободы печатного слова? Сомневаемся, потому что к свободе человек может воспитываться только в свободе. Второй аргумент, быть может, и очень замысловат, но производит впечатление тяжелое. Что такое это *направление,* которое ни в чем, в частности, *не выражается,* но которое все *чувствуют,* которое нельзя *формули-*

ровать, но которое предстоит необходимость *преследовать?* Воля ваша, а

Это темно, непонятно,
Очень что-то мудрено!

И особенно мудрено, когда речь идет о журналах и газетах, имеющих дело с фактами положительными, с подробностями общественной жизни. Связанные этим, они должны, волею или неволею, высказываться вполне определительно, так как, в противном случае, потеряют всякое значение для публики. Нет слова, что, при настоящем положении русской литературы, со всех сторон стесненной и цензурными и внецензурными условиями, встречается возможность чего-то похожего на действование посредством так называемого *направления*, которое всецело заключается в употреблении фигуры умолчания, в чтении за строками, в неясных намеках и проч. Но если представить себе русское слово освобожденным от предварительных истязаний, то всякая мысль о *направлении*, понимаемом в указанном выше смысле, падает сама собой, ибо кто же из читателей будет столь невинен, чтобы подписываться на журнал, который потчует его одним *направлением*, тогда как рядом с ним стоит другой журнал, рассказывающий жизненный факт ясно и безбоязненно? Положительно можно сказать, что *направление* есть плод предупредительной цензуры, что обаятельная сила его будет существовать дотоле, покуда будет существовать предупредительная цензура. Мало того: сила эта будет существовать и в таком случае, если изъятие от предупредительной цензуры будет допущено только для *известных* журналов, а другие останутся под ее влиянием... Что касается до третьего аргумента, то он положительно не требует серьезного опровержения. В самом деле, неужели наша литература имеет такое громадное развитие, что может даже утомить силы преследующей власти? И что, наконец, можно подумать об этой преследующей власти, которая так скоро утомляется? Ведь нельзя же так жить, чтоб все доставалось даром: желаете *преследовать* — ну, и потрудитесь.

Но, кроме этих общих замечаний о предварительной цензуре, статья «Русского вестника» возбуждает множество других вопросов, ставящих читателя в недоумение. Первый вопрос: для кого именно («для других», говорит «Русский вестник») «откроется возможность выйти из-под опеки предварительной цензуры»? Если это будет делаться вследствие чьего-нибудь выбора, то нельзя не опасаться пристрастия и стремления к тому, что мы назвали выше единоторжием мысли. Если это изъятие будет допускаться по очереди — это будет

странно; если по жребию — будет еще страннее. Одним словом, «Русский вестник», очевидно, ошибается; в таком важном, существенном интересе, каков интерес литературный, привилегий не может быть: есть предварительная цензура — она есть для всех; нет предварительной цензуры — ее нет для всех. Действовать в противоположность этому коренному принципу справедливости значило бы намеренно и насильственно умерщвлять одни органы русской мысли с тем, чтобы упитать на счет их другие. «Русский вестник», конечно, далек от такого рода инсинуации. Второй вопрос — что означают эти слова: «Кто не решится принять на себя полную и нераздельную ответственность за свое сочинение или издание, тот может остаться под цензурою»? Из этих слов можно вывести только одно заключение: будет известный разряд сочинений (чем он определится: размером или самым содержанием сочинений — неизвестно), который абсолютно освободится от влияния предварительной цензуры. Если это так, то предоставление писателям *добровольно* подчинять себя опеке предварительной цензуры кажется нам излишнею роскошью. Во-первых, не представляется надобности предлагать опеку для всех нищих духом, точно так же как не представляется надобности в учреждении какой-либо особой палаты для управления теми имениями, которых владельцы не умеют извлечь из них всех выгод. Во-вторых, если издатели сочинений этого разряда встретят сомнение в своей благонамеренности, то могут посоветоваться с своими приятелями, не затрудняя правительства. В-третьих, наконец, подобный легкий способ избавляться от ответственности может породить в литературной и издательской деятельности дурные привычки. Может в литературном лагере произойти междоусобие, угодничество и фискальство, ибо всегда найдутся люди, охочие заявлять о своем смиренстве, даже когда заявления эти и не надобны никому. Все это может ввести в заблуждение и само правительство насчет характера подобных заявлений. Третий вопрос, совершенно обойденный «Русским вестником», формулируется так: если сочинение или журнал пропущены предварительной цензурой, то избавляются ли затем авторы и издатели от всяких дальнейших преследований, в случае если б впоследствии, то есть по выходе книги в свет, оказалось в ней что-либо недозволенное? И если правительство найдет нужным изъять из продажи пропущенное цензурой и отпечатанное уже сочинение, то кто будет отвечать перед автором и издателем за материальный ущерб, нанесенный им таким правительственным распоряжением? Важность этих вопросов несомненна, и нет сомнения, что первый из них самим правительством будет разрешен тем

гуманным путем, которому оно постоянно следует, то есть освобождением авторов и издателей от всякой личной ответственности. Второй вопрос несколько труднее для разрешения, потому что здесь замешивается интерес материальный. Нет сомнения, что автор и издатель должны быть вознаграждены: они свое дело исполнили, то есть представили сочинение в цензуру, и затем все остальное до них не касается; но на чей счет они должны быть вознаграждены? Коренной закон говорит, что если должностное лицо своими действиями по должности наносит ущерб казне или частному лицу, то оно, кроме личной ответственности по суду, подвергается и взысканию всей суммы материального ущерба в пользу казны или частного лица. На этом основании, вознаграждение авторов и издателей в приводимом случае должно падать на цензора, но в таком случае или должность цензора сделается невозможною, или же опека цензурная станет невыносимою. Цензор постоянно будет под ударом и личной ответственности, и совершенного разорения: очевидно, что, при таких условиях, главною его заботою сделается не разумная свобода слова, но слепая к ней ненависть, внушаемая естественным чувством самосохранения.

Но, быть может, такого рода ущерб положено будет принимать на счет казны — тогда возникает вопрос: чем же казна тут виновата? Это тоже одно из немалых неудобств существования предварительной цензуры.

IV. Кроме ответственности перед законом, то есть перед судом, печатное слово будет подлежать контролю административной власти. Очевидно, здесь речь идет о сочинениях и изданиях, освобожденных от предварительной цензуры; таким образом, мы приходим к цензуре карательной, которая, по сказанию «Русского вестника», будет действовать двояко: путем судебного преследования и путем административных взысканий. Очевидно, это та же самая система преследования, которая, с легкой руки Франции, существует, относительно прессы, на всем европейском континенте, за малыми исключениями. И мы, собственно, не имеем ничего сказать против них, кроме того, что устроить правильную систему административных взысканий нам кажется не только трудно, но даже совершенно невозможно. Трудно, очень трудно отбиться от поползновения к произволу, особливо когда сам закон подает к тому легкий повод, особливо когда лицо, которому предоставляется карательная власть, действует единично, особливо когда оно, как выражается «Русский вестник», может быть в этом деле и партией и судьей. Поэтому-то мы совершенно согласны с «Русским вестником», когда он говорит, что министру внутренних

дел предстоит тяжкое, трудное, но славное дело; позволяем себе пожелать только одного: чтобы это было дело менее тяжкое. Достигнуть этого и избежать ни в каком случае не заслуженного нашим правительством упрека в желании заменить произвол беспорядочный произволом, так сказать, узаконенным — можно очень легко, и именно: отказавшись от системы административных взысканий и оставив один путь преследования вредных сочинений — путь судебный. Повторяем: опасность вовсе не так велика, и влияние и круг деятельности нашей литературы вовсе не так обширны, как это изображают слабонервные и легко пугающиеся органы русской прессы. Следовательно, отказавшись от легкого права быть в деле партией и судьей, правительство не только ничего не рискует, но даже выигрывает, ибо за ним останется то обаяние беспристрастия и спокойствия, которое так решительно действует не только на людей, душою и телом преданных правительству, но и на таких, которые почему-либо ставят себя в разряд недовольных. Против этого могут быть два возражения: первое, приводимое «Русским вестником» (из головы или из проекта устава — не знаем), заключается в дурном устройстве наших судов. «Суд только что устанавливается у нас, говорит этот журнал, и потребуется много времени, пока новая организация его вступит окончательно в действие, еще более пройдет времени, пока эта новая великая сила окажет все свое влияние на нашу общественную жизнь и совершенно с нею освоится; а в ожидании этого было бы неблагоразумно оставлять нашу печать в ее нынешнем неудовлетворительном положении».

В этих немногих словах очень много опечаток. Во-первых, дурная организация судов все-таки не мешает им производить суд по преступлениям всякого рода, и было бы очень рискованно сказать, чтобы нашлось много преступников, которые, несмотря на все недостатки существующего судоустройства и судопроизводства, согласились бы заменить решение суда, все-таки руководствующегося чем-то прочным, усмотрением административной власти. Во-вторых, сроки, которые считает нужными «Русский вестник» для освобождения русского печатного слова из-под административной ферулы, как-то слишком уж отдаленны: сперва пусть правильный суд установится, потом пусть эта новая сила *совершенно* освоится с русскою жизнью: даже и не соблазнительно. В-третьих, ведь все-таки будет такой разряд преступлений по делам книгопечатания, за которые взыскание, и при дурном устройстве суда, не иначе может быть полагаемо, как по суду, ведь они теперь есть, эти преступления? Отчего же только некоторые, а не *все* преступ-

ления? где граница между преступлениями, подлежащими взысканию административному, и преступлениями, подлежащими взысканию по суду? Сообразите только, как легко тут можно запутаться! В-четвертых, наконец, в словах «Русского вестника» слышится недостаток логики; выходит нечто вроде того, что так как суд устроен в настоящее время неудовлетворительно, то лучше пусть будет бессудность. Второе возражение, упущенное из вида «Русским вестником», но часто раздающееся в различных слабонервных кружках, заключается в том, что вчинание судебного иска против литературного сочинения есть дело рискованное. «Прежде чем начать подобный иск,— говорят обыкновенно,— необходимо обсудить все возможные последствия его, недостаточно оценить одну степень применяемости закона к совершившемуся нарушению, но нужно принять в соображение и другие обстоятельства, как-то: состояние умов, нравов и верований». Первую часть этой аргументации мы решительно не понимаем, хотя и чувствуем, что она вносит в судебную практику не совсем чистый элемент. Очевидно, что тут дело идет о какой-то осторожности, но не о той осторожности, которая ограждает обвиняемого от тревог, сопряженных с ответственностью перед судом, но о той, которая ограждает саму преследующую власть от возможности неудачи. Но если преследующая власть, обсудив известное действие, найдет в нем признаки преступления и если она при этом уважает себя, то зачем ей тревожить себя мыслями о воображаемых неудачах? Она отдает обвиняемого суду, она делает свое дело — и больше ничего. Ведь этак можно до такой степени растревожить себя, что наконец принять за постоянное правило действовать одним административным путем: суд-то, мол, еще бог весть что скажет! Если же преследующая власть, обсудив действие, усумнится в преступности его и вследствие этого предпочтет оставить дело под спудом, то подобная осторожность не только не может представлять вредных последствий и кого-либо компрометировать, но даже заключает в себе замечательную и отнюдь не лишнюю для литературы гарантию. Поэтому и было бы в высшей степени желательно, чтобы правительство приняло один путь преследования преступлений и проступков, совершаемых посредством печати,— путь преследования судом. Он единственно справедливый и единственно совместный с достоинством самого правительства.

V. Контроль над печатью сосредоточивается в особом совете, который имеет быть учрежден на этот конец при министре внутренних дел. К сожалению, «Русский вестник» не входит ни в какие подробности по этому случаю, так что не видно,

что это будет за совет, из кого он должен состоять, какой будет образ его занятий и какие присвоятся ему пределы власти. Все это, однако ж, очень важно. Если определение и увольнение членов совета будет зависеть от произвола того лица, которому вверен высший надзор за печатью, то, очевидно, они не будут иметь самостоятельности. Эту самостоятельность необходимо, однако, им дать как по крайней важности поручаемого им дела, так и потому, что, лишенные самостоятельности, эти члены сделаются или просто добрыми чиновниками, занимающими пенсионные места, или же такими вымуштрованными удальцами, которые на лету будут ловить полуслова, полунамеки и созидать из них целые системы, целые направления. Полезно было бы, по крайней мере, увольнение членов совета устранить от влияния случайностей. Потом, какую силу будут иметь суждения совета: решительную или только совещательную? Признаемся, мы скорее на стороне решительной силы, по той простой причине, что как-то спокойнее живется, когда дело на миру делается. Если один и скажет что-нибудь неподобное, ну, бог даст, другой поправит, третий, быть может, покраснеет, а четвертый и совсем застыдится. Иногда из этого выходит и путное нечто. А одному и обнять-то всё, право, как-то трудно. Да притом же, зачем и совет такой учреждать, которому можно, без дальних рассуждений, говорить: не так, а вот так. Наконец, в чем будут заключаться занятия членов совета, будут ли они только членами совета, призванными обсуждать дела уже приготовленные, или же вместе с тем будут и чиновниками, призванными не только обсуждать дела, но и изыскивать, но и возбуждать... Нам кажется, что последняя обязанность не придаст особенного блеска новому учреждению. Затем остается сказать о существе самого контроля. Он имеет характер отчасти предупредительный, отчасти карательный. В первом отношении, прежде всего нам бросилось в глаза, что и на будущее время к изданию нового журнала нельзя будет приступить иначе, как с разрешения. Казалось бы, правительство вооружено достаточною репрессивною силой, в особенности относительно журналов, но, очевидно, и этого мало, если предполагается увеличить эту силу правом во всякое время полагать предел журнальной деятельности. Любопытно было бы знать, чем обусловливается разрешение или неразрешение журнала? Принята ли будет австрийская система, требующая от редактора и издателя одного условия: безукоризненной нравственности? Оставлена ли будет ныне существующая в России система, требующая свидетельства местных губернских начальств о благонадежности просителей, о несостоянии их ни под следствием, ни под судом, ни под надзором полиции?

Или будет просто предоставлено министру внутренних дел разрешать или не разрешать по личному его усмотрению? Признаемся, мы больше на стороне австрийской системы; во-первых, она очень похожа на то, что уже существует у нас в настоящее время; во-вторых, она все-таки представляет какие-нибудь гарантии, не зажимает прямо рта и дает возможность апеллировать. Нас могут спросить: каким же образом может дойти правительство до убеждения в этой нравственности? Отвечаем: это и очень трудно, и очень легко. Это трудно, если правительство изъявляет претензию проникать в тайники души человеческой; напротив того, это очень легко, если правительство удовольствуется удостоверениями в *официальной* нравственности просителя. Тут дело ясное: неопороченность по суду — вот вся безукоризненность; вне этой сферы дело идет уже не о том, чтобы претендент на редакторство доказывал правительству свою нравственность, а о том, чтобы правительство, буде желает, доказало претенденту его безнравственность. Но каково же будет положение будущих деятелей русской журналистики, если ни им не придется ничего доказывать, ни власти не захотят ничего доказывать? если придется выслушивать только голое «да» или «нет»? Ведь это положение хуже нынешнего, потому что ныне, в случае отказа, можно подать на министра жалобу в правительствующий сенат. Ведь из этого может произойти последствие двоякого рода: или лицо, в руках которого сосредоточен будет высший контроль над печатью, будет разрешать новые периодические издания только при известных условиях, и тогда все журналы будут петь в унисон, или же журнальные деятели, которых образ мыслей более или менее известен, будут скрываться за подставными лицами. И в том и в другом случае достигается неловкое положение — и ничего больше. Поэтому будем надеяться, что эта преграда к распространению журнальной деятельности в России будет устранена. Что касается до контроля карательного, то «Русский вестник» говорит только о «предостережениях» и каких-то «определенных взысканиях». «Предостережения» мы знаем: они существуют во Франции, и любопытно было бы знать только, вполне ли будет принята французская система. Гораздо большую пищу для любопытства представляют упоминаемые «Русским вестником» «определенные взыскания». Дано ли право апелляции или не дано? Какой взгляд внесла комиссия в новый устав на журнальную собственность, то есть приравняла ли она ее со всякой другой собственностью или сообщила ей характер исключительный? Всё это вопросы очень важные, но, не зная, в чем заключаются постановления комиссии об этом предмете, мы можем только за-

явить наше скромное желание, заключающееся в том, во-первых, чтобы было обеспечено право апелляции, и во-вторых, в том, чтобы собственность журнальная, как и всякая другая, была выведена из-под влияния административной власти.

VI. «Управление по делам книгопечатания не будет отныне прикрываться высочайшим именем, все распоряжения будут производиться министром внутренних дел под собственною ответственностью». Рассуждения, которые делает по этому поводу «Русский вестник», приведены нами выше, и мы с ними вполне согласны. Жаль только, что журнал этот поленился объяснить, в чем именно будет заключаться ответственность министра? Ведь из того, что он дальше говорит, что министр будет вместе «и партией и судьей», не много видно. Но, быть может, «Русский вестник» разумеет ответственность перед собственной совестью,— тогда, конечно, нельзя не согласиться, что это ответственность великая, ибо совесть есть высший трибунал в этом отношении.

Заканчивая статью нашу, повторяем сожаление, что мы не имели возможности ознакомиться лично с проектом нового устава о книгопечатании и что, по этому случаю, наша статья имеет вид размышлений по поводу «заметки», напечатанной в московском журнале, «заметки», быть может, характера тоже весьма гадательного, хотя и сквозит в ней некоторая олимпическая уверенность.

НЕСЧАСТИЕ В ПОРХОВЕ

Корреспондент газеты «Мировой посредник» (1862 г., № 25) следующим образом рассказывает это происшествие:

«26-го ноября (1862 г.) был в Порхове бал, танцевальный или семейный вечер; назовите как хотите, потому что не в названии дело. Вечер этот устроен был нарочно и по подписке: приглашенные съехались в так называемый «дворянский дом». Приглашены были, разумеется, только истые дворяне, и то не все,— распорядители, по своему соображению, сделали строгий выбор и из дворян пригласили только отборных. А знаете, чем окончился этот вечер, составленный из отборных порховских дворян? К концу вечера десять или двенадцать из отборных гостей, по данному знаку, напали на одного из приглашенных и избили его до полусмерти! Побоище это продолжалось, как говорят, часа полтора; на другой день в зале видны были еще кровавые пятна, следы этой достохвальной битвы, в которой двенадцать человек бесстрашно двинулись на одного.

Вот вам факт во всей его наготе. А что скажете вы, когда узнаете, что и самый бал устроен был для такого финала? Что об этом знали наперед, сговаривались и старались устроить все так, чтобы этот вечер никак не обошелся без предположенного побоища,— это будет несомненно, когда узнаете, что несчастную жертву такого гнусного и наглого насилия всячески старались заманить на этот праздник, старались вывести ее из терпения, распуская разную клевету,— а когда вывести из терпения не удалось, ринулись толпою на беззащитного человека. Грустнее всего то, что из присутствовавших на этом вечере, из не бойцов, никто не решился стать между жертвой этого насилия и рыцарями кулачного права, никто не решился,

хоть бы во имя дворянской чести, о которой так много толкуют в Порхове, высказать пьяным бойцам, что бесчестно нападать двенадцати на одного.

Жертвою описанного мною насилия был один из порховских мировых посредников — г. Володимиров; рыцарями же кулачного права явились на этот раз человек десять или двенадцать сорванцов, постоянно выставлявших себя отчаянными головорезами, которых сословный гонор до сих пор не может переварить, что вместо прежнего, крепостного произвола, между ними и их бывшими подданными стал закон в лице мировых учреждений. Я мог бы назвать имена этих господ, но не считаю этого пока приличным, так как все это дело необходимо подвергнется судебному исследованию. Да впрочем, имена их и не представляют особенной важности: эти господа были, как я слышал, простым орудием, марионетками в руках более кляузных людей, которые, оставаясь сами в тени, выпустили этих сорванцов на предмет своей ненависти.

К чести мировых посредников Псковской губернии, или по крайней мере северной половины этой губернии, надо сказать, что они до такой степени умели с самого начала отрешиться от сословного духа, от эгоизма того сословия, к которому они принадлежат по происхождению, что на первых же порах им удалось овладеть совершенным доверием крестьян. Как люди независимые по своему положению, мировые посредники предпочли оставаться независимыми и по духу, по направлению, стать выше сословных интересов, как это прилично всякому образованному человеку, и приводить в исполнение Положение 19 февраля в том самом духе, который создал его. Оттого-то и не могут простить псковским мировым посредникам некоторые из дворян. Из мировых посредников Порховского уезда г. Володимиров и еще другой посредник (которого я не назову, потому что он хотя и случайно, но остался в стороне от приготовлявшегося и для него побоища),— пользуются особенным нерасположением той горстки ретроградных дворян, которых не коснулся дух времени.

Люди ретроградной партии есть везде, но в Псковской губернии едва ли не всего более представителей эта партия имеет в Порховском уезде. Тут ей удалось, в начале нынешнего года, поместить одного из своих коноводов в одну из значительнейших выборных должностей в уездах, и с тех пор началась кампания против ненавистных мировых учреждений. Заседания порховского мирового съезда публичные. Отборные представители ретроградной партии, те самые, которые 26 ноября так отважно ринулись в бой, стали постоянно являться на заседании съезда, чтобы поддержать там своего из-

бранного и, по возможности, словом, жестом и присутствием своим попытаться устрашить всех, не разделяющих их воззрения. Когда не удалась такая попытка внешнего тяготения на мировых посредников, тогда вздумали попробовать подорвать добрую славу порховских мировых посредников, заслуженное уважение, приобретенное ими как в обществе, так и между народом: стали распускать разные нелепости и клеветы. Сплетни, клевета, интриги — прирожденный грех наших уездных городов. Когда и это не удалось и клевета была публично разоблачена, а предводитель партии попал по этому случаю под суд,— тогда уже решились на насилие, чтобы хоть этим отомстить ненавистным посредникам и устрашить остальных.

Над г. Володимировым люди ретроградной партии в Порхове, люди старых порядков, старались выместить похороненное крепостное право, о котором они втайне до сих пор сожалеют,— и для этого они не сумели выдумать ничего остроумнее физического насилия.

Если я не ошибаюсь, порховское происшествие есть первая попытка насилия над мировыми посредниками, первая попытка подействовать на мировые учреждения посредством устрашения. И замечательно, что первая попытка такого рода выходит из той среды нашего общества, которая и сама себя считает и другими признается высшим слоем, наиболее образованным и развитым сословием, тем, от которого всего менее следовало бы ожидать порывов такой необузданной дикости».

Таков факт. Почтенный корреспондент находит его диким и постыдным и надеется, что г. мировой посредник Володимиров примет в соображение эти свойства факта и не прекратит своей полезной деятельности.

Мы, с своей стороны, также находим поступок порховских наездников и диким, и постыдным, и также не видим в нем ничего обидного для г. Володимирова. Обижаться подобными выходками, по нашему мнению, было бы столь же неосновательно, как и претендовать на какой-нибудь локомотив, который нет-нет да и оторвет кому-нибудь руку или ногу, а быть может, и голову. Что с него возьмешь?

Но признаться, нам весьма хотелось бы уяснить в этой истории некоторые пункты, которые нам кажутся несколько темными.

Кто эти люди, которые дерутся?

Вследствие каких причин сделалось возможным проявление протестов в виде физического насилия и во имя каких принципов допускается подобное проявление?

Какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из этого факта?

Ни для кого не тайна, что та часть русского общества, которая называет себя цивилизованною, находится в настоящее время в некотором волнении чувств: «Звон вечевого колокола раздался — и дрогнули сердца новгородцев!» — сказал некогда Карамзин; то же самое действие произвело на сердца россиян уничтожение крепостного права. Произошел раскол в той самой среде, которая наиболее заинтересована этим вопросом; явились так называемые крепостники и так называемые эмансипаторы, явились ретрограды и либералы; отцы не узнавали детей, дети не узнавали отцов. Все это сгруппировалось в великом беспорядке около крестьянского вопроса, все это усиливалось вырвать вопрос из рук неприятельской партии и поближе прибрать к себе. Не надо ошибаться: в основании всей этой разладицы лежит крестьянский вопрос, один крестьянский вопрос, и ничего больше; все эти коммунизмы, анархизмы, нигилизмы и проч.— все это выдумано впоследствии, все это только затейливые и не совсем невинные упражнения, сквозь которые проходит один мотив: упразднение крепостного права.

С одной стороны крепостники и ретрограды, с другой стороны эмансипаторы и либералы; вопрос заключается в том только, на какой стороне держатся отцы и на какой стороне — дети. Разрешив этот вопрос, мы легко уясним себе и то, кто, собственно, дерется.

Обращаясь к рассказу почтенного корреспондента «Мирового посредника», мы прямо видим, что драку произвели «люди старых порядков»; следовательно, это были крепостники. Но для того чтобы быть крепостником до такой степени, чтобы решиться защищать упраздненное право с помощью кулака, необходимо, чтобы человек, так сказать, всласть напитался этим правом, проникся не только наружными красотами его, но и тем тончайшим эфиром, который присутствует в самых сокровенных его тайниках. Очевидно, это возможно лишь при помощи долговременной и пристальной практики, и притом для тех только, кто не токмо семена сеял, но и жатву не один раз снимал. Все говорит здесь о долголетнем и благоденственном житии, все свидетельствует о старой, глубоко укоренившейся привычке. Молодое поколение не может иметь естественно-сочувственных отношений к упраздненному праву уже по тому одному, что оно практически не вкусило от плодов его: не успело. Для него не может даже существовать тех сложных и разнообразных причин любви, какие существуют для «людей старых порядков». Его понятие о сословном гоноре (если и сохраняются еще в нем такие понятия) держатся на иной почве, питаются иными соками; они умереннее уже

потому, что не раздражаются присущими воспоминаниями о древнем великолепии. Таким образом, делается ясно, что крепостниками пылкими, ретроградами пламенными могут быть только отцы; ясно также, что и драться по поводу крепостного права могли только отцы.

Это сделается еще яснее, если мы примем в соображение, что для отцов такое понятие не составляет даже ничего нового, что оно служит лишь продолжением старой традиции, гнездившейся в самом сердце крепостного права. Для того чтобы драться так, как дрались порховские наездники, то есть в продолжение полутора часов, и до такой степени, что «на другой день в зале были еще видны кровавые пятна», надобно иметь многое. Тут надо знать и теорию, и практику драки, надо иметь драку в крови, драку в мозгах. Ничем этим молодое поколение не обладает, да и обладать не может, по той простой причине, что не успело ни насладиться, ни наглядеться на тот порядок, в основании которого лежит драка.

Итак, первый вопрос решен: в Порхове дрались отцы; дрался Павел Кирсанов, позабыв, что в пылу драки могут смяться раздушенные и тщательно расправленные его усы; дрался Николай Кирсанов, позабыв, что в пылу драки он может повредить ту самую руку, посредством которой извлекаются тихие и сладостные звуки из прекрасного виолончеля. Дети не дрались — это верно; из слов корреспондента, напротив, можно заключить, что они даже уклоняются от всяких таких сонмищ, в которых *может произойти* драка, и, конечно, поступают очень благоразумно. Один г. Володимиров, к сожалению, не придержался этого правила.

Очевидно, стало быть, что в подобных случаях люди молодого поколения могут быть только жертвами (если они недостаточно осторожны, чтобы воздержаться от посещения слишком веселых сборищ), но отнюдь не жрецами.

Скажем здесь несколько слов об отношениях молодого поколения к этому великому делу, которое провело такую резкую черту между нашим прошедшим и нашим настоящим. Положение «детей» очень странное. Ни в какой среде основная мысль Положений 19 февраля не встречала такого горячего сочувствия, как в среде «детей», и ни на кого не сыплется со всех сторон (даже и с той стороны, откуда всего менее можно было бы этого ожидать) столько упреков, сколько сыплется их именно на молодое поколение. Нигде не проявлялось такой страстной жажды служить делу именно в духе Положений 19 февраля, ниоткуда не пришло столько деятелей для нового дела, сколько пришло их из рядов именно молодого поколения, и ничья жажда не была столь мало удовлетворена, ничьим на-

деждам не предстояло столь решительного и горького разочарования.

Откуда это, милые молодые люди? или вы не прилежно занимаетесь?

Нет, они прилежны; они до такой степени прилежны, что даже немного идеальничают. Приступая к своему делу, они впадают в тон г. Громеки: чего-то трепещут, перед чем-то проникаются благоговением, закатывают глаза и даже подпевают тем кисленьким тенором, которым имеют обыкновение петь очень влюбленные пономари. Прилежание их примерное, преданность делу бескорыстная и беззаветная, честность самая строгая; стало быть, с этой стороны упрекнуть их нельзя.

Но, может быть, они зарываются? может быть, они завлекаются какими-нибудь тенденциями, идут дальше, нежели идет само Положение?

Нет, и этого сказать нельзя. Журналы и газеты, в изобилии передающие публике решения, состоявшиеся в мировых учреждениях по разным делам, и преимущественно по разным жалобам, свидетельствуют положительно, что, за малыми исключениями, не только закон уважается, но не допускается даже самомалейшего отступления от буквы его. Зная враждебность окружающей их среды, молодые мировые посредники действуют с осторожностью и благоразумием весьма похвальными, за исключением разве павлоградского посредника Р., о котором пишет в «Нашем времени» г. Герсеванов, будто бы он, как человек молодой и неопытный, *увлекся* сначала. Однако ж и он впоследствии, убежденный доводами павлоградских дворян, спокаялся, извинился и обещался исправиться[1]. Стало быть (за исключением опять-таки г. Р.), и от закона отступлений нет, по крайней мере таких отступлений, на которые можно было бы с удовольствием сослаться, как на капитальный обвинительный пункт.

А предубеждения против молодых мировых посредников все-таки существуют, и притом не только в тесной сфере так называемых крепостников, но и там, где, по-видимому, не должно бы и быть подобных предубеждений. Газета «Голос», неизвестно кем вдохновленная, уверяет, что это происходит от того, что посредники мало проникаются мнением «благоразумного большинства» («Голос», 1863 г., № 3). Но «Голос», очевидно, забывает, что большинства, и в особенности благоразумного, еще у нас не отыскано, а что то, что он называет большинством, в сущности, совсем не большинство, а уединен-

---

[1] «Наше время», № 3 за 1863 год. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

ная корпорация, в последнее время сошедшая на степень секты.

Нам кажется, что причина разлада заключается вовсе не в недеятельности или недобросовестности молодых мировых посредников, и даже не в том, что они не проникаются мнением какого-то благоразумного большинства, а в том просто, что всякое истинно жизненное явление имеет свою неумолимую и неотразимую логику. Есть факты, про которые можно сказать: не человек обладает фактом, а факт человеком; есть факты, которые стирают жизнь целых поколений и выдвигают вперед совершенно новые, доселе прятавшиеся по закоулкам и захолустьям основы жизни. Они, в самом существе своем, уже заключают зерно бесконечного и безостановочного развития; этого развития нельзя остановить, как нельзя остановить логического развития мысли: если не допустить другого досказать эту мысль, сам доскажешь, или выищутся другие «другие».

Вот эта-то неотразимость последующего развития, собственно, и внушает опасения, хотя мы и сами не всегда сознаем ясно, что именно нас тревожит. Нам хотелось бы, чтоб явление остановилось в одном положении, а оно развивается, оно хочет исчерпать все последствия, которые естественным образом из него вытекают.

Нам хотелось бы, подобно Иисусу Навину, сказать: стой, солнце, не движься! а солнце все-таки движется, то есть не солнце, а земля (эту оговорку мы делаем, собственно, для «Русского вестника», чтоб он не обвинял нас в невежестве).

И вот мы сердимся и, не будучи в силах совладать с самым явлением, не имея возможности остановить его развития, сваливаем всю вину на лица, которые к нему случайным образом прикосновенны. Ясно, что мы ошибаемся, ясно, что обвиняемые не только не управляют явлением, но, скорее всего, сами идут за ним, но потребность придираться, потребность обвинять и заподозрить кого бы то ни было так велика, что мы уже не рассуждаем и даже боимся рассуждать.

Во всяком случае, антагонизм существует, а недоверие к действиям мировых посредников (преимущественно молодых) выражается и часто, и ярко. Мы уже не говорим о формальных жалобах: жаловаться, конечно, всякий имеет право, хотя бы и без разумного основания, но не можем пройти молчанием протестов, которые для выражения своего нашли удобным избрать форму положительного насилия.

В последнее время примеров такого насилия рассказано в наших журналах три, один за другим.

Первый пример передан нами выше — это неслыханное зверство двенадцати порховских дворян.

Второй пример рассказан в 3 № «Голоса» за сей год. Дело заключается в том, что дворяне Сердобского уезда в особенности недовольны действиями мировых посредников Оз — на и Кр — ского. Г-н Оз — н жалуется, что в зале Сердобского городского клуба к нему подходили некоторые помещики и, громогласно выражая свое неудовольствие на его бездействие и нерадение к своим обязанностям, просили его выйти в отставку. Г-н Кр — ский жалуется, что его не только просили выйти в отставку, но один помещик, из отставных военных, вызвал его на дуэль. «Сердобский обыватель», который это описывает, хотя и оговаривается, что все это очень преувеличено, однако что-нибудь да было же в этом роде, коль скоро сам уездный предводитель сердобский, г. Ст — в, встревожился и, в качестве председателя уездного мирового съезда, писал к начальнику Саратовской губернии, что он находит невозможным открыть мировой съезд, «пока не только права, но и самая личность присутствующих (то есть посредников) не будут ограждены от неприятностей и оскорблений».

Третий случай рассказан очень трогательно г. Герсевановым в «Нашем времени» и произошел в Павлоградске. Дело в том, что там есть один ужасный мировой посредник Р., который куда-то все гнет, только не туда, куда хочется павлоградским дворянам. Покуда был в Павлоградском уезде «умный и гуманный предводитель дворянства, позволивший себе (?) одну минуту (??) вступиться за г. Р.» (это подлинные слова г. Герсеванова), Р. кутил и увлекался напропалую; но вот «умный и гуманный предводитель» пал, а на место его избран Андрей Петрович Письменный. Кутить не стало больше возможности. В самом деле, на первом же мировом съезде г-ну Р. прочитали сильнейшую нотацию, а на другой день, на частном съезде дворян, прочитали ему нотацию еще сильнейшую, заключавшуюся в том, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых; хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операцию; дворянин, лишенный примирительного характера, не должен быть посредником». Одним словом, г. Р. предлагалось оставить службу, и жаль только одного: г. Герсеванов не объяснил, что это был за *частный* съезд дворян, по какому случаю он происходил и где именно происходил? Кончилось дело тем, что г. Р., пораженный павлоградским красноречием, оказал павлоградское раскаяние и обещал на будущее время приложить павлоградское старание.

С первого взгляда факты эти могут показаться несколько загадочными не потому, чтобы встречалось какое-либо сомнение насчет существования насилия (в этом могут сомневаться

только г. Герсеванов да «Голос»), а потому, что насилие действует что-то уж чересчур решительно и самоуверенно. По-видимому, и сила вещей, и сила закона — все на стороне мирового посредника; по-видимому, если он действует согласно требованиям закона и собственной совести, то может оставаться спокойным, если же и ошибается или даже против закона действует, то хотя и навлекает за это на себя взыскания, но все-таки взыскания, налагаемые в законном же порядке, а не вне его. Оказывается, однако ж, что все это теория и что теория у сердобских, павлоградских и порховских дворян сама по себе, а практика — сама по себе. Дворяне эти вообразили, что в них, как в некоем драгоценном сосуде, все совместилось: и кротость голубя (особливо у порховских), и мудрость змия. Отчего они вообразили это?

Такого рода воображение может проистекать из двух равно важных источников.

Во-первых, может случиться так, что на стороне посредников находится только «видимая» сила, а на стороне их антагонистов — сила «тайная», покровительствующая, так сказать, под рукою. Это сила не высказывающаяся, но чувствующаяся в воздухе, подобно едкой гари; это сила стыдящаяся и не формулирующая себя, но подстрекающая: «Дерзайте, дети, дерзайте! Я ничего не вижу!» Не предосуждая решение читателя, какой из этих двух сил отдать преимущество, мы, с своей стороны, находим, что сила тайная имеет на своей стороне ту выгоду, что ее нельзя ни уловить, ни поставить с очей на очи, ни уличить, и что, следовательно, она хотя и нейдет на пролом против законной силы, но подрывает ее беспрестанно, и притом самым воровским и изменническим манером.

Мы не называем эту силу по имени, во-первых, потому, что не желаем дразнить кого бы то ни было, а во-вторых, потому, что всякий читающий эти строки, наверное, может назвать ее сам. Цель ее — парализовать все добрые и плодотворные начала, заключающиеся в законоположениях 19 февраля, средство же, которое употребляется ею для достижения этого, весьма просто и состоит в том, чтобы всякими не хитрыми мерами отбивать охоту служить положению у тех, которые действительно этому делу преданы и, следовательно, могли бы принести ему наибольшую пользу.

Средство это, несмотря на всю свою незатейливость, весьма ловкое и притом совершенно национальное. Мы, русские, столько веков на разные манеры твердили, что

> Законы святы,
> Да исполнители лихие супостаты...

мы до такой степени убедились в справедливости этого положения горькою практикой, что оно сделалось как бы непременным спутником нашей жизни, чем-то таким, без чего существование наше было бы неполно. Возьмите, например, павлоградский случай: наш «умный и гуманный уездный предводитель» — «и тот час же явились суд, правда и мир» (ирония это или не ирония — пускай судит сам г. Герсеванов). Прочитайте речь Андрея Петровича Письменного в изложении г. Герсеванова, вы увидите из нее, во-первых, что он «надеется, что павлоградские мировые съезды будут поистине мировыми» (мы, с своей стороны, надеемся, что они вместе с тем не перестанут быть и павлоградскими); во-вторых, он обращается к «благороднейшим дворянам» и говорит им: «В вас, благороднейшие дворяне, я должен иметь силу и значение для действия к общему благу». Одним словом, на первом плане стоит Андрей Петрович и «благороднейшие дворяне», они будут давать Андрею Петровичу силу, и он станет действовать. О Положениях 19 февраля Андрей Петрович совсем забыл, и это тем страннее, что в них-то именно, в них одних он, как председатель мирового съезда, должен был бы искать и опоры и силы. Любопытно было бы знать, во имя чего действовали павлоградские мировые учреждения при «умном и гуманном уездном предводителе»? Или тогда были все только супостаты?

Орудиями для отбивания охоты от службы неприятному делу являются обыкновенно те самые Ш — ны, Н — ны, М — ры и Ю — вы, о которых говорит сердобский обыватель. Личное их вмешательство в действия мировых посредников совершенно лишнее, по-видимому, они, наравне с прочими, могут найти для себя убежище и в законе, и в праве жалобы, и, наконец, в праве публичного оглашения неправильных действий, в котором никому и нигде не отказывается; но Ш — ны, Н — ны, М — ры и Ю — вы рассуждают не так; они думают: куда там еще с законами да с апелляциями да с оглашениями! закон в нас самих! И вследствие такого рассуждения призывают себе на помощь помещика из «отставных военных», который, по мнению их, заключает в себе и суд и расправу и который действительно «предлагает г. Кр — скому удовлетворение», то есть вызывает его на дуэль. И тут начинается целый ряд насилий, насилий смешных и невинных, но тем не менее в целом представляющихся невыносимыми. Произносятся остроумные речи, вроде того, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», начинаются кивания, мычания, визжания, предлагаются любезные вызовы на дуэль; одним словом, вчиняется безобразнейший procès de tendance, в котором общественный прокурор, вместо того чтобы форму-

лировать обвинение, высовывает язык и делает угрозу носом. Почтенный корреспондент «Мирового посредника» говорит: «Если я не ошибаюсь, порховское происшествие есть первая попытка насилия над мировыми посредниками, первая попытка подействовать на мировые учреждения посредством устрашения». Но корреспонденты ошибаются; в этом его усерднейше разуверяют г. Герсеванов и сердобский обыватель, хотя они, по-видимому, и не подозревают, что воспеваемые ими подвиги павлоградских и сердобских обывателей принадлежат к разряду подвигов, именуемых насильственными. Конечно, порховское происшествие составляет в своем роде перл, но и сердобские судоговорения не дурны. Сердобские дворяне требуют, чтобы гг. Оз — н и Кр — ский вышли в отставку, но где же они почерпали себе право выразить такое требование? Ведь Оз — н и Кр — ский даже не ими и выбраны! Помещик из отставных военных вызывает г. Кр — ского на дуэль... с какого повода, за что, зачем? Неужели это не насилие? Неужели тут есть какой-нибудь другой смысл, кроме смысла простого грубого гнета?

Итак, первая причина, обусловливающая возможность проявления всякого рода насилий против людей мирового института, заключается в существовании тайной силы, им покровительствующей и подрывающей силу открытую, законную.

Вторая причина легкой возможности проявления насилий лежит гораздо глубже и заключается, по нашему мнению, в совершенном отсутствии твердой почвы, на которую могли бы опираться мировые посредники. Конечно, самый закон, самое положение уже представляет опору, но выше мы сказали, что защита, которую можно бы искать в законе, постоянно парализируется какими-то скрытными, но тем не менее совсем не вымышленными влияниями, какими-то закулисными колебаниями, которым нельзя даже прибрать приличного названия. Остается, следовательно, искать опоры инде, то есть там же, где ищет ее насилие. Вдохновенная газета «Голос» советует искать этой опоры в мнениях «благоразумного большинства», но гг. Оз — н и Кр — ский отвечают на это, что это мнение совсем не большинства, а «семейное мнение, образовавшееся в известных кружках». По-нашему, гг. Оз — н и Кр — ский правы; они очень хорошо понимают, что в таком деле, которое представляет собой беспрерывный гражданский иск, должно принимать в расчет не одну, а обе стороны; они понимают, что *мнение,* собственно, составляется и высказывается одною стороной, а какое *мнение* имеет другая сторона — о том не только никто не интересуется знать, но даже никто и не говорит: точно его совсем нет и быть не может. Если бы оно и имело возмож-

ность высказываться с тою же ясностью, с какою высказывается *мнение* порховских, сердобских и павлоградских дворян, то, быть может, оказалось бы возможным найти в нем опору и противопоставить ее домогательствам противной стороны. Однако этого нет, и мировые посредники, волею-неволею, должны оставаться безмолвными даже против таких обвинений, как «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций». Они не могут даже сказать, что обязанность их заключается не в том, чтобы защищать семейные интересы, а в том, чтобы служить общему делу всей русской земли: за такую продерзость их назовут нигилистами — и дело с концом.

Положение мировых посредников у нас и трудное, и новое. Мы привыкли всякого человека к чему-нибудь приурочивать: либо к сословию, либо к званию. Хоть коллежского регистратора, хоть отставного истопника, а нацепили-таки ему на шею; без этого нам как-то странно даже относиться к человеку, смешно на него смотреть. И вдруг являются люди, которые претендуют действовать во имя общих интересов земства, а не во имя миллионных частиц его, не во имя коллежских асессоров, не во имя отставных истопников. Сверх того, эти люди и не чиновники (чиновников-то мы поняли бы), потому что деятельность их чисто специальная, внутренно устроительная и отнюдь не касается ни интересов казны, ни даже интересов общественного спокойствия. Там, где эти интересы выступают на сцену, посредники стушевываются и уступают место полиции. Понятно, что такое положение должно было перемешать все наши представления, понятно, что мы начали везде обонять измену, везде видеть «офицеров, не могущих служить в рядах храбрых». Но понятно также, как невыносимо должно быть такое положение для тех, которые в него поставлены, и как прав был г. сердобский уездный предводитель дворянства, утверждая, что личность мировых посредников не безопасна.

Вывести из этого положения мировых посредников крайне необходимо, и притом совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Для этого следует только пересмотреть «правила о лицах, имеющих право быть избранными в мировые посредники», и самый порядок избрания, существующий ныне, и, разумеется, пересмотреть их в тех видах, чтобы новым законом создать для них твердую нравственную опору, помимо той формальной опоры, которую предлагает сам закон. Это тем легче сделать, что самые правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года.

Лицо, служащее мировому институту, в нынешней ли огра-

ниченной его сфере, или в сфере более обширной, во всяком случае, не может быть ни чиновником, ни представителем семейных интересов; оно должно быть живым словом земства. Но это тогда только возможно, когда оно будет обязано своим появлением на поприще общественной деятельности избранию, и притом когда избирательной системе даны будут самые широкие основания. Тогда только избранное лицо будет пользоваться действительным доверием, и тогда только оно получит для действий своих не мнимую, но положительную опору. Здесь уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо; теперь же мы исполняем только ту часть нашей задачи, которая заключается в исследовании действительных причин странного и исключительного положения мировых посредников в той среде, где им суждено действовать. Теперь посмотрим, в чем заключаются, собственно, обвинения, взводимые на мировых посредников (опять-таки в особенности на молодых). Несмотря на все их разнообразие, сквозь все эти обвинения звучит одна нота: гнет в одну сторону! Что это за «одна сторона», в которую гнет посредник,— это понятно и без объяснения; обратимся лучше к самому существу обвинений. Во-первых, нас прежде всего поражает общность и преувеличенность обвинений. Общность эта выражается бедностью фактов и какою-то кабалистическою их неосязаемостью. В то время, когда мы практически прикосновенны были к этому делу, нам случалось читать обвинения поистине жалкие: «Ставив, говорит, меня, коллежского асессора, на очные ставки с временнообязанным крестьянином, требовал, говорит, каких-то свидетелей в подтверждение моей жалобы», «вызывал, говорит, меня, коллежского асессора, в волостное правление и в присутствии моем предложил старшине сесть, сажал и меня, но я не сел»... Что прикажете сказать о таких обвинениях и как уверить жалобщика, что его обвинения не суть обвинения? Как вы ни уверяйте его, как ни смягчайте ваш отказ от разбирательства подобных сплетен, он не внемлет и будет говорить одно: да нет, это вы намеренно защищаете посредника, потому что вы — враг дворянского сословия вообще! Он готов и правительство заподозрить во враждебности интересам дворянского сословия! Тут есть какой-то камень в голове, который раздолбить совершенно невозможно и который препятствует пониманию самой обыкновенной идеи. Но это бы еще ничего, если бы дело ограничилось только такими обвинениями; есть другие обвинения, обвинения злостные, наводящие на мысль о какой-то революционной пропаганде. Нечего и говорить, что в этих обви-

нениях столько же смысла, как и в тех, которые возникли летом 1862 года, по поводу происходивших в Петербурге пожаров, и которые тщались инсинуировать, что пожары эти — дело молодого поколения, горький плод влияния, оказываемого молодою русскою литературою[1]. Нечего и говорить, что эти обвинения суть не более как развитие тех же общих обвинений, о которых было упомянуто выше, и что революционные тенденции и действия, на которые указывают обвинители, заключаются исключительно в том, что мировые посредники сажают старшин, а не заставляют их, в присутствии своем, стоять на ногах. Во всяком случае, обвинения эти действуют и производят впечатление. Почему они действуют? Не потому ли, что мы все, сколько нас ни есть, давая известному явлению право гражданственности, вовсе не думаем ни о сущности его, ни о тех прямых последствиях, которые оно влечет за собою? не потому ли, что, принимая реформу, мы все-таки питаем сокровенную надежду, что все останется по-прежнему, что реформа будет чем-то внешним, каким-то шутовским нарядом, которым прикроется древняя распущенность? И вот, когда оказывается, что надежды наши обмануты, мы кричим: «пожар!», несмотря на то что пожара совсем нет, и все происходит на строгом законном основании; мы обвиняем кого-то в революционных и коммунистических тенденциях и ни разу не спросим, кого же мы обвиняем, кого хотим мы распинать! Неблагоразумие поразительное, но благодарное; непредусмотрительность нелепая, но спасительная.

Во-вторых, никто не хочет принять в соображение то положение, в которое поставлен посредник обстановкою самого дела, которому он служит. Говорят: «посредник гнет в одну сторону»; несмотря на нелепую форму такого обвинения, вы чувствуете, что в нем *может быть* частица правды, вы чувствуете это тем яснее, чем ближе знакомы с практическою стороною дела. Утверждая это, мы вовсе не думаем щеголять перед читателями каким-нибудь дешевым парадоксом; нет, мы очень положительно и очень серьезно утверждаем, что дело не может произойти иначе и что инакое течение его тем невозможнее, чем честнее и чище представляется нам личность мирового посредника. Не надо никогда забывать, что посредник имеет дело с двумя сторонами. Одна сторона письменная, называющая сама себя цивилизованною и в самом деле пользующаяся известною долей образованности; эта сторона и

[1] По поводу этих пожаров образовалась у нас, прошлым летом, целая обвинительная литература, о которой мы в скором времени надеемся представить читателям «Современника» подробную статью.— Ред. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

средств больше имеет, да и формулировать свои домогательства в состоянии. Другая сторона — безграмотная, имеющая о вещах своеобразные понятия, которые, благодаря вековому сословному разъединению, сделались даже недоступными для цивилизованного меньшинства; эта сторона, скудная средствами, легко пугающаяся, затрудняющаяся даже в способах объяснить толково свои желания и претензии. Обе стороны предъявляют перед посредником иск друг на друга; одна говорит бойко и вразумительно, другая хочет нечто сказать в ответ, но путается; путается не потому, чтобы она не *чувствовала* своего права, но просто потому, что ей впервые привелось предъявить это право, как право, что ее смущает непривычная обстановка, в которую она внезапно вовлечена. Неужели посредник имеет право воспользоваться неумением и неведением? Неужели он не обязан вызвать сознание права там, где право в действительности существует, а нет только сознания его?

Нет, он не может пользоваться неведением, он обязан вызвать сознание права там, где его нет, во-первых, потому, что если и нет в данную минуту этого сознания, то никак нельзя ручаться, чтобы возможность этого сознания не явилась никогда. Она явится, быть может, позже, быть может, раньше, но явится — это несомненно. И тогда факт попрания бесспорного права принесет плоды горькие и далеко не безопасные: тогда начнется бесконечный и желчный процесс, и чем дольше и упорнее будет продолжаться непризнание права, тем желчнее и резче будут домогательства его. Кто может предвидеть, чем они разрешатся? Следовательно, в этом смысле, посредники являются не пропагандистами революционных идей, но предусмотрительными и благоразумными умиротворителями; следовательно, в этом смысле, чем откровеннее и яснее действия посредника, тем больше они обеспечивают будущее. Во-вторых, посредник обязан вызвать на свет скрывающееся и несознанное право и потому, что это дело всякого человека, имеющего понятие о чести и совести. Пользоваться неведением и простотою могут только люди, составившие себе из этого профессию, но никак не люди совестливые и честные; еще менее позволительно пользоваться простым неумением формулировать право, неумением, дающим иногда также широкое поле произвольным толкованиям и извращениям.

Нам скажут, быть может, что крестьянам предоставлено право действовать через поверенных, но это возражение едва ли можно назвать основательным. Не говоря уже о той затруднительности, с которою сопряжено отыскивание дельных и честных поверенных, мы просто отсылаем желающих знать, в каком положении находится у нас адвокатура по крестьян-

ским делам, к статье г. Громеки, напечатанной в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1862 год. Из нее читатель увидит, что это за адвокатура и до какой степени может быть приятна профессия адвоката [1].

Таким образом, мировой посредник, незаметно для самого себя, одною силою вещей, делается и судьею, и ходатаем... Конечно, в таком отношении к делу не может быть строгой правильности, но кто же виноват в этом? Виноваты ли гг. Оз — ны и Кр — ские, и не поступили ли бы гг. Ю — вы, Ш — ны, Н — ны и М — ры точно так же, как и они, если б были поставлены в подобное же положение?

Как бы то ни было, но обвинения противу мировых посредников существуют, легкость противодействия им тоже не подлежит никакому сомнению. Странно было бы, если б протест замедлил своим изъявлением.

И он не замедлил; насилие явилось во всех видах и со всеми атрибутами, насилие дикое, позорное, вооруженное кулаками. Почтенный корреспондент «Мирового посредника» выражает удивление, что такого рода насилие выходит «из той среды нашего общества, которая и сама себя считает и другими признается высшим слоем, наиболее образованным и развитым сословием, тем, от которого всего менее следовало бы ожидать порывов такой необузданной дикости». Но г. корреспондент, очевидно, забывает, что драка только и возможна именно для этой среды, что для другой-то среды подобный исход деятельности невозможен физически.

Мы, с своей стороны, не удивляемся. Мы старались, по мере сил наших, изложить положение дела и взаимные отношения заинтересованных сторон; результат этих изысканий следующий: да, вражда возможна, протест возможен. Затем, в каких формах является этот протест, час ли продолжается драка или полтора часа, до этого нам нет надобности, ибо это дело домашнее. Это явление до того отвратительное, что омерзение, которое оно поселяет, мешает нам даже приблизиться к месту сражения и освидетельствовать его.

Одно можем сказать мы: порховские обыватели явили себя изрядными хирургами, и павлоградские обыватели могут

---

[1] Мы отдаем полную справедливость г. Громеке: она написана с свойственною ему пламенностью и, главное, преисполнена фактов весьма доказательного свойства. Но для чего он прибавил какие-то «несколько слов цензуре», для чего он взял на себя роль адвоката, которой ему никто не поручал, об которой его никто не просил? Очевидно, г. Громека, постепенно разгорячаясь, заслушался наконец самого себя и, к довершению всего, дошел до такой восторженности, вследствие которой произошел какой-то совсем нелитературный акт. Это совсем испортило его статью, ибо в результате оказался клякс. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

смело дать им патент на делание операций — они не упадут в обморок при виде крови.

Гораздо важнее для нас другой вопрос: какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из порховской драки? Корреспондент «Мирового посредника» поднимает перед нами край завесы, скрывающей это будущее, и нам ничего не остается, как заключить настоящую статью словами его. «Худой пример подаете вы, господа,— говорит он, обращаясь к порховским обывателям,— вы беретесь за плеть, а что, если, глядя на вас и подражая вам, другие возьмутся за обух?»

С этим, действительно, нельзя не согласиться: худой пример!

Вл. Торопцев.

Примечание редакции. Статья г. Торопцева была уже напечатана, как мы получили из Полтавской губернии известие о новом скандале, происшедшем между мировым посредником Григорием Павлычем С. и помещиком Александром Павлычем Б. Статья, трактующая об этом деле, подписана псевдонимом «Не тронь меня» и напечатана в «Современнике» быть не может, как потому, что она очень многословна для такого пакостного дела, так и потому, что слишком резко идет вразрез требованиям грамматики (вероятно, это последнее происходит от того, что она переписана не совсем грамотным переписчиком). Но мы не считаем себя не вправе передать здесь содержание этой статьи. Дело в том, что мировой посредник, поручик С., и помещик, поручик Б., жили сначала очень дружно, «говорили друг другу *ты,* истребляли вместе наливку и другие вина, позволяя себе при этом разные вольности (?)». Однако ж между ними пробежала черная кошка; почему пробежала эта кошка — корреспондент не объясняет, однако ж можно догадываться, что кошка пробежала именно потому, что поручик С. сделался посредником, а поручик Б. остался помещиком. По словам корреспондента, посредник начал притеснять Б. и бунтовать его имение (это обыкновенное обвинение, которым корреспонденты уязвляют мировых посредников); однако ж, хотя в действиях С. и замечает г. «Не тронь меня» притеснение, тем не менее по произведенному исследованию оказалось, что Александр Б. действительно обходится с крестьянами дурно, за что и предан суду. Стало быть, г. С. не совсем не прав, и следовательно, за сим оставалось бы только предоставить дело законному его течению. Но вышло не так. Посредник С. приезжает к помещику З. для введения в действие уставной грамоты; по окончании этого дела помещик З. приглашает посредника отобедать; на обеде присутствуют

родственники г. З., исправник и братья Александра Б. Егор и Степан. Во время обеда является к З. помещик Александр Б. и просит братьев своих возвратиться в дом, куда будто бы требует их отец (какова военная хитрость и какова вместе с тем засада!). Натурально, З. (его следовало бы за сию штуку полководцем сделать!) приглашает Александра Б. остаться обедать: «У меня этого не водится,— говорит он,— кто приехал ко мне к обеду, садись! — иначе обидишь!» Делать нечего, Александр Б. садится, и начинается то развратное театральное представление, которого жертва облюбована и обречена заранее. Александр Б. начинает обращаться к С. с разными деловыми вопросами; С. ему отвечает, что он не имеет удовольствия его знать. По нашему мнению, С. совершенно прав: никто не имеет права тревожить его вопросами, касающимися его должности, в то время, когда он ест и находится в частном доме в качестве частного человека. Но Александр Б. не смущается этим и впутывает какую-то Марью Степановну.

— Зачем,— говорит он,— вы распускаете слухи, что Марья Степановна была в кабинете у Александра Павлыча? вы мерзавец! вы вор!

«Надобно заметить,— прибавляет корреспондент,— что это женщина очень хорошенькая и притом *необыкновенной* нравственности».

С. не отвечает (желательно было бы видеть хозяев — свидетелей этой сцены! чай, «хи-хи-хи! да ха-ха-ха!»). Тогда Б. повторил это несколько раз, «и ответа не последовало». Затем приводим подлинником слова самого корреспондента. «Когда же Б. отошел от него (от посредника), то посредник С., бросившись на Александра Б., ударил его по уху. Александр Б., подвернувшись, схватил посредника Григория Павловича С. одною рукою за волосы, другою колотил по зубам; потом, бросивши его на пол, еще повторил ту же самую зубную операцию. Михаил Иваныч Б. (письмоводитель посредника) и сам хозяин З. бросились оборонять; последний из них от испуга упал в обморок (догадался!), дамы (так тут и нежный пол присутствовал?) подняли крик. Посредник С., лежа в объясненном положении, стремился сделать выстрел из револьвера, но Степан Б. (брат дантиста Александра Б.) вырвал из рук таковый (истинно братская любовь!), а у него вырвала из рук какая-то дама»...

Мы не думаем, чтобы нужно было выводить какое-либо заключение из этого факта. Но не можем скрыть, что нам, в этом деле, всего более жалким кажется г. «Не тронь меня».

ДРАМАТУРГИ-ПАРАЗИТЫ ВО ФРАНЦИИ

Les ganaches[1], par Victorien Sardou.
Le fils de Giboyer, par Émile Augier.

Пускай нам доказывают, пускай убеждают нас, что человечество не может останавливаться в своем развитии, а тем менее падать, и что в этом смысле выражение: «падение древнего мира», сопоставленное выражению: «наступление эпохи варварства» — есть не более как близорукий парадокс, не более как фраза, лишенная всякого значения. Мы верим этим убеждениям только отчасти, то есть в той мере, в какой они относятся до истории человечества в ее общих очертаниях, в ее конечных результатах. Тут действительно выходит так, что результаты оправдывают средства и что, на практике, как бы осуществляется пресловутое изречение доктора Панглосса: все идет к лучшему в лучшем из миров! Тут самая неурядица, самая нравственная анархия, характеризующие некоторые эпохи истории человечества, кажутся легко объяснимыми вторжением новых сил, новых жизненных элементов, которые еще не опознали себя и потому пребывают некоторое время в брожении. Да, хорошо живется человечеству... в общем фокусе! всё-то успех, всё-то движение вперед! Даже тьма, даже искажение человеческого образа, даже полнейшее нравственное рабство — и то движение вперед!

Но увы! идея «человечества» едва-едва начинает проникать только в историю человечества, но и не думает еще заглядывать в самую жизнь человечества. Увы! человечество живет не общими чертами, питается не отдаленными результатами, которые *когда-нибудь* оправдают близкие страдания. Увы! оно жи-

---

[1] Ganache — буквально означает лошадиную челюсть; в просторечии и именно в том смысле, в каком употребил его официальный французский драматург, слово это означает глупца. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

вет даже не всею своею массой, а только осколками этой массы, роковою силою взлетающими на верх... Оно выносит на себе, оно выкупает ценою своей крови все эти замешательства, все эти нравственные анархии, которые в будущем сулят богатую жатву, все эти «средства», которые, впоследствии, будут «оправданы результатом»...

Вот в этом-то ближайшем и незаносчивом смысле, выражение «владычество варварства», следующее непосредственно за выражением «падение общества», становится уж совсем не столь фальшивым, как это кажется с первого взгляда, и если несправедливо употреблять его в абсолютном значении, то весьма и весьма позволительно применять к данному моменту общественного развития.

Быть может, читателю покажется несколько странным, что мы начинаем так громко по поводу столь негромких явлений, как гг. Сарду и Ожье, однако ж слова наши вовсе не заключают в себе ни напыщенности, ни преувеличения. Если явления эти и действительно ничтожны сами по себе, то они занимательны для нас, как характеристические признаки, как порожденье известного жизненного строя, и в этом смысле чем они ничтожнее, чем беднее содержанием, тем драгоценнее для наблюдателя. Это явления, неизгладимыми и постыдными клеймами ложащиеся на целую эпоху.

Мысль человеческая, с той самой минуты, как она сознает в себе стремление обмирщиться и сделаться общим достоянием человечества, постоянно ищет преодолеть все преграды, которые представляются ей на пути к этой цели, неустанно ищет свободы. Но эта свобода достается не легко, и борьба, которая ей предшествует, проходит через многие фазисы.

Прежде всего, мысль, еще робкая и слабая, имеет дело с простым и несложным гнетом грубой силы. Тут мелодия развивается просто: с одной стороны ясное и не терпящее отговорок запрещение, вооруженное целым арсеналом карательных мер, с другой стороны — покорность и безмолвие. Как ни тяжки подобные моменты в истории мысли, но в них есть, по крайней мере, какая-то мрачная логика. Мысль преследуется гуртом, без различия оттенков ее; принимается за исходный пункт, что мысль, какова бы она ни была, заключает в себе яд. Конечно, такой взгляд на мысль безотраден, но, по крайней мере, он имеет за себя достоинство определительности. Он даже, может быть, не безвыгоден и для самой мысли, в том смысле, что вынуждает ее опознаться и окрепнуть. Мысль безмолвствует, но не умирает; во всяком случае, она не растлевается. Общество, на котором отражается тот же гнет, который царит и над мыслью, чувствует и понимает это. И, несмотря

на темные извороты, к которым прибегает мысль для своего выражения, несмотря на покровы, которыми она одевает себя, чуткое ухо общества схватывает на лету недозвучавшую ноту, чуткий ум невольно подсказывает недосказанное слово...

Но как ни силен, как ни всемогущ кажется гнет грубой силы, а и он не может быть вечным. То неразнообразное внутреннее содержание, с помощью которого обеспечивалась живучесть силы, исчерпывается само собою, исчерпывается потому, что дело скоро доходит до геркулесовых столпов, дальше которых идти некуда. Гнет сам растлевается потребностью уступок, потребностью некоторой свободы, на крупицах которой он хочет поставить для себя пьедестал в новом вкусе. Этот второй период, в который вступает мысль, самый для нее пагубный; быть может, что в общем ходе вещей он и представляется прогрессом, но сам по себе, но в данный момент этот период есть период самого тяжкого, самого неистового мысленного разврата. Мысль, бывшая до тех пор силой, несмотря на слабость свою, мысль, которая до тех пор группировала около себя, во имя своего угнетения, все лучшие соки общества, мгновенно мельчает и растлевается; она становится более ясною и доступною (однако не вполне же ясною, не вполне же доступною), но вместе с тем нисходит на степень ремесла, делается орудием в руках проходимцев и выжиг, утрачивает свою чистоту и брезгливость, одним словом, становится доступною каким-то особенным соображениям, которые в просторечии именуются подкупом. Как ни горек столь быстрый переход от полного безмолвия к полному разврату, но он не необъясним. Потребность свободы слишком живая потребность, чтобы не желать воспользоваться этим даром хотя в той степени, насколько возможно это физически, а так как свобода дается только на известное расстояние и на известных условиях, то и последствия принятия подобной свободы очевидны. Тут, собственно, нет свободы мысли, а только есть снисхождение к известному оттенку мысли, есть попытка допустить именно этот, а не другой оттенок к участию в общем течении жизни. Натурально, что, однажды став на эту покатость, однажды приняв свободу не как законный дар, а как подачку, мысль спускается все ниже и ниже, следуя в этом случае единственно законам тяготения; натурально также, что она соблазняется и, вместо того чтоб иметь в виду одну истину, одну справедливость, увлекается совсем другими соображениями; вместо того чтоб анализировать явления жизни, она принимает тон исключительно дифирамбический. Поднимается общий гвалт; являются публицисты, которые знать ничего не хотят; являются беллетристы, которые знать ничего не хотят; все

сыты, все накормлены, все пляшут, потому что нет ниоткуда отпора, потому что высказываться ясно может только один паразитский, сыто-ликующий унисон... Образуется даже особый какой-то слог для выражения мыслей; всё «позволительно думать», да «смеем надеяться», да еще «не знаем, смеем ли мы надеяться»; одним словом, сквозь каждое слово так и сочится: «мы, дескать, может быть, и врем, но, если нужно, мы будем врать и наоборот!» А честная мысль все-таки не умирает; несмотря на свое безмолвие, она протестует своим отсутствием из общего игрища, устроенного подкупною мыслью; она подрывает унисон уже тем, что предоставляет его собственному однообразию, собственной его пошлости. Унисон видит это; он даже желал бы, чтоб ему возражали, чтобы можно было устроить нечто вроде примерного сражения, но честная мысль благоразумно от этого воздерживается и не без удовольствия усматривает, как унисон падает под тяжестью собственного бессилия.

Тогда наступает третий период развития мысли...

При настоящем положении дел во Франции, слово (отныне мы будем употреблять это выражение) именно находится во втором моменте своего пути к полному освобождению. Там есть и наемные публицисты, и наемные беллетристы; недоставало наемных драматургов — явились и они. Откуда идет этот систематический подкуп лучших, умственных сил народа; кто виноват в нем, отдельные ли лица, имеющие возможность задавать тон обществу, или самое общество — об этом мы рассуждать не станем, тем более что мы, пожалуй, не прочь свалить вину и на общество. Дело в том, что растление дошло до крайних пределов и что Франция, которая всегда казалась каким-то недостижимым идеалом всякого рода порываний и благородств, внезапно упала в этом отношении на самую низшую ступень.

Какое-то нравственное и умственное каплунство тяготеет над страною, каплунство, выражающееся то в томных и заискивающих, то в злобных и остервенелых дифирамбах полному, безапелляционному довольству существующими формами жизни. Или цикл тревог истощился? невольно спрашивает себя изумленный зритель этого озлобленного торжества; или уже и искать больше нечего?

Чувство каплунского удовлетворения проникло все классы общества, все возрасты. Даже молодежь, которая всего менее способна удовлетворяться, даже и та подписала свое удовольствие не только без борьбы, но даже и без возражения. Так, по крайней мере, свидетельствует об этом Прево-Парадоль; он уверяет, что не только в общей массе молодежи не заме-

чается никакого стремления к политическим интересам (то есть к свободе), но даже и в меньшинствах (то есть отдельных кружках) ее.

«Тем с большим удивлением и грустью,— говорит он,— мы видим, что политический индифферентизм овладел даже разумным и трудящимся меньшинством нашего молодого поколения, и думаем, что ни одна из существующих во Франции партий не будет достаточно близорука, чтобы радоваться этому явлению. Мы знаем молодых ученых, которые хвалятся именно тем, что они только ученые, молодых литераторов, которые ни о чем другом не думают, кроме как о литературе, молодых философов, которые, закрывая глаза и затыкая уши, с самодовольством говорят, что они не хотят ничего знать, ни об чем заботиться. Никто не думает о том, что наука и искусство нисколько не теряют от того, что любят и занимаются интересами страны. Отчуждаясь от них, избранники молодого поколения ставят сами себя на один уровень с толпою; добровольно осуждая себя на неведение того, о чем некогда красноречивый голос говорил, как о великих судьбах человечества, они делаются достойными того нравственного падения, в котором находятся, они достойны того, что честные люди считают их погрязнувшими в бездну разврата и невежества. При этом общем индифферентизме лучшие люди смешиваются с худшими; всем чудится, что Франция породила нечто чудовищное: выкинула из утробы своей каких-то иностранцев. Некоторые из них пришли к нам, чтобы научиться, большая часть — чтобы забыться в вихре материальных наслаждений; всех так и хочется спросить, откуда они пришли и в какой части света находится их отчизна?»

Читая эти проникнутые законной горечью строки, читатель с некоторым изумлением спрашивает себя: ужели в самом деле время политических интересов миновалось? ужели французы в самом деле до такой степени счастливы, что могут спокойно предаваться спокойному труду? Ужели возможны и там какие-то безличные Вертяевы[1], всласть твердящие о труде скромном, о труде неслышном?

Нет, это только самообольщение; нет, это сон. Конечно, везде могут найтись люди, которые охотно смеются над интересами политическими, и смеются не просто по страсти к зубоскальству, а во имя других, более плодотворных интересов, которые будто бы затмеваются политическими; однако ж здесь забывается одно весьма важное условие, а именно, что разработка политических интересов приготовляет почву для тех «других», о которых так много заботятся. Здесь, очевидно, забывается то, что, отклоняя политические интересы, мы вместе с тем отдаляем и «другие». Ясно, что тут есть ошибка, ошибка, быть может, непреднамеренная, но все-таки ошибка.

Эта ошибка тем горчее, что гораздо больше вынщется людей, которые воспользуются ею для целей совершенно особен-

---

[1] Герой новой комедии г. Устрялова «Слово и дело», о которой говорится в особой статье. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

ных, воспользуются с полным сознанием, что это ошибка. Франция, в этом случае, может служить живым и поучительным примером. Если молодое французское поколение обманывается, если разочарованное полувековыми волнениями и страданиями, не принесшими никакого непосредственного плода, оно искренно пришло к убеждению, что политические интересы бесплодны в самой своей сущности, то с другой стороны находятся тысячи выжиг и проходимцев, которые отнюдь в этом не уверены, но пользуются всякого рода недоумениями, всякого рода упадком энергии совсем для иных целей.

Как бы то ни было, но факт существует, и непризнание его тем менее возможно, что он имеет сзади себя целый арсенал орудий, которые могут без больших издержек убедить сомневающихся. Нива парламентских прений, нива журнальной прессы захламощена легионами различных chevaliers d'industrie [1], поочередно бывавших и легитимистами, и орлеанистами, и республиканцами; Вероны, Ла-Герроньеры, Лимейраки и Грангилльо, в расписанных золотом ризах, являются перед публикой и с неслыханным нахальством кричат цыц на тех, кто смеет в чем-либо сомневаться или быть чем-либо недовольным. Доктрина доктора Панглосса возводится на степень официальной; каждый год, в одно и то же время, в одних и тех же выражениях повторяется уверение, что господствующий порядок, вызвавший из щелей всех этих Грангилльо, есть порядок переходный, нечто вроде временного кошмара, необходимого для того, чтобы «увенчать здание»; но годы идут, сменяя друг друга обычной чредой, а здание не увенчивается, Лимейраки озлобляются всё больше и больше, а кошмар делается чем-то вроде хронической болезни, которая до тех пор не оставит организма, пока не разрушит его окончательно.

Нельзя, однако ж, не сознаться, что положение французского официального публициста очень трудное и очень скользкое. Он постоянно должен раздражаться по поводу чужой мысли, чужого вожделения; отдавши внаймы посильное свое дарование, он обязывается по поводу чужого интереса курлыкать с таким же озлоблением, как бы интерес был его собственный. Он может и умиляться и огорчаться, может надеяться и обманываться в своих надеждах, но, проявляя разнообразные чувства, он прежде всего обязывается не забывать, что чувства сии не более как колеса хитро придуманной машины, которые начинают действовать только тогда, когда заводятся посторонней рукой. Покуда ему позволяют жить — он живет и заявляет о своем существовании самою беспутною, самою наглою

---

[1] аферистов (*дословно:* рыцарей индустрии).

болтовнею, но вдруг, среди бесстыдных вакханалий слова, раздается голос: Грангилльо, умри! — и Грангилльо умирает безотговорочно, хоть он и жив. Конечно, это дает ему возможность, под предлогом угнетения его самостоятельности, требовать известного вознаграждения за свое притворство, но и самое это вознаграждение, думаем мы, не может выкупить всех неприятностей, сопряженных с званием наемного публициста.

Ибо не надо ошибаться: несмотря на то что появление подобных публицистов оправдывается вполне нравственным настроением самого общества, это последнее все-таки презирает их. Оно смотрит на них, как на лакеев, которые ни в каком случае, ни в каких обстоятельствах, никогда и нигде противодействия оказать не могут; оно видит в них слепые орудия для исполнения какой бы то ни было воли, для достижения каких бы то ни было целей. Если господствующее направление изменится — изменится и их направление, в том не может быть ни малейшего сомнения. Об этом их никто не спрашивает, этим никто и не интересуется. Одним словом, облако общественного презрения постоянно идет по пятам за этими живыми сосудами насущных истин и неблаговидных сделок с торжествующею силою.

Но кроме того, что наемный французский публицист обязывается раздражаться чужою мыслью и в награду за это пользоваться презрением даже тех, которые его с этою целью нанимают, есть и еще одно не малое неудобство в его положении: он постоянно находится под страхом не угадать действительной мысли своего нанимателя, под страхом выказать или излишнее усердие, или излишнюю осторожность. Случается это весьма просто. Паразит-публицист не всегда имеет дело с фактами уже совершившимися; если бы обязанность его состояла именно в этом одном, то она была бы легка и проста: пой повальные дифирамбы всему и всем — и дело с концом; но в том-то и трудность, что в некоторых случаях он должен, так сказать, прозревать, он должен раздражаться и дифирамбировать на счет будущего. Это происходит отчасти от того, что совершившихся фактов, достойных общего внимания, иногда в данную минуту не бывает, отчасти же потому, что читатель желает иметь сведения не об одних частных фактах, но и о целом строе, о всей системе, которая способна породить подобные факты. Вот тут-то обыкновенно и обсекаются наемные публицисты; увлеченные отдельным каким-нибудь фактом, они начинают выводить из него всевозможные узоры, начинают завихриваться в полетах своей собственной фантазии, выводить заключения, обещать и надеяться. Объясним это примером.

Положим, что французское правительство сочло возможным уничтожить какой-нибудь тягостный для народа налог; натурально, наемный публицист приходит от этого в умиление. Он начинает свою речь свысока; он говорит, что существование налога, о котором идет речь, равно как и других налогов, имеющих подобный же характер, показывает младенческое состояние финансовой системы; что правительство видит всю их несправедливость, и потому *позволительно* надеяться, что на будущее время, при выборе финансовых способов, будет обращено внимание на большую и большую их равномерность. Одним словом, дается издалека понять, что задание, о котором так часто во всеуслышание объявлялось, недалеко от увенчания. Министр финансов читает эту униженно-дифирамбическо-политико-экономическую галиматью и не верит глазам своим. Он только что выработал с своей стороны проект об увеличении другого подобного же налога! да и уничтожая первый налог, он отнюдь не думал об увенчании здания, но просто сделал лишь уступку слишком настоятельно выразившемуся общественному мнению! И вдруг этот вынужденный акт его деятельности связывают с какою-то системой,— и в какую минуту? в ту самую минуту, когда для него это всего менее желательно! и кто связывает? Грангилльо, тот самый Грангилльо, который в понятии всей образованной публики слывет за вдохновенного свыше!

Натурально, Грангилльо призывают и дают ему реприманд; натурально также, что министр не унывает и, несмотря на надежды, возбужденные наемной газетой, приводит в исполнение свое новое предположение. Грангилльо, с своей стороны, тоже не унывает; он надеется, что читатель, ежедневно забрасываемый грязью его дифирамбов, уже забыл, что было писано в газете несколько номеров тому назад, и начинает петь дифирамб новой мере с тем же умилением, с каким он накануне предсказывал невозможность ее.

Говорят, будто Грангилльо поступает таким образом не из корыстных каких-либо видов, а просто из усердия, а также потому, что хочет доказать читающему люду, что он протей. Но это невероятно; ибо всякому очень понятно, что нельзя играть целую жизнь какой-то неслыханный политический водевиль с переодеванием, не возбудив к себе полного и самого беспощадного презрения. А подобного рода положения даром не принимаются.

Итак, с одной стороны, бесконечное самоуничижение, сопровождаемое общественным презрением, с другой стороны, страх переусердствовать или недоусердствовать — вот две мучительные альтернативы, между которыми наемный публицист обя-

зывается вести утлую ладью свою. Но уничижение наемника возвышается иногда до героизма, когда он, в выгодах своего нанимателя, считает долгом высказать ему несколько горьких истин. Разумеется, это такого рода истины, которые приятны нанимателю, но в сочувствии к которым ему, до поры до времени, совестно сознаться. Иногда наниматель желал бы предпринять какое-нибудь лихое дело, но почему-то колеблется; что ему всеми внутренностями хочется учинить это дело,— в том не может быть сомнения, но он еще боится, он опасливо осматривается по сторонам, чутко к чему-то прислушивается и все ждет, не будет ли откуда-нибудь приятного насилия, опираясь на которое можно было бы сказать: «Я не хотел этого, но меня заставили так поступить раздающиеся со всех сторон голоса, меня просто изнасиловали!» Наемные публицисты в этом случае более нежели драгоценны, ибо они-то именно и представляют эти раздающиеся со всех сторон голоса; они и басами заливаются, и дискантами подвизгивают, и хотя, в сущности, все это исполняет один и тот же Грангилльо, но издали кажется, что их много.

Предположим, например, что Австрия, утомленная беспрерывными попытками Венецианской территории к освобождению из-под чужеземной власти и к слиянию с Итальянским королевством и убеждаемая общественным мнением Европы если не в законности этих попыток, то, по крайней мере, в естественности их, решается, наконец, сделать сама и добровольно то, что, быть может, когда-нибудь она вынуждена будет сделать недобровольно. Разумеется, ей жаль расстаться с одним из алмазов, украшающих корону габсбургского дома, разумеется, прежде нежели приступить к этому, она еще осматривается и прислушивается. И вот тут-то является на сцену драгоценный австрийский Грангилльо, который ни с того ни с сего начинает грубить и выказывать преданнейшую продерзость. Он доказывает, что предполагаемая мера противна не только австрийскому патриотическому чувству, но и выгодам самих венециянцев; он раскапывает историю Венеции и находит, что истинной свободы там никогда не бывало, что свобода существовала только для сильных мира, слабые же находились в постоянном угнетении, и что только австрийское владычество положило предел такому вопиющему порядку вещей; он обращается к последним событиям и усматривает, что они произошли не вследствие народного желания, но вследствие интриг и происков одной партии; он обращается к Венеции с самыми бесцеремонными ругательными выражениями, зная, что Венеция не может отвечать и не ответит ему. Он не понимает и не может понять, что бывают в жизни народов такие торжествен-

ные минуты, когда голос честного человека, хотя бы даже патриота-австрийца, обязан умолкнуть, когда ни один порядочный человек не позволит себе ни тени предосуждения в пользу той или другой стороны, а тем менее оскорблять или обвинять ту из них, которая слабее. И вот, благодаря презренному паразиту журналистики, народная распря продолжается, а австрийское правительство, само забыв, что голос паразита наемный и что подобные выражения национального консерватизма покупаются сотнями за самые малые суммы, откладывает свою решимость далее и далее и медлит сделать то, что могло бы в данную минуту сделать с полным сохранением своего достоинства и что когда-нибудь сделает без сохранения достоинства.

Очевидно, что такого рода паразиты суть самые опасные враги страны и правительства и что кажущиеся их услуги тем более ничтожны, что они шиты белыми нитками, что смысл их понятен всем и каждому и что отвращение, которое они поселяют, ни для кого не тайна.

Паразит всегда на стороне сильного против слабого, угнетателя против угнетенного, богатого против бедного. Это одно уже характеризует достаточно его деятельность и рисует его личность..

Недавно нам случилось прочесть в одной русской газете следующую оценку деятельности политических изгнанников.

Отчуждение от своего отечества есть одно из величайших несчастий для человека,— говорит неизвестный автор. Что придумает изгнанник-иностранец (дело идет об иностранцах-изгнанниках) сказать о свободе, когда уже на нее потрачено столько красноречия, умознаний? Он станет осмеивать и проклинать тех, которых считает угнетателями своей страны, но это уже сделано до него другими, на других языках, понятных его соотечественникам, и сделано лучше, с жаром негодования, с бо̀льшим блеском таланта (почему же с бо̀льшим? будто у изгнанника не может быть и таланта?). Он коснется общественного быта, учреждений, укажет на раны отечества, предложит врачевание их, но обличителей и докторов являлось уже и до него в неимоверном числе, людей с специальными знаниями, с долголетним изучением предмета, с любовью к нему, с терпением, мужеством, ясною мыслью (непонятно, почему всего этого нельзя предположить у изгнанника?).

За что он ни хватится, все было уже в человеческих руках, везде вспаханное поле, в каждое подземелье проник какой-нибудь луч света с родного или чужого неба. Несчастие не послужит ему заслугой, изгнание не вменится ему в преимущество, свободная речь не причислится к мудрости.

Как простой солдат, он должен вступить в битву с армией соперников и если грудь его не вынесет напора страшной силы, то, изгнанник он или нет, дома или на чужбине, ветер разнесет его слова, гробовое равнодушие будет ему ответом.

Несмотря на кудреватую напыщенность этих слов, мысль, положенную в основание их, нельзя не признать правильною.

При известных обстоятельствах действительно может быть плодотворною только практическая деятельность, которая недоступна политическому изгнаннику. Совсем не потому не может он проявить своей деятельности во всей ее силе, чтоб у него было менее таланта, или чтоб мысль его была не ясна, а просто потому, что он оторван от родной почвы, что эта последняя составляет организм живой, непрестанно изменяющийся и развивающийся, и что человек, не присутствующий при этих изменениях и развитии, не находящийся в самой средине их, не может усвоить их себе органически. Но еще с большею основательностью можно применить слова неизвестного публициста к публицисту-паразиту. Этот последний — тот же политический изгнанник, хотя живет и дома. Обязанный быть чуждым развивающейся жизни и даже нередко идти вразрез новым требованиям, ею выработанным, он положительно уравнивает сам себя политическому изгнаннику, он чужой между своих, он мертвец между живых и, сверх всего этого, покрыт еще вонючею слизью презрения, которая, как своего рода броня несокрушимая, защищает его от слишком чувствительных прикосновений. Про него с гораздо большим основанием можно сказать, что «ветер разнесет его слова, гробовое равнодушие послужит ему ответом»...

Но довольно о публицистах-паразитах. Это явление отвратительное и горькое, но оно все-таки еще ничтожно, по своей нравственной сущности, в сравнении с тем, которое представляют паразиты-художники.

Как ни презренно и горько паразитство в области публицистики и памфлета, все же его чем-нибудь можно объяснить себе и помимо гаденьких и мелочных побуждений личности. Таким образом, в виде облегчающего обстоятельства можно выставить вперед, что публицист сделался сам жертвою неустойчивости и крайнего колебания современного общественного и политического положения, что это колебание может хоть кого вовлечь в ошибку и заблуждение, что, раз ставши на ошибочную точку, публицист невольно делается жертвою волны, уносящей его все вперед и вперед по тому же ложному направлению; а там примешается оскорбленное самолюбие, а там желание поставить на своем, и так далее, без конца. Конечно, все это не составляет еще оправдания, тем не менее в глазах людей снисходительных может служить к облегчению вины. В самом деле, политическая сфера, при настоящем положении вещей, совсем не то, что сфера нравственная. Если в последней встречается некоторая запутанность в определении понятий самых существенных (как, напр., понятия о преступности действия, о зловредности или благотворности уча-

стия страсти в человеческих действиях и т. п.), то, во всяком случае, тут гарантируется полная свобода во взгляде на известный жизненный акт, принадлежащий к нравственной сфере. Это и понятно; вопросы, возникающие из этой сферы, не таковы, чтобы требовали разрешения немедленного и запутывались ежеминутно всплывающими наверх мелочами жизни; это вопросы вечные, к которым можно относиться спокойно и которые от разности взглядов не затемняются, но разъясняются, не проигрывают, а выигрывают. Напротив того, вопросы политической сферы требуют разрешения немедленного, почти ежедневного, представляют работу до того мелочную и сбивчивую, что в ней мудрено опознаться. Не только те, которые систематически и злостно посвятили себя дифирамбическому служению известным интересам, хотя бы то было и во вред стране, но и те, которые действительно посвящают себя исключительному служению стране, могут впадать в непроизвольные грубые ошибки. Все это делает преступление паразитов-художников гораздо более тяжким, нежели преступление паразитов-публицистов. Все это делает также, что число первых, даже в тех обществах, где политический разврат дошел до крайних своих пределов, всегда ничтожно сравнительно с числом последних. Кроме того, что паразитство само по себе противно чистому нравственному принципу, оно противно еще и потому, что фаталистически осуждено преследовать доброе, если оно угнетено, и защищать злое, если оно торжествует.

Но французы ухитрились-таки внести паразитство и в сферу искусства. Оно явилось туда не в виде сатиры, бичующей общественные или людские пороки, не в виде плача над гибнущим обществом, не в виде крика в пользу угнетенного и забытого добра, но в виде безусловного дифирамба грубой силе, в виде оскорбления, брошенного не могущим защищаться побежденным.

Явились два комедианта: гг. Ожье и Сарду, которые не постыдились отнестись к побежденным политическим партиям с наглостью, тем более неслыханною, что она ничем не подкрепляется, которые, позабыв всякий этикет, не нашли ничего другого сказать по поводу побежденных, кроме голословного и площадного ругательства. Для достижения этой цели они выбрали форму наиболее удобную: форму комедии. В сочинении, где на первом плане стоит чистая мысль, надо было бы доказывать, надо было бы сравнивать; в комедии — достаточно нацепить известное количество смешных и нелепых качеств на одно лицо и известное количество добродетелей на другое, и подвиг совершен. Авторам нет надобности до того, что в их произведении нет ни малейшей тени жизненной правды, что

лица, ими изображаемые, на каждом шагу противоречат самим себе; им нет дела до того, что их комедии, кроме фантасмагорической их нелепости, представляют еще и весьма гадкий поступок; им даже и до того нет дела, согласен ли этот поступок с их собственными мыслями и убеждениями. Идол, которому они кланяются, находится не внутри их, но в той развратной толпе наемных или обезумевших от торжества клакёров, которые неизменно следуют за всяким успехом и которые своим прикосновением делают омерзительным всякое дело.

Мы не станем рассказывать содержание обеих комедий (в настоящее время они уже даются в Петербурге на Михайловском театре), но заявляем об них, как о факте. Парижская публика бегает смотреть на них толпами и не знает, которой отдать преимущество, но ведь не надо забывать, что та же публика бегала некогда смотреть на Фредерика Леметра в «Chiffonier de Paris» и не знала, как превознесть г-жу Рашель, когда она произносила знаменитую марсельезу.

Но мы не можем оставить без внимания нескольких строк, написанных г. Прево-Парадолем по поводу комедии г. Ожье: Le fils de Giboyer, как потому, что строки эти замечательно сильны, так и потому, что они показывают, до какой степени дошла распущенность политического смысла во Франции, что даже гистрионы, подобные гг. Сарду и Ожье, могут внушать серьезные опасения.

Хотя никто не думает смотреть серьезно на политические убеждения г-на Ожье, мы, с своей стороны, без труда верим, что он демократ; правда, что демократизм ему ничего не стоит, что он демократ настолько, насколько это дозволяется прихотью минуты, но мы допускаем, что он имеет искреннее отвращение к легитимистской партии в том смысле, как он ее понимает, к старым порядкам в том виде, как он их себе представляет, и к католической партии, той самой католической партии, которую он некогда изучал и ненавидел в газете Univers[1]. Эти невинные чувства, соединенные с искушением воспользоваться представляющимся случаем попасть в тон сегодняшней действительности, заставили его написать свою пиесу. Живя во времена полнейшего владычества демократии (допустим и это), но удаленный от различных оттенков либеральной оппозиции, он не мог предвидеть, и, конечно, не предвидел, какое действие должна была произвести его комедия. Ввиду того волнения, которое она производит, удивление и огорчение автора должны быть искренни, и с нашей стороны было бы несправедливо не принять их в соображение при суждении об нем. Будем откровенны: могли ли мы сами предвидеть, что почувствуем себя до такой степени уязвленными? Знали ли мы, что мы (то есть все политические оттенки, оскорбленные комедией г. Ожье) до такой степени солидарны друг другу? Сознавали ли мы вполне то сближение, которое десять лет слишком ясных уроков и слишком сильных испытаний произвели не между массами приверженцев (увы!), но между избранниками различных

---

[1] Г-н Ожье был сотрудником клерикальной газеты «Univers». *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

либеральных мнений? А так как наши личные впечатления должны быть мерилом в этом случае, то я невольно обращаюсь к самому себе с вопросом, знал ли я, прежде нежели испытал это на самом деле, что удар, направленный в правую сторону от меня, будет для меня столько же чувствителен, как и удар, направленный налево, что он будет столько же чувствителен, как и удар, направленный против меня самого?

Тому назад десять лет слово «легитимист» заставило бы меня улыбнуться: ныне я знаю, благодаря г. Ожье, что это слово, сделавшееся упреком, содержит в себе воспоминание о первом опыте либерального правительства, которым пользовалась Франция. Точно так же месяц тому назад, благодаря г. Сарду, я узнал, что тщетны будут старания сделать в глазах моих смешным республиканца; как ни велики были усилия сделать из него что-то вроде бывшего повытчика (greffier) революционного трибунала, слово «республика» не будило во мне воспоминаний о беспорядке и эшафоте, но пробуждало память о людях добра, которые, будучи облечены, на другой день после непредвиденного падения Июльской монархии, доверием Франции, оставили ей свободу управлять самой собою и которые ни на минуту не остановились на мысли о насилии даже в то время, когда во главе государства было поставлено лицо, которое своим именем и своим прошедшим, казалось, было призвано лишь для того, чтобы разрушить их дело и их самих рассеять в изгнание или в безвестность. Вот уроки, которые дает нам театр, когда он направляет свои удары на нас или вокруг нас; вот что он открывает нам об нас самих. Не следует быть неблагодарными тем, которые, сами того не зная, оказывают нам подобные услуги... даже если бы эти услуги скрывали за собой намерение и не совсем похвального свойства.

С этим нельзя не согласиться вполне. Каково бы ни было основное различие партий угнетенных, как бы резко ни отличались они друг от друга со стороны внутреннего содержания, но одинаковость их отношений к насилию должна служить для них звеном соединения. После, когда насилие будет упразднено, они могут сосчитаться между собою, но ввиду общей опасности, одинаково грозящей всему, что заражено искренностью убеждений, старым обидам и чувству политической щепетильности не должно быть места. Все партии, признающие необходимость сильного и искреннего убеждения, как основной принцип всякой уважающей себя доктрины, должны подать друг другу руку не для того, чтобы выработать какой-то бессмысленный политический эклектизм, но для того, чтобы поразить общего врага. С этой стороны взгляд Прево-Парадоля очень замечателен, и мы совершенно верим, что он, человек орлеанистской партии, мог быть возмущен до глубины души тем безнаказанным плеванием, которое позволяет себе шайка паразитов, относительно легитимистов и республиканцев. Но, признаемся, мы не понимаем, каким образом он мог дойти до тех упреков, которые он делает г. Ожье на последующих страницах своей статьи. Дело идет о том, что люди, на которых нападает этот жалкий драматург, не могут отвечать ему.

Мы не сомневаемся,— говорит Прево-Парадоль,— что г. Ожье искренно убежден, что ему можно отвечать. Он, вместе со многими, вовлечен в этом случае в заблуждение тщетным звоном человеческого слова и думает, что у всех язык развязан, потому что всяк говорит громко и даже кричит. Но если он вдумается в то, что говорится кругом него, он, конечно, почувствует, что волна бесполезных слов тогда только течет свободно, когда не прямо ударяется в вопрос, но обходит его стороною. Защищайтесь, но защищайтесь мягко; нападайте, но не указывайте на слабые стороны вашего противника; конечно, вы ни к чему не придете, но таковы неизменные границы, в которых дозволено процветать вашей свободе защиты... Какая возможность, например, победоносно доказать, что автор, обвиняя легитимистов в абсолютизме, делает ошибку и несправедливость? Доказательства теснятся под пером моим, а я должен выбирать из них те, которые наиболее слабы...

В наших глазах эти опасения, эти жалобы кажутся преувеличенными. Мы задаем себе вопрос, стоит ли г. Ожье, чтобы обороняться от него? и спокойно отвечаем: нет, он не стоит того. Все эти паразиты-публицисты, паразиты-драматурги заключают в самих себе будущую казнь свою. Это тля, которая не должна обращать на себя ничьего честного внимания: взойдет солнце, прогонит серые тени... вместе с светом, без возражений и без следа, исчезнет сама собою и тля...

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

Из письма в редакцию

Журнальная полемика — вещь не только хорошая, но и очень полезная. Это все равно что в обыкновенной жизни болтовня. Кажется, всё слышишь вещи пустые и малополезные; кажется, что слуховой орган болезненно поражается чем-то вроде переливанья из пустого в порожнее — ан нет: смотришь, что-то как будто рисуется вследствие этой болтовни, что-то как будто обозначается и уясняется, словно некоторый нравственный образ мелькает. Это мелькает образ самого болтуна, образ правдивый и неподкрашенный, это обозначается нравственная его суть. Искусный наблюдатель может извлечь из этого обстоятельства не малую для себя приятность и даже не без пользы для публики. Посредством болтовни можно восстановить физиономию не только известного лица, но даже целого города, целого общества. Прочитайте, например, в «Современнике» «Письма об Осташкове». По-видимому, там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особенных поползновений на статистику; по-видимому, там одна болтовня. Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут великий вздор о старинных монетах и жетонах; однако за всей этой непроходимой ахинеей читателю воочию сказывается живая жизнь целого города с его официальною приглаженностью и внутреннею неумытостью, с его официальным благосостоянием и внутреннею нищетою и придавленностью... Журнальная полемика другим путем достигает тех же результатов: она рисует нравственный образ журнала. Покуда «Русский вестник» воздерживался от полемики, кто мог подумать, что почтенный журнал этот издается отчасти под наитием Ивана Яковлевича Корейши, отчасти же под влиянием благодарных воспоминаний о Ф. В. Булгарине? Решительно никто. Все полагали, напротив, что журнал этот издается обществом милых людей, которые желают приятно провести время. Но вот, в прошлом

году, он пустился в полемику; он начал писать письма к каким-то прежде бывшим подругам, с которыми он был дружен в то время, когда они еще были институтками, и читатель, к крайнему своему огорчению, вдруг прозрел. «Да, это он! — сказал читатель,— это он, это Фаддей Венедиктович, с некоторым лишь прибавлением Павла Ивановича Мельникова!»

Следовательно, журнальная полемика и неизбежна, и полезна. Если не в том смысле она полезна, что прибавляет какие-либо новые знания в сокровищницу отечественного просвещения, то, по крайней мере, в том, что вызывает наружу тот внутренний визг, который до поры до времени сохраняется в редакторской груди в скрытом состоянии.

Нынешний год принес русскому читающему люду много новых газет, да и старые-то газеты почти все до одной переменили хозяев. Все эти органы печатного русского слова, малые и большие, хорошенькие и гаденькие, сразу так и ринулись на полемическую арену. Быть может, это и не совсем для них полезно, быть может, это отнимет у них и те немногие копейки, которые они получили бы, если б вели себя скромно, но, с точки зрения общего движения русской мысли, это хорошо, потому что отрезвительно. Пускай же выбалтывают себе сразу все визги, какие у кого припасены.

Разумеется, самая ожесточенная полемика, самые наизаботливейше выхоленные визги всегда были, есть и будут направлены против «Современника». Это ничего; это даже очень хорошо, потому что означает, что «Современник» обращает на себя внимание и что в нем есть действительно нечто, что следует заподозрить, разорить, истребить и уничтожить, с тем чтобы, по выполнении этого, воспользоваться богатым наследством. Но разумеется также, что и «Современник» не должен оставаться равнодушным к полемическому визгу, что он обязывается определить оттенок каждого визга, уловить сродство. существующее между визгами, по-видимому, противоположными, показать, например, что Н. Ф. Павлов есть хладный С. С. Громека, а С. С. Громека, в свою очередь, есть взволнованный Н. Ф. Павлов, что М. М. Достоевский есть не что иное, как проживающий инкогнито Петр Иваныч Бобчинский, которого роль должна бы, собственно, в том заключаться, чтоб «петушком-петушком» за кем-нибудь подпрыгивать, но который, вследствие знакомства своего с Хлестаковым, возомнил, что может быть самостоятельным и иметь право на знакомство с министрами.

Не решаюсь советовать вам, мм. гг., но думаю, что «Современник» не может пренебрегать полемикой даже в таком случае, если б она исходила и из таких мест, которые, по всей

справедливости, пользуются названием литературных помойных ям. Поставив себе задачею сколь возможно полное и подробное выяснение общественных добродетелей и недугов, стремлений и колебаний, «Современник» не может же не признать, что журнальная полемика есть такой же драгоценный факт для физиологии русского общества, как, например, избиение некоторых мировых посредников, идущее рядом с заявлениями о развитии в россиянах чувств законности и гражданственности. Все это на пользу; из всего этого будущий историк нашего тревожно-болтливо-пустопорожнего времени может, впоследствии, устроить изрядный винегрет.

Но, решаясь не уклоняться от полемических турниров, «Современник» ни в каком случае не должен забывать, что он обязывается иметь при этом свою особую тактику. Известно, что полемика, кроме обнаружения истинного характера известного журнального визга, имеет еще свойство знакомить с этим визгом публику и даже заинтересовывать ее. Читатель усматривает, например, из привычного своего журнала, что в другом подобном же издании доказывается, якобы помещики очень довольны упразднением крепостного права. Читатель, разумеется, сначала не верит глазам своим, но мало-помалу, особливо этак в послеобеденные сумерки, когда желудок бывает отягощен яствами, а душа делается способною к восприятию мягких впечатлений, он начинает раздумываться. «А что, если и в самом деле помещики рады упразднению крепостного права? — думает он,— а постой-ка я посмотрю, что это за чудаки такие, которые взялись перещеголять самое «Не любо не слушай, а лгать не мешай!». И, принявши однажды такую решимость, читатель посылает в редакцию заинтересовавшего его журнала от 3 до 15 рублей. И, таким образом, полемика, вместо того чтоб ослабить действие журнала, самым невинным образом посылает ему пятнадцатирублевое подкрепление.

Разумеется, этого не должно быть. Полемизаторы никак не должны забывать, что некоторые журналисты только из-за того и хлопочут, чтобы приобрести эти пятнадцать рублей, из того только и надседаются, чтоб их как-нибудь в кровь избили или так обругали, чтобы перья врозь посыпались. «Ты меня только побей! — умиленно вопиют они,— а уж там я и сам как-нибудь с публикой справлюсь!» Главное, скандал сочинить и приобрести во что бы то ни стало известность.

Есть, например, в Петербурге газетка, которая, между прочим, сбирается между строками в других газетах и журналах читать и вместе с тем предупреждает, что она не остановится даже и перед доносом. Газетка эта гнусная и смрадная; имеет она всего девяносто подписчиков. Разумеется, что ей хо-

чется, чтобы хоть кто-нибудь об ней побеседовал. Во-первых, это послужит ей вместо объявления, а во-вторых, от радости у ней стеснится в зобу дыхание, и она, пожалуй, с таким самозабвением вопьется в своего благодетеля, что после никакими средствами ее и не оттащишь. И выйдет тут потеха: ты ей слово, а она пятьсот, ты ей: цыц, шавка! а она: ан лаю! ан лаю! ан лаю!.. Каково в публику-то показаться с таким провожатым!

Но каким же образом так устроить, чтобы, не прекращая действия полемики, устранить только выгодные последствия ее для вредных и ненужных публике журналов?

По моему мнению, это довольно легко. Для достижения такого благоприятного результата следует только окрестить вредные и ненужные журналы какими-нибудь псевдонимами, да потом и начать уже изобличать их со всею безопасностью! Публика от этого нимало не потеряет, ибо ее, в сущности, может интересовать только то, имеются ли в обращении какие-либо поганые мысли и какие именно, а совсем не то, из какой именно помойной ямы эти мысли выходят. Напротив того, редакция ненужной газеты, очевидно, обманется в своих соображениях. Она наверное рассчитывала получить лишние три рубля, чтоб искупить на них некоторое количество литературной сулемы,— и не получит их, потому что публика даже не будет знать об ее существовании. Смотришь, ан газета поскрипела месяц, другой, да и скончалась, подобно «Атенею», истощив все свои два двугривенных в борьбе с равнодушием публики!

Объясню это примером той же смрадной газетки, о которой я уже говорил выше. Пусть она так и будет называться «Смрадным листком». Основные убеждения «Смрадного листка» вертятся около следующей темы: «быть обскурантом в настоящее время очень трудно, потому что обскурант, за свои действия, получает не столько поощрения, сколько различные нравственные подзатыльники. Посему человек, решающийся быть обскурантом, тем самым заявляет свету, что могут существовать люди, которые доводят личную храбрость даже до презрения к подзатыльникам». Исходя из этого убеждения, «Смрадный листок» начинает доказывать: а) что истинно храбрый человек не должен уклоняться от доноса; б) что истинный обскурант обязывается не быть чуждым и клеветы и в) что означенный герой имеет право читать между строками и простирать свое нахальство до того, чтобы совать смрадный свой нос в самое святилище мысли писателя.

Таковы убеждения и таков образ действия «Смрадного листка». «Современник» должен прежде всего обратить на это внимание, как на факт, представляющий достаточно характе-

ристический образчик так называемых «поганых» мыслей, чтобы не бесполезно было познакомить с ним читателя. Затем «Современник» может даже не входить в обсуждение этого факта; он просто против одного положения отмечает: гнусно, против другого — глупо, против третьего — даже и не довольно подло, против четвертого — да кто ж тебя туда пустит? — и более ничего. Но настоящего названия «Смрадного листка» он не должен ни в жизнь открывать, хотя бы «Смрадный листок» сам себя сразу узнал и даже истощился в доказательствах, что он, «Смрадный листок», именно и есть тот «Смрадный листок», о котором говорится в «Современнике». На все эти настояния «Современник» может, во-первых, отвечать ему: «Помилуй, любезный! Какой же ты «Смрадный листок»! Ты совсем не «Смрадный», ты «Пакостный листок» — и больше ничего!» Если же «Современник» не захочет отказаться от того, что «Смрадный листок», о котором в нем говорилось, есть именно тот самый, который так горячо хлопочет о восстановлении своей тождественности, тогда он может отвечать: «Ну да! успокойся! ты тот самый «Смрадный листок» и есть!»

И затем, пускай «Смрадный листок» волнуется или не волнуется, читает между строк или не читает — до этого ни публике, ни «Современнику» нет никакого дела. Главная цель достигнута: публика не знает настоящего «Смрадного листка», а следовательно, не имеет поползновения и подписываться на него. А если и найдется такой чудак, который вышлет в почтамт 3 руб. с тем, чтоб его познакомили с «Смрадным листком», то почтамт эти деньги возвратит с уведомлением, что никакого «Смрадного листка» не издается. Нет, да вы представьте себе трагическое положение редакторов «Смрадного листка»! Они знают, что каждый день приходят новые и новые требования на их газету, что публика жаждет литературной сулемы, которою они предполагали обкормить всю читающую Россию, что все эти трехрублевые бумажки, которые благодатным дождем сыплются в почтамт, несомненно принадлежат им... и не могут доказать этого! Они уже решаются примириться с своей участью, они уже соглашаются откровенно принять для своей газеты наименование «Смрадного листка», которое подарил ей «Современник», как вдруг имя «Смрадного листка» исчезает с страниц «Современника», а вместо оного заявляется о существовании какого-то «Пакостного листка»!

Смею уверить вас, мм. гг., что необходимым последствием подобной полемики для «Смрадного листка» будет вернейшая его смерть. Быть может, он попросит прощения, быть может, он обещается исправиться — ну, тогда еще можно открыть читателям, что «Смрадный листок» не настоящее имя, а псевдоним

такой-то газеты. Но и то в таком только случае дозволяется делать эту уступку, если «Смрадный листок» даст положительное обязательство сравняться в либерализме, по крайней мере, с М. М. Достоевским.

Итак, пускай же отныне в «Современнике» под собственными своими именами будут являться только те названия журналов и газет, которые, вследствие недостатка полемической тактики, уже упоминались в нем (что делать! прошлого не воротишь!). Прочие же газеты и журналы пускай будут скрываться под псевдонимами до тех пор, покуда добрыми нравами и хорошим поведением не заслужат открытия настоящих их имен.

Такого же рода полемический прием можно с успехом употреблять относительно некоторых публицистов. Так, например, я уверен, что Виктор Ипатьич Аскоченский не приобрел бы и сотой доли своей известности, если б «Искра» называла его не Аскоченским, а только «скромным автором полногрудой Лурлеи».

На вашем месте я именно так и поступал бы относительно темных публицистов, стремящихся во что бы то ни стало сделаться известными. Исключение на сей раз сделаю для г. Юхманова (кто такой этот Юхманов? разве есть писатель Юхманов?), но и то только на сей раз, но и то только для того, что мне нужен пример для объяснения моей мысли. Известно, что этот публицист ужасно заботится о том, что об нем думают и какое значение придает публика его воробьиной деятельности. Я, собственно, ничего об г. Юхманове не знаю, а потому ничего об его воробьиной деятельности и не думаю. Но знаю, что если б я только имел счастье состоять хоть чем-нибудь в редакции «Современника», то, не желая, чтоб имя г. Юхманова пользовалось известностью, стал бы называть его то Аскоченским, то Павловым, то Громекою, то Анною Дараган, ибо это решительно одно и то же. И поверьте, что вы скоро сами убедились бы в неотразимости такой тактики; я даже не далек от мысли, что г. Юхманов в самом непродолжительном времени принес бы в ваш журнал статью, в которой стал бы горько оплакивать свои прежние заблуждения, беспощадно осмеивать свои прежние надежды и обещался бы, в течение одного месяца, вырасти в меру г. Косицы.

Итак, вот какие благотворные последствия может повлечь за собой хорошо понятая и удачно выполненная полемическая тактика. Она имеет в виду не только ограждение материальных интересов публики от излишней траты денег на покупку ненужных книг и журналов, но и нравственную экспиацию множества субъектов, бессознательно и, быть может, безвинно

погрязающих среди разъедающих миазмов литературной сулемы! В этом есть что-то подвижническое. Читатель думает, что я забавляюсь, а я совсем не забавляюсь, а исхищаю из ада погибающую душу! Читатель думает, что я кого-то гоню, кого-то преследую, а я совсем не гоню и не преследую, а, напротив того, подманиваю: поди, дескать, сюда! Мой подвиг скромен и даже не благодарен, но это подвиг — в том не может быть никакого сомнения.

Да не подумает, впрочем, читатель, что описанный мною полемический прием, служащий к вразумлению заблуждающихся, есть единственный в этом роде. Нет, тут целая система, представляющая столь же великое разнообразие форм, сколь великое разнообразие представляет и сама человеческая изобретательность. И все они имеют в виду одну великую цель — секвестр человеческих заблуждений в тесных границах того душного и темного места, в котором они зародились. И все они, кроме этого, имеют в виду и еще одну великую цель: восстановление, посредством временного тюремного заключения, безвинно попранного нравственного достоинства человека...

Дабы показать читателю, как велика может быть сила полемических приемов, опишу, для примера, еще один из многих.

Известно, что в русских газетах и журналах нередко помещаются статьи самого нелепого свойства, с единственною целью действовать на публику посредством скандала. К числу таких гнусно-нелепого свойства статей могут быть отнесены, например, прошлогодние летние походы некоторых органов русской литературы против нигилистов, по поводу происходивших в Петербурге пожаров; к числу такого же рода статей относятся все руководящие занятия г. Аскоченского, а также некоторые каникулярные упражнения «Русского вестника». Что статьи эти нелепы — в том нет никакого сомнения, что статьи эти забавны — в том тоже сомневаться нельзя; но главное и драгоценнейшее их качество заключается в том, что они кратки. Эта краткость позволяет перепечатывать их.

Если принять в соображение, что весь интерес подобных статей заключается только в том, что они производят скандал, что они и вкривь и вкось толкуют о предметах, которые почему-либо живо интересуют публику, то ясно будет, что если отнять у них этот интерес скандала, если устроить так, чтобы публика всем этим скандалом могла насладиться в одном общем фокусе, не развлекая своего внимания между множеством журналов и газет, то пристрастие публики к этим изданиям охладится немедленно. В самом деле, какая надобность публике выписывать, например, какой-нибудь «Смрадный листок» для того, чтобы прочесть в нем в течение года одну веселую

статью о нигилистах-поджигателях, когда она будет уверена, что все перлы «Смрадного листка» можно прочесть, например, в особом, нарочно для того отведенном отделе «Современника»? Решительно, надобности никакой нет.

А потому представляется возможным и еще один очень удачный полемический прием, который изображает собой нечто тоже очень похожее на тюремное заключение. Прием этот заключается в следующем: собирать всевозможные литературные курьезы, имеющие в объеме не более печатного листа, и издавать их при журнале в виде особой хрестоматии. Никаких замечаний на эти курьезы делать не надо, потому что тут дело ясно говорит само за себя; следовательно, умственного труда почти нет никакого, а материальные выгоды несомненны. Издание подобной хрестоматии соединяет в себе все условия дешевизны, ибо влечет за собой издержки только за набор и бумагу; читатель, за самую умеренную цену, даже просто в виде подарка или премии, приобретает чтение веселое и необременительное и притом разом получает все самое замечательное, что он должен был бы разыскивать по разным журналам и с пожертвованием немаловажных издержек. Сверх того, связь, существующая между различными терминами одного и того же направления, обнаруживается наглядно, и стало быть, устраняется всякая возможность обвинить в проведении каких-либо злостных параллелей... одним словом, и дешево, и мило, и — главное — полезно. Ибо, помимо забавной хрестоматии, хороший журнал дает еще читателю значительный запас хорошего и здорового чтения, которого одного уже достаточно, чтобы уничтожить действие, производимое вредными и нелепыми статьями. Читатель прочитывает и то и другое, и так как он предполагается одаренным здравым смыслом, то и выбор его не может подлежать никакому сомнению. Статьи знаменитых псевдонимов сначала будут производить в нем веселый хохот, но мало-помалу наконец опротивеют. Тогда можно будет прекратить и издание хрестоматии.

Все эти предположения я делаю, мм. гг., вовсе не из одного удовольствия делать предположения более или менее забавные. Нет, я твердо убежден, что если бы «Современник» с будущего месяца приступил к изданию предлагаемой мною хрестоматии, то знаменитые псевдонимы тотчас же и значительно понизили бы тон свой. Скажу более: я уверен, что они даже теперь, под влиянием одной моей слабой угрозы, сделаются скромнее, и что «Смрадный листок», с следующего же номера, почувствует в себе отвращение к постыдному и безвыгодному ремеслу чтения между строками...

ФЕЛЬЕТОНЫ И ЮМОРЕСКИ
ИЗ «СВИСТКА» 1863 г.

ЦЕНЗОР ВПОПЫХАХ

(Лесть в виде грубости)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я давно уже помышляю, любезный читатель, о возможности предъявить публике такое произведение человеческого слова, в котором грубость (грубиянство, обличение) являлась бы в приятном сочетании с лестью и которое, в одно и то же время, удовлетворяло бы требованиям современности и не противоречило намерениям начальства. Если существуют на свете прогрессивные ретрограды и ретроградные прогрессисты, то почему же не существовать лести в виде грубости и грубости в виде лести! думал я, и думал, надеюсь, правильно. Нет сомнения, что грубость в диком состоянии, грубость абсолютная, в государстве, пользующемся покровительством законов, невозможна; но, с другой стороны, не подлежит сомнению и то, что публика настоятельно требует, чтобы писатели грубили как можно сильнее. Посему задача писателя знаменитого обрисовывается сама собою. Он должен действовать, так сказать, двуутробно: одною утробою изливать яд и хулу, другою — источать тонкую паутину лести. Я знаю, что и до меня некоторые отличнейшие писатели выказывали в этом смысле намерения, заслуживающие всякого поощрения, но считаю, что опыты их были не совсем удовлетворительны, ибо лесть буйствовала в них слишком исключительно и притом во всей своей наготе. Я же, напротив того, думаю, что в литературном упражнении лесть должна быть распространена в виде тончайшего эфира. Поэтому, замечая за собой такой правильный образ мыслей, я решился. Я нарочно взял, для испробования своих сил на этом поприще, предмет самый, по-видимому, неприступный: думаю, пусть выйдет, что выйдет, но пускай же ведают россияне, что для россиян ничего неприступного не может быть. Вышло хорошо.

Примечание редакции «Свистка». Все примечания к этой статье составлены самим автором.

Бьет час ночи[1]. В одной из блестящих частей города, в великолепной и роскошно убранной квартире[2], развалясь на гамбсовском мягком пате́, полулежит цензор и читает журнальные корректуры. Глаза его следят за корректурой, а мысли витают в эмпиреях государственного благоустройства[3]. Он думает о серьезном характере лежащих на нем обязанностей; он думает, что, с одной стороны, он не должен стеснять силы верноблагонамеренных излияний, а с другой стороны, не должен стеснять самого себя в мерах к ограждению молодых и неопытных писателей от могущих последовать для них неприятностей[4].

— Моя задача двойственна,— говорит он, лениво опуская руку, державшую корректуру,— и между тем она единотождественна. Я преследую две цели, а между тем обе эти цели составляют, в сущности, одну и ту же цель.

Успокоенный этою мыслью, цензор снова принимается за корректуру и вдруг вскакивает как ужаленный.

— Что это они пишут! что это они пишут! — вскрикивает он и, как бы не веря глазам своим, подносит корректуру к богатой бронзовой лампе, в которой весело пылает блестящее пламя фотогена. Чтобы лучше увериться, он начинает читать вслух, с точным соблюдением всех знаков препинания.

«И потому, принимая в соображение, что, в существе вещей, общество привлекается к обсуждению сего предмета в размерах весьма благонадежных, мы думаем, что упомянутый выше проект представляет залоги преуспеяния весьма изрядного...»[5]

— «Мы»! кто это «мы»? — прежде всего восклицает[6] взволнованный цензор,— ты, ты, ты — и никто больше!

---

[1] Намек на то, что цензора обременены работами, но вместе с тем и на то, что цензора производят свои работы ночью, когда добрые люди занимаются только колдовством.

[2] Намек этот дает понятие о получаемом цензорами достаточном содержании, но вместе с тем внушает, что содержание это едва ли ими заслужено.

[3] Показывает, что цензор человек мечтательный и что мечтательные люди, по большей части, отличаются добросердечием. Но вместе с тем показывает, что и мечтательность в некоторых случаях не может считаться признаком добросердечия.

[4] Означает, что, несмотря на добросердечие, сей человек тверд. Комментарий обоюдуострый.

[5] Ничего не означает.

[6] По-настоящему, следовало бы сказать «неистовствует», но боюсь, не пройдет. Пусть так и остается «восклицает», но пусть читатели все-таки знают, что я не прочь был сказать и «неистовствует».

Но мало-помалу чувства цензора утихают и принимают серьезное направление. Дело в том, что нынче «мальчишки» так писать изловчились, что сам черт их не разберет. Хвалят они или издеваются, сочувствуют или только так время проводят — определить это можно разве только посредством «Ключа к таинствам природы». Мало того что сами писать изловчились, но и цензуру к такому своему противоестественному слогу приучили и постепенно (вот где пригодилась постепенность!) достигли наконец того, что вещи отлично благонамеренные, но писанные слогом размазистым, весьма часто не проходят, а вещи противоестественные, написанные слогом, так сказать, вывороченным наизнанку, проходят весьма благополучно [1].

— О черт возьми! что он хочет сказать этим? — рассуждает цензор, ходя по комнате и зажавши себе обеими руками уши. Он знает, что когда человек желает пристальнее сосредоточить на чем-нибудь свое внимание, то непременно должен зажать себе уши [2].

— Что он хочет сказать этим? — повторяет цензор,— «сего предмета»! какого это предмета!

Некоторый тайный голос шепчет цензору, что для того, чтобы знать, какое значение скрывается в словах «сего предмета», надобно прочесть фразу с самого начала. Он следует совету тайного голоса и читает.

— Ну, «сего предмета» — это ничего; это просто означает: «предмета сей статьи»... но что он хочет сказать посредством: «в размерах весьма благонадежных»? Любезничает он или ругается? [3]

С одной стороны, слово «благонадежный», как доказывает это присутствие в нем слова «благо», имеет смысл совершенно благонадежный. С другой стороны, мало ли случалось в истории примеров, когда слова самые благонадежные оказывались впоследствии самыми неблагонадежными? Так, например, в древности, Тиверий (см. драму. г. Костомарова «Кремуций Корд») всегда выражался, по-видимому, весьма благонадежно, но впоследствии всегда же оказывалось, что он принадлежал к тайной секте «свистунов».

---

[1] Означает, что всякое дело надо делать умеючи. Сверх того, означает, не следует ли издать закон, которым вменялось бы авторам в обязанность выражаться понятно и категорически? И еще сверх того означает, не следует ли предоставить авторам свободу выражаться, как им хочется?

[2] Обозначает внимание, с которым цензор исполняет свои обязанности.

[3] Обозначает: и этого-то ты понять не можешь!

«А какое имеешь ты право давать словам автора непрямые толкования?» — шепчет тайный голос [1].

— Черта с два! «право»! — отвечает цензор тайному голосу,— чай, у меня жена и дети есть! [2]

В голове его зреет проект: для рассмотрения нигилистских сочинений определить цензора из нигилистов; разумеется, такого нигилиста, который понимал бы нигилистские диалоги, но, в сущности, был бы человеком благонамеренным. Посредством такой комбинации достигалась бы двоякая цель: во-первых, всегда был бы под руками человек, который нигилистскую кабалистику мог бы читать à livre ouvert, и во-вторых, в лоно благонамеренности поступала бы лишняя заблудшая овца [3].

— А что, если никто не пойдет?

Ну, тогда можно прибегнуть к другому средству; можно, например, взять малолетнего сына каких-нибудь бедных родителей и отдать его в обучение к нигилистам, а когда он всем их приемам научится, то определить в цензоры.

— А что, если он так *там* и погрязнет?

— Ну нет! шалишь! этак и проектов, пожалуй, совсем нельзя писать будет! — рассуждает цензор и снова принимается за корректуру.

— «Залоги преуспеяния весьма изрядного»! гм... «изрядного»! Что такое «преуспеяние изрядное», да еще «весьма изрядное»! Что они со мной делают! Не пропустить — не могу!.. ну, нет, врешь, могу!

Цензор опять обращается к корректуре и начинает выправлять ее. Вследствие поправок выходит следующее: «И потому, принимая в соображение, что, в существе вещей, общество привлекается к обсуждению сего предмета, мы думаем, что упомянутый выше проект представляет»...

— И точка,— говорит цензор,— ну да, и точка. Дальше! «а так как при сем имеется в виду учредить надлежащий бдительный надзор, то, взирая с доверчивостью на настоящее, не теряем упования и в будущем».

---

[1] Обозначает, что закон (тайный голос) сам по себе всегда благодетелен, но исполнители не всегда следуют внушениям его. Объяснение для всех удовлетворительное.

[2] Обозначает, насколько узы естественные сильнее уз государственных. С другой стороны, обозначает, что и естественные узы, при силе воли и строгом исполнении предписаний начальства, можно препобороть.

[3] Проект сей столь полезен, что говорит сам за себя. А потому обращаю на него внимание гг. командующих на заставах. С другой стороны, внезапное возникновение подобного проекта не доказывает ли вообще легкость, с какою такие проекты возникать могут!

— Вон куда метнул! те-те-те... знаем, как вы «не теряете упования в будущем»! И ведь как он это подвел!

Цензор уже не задумывается и зачеркивает властною, уверенною рукою, оставляя только «упование в будущем».

— Ну вот и прекрасно! и с предыдущим связь соблюдена! стало быть: «упомянутый выше проект представляет упование в будущем». Отлично! Но ведь как он подъехал! и статью-то, злодей, как озаглавил! «Сомневаться или верить»! а! *(Зачеркивает заглавие.)* Верить, милостивый государь, верить! *(Пишет на место зачеркнутого*: «И еще предлог к сочувствию».) Ну-с, что ж дальше? А дальше: «Ну, конечно». Эту фразу я полагаю оставить... да, ее надо оставить! Что она обозначает? О черт возьми... что она обозначает? Ну да, она обозначает... «ну, конечно»... то есть «конечно»... ну да... фу ты, черт! *(Зачеркивает.)* [1]

— George! ты будешь с нами завтракать, друг мой? — спрашивает в эту минуту жена цензора, входя в его кабинет [2].

— Мой друг! я голоден, но я есть не хочу! [3]

— Это странно, George!

— Я сам знаю, что это странно, мой друг, но если б ты прочитала вот эту статью *(указывает на корректуры)*, то поняла бы, что можно потерять аппетит, не потерявши его!

Жена цензора очень миленькая, белокуренькая немочка, с быстренькими, голубенькими глазками, в которых выражается любознательность. Она берет корректурные листы и не столько читает, сколько играет ими.

— George! что такое «упование»? — спрашивает она.

— «Упование», мой друг,— это такое слово, которое нарочно пишется, чтобы показать, что упования не должно быть!

— Зачем же ты, George, такие слова пропускаешь?

— А разве я пропустил? *(Читает.)* «представляет упование в будущем»... гм... да!

---

[1] Намек этот дает понятие о варварстве цензора, но, с другой стороны, не оставляет без обличения и варварства нигилистов, которые, во всех своих изворотах, имеют в виду одну цель: помрачение умов.

[2] Читателю может показаться странным, что я заставляю героя моего завтракать во втором часу ночи, но эта поэтическая вольность нужна была мне в двух отношениях. Во-первых, я сообразил, что ведь не скроешь же ни от кого, что действие происходит днем, а не ночью, и во-вторых, ночь мне была нужна для того, чтобы показать, какую страшную пертурбацию могут произвести занятия цензурой не только в жизни самого цензора, но и в жизни его домочадцев.

[3] Это также несколько странно, но если читатель вспомнит лекции г. Юркевича о самодеятельности души, то найдет, что это странность весьма еще умеренная.

— Ведь этак мы, друг мой, можем нашего места лишиться! — соображает жена [1].

— Что ж, стоит только вычеркнуть!

— Ведь этак мы, друг мой, легко можем нашего места лишиться! — пристает жена.

— Ну что ж, и вычеркну!

— Потому что ведь этак, друг мой, мы очень легко можем нашего места лишиться! — повторяет жена.

— Отстань, сударыня! зачеркну! *(Зачеркивает.)* [2]

— Но этого для меня мало!

Цензор начинает сердиться.

— Что ж тебе нужно, сударыня?

— Но этого для меня мало!

— Да объяснись же, мой друг!

— Ты меня запер в четырех стенах этой великолепной квартиры! ты заставил меня бодрствовать по ночам!

— Что же я должен сделать, мой друг?

— Что ты должен сделать? ты спрашиваешь, что ты должен сделать? он спрашивает!

Вбегает Коля [3], розовенький и свеженький мальчик, очень похожий на мамашу; в глазах его также выражается любознательность.

— Папаша! ты будешь завтракать? — спрашивает он.

— Коля! друг мой! — говорит взволнованный цензор.

— Ты спрашиваешь, что ты должен сделать? — пристает жена.

Вбегает Джипси, резвая и милая левретка; она не спрашивает цензора, будет ли он завтракать, но лижет ему руки и веселыми прыжками, очевидно, доказывает, что ей было бы приятно, если б цензор пошел завтракать.

— Вот все мое семейство! — задумчиво грезит цензор,— что с нами будет, если мы лишимся нашего места!

— Ты спрашиваешь, что ты должен сделать? — опять надоедает жена.

---

[1] С одной стороны, обозначает, что женщина есть фиал всякого ехидства и что так называемые эмансипаторы суть самые пустые люди; с другой стороны,— что женщины, по своей прозорливости и сообразительности, вполне заслуживают, чтоб их сравняли в правах с мужчинами, и что, следовательно, эмансипаторы совсем не пустые люди.

[2] Обозначает, с одной стороны, доброту, с другой — недозволенное слабодушие. Как кому угодно.

[3] Это доказывает, что у цензора могут быть дети, и еще доказывает... что мне надоело писать примечания и что читатель обязан доходить своим умом. Предупреждаю, однако ж, что мною ни одного слова не употреблено без умысла.

И она ловким движением руки разрывает корректуры пополам.

— Блаво, мамаса! — кричит Коля, хлопая ручонками.

Джипси радостно лает.

Цензор стоит в некотором изумлении.

— Что ты сделала, несчастная! ты обезобразила казенную вещь! — шепчет он, приходя наконец в чувство.

Не знаю, как ты, читатель, но я положительно нахожу, что цензура очень полезная вещь. Охраняя общество от наплыва идей вредных, она вместе с тем предостерегает молодых и неопытных публицистов от могущих случиться с ними неприятностей. Все это так верно, так верно, что у меня даже слезы навертываются на глазах от благодарности. Но для того, чтобы она достигала своей высокой цели, для того, чтобы устранить из ее решений характер случайности, я полагал бы: цензоров, во время исполнения ими обязанностей, запирать на ключ.

МОСКОВСКИЕ ПЕСНИ ОБ ИСКУШЕНИЯХ И НЕВИННОСТИ

I

Не искушай ты меня!
И без того я уж слаб!
Ласку всем сердцем ценя,
Я и без денег твой раб!
  Не искушай же меня!
  И без того уж я слаб!

Если ж ты хочешь помочь,
Хочешь субсидию дать,
То приходи нынче в ночь:
Ночью ни зги не видать...
  Не искушай ты меня!
  И без того я уж слаб!

Днем как-то совестно мне,
Днем «Современник» не спит!
Стыдно мне! весь я в огне,
Сребреник руки палит!
  Не искушай ты меня!
  И без того я уж слаб!

Ночью ж хотя и темно —
Свет будет в наших сердцах;
В ночь и краснеть мудрено,
Дремлет и совесть впотьмах!
  Не искушай ты меня!
  И без того я уж слаб!

Я принесу свой журнал,
Преданной полн сулемы,

Ты ж принесешь капитал,
И обменяемся мы...
    Я принесу свой журнал,
    Ты ж принеси капитал!

И разбежимся сейчас...
Будем бежать до утра!
Только боюсь я как раз —
Ну, как в кармане дыра!
    Я принесу свой журнал,
    Ты ж принеси капитал!

Что, если эта дыра?
Что, если сей капитал?
Буду искать до утра,
Не поручусь, чтоб сыскал!
    Я принесу свой журнал,
    Ты ж принеси капитал!

Ты согласишься ль тогда
Мне возвратить мой покой?
Или же молвишь мне: да!
Брат! не надуешь дырой!
    Брат! не надуешь дырой!
    Хоть и с дырой, а все пой!

II

ГИМН ПУБЛИЦИСТОВ

Мы говорили: мы согласны,
Но надо ж нас и поддержать!
Теперь уж дни не так-то ясны!
Продукты стали дорожать!

Нам говорили: вы прекрасны,
И мы не прочь вас награждать;
Не пропадет ваш труд напрасно,
Но сколько ж дать? но сколько ж дать?

Мы говорили: мы довольны
Крупицей малой от стола,
Нам по плечу тулуп нагольный:
Не для красы, а для тепла!

Нам говорили: это больно!
Мысль ваша слишком несмела!
Боимся мы, чтобы невольно,
С своей хламидою нагольной,
Она в трущобу не зашла!

Мы говорили: публицисту,
Чтобы не спали телеса,
Не много нужно: воду чисту
Да сена клок... чуть-чуть овса...

Нет спора, яры нигилисты,
Свирепы, страх, их голоса!
Они здоровы, мускулисты,
Но нам помогут небеса!

Нам говорили: силы неба
Полезно принимать в расчет...
Но воин, съев краюшку хлеба,
Всегда ходчее в бой течет!

И если с вами, дети Феба,
Случится скверный анекдот,
Не говорите нам: тебе бы
Подумать надобно вперед!

Мы говорили: так позвольте
Нам предварительно пропеть,
И если скверно, так увольте:
Мы всё готовы претерпеть!

Нам говорили: ну, извольте!
Все разом! громче! не сопеть!
Мальчишкам наглым не мирвольте:
Сопеть — еще не значит петь!

Остались пробою довольны,
Заметили кой-что не так,
Одели нас в тулуп нагольный,
Пожаловали четвертак!

И с этих пор, в хламиде скверной,
Не скрывшей даже наготы,
Стоим мы крепко, служим верно,
Поем сподряд все срамоты!

III

ЭЛЕГИЯ

Страшно! нет голоса больше умильного!
  Ясность души промотал!
Встанет Грановский из плена могильного,
  Спросит: где взял капитал?

Целую ночь в болтовне провожаючи,
  Я с бюрократами пил!
И невзначай им невинность, играючи,
  Кажется, я подарил!

Слабое сердце пленилось манерами,
  Ядом французских речей,
Голосом ласковым, строгими мерами...
  Не устоять — хоть убей!

Страшно! что̀, если connubio[1] мрачное
  Горький свой плод принесет?
Встретит ли почву готовую, злачную
  Иль без следа пропадет?

Что-то случится? Антихриста ль злобного,
  Иль эфиопа рожу?
Или Л...ва злого, трехпробного?..
  Весь-то дрожу я, дрожу!

IV

В голове всё страх да бредни!
Весь покой свой растерял!
Грежу даже у обедни:
Унесут мой капитал!

  Капитал тот, что намедни,
  С страшной клятвой, что последний,
  Поддержать чтоб мой журнал,
  Подарил мне генерал!

---

[1] сожительство.

И болтлив же я не в меру!
Даже детям рассказал,
Что всем прочим для примеру
Получил я капитал!

Капитал тот, что на веру,
За прекрасную манеру,
За прекрасный мой журнал
Подарил мне генерал!

И шептал он мне, вручая:
Сохрани сей капитал,
В нем таится сила злая,
Хоть объемом он и мал!

Ох, боюсь, чтоб, карт алкая
И субсидией играя,
Ты ее не проиграл!
Так шептал мне генерал...

И, изрыгнувши проклятье,
Мелочь на пол он бросал...
Вздумал руку лобызать я —
Уж плевал же он! плевал!

Но успел поцеловать я,
Хоть изгадил он мне платье!
«Я не думал, чтоб ты взял!»
Так, сквозь слезы, он шептал!

С той поры, взыграв душою,
Я на карты не взирал;
Мучим преданностью злою,
Все язык свой изъязвлял!

Обкормлю всех сулемою!
Восклицал я (что ж, не скрою),
Будет разом всем финал!
Спи спокойно, генерал!

Но наказан я ужасно!
Я того не рассчитал:
Не могу же я всечасно
Стеречи свой капитал!

Отойти — боюсь, опасно!
Не предвидел, чтоб так страстно
Взор домашних проницал
Всюду, где бы я ни клал
Подаренный капитал!

И с тех пор всё страх да бредни!
Весь покой я растерял!
Грежу даже у обедни:
Унесут мой капитал!

Капитал тот, что намедни,
С страшной клятвой, что последний,
Поддержать чтоб мой журнал,
Подарил мне генерал!

НЕБЛАГОВОННЫЙ АНЕКДОТ О г. ЮРКЕВИЧЕ, ИЛИ ИСКАНИЕ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ

Недавно московские газеты оповестили о необыкновенном происшествии, случившемся в столичном городе Москве. Героем происшествия был г. профессор философии, Юркевич, жертвою его — неизвестный материалист. Известно, что нынешним постом г. Юркевич предположил себе прочесть московской публике популярный курс философии; известно также, что в этих лекциях он преимущественно казнит материалистов и приводит в неописанный восторг всех прихожан Николы Явленного, Спиридония, Старого Вознесения и т. д. Причину этих восторгов разъяснить совсем не трудно. Нынче в Москве вовсе нет хороших певчих да нет интересных служителей, как прежде бывало, что иное слово проглотит, а другое протянет, или выйдет к народу и в то же время обращается к дамам посредством французского диалекта; следовательно, прежние увеселения сделались скучными. Все это заменил теперь отчасти г. Юркевич своими философскими лекциями, отчасти г. Лонгинов своими представлениями чревовещания и восточной магии в Обществе любителей русской словесности: понятно, что все это должно казаться московской публике charmant[1], хотя некоторые старики и толкуют себе втихомолку, что у Семиона Столпника все-таки не в пример благолепнее бывало. Несмотря, однако ж, на общее увлечение лекциями г. Юркевича, нашлись и недовольные ими. Московские газеты удостоверяют, что эти недовольные суть те самые материалисты, которых г. Юркевич, на живописном и несколько простодушном своем языке, называет «безголовыми»; я же, с

---

[1] очаровательным.

своей стороны, подозреваю, что это чуть ли не те вздыхающие о Семионе Столпнике старички, которые на сей раз переоделись материалистами. Как бы то ни было, но один из этих «безголовых» баловников написал к г. Юркевичу письмо, в котором угрожал ему, если он будет продолжать нападки на Бюхнера, подвергнуть его освистанию.

Так рассказывают об этом деле М. Н. Лонгинов и И. С. Аксаков. В публике, по прочтении их статей, остается впечатление, что г. Юркевич — нечто вроде русского Наполеона III, учреждающего государственный наряд, а неизвестный материалист (или старичок, переодевшийся материалистом) — нечто вроде Орсини, государственный наряд ниспровергающего.

Но не так передает дело какой-то москвич, написавший об этом происшествии статью в «Очерках», блаженной памяти. Он говорит, что 9 марта г. Юркевич, взойдя на кафедру, объявил, что хотел было читать о чувствах, но на днях получил несколько анонимных писем, на которых считает не лишним остановиться. Отрывки из одного письма он действительно прочитал тут же, а из отрывков этих явствовало, что неизвестный не удовлетворен доказательствами профессора против материализма; что профессор не был в состоянии, например, объяснить, почему имеющие поврежденный мозг не мыслят и почему в то же время новорожденные дети, одаренные мозгом, также не могут, однако ж, мыслить. В заключение неизвестный выражал надежду, что г. Юркевич прекратит чтение своих лекций, так как, при подобной слабости доказательств, он может возбудить неудовольствие слушателей, которое, пожалуй, выразится и свистками. Через несколько времени неизвестный напечатал свое письмо к г. Юркевичу; содержание письма действительно согласно с показаниями статьи в «Очерках». В письме говорилось г. Юркевичу: «В ваших лекциях много лжетолкований и нелепостей, для опровержения коих нужно столько же лекций. Чем можете вы оправдать хоть сколько-нибудь ваши цинические отзывы о материалистах? Ничем. Если и материалисты ошибаются, то и вы не свободны от ошибок. Потому имею честь предупредить вас, м. г., если в следующих лекциях вы не оставите цинизм, не будете с достоинством относиться к материалистам, то услышите уже не шиканье, а свистки».

Понятно, что это письмо должно было огорчить г. Юркевича, и вопрос заключается только в том, как должно было выразиться у него это огорчение. Если б он заплакал — он показал бы себя чувствительным человеком, но не философом; если б он принялся опровергать «неизвестного» — он выказал

бы недостаток душевной стойкости, которая именно в том и состоит, чтобы оставлять возражения без ответа; если б он вздумал издеваться над анонимным письмом — он опять-таки показал бы себя свистуном, но не философом. Одним словом, г. Юркевичу необходимо было поступить как философу — он так и поступил. То есть он повторил публике зады, а того, почему люди, имеющие поврежденный мозг, не мыслят, а только ругаются, все-таки не доказал и, в досаде на самого себя, назвал Бюхнера глупцом... И затем, продолжает корреспондент «Очерков», свернув читанное им письмо и кладя его в карман, он с улыбкою прибавил, обращаясь к публике: «А из письма этого я вправе сделать такое употребление, какое найду пригодным». Эти слова, прибавляет корреспондент, сказанные в присутствии почти полной аудитории, в которой находилось более $1/3$ дам и девиц, к удивлению нашему, получили одобрения: посыпались аплодисменты, и увы! аплодировал усердным образом даже редактор одной почтенной газеты московской.

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...

Таким именно значеньем полна приведенная нами речь г. профессора. Для разъяснения этих таинственных слов необходимо было бы знать, на каком языке, на «языке ли физиологов или психологов» произнес г. Юркевич эти слова, и потом сделал ли он, произнося их, какой-нибудь соответственный жест, то есть приблизил ли руку к желудку (в знак того, что страдает чревным недугом), или откинул ее как-нибудь назад. Корреспондент «Очерков» об этом умалчивает, но, вероятно, мы скоро будем свидетелями страстной и оживленной полемики по этому предмету. «Наше время» будет доказывать, что сделал («Наше время» эти жесты любит), и, следовательно, произнес слова на языке физиологов; «День» будет ссылаться на очевидца, что не сделал («День» целомудрен) и что слова сказаны на языке психологов; «Московские ведомости» будут колебаться между целомудрием и тайною мыслью: «А ведь хорошо, что он это сделал!»; «Русский вестник» будет убеждать, что ничего в том необыкновенного нет, что сделал, что это вообще жест, свойственный всякому философу, и что слова сказаны на языке физиологов и психологов вместе.

Я, признаюсь заранее, держу в этом случае сторону того мнения, которое имеет выразить «Наше время». Во-первых, в таком деле нет судьи более компетентного, как этот почтен-

ный журнал, а во-вторых, мне прежде всего представляется вопрос: если бы г. Юркевич не делал жеста и говорил на языке психологов, то с какой же стати московская публика осыпала бы его такими восторженными рукоплесканиями? с какой стати дамы, даже дамы приняли бы участие в этом спиритуалистическом торжестве? [1]

Что московские дамы впечатлительны, в этом я имел случай убедиться лично, присутствуя на одной из лекций г. Юркевича, которую он посвятил толкованию снов. Покуда он объяснял, что «сознание, в этом разе, носится на волнах душевного настроения», дамы только благоговели, но когда он, в подкрепление этого ношения на волнах душевного настроения, стал говорить, что если видишь во сне воду, то это значит, что тебя душит мокрота, а если видишь во сне пожар, то это значит, что у тебя где-нибудь воспаление,— лица дам заметно оживились (значит, чувствуют!). И еще более оживления заметно было, когда профессор, в доказательство силы, какую может иметь воображение, привел, что слабая девица, которая обыкновенно не может пройти и полуверсты, чтобы не изнемочь от усталости, на балу незаметно в один вечер вытанцовывает несколько немецких миль. Слушая это, девицы даже с изумлением переглянулись между собою («ma chère!»), и по всей аудитории пронеслась какая-то невинная, легкая веселость...

Следовательно, если и дамы участвовали в рукоплесканиях, то нет сомнения, что было что-нибудь образное.

Но того, что однажды уже совершилось, никак нельзя сделать несовершившимся,— это афоризм, которого не отвергнул бы даже Кузьма Прутков. С грацией ли совершил свой подвиг г. Юркевич или без грации (я думаю, что с грацией), жестоко ли он поразил им материалистов или не жестоко (я думаю, что не жестоко) — это не может быть предметом настоящей статьи, во-первых, потому что это личное дело г. Юркевича, а во-вторых, потому что «Свисток» вообще не занимается поступками, от которых пахнет. «Свисток», как известно, имеет слабость везде отыскивать «вопросы» и, отыскавши таковые, неутомимо предаваться разработке их.

На этот раз вопрос заключается в том, имел ли г. Юркевич право и основание поступить так, как он поступил?

---

[1] Чего смотрел И. С. Аксаков, постоянно посещающий лекции г. Юркевича? как допускал он почтенного профессора до такого странного жеста? Чего смотрел И. С. Аксаков? Как допустил он, что в числе рукоплещущих был и какой-то «редактор одной почтенной московской газеты»? Чего смотрел И. С. Аксаков? — Прим. ред. «Свистка».

Мне кажется, что для разрешения этого вопроса вовсе нет надобности прибегать к пространным толкованиям ни о разумно-свободной человеческой воле, ни о самодеятельности человеческой души. Поступком своим г. Юркевич блистательно опроверг самого себя и раз навсегда доказал, что, во время совершения его, душа его положительно бездействовала. Душа человеческая есть нечто тонкое, эфирное и притом действующее независимо даже от повреждения мозга, а тем более от повреждений желудочных. Душа мыслит, но мыслит, так сказать, мысли возвышенные, а не такие, которые могут засорять желудок. Душа требовала, чтобы г. Юркевич доказал, почему она мыслит независимо от повреждения мозга, желудок, напротив того, требовал доказать, почему он мыслит независимо от душевного повреждения. Победителем остался желудок,— и что же можно сказать, чем разрешить эту странную прю? Можно только сказать словами самого г. Юркевича, что «в этом разе сознание его носилось на волнах не столько душевного, сколько желудочного настроения».

Следовательно, не здесь, не в свободно-разумной воле, не в самодеятельности человеческой души нужно искать разъяснения загадки... Человеческая душа ничего подобного измыслить не может.

Этого разъяснения следует искать в чрезвычайной исправности профессорских нервов, передающих желудку получаемые ими внешние ощущения. Откуда, в этом разе, получают нервы ощущения? от внимающей профессору публики. Какое, в этом разе, должно быть произведено в желудке впечатление вследствие переданных нервами ощущений? впечатление о степени развития внимающей профессору публики, развития, выражающегося отчасти в благоговении, а отчасти в сонливости, когда идет речь о ношении сознания на волнах душевного настроения, и в легкой веселости, когда дело касается девицы, протанцевавшей в один вечер несколько немецких миль. Профессор, в этом разе, есть не что иное, как зеркало внимающей ему публики, и сознание его носится на волнах не собственного его профессорского душевного настроения, а на волнах душевного настроения публики.

С своей стороны, ту же самую исправность нервной системы примечаем мы и в публике. Ее нервы получают ощущения от говорящего перед нею профессора и, передавая эти ощущения куда следует, производят там впечатление о нравственном образе того же говорящего перед нею профессора. Стало быть, публика, в этом разе, представляет собой некоторое духовное зеркало, в которое глядится сам профессор, и сознание ее носится не столько на волнах собственного ее ду-

шевного настроения, сколько на волнах душевного настроения г. профессора.

Многие, быть может, заметят мне, что у меня «духовное настроение» перемешивается с «настроением желудочным» и что я этим самым доказываю, что не усвоил еще себе истинной философской терминологии. Но я уверен, что, размысливши хорошенько, читатели сами найдут, что в этом деле строгое различение самодеятельности желудка от самодеятельности души не только затруднительно, но даже просто невозможно. Нет сомнения, что в основании всей кутерьмы лежит самодеятельность желудка, но все-таки как-то кажется, будто и душа тут не прочь поучаствовать. Может быть, это оттого мне кажется, что я еще не отвык от предрассудков, что настоящая философская терминология еще недостаточно выработалась, но как-то легче становится на душе, когда это слово лишний раз скажешь.

И таким образом, публика и профессор, получая друг от друга ощущения и впечатления, находятся, так сказать, в беспрерывном взаимном соответствии. Профессор сделает усилие — публика рукоплещет ему; вследствие этого профессор усугубит усилие, а публика, разумеется, усугубит рукоплескания. Сочувствие публики поднимает уровень душевного настроения профессора и наоборот. Тут публика равна профессору, профессор равен публике, нуль равен нулю...

Если б г. Юркевич был спиритуалистом действительным, он не толковал бы снов посредством накопления мокрот, он не изъял бы из сферы душевной самодеятельности целой области снов, области, в которой этой самодеятельности представляется наиболее простора и независимости; наконец, он не сказал бы, что сделает из бумажки, на которой написано возражение его антагониста, известное ему употребление. Если он все это допускает, то этим самым доказывает, что он материалист, и притом материалист весьма дешевого свойства, материалист вроде тех, которые наивно полагают, что материализм заключается в обжорстве, половых отправлениях и в приготовлениях к тому процессу, о котором он так остроумно намекнул в своей лекции.

С другой стороны, если б перед г. Юркевичем была другая публика, менее зараженная материализмом дешевым, то она не поощрила бы профессора. Не найдя сочувствия своей выходке, профессор, конечно, только пискнул бы и покраснел. Быть может, он принялся бы за возражения своего противника, быть может, он и доказал бы их опрометчивость, ибо кто же знает, какая мысль носится у г. Юркевича на волнах

душевного настроения? А теперь вот, сложил бумажку да и думает, что вконец поразил своего противника!

Увы! тут все правы! прав г. Юркевич, ищущий популярности посредством складыванья бумажки, и права публика, поощряющая такие искания популярности посредством складыванья бумажки. Прав даже редактор «одной почтенной московской газеты», принимающий участие в рукоплесканиях. Все они из своего миросозерцания не вынесли ничего иного, кроме хладного озлобления, все они еще насквозь пропитаны тем страшным потом ненависти, который, будучи неопрятным сам по себе, заражает тою же неопрятностью и все то, до чего он хотя случайно прикоснется...[1]

---

[1] Дальнейшая часть статьи написана М. А. Антоновичем.

СЕКРЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Комедия в четырех сценах

СЦЕНА I

Театр представляет кабинет М. Н. Каткова; посредине стоит огромный письменный стол, за которым сидит сам Михаил Никифорович, перед ним на столе лежит кусок колбасы, завернутый в клочок «Нашего времени»; но из открытого среднего ящика стола выглядывает развернутый № «Современника», который М. Н. пожирает с такою жадностью, что даже не замечает, как в комнату входит обойщик.

М. Н. Катков *(бормочет)*. Ну да! ну да! ну, и что ж!

Обойщик. Гардины вешать прикажете?

М. Н. Катков *(выходя из оцепенения)*. А! Это ты, простолюдин!

Обойщик. Гардины вешать прикажете?

М. Н. Катков. Вешай! Вешай! *(Любезно.)* Ну что, теперь вы свободны?

Обойщик. Слава богу, ваше благородие.

М. Н. Катков *(хочет что-то сказать, но не решается)*. Гм... ну да! *(Наконец решается, но говорит краснея.)* А ведь это я! *(Обойщик смотрит на него с изумлением.)* Да, это я!

Обойщик. Так-с.

М. Н. Катков. То есть что вы свободны-то... ну да, это я!.. то есть, ты понимаешь, сделал-то не я, а я настоял!

Обойщик. А как же, ваше благородие, ребята сказывали, что это Александр Иваныч Кошелев!

М. Н. Катков. Ребята врут, любезный простолюдин! Это я да Василий Александрыч Кокорев — вот кто!

Обойщик. Покорно вас благодарим, ваше благородие!

М. Н. Катков. Ничего... ничего! вешай гардины, добрый простолюдин! *(Снова углубляется в чтение «Современника»; обойщик принимается за работу; в это время сзади чуть слышно подкрадывается Н. Ф. Павлов.)*

Н. Ф. Павлов *(громко)*. Ух! И это не стыдно!

М. Н. Катков *(поспешно задвигая ящик)*. Что? что такое? что такое я сделал?

Н. Ф. Павлов. И вам не стыдно читать?

М. Н. Катков. Я ничего не читал... я ничего не читал! я... я просто ел!

Н. Ф. Павлов. Еще запирается! а ну-те, покажите-ка, что у вас там, в среднем-то ящике!

М. Н. Катков. Нет, я, право, ничего не читал! то есть я читал... *(Чуть слышно.)* Я читал... «Колокол»! *(В сторону.)* Даже стен боюсь! *(Вслух.)* Только вы, ради бога!

Н. Ф. Павлов *(ласково грозясь)*. Проказник! *(Уходит.)*

СЦЕНА II

Театр представляет кабинет П. М. Леонтьева; обстановка почти та же самая, что и в предыдущей сцене, с тою лишь разницею, что место М. Н. Каткова занимает П. М. Леонтьев. Точно так же подкрадывается сзади Н. Ф. Павлов и неожиданно щекотит у П. М. под мышками.

П. М. Леонтьев *(быстро вскакивая)*. Что это за шутки!

Н. Ф. Павлов. Нет, это не шутки, а позвольте-ка узнать, чем вы занимаетесь?

П. М. Леонтьев *(быстро задвигая ящик)*. Чем? вы видите, ем колбасу и читаю «Наше время»!

Н. Ф. Павлов. Еще запирается! Эх, господа, господа! точно вы маленькие! Да в ящике-то у вас что, государь мой?

П. М. Леонтьев *(заикаясь)*. А в ящике у меня... а в ящике у меня... а в ящике у меня... *(хочет вынуть ключ от ящика)* ну да, у меня в ящике колбаса!

Н. Ф. Павлов. Ничто мне так не противно, как притворство! Показывайте, государь мой!

П. М. Леонтьев. Но уверяю вас, Н. Ф., уверяю вас... *(Решительно.)* Ну да, я читал, я читал *(чуть слышно)*, я читал... «Колокол»! Но только вы, ради бога!

Н. Ф. Павлов *(ласково грозясь)*. Проказник! *(Уходит.)*

СЦЕНА III

Театр представляет кабинет Н. Ф. Павлова; обстановка та же, что и в предыдущих сценах, с тем исключением, что героем является Николай Филиппович и что на столе лежит не колбаса, а селедка, завернутая в клочок «Московских ведомостей». Сзади неслышными шагами подкрадываются М. Н. Катков и П. М. Леонтьев.

Н. Ф. Павлов *(фантазирует)*. Основский! где теперь может быть Основский! *(Наклоняется и читает; некоторые его волоса встают дыбом. Опять фантазирует.)* Быть может, Ос-

новский теперь на небесах! *(Читает; встают дыбом остальные немногие волоса; вздыхает.)* Основский! зачем ты не взял меня с собою!

Тень Основского *(появляется вдруг; М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, стоящие в глубине сцены, закрывают себе лицо руками)*. Затем, чтоб ты в сей жизни казнился! *(Быстро исчезает.)*

Н. Ф. Павлов *(простирая руки)*. О, тень любезная!

П. М. Леонтьев *(сурово)*. Позвольте узнать, милостивый государь, что вы здесь делаете?

М. Н. Катков *(язвительно)*. Да, уж позвольте!

Н. Ф. Павлов *(проворно задвигает ящик, запирает его и прячет ключ в карман)*. Селедку ел, господа, и читал «Московские ведомости»!

М. Н. Катков и П. М. Леонтьев *(в отчаянье)*. О, этого человека никогда никто ни в чем не уличит!

Тень Основского *(появляется снова)*. Скажите Пановскому...

В это время машинист Вальц, услышав имя г. Пановского и припоминая обиды, понесенные им от этого фельетониста, намеренно перемешивает все декорации и на мгновенье усыпляет действующих лиц. Тень Основского, не досказав речи, скрывается вверх; раздаются крики, оказывается, что актер, игравший «тень», прищемлен.

СЦЕНА IV

Театр представляет все три кабинета в одной комнате. За тремя письменными столами сидят все три публициста и поглядывают в средние ящики, в которых лежат развернутые экземпляры «Современника». Проходит несколько минут без всякого признака движения со стороны действующих лиц, но это очарованное состояние прекращается одним манием г. Вальца, который заставляет публицистов одновременно поднять головы. Публицисты смотрят друг на друга с изумлением и долго не понимают, в чем дело.

Все *(с ужасом)*. Об этом надобно сообщить Юркевичу!

Землетрясение; отворяются два люка, из которых выходит М. Н. Лонгинов и ищет глазами М. П. Погодина и И. С. Аксакова; он думает, что попал в Общество любителей российской словесности.

(Занавес опускается.)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БУДОЧНИКИ

(Размышления, навеянные чтением № 67 «Моск. вед.» и № 66 «Нашего времени»)

Обвиняют так называемых «свистунов» в высовывании языка. Я не видал, как они это делают, но, должно быть, у них оно выходит не дурно. Я рассуждаю так потому, что «свистуны» народ молодой, веселый, добродушный, следовательно, если и высовывают языки, то именно тем, кому следует, и тогда, когда следует. Притом же и языки у них востренькие, чистенькие, как есть человеческие языки. Видеть такие языки даже приятно.

Но представьте себе, что перед вами неожиданно высовывает язык будочник; представьте себе, что это язык старый, желтый, распухший, покрытый слизью; представьте себе, что будочник злой и остервенелый, что он озлился именно вследствие того, что не имеет возможности отойти от своей будки, и высовывает язык всему, что ходит на свободе, что не приковано к будке... Какое чувство должно возбудить подобное высовывание языка? Где найти объяснение этому высовыванью? посредством какого рода самодеятельных умозаключений самодеятельная будочникова душа допустила язык сделать такую штуку? Не знаю, как в ком, а во мне подобное явление пробуждает только чувство сожаления. Одаренный от природы достаточным воображением, я в состоянии представить себе довольно живо ту досаду, которая должна накипать в будочнике при мысли о том, что вот народ божий и идет, и едет, куда кому надобно, и руками болтает, и вообще держит себя более или менее непринужденно, и один он, злосчастный будочник, не имеет права ни гулять, ни руками болтать, а должен стоять смирно и держать в руках алебарду. Я понимаю, что высовыванье языка означает здесь вовсе не обиду мне, проходящему и ничем не обидевшему его лицу, а просто ропот самодеятельной души на всесильную судьбу. Я воображаю и понимаю все это, и за всем тем все-таки отворачиваюсь — так

противен для меня желтый, распухший, покрытый слизью будочнический язык!

Но это чувство гадливости принимает во мне совсем иные размеры, когда я вижу, что роль будочника добровольно берет на себя человек, которого никто не заставляет быть будочником, и когда этот мрачный будочник-самозванец до того входит в свою роль, что сам себя приковывает к своей будке, сам по этому случаю приходит в озлобление и начинает высовывать язык всему, что не приурочило себя к будке, что чувствует себя настолько свободным, насколько это возможно в благоустроенном государстве. Приходя мало-помалу в какой-то хладно-остервенелый энтузиазм, будочник-самозванец высовывает язык не только настоящему, но высовывает его прошедшему, высовывает будущему... нет той области, которая могла бы освободиться от этого высовыванья, нет той человеческой души, в которой ужасный будочник не замыслил бы сделать полицейский обыск! Какое чувство может возбудить подобное явление? не знаю, как в ком, а во мне оно производит омерзение...

Новый 1863 год внес и новый элемент, новые привычки в русскую литературу: элемент полицейский, привычки будочничества. Как и следовало ожидать, первый пример подала Москва — золотые маковки, устроившая очень ходко два частных дома, из которых литературное будочничество отпускается оптом и в розницу за весьма дешевую цену; за нею поспешил последовать и Петербург, в котором также появилось несколько будок, но это будки скверные, презренные, о которых не стоит и говорить, потому что торговля, в них производящаяся, едва-едва дает на хлеб будочникам. Петербургские литературные будочники ходят в сермягах и высовывают язык, собственно, в подражание тем нищим, которые показывают прохожим изуродованные руки и ноги, чтобы возбудить отвращение и выманить копеечку.

Все эти литераторы-будочники защищают какие-то принципы, приносят себя кому-то в жертву, перед кем-то изъясняются в любви. То пустятся в глумление, то зальются лаем против мнимых врагов, то начнут сентиментальничать с мнимыми союзниками. Но как ни усиливаются они возвыситься до ругательного лиризма, как ни стараются умягчить свои сердца до лести даже тому, что в действительности составляет предмет их ненависти, однако и сквозь лай, и сквозь сентиментальничанье все-таки сочится одна нота — нота пошлого, напускного глумления. Это единственно естественная форма для выражения всех их мыслей и чувствований; на ней они должны и остановиться.

Но будемте говорить серьезно, господа будочники! Вы охотно производите обыски и в душах людей вам не единомысленных, позвольте же произвести обыск и в ваших душах. Нет сомнения, что вы защищаете принцип справедливый (кто же имеет право усумниться в этом?), но как вы это делаете? Вы делаете это самым неловким, самым враждебным для принципа образом. Прежде всего, вы полагаете, что здесь достаточно одной злобы, но ведь сплошная злоба не убеждает, а напротив того, производит одно отвращение. И еще вы прибегаете к хвастовству, но ведь и хвастовство разве убедительно?.. и какое хвастовство, какое гнусное, подкаретное хвастовство! Когда читаешь эти злобно-бесстыже-хвастливые выходки, делается стыдно за вас, делается страшно за то дело, которого защиту вы приняли на себя. Что такое? что такое? спрашиваешь себя в изумлении, и невольно приходишь к заключению, что вы первые враги того дела, что вы намеренно взялись за него, чтобы подкопаться и обесчестить!

«Вот тебе и «братцы, братцы, поцелуйтесь»! Вот тебе и «божественная Оливинска»! «И ништо!» — восклицает какой-то веселый будочник. «Моя личность наводит панический страх»,— повествует другой будочник характера мрачного. По поводу чего вы так расплясались? Рады вы, что ли, тому, что льется человеческая кровь? Подписчиков, что ли, вам это прибавляет?

Есть люди, которые даже к великим событиям и великим принципам не могут относиться иначе, как с точки зрения своих маленьких, карманных интересов. Это мошки, которые роями вьются около живого организма, чтобы напитаться кровью. Они изо всех сил жужжат, что поражают врагов живого организма, но, в сущности, поражают лишь самый организм. Это глашатаи ненависти, это сеятели междоусобий, это люди, которых должно остерегаться, ибо, с помощию их, никогда никакое дело покончено быть не может, ибо у них всегда наготове какая-нибудь застарелая вражда, какой-нибудь давно забытый, но не разъясненный счет.

Усердные пропагандисты стачек, всегда готовые на всякого рода соглашения с тем, что обещает им выгоду, эти люди не понимают только одного рода стачки — стачки с добром.

Это целый, особый мир. Как смотрят эти люди на свет божий? какие у них знакомые? питаются ли они хлебом и мясом или пожирают мышьяк? Пьют ли они вино и воду или безвредно утоляют жажду синильною кислотой? Все это вопросы любопытные, которых разрешение сделало бы честь любому естествоиспытателю.

СОПЕЛКОВЦЫ

(Отрывок из частного письма)

Сопцы и народ молвящ.

«Вся Москва крайне заинтересована появлением какой-то новой секты, о который уже и прежде ходили темные слухи. Приверженцы ее называют себя «сопелковцами», производя это слово от глагола «сопеть», так как они все действия свои, по какому-то странному обычаю, сопровождают сопением. Само собой разумеется, что появление сопелковцев сейчас же породило в Москве самые странные слухи. Рассказывают, что они поклоняются Абракадабре и всякого вступающего в их согласие заставляют предварительно разжевать раскаленный уголь,— и при этом произнести ту страшную клятву, которую произносит в «Князе Серебряном» колдун мельник: «Шикалу! ликалу! слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуют, летят да кричат! шагадам! шагадам!» Прибавляют, что человек, выдержавший такое испытание, может свободно читать «Наше время», употреблять в пищу разваренные в сулеме «Московские ведомости» и запивать их растворенным в синильной кислоте «Русским вестником». Уверяют даже, что они ловят по улицам людей, увлекают их и потом, разрезав жилы, пьют из них кровь; на днях даже говорили, что нечто подобное в страстную пятницу (сии люди всегда лопают скоромное!) случилось с одним нигилистом, беспечно гулявшим в сумерки по Страстному бульвару. Будто бы в ту минуту, когда он поравнялся с университетской типографией, напали на него какие-то люди, одетые в непромокаемые плащи из листового железа, и увлекли несчастного во двор университетского дома. Как бы то ни было, но простой народ встревожен. Один говорит, что видел белесоватого упыря с темно-фиолетовыми губами, который за отсутствием пищи грыз собственную свою

руку; другой говорит, что видел чудовищного горбуна, который от голода в одну ночь перегрыз зубами сетку Страстного монастыря и по дороге срезал языком до пятидесяти толстых лип на бульваре... Одним словом, все боятся, все в страхе. Старожилы сравнивают настоящее положение Москвы с теми временами, когда, бывало, наезжал в нее покойник Шешковский, но М. Н. Лонгинов утверждает, что нынче хуже, ибо тогда был один Шешковский, а теперь их несколько.

Какая цель появления «сопелковцев» и какое учение проповедуют — все это еще тайна, потому что нельзя же в самом деле согласиться, будто они существуют для того только, чтобы сосать человеческую кровь. Замечательно, что еще Кузьма Прутков предрекал появление подобных людей. «Погоди! — говорил он мне на смертном одре своем,— будут еще не такие люди! будут люди с песьими головами! Эти люди будут говорить, что самое приличное для человека место есть отходная яма!» И с этими словами прозорливый старец скончался. Я не могу забыть этих слов, потому что, действительно, самое ясное, что до сих пор высказали «сопелковцы»,— это то, что «приличнейшее для человека место есть отходная яма».

<ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ «СВИСТКА»...>

Для следующих номеров «Свистка», между прочими, имеются в виду следующие статьи:

1) «Прогулка в роще, или Птицы без перьев». Ученое исследование, написанное для журнала «Время», но редакцией его отвергнутое.

2) «Опыты самораздирания». Рассказ очевидца.

3) Стихотворная элегия на кончину «Времени», начинающаяся стихами:

Здесь Достоевских прах, и, вместо мавзолея,
Косица меж гробов, от страха цепенея,
Стоит...

4) «Несколько слов о неподозрительности патриотических чувств», монография, составленная по «Русскому вестнику».

5) «Самонадеянный Федя», детская сказка в стихах.

Федя богу не молился,
«Ладно, мнил, и так!»
Все ленился да ленился...
И попал впросак!

Раз беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл,—
И обычной канителью
Время наполнял.

Сказка эта обширностью своею превосходит все доныне написанное.

6) «Опыты сравнительной этимологии, или «Мертвый дом», по французским источникам». Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева.

7) «Обоюдуострый Громека», размышления по поводу разглагольствований о «независимых журналах и людях», помещенных в «Современной хронике России» «О. З.» за март месяц сего года.

8) «Не устроить ли нам колбасную?», политико-экономическое рассуждение о том, что всякое коммерческое предприятие, как журнальное, так табачное, колбасное или полпивное,

может тогда только пользоваться заслуженным успехом, когда: а) на каждое из них затрачен особый капитал и б) по каждому ведется свое особое счетоводство.

9) «Опыты отучения сотрудников от пищи и бесплатного снабжения их одеждою». Из записок одного неопытного литератора.

10) «Чувства циника в ту минуту, когда он начинает понимать, что сделался от старости глупым». Стихотворная московская исповедь, с эпиграфом: «как будто тухлое разбилось яйцо»; начинается стихами:

На Малой Дмитровке дом высится прекрасный,
При доме конура, в ней циник жил ужасный;
Ходил он нагишом, лишь будочников знал
И совесть отродясь ничем не умывал.
Однажды, получив письмо из Могилева...

11) «Невинные занятия общества Тирсисов на Спиридоновке», московская стихотворная идиллия, начинающаяся стихами:

Ах! отчего мы не можем понять,
Что мы так страстно желаем!
Други! что делать? лобзать иль кусать?
Тщетно мы к братьям взываем!
В чувствах разлад, в голове дребедень,
Сердце распухло от боли!..
Ах! издавая от праздности «День»,
Что мы за чушь напороли!

12) «Ничего в волнах не видно», рассуждение по поводу 75 № «Моск. ведомостей», в котором доказывается, что и в волнах можно что-нибудь усмотреть.

13) «Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях». Фельетон нового мормона за все время одержания бесами; с эпиграфом из сочинений г. Ф. Берга («Время» 1863 г., № 3).

Не отнимут люди, не отнимут —
Тупоумье будет вечно с нами;
И за что б ни стали люди биться,
Тупоумьем вряд ли соблазнятся:
Тупоумье будет вечно с нами!

По прочтении этой статьи редакция «Времени» даст клятвенное обещание никогда не печатать стихов г. Ф. Берга и статей г. Ф. Достоевского. Клятву, данную относительно непечатания литературных упражнений г. М. Достоевского, «Время» исполняет с тою стойкостью, с какою «Отечественные записки» выполняют подобную же клятву относительно статей А. А. Краевского.

РЕЦЕНЗИИ

1863—1864 гг.

НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД. Роман в четырех частях. Соч. И. Лажечникова. Москва.

Когда-то, тому очень давно, г. Лажечников написал три исторических романа. Публика с жадностью прочитала эти романы и осталась очень благодарна автору. После того г. Лажечников долго молчал, все собирался подарить публику «Колдуном на Сухаревой башне», да так и не подарил; взамен того, в течение двадцати с лишком лет он написал три, не совсем удачных, драмы и нечто вроде воспоминаний под названием: «Черненькие и беленькие», которые также прошли незаметными. Ныне он является с новым романом в четырех частях.

Все это мы припомнили для того, чтобы показать, что г. Лажечников человек уже не молодой, действующий в литературе с лишком тридцать лет; а если взять в соображение, что он же, до появления в свет «Последнего новика», написал еще воспоминания о 1812 годе, то, пожалуй, наберется и целых сорок лет литературной деятельности, большая половина которой сопровождалась замечательным блеском.

Несмотря на такой многолетний период времени, несмотря на то, что в течение этого периода много воды утекло, г. Лажечников всегда оставался верен самому себе, верен тем чистым и честным убеждениям, которые проходят сквозь всю его литературную деятельность. Пылкий и восприимчивый юноша двадцатых годов, восторженными красками изображавший любовь пламенного старца Волынского к цыганке Мариорице, он сделался пылким и восприимчивым старцем, восторженными красками изображающим радость по поводу разных предпринимаемых правительством мер для блага отечества.

Добро и зло, проходившие мимо него, не оставляли его равнодушным: первое встречало все его симпатии, второе волновало его. С этой стороны, г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов.

Мы не без намерения начали статью нашу воспоминанием о прошедшей деятельности г. Лажечникова, не без намерения обратились к его личности. Не в укор будь сказано критикам-эстетикам, современная русская критика, приступая к оценке произведений известного писателя, никак не может оставаться равнодушною к его личности или, лучше сказать, к тому живому нравственному образу, которого присутствие слышится в его произведениях. Может быть, это отношение критики к автору и не нормальное; может быть, оно и в самую оценку литературных произведений вносит известную долю пристрастия; может быть, оно даже отвлекает критику от прямой ее задачи и уносит совсем в другую сторону... все это очень и очень может быть. Но не надо забывать, что и вообще, и во всякое время критика современная не может быть критикою потомства, а тем менее это возможно в такое тревожное и горячее время, какое мы переживаем. Что там ни говорите, а сфера изящного точно так же следует своим историческим законам, как и всякая другая сфера человеческой деятельности; и она подлежит историческим колебаниям, и она фаталистически следует за интересами жизни и не над нею господствует, не ей предлагает готовое содержание, но сама у нее это содержание вымаливает. Недаром же самые рьяные служители так называемого искусства для искусства наперерыв друг перед другом стараются заявить, что и им не чужды общественные вопросы; недаром же, в настоящее время, ни один роман, ни одна повесть не смеют появиться в свет без какой-нибудь хоть крошечной, хоть невызревшей социальной тенденции; стало быть, иначе нельзя. Но если сам автор считает невозможным не приурочить себя к тому или другому общественному направлению, если сам автор громко вопиет: не смешивайте меня вот с такой-то и с такой-то личностью — я вот кто, вот мои убеждения, вот мое нравственное или политическое *я*, то тем менее возможно обойти это обстоятельство критике. Производительные силы литературы находятся в тревожном и напряженном состоянии — весьма естественно, что эта тревога, эта напряженность охватывает и критика. Автор стремится показать свету все, что у него накопилось на дне взволнованной души, а также и все, чего там не накопилось,— критик не имеет ни малейшего права не сказать своего слова об этом накопленном и ненакопленном; он должен самому взволно-

ванному автору разъяснить, почему одно накопилось, другое не накопилось. Тревожное время, тревожная литература, тревожная и критика. Конечно, нам могут указать на Шекспира, на Гомера — ну, да куда уж там с Шекспирами, когда мы имеем дело с гг. Тургеневым, Гончаровым, Писемским и проч. Указывать на Шекспира мог только Белинский, да и не по тому одному, что время, в которое он жил, было время шекспировское и интересы того времени были интересы шекспировские, но и потому, что он знал, как указать на Шекспира. Подите-ка, укажите таким образом, как указывал Белинский,— мы послушаем.

Следить за личностью автора по его произведениям дело очень интересное и поучительное. Иной вот так и сыплет либеральными речами, так и надрывается по поводу великих общественных болей — и все-то он врет, все-то он с чужого голоса раздражается. Критик совсем незнаком с автором лично, а видит, однако, что автор не своими словами с публикой беседует,— почему он видит? А потому что в критике (даже и в тревожном критике) есть тонкое некоторое чутье, которое поражается фальшью самою неприметною и заставляет его смотреть на отношения автора к описываемому им предмету с похвальною подозрительностью. Это тонкое чутье в сильной степени имеется и в публике: оно отнюдь не составляет монополии критика. Почему, например, так скоро потеряла кредит так называемая обличительная литература? А потому именно, что большая часть обличителей относилась к делу обличения неискренно; потому что между обличителями являлись большею частью такие личности, которые заливаются-заливаются всевозможными либеральными колокольчиками, да вдруг как гикнут... ну, и выйдет мерзость неестественная! «Эге! да вы гуси!» — скажет публика и бросит книжку под стол.

Вот этою-то драгоценною искренностью в замечательной степени обладает г. Лажечников. Он весь виден в своих произведениях; читая его, можно не соглашаться с его образом мыслей, можно даже находить его несколько наивным и отсталым, но нельзя не сказать: это писал честный человек; это писал человек, которому нечего скрываться и не для кого рядиться в шутовские одежды притворных радостей и своекорыстного скороудовлетворяющегося либеральничанья.

Например, г. Лажечников вполне уверен, что в настоящее время Россия представляет собой земной рай,— и я верю, что он искренно верит этому. Для него задачею всей его жизни, раем всех его помыслов было уничтожение крепостного права; как скоро событие это совершилось, то вместе с ним совер-

шилась вся задача его жизни, вместе с ним опустился на землю рай его помыслов. Он начинает писать роман и, изображая в нем горькое недавнее, не только верит, что это недавнее прошло, но каждой строчкой, каждой буквой так и говорит читателю: «Счастливец! ты наслаждаешься!» Описывает ли он губернатора нерадивого, губернатора, не чуждого лихоимства,— он прощает ему, ибо таких губернаторов больше нет. Описывает ли он городничего своекорыстного, готового, из угождения начальству, сделать всевозможное мерзкое дело,— он прощает ему, ибо таких городничих теперь нет. У него добро всегда торжествует, а зло наказывается, потому что для него добро разлито в воздухе, добром полнится вся земля русская. Он пишет и умиляется. Про него и про новый его роман можно сказать то же, что Дант сказал про кого-то из живописцев старой итальянской школы: рука, писавшая этот роман, от умиления дрожала.

По всем этим соображениям, мы исполняем нашу обязанность критика по отношению к г. Лажечникову весьма неохотно. Нам хотелось бы безусловно сочувствовать автору, нам хотелось бы, чтобы земля русская была преисполнена славою его имени, а вместо того приходится указать на некоторые ошибки, на некоторые увлечения.

Первою ошибкою нам кажется, что г. Лажечникову вздумалось писать роман нравоописательный. Быть может, мы и сами ошибаемся, но думаем, что такого рода роман ему не по силам. Его на каждом шагу смущают старинные традиции; он никак не может отделаться от старинных теорий построения подобных романов. Во-первых, изображаемые им лица разделяются на две половины: на добродетельных и плутов; добродетельные — добродетельны сплошь, плуты — плуты сплошь. Этого в природе не бывает. Природа благодетельна и предусмотрительна: она знает, что если бы злые люди были сплошь злыми, то они не только перекусали бы всех добрых, но даже пожрали бы самих себя. Что бы из этого вышло? род человеческий прекратился бы, и вместо радости, которой так радуется г. Лажечников, на земле царствовало бы безраздельное уныние. Природа этого не хочет и потому злодея наделяет некоторыми человеческими чувствами и слабостями, которые мешают ему пожирать самого себя, а добродетельного человека наделяет некоторыми человеческими заблуждениями, которые мешают ему обращаться в жидкость или надоедать своею добродетелью подобно мухе, сующейся и в нос, и в рот, и в глаза. Во-вторых, он наполнил роман свой секретами, и притом секретами столь прозрачными, что читатель приходит почти в озлобление. Так и хочется сказать всем

этим добродетельным людям, которых надувают злодеи: «Да что же вы, простофили, зеваете?» — но простофили продолжают себе зевать да зевать и поселяют в читателе чувство самое мучительное. Это нет нужды, что читатель наверное знает, что под конец плутни все-таки раскроются: хочется, чтобы они раскрылись поскорее, и именно потому хочется, что очень уж они просты. Завихрись несколько г. Лажечников в вымыслах фантазии, поведи он читателя куда-нибудь в подземелье или даже в водосточную трубу, как сделал недавно Виктор Гюго, читатель остался бы доволен; он говорил бы: что-то из этого выйдет? как-то Вальжан вывернется из своего анафемского положения. Но г. Лажечников в вымыслах фантазии не завихривается, а потому препятствия, которыми он угощает своих героев в продолжение романа, кажутся лишь препятствиями к скорейшему прочтению романа и не возбуждают тревоги в читателе, но поселяют в нем скуку. В-третьих, он и наружность своих героев описывает как-то по-старинному. У него, если человек имеет сердце прекрасное, то и наружность его прекрасная; если человек имеет природу паскудную, то и наружность его паскудная. Не то что, например, нынешние психологи-беллетристы: «она, говорит, была не красива, но на затылке у нее были три волоска, которые говорили о природе и силе», или «с первого взгляда она не нравилась, даже руки у нее были несколько красны, но когда она смеялась, то брови ее как-то так поднимались, что невольно приходило на мысль: а! да ты с душком!» Вот так пишите, г. Лажечников, и мы скажем, что вы тоже писатель с душком, а то для добродетельных черные волосы с синим отливом и темно-карие глаза, а для злодеев — бесовские взгляды и носы в виде пуговиц! Вспомните лермонтовского Демона, г. Лажечников; уж на что, кажется, ядовитее и безнравственнее — а какой красавец!

Все это делает роман г. Лажечникова несколько вялым и, главное, мешает высказаться лучшему его качеству — искренности, которая хотя и проглядывает мельком, но остается на втором плане. Пиши г. Лажечников свои мемуары, он не был бы стеснен ни Патокиными, ни Опенкиными, ни Изумрудными Крестиками: он имел бы дело с одною искренностью и, конечно, доставил бы читателям чтение занимательное, а не обременительное.

Но расскажем самое содержание романа.

Мы в уездном городе Луковках; перед нами богатое купеческое семейство Патокиных. Патокины давние купцы в Луковках, а фамилия их очень уважается; отец того Патокина, который действует в романе г. Лажечникова, был прозван

даже Патокиным-королем,— прозвище, которое, как известно, выражает в наших городах и высшую награду, и высшую лесть. Патокин-отец был человек мало образованный, но «щедрые дары природы: бойкий, светлый ум и необыкновенная энергия — вознаграждали его за недостаток образования». Характера он был необыкновенно твердого, но «под этою наружною броней билось сердце, готовое на всякое добро и помощь ближнему». Англичане про него говорили: такой негоциант сделал бы честь нашему отечеству. Русские царедворцы старого времени не гнушались его мнениями. «Не раз приглашаем он был высоким административным лицом на совещания по делам внутренней и внешней торговли, и не раз принимались его мнения, несмотря на шероховатость его речи, которую не простили бы другому». Ничего из этого, однако ж, не вышло; Патокину прощали шероховатость речи, а дел внутренней и внешней торговли не поправляли.

Итак, Патокин-король обладал светлым умом, энергическим характером, чувствительным сердцем и шероховатостью речи. По-видимому, в старые годы таких энергических характеров было великое множество: по крайней мере, старинного покроя романы то и дело изображают перед нами то премудрых бурмистров, то вдохновенных купцов, то даже простых крестьян, одаренных «щедрыми дарами природы». По-видимому, и царедворцы внимали им: «Садись, брат, потолкуем!» — говорили они и, по окончании разговоров, жаловали собеседников своих рюмкой водки. Однако дело не спорилось — отчего это? Мы думаем, что это происходило от того, что старинным нашим царедворцам во всех этих «сынах природы» не столько нравились «щедрые дары природы», сколько шероховатость речи, а преимущественно «толстые инвалидные бумажники», которыми они обладали. Приедет в Петербург сын природы, покажет толстый инвалидный бумажник — отчего же не дать ему и погрубить малую толику? Можно. Тем более можно, что за этим наружным грубиянством всегда скрывалась внутренняя улыбка; «дети природы» грубили на том же самом основании, на каком старик Державин «истину царям с улыбкой говорил». Это было зрелище не только не огорчающее, но даже увеселяющее; все равно как если б явился какой-нибудь grognon[1] медведь, который стал бы доказывать, что медвежью породу не истреблять следует, а напротив того, поощрять и награждать. Разумеется, ради чудодейственности факта, его выслушали бы, а породу медвежью все-таки продолжали бы истреблять.

---

[1] ворчун.

И еще на целый ряд мыслей наводят нас эти премудрые бурмистры, вдохновенные купцы и одаренные щедрыми дарами природы поселяне. Все они, по общему сознанию их изобразителей, люди, заменяющие образование шероховатостью речи. Обладая умом сообразительным и в высшей степени практическим, они полагают, что это качество делает образование совершенно ненужною и лишнею вещью. Такого рода самомнение свойственно почти всем людям русского мира; по крайней мере, мы встречаем его не только в мудрых бурмистрах и вдохновенных мещанах, но даже в мудрых и вдохновенных администраторах. По мнению этих администраторов, наука — вздор, человеческий опыт — пустяки, история — ряд засоряющих глаза человеческих заблуждений. От этого происходит множество самых пагубных последствий; во-первых, самомнение и непосредственно следующий за ним (когда опыт докажет, что это самомнение ни на чем не основанное) упадок сил; во-вторых, появление изобретений давно уже изобретенных, открытий давно уже открытых, новых истин давно уже сделавшихся старыми. Представьте себе, что некоторый вдохновенный администратор изобретает табличку умножения; правда, он дошел до этого собственным умом, правда также, что это не позволяет сомневаться, что он действительно одарен «щедрыми дарами природы», но ведь табличка умножения уже изобретена давно, ведь она уже составляет математическую азбуку... Администратору докладывают это, но он не приходит в отчаяние, он с новым рвением шествует по пути изобретений и изобретает... теорию уравнений, которая также давно изобретена. И таким образом проходит вся жизнь этих талантливых людей, заменивших образование — шероховатостью речи, а науку — глазомером и сметкою. Мы думаем даже, что здесь заключается действительная причина того, что на Руси так много мудрых бурмистров, которые занимаются отыскиванием perpetuum mobile[1] и квадратуры круга. Повсюду либо азбучность детская, до того детская, что на нее и смотреть-то иначе нельзя, как с точки зрения «диковинки», либо самая непроходимая астрология и алхимия.

К такому-то разряду людей принадлежал и король-Патокин. Сметка и глазомер не мешали ему делать страшные глупости. Во-первых, он грубил-грубил, да и догрубился наконец до того, что его куда-то сослали за грубости. Спас его от этого какой-то «старичок со звездою»; но последствия этого

---

[1] вечное движение.

происшествия были тяжкие: жена короля-Патокина лишилась рассудка; «голова ее начала трястись, мутные глаза часто останавливались на одном предмете; она помешалась на старичке со звездой». С тех пор, когда при ней упоминали о каком-нибудь дурном человеке, она говорила: «Бог его убьет; не придет старичок со звездой спасти его»,— когда же рассказывали о человеке добром, но несчастном, она не упускала прибавлять: «Молите бога, чтобы старичок со звездой пришел к нему на помощь». Вообще описание этого происшествия есть драгоценнейший перл старой дорафаэлевской манеры. Тут вы увидите и детей, ломающих руки, и почтенных дам, трущих виски и обливающих водой... Вы знаете, что все это давно уже изобретено Сумароковым, Херасковым и Карамзиным, но г. Лажечников не знает этого и думает, что изобрел все сам. Во-вторых, Патокин дает своему сыну самое нелепое воспитание. Ездивши, как говорит автор, «на собственном суденышке в Англию и наглядевшись на тамошний люд, он смекнул здоровым умом, что наука не только не мешает наживать деньгу, но еще находит для тех, кто умеет пользоваться ею, новые источники богатства». На этом основании отдает он своего сына в науку сначала к некоторому Карлу Карлычу, который, однако, его из пансиона своего выгоняет (разумеется, по несправедливостям, ибо, по теории г. Лажечникова, добродетельный человек, от чрева матери, должен терпеть несправедливости, пока, наконец, кротостью и терпением не препобедит их), а потом к помещику Стародубову. Этого Стародубова Патокин-король знает за величайшего дурака и беспутного малого, но за всем тем отдает ему сына потому только, что у Стародубова жена разумница. Разумеется, плоды являются горькие; юный Сережа «усваивает себе манеры сына богатого русского дворянина», то есть заводит свой смычок гончих и слушает «соблазнительные речи о крепостных Парашках и Матрешках». Патокин-король узнает об этом и, по энергичности своего характера, тотчас же отправляет сына доучиваться в Англию, где он и остается в продолжение нескольких лет. Но стародубовская школа уже сделала свое дело, и Сережа на всю жизнь остается в каком-то колеблющемся положении: с одной стороны одолевает стародубовское направление, с другой стороны надоедает направление английское.

Старик Патокин умирает, как и все вообще Патокины, то есть окруженный наемниками, которые крадут у него из-под подушки двадцать пять тысяч рублей. Наемники эти, Алешка и Елизар Опенкин, которые для совершения этого дела поджигают хозяйский дом, кротким манером умерщвляют ста-

рика Патокина, но не успевают задушить безумную жену его, а только накидывают на нее подушку.

Начало романа застает семейство Патокиных в следующем положении: Патокин-король умер, но после него остается безумная жена его, та самая, которая глядит на всё мутными глазами и в важных оказиях кричит: «старичок со звездой». Молодой Патокин уже женат, жена у него добрая и прекрасная дама, но вспыльчивая и самолюбивая, хотя все самолюбие ее выражается единственно в глумлении над мерзавцем Опенкиным да в том, что она сына своего хочет женить на генеральской дочери. Разумеется, что она имеет столь же прекрасную наружность, сколько и прекрасную душу; за ней даже сильно ухаживал в Москве добродетельный генерал Огрызков, и когда она ему наотрез сказала, что, кроме дружбы — ничего, то генерал не только не огорчился, но даже почувствовал к ней уважение.

Сам Сергей Семеныч Патокин нечто вроде кисляя, непрестанно колеблющегося между стародубовским и английским направлением; если б он знал, что может существовать еще направление «Русского вестника», составляющее именно середину между английским и стародубовским, он, разумеется, успокоился бы. Но «Русского вестника» тогда не было, и он поневоле находится между Опенкиным, который его надувает самым грубейшим и постыднейшим образом, и честным Джонсом, который хочет сказать хозяину о проделках Опенкина, однако не говорит (да почему ж ты не говоришь-то? мучительно спрашивает читатель).

Джонс добродетельный, и потому имеет наружность привлекательную и мужественную. «Он высокий мужчина, средних лет и, по атлетическому сложению своему, готов, кажется, поддержать на плечах своих тяжелый дуб, который свалила бы на него буря (есть время буре производить опыты над плечами Джонсов!). Румянец играет на загорелом, открытом его лице. Волны белокурых его волос падают почти до плеч (это у машиниста-то!). Полный подбородок утопает в белом батистовом платке с пышным бантом. Косматая грудь видна сквозь разрез рубашки тонкого полотна».

Напротив того, Опенкин — подлейшая тварь, а потому и наружность имеет подлейшую. Он «приходится Джонсу под мышку, тощ, тщедушен, истерт невзгодами жизни. Порыв ветра мог бы повалить его; в лице ни кровинки, глаза косят. Глаза эти кажутся то серыми, то желтыми с темными крапинками; взгляд его как бы двойственный: один наружный, мягкий, другой — бесовский, внутренний, выглядывающий из него. Ноги его — тощи, как жерди».

Сверх этого у Патокина есть сын Владимир, который замечателен тем, что однажды его вывели из «благородного» собрания за то, что он сын купца, а он решается смыть с себя это пятно и с этой целью определяется в военную службу. Кроме того, у него есть приемная дочь Дуня Изумрудный Крестик (одно название чего стоит!), которая добродетельна и потому тоже прекрасна.

Мать и жена Патокина, а также Джонс, Володя и Дуня Изумрудный Крестик представляют собой начало добра, Опенкин и сын его, а также тесть Опенкина представляют начало зла. И все это группируется около Сергея Семеныча Патокина, который сибаритствует себе, взирая, как добро борется со злом. Напрасно жена Патокина уверяет мужа, что Опенкин вор, напрасно безумная мать его, при виде Опенкина, «выпрямляется и грозит на него»:

«Злодей!.. пожар... украл много у моего друга... старичок со звездой мне сказал... в аду сгоришь!» — говорит старушка.

Но Патокин Сережа ничего не понимает и продолжает все больше вверяться мерзавцу Опенкину на том, вероятно, основании, что есть в мире добро и есть в мире зло; добро и зло должны бороться, а он, Патокин, должен на эту борьбу смотреть, как на приятное театральное представление.

Само собою разумеется, что Дуня любит Володю, и наоборот; разумеется также, что самолюбивая мать Володи сначала не соглашается на брак его с Дуней, а потом соглашается. И еще разумеется, что Дуня оказывается дочерью благородных родителей и под конец открывает своих родственников, которые весьма раскаиваются. Дуня эта выражается самым отборным образом; она занимается лечением бедных и много им помогает; она учит бедных детей грамоте и называет Джонса, по уши в нее влюбленного, не иначе как «мой старший брат»; вообще эта девчонка смешная и глупая, не потому чтобы глупо и смешно было учить детей и помогать бедным, а потому что она носится со всем этим, как неотвязная муха, и самые обыкновенные вещи делает, словно таинство какое совершает.

Между этими-то лицами завязывается драма, драма сама по себе очень незамысловатая, но затрудняемая различными пустяками. Поэтому мы драмы этой рассказывать не будем. Скажем только, что под конец Сергей Патокин делается совершенным банкротом, а имением его завладевает Опенкин, что все это не мешает Володе и Дуне сочетаться законным браком, что Алешка, укравший с Опенкиным двадцать пять тысяч рублей, отыскивается под именем лакея Румянцева и

во всем сознается и что Опенкин прекращает свою жизнь самоубийством.

Кроме этого, в романе есть несколько эпизодов. Есть эпизод о благонамеренном губернаторе, которого автор описывает так:

Богатство, конечно, не есть достоинство; честность в борьбе с бедностию, выходящая победительницей из этой борьбы, возвышает более личность человека, нежели честность того, которому стоит только пожелать, чтобы иметь. Но надо и это приписать к достоинствам графа, что богатство не испортило его. *Человек* он был прежде, чем сделался губернатором, и, сделавшись губернатором, остался *человеком*. Он не добивался этого места; ему предложили его. Он принял место не для того, чтобы стать выше других (он не был ниже их и прежде), а для того, чтобы стать в ряду людей, истинно полезных своему отечеству, и заплатить ему свой долг. Властью, которую получил, он ничего не приобретал, кроме большего круга для своей деятельности и власти делать добро, которого он не мог делать прежде. Место это не возвышало его ни в глазах других, ни в собственных глазах, как это бывает с ничтожными людьми, которые из пресмыкающихся, угождающих и добивающихся власти стараются, получив ее, вдруг вознаградить себя на других за долготерпение и унижение. Не имея нужды ломать голову о приобретениях, он мог употребить все свои труды, все помыслы единственно на исполнение своих обязанностей.

Граф даже с мелкими чиновниками обращался вежливо и никогда не позволял себе нарушать общественного приличия в отношении к своим подчиненным, даже обвиненным... Не гремел он возгласами против взяточничества, не произносил изречений о долге и чести, которые можно найти даже в любой прописи, но имел особенный такт заставить зло спрятаться или притаиться в своих норах, а это уж большой шаг вперед на пути служебного прогресса. Все это без шума, без крика, без письменных выговоров, к которым так привыкли начальствующие лица, а подчиненные так пригляделись, как будто бы их потчевали каждую почту по ложке микстуры... Проглотят, поморщатся, махнут рукой и опять примутся за прежние проделки до новой ложки. Всякий проситель, кто бы он ни был, дворянин, купец, крестьянин, имел к нему скорый доступ. Он не *конфузился* в минуты трудных обстоятельств и отстаивал спокойно и энергически правое дело и правых людей, хотя бы громы над ним гремели. Форма для графа мало значила, он смотрел на дело. В своих сношениях с низшими местами и лицами он не предписывал строжайше, а *просил;* но знали эти места и лица, что просьба его важнее всех строжайших предписаний. Его боялись, хотя и не был он грозен по наружности. Знали, что его нельзя подкупить ни лестью, ни угождениями, ни даже точным исполнением формальностей, но знали также, что человек, сделавшийся ему известным бесчестным поступком, не получит пощады, хотя б за него были исправное ведение делопроизводства и покровительство всех сильных мира сего. Честных, благородных сослуживцев, как он называл их, отличал особенным своим вниманием, публично выражаемым. Граф подавал свою чистую руку таким людям, хоть бы они не считались выше 10-го класса, и приглашал их на свои торжественные обеды, между тем как на этих обедах не видать было иного статского советника. Рассказывают, что жена одного дивизионного генерала, женщина очаровательная во всех отношениях, узнав, что не приглашен на такой обед советник какой-то палаты, покровительствуемый ею за то, что должна ему была, и за то, что он составлял почти ежедневную карточную партию с ее мужем, умоляла графа обратить гнев

на милость и снять опалу с ее protégé. Граф, хотя и поклонник прекрасного пола, объявил генеральше, что он готов все для нее сделать, но отступиться от своих правил не может. Он умел окружить себя избранными людьми, честными и дельными, большею частию университетскими кандидатами, хотя и не с великосветскими манерами и аристократическими именами. Небольшие оклады их он щедро дополнял из своего жалованья, в котором только расписывался. Достойнейших старался он возвысить и по служебной иерархии.

Есть эпизод о губернаторе лукавом, которого г. Лажечников описывает так:

Послышался звонок, затем суровый голос из кабинета: «Луковского голову!»

Патокин вошел.

Начальник сидел в креслах, у письменного стола, против двери, под портретом современного министра и еще какого-то знатного господина. Портрет бывшего министра был удален на более скромное место.

Он не мог не видеть прихода Патокина, но, для вящего эффекта, углубился в писание, бросая на бумагу дикие взгляды, которые должны были отпрыгнуть на сердце головы.

Жесткие черты шафранного лица, жесткие волосы, вставшие щеткой, злой взгляд — все это было уже знакомо Патокину. Пробегая про себя написанные строки, он неприятно чмокал губами. Так продолжалось несколько минут. Наконец Патокин осмелился прервать молчание.

— Честь имею явиться, луковский голова,— сказал он.

— Слышу и вижу,— отвечал сурово начальник и насупил юпитеровские брови.

— Скажи мне, пожалуйста,— продолжал он, когда достаточно потомил своим взглядом Сергея Семеновича, будто кошка свою крылатую жертву, пока не бросится на нее и не вонзит в нее своих когтей,— что у тебя за история на фабрике? Ты держишь у себя беспаспортных людей. Знаешь ли, чем это пахнет? Восточным воздухом, сударь. Не посмотрят, что на тебе навешаны медали и крест.

— Все люди, которых я имею на фабрике,— отвечал Патокин,— снабжены законными видами.

— Так-с, законными?.. писанными на простой бумаге? Это явный подрыв государственным доходам.

— Закон дозволяет помещикам выдавать такие виды своим людям, отпускаемым в заработки на тридцативерстное расстояние.

— Землемер нашел с лишком тридцать две версты.

— Мы не имеем возможности поверять расстояния и должны верить помещикам.

— Хорошо, мы увидим. Закон впереди всего. Я ничего тут не могу один, своим лицом; есть на то коллегия... Завтра решение состоится; тебе объявят. До свидания.

Начальник кивнул и стал опять писать.

Патокин поклонился и вышел.

Есть еще эпизод о лукавом городничем, о лукавой губернаторше и о некоторой легкого поведения даме, г-же Можайской. Все это представляет положительно детское упражнение.

Из этого читатель видит, что мы не можем сказать ничего особенного о новом романе г. Лажечникова, кроме того, что автор одушевлен прекрасными намерениями.

Мы надеемся, что автор не посетует на нас за эту откровенность.

Он простил лукавого губернатора, он простил лукавого городничего. Он простит и нас.

КРЕМУЦИЙ КОРД. Соч. Н. Костомарова. СПб. 1862 г.

Сочинение г. Костомарова не принадлежит к той тесной области искусства, которая называется беллетристикою. Это просто сделанное в драматической форме историческое исследование царствования римского императора Тиверия, который довел тиранию до той степени утонченности и подозрительности, что даже напоминание о старом Риме считал личным оскорблением, могущим привести к невыгодным для него сравнениям. В этом смысле труд, предпринятый г. Костомаровым, исполнен им весьма добросовестно. Историк Кремуций Корд обвиняется в том, что в сочинении своем «Анналы Римской республики» написал похвалу Бруту и, говоря о Кассии, употребил выражение, что он был последним из римлян. Отыскиваются наемные обвинители; жертва заранее облюбована и заранее обречена, но Тиверий хочет, чтобы она была обречена на законном основании. Напрасно Кремуций Корд оправдывается примерами Тита Ливия, Азиния Павлиона, Мессалы Корвина, которые тоже называли Брута и Кассия «людьми знаменитыми»; напрасно говорит, что он историк, только историк, а не политический человек,— сенат осуждает его на бессрочное тюремное заключение. Кремуций Корд не выносит этого и предпочитает смерть неволе; он отказывается от пищи и на десятый день испускает дыхание, произнося: «Скажите Тиверию, что история отомстит за историка».

Но дело не в факте, на котором построена драма, дело в подробностях, рисующих римскую жизнь того времени. Вот как изображает тогдашнюю правительственную тактику любимец Тиверия, Сеян, обращаясь к Юнию Вибию, явившемуся с доносом на своего отца, которым этот последний обвинялся в заочном оскорблении Сеяна:

Ужасные, потрясающие душу клеветы достойны, без сомнения, примерного наказания. Я должен представить твой донос цезарю. Но, восхваляя твое усердие, мой друг, я не могу воздержаться, чтоб не сделать тебе упрека. Ты сделал примерное дело, не жалея и родного отца для блага отечества, но... ты наполнил грудь мою тоскою. Я не мстителен от природы и

склонен более простить отца твоего, чем преследовать; но, к несчастию, дело, касаясь меня, касается целого отечества, и тяжелый долг заставляет меня подавить врожденную наклонность — забывать обиды. Впрочем, я все-таки постараюсь облегчить своею просьбою у государя участь отца твоего. *(Обращается к Сатрию*[1]*.)* Похвально служение музам, а еще похвальнее, когда с ним соединяется служение отечеству. Рим полон разврата, лихоимства и тайных замыслов против общественного порядка. Искоренять плевелы есть дело достойное каждого верного сына отечества,— также и поэта. Видишь ли, каков Вибий? Для цезаря и отечества он не пожалел и отца родного: вот пример, который я поставлю для подражания всем молодым гражданам Рима. Ты — поэт, бываешь в кругу поэтов, ученых, софистов; между ними много злонамеренных; будучи незамечаемы правосудием, они втайне, как змеи, извергают яд своих мнений; обнаруживать их заранее и лишать возможности причинять дальнейший вред обществу есть дело важное и спасительное. *(Обращается к Пинарию.)* Ты — историк и часто бываешь, конечно, между своими собратьями; к сожалению, они мало оправдывают покровительство, оказываемое императором искусствам и их служителям. Например, мне попадается в руки история, под названием — Анналы Римской республики, Кремуция Корда... просто вещь возмутительная! Автор хвалит злодея Брута и называет убийцу цезаря, божественного Юлия, Кассия — последним из римлян! Каково?! Да за это одно следовало бы отрубить руку, которая осмелилась написать подобные выражения! Вся эта история, с начала до конца, наполнена — если не явно преступными, то двусмысленными выражениями и неуместными похвалами прежней свободе, а следовательно — неблагорасположением к настоящему порядку вещей. Цезарь не любит этих возгласов о свободе и правах гражданских, о славе старого Рима, под которыми обыкновенно стараются укрыть возбуждения к необузданности и безначалию. Без сомнения, за подобные выходки Кремуция Корда следовало бы предать суду сената. Злодей, которого преступные намерения не вполне раскрыты, получит ничтожное наказание и — станет еще дерзновеннее. Справедливость требует, чтобы все тайные замыслы неблагонамеренного человека были обнаружены, дабы можно было истребить, так сказать, самый сок зла. Без сомнения, если Кремуций Корд, дерзнув написать подобные строки в своей истории, нагло похвалил убийц Юлия Цезаря, то, конечно, питал злобу к императору и существующему порядку вещей. Надобно доказать это яснее. Император желал бы, чтоб вся тайна души этого зловредного человека была обнаружена... разумеется, сообразно строгой истине и нимало не примешивая клеветы, которая наказывается более всех преступлений.

А вот как сам Тиверий отзывается об отношениях своих к власти и ее наслаждениям.

Видеть глупость целого народа, глупость тысячей, чувствовать себя выше их и умнее... да!.. Я преследую благородного человека и уверяю всех, что он негодяй,— и все верят этому и величают меня добродетельнейшим и справедливейшим. Ты не раз упрекал меня, зачем я слишком много даю воли сенату, зачем оставляю следы старой республики; ты даже советовал мне — с помощию войска утвердить самовластие. Ах, Сеян! Ты знаешь, что приятнее приготовляться к наслаждению Венерою, нежели тогда, когда

---

[1] Дело происходит в присутствии поэта Сатрия, пришедшего к Сеяну с тетрадью поздравительных стихов, и историка Пинария Натты, которого обязанности заключаются в переделке римской истории так, чтоб она не оскорбляла ни Тиверия, ни Сеяна. Прим. ред. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

уже насытишь страсть свою; приятнее ловить зверя на охоте, чем поймать его... Только голодный пролетарий-волк, поймав добычу, снедает ее; благородный тигр, прежде чем задушить ее, потешится над нею, выпустит ее из лап, будто дает ей свободу, но потом бросится за нею и опять накроет убийственною лапою. Я не хочу сразу уничтожить свободу Рима: я люблю — уничтожать ее! Эти проблески сопротивления моей власти, эти порывы пылких душ, легко уничтожаемые доносами и раболепным судом,— как это мне нравится! Здесь есть какая-то борьба, в которой я чувствую себя победителем. Мое положение подобно положению страстного игрока, которому всегда везет счастье в игре... А стая доносчиков, которые мне служат, стараются отличиться подлостью, а потом нередко губят самих себя тем же оружием,— ах, как это весело, как это забавно! Римский народ глупеет, подлеет, сам того не замечая; один я это замечаю; один я разумею, что благородно, что низко; один я уважаю тех, которых преследую, и презираю тех, которым благодетельствую; я чувствую, что я выше всех, потому что вижу истину, обманываю всех и имею право смеяться над всеми. Уже в Риме мало остается благородного и высокого: я начинаю стравливать доносчиков между собою; а когда эти собаки перегрызутся и заедят друг друга,— я отпущу узду своей власти, дам римлянам подышать свободнее, начну покровительствовать литературу, любовь к истине, для того, чтобы снова явились люди, а не бессмысленные скоты, для того, чтобы снова было кого истреблять. Это — охота...

Трудно поверить, чтобы могли быть такие времена! А между тем они были: в том убеждает нас летопись Тацита.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПОЧЕРПНУТЫЕ ИЗ МОРЯ ЖИТЕЙСКОГО. ВОСПИТАННИЦА САРА. А. Вельтмана. Москва.

Болтливость, да еще старческая болтливость — вот порок, которого не могут искупить никакие добродетели, потому что в болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков. В самом деле, если вам случалось встречать, благосклонный читатель, так называемых «любезных старичков», которые и молодыми людьми были любезны, и в пожилых летах были любезны, и в старости считают себя обязанными быть любезными, то, конечно, вы испытывали на себе тяжелое впечатление, производимое тою болтливою распущенностью, в которой преимущественно проявляется утонченная старческая любезность. Вы чувствуете, что тут есть какое-то ярмо, нечто вроде крепостной зависимости; вы чувствуете, что стоящий перед вами «старичок» хотя и мнит себя свободным, но в сущности далеко не свободен, что каждый шаг его связан фантомом любезности, что если он без умолку болтает, то не потому, чтобы ему было о чем болтать, а потому только, что он прежде всего связан желанием «нравиться» и «занимать». Грибоедов мастерски воспроизвел этот тип в своем бессмертном Репетилове. Это совсем не преднамерен-

ный лгун, не хвастунишка по профессии; это просто любезный человек, который потому и лжет и хвастается, что уж очень любезен. Это просто человек, который не хочет, чтобы об нем отзывались, что он «скучный» и что «не знаешь, чем его занять», и который, напротив, всеми силами добивается, чтобы каждый хозяин или хозяйка дома, в котором он имеет честь быть гостем, говорили об нем: «Мы мсьё Репетилова не занимаем! мы знаем, что он и сам найдет, чем занять себя!»

Что за болтливостью непременно должна скрываться ложь, в этом не может быть ни малейшего сомнения. Поставив себе непременною обязанностью болтать без умолку, неугомонный болтун, по необходимости, не может довольствоваться миром видимым, действительным. Этот мир тесен для него, да притом же, вследствие некоторой ограниченности воззрений, он исчерпывается им в каких-нибудь два сеанса. После этого болтуну остается одно из двух: или повторяться, или делать набеги в область вымыслов. Повторяться нельзя — не будешь забавен (а это главная цель, из-за которой хлопочут болтуны); стало быть, остается прибегать к вымыслам. И тут-то начинается то раздражающее нервы театральное представление, в котором что ни слово, то фальшь, что ни слово, то противоречие, что ни слово, то забвение старого слова, непосредственно ему предшествующего. На первых порах это бывает забавно, то есть забавна собственно не болтовня, а личность болтуна, но очень скоро и она надоедает; не только надоедает, но даже поселяет какую-то ненависть к себе; вы видите болтуна, еще издали направляющего к вам шаги, и уже принимаете меры, чтобы скрыться от него; вы отказываетесь от интересной беседы, вы отказываетесь от еды, лишь бы не быть под одной кровлей с болтуном; если бы не было другого способа скрыться от него, как пролезть сквозь подворотню, вы не задумались бы и к нему прибегнуть. А болтун видит это и удивляется; он удивляется тому, что вот он такой любезный, так старается нравиться и занимать всех, и в ответ на это встречает одну неблагодарность, одно холодное, почти враждебное чувство...

Из всех видов болтовни, несомненно, самый ужасный — болтовня литературная. Болтуна устного есть возможность избежать; болтуну устному можно сделать отеческое увещание, с ним можно, наконец, раззнакомиться, можно перестать ему кланяться, даже высунуть язык; но какое средство освободиться от болтуна печатного, который стремится заболтать не Ивана, не Петра, а целые тысячи индивидуумов? Не читать его — нельзя, потому что он заявляет себя перед вами, как продукт известного общественного строя, как факт психологи-

ческий, а пожалуй, и политический; не говорить об нем — опасно, ибо надо предостеречь простодушных, которые, без этого, и впрямь, пожалуй, поверят, что «царь фараон каждую ночь из Чермного моря выходит», как выражается достолюбезная Устинья Наумовна в комедии Островского «Свои люди — сочтемся».

Это болтовня хладная, вроде тех «восторгов хладных», о которых некогда упоминал Пушкин. Предмет ее не только чужд болтуну, но даже за минуту перед тем был ему совершенно неизвестен. Он и в эту минуту не знает, о чем будет болтать в следующую; он ищет и просит сюжета. «Дайте мне только сюжет,— говорит он,— а уж я изболтаюсь на нем!» Дадут ему сюжет — он будет болтать плавно, с соблюдением грамматических и синтаксических правил; не дадут ему сюжета — он болтать перестанет, но шевелить во рту языком все-таки будет.

Верховным жрецом литературной болтовни заявил себя покамест известный московский публицист Н. Ф. Павлов. О чем не писал этот знаменитый писатель! И о чиновничестве, как о неизбежном признаке и спутнике общественного бессилия, и об отношениях г. Григорьева к Грановскому, причем выказал изрядное знание восточных языков, и о бесполезном посыпании песком московских тротуаров во время летних жаров. То было время, когда Н. Ф. Павлов был ревностным вкладчиком «Русского вестника» и когда сюжеты задавал ему М. Н. Катков. Теперь Н. Ф. Павлов добалтывается в «Нашем времени»; не знаем, кто задает ему сюжеты, но руководит его г. Чичерин.

Да простит нам г. Вельтман, что все эти размышления пришли нам в голову именно по поводу нового романа его. Хотя мы отнюдь не думаем и не желаем приравнивать его к Н. Ф. Павлову, тем не менее должны сознаться, что сочинение его представляет образец самого невинного переливанья из пустого в порожнее.

Пусть, в самом деле, представит себе читатель, что в нем идет дело о каком-то русском князе, который законную и любимую свою дочь отдает на воспитание привилегированной повивальной бабке Викторине, живущей в одном из самых темных захолустьев Москвы, что эту дочь подменивают и что все это наконец открывается, не потому открывается, что должно открыться, а потому, что так того хочет автор. Кроме того, тут есть еще карлик Митя, который проливает слезы умиления и чуть не падает в обморок от удовольствия быть крепостным карликом. Происходит невинная путаница, в продолжение которой автор хочет обмануть читателя, а читатель не

поддается обману, ибо видит автора насквозь. Проходят перед глазами Иваны Артемьичи, Марьи Ивановны, Авдотьи Петровны сверкает шпорами гусар Лонский — и ничему этому читатель не верит, ничем не заинтересовывается, потому что знает, что автор не взаправду об этом пишет, что никогда нигде ничего подобного не случалось, да и случиться не может. Не болтовня ли это? и не грех ли нарезать из бумаги мужчинок и женщинок, да и заставлять их участвовать в какой-то человеческой комедии перед лицом недоумевающей публики?

Впрочем, у г. Вельтмана в новом романе есть-таки одно живое лицо — это Потап Савич. Конечно, он не более как повторение Репетилова, но он стоит перед нами, как живой, с своими подмаргиваниями, с своею сладостною болтовнею, с своею угодливою иронией, сквозь которую, однако ж, просачивает полный нравственный цинизм. Он так, кажется, и говорит вам: «Вы не смотрите, что я как будто благоговею перед чем-то, как будто преклоняюсь; коли хотите, я, пожалуй, и наплюю на все эти святыни, перед коими сейчас благоговел!» Так и ждешь, что вот-вот он возьмет в руку перо да и сделается публицистом!

Да, это создание мастерское, и г. Вельтман заслуживает за него полной благодарности.

СТИХИ ВС. КРЕСТОВСКОГО. 2 тома. СПб. 1862 г.

Способностью раздражаться чужою мыслью, чужими действиями отнюдь не следует пренебрегать, ибо она дает нам второго сорта литераторов, второго сорта философов, второго сорта публицистов, второго сорта администраторов, второго сорта полководцев.

Известно, что подвиги Александра Македонского воспламеняли не одного учителя уездного училища, который горячностью своею дал повод Сквознику-Дмухановскому сказать: «Конечно, Александр Македонский великий человек, но зачем же стулья ломать?», но и многих молодых офицеров, из которых нередко образовались со временем изрядные второго сорта полководцы.

Известно, что, например, Кодекс Наполеона воспламенил множество европейских правительств, которые наперерыв спешили ввести нечто подобное в управляемых ими государствах, и хоть это были кодексы второго сорта, но всё же были кодексы, а не разбросанная какая-нибудь дребедень.

О философах и публицистах второго сорта нечего и говорить: этих господ расплодилось до того много, что нынче даже

«Московские ведомости» имеют своего публициста в лице М. Н. Каткова, даже «Русский вестник» обладает своим философом в лице г. Юркевича.

На этот раз мы будем говорить о второго сорта поэтах, тем более что г. Вс. Крестовский, издав свои «Стихи», представляет нам весьма удобный для этого случай.

Повторяем: способность раздражаться чужою мыслью есть способность весьма полезная; но не следует притом упускать из вида, что процесс этого раздражения может происходить тремя путями. Иногда раздражение является в виде преемства мысли; здесь чужая мысль служит только исходным пунктом, из которого усвоивший ее идет далее, то есть не только развивает чужую мысль, но претворяет ее в свою собственную; здесь чужая мысль служит только поводом к пробуждению внутренней самодеятельности человека, и затем дальнейший процесс развития мысли представляется уже процессом постоянного взаимодействия. В этом смысле, Пушкин раздражался Байроном, но это не мешало ему быть вполне самостоятельным, не мешало создать «Русалку», «Галуба», «Медного всадника» и множество других произведений совершенно национальных, не мешало ему даже там, где он является совершенно под влиянием чужого миросозерцания, как, например, в «Подражаниях Данту», быть господином своего образца и полным хозяином своей мысли. Иногда раздражение чужою мыслью действует на человека оглушающим образом, поражает его до такой степени, что отнимает всякую возможность и охоту мыслить и действовать иначе, нежели мыслит и действует образец. В этих случаях раздражение объемлет не только содержание, но и форму мысли, не только действия поразившего нас героя, но и самую личную его обстановку, самые его привычки: манеру причесываться, ходить, держать руки, манеру одеваться. Кто из нас не помнит, какой в этом смысле переполох произвел даже в нашем обществе Наполеон I?

На нем трехугольная шляпа...—

декламировали мы на все лады, принимая грустно-величественные позы и складывая на груди крестом руки. Владимир Рафаилыч и Рафаил Михайлович Зотовы так-таки даже и отгравировали себя с сложенными на груди руками. Этого рода раздражение чужой мыслью в особенности часто встречается в области администрации, во-первых потому, что чужая мысль, действующая на практике, сделавшаяся, так сказать, живым организмом, оглушает человека могущественнее, нежели мысль, витающая в сферах идеальных; а во-вторых, и

потому, что в области администрации раздражение чужою мыслью представляет самый легчайший способ управления: возьми Кодекс Наполеона, переведи его на немецкий или итальянский языки — и дешево и мило! Конечно, это будет кодекс второго сорта, но нам-то что до этого за дело! Мы устроили свою маленькую штучку, а там и с колокольни долой — пусть распутывают те, которым суждено быть нашими наследниками! Нас, собственно, увлекает то, что очень уж мил Фиален Персиньи — вот мы и одеваемся à la Persigny, и причесываемся à la Persigny, и так же величественно-благородно-холодно держим себя, как Фиален Персиньи! А на наше место поступит кто-нибудь другой, которого увлечет генерал Еспинасс и который будет одеваться à la Éspinasse, причесываться à la Éspinasse и так же добродушно-горячно-карательно держать себя, как Еспинасс. Так оно и пойдет кругом: сегодня Фиален Персиньи, завтра Еспинасс, послезавтра опять Фиален Персиньи, потом опять Еспинасс; как в древние времена Тьер да Гизо, Гизо да Тьер — фу ты черт! да и дошли полегоньку до 24 февраля 1848 года! Вероятно, подобного же рода раздражение происходило в то время, когда на русский язык переводились шведские законы; что эти законы сделались законами второго сорта, в этом нам служит ручательством то, что они и доныне представляют мертвую букву. Вероятно, то же самое случилось бы с нами, если б мы вздумали переводить на русский язык Кодекс Наполеона, или, например, целиком пригонять законы о книгопечатании, написанные Наполеоном III на пользу свою. Наверное, то были бы законы второго сорта. Но и в области изящной литературы встречаются примеры подобного раздражения чужой мыслью. Вспомним, например, школу Гоголя; мало того что она всемерно старалась выдавить из себя что-нибудь очень смешное, но даже принялась рабски копировать у Гоголя самую его манеру писать. И всего досаднее то, что подобные благоприятели всегда раздражаются одною слабейшею стороною своего образца. Например, Гоголь сам признавал, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» — самое слабое из всего им написанного: ими-то именно и раздражались поклонники. Этого недостаточно; в самых «Вечерах» есть вещи первоклассного достоинства: есть прелестная Оксана, есть достолюбезный Иван Федорыч Шпонька — поклонники увлеклись не ими, а надоедливым «Пасичником», а дьячком села Диканьки, а тем, что была у пасичника тетрадь, да жена его употребила последние листы для того, чтобы печь на них пироги. И было тогда на Руси великое наводнение смешных повестей, рассказывавших о том, как свинья, подслушав разговор двух любовников, ута-

щила у одного из них свитку (раздражение по поводу «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорычем»), о том, как ехала баба на возу и ругалась, и как в это время у лошади ее некто отрубил хвост по самую репицу (раздражение по поводу «Сорочинской ярмарки»)... Наконец, есть третий способ раздражения чужою мыслью — самый последний способ и самый опасный. Он составляет нечто среднее между первым и вторым; человек овладевает чужою мыслью, чужим типом, рабски придерживается их, но не хочет сознаться в этом, а хочет показать, что он сам первого сорта деятель, что он сам может создать лухмановские картоны Рафаэля. Для достижения этой цели он к чужой мысли, к чужому типу подмешивает своего собственного естества, сдабривает их своим собственным запахом. Писатели и деятели первого сорта всего более должны опасаться такого рода подражателей, ибо они имеют талант сразу убивать всякую новую мысль, всякое новое направление, доводя его до крайностей и делая из него карикатуру. Можно подумать даже, что тут присутствует умысел: до того оно иногда игриво выходит. Эти подражатели редко восходят до первоначальных оригиналов; большею частью они привязываются к таким же подражателям, как и они, но сохранившим в некоторой чистоте дух первоначального оригинала, и таким образом делаются писателями не второго, а уже третьего сорта, далее которых идет уже бессмыслица, идет толкучий рынок и холуйско-мстёрская школа живописи. В этом последнем развитии всякая свежесть первоначального оригинала окончательно пропадает, а остается лишь собственный запах, запах ужасный, напоминающий Петрушку...

Положимте, например, читатель, что вы чувствуете в себе охоту раздражиться Майковым. Вы берете его стихотворения и наслаждаетесь: какие-то там все груди сверкающие, да спины круглые — любо! И вот вы берете перо и пишете

Фрина

У Фрины пир. Давно Афины
В тиши уснули мирным сном,
Лишь у одной развратной Фрины
Огнями блещет шумный дом.
Вокруг стола, налив потёры
Вином душистым, все в цветах,
Едва прикрытые гетеры
Лежат на пурпурных коврах...

Все это точно так, как и у Майкова: и «потёры», и «гетеры», и «пурпурные ковры» (известно, что можно раздра-

жаться не только по поводу хороших мыслей, но и по поводу хороших слов), но каким же образом поместить тут что-нибудь такое, что не слишком бы смахивало на подражание? А вот как:

И кто-то вдруг, для смеха, шляпу
Его (архонта) надел на плешь Приапу...

Потом опять как у Майкова:

На блюдах третью перемену
Рабы азийские несут,
И гости шумные на сцену
Плясать танцовщицу зовут...

Ибо известно, что греки только и занимались тем, что взирали на сверкающие груди, гладили круглые спины и забавлялись с гетерами, «лежа на пурпурных коврах». Является «харита лесбиянка».

Она танцует и сжигает
Огнем любви мужей и дев;
То вдруг летит, то замирает
Под ионический напев...

(желательно бы слышать этот «ионический напев»; что, если он был чем-нибудь вроде: «выйду ль я на реченьку»?). Как тут опять ввести что-нибудь свое, оригинальное? Очень просто: нужно заставить Фрину возгореть ревностью к некоему Гипериду, который

. . . . пляску
Очами страстными следит...

и заставить ее сделать следующую неслыханную штуку:

Все гости пляске рукоплещут,
Гетер вниманьем не даря,—
И взоры Фрины пылко блещут,
Лесбосской страстию горя;
И, подзывая лесбиянку,
Она ей лечь с собой велит,
И всех на новую приманку
Коварно дразнит и манит...

«Ах!» — произносит читатель, прочитывая эти неслыханные строки; мы же, с своей стороны, думаем о том, в какой гнев должен был войти г. Майков, встретив ужасный стих

Гетер вниманьем не даря...

Ведь это все равно что встретить в стихе словечко, вроде «тово», «таперича», «тововонокаконо». Приятный жанр скрытной клубнички, которого тайною обладал доселе один

г. Майков, вдруг разрушен и уничтожен окончательно откровенным и хладным прикосновением к нему г. Вс. Крестовского! Да, нет сомнения, это те же самые хладные восторги, которые некогда прикрывались пышными ризами и которые теперь откровенно говорят:

И, подзывая лесбиянку,
Она ей лечь с собой велит,
И всех на новую приманку
Коварно дразнит и манит...

Вот и все содержание этой, хладной «поэзии». Г-н Майков обманывал нас; г. Вс. Крестовский усугубил обман — и вывел из заблуждения, как это всегда случается, когда хотят усугубить обман или очарование (это в особенности часто встречается в области администрации, когда пустоту и неумытость действительности хотят затемнить посредством приятных манер).

Но Майкова вам мало, вы хотите пройтись по части испанских романсов (кто писал испанские романсы из русских поэтов? но кто не писал их? Петр Исаич Вейнберг! вы не писывали ли испанских романсов?).

И вот вы пишете на белом листе: «Гитана».

Сначала все идет изрядно, то есть настолько изрядно, насколько это возможно испанской жгучести в переводе на русские «хладные» восторги. Но вот является на сцену нищий и просит у гитаны денег и хлеба.

Просит в песне, ради неба,
Говорю ему я: «Брат!
Нет ни денег, нет ни хлеба
В этой роскоши палат.
Но взамен грошей да пищи
Есть лобзанья без ума,
Прелесть тела — хочешь, нищий,
Вместо хлеба — я сама!»

Мало вам «Гитаны» — вот вам «Затворница». Эта женщина с первых слов объявляет:

Запретный плод, как яд, и жгуч, и сладок;
А я одна
Вникать во смысл таинственных загадок
Обречена.

Сего недовольно. «Вникать во смысл таинственных загадок» одной скучно,— и вот затворница идет в сад.

И меж могил, где тень дерев неясных (?)
Мрачней легла,
Одну из нас — моих сестер несчастных —
Я там нашла.

Она, как я, тайком сюда бежала
С огнем в крови;
Она, как я, томилась и страдала,
Моля любви.

И поняли без слов мы взором счастья
На дне души (?),
Что обе мы так полны сладострастья,
Так хороши...

И с грудью грудь слилась в объятьях жгучих —
И плеском струй
Был заглушен в тени кустов пахучих
Наш поцелуй.

И каждый раз приходим на свиданье
Мы с ней с тех пор,
Хоть, может быть, за грешный миг желанья
Нас ждет костер.

«Ах!» — восклицает читатель, но восклицает не потому, чтобы лесбийская поэзия была противна ему, а потому, что она так прозаически, так голо, так пахуче-просто выражена. Читатель негодует, потому что перед ним происходит не история любви, с ее жгучими порываниями и стыдливыми возвратами, а только простой и несложный процесс плотского вожделения.

Г-ну Фету посчастливилось несколько более; потому ли, что в стихотворениях этого поэта в самом деле преобладает невинная, несколько балетная грация, а не античный клубницизм, только и в подражаниях ему поползновение к клубничке сказалось с меньшею наготою. Вот лучшие стихотворения в фетовском роде:

I

На груди моей Миньоны
Я хотел бы отдохнуть,
Чтоб под жаркою щекою
Колыхалась эта грудь,

Чтоб подслушало бы ухо
Шепот сердца твоего,
Чтобы сердце рассказало,
Сколько счастья у него. (Стр. 106.)

II

Мать в сердцах меня журила:
«Я ль тебя не зарекала,
Чтоб любви ты окаянной
Пуще полымя бежала —

Да родительский зарок,
Видно, был тебе не впрок!»

— Мама, мама! что ж мне делать!..
Я сама ее боялась,
Да она-то во светлицу,
Не спросясь, ко мне врывалась

Сквозь окошко, майским днем,
С каждым солнечным лучом.

Я бежала из светлицы,
В темный сад от ней бежала,—
А она мне тихим ветром
Все лицо исцеловала,

И от мамы в ту же ночь
Увела тихонько дочь!.. (Стр. 114.)

III

Здесь-то, боже! сколько ягод,
Сколько спелой земляники!
Помнишь, как мы, ровно за год,
Тут сходились без улики?
Только раз, кажись, попался
Нам в кустах твой старый дядя,
И потом, когда встречался,
Все лукаво улыбался,
На меня с тобою глядя... (Стр. 120.)

Даже русские сказки — и те могут произвести раздражение пленной мысли. Для этого стоит только вспомнить нечто из слушанных в детстве сказок и изукрасить слышанное некоторыми внешними принадлежностями псевдонародной поэзии: рябинушку назвать разрябинушкой, почаще употреблять вводные словечки «что уж», «а и», «уж и» и т. д.

Как хотите, а это жалко. Потому что, в сущности, ведь г. Вс. Крестовский все-таки писатель не без таланта. В этом нам служат порукою как приведенные выше три стихотворения в фетовском роде, так и в особенности стихотворение «Теремок», которое вполне хорошо.

ГРАЖДАНСКИЕ МОТИВЫ. Сборник современных стихотворений, изданный под редакциею А. П. Пятковского. СПб. 1863.

ПЕСНИ СКОРБНОГО ПОЭТА. СПб. 1863.

Г-н Пятковский представляет собой цветок, выросший на почве российской гражданственности, которая, как известно, появилась на свет божий после Крымской войны и с тех пор

развивается неуклонно и беспрерывно. Явились граждане озлобленные, скорбящие и обличающие, явились граждане веселые, умиляющиеся и благословляющие; г. Пятковский не нашел в себе способности ни благословлять, ни обличать собственными своими словами и потому возымел счастливую мысль благословлять и обличать посредством других. Эта история не новая; возникает новое направление, выступают на сцену новые деятели, а около них образуется целая толпа людей, которых занятия заключаются исключительно в сочувствии. Эти люди похаживают кругом («хоть бы посидеть-то мне около!» — восклицают они), посматривают, похваливают и попрашивают: «Пожалуйте списать!» Если вы им добровольно не дадите, они и не спросясь возьмут да спишут, и не только спишут, но, пожалуй, и издадут.

Изданием «Гражданских мотивов» г. Пятковский доказал, что он не только цветок, но и изрядная пчела. Он собрал свой мед с двадцати двух поэтов (шутка!) и, собравши, не замедлил устроить литературный сот в 87 страничек, за который и желает получить по 50 к. за экземпляр. Мы ничего не говорим против трудолюбия этого цветка, сделавшегося пчелою: пускай себе собирает мед помаленьку; но решительно восстаем против претензии пчелы ценить свою деятельность столь высоко. Неужели г. Пятковский имел какое-нибудь основание вообразить, что книжка его может стоить дороже 5 к. сер.? Если же он возразит нам, что при книжке имеется собственное его оригинальное предисловие (четыре странички), то мы можем, пожалуй, набавить ему за это одну копейку серебром, но никак не больше. В какой степени ни с чем не сообразна назначенная г. Пятковским цена, это явствует из следующих расчетов. Предположим, что г. Пятковский издал свой литературный сот в числе пяти тысяч экземпляров (кто же, при его трудолюбии, может ему в том воспрепятствовать?); предположим также, что все пять тысяч экземпляров разойдутся (чего на свете не бывает!); стало быть, трудолюбивая пчела получит две тысячи пятьсот рублей; если исключить из этой суммы около четырехсот рублей за набор, печатанье и бумагу, да пятьсот рублей за комиссию в пользу книгопродавцев, все же останется на услаждение цветка тысяча шестьсот рублей — как хотите, а это уж слишком роскошно! Тогда как, если б г. Пятковский назначил книжке цену 6 коп. сер. (1 коп. за предисловие), как мы предположили выше, то расчет был бы следующий: полная сумма за все пять тысяч экземпляров 300 р.; за набор и печатание (6 листов по 18 р. за каждый) 108 р., за бумагу (60 стоп по 1 р. 50 коп. за стопу, ибо нет никакой надобности печатать «Гражданские мотивы» на от-

личной бумаге) 90 р. и за комиссию в пользу книгопродавцев 20% или 60 р., итого издание стоило бы ему 258 р.; затем, осталось бы чистого барыша 42 р. Не правда ли, что этого совершенно достаточно для скромной и трудолюбивой пчелы?

Воззрения г. Пятковского на литературу и искусство просты до наивности. «Было бы невозможно теперь явиться Гомеру с его младенческой верой в богов преисподней»,— говорит он, и затем очень тонко, в пяти строках рисует, почему, вместо Гомера, явился сначала Дант, а потом Бакон и Спиноза, а потом Шиллер и Гёте. Из этого видно, что г. Пятковский чистосердечно думает, что Гомер не может явиться именно только потому, что имел «младенческую веру в богов преисподней» (может быть, дескать, и обретаются где-нибудь Гомеры да имеют «младенческую веру в богов преисподней» — ну, и не смеют явиться!), да, быть может, еще и потому, что он был слепой (этого г. Пятковский не говорит, но, вероятно, скажет, когда издаст новый литературный сот). Что же касается собственно до гражданских чувств, то г. Пятковский имеет взгляд на этот предмет весьма оригинальный. Он видит, например, гражданский мотив даже в следующем стихотворении г. Майкова:

ПОСЛЕ БАЛА

Мне душно здесь! Ваш мир мне тесен!
Цветов мне надобно, цветов,
Веселых лиц, веселых песен,
Горячих споров, острых слов,
Где б был огонь и вдохновенье,
И беспорядок, и движенье,
Где б походило все на бред,
Где б каждый был хоть миг поэт!
А то — сберетеся вы чинно;
Гирлянды дам сидят в гостиной;
Забава их — хула да ложь.
На лицах их не разберешь —
Тут веселятся иль хоронят...
Вы сами — бьетесь в ералаш.
Чинопоклонствуете, лжете;
Торгуете и продаете —
И это праздник званый ваш!
Недаром, с бала исчезая
И в санки быстрые садясь,
Как будто силы оправляя,
Корнет кричит: «Пошел в танцкласс!»
А ваши дамы и девицы
Из-за кулис бросают взор
На пир разгульный модной львицы,
На золотой ее позор.

— Что ж тут гражданского? — спрашивает себя читатель, — поэт просто не любит играть в ералаш и просит —

Цветов мне надобно, цветов!

что ж тут гражданского? Вот другой манер, если б поэт сказал: вы, дескать, тут пляшете да играете в ералаш, а лучше вспомнили бы о воскресных школах — ну, тогда точно был бы гражданский мотив! А то ведь, пожалуй, таким образом все куплеты из «Героев преферанса» можно сопричислять к гражданским мотивам!

Г-н Пятковский, в предисловии, между прочим, «предоставляет другим — собрать в отдельные сборники прозаические произведения русской литературы, выражающие собой новый момент в ее развитии»... Мы считаем долгом предостеречь этого будущего собирателя словесного меда, ибо г. Пятковский скрыл от него: а) что прозаические произведения, по большей части, заключают в себе более одного печатного листа; и б) что перепечатывать, без дозволения автора, более печатного листа воспрещается законами о литературной собственности.

Итак, пускай г. Пятковский ограничивает свою гражданскую деятельность одними стихотворцами. Мы можем даже предложить ему совершенно новую и оригинальную мысль, которая, нет сомнения, бесконечно и не без выгоды расширит его деятельность. Мысль эта заключается в следующем: взять все стихотворения Некрасова, все стихотворения Плещеева, все стихотворения Майкова, прибавить к ним все стихотворения Щербины и издать их вперемежку под общим названием «эротическо-гражданских стихотворений», а в предисловии тончайшим образом намекнуть, что в этом издании заключаются именно *все* стихотворения Некрасова, Плещеева, Майкова и Щербины. Цена 99 к. сер. и за предисловие 1 копейка — раскупят наверное.

Затем, что касается до «Песней Скорбного поэта», то и это цветок, выросший отчасти на почве русской гражданственности, отчасти на почве русского эротизма. Впрочем, любителям чтения легкого мы эту книжечку рекомендуем: они в ней найдут некоторую частицу остроумия. В особенности указываем на веселую пьеску «Литературные староверы».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОДПИСЬ. Соч. А. Скавронского. («Время» за 1862 г., № 12) 1 стр.

Г-н А. Скавронский взволнован; великий А. Скавронский скорбит. Он желает оправдаться, он ищет вывести публику из

заблуждения. В Москве появился другой Скавронский, Н. Скавронский, который тоже пишет повести и которого, по сходству талантов, принимают за него, А. Скавронского. Повесть Н. Скавронского приписывают А. Скавронскому; повесть А. Скавронского приписывают Н. Скавронскому; происходит духовно-нравственная чепуха, совершается кабалистический маскарад, в котором А. и Н. Скавронские интригуют друг друга и не могут никак опознаться. «Да ты Н. ли Скавронский?» — вопрошает А. Скавронский. «Да ты А. ли Скавронский?» — в свою очередь, вопрошает Н. Скавронский. «Моя ли повесть «Село Сарановка»? — мучительно спрашивает сам себя А. Скавронский,— или я все это во сне видел: и «Сарановку», и «Пенсильванцев и Виргинцев», и «Бедных в Малороссии»?»

Публика, присутствующая при этом волнении, ничего не понимает. Она спрашивает сама себя, кто этот А. Скавронский, который утруждает ее внимание констатированьем своей личности, и начинает подозревать, что, должно быть, это псевдоним Петра Иваныча Бобчинского, того самого Петра Иваныча Бобчинского, который просил Хлестакова доложить и государю, и министрам, что вот, дескать, там-то, в таком-то уездном городе есть Петр Иваныч Бобчинский.

Или, быть может, А. Скавронский есть псевдоним Н. Скавронского, и наоборот?

Или, быть может, сочинение А. Скавронского есть невинная реклама, с помощью которой А. Скавронский хочет возбудить участие к Н. Скавронскому да кстати напомнить и о себе?

Вот вопросы, которые приходят на мысль публике.

Публика права, ибо она не знает ни А. Скавронского, ни Н. Скавронского. Быть может, она, от нечего делать, действительно прочитала и «Село Сарановку», и «Бедных в Малороссии», и несколько повестей из купеческого быта, но имена гг. Скавронских канули для нее в ту же безразличную бездну, в которой утонули Николаенки, Вахновские, Сердобские обыватели, Калужские обыватели, Прохожие, Проезжие и т. д. Она даже и припомнить ничего этого не может: «Было что-то такое всякое»,— говорит она, и никак-таки не может вообразить себе, чтоб когда-нибудь мог существовать А. Скавронский.

Несмотря на горячие уверения г. А. Скавронского, что он именно Петр Иваныч... нет, не то! что он именно А., а не Н. Скавронский, публика и теперь не поверит этому. «А мне что за дело! — скажет она,— оба вы братья родные — ну, и целуйтесь!» Мы думаем даже, что публика смешивает их

обоих с г-жою Вахновскою... Для чего же вы не протестуете, г. А. Скавронский! для чего вы не спешите вывести публику из заблуждения, что вы не Николаенко, а Скавронский? Имя ваше — легион, г. Скавронский! Вы напрасно тщитесь перечислять, какие именно ваши произведения помещались в «Современнике» и во «Времени». Вы думаете, что это достаточная для вас рекомендация; в таком случае, спешим вас разуверить. Журнальное дело в России — плохое и трудное дело: журналов много, а деятелей мало — вот почему журналы иногда помещают повести и рассказы вроде повестей и рассказов А. Скавронского. Читатели отлично знают это и снисходят, лишь бы напечатанное не слишком воротило человеческое сердце. Один г. А. Скавронский не понимает или не хочет понять этого; если б он понимал, то очень хорошо сознавал бы, что для него выгоднее было бы оставаться в той безразличной бездне, где свили себе гнездо гг. Николаенко и Вахновская. Журналы печатали бы да печатали себе его повести, а он получал бы за это умеренный гонорарий — никто бы и не заметил!

Быть может, история этим еще не кончится. Быть может, г. Н. Скавронский будет отвечать г. А. Скавронскому и предъявит публике все относящиеся к этому делу документы (ведь тут целая дипломатическая переписка была между А. и Н. Скавронскими... родные-то братья!). Тогда мир увидит невиданное, услышит неслыханное! нечто вроде о споре семи городов относительно месторождения Гомера: только не семь городов будут доказывать, где именно родился г. А. Скавронский, а г. А. Скавронский будет доказывать, что он родился во всех семи городах.

Нам кажется странным, что почтенная редакция «Времени» решилась напечатать письмо г. А. Скавронского. Во-первых, оно обидно для г. Н. Скавронского, который может справедливо сказать, словами г-жи Толстогараздовой (в комедии г. Островского «Не сошлись характерами»): «да что ж в этом есть постыдного, что я назвался Н. Скавронским?» во-вторых, редакция «Времени», если даже она и дорожит сотрудничеством г. А. Скавронского, все-таки обязана была внушить ему, что хлестаковщина в литературе допущена быть не может. Ведь «Время» очень хорошо знает, что не «Село Сарановка» и не «Бедные в Малороссии» составляют силу журнала — ну, и пускай бы себе шел г. А. Скавронский с своими протестами в «Сын отечества».

В заключение, мы просим извинения у г. Н. Скавронского, что привлекли его к этому нелепому делу. Он поймет, что предметом статьи нашей служил не он, а собственно А. Скав-

ронский, который почему-то впился в Н. Скавронского и требует, чтоб их разлучила публика.

Мы просим извинения и у публики, потому что и она вправе претендовать на нас за то, что мы занимаем ее гг. Скавронскими. Нам невозможно было иначе поступить, потому что в последнее время самохвальство сделалось какою-то эпидемическою болезнию между русскими литераторами. Поверит ли, например, кто-нибудь, что один литератор вдруг ни с того ни с сего объявил недавно в «Северной пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор? Что должна думать и чувствовать публика, которую потчуют подобными заявлениями? Публика недоумевает; она видит, что происходит нечто таинственное, и понимает, что по поводу всех этих снов можно только предложить себе вопрос: что сей сон значит?

О СТАРОМ И НОВОМ ПОРЯДКЕ И ОБ УСТРОЕННОМ ТРУДЕ (TRAVAIL ORGANISE) В ПРИМЕНЕНИИ К НАШИМ ПОМЕСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ. Членом Вольного экономического общества Н. А. Безобразовым. СПб. 1863.

Упразднение крепостного права вызвало множество элегических голосов. Замечательно, что все эти голоса совсем не заявляют себя противниками идеи освобождения крестьян, но более подступают к читателю по части чувствительности, то есть с точки зрения забот о меньшей братии. Всё проекты разные пишут, как бы это улучшить да как бы так сделать, чтобы младенцам-то, младенцам-то хорошо было. Недавно, например, случилось прочесть в «Московских ведомостях» один такой проектец. Некто А. Муравьев («Моск. вед.» 1863 г., № 3) обеспокоился тем, что многие помещики не могут воспользоваться выкупною ссудою от правительства, потому собственно, что крестьяне не соглашаются на дополнительные платежи, и что ж бы вы думали, какой он проектец сочинил? А вот какой.

Следующая мера правительства, *без увеличения цифры выкупной ссуды,* без малейшего обременения крестьян, могла бы, мне кажется, облегчить выкупные сделки.

Возьмем для примера местность, где высший размер оброка 9 рублей. За выкупную ссуду 120 рублей крестьяне обязаны платить в казну, в продолжение 49 лет, по 7 руб. 20 коп. в год, следовательно, на 1 руб. 80 коп. менее оброка, платимого помещику.

Если правительство признало бы возможным, при выкупной ссуде, назначить, в продолжение 16 лет и 8 месяцев, сбор с крестьян полного оброка в 9 руб. и выдавать ежегодно помещикам по 1 руб. 80 коп. за каждый душевой надел, то, по истечении этого срока, они получили бы капиталь-

ную сумму дополнительного взноса в 30 рублей. Хотя при этом землевладелец и лишится процентами 11 руб. или 7⅓% полной выкупной суммы, но так как без рассрочки дополнительного платежа выкуп угодий редко может состояться, то и потеря неизбежна. Зато, для получения выкупной ссуды, землевладелец не будет зависеть от прихоти и своекорыстных видов крестьян. Главная же выгода этой меры та, что, не увеличивая налогов, она облегчает достижение цели выкупа угодий, а именно сохранения общественного спокойствия прекращением обязательных и, следовательно, более или менее неприязненных отношений двух сословий. Крестьяне, увидя, что не выиграют ничего от своего упорства и от неисправного платежа оброков, сделаются сговорчивее при выкупных сделках, и цель правительства сделать крестьян собственниками осуществится легко в России.

Вот изволите видеть: крестьяне будут в течение 16 лет и 8 месяцев платить по 1 руб. 80 коп. с души лишнего — а налоги не увеличатся: крестьяне заплатят 30 руб. из своих собственных денег в пользу помещика — ан нет, не заплатят! или заплатят? или не заплатят?.. И все это на пользу меньшей братии: она, дескать, сама не понимает, что для нее выгодно! Мы ни слова не говорим здесь о том, справедлива или несправедлива мысль об обязательности выкупа земельных крестьянских угодий, мы не входим в разбирательство способов, посредством которых такой выкуп мог бы быть произведен, мы только спрашиваем, возможно ли до такой степени нерационально защищать свое дело, позволительно ли во всеуслышание говорить, что дважды два составляют три, а не четыре?

Замечательно, что подобною детскою наивностью взглядов и доказательств отличаются вообще все скрытные защитники крепостного права. Сочинения и проекты их можно назвать упражнениями воспитанников средних учебных заведений; тут не только не может быть речи о зрелости мысли, но даже самый слог отличается чем-то детским.

Г-н Н. Безобразов принадлежит к числу бойцов, наиболее уязвленных уничтожением крепостного права, но теперь он уже не говорит, что уязвлен, а напротив того, отзывается, что крепостное право «тяготело над сельско-поместным бытом и стягивало его мышцы страдальческими узами». Что же беспокоит его? что заставляет его к простому и несложному вопросу об учреждении при Вольно-экономическом обществе справочного стола для приискания управляющих населенными имениями привязывать какие-то темные исследования насчет истинного значения крестьянской реформы? Ведь сам же он (и по нашему мнению, совершенно справедливо) говорит, что «общие качества хорошего управляющего суть: *ум, знание, опыт, честность*» и что человек, обладающий этими качествами, «всегда сможет приноровиться к новым требованиям и усло-

виям»,— казалось бы, что возбужденный вопрос этим и разрешается. Но у г. Н. Безобразова есть другой умысел: он хочет побеседовать о «неточном понимании так называемого *старого* и так называемого *нового* порядков», до чего, конечно, никакому управляющему никакого дела нет.

Г-на Н. Безобразова тревожит, что большинство русских смотрит на упразднение крепостного права слишком просто: ему желательно было бы, чтоб в этом явлении видели нечто более, нежели упразднение крепостного права. И вот он просит позволения «остановиться с сугубым вниманием над разъяснением себе как истинных значений *старого и нового* порядков, так и взаимного их соотношения».

Плодом такого «сугубого внимания» оказывается прежде всего, что «никакая новизна не может сделаться действительностью иначе, как *прививкою себя* к *существующему* и, следовательно, обращением себя как бы в *последствие предшествовавшего»* (такого рода философией, кроме воспитанников средних учебных заведений, заражена еще редакция «Русского вестника»). «Ужели кто решится сказать,— продолжает г. Н. Безобразов,— что в основах нашего сельского хозяйства — существующего не со вчерашнего дня... и лоно которого есть поместный быт — ничего нет благого, ни разумного? Да это было бы оскорблением разума целой страны!.. скажу более: это было бы поруганием богу, который допустил бы огромную отрасль человечества тысячелетствовать — в безрассудстве!»

Как видите, дело заходит довольно далеко, коль скоро в нем считается не лишним заинтересовать вседержителя. Читатель с изумлением спрашивает себя, о чем идет тут речь: об устранении ли препятствий к приисканию хороших управляющих, об условиях ли, при которых может развиваться русское сельское хозяйство, или о том, что упразднение крепостного права есть только *прививка* к существованию этого права, только *последствие предшествующего?* Очевидно, однако ж, что речь идет не об управляющих,— это уж дело, решенное самим г. Безобразовым,— а об условиях сельского хозяйства, столь радикально изменившихся с упразднением крепостного права.

Когда мысль об условиях, при которых может идти наше сельское хозяйство, озабочивает человека, относящегося к крестьянскому вопросу просто и принимающего его за факт совершившийся, то и вопросы, которые приходят на ум, имеют свойство простое, прямо относящееся к сельскому хозяйству и ни к чему более. Он спрашивает себя о наиболее выгодных системах эксплуатации земли, о наилучших способах обра-

ботки, о средствах привлечь капиталы, создать кредит, необходимый при замене крепостного труда вольнонаемным, и т. д. Но для г. Безобразова все это частности, не стоящие разговора; он хлопочет совсем не о том, чтобы поставить на ноги сельское хозяйство, а о том, чтобы внушить, что уничтожение крепостного права есть собственно продолжение того же права и что, следовательно, старый порядок нисколько не изменился.

Поэтому он привлекает сюда поместный быт и находит, что освобождение крестьян дало возможность «развить... роскошно развить!.. основные и прекрасные его свойства».

«Подробное описание природы наших поместных отношений,— говорит г. Безобразов,— составило бы такого размера картину, которой вы, вероятно, от меня теперь не потребуете» (отчего же? это во всякое время очень интересно!). И вслед за тем очерчивает эту природу «в легком *обрисе»*.

Этот легкий «обрис» природы поместного быта мы охотно изложили бы читателю, если б не были уверены, что это гораздо с большим талантом и умением может быть сделано драгоценным сотрудником нашим Кузьмою Прутковым. Но и при всей своей веселости, Кузьма Прутков едва ли сумел бы, без особенно тяжких усилий, выполнить ту задачу, которую г. Н. Безобразов выполняет с легкостью неимоверною. Исходя все из той же плодотворной мысли, что упразднение крепостного права не есть упразднение, а только продолжение и развитие того же права, он целым рядом блестящих, но непонятных доказательств приводит читателей к убеждению, что все, происходящее вокруг них, есть водевиль, да и водевиль-то мнимый.

«Назовем ли мы *новым порядком* изложение двух тысяч с лишком статей, присовокупляя к тому три тома печатных циркуляров?» — спрашивает оратор и, нисколько не затрудняясь, отвечает: «Нет. Самая плодовитость этого явления — и в столь короткое время — доказывает, что в нем — попытка... прекрасная!.. но попытка, из коей иное привьется, другое же совершенно отпадет. А по общему закону разума, руководящего гражданством, привьется к жизни только то, что или отвращает прежний вред, или развивает дознанное уже благо».

А так как «дознанное благо» есть крепостное право, то и значит, что надобно его развивать, а на две тысячи статей смотреть, как на попытку... прекрасную!

В видах этого развития, г. Безобразов предлагает «устроенный труд». Чт̀о такое этот «устроенный труд», он не объясняет, но нет сомнения, что понимает. Ну, а мы тоже понимаем.

Но, сверх того, мы понимаем также, что г. Н. Безобразов выказывает себя, в своей речи, нигилистом самого крайнего свойства, ибо не признает действительного существования даже того, что успело себя заявить в числе с лишком двух тысяч статей.

АНАФЕМА, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ, СОВЕРШАЕМОЕ ЕЖЕГОДНО В ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА. (Три письма к другу.) Составил А. А. Быстротоков. СПб. 1863.

Грустно видеть, как иногда мы, люди, считающие себя образованными, нередко употребляем в разговоре слова не в истинном их значении. Еще грустнее то, что вместе с этим мы, иногда сами того не подозревая, делаем грех. Так, например, некоторые из нас имеют зазорную привычку служителей своих называть «анафемой»; конечно, мы делаем это по невежеству, ибо не знаем, что, произнося слово «анафема», мы вместе с тем отлучаем своих служителей от церкви. Если бы мы знали это, то, разумеется, прежде всего спросили бы самих себя, имеем ли право кого бы то ни было отлучать от церкви: одного этого вопроса было бы достаточно, чтоб воздержать нас. А то мы часто думаем, что «анафема» есть выражение, равносильное «скверной роже»,— ну, и анафемствуем, сами не подозревая, какой тяжкий берем на душу грех.

Вообще, в нашей жизни многое происходит неладно именно потому, что мы соединяем с некоторыми даже очень важными жизненными обрядами понятия самые неверные, а отчасти и нелепые. Так, например, многие ли из нас знают, что так называемые ефимоны представляют не что иное, как искаженное греческое слово мефимон (меф'имон, *с нами*, подразумевается: бог)? Не только не знают, но даже называют ефимоны филимонами — и где же называют? называют в благочестивой Москве! Такого же рода извращенные понятия имеем мы и об обряде православия, совершающемся в *сборное* воскресение первой недели великого поста. Так, например, многие думают (преимущественно тоже в Москве), что при совершении этого обряда предаются, между прочим, анафеме те, которые ездят в экипажах с дышлами... ну, на что ж это похоже?

Очевидно, что все эти предрассудки необходимо истребить, так как сохранение их может повредить нам если не в сей, то в будущей жизни. К этой-то именно цели и направлена книжка А. А. Быстротокова, которую мы теперь разбираем.

Так как читатели «Современника» вряд ли прочтут книжку почтенного автора, то мы считаем не лишним познакомить их

с тем, кому именно произносится анафема. А именно, она произносится:

«1) Отрицающим бытие божие, и утверждающим, яко мир сей есть самобытен, и вся в нем без промысла божия, и по случаю бывают;

2) Глаголющим бога не быти дух, но плоть; или не быти его праведна, милосерда, премудра, всеведуща, и подобные хуления произносящим;

3) Дерзающим глаголати, яко сын божий не единосущный и неравночестный отцу, такожде и дух святый, и исповедающим отца и сына и святаго духа, не единаго быти бога;

4) Безумне глаголющим не нужно быти к спасению нашему и ко очищению грехов пришествие в мир сына божия во плоти, и его вольное страдание, смерть и воскресение;

5) Не приемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего ко оправданию пред богом средства;

6) Дерзающим глаголати, яко пречистая дева Мария не бысть прежде рождества, в рождестве и по рождестве дева;

7) Не верующим, яко дух святый умудри пророков и апостолов, и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает, и наставляет их на всякую истину;

8) Отмещущим бессмертие души, кончину века, суд будущий, и воздаяние вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуждение;

9) Отмещущим вся таинства святая, церковию Христовою содержимая;

10) Отвергающим соборы святых отцев, и их предания божественному откровению согласия, и православно-католическою церковию благочестно хранимая;

11) Помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому о них божию благоволению, и при помазании дарования святаго духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену, яко Гришке Отрепьеву, Ивану Мазепе, и прочим подобным;

12) Ругающимся и хулящим святые иконы, ихже святая церковь к воспоминанию дел божиих и угодников его, ради возбуждения взирающих на оные к благочестию, и к оных подражанию приемлет, и глаголющим оные быти идолы».

Теперь читатели предупреждены; мы можем с своей стороны прибавить, что один из самых лютейших иконоборцев, греческий император Феофил, за это самое был поражен чревным недугом.

НЕСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫХ СЛОВ ПО СЛУЧАЮ НОВЕЙШИХ СОБЫТИЙ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ. Соч. М. Беницкого, издание К. И. Синявского. СПб. 1862 г.

ЗАМЕТКИ И ОТЗЫВЫ. «Русск. вестн.» 1863 г., № 1-й.

Вести журнальное дело очень нетрудно. Надобно только взирать на вещи беспристрастно, то есть с патриотической точки зрения: дурное порицать, хорошее хвалить — и тогда все пойдет отлично. Никаких недоразумений не будет, никто к журналу не пристанет, и хотя вместе с тем никто его читать не станет, но проживет он все-таки покойно и неподозрительно. Я помню, один просвещенный иностранец, лет пятнадцать тому назад, говорил мне: «Удивляюсь, как это Россию прославили в Европе варварским государством! да по-моему, нет в мире человека счастливее русского подданного! только ничего не трогай, и можешь быть уверен, что и тебя никто не тронет!»

Это правда.

Следовательно, чтобы прожить на свете спокойно, следует только иметь хорошее поведение, то есть ничего не трогать. Но этого недостаточно; мы, сверх этого, имеем право дурное порицать и хорошее хвалить. В приложении этой теории к практике не может встретиться никаких затруднений; ибо если сам не знаешь, что именно хорошо и что дурно, можешь обратиться к сведущим людям. И кажется мне, что просвещенный француз, основывавший наше русское счастье на одном ничегонетроганье, был не совсем справедлив; нет, мы, русские, можем и трогать, с тем лишь ограничением, что должны трогать умеючи.

Это последнее право, то есть право «трогать умеючи» приобретено нами в течение последних восьми лет. Первый этим правом воспользовался «Русский вестник», который до того воспламенился им, что иногда даже трогал «не умеючи»; за «Русским вестником» поднялась целая фаланга «трогателей», которые все старались

...вникать во смысл таинственных загадок...—

но успевали в этом не все равно: одни с большею, другие с меньшею прозорливостью, и в одном только были одинаково равны — это в уменье трогать. Доказательством, как полезно такое уменье трогать, служит то, что из этого троганья ничего не произошло, то есть ничего предосудительного, никаких неприятностей.

Тем не менее хотя право «трогать умеючи» само по себе не вредно, но я все-таки думаю, что система «ничегонетроганья» была не в пример полезнее. Во-первых, она национальнее, потому что мы, русские, вообще не охотники мешаться в чужие дела; это завещано еще стариком Гостомыслом, который и свои-то собственные дела советовал нам поручать людям, которые их лучше нашего знают. Во-вторых, эта система никого не спутывала, никого не обманывала, никого не обременяла; теперь поди еще справляйся, что следует хвалить, что следует порицать, а тогда просто: «ничего не трогай» — любезное дело!

Конечно, могут сказать, что человек, как существо разумно свободное, постепенным вниканием в существо лежащих на нем обязанностей и согласованием оных с потребностями людей сведущих может до такой степени усовершенствоваться, что даже самую природу свою препобедит. И тогда, скажут мне, не надо будет прибегать ни к каким справкам, ибо все эти справки будут, так сказать, раз навсегда заключены в человеческих сердцах. Это бывало. Сила этого «вникания» такова, что увлекает за собой не только людей, от природы расположенных к «согласованию», но и таких, которые первоначально никаких к «согласованию» способностей не выказывают. По крайней мере, история нам приводит достаточное количество примеров, как многие очень достойные и благонадежные люди первоначально были простыми озорниками, и именно благодаря постепенному вниканию сделались людьми достойными и благонадежными. В особенности, такое вникание бывает пользительно, когда им занимается очень понятливый человек. Такой человек может всякую штуку, всякий маневр над собой сделать; может раз навсегда вникнуть и согласовать до того, что и спрашиваться ни у кого не будет нужды: точно он так и родился, точно сама природа еще до рождения напечатлела в его сердце золотыми буквами: «трогай умеючи»... Такие способные люди в просторечии называются золотыми.

Скажу более: можно обойтись и без вникания. Можно просто лечь спать озорником, а на следующее утро проснуться человеком достойным. Все зависит от свойства снов, какие видишь. Например, кто не знает, что нынешний французский министр без портфёля, г. Бильо, был когда-то самым отъявленным свистуном, и кто же не знает, что он в настоящее время один из самых достойных сынов Франции? И все это произошло без всякого вникания.

Итак, хотя я все-таки отдаю *преферанс* системе «ничегонетроганья», как не вводящей никого в соблазн, однако не могу

противоречить, что встречаются искусные люди, которые и систему «троганья умеючи» успевают сделать весьма приятною, обратить ее себе, так сказать, в плоть и кровь, после чего она уже делается совершенно равносильною системе «ничегонетроганья».

Талант «трогать умеючи» может иметь множество степеней и быть весьма разнообразным. Это зависит, во-первых, от богатства или убожества данных нам богом способностей, и во-вторых, от той специальности, которую мы разработываем. Но во всяком случае, на всех ступенях, во всех проявлениях, талант сей равно умилителен. Солнце, где бы оно ни было видимо: в капле ли воды или в пространной луже, везде солнце. Даже в капле воды видеть его любопытнее; думаешь: вот поди ты — каплюшка малая, а солнце вмещает! Точно то же должно сказать и относительно права «трогать умеючи». Тут дело не в том, что у одного это право выражается чем-то вроде писка, а у другого вырывается из груди в виде бурного дыханья, а в том, что одно и то же начало смотрится и в капле малой и в луже пространной, что и та и другая служат принципу по мере сил своих, со всем усердием и со всякою готовностью...

Во всяком случае, система «ничегонетроганья», которою так умилялся просвещенный француз, уже отжила свой век, и мы должны с этим помириться. Мы обязываемся постоянно что-нибудь «трогать», потому, что первый же «Русский вестник» может спросить нас: а почему же вы того или другого вопроса не трогаете? а может быть, вы находите, что это вопросы, не заслуживающие вашего внимания? и может быть, вы думаете, что разрешение, которое дано им *жизнию,* несовместно с вашими фантазиями? Что ж бы мы ответили на такие запросы? Нет, тут даже и скромная фигура умолчания неуместна! Ну вот, мы и «трогаем» помаленьку.

Мы трогаем, потому что нас самих очень многое трогает. Мы не можем оставаться равнодушными ко всем этим «штукам и экивокам», потому что эти штуки и экивоки близко касаются нас самих. В этом смысле, высокомерное к ним отношение было бы явлением в высшей степени неуместным и неполезным, потому что, как бы ни были обширны наши требования от жизни, все-таки мы по временам бываем вынуждены, так сказать, смириться и заменить орлиный полет куриным. Конечно, сознавать себя скромной курицей не всегда приятно, но ведь что же станешь делать, когда размеры деятельности, мыслей, желаний и даже мечтаний полагаются внешними условиями и когда при этом сознаешь, что проспать жизнь невозможно.

По крайней мере, я за себя отвечаю. Я именно могу сказать о себе:

С природой одною я жизнью дышу,
Я чувствую трав прозябанье...—

а следовательно, могу понимать и всякие экивоки.

Правда, что по временам меня еще посещает мысль, что иногда можно бы допустить и систему «троганья не совсем умеючи». То есть не то чтобы совсем не умеючи, а так, с помощью, так сказать, некоторых невинных антраша. И не то чтобы взаправду допустить, а так вроде чего-нибудь примерного. По моему мнению, это было бы даже пользительно. Во-первых, эти антраша, сами по себе очень невинные, имели бы все внешние признаки виновности и наложили бы печать безмолвия на уста тех ничем не довольных грубиянов, которых как ни корми, а они всё в лес смотрят. Во-вторых, мы очень скоро бы убедились, что человек, в совершенстве обладающий системою «троганья не совсем умеючи», непременно, в самом непродолжительном времени и без всякой посторонней помощи, дойдет до системы «троганья умеючи». И вот тогда-то мы были бы вправе сказать во всеуслышание: «Смотрите! не совершается ли перед вами наглядным образом естественный закон тяготения!» И никто бы не мог сказать против этого ни слова, кроме меня, разумеется, который всю эту штуку придумал и даже предусмотрел вероятные ее последствия.

Итак, повторяю: талант «трогать умеючи» умиляет меня во всех степенях и во всех проявлениях. В малой ли капле воды или в пространной луже он обнаруживает действо свое — везде он для меня приятен, везде я хвалю его. Иногда я могу не соглашаться с самым содержанием известного «троганья», но как принцип, как искусство для искусства, я не могу не благоговеть перед ним.

Вот, например, теперь передо мной лежит скудная, плохая брошюрка, под названием «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С. Петербурге», и рядом с нею первый № «Русского вестника» за сей год с заметкой о польском вопросе, то есть не столько о польском вопросе, сколько о глаголемых «мальчишках» и «нигилистах». И если мне скажут, что о «нигилистах» и «мальчишках» тут нет и помину, а говорится об «изменниках», то я отвечу: да, действительно, слова «мальчишки» и «нигилисты» обойдены довольно искусно, но есть в статье запах такой, который ясно говорит о присутствии этих слов. Ведь и в брошюре г. Беницкого, трактующей собственно о поджигателях, не указывается прямо на «мальчишек», но кто же, прочитав эту прекрасную брошюру, усу-

мнится сказать: ну да, это они! это мальчишки! Да сверх того, и память же какая-нибудь есть у читателей: все помнят, какие в прошлом году изрекал «Русский вестник» предики мальчишкам устами г. Белюстина...

Читая эти два произведения человеческой преданности, я и в том и в другом равно удивляюсь, до какой смелости полета может возвышаться потребность облегчиться от всей чепухи, накопившейся на дне взволнованной души, и нахожу между ними ту разницу, что они различным слогом написаны. Это очень жалко, потому что из-за слога г. Беницкий, чего доброго, не попадет в сотрудники «Русского вестника», которого он мог бы быть истинным украшением.

Слог г. Беницкого не блестящ и не сжат; напротив того, он отчасти размазист, отчасти напоминает писк новорожденного поросеночка, да и то не настоящего поросеночка, а как будто бы рожденного от курицы. Должно быть, он еще молод и имеет чин не выше коллежского регистратора, потому что, несмотря на взволнованность своих чувств, все-таки пользуется удобным случаем, чтобы показать, что и он что-нибудь знает — как же! посмотрите, говорит, на Македонскую империю, вспомните, говорит, древнюю Грецию! Или, быть может, это происходит от того, что он слишком уж стар, а известно, что старики любят поболтать о прежних шалостях. Кто знает, быть может, г. Беницкий даже сверстник Александра Македонского, обратившийся, в течение времени, из македонской веры в православную; так как же ему и не поговорить о нем! Во всяком случае, эти ссылки на героев древности положительно вредят его слогу и наполняют брошюру его ненужными околичностями. Мысль, которую проводит г. Беницкий, так ясна сама по себе и так ароматна, что привлекать к ней македонян и греков нет никакой надобности. Сверх того, г. Беницкий излагает в своей брошюре какие-то теории,— ну, и это много ему вредит. Ну, посудите сами, каких еще нужно теорий, когда при взволнованности чувств одна только и может быть теория — любвеобильное человеческое сердце! Тут надо быть сжатым, кратким, удушливым, почти иссушающим.

Все это очень хорошо понял публицист «Русского вестника»; по всему видно, что это мужчина зрелых лет, и хотя не сверстник Александра Македонского, но и не коллежский регистратор. Он не ссылается ни на македонян, ни на греков, потому что знает, что всякий читатель заранее уверен в его знакомстве и с теми и с другими. Он не чувствует также надобности излагать какие-нибудь теории, потому что очень хорошо понимает, что в таком деле может быть допущена только одна теория. Поэтому речь у него краткая, знойная и

удушливая. Подобно Белюстину проносится он по рядам «мальчишек» и поражает их бестрепетно, ибо знает, что «трогает умеючи». Это волнение спокойное, это гнев, так сказать, сладкий, уверенный в будущей похвале. Это идеал неподозрительного гражданского слога, посредством коего всякий благонадежный человек может выражать свои чувства со всею откровенностью.

Но слогом и ограничивается разница между обоими публицистами. Намерения их одинаковы и заключаются в том, чтобы «трогать умеючи», то есть обвинять так называемых прогрессистов, нигилистов и мальчишек в измене и революционных стремлениях. Средства, посредством которых они всё сие производят, тоже одинаковы и заключаются в том, чтобы действовать на читателя не столько силою доказательств, сколько силою прозорливой уверенности в невозможности каких-либо возражений. Ни тот, ни другой не имеют в предмете обвинять людей зрелого возраста и даже средних лет, потому что между такими людьми могут встретиться генералы и действительные статские советники.

Г-н Беницкий очень наивно спрашивает себя, о чем он говорит и каких лиц разумеет? И очень наивно же отвечает: «обратите только внимание, сколько лиц суждено и осуждено за распространение возмутительных возгласов среди простых, невинных людей, если вспомним страшный пожар, бывший 28 мая в Петербурге, *если судом будет доказано,* что произошел он от поджогов, и на те подметные письма, которые публика неоднократно находила у себя,— тогда каждый поймет, о каких недостойных людях я говорю». Затем, далее он говорит, что пишет собственно в назидание молодых людей...

Публицист «Русского вестника» менее деликатен, потому что более уверен в своей прозорливости. Кроме положительных указаний г. Белюстина по этому предмету, он имеет еще и некоторые врожденные идеи, которые не оставляют в нем никакого сомнения, что виновники всех бедствий — именно «прогрессисты». «Мы было думали,— говорит он,— что эта забава (хороша забава!) уже надоела нашим прогрессистам, но вот перед нами новая прокламация со штемпелем *земля и воля...* Такого поступка нельзя было ожидать даже от наших прогрессистов: *это еще хуже пожаров».*

Г-н Беницкий прежде всего считает должным ознакомить читателя с теми началами нравственными, политическими и гражданскими, из которых он выходит. «Кажется, каждый, в особенности образованный христианин,— говорит он,— понимает, что только там государство процветает и славится, где подданные неуклонно повинуются властям, соблюдают в точ-

ности законы и ведут жизнь так, как благоприятно богу и свойственно христианину. Но, к сожалению, некоторые из малодушных людей смотрят на все в жизни в превратном смысле... Для них скучно смотреть на благосостояние отечества, видеть соотечественников в счастии и благополучии... Глупцы, в буквальном смысле, с подобными свойствами люди. Что было бы, если бы в государствах не было властей и законов? Конечно — хаос-кавардак!.. Тогда дети оскорбляли бы родителей, младшие обижали бы старших, кто силен, тот и был бы всегда прав, обижали бы, грабили друг друга открыто; вели бы жизнь самую развратную — и все бы это, конечно, повело государство к потрясению».

Нет сомнения, что эта государственная теория самая настоящая. Что может быть типичнее слова «хаос-кавардак»? и что может быть устрашительнее перспективы постоянного грабежа и постоянной развратной жизни? Однако публицист «Русского вестника» ничего об этом не говорит. Он не говорит, потому что знает, что есть мысли до того умные, что сделались даже глупыми; он не говорит, потому что предполагает, что никто не должен сомневаться, чтоб у него не было таких мыслей; он не говорит, наконец, потому, что наверное знает, что и г. Беницкому неоткуда было почерпать эти мысли, как из того же «Русского вестника».

Почтенный публицист знает, что в прежние времена россияне исповедовали, что хорошие мысли зарождаются в голове независимо от каких-либо государственных теорий, и что только со времени появления «Русского вестника» они начали прибегать к изъяснению хороших мыслей посредством хороших государственных теорий. Прежде россияне приказывали просто: «люби!» теперь они говорят: «люби! потому что в противном случае выйдет хаос-кавардак!» Все это с достодолжною ясностью изложил «Русский вестник» в продолжение семилетнего своего существования и тем самым доказал, что любить, во всяком случае, есть первейший наш долг и самонужнейшая наша обязанность. Поэтому-то, быть может, он и не счел за нужное обращаться к этой материи в новом своем упражнении. Но почтенный публицист забыл, что хорошие вещи при всяком удобном случае повторять пользительно, потому что люди наивные и простодушные и до сих пор продолжают смешивать эти два рода любви: любовь практическую («люби!» просто) и любовь теоретическую («люби, потому что выйдет хаос-кавардак!»). Между тем первая есть плод системы «ничегонетроганья», вторая есть плод системы «троганья умеючи». Обе эти системы весьма различны, хотя они обе одинаковы; их нельзя между собой смешивать, хотя

их нельзя и не смешивать. Вот на эту-то различную одинаковость обеих систем, на эту-то их несмешиваемую смешиваемость и должно быть обращено внимание. А внимание это каким образом может быть обращено? А это может быть сделано очень просто: не смешивай, дескать,— и дело с концом!.. О, черт возьми, да никак, мы опять пришли к системе ничего-нетроганья!

Далее г. Беницкий говорит: «Ах, какие гнусные поступки (пожары и прокламации)! Где же? в России, между православными и притом почти цивилизованными людьми. По моему мнению,— это не люди и не потомки праотца нашего Адама, а изверги рода человеческого».

Этого публицист «Русского вестника» тоже не говорит, но, наверное, думает что-нибудь в этом роде, потому что иначе откуда же мог бы узнать г. Беницкий, что есть на свете люди, которые могут не быть «потомками нашего праотца Адама». Это он мог узнать только из «Русского вестника», который один изредка занимался распространением подобных идей. Сверх того, я думаю, что «Русский вестник» идет далее г. Беницкого в том отношении, что последний полагает, что «гнусные поступки» могут составлять принадлежность людей только почти цивилизованных, между тем как «Русский вестник» положительно обвиняет в гнусных поступках одних «прогрессистов», то есть людей совершенно цивилизованных и передовых. Отсюда другое различие между гг. Беницким и публицистом «Русского вестника». Первый говорит прямо: «Я очень верю тому, что науки в жизни вещь похвальная; они юношей питают, отраду в старости подают»; второй, напротив того, косвенным образом доказывает, что науки могут вести лишь к «гнусным поступкам».

Не выдавая своего мнения за непогрешимое, я осмеливаюсь, однако ж, думать, что в этом спорном вопросе правда на стороне г. Беницкого и что к «гнусным поступкам» более способности выказывают люди «почти цивилизованные», нежели «прогрессисты». Конечно, я этого не утверждаю, но думаю, что «позволительно так думать», как выражаются «Московские ведомости». Я спрашиваю себя: каким образом определить звание «почти цивилизованного» человека, о котором говорит г. Беницкий, и определяю его так: это человек низшего сорта, который услаждает свои досуги отчасти «Нашим временем», отчасти «Русским вестником», и, получив от этого занятия не здоровую и питательную пищу, а нервное лишь раздражение, делается способным к упомянутым выше поступкам. Напротив того, прогрессист есть человек, «Русского вестника» не читающий, но изучающий науку по подлинникам

и вообще занимающийся делом, а не московскою публицистикой. Поэтому мне кажется, что прогрессисту даже времени нет для того, чтобы волновать общественное мнение, и что дело поддразниванья, дело подуськиванья, киванья головами и подергиванья носом есть дело тех «почти цивилизованных» колотырников, которые единственно об этом помышляют, как бы им свое самолюбьишко и свою изворотливость куда бы то ни было испоместить.

Таких изворотливых и самолюбивых людей очень много в наше тревожное время, и специальность их именно в том и заключается, чтобы волновать и пугать ложными страхами людей невинных и простодушных. Большею частью это люди уже взрослые и заглядывающие в чужие карманы с некоторым умилением, не лишенным характера плотоядности. Поэтому, когда они проходят мимо меня, то я прячу платок свой как можно далее, а четвертака даже и не показываю.

Что же мудреного, если люди сии, яко в бездельных изворотах искусившиеся, оказываются наклонными и к «гнусным поступкам»? Это их исконная профессия (врожденная идея) — и больше ничего. Итак, не они ли именно суть истинные виновники пожаров и того, что *хуже пожаров?*

Этот вопрос, или, лучше сказать, эту «серьезную мысль» я отдаю на рассмотрение г. Беницкому и публицисту «Русского вестника», предупреждая их, впрочем, что это с моей стороны остроумная догадка, и ничего больше. Вообще я много предоставляю разрешению этих публицистов и многого же от них надеюсь. Я надеюсь, например, что г. Беницкий возразит «Русскому вестнику», а «Рус. вест.» не оставит этого возражения без ответа, потом опять возразит г. Беницкий, и опять это возражение не останется без ответа. И будет наш отечественный мир свидетелем полемики, в которой оппоненты не понимают ни предмета своего спора, ни того, что они оба говорят одно и то же. Быть может, окажется, что они говорят совсем не о том, об чем говорят; быть может, окажется, что поджигатели совсем не прогрессисты, а коллежские асессоры? Да, я надеюсь, что и это может оказаться, потому что ожидаю очень многого от диалектической наивности г. Беницкого.

Еще далее, г. Беницкий говорит: «Если подобные, унижающие человека заблуждения злочестивые люди считают вероятными, истинными, то почему же они свои похвальные идеи не решаются распространять между другими путем прямым, открытым?» Именно, именно так; скажите, почему? ну да, почему? хочет с своей стороны поддакнуть публицист «Рус. вестн.», но, неизвестно с чего, вдруг покрывается пурпуром

стыдливости. Припоминаются ему все эти «Бруки и Броки», все эти «Китайские ассигнации»... «Господи! да неужели я все это делал? неужели и во мне когда-нибудь этот яд действовал?» — лепечет он, и в испуге уже представляется ему, что его заставляют лизать раскаленные сковороды...

И еще говорит г. Беницкий, что «ум человеческий слаб и переменчив, как крылья ветряной мельницы». Этого публицист «Русского вестника» не говорит, потому что это давно уже было высказано на его страницах г. Юркевичем.

Но всего умилительнее то, что и г. Беницкий не объясняет, кого именно он разумеет под людьми «почти цивилизованными», и публицист «Русского вестника» умалчивает, кто такие «прогрессисты». И таким образом, и тот и другой занимаются своего рода таинственной литературой, в которой бог знает кто обвиняет бог знает кого. От этого читатель недоумевает. Он думает, что «прогрессисты» — это нынешние титулярные советники в первоначальном своем нераскаянном виде. Он думает, что если нынешние титулярные советники суть раскаявшиеся прогрессисты, то кто же мешает нынешним прогрессистам заключать в себе, как в зародыше, будущих титулярных советников?..

Никто.

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ. Повесть времен Иоанна Грозного. Соч. гр. А. К. Толстого. 2 тома. С.-Петербург. 1863 г.

Византийское это сочинение составляет как по внешней своей форме, так и по внутреннему содержанию, явление столь отличное в кругу современных литературных произведений, что редакция не нашла, в числе своих постоянных сотрудников. ни одного, который взялся бы написать на него рецензию. Между тем сочинение произвело в публике некоторое впечатление, так что игнорирование его могло бы быть сочтено за злонамеренность. Поэтому редакция вынуждена была обратиться за помощью к одному отставному учителю, некогда преподававшему российскую словесность в одном из кадетских корпусов. К сожалению, почтенный педагог, столь обязательно принявший наше предложение, не мог выполнить его до конца: ужасный паралич преждевременно прекратил дни его в самом начале труда. Тем не менее мы печатаем его рецензию так, как она нам доставлена, и думаем, что и в этом виде она могла бы служить украшением любой книжки «Северных цветов», точно так же как сам «Князь Серебряный» был бы весьма приятным явлением в «Аонидах».

Я помолодел; читаю и не верю глазам. Любезный граф! волшебную вашу кисть вы окунули в живую воду фантазии и заставили меня, старика, присутствовать при «делах давно минувших дней», исполать вам! Но еще больше вам исполать за то, что вы воскресили для меня мою юность, напомнили мне появление «Юрия Милославского», «Рославлева», напомнили первые попытки робкого еще тогда Ло́жечникова. Это было счастливое время, любезный граф; это было время, когда писатели умели

Истину царям с улыбкой говорить...

Когда всякий, не скрывая своего сердца, заявлял о чувствах преданности (да и зачем это скрывать?)... Но, конечно, никто еще не высказывал такой истины, какую вы высказали Иоанну Грозному! Да, вы воскресили для меня доброе, старое время, которое я считал давно погибшим! Но довольно о себе.

Внешнее построение романа графа А. К. Толстого вполне соответствует правилам, на предмет составления таковых упражнений преподанным. В нем имеется завязка (и даже, как увидим ниже, не одна, а несколько завязок, что делает интерес романа почти нестерпимым), из которой действие развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконец, не достигает своего зенита; по достижении сего действие развивается уже понижаясь и незаметно утопает в развязке. Многие нынешние писатели правилами сими пренебрегают, думая, что завязка и развязка не составляют еще существенного условия литературного упражнения, но доказать неосновательность подобного воззрения очень нетрудно: стоит только вспомнить о том, что всякая вещь имеет свое начало и свой конец. Нынешние писатели думают, что обязанность их заключается лишь в том, чтобы поставить героев своих в критическое положение, и что, по исполнении сего, можно их бросить. «Сказав это, они вздохнули и разошлись» — вот фраза, которою модные современные повествователи позволяют себе заканчивать недозрелые свои произведения. Но читатель любопытен; он хочет знать, куда разошлись герои, куда пошел *он*, куда направила путь *она*; что они делали, что в тот день обедали, сколько времени жили и как умерли. Все это графом Толстым исполнено. Исполнено им и другое требование теории, касающееся характеров действующих лиц. В сем отношении теория неумолима; она требует, чтобы действующие лица имели характеры разнообразные, и даже указывает, какие должны быть эти характеры. Впереди всех, разумеется, идет герой; герой должен быть из хорошего семейства; благороден, но тверд, чувствителен, но не лишен рассудка, правдив, но не без

надежды, что автор, в сомнительном случае, найдет возможность вытащить его из беды, великодушен до безрассудства, но знающ, что великодушные поступки никогда не пропадают даром; сверх сего, не худо, если герой человек с деньгами. Героинею может быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляет в себе что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женою (это необходимо для завязки), или же хотя и девицею, но не одинакового с героем звания или состояния (это также необходимо для той же надобности). Засим, лица, окружающие героя и героиню, должны разделяться на друзей и врагов. Друзья могут быть следующих сортов: а) добродушный, веселый и верный (обыкновенно слуга); б) друг глупый, но тоже веселый (также из низшего звания); в) друг заблудшийся, но верный и умный (тоже из низшего звания, обыкновенно разбойник) и, наконец, г) друг из высшего звания. Враги могут быть трех сортов: а) враг честный, но неумышленно обиженный (обыкновенно муж героини или крестовый ее брат), б) враг жестокий, враждующий, сам не зная почему, и в) враг коварный. Затем следуют князие мира воздушного, их угодники, юродивые и колдуны, в отношении которых оставляется авторам полная свобода действия, с тем, однако ж, ограничением, чтобы и сии лица непременно являли силу характера. Это второе требование теории также графом А. К. Толстым соблюдено, равно как и третье относительно слога. Слог этот можно назвать жемчужным (style perlé). Одно лишь условие (четвертое) не соблюдено любезным сочинителем: обычай требовал, чтобы роман был разделен на четыре части, а не на две, как это сделано в настоящем случае; но и этому читатель легко может помочь, умственно разделив каждую часть на две половины.

Что же касается до внутреннего содержания романа, до его основной идеи, то, кажется, я не ошибусь, если отыщу оную в следующих заключительных словах 9-й главы части 1-й. «Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косящатое, смотрят светлые притуманившись,— притуманившись, будто думая: ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрошаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщины!»

Надо сознаться, что в государстве, в коем еще недавно существовали так называемые «Редакционные комиссии», высказать подобную мысль есть дело довольно смелое... Умолкаю, дабы не навлечь автору неприятности.

Но довольно об общих чертах романа; буду разбирать по главам, как делывалось в наше доброе, старое время и как невозможно делать нынче, ибо нынешние литературные упражнения нельзя понимать иначе, как прочитавши все главы в совокупности. Разобравши сочинение по главам, приступлю к разбору характеров действующих лиц.

Первая глава начинается тем, что к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы, подъезжает двадцатипятилетний князь Никита Романович Серебряный, возвращающийся из Литвы, куда он был послан царем Иваном Васильевичем для подписания мира. Удачное начало! Героя своего талантливый граф описывает простодушным, вспыльчивым, правдивым и имеющим соответственную сим качествам наружность. Наружность сия простосердечна и откровенна; роста он среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Вообще, описание сие можно бы назвать мастерским, если бы не вкралась в оное некоторая непоследовательность, а именно, на стр. 12-й есть указание на некоторую косую складку, находившуюся между бровями и означающую, по мнению автора (весьма остроумному), беспорядочность и непоследовательность в мыслях, и вслед за тем говорится, что рот героя выражал ничем непоколебимую твердость. Из этого выходит, что рот в соединении с складкою выражал твердость непоследовательную и беспорядочную, или же твердую беспорядочность, что, всеконечно, не входило в расчеты дееписателя; но зато все прочее в сей главе превосходно. Князь возвращается на родину, не зная, что царь Иван Васильевич, в отсутствие его, испортил свое поведение и завел опричнину. Об этом он узнает от поселян деревни Медведевки, и вслед же за сим неожиданным образом знакомится и с самими опричниками.

Известно всякому, сколь пагубно было для России сие заведение... Но между тем, как князь добродушно присутствует при забавах поселян, вбегает окровавленный двенадцатилетний мальчик, и вслед за ним врываются опричники под предводительством Хомяка, стремянного Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Неистовства, которые производят опричники, описаны весьма естественно и в совершенстве напоминают изображаемые обличительною литературой наезды земской полиции. Само собой разумеется, что благодушный князь принимает сторону угнетенных и с помощью своих людей не только посрамляет опричников, но и освобождает от них еще двоих полоненных ими неизвестных людей. Сначала, следуя лишь внушениям своего благородного характера, князь намеревается перевешать опричников, но потом, однако ж, уступает резонам неизвестных людей и ограничивает кару

тем, что допускает своего стремянного Михеича «влепить опричникам по полсотенке нагайками». Сцена эта исполнена истинно национального юмора; в ней чрезвычайно тонко выражен простодушный взгляд русского человека на нагайки, которые, пройдя сквозь горнило народного представления, утрачивают истязательный свой характер и представляются уму беспристрастного наблюдателя лишь простым и незлобивым времяпровождением. Здесь кончается эта замечательная глава, которая с тем вместе составляет и завязку романа. В самом деле, не влепи Михеич опричникам по полсотенке, и романа бы не было! Слог в этой главе представляет смесь высокого (sublime) с низким (burlesque), смотря по тому, кто говорит и о чем идет речь.

Во второй главе князь едет к Москве, сопровождаемый стремянным Михеичем и двумя спасенными незнакомцами. Едут лесом, и один из незнакомых затягивает песню; эта песня наводит автора на размышления о русской песне вообще, поражающие тою самою оригинальностью, которая извлекает из учителя российской словесности полный балл в пользу отличившегося ею ученика. Вдруг раздается подозрительный свист, и путешественников окружают станичники (разбойники); очевидно, что князю предстоит опасность, но не бойся, читатель, его не убьют! И в самом деле, открывается, что спасенные незнакомцы суть тоже разбойники, и даже один из них, Ванюха Перстень, оказывается атаманом. Дело объясняется само собой, и путники благополучно приезжают на мельницу, в которой обитает колдун-мельник. Спасенные незнакомцы возвращаются восвояси, а князь с Михеичем остаются ночевать на мельнице и вскоре засыпают. И в этой главе слог представляет смесь высокого с низким, но более преобладает низкий элемент, ибо действуют преимущественно простолюдины.

В третьей главе мы знакомимся с князем Афанасьем Ивановичем Вяземским, одним из опричников Грозного. Он приехал к мельнику, чтобы воспользоваться его наукой и приворожить к себе ту, которую он любил.

До чего может довести любовь человека самого безнравственного и до какой высоты может дойти слог уже сам по себе высокий, это явствует из следующей речи кн. Вяземского.

— Колдун,— продолжал князь, смягчая свой голос,— помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал целые ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все

рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалует царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Князь требует от мельника такой травы, чтобы «молодушка полюбила постылого», или же такой, чтобы свою любовь перемочь, но мельник отзывается, что он таких трав не знает, а знает: колюку-траву, тирлич-траву, плакун-траву, адамову голову, голубец болотный, ревенку-траву, кочадыжник, Иван-да-Марью, разрыв-траву. Однако свойства сих трав не таковы, чтобы потушить пожар, пламенеющий в груди свирепого князя, и потому он начинает трясти мельника за ворот. Эта сцена дышит такою правдою, что я не смею не привести ее целиком.

— Старик! — вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот,— подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

— Сжалься надо мной! — зарыдал он, — излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжалься надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

— Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь! — сказал дрожащим голосом мельник, — пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

— Начинай, — сказал он, — я готов.

Как хотите, а такой быстрый переход от трясения за ворот к валянию в ногах положительно доказывает, что автор добросовестно изучил науку словосочинения, которою подобные внезапные переходы не только не возбраняются, но даже поощряются, вопреки притязаниям другой науки, называемой психологиею (известно, что в наших средних учебных заведениях науки, преподаваемые различными учителями, постоянно состоят во взаимной друг с другом вражде).

Затем мельник начинает колдовать и заставляет князя смотреть под колесо. Князь смотрит и видит будущую судьбу свою, то есть свою собственную казнь, но это его интересует мало; он хочет знать — такова уже сила любви! — любит ли

она другого. С этою целью он опять смотрит под колесо и, разумеется, видит *ее* не одну, а с русым молодцом в кармазинном кафтане. «Анафема! — восклицает он,— они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!»

Разумеется, бросает мельнику горсть денег, вскакивает в седло и уезжает.

Это — вторая завязка романа. Читатель предчувствует героиню и знает, что есть некоторый русый молодец в кармазинном кафтане. Сказать ли более? кажется, что читатель начинает даже подозревать, что русый молодец в кармазинном кафтане есть не кто иной, как сам князь Серебряный.

Глава сия написана языком правильным и вообще ведена старательно. Но возникает вопрос: верит ли любезный граф в колдовство мельника или не верит? Если принять в соображение состояние отечественного просвещения, то, конечно, надо будет дать ответ отрицательный; если же принять в соображение, что, невзирая на просвещение, в природе все-таки скрывается много таинственного и что нельзя же предположить, чтобы князь Вяземский мог столь верно усмотреть ожидающую его участь, если б оная не была ему показана в воде искусным мельником, то ответ будет едва ли не положительный.

Главы 4, 5 и 6-ю следует разбирать в совокупности. Они застают нас сначала в саду, а потом в доме боярина Дружины Андреевича Морозова, к которому приезжает князь Серебряный с грамотою от князя Пронского. В саду боярыня Елена утешается с сенными девушками, в доме сидит старый боярин Дружина Андреевич и соболезнует о том, что находится под опалой и не видит светлых очей царских, за то, что на царском пире не захотел уступить свое место Годунову. Замечательная черта боярского самолюбия, подмеченная еще Карамзиным. Боярин и боярыня живут, как брат с сестрой, ибо Дружина Андреевич, по преклонности своих лет, иначе и жить уж не может,— это третья завязка романа. Является князь Серебряный и, еще не войдя в дом к Морозовым, через частокол видит в саду боярыню Елену, видит и не верит глазам своим. Прозорливость читателя оказывается вознагражденною: русый молодец в кармазинном кафтане есть именно князь Серебряный, а боярыня Елена есть именно та самая боярыня Елена, которая до замужества еще любила Серебряного, но впоследствии, чтобы избавиться от преследования князя Вяземского, вынуждена была выйти замуж за Морозова. Сцена свидания через частокол написана рукою искусного мастера. Сначала князь негодует и даже «не хочет тратить понапрасну речей», но под конец дело все-таки приходит

к тому, что «они бросились друг к другу, и уста их соединились»... Чтобы достигнуть этого, не поломав разделяющий их частокол, князь поднимается на стременах, а боярыня становится на скамью. Опять дивный переход от негодования к нежности, после которого герой романа уже отправляется к Морозову в дом. Там они беседуют об опричниках, о перемене, происшедшей в характере царя Ивана Васильевича, и рядом логических умозаключений приходят к мысли, что все сие происходит по воле божией, карающей россиян для очищения от грехов.

Сия политическая теория столь достопримечательна, что нахожу не излишним на ней остановиться.

Если народ погрязает в грехах и через то оскорбляет промысл, то какой наилучший способ имеет сей последний, чтобы напомнить о себе и заставить народ восчувствовать? Тяжело сознаться, но совершенно достоверно, что наилучшими в сем случае орудиями всегда почитались вожди народные. Посредством их промысл еще древле наказывал Израиля, да и в новейшее время, по свидетельству П. И. Мельникова, Розенгейма и других опытных обличителей, продолжает следовать той же системе. Так, например, если град начнет утопать в роскоши и богатстве, то промысл посылает в оный градоначальника, который вскорости доказывает гражданам, что существенными интересами человеческой жизни должны быть не столько земные интересы, сколько небесные. Что целые страны таким способом очищаются от грехов, в этом не может быть никакого сомнения, однако ж нельзя не сознаться, что и в этой теории имеется своя слабая сторона. Она заключается в том, что теория сия с преувеличенною, как мне кажется, строгостью относится к самым орудиям, посредством которых производится очищение от грехов. Положим, что народ, погрязший в грехах, не мешает по временам очищать, но чем же виноваты правители, кои, будучи сами по себе людьми невинными, именно для этой цели наделяются самыми зверскими качествами и через это погубляют свои души и впоследствии наследуют геенну огненную? Народ поражается казнью временною, правители — казнью вечною: неравенство перед законом очевидное. Не наказывать же правителей тоже невозможно, ибо в таком случае всякий охотнее предпочтет ремесло правителя ремеслу управляемого (это и бывает в эпохи затмения человеческого разума, называемые революциями, когда человек лезет на высоту, совершенно забывая, что за сие положена геенна огненная). И потому, дабы устранить всякие сомнения в столь важном деле, я полагал бы возможным, чтобы промысл в таких случаях употреблял ору-

диями не действительных людей, а, так сказать, подобия их, или, лучше сказать, такие сомнительные существа, которые имели бы наружный человеческий облик, но внутреннего человеческого естества не имели бы. Думаю, что сочетание фотографии, метахромотипии и гальванопластики может легко привести к составлению такого рода людей.

Но довольно с проектами, возвращусь к роману. Побеседовавши довольно, боярин заставляет князя обедать, за обедом подают разного рода студень, кулебяки, жаркие, похлебки и буженину. Жаль, что любезный сочинитель подробнее не распространился об этом предмете, но этот недостаток он восполняет далее, при описании царского стола. После обеда Морозов наливает себе и князю малвазии и, откинув назад свои опальные волосы, произносит:

«— Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвети его бог! Открой ему очи! — отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились».

Сия политическая теория также весьма достопримечательна, но я не считаю долгом распространяться о ней, потому что сущность ее по прямой линии выходит из той же теории очищения грехов, о которой говорено мною выше. Не могу, однако ж, не сказать, что в этой теории замечается четвертая завязка романа; не будь ее, князь Серебряный не поехал бы в Александрову слободу и не было бы пятой завязки романа. Пятая завязка происходит в Александровой слободе и занимает главы: 7, 8 и 9-ю. Князь Серебряный прибыл туда благополучно. Следует великолепное описание слободы и дворца царского. Въехавши во двор, князь Серебряный видит оживленную сцену опричников, играющих в *зернь* и в свайку, но картина сия едва не кончилась для него печально, так как опричники, немедленно возненавидев Серебряного, чуть-чуть не затравили его медведем. Избавленный благополучно от этой опасности, в самую критическую для себя минуту, сыном злейшего из всех опричников, Малюты Скуратова (шестая завязка романа), князь находится теперь в раздумье, знает ли царь Иван Васильевич о том, что он влепил его опричникам по полсотенке, или не знает (седьмая завязка романа). Но покуда он размышляет, к нему подходит стольник и приглашает к царскому столу. Описание царского стола составляет верх совершенства. Читая, я не верил глазам своим и даже чувствовал невольный голод. Надеясь, что и читатель испытает то же ощущение, я не могу воздержаться, чтобы не привести здесь несколько отрывков из этого описания.

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом, государю высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол, с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки, странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Далее:

Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерек с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Еще далее:

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличилися в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказывалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот по знаку стольников убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда

была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волжских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Признаюсь, я не утерпел, чтоб не показать это описание своему коллеге, учителю латинского языка, который имеет весьма основательные сведения о том объядении, которому в древности предавались римляне. Но и он пришел в восторг и наотрез мне сказал, что римляне никогда ничего подобного не едали.

Нечто подобное обжорному московскому великолепию видим мы лишь в древнем Карфагене, как о том свидетельствует французский писатель Густав Флобер, издавший в прошлом году знаменитый роман «Salammbô».

Содержание сих романов («Кн. Серебряного» и «Salammbô») во многом до такой степени сходствует, что нелишне было бы провести между ними некоторую параллель, дабы видеть, что и кто у кого предвосхитил.

Место действия «Кн. Серебряного» происходит в древней Москве; место действия «Salammbô» происходит в древнем Карфагене. По-видимому, тут сходства нет, но это лишь повидимому, и это-то именно я берусь дока...

(На этом месте рукопись прервана несчастною смертью рецензента.)

СТИХОТВОРЕНИЯ К. ПАВЛОВОЙ. Москва. 1863.

Г-жа Павлова занимает в русской литературе одно из самых видных мест: она чуть ли не единственная в настоящее время представительница так называемой мотыльковой поэзии. Мотыльковою поэзия эта называется по имени мотылька, самого резвого, но вместе с тем и самого легковерного из насекомых, а происходит она по прямой линии от знаменитой песни о чижике, потом проходит сквозь кн. Шаликова и г. Шевырева и заканчивается г-жою Павловой. Вся эта поэзия есть не что иное, как стихотворное применение приятных манер к случайно встречающимся на пути предметам. Встретит, на-

пример, г-жа Павлова поэта — она пишет послание поэту, увидит И. С. Аксакова — пишет послание И. С. Аксакову, заприметит где-нибудь лампадку из Помпеи — и ее не оставит без песнопенья. Ей все равно, к кому бы ни обращаться, что бы ни петь, потому что не предметы внешнего мира поражают ее, а она поражает предметы внешнего мира галантерейностью своего обращения.

Главный мотив этой поэзии заключается в том, что все в природе не столько премудро, сколько прекрасно, и что единственно разумная цель человеческого существования состоит в непрерывном разыгрывании различных приятных pièces de société [1]. В силу такого воззрения, и жизнь и природа представляется рядом разнообразных tableaux de genre [2], равно милых по достоинству и содержанию. Картина первая: вечер; синее небо усеяно звездами; река; за рекою роща, в роще рокочет соловей; на балконе сидят графиня и Вадим и объясняются в любви:

Графиня

Вы надо мной смеетесь.

Вадим

Я?

Графиня

Немножко.

Вадим

Помилуйте, я?

Графиня

Продолжайте.

Вадим

Но...

Графиня

Смеетесь вы забавно и умно.
Извольте.

Вадим

Да поверьте...

(Графиня роняет платок. Вадим поднимает его и, подавая, говорит вполголоса.)

Что за ножка!

Прелестно. Картина вторая: полдень; небо столь же безоблачно, как и вчера, но на нем вместо звезд стоит палящее солнце; графиня и Вадим уже объяснились; они сидят на балконе несколько утомленные и смотрят, как по реке плавают белые лебеди; вдали виднеется пахарь, который всею грудью налегает на соху; но так как он далеко, то графиня и Вадим

---

[1] любительские спектакли.
[2] жанровые картины.

не видят его загорелого лица, не видят крупных капель пота, покрывающих это лицо, не видят испитой, ободранной клячонки, через силу передвигающей ноги в вязком черноземе; им кажется, что это лишь особый *жанр,* что это только милая подробность, необходимая для полноты общей картины. Под влиянием этой мысли графиня берет лиру и поет:

Труд ежедневный, труд упорный!
Ты дух смиряешь непокорный,
Ты гонишь нежные мечты;
Неумолимо и сурово
По сердца области все снова,
Как тяжкий плуг, проходишь ты,
Ее от края и до края
В простор невзрачный превращая,
Где пестрый блеск цветов исчез...
Но на нее в ночное время,
В бразды — святое сеять семя
Нисходят ангелы с небес.

Не взыщите, что графиня поет нескладно; во-первых, она утомлена разговорами с Вадимом, во-вторых, ей жарко, и в-третьих, с мужичка будет и этого. Затем следуют картины: третья, четвертая и т. д. и т. д.

Хотя такие мотивы мало-помалу утрачивают в нашей литературе право гражданственности, однако есть еще избранные сердца, в которых они держатся упорно и которые не прочь даже подчас ими щегольнуть. Людям, отрицающим русский прогресс, чтоб убедиться в неосновательности подобного отрицания, достаточно прочесть сборник стихотворений г-жи Павловой. Они без всяких сторонних убеждений поймут, что нынче сделалось уже невозможным многое, что было не только возможно, но даже считалось довольно приятным явлением немного лет тому назад. С этой точки зрения, мы приветствуем книжку г-жи Павловой, как факт отрадный и даже достойный подражания не только в сфере поэзии, но и в различных других сферах человеческой деятельности. По крайней мере, люди, занимающиеся отрицанием для отрицания, могли бы легко удостовериться, что гиль современная все-таки имеет более складу, нежели гиль архивная.

Вот, например, какое представление составила себе г-жа Павлова о поэте:

Но проходит между нами
Не один поэт немой,
С бесполезными мечтами,
С молчаливыми очами,
С сокровенною душой.
. . . .

Им внушают вдохновенье
Не высокие труды,
Их призванье, их уменье —
Слушать ночью ветра пенье
И влюбляться в луч звезды.

Не говорим уже о том, что стихи эти не что иное, как лепет галантерейной души, по местам вовсе лишенный смысла; спрашивается, что ж в том особенно сочувственного, что человека не занимают высокие труды, а занимает луч звезды, что в том заслуживающего поощрения, что человек обуревается бесполезными мечтами и ходит с молчаливыми очами и сокровенною душой? Всякий, встретив такого человека, скажет: быть может, сей человек весьма чист душой, но что он глуп, это доказывается именно тем, что он ходит с молчаливыми глазами и сокровенною душой. За всем тем г-жа Павлова все-таки чего-то требует для людей этой категории, правда, не очень многого (asini exiguo pabulo vivunt[1]), но все-таки требует. Она обращается к толпе и требует:

Пусть им только даст она
Уголок, где шум немеет,
Где полудня солнце греет,
Где с небес глядит луна,—

одним словом, чего-то вроде дарового места в богадельне. Ну это, пожалуй, можно еще дать; но мы крепко сомневаемся, чтобы сами поэты удовольствовались такою скромною долей. Несмотря на бесполезные мечты, а быть может, именно по причине их, народ этот имеет наклонности скорее сибаритские, нежели аскетические. Вспомните, какую тревогу поднял недавно г. Фет из-за 11 рублей, *чуть-чуть* не пропавших у него; да это и понятно, потому что ведь он поэт, а поэт, по выражению г-жи Павловой,

Он вселенной гость, ему всюду пир,
Всюду край чудес;
Ему дан в удел весь подлунный мир,
Весь объем небес.
Все живит его, ему все кругом
Для мечты магнит;
Зажурчит ручей, вот и в хор с ручьем
Его стих журчит.
Заревет ли лес, при борьбе с грозой,
Как сердитый тигр,—
Ему бури вой лишь предмет живой
Сладкозвучных игр.

Вот для того-то именно, чтобы предаваться этим «сладкозвучным играм» вполне свободно, и нужны те одиннадцать

[1] ослы питаются скудным кормом.

рублей, о которых хлопотал г. Фет. И затем, хотя г-жа Павлова в другом стихотворении «Мотылек» и советует поэту уподобиться этому красивому насекомому, то есть «покинуть земную обитель, упиться чистым эфиром и порхать оживленным сапфиром», но это она делает неосновательно, во-первых, потому, что поэт все-таки человек и мотыльком ни под каким видом сделаться не может, а во-вторых, потому, что если бы, вопреки всем ожиданиям, поэт сделался мотыльком, то ведь и мотылек совсем не «чистым эфиром» питается, а также находит для себя пищу более благопотребную.

Да, это действительно странное явление. Целые литературные поколения бесплодно погибали и продолжают погибать в беспрерывном самообольщении насчет того, что действительно блаженство заключается в бестелесности и что истинный comme il faut состоит в том, чтобы питаться эфиром, запивать эту пищу росою и испускать из себя амбре́. Где источник этого сплошного лганья? С какой целью допускается такое тунеядное празднословие? Ведь все эти поэты очень хорошо знают, что относительно еды и других органических отправлений они не уступят никому из простых смертных; мало того что знают сами, но знают также, что и другим небезызвестно это их свойство,— и за всем тем все-таки упорствуют в притворстве, все-таки продолжают лгать самым постыдным образом. Повторяем: это явление странное, но оно не необъяснимо. Это продукт целого строя понятий, того самого строя, который в философии порождает Юркевичей, в драматическом искусстве дает балет, в политической сфере отзывается славянофилами, в воспитании — институтками, сосущими мел и грызущими карандаши. Тут нет ни одного живого места, тут всё фраза, всё призрак; тут одна нелепость доказывается посредством другой, и все эти пустяки, склеенные вместе, образуют под конец такую умственную трущобу, которую с трудом пробивают самые смелые попытки здравого смысла.

Чтобы читатель не подумал, что мы пристрастны относительно г-жи Павловой, мы охотно укажем еще на несколько стихотворений, в которых высказывается ее задушевная мысль. Заслышит ли г-жа Павлова о перевороте 1848 года, он кажется ей чем-то вроде холеры; вычитает ли из газет о попытке Ломбардо-Венециянского королевства освободиться из-под австрийского ига, попытка эта представляется ей детскою вспышкой. Все это излагает она в послании к С. К. Н., где прямо так-таки и говорит, что знать ничего не хочет: ни

...про сейм немецкий,
Давно стоящий на мели...

ни

О вспышке этой детской,
С которой справился Радецкий...

О мотылек! да о чем же вы хотите знать, чем вы интересуетесь? чем вас можно утешить, милое, невинное создание? спрашивает несколько озадаченный читатель. На все эти вопросы мотылек отвечает самым удовлетворительным образом. Мы, мотыльки, говорит он, не станем обращать внимания на историю, в которой, того гляди, нас невзначай раздавят, а лучше уберемся-ка мы восвояси от всех этих обидчиков и

...будем жить, свой пыл смиря
И предаваяся хоть вере,
Что свидимся, по крайней мере,
В Москве, в начале октября.

Как видите, желание не выспреннее, но ведь много ли мотыльку и нужно? Порезвиться на Арбате, попорхать на Спиридоновке и ужаснуться своей смелости, залетев на Живодерку...

Точно таков же взгляд г-жи Павловой и на молодое поколение, выраженный ею в послании к И. С. Аксакову. Поколение это кажется ей толпою «пламенных невежд», по поводу которой приличествует сказать:

И, может, ляжет им на темя,
Без пользы, времени рука.
И пропадет и это племя,
Как богом брошенное семя
На почву камня и песка.

Одним словом, все живое представляется ей мертвым, все мертвое живым. Какой фокус-покус происходит в это время в ее сознании, посредством какого ряда умозаключений приходит она к такому неестественному результату — это тайна из категории тех самых тайн, при помощи которых человек делается мотыльком.

Только и можно отдохнуть на стихотворениях вроде «сцены графини с Вадимом», да еще на «Монахе». Это последнее стихотворение до того прелестно, что мы не можем воздержаться, чтобы не выписать первый куплет его. Вот этот драгоценный перл:

Бледноликий,
Инок дикий,
Что забылся ты в мечтах?
Что так страстно,
Так напрасно
Смотришь вдаль, седой монах?

Далее этого мотыльково-чижиковая поэзия идти не дерзает.

ПОВЕСТИ КОХАНОВСКОЙ. Москва. 1863 г. 2 тома.

Литературная известность г-жи Кохановской начинается повестью «После обеда в гостях», которая и доныне остается лучшим ее произведением. Талант этой писательницы очень симпатичен, хотя ее отношения к описываемой действительности замечательно односторонни. Сущность этих отношений можно определить так: каждый человек имеет возможность сам создать для себя жизненную обстановку; перед ним добро или зло, но выбор того или другого зависит от него самого. Таким образом, человек представляется существом изолированным в своей свободе и потому всецело несущим на себе ответственность за дела свои. Откуда пришла к нему эта свобода жизненного творчества и действительно ли существует такая свобода — это не полагается подлежащим какой-либо поверке, а просто принимается, как факт глухой, почти имеющий значение официального, из которого следует выводить всевозможные жизненные положения и отрицания. Можно догадываться, однако ж, что и эта аксиома есть плод наблюдения, но наблюдения грубого и очень неглубокого, вроде того, например, что когда человек на пути встречает лужу, то от него зависит или обойти ее, или идти в грязь. Человечество младенствующее и небогатое знаниями очень склонно к подобного рода грубым наблюдениям и к еще более грубым обобщениям их. До поверки (а поверка эта, вследствие разных условий, о которых здесь не место говорить, всегда идет очень медленно) эти обобщения называются истинами и носят характер непреложности: «Об этом не смей думать, а вот об этом не смей говорить». Совокупность подобных истин, по теории г-жи Кохановской, именуется нравственным кодексом, во главе которого самым крупным перлом красуется истина, гласящая о свободе жизненного творчества. В силу ее, несчастие, порок и заблуждение не составляют результата неприязненным образом сложившихся обстоятельств, а суть естественные и прямые следствия свободно направленной человеческой воли. Истории для человека не существует, равно как не существует того крепко сложившегося жизненного строя, который втягивает в себя всего человека и сковывает все его движения; то есть, коли хотите, они и существуют, но существуют вовсе не в смысле оправдания человеческих заблуждений и уклонений, а для того единственно, чтобы вызвать в человеке безусловную покорность.

По-видимому, между выражениями: «безусловная покорность» и «свободное творчество» существует противоречие, но это противоречие мнимое и легко улаживается посредством

прибавления к последнему выражению слова «разумное». Значение этого слова не для всякого ума понятно, но изобретение его тем не менее драгоценно, ибо слово это полагает конец бесчисленным и бесконечным спорам. Скажите, например, человеку, что в таком-то деле необходимо наблюдать осторожность, он сейчас же заспорит; он будет говорить, что осторожность понятие относительное, что иногда осторожность хуже риска и т. д. и т. д.; но скажите ему: необходимо наблюдать осторожность «разумную», он сейчас же поймет и пребудет безмолвен. В приложении к выражению «свободное жизненное творчество» слово «разумное» означает врожденную человеку способность различать между добром и злом. Что эта способность человеку врожденна, это тоже факт глухой, выведенный из той же категории наблюдений, о которой говорено выше. Что же касается до понятия о добре и зле, то и оно не упало с неба и не выползло из мозгов человеческих во всеоружии, а тоже составляет плод наблюдений и обобщений. В первоначальной форме можно эти наблюдения формулировать так: вот пункт, к которому ты хочешь прийти; к нему ведет торная дорога, по которой до тебя ходили и Иван и Петр; следовательно, если и ты пойдешь по этому пути, то не рискуешь ни поскользнуться, ни завязнуть, ни сломать себе шею,— это добро; если же ты своротишь в сторону, то непременно встретишься с разными случайностями, которые могут привести тебя к погибели,— это зло. Будучи перенесено в сферу более обширную, это наблюдение перефразируется так: добро есть все испытанное, удовлетворенное и установившееся; зло — все ищущее, порывающееся, неудовлетворенное и протестующее. Но если добро полезно, а зло вредно, то хотя человек и имеет возможность выбора между тем и другим, однако ж он обязан добровольно покориться первому, а не последнему, потому что в противном случае выбор его не будет заслуживать наименования «разумного» и он сам рискует понести тяжкую ответственность за «злоупотребление» своей свободы. И, таким образом, свобода жизненного творчества, которою обладает человек, является уже не просто свободою, а свободою разумно-покорною...

Вот нравственная теория, которую всякий, даже непрозорливый читатель может извлечь из сочинений г-жи Кохановской.

Практические последствия такой теории столь же ясны, как и она сама. Это просто поголовное обвинение всего, что чувствует себя стесненным и неудовлетворенным и имеет силу или смелость протестовать, и сугубое поголовное оправдание всего, что хотя тоже чувствует себя утесненным, но имеет силу и смелость покоряться. Г-жа Кохановская имеет особенное при-

страстие к этому последнему взгляду на жизнь; она очень часто заставляет своих героев сильно и искренно чувствовать дикость некоторых общественных положений (это, впрочем, как увидим ниже, составляет лучшее свойство ее таланта, ибо оставляет читателю свободу выводить свои собственные заключения, помимо навязываемых автором), но всегда за тем, чтобы привести их к уверенности, что истинное добро заключается в согласии с действительностью и строгом выполнении ее требований.

Каким образом люди очень даровитые иногда приходят к такому одностороннему убеждению, что всякое новое требование, простираемое отдельною личностью к жизни, есть посягательство на стройность ее,— это дело очень темное, которое, однако ж, можно отчасти объяснить и помимо тех первоначальных и грубых наблюдений над торными и неторными дорогами, о которых мы говорили выше. Дело в том, что жизненный строй, хотя и несостоятельный сам по себе, но существующий в силу начал, всеми признанных, все-таки представляет убежище более успокоительное, нежели строй, начинающий познавать хрупкость своих основ и ищущий заменить их новыми. Там, где первый дает опору, второй предлагает одно мучительное колебанье, где первый откликается человеку целым рядом практических правил и истин, второй либо вовсе остается безответным, либо отзывается рядом новых и новых вопросов. Что нужды, что в первом случае опора не тверда, а истина призрачна, что нужды, что во втором случае самое колебание заключает в себе залог более обеспеченного будущего: ум человеческий не может долго оставаться в сфере колебания и отрицания совсем не потому, чтобы отрицание было бесплодно, а по тому одному, что оно составляет лишь начало той работы, к которой призвана человеческая мысль. Но для того, чтобы оставить сферу отрицания, представляется два выхода: один указывает назад, другой открывает дорогу вперед. Несмотря на огромную разницу, существующую между этими двумя исходными пунктами, у них есть, однако же, одна общая черта: как в прошедшем, так и в будущем жизнь представляется как нечто целое, определившееся, освобожденное от наплыва случайностей. Выбор между тем или другим выходом решается большею или меньшею прозорливостью мысли, большим или меньшим просветлением ее посредством тех предварительных аналитических работ, в которых именно и заключается весь смысл и вся сила отрицания. Понятно, что ум сильный и последовательный не остановится долго на прошедшем уже по тому одному, что оно исчерпало свое содержание и естественным путем пришло к своей собственной ликвидации,

что ум этот пойдет далее и, руководясь законом общего жизненного развития, будет искать в будущем те идеалы, в которых отказывает разорванное и колеблющееся настоящее; но понятно и то, что ум более робкий, ум, полагающий цель своих исканий не в удовлетворении требованиям абсолютной справедливости, а исключительно в той целостности миросозерцания, которая делает жизнь легкою и удобоизживаемою, не решается пускаться так далеко и скромные, но изведанные идеалы прошедшего предпочитает сомнительным очертаниям будущего.

Вот последнего-то рода отношение к действительности и составляет преобладающий элемент в сочинениях г-жи Кохановской. Не то чтобы она неприязненно отзывалась на голос новой жизни, не то чтобы безусловно отвергала законность ее запросов,— скорее всего, ее отношение к новой жизни можно характеризовать чувством недоумения, выразившегося не прямою враждою, а тою несколько робкою уклончивостью, которая заставляет человека избегать мира, почему-либо ему мало доступного, и всецело отдаваться другому миру, в котором он чувствует себя вполне хорошо и уютно. Идеалы г-жи Кохановской не широки: это просто смирение, возведенное на степень деятельной силы, и прощение, как единственный путь к примирению жизненных противоречий. Это те же самые идеалы, какие лежат в основе славянофильского учения, которое, как известно, всю русскую историю объясняет смирением с одной стороны и прощением с другой. Нет нужды говорить здесь, что такой идеал далеко не удовлетворителен и что даже возникновением своим он обязан не простым и ясным требованиям рассудка, ищущего объяснить себе задачу жизни не посредством временных и всегда мнимых стачек, а посредством положительного ее разрешения, но болезненному стремлению во что бы ни стало примирить жизненную неурядицу и сообщить ей стройный и цельный вид. В самом деле, что такое это пресловутое смирение и какой смысл имеет не менее пресловутое прощение? примиряют ли они что-нибудь? разрешают ли? зачем смирение и где источник права прощения? Всё это вопросы весьма темные. Смирение, в строгом смысле, есть не что иное, как принижение частной человеческой личности или в пользу другой такой же личности, или же в пользу личности более высокой и обширной, в пользу общества. Но, повторяем, разве это разрешает что-нибудь? Разве временными и даже постоянными жертвами человек достигает того, что составляет высшую цель его жизни, то есть деятельного наслаждения всеми определениями, которые лежат в основе его человеческого организма? Разве такое общественное устройство, которое под-

держивается подобными началами, не представляет собой, так сказать, безысходного круга, в котором постоянно возобновляются тождественные явления, без всякой надежды на возможность когда-либо разрешить их? Ответ на эти вопросы едва ли может быть сомнительным. Да, смирение и прощение суть начала чисто отрицательные, начала ничего не разрешающие и ничего не примиряющие. Это стачка, никогда не кончающаяся, это стачка, которая, будучи однажды допущена, служит источником целого ряда новых жертв, имеющих целью ценою своей приобрести не наслаждение жизнью, а скудную возможность как-нибудь избыть бремя ее. Во всяком случае, подобное содержание человеческой жизни может быть допущено не иначе, как при совершенной ненормальности общественного организма. Высший общественный идеал заключается совсем не в жертвах и принижениях, а в том, чтобы интересы частного лица и интересы общества шли рука об руку, не только не мешая друг другу, но взаимно друг другу помогая. Тут не может быть речи ни о смирении, ни о прощении, ибо ни на то, ни на другое никто не имеет не только повода, но и права. Смотря по той степени, на которой стоит общественный уровень, смирение может быть столько же оскорбительно, как и прощение. Это принципы, равно непригодные к жизни, равно не содержащие никаких положительных результатов.

Тем не менее, сказавши в начале нашей статьи, что считаем талант г-жи Кохановской симпатичным, мы и теперь не отопремся от нашего отзыва, несмотря на то что беспрестанно пробивающееся в ее сочинениях хладное и праздное резонерство, а также то авторское насильство, которое она допускает относительно героев своих повествований, производят на нас самое неприятное впечатление. Дело в том, что, верная своей теории смирения и прощения, г-жа Кохановская доводит ее до крайних последствий, видит в ней не просто искусство жить на свете, но нечто вроде искупления. Ей кажется, что если пристойно заставить человека быть покорным, то еще пристойнее заставить его сначала взбунтоваться и потом, проводив через все мытарства смирения, в виде особенной награды показать в перспективе прощение. Эта аскетическая последовательность автора, однако ж, спасает его, ибо она вынуждает его касаться тех действительных и живых неурядиц, которые никаким резонерским ломаньям не поддаются.

Эти неурядицы и человеческие страдания, которым они дают начало, до такой степени красноречиво говорят сами за себя, что перед их красноречием не устоит никакая преднамеренная неправда. Художник может дать им тот или другой исход по своему усмотрению, может даже, впоследствии, неуме-

стными своими размышлениями совершенно испортить нарисованную картину, но оболгать факт, но воплотить его в иной форме, нежели та, в которой он является в жизни, он не властен. Здесь вся суть заключается единственно в непосредственной силе таланта, и чем выше эта последняя, тем более даст она правды читателю, даже, быть может, и помимо воли самого художника.

Вот в этом-то последнем смысле произведения г-жи Кохановской и имеют свой неоспоримый интерес. В том маленьком мире, который ею избран, она является полною хозяйкою. Она не только коротко знает его, но сама постоянно является как бы действующим в нем лицом. Все его тревоги, все его радости, в ее глазах совсем не маленькие тревоги и пошлые радости, которые можно выставить напоказ, как более или менее забавные уклонения, но тревоги и радости настоящие, выросшие в меру человеческого роста. Нужды нет, что не раз, по поводу описываемых столкновений, невольно задаешься вопросом: да из-за чего ж это люди мучат себя, или не пустякам ли они радуются? дело не в том, чем человек огорчается и чем утешается, а в том, что в этих радостях и огорчениях, как бы ни казались они ничтожными сами по себе, все-таки пробивается наружу человек. Здесь симпатии автора к изображаемым лицам совершенно понятны и законны, ибо они относятся не столько к отдельным личностям, сколько к той общечеловеческой основе, которая и в них сказывается, к тому просветленному человеческому образу, который везде находит себе выход, несмотря на затмения и наносы жизни.

Всех повестей г-жи Кохановской, являющихся ныне особым изданием, четыре: «После обеда в гостях», «Из провинциальной галереи портретов», «Гайка» и «Настасья Дмитрова и Кирила Петров». Есть еще два рассказа: «Старина» и «Давняя встреча», но об них мы не будем говорить, потому что тут уже выступает вперед не творчество, а исключительно резонерство автора. Лучшие и наиболее характеристические повести две: «После обеда в гостях» и «Настасья Дмитрова и Кирила Петров». Ими мы и займемся.

Первая из них вводит нас в быт мелкопоместного русского дворянства, быт бедный и неразнообразный, но описанный г-жою Кохановскою теми ясными чертами, при посредстве которых самая бедность содержания исчезает и в сознании читателя восстает целый мир, мир своеобразный, но совсем не уродливый. Этот мир не чужд нам; нечто подобное ему мы прошли в эпохи нашего детства и отрочества: это мир неполного знания, мир смутных ощущений, в которых человек не дает себе отчета, во-первых, потому, что не чувствует еще в

том настоятельной потребности, а во-вторых, потому, что не умеет, как за это взяться. Человек свежий, не избитый жизнью, бывает легко доступен впечатлениям, но зато эти впечатления как бы скользят по нем, быстро сменяясь одно другим. Радость и горе бывают равно сильны, но вместе с тем и равно скоротечны, почти бесследны. Вот почему в мире детском и в этом другом мире, который описывает г-жа Кохановская и который так близко подходит к детскому, жизнь представляется, в общем своем строе, почти безразличною, и вот почему требуется очень много талантливой наблюдательности, а еще более сердечной памяти, чтобы воспроизвести эту жизнь осязательно и дать почувствовать читателю почти неуловимые ее света и тени.

Такою-то именно светозарною, самонаслаждающеюся представляет пред нами талантливая писательница жизнь молодой девушки в том бедном, но все-таки досужем быту, который она избрала предметом своих исследований. Это жизнь, которая заставляет девушку говорить: «Кажется, что краше-то тебя, молодой, и во всем мире нет! Идешь, земли под собою не слышишь»; эта жизнь — нескончаемая русская песня, та песня, о которой одно из вводных лиц повести так типично выражается: «Спой ты мне, матушка, такую песню, чтоб Замошников, Лукьян Алексеевич, не усидел, не улежал». Песня, в буквальном смысле, составляет все содержание молодого существования; ею оно начинается с той самой минуты, когда еще ребенком девушка приходит к сознанию самой себя, ею оно и кончается. Вот как описывает г-жа Кохановская эту песню:

За последнее время объявись у него, у Черного, новая песня, да ведь какая песня! Ни старые, ни бывалые люди отроду не слыхивали той песни, и как запоет он своим заливным голосом ту протяжную песню, просто душу у тебя силой берет, да и всё тут! Отец протопоп, старый же человек и степенный, что ему песня? — а он сидел под окном и слушал да слушал, как недалечко Черный пел; а далее опомнился, а у него, у отца протопопа, борода в слезах (сама матушка протопопша говорила), так он даже перекрестился. «Господи Иисусе Христе! сказал, вот песня!»

— Но какая же песня? — говорила я Любови Архиповне.

— Да она будто не невесть какая и не мудреная, и всей-то ее, матушка, видеть нечего:

Воздохну, Дунай всколыхну.
Всколыхну ли я Дунай-реку,
Что не к морю вода подымалася,
По желтым пескам расплескалася,
В зеленых лугах разливалася:
По девушке душа встосковалася...

— Песня-то и вся тут,— говорила Любовь Архиповна,— да что сидело в той песне, как Черный ее протяжно да переливно, идучи по городу, пел по вечерней заре... И еще как надойдет над гору и станет на ней, а внизу

река в половодье разлилась, шумит, и он стоит, матушка, и поет: расплескалася, разливалася,— просто, говорили люди, отца и мать бы забыл и всё слушал его!..

— Как же, родная моя! Черному проходу не стало по городу. Купцы, как завидят его, из лавок выбегают навстречу. «Ваша милость, отец родной! Воздохну... Что хочешь из лавки бери, спой только Воздохну»... «Что ж, братцы,— говорил Черный, — не продажная. Самому дорого стоит. Удастся вам послушать, случаем, ваше счастие, а не удастся, не прогневайтесь». Так вот, чтоб удалось это счастие, за Черным по сту глаз смотрели. Чуть он заложил руки назад и пошел по городу, тотчас со всех сторон, приседясь и пригинаясь под плетнями, за ним следом и потянуло человек пятнадцать или двадцать. У хозяев над рекою все плетни по огородам осадили, лазая через них, затем, что, значит, эти места облюбил Черный и уже заливался тут своим «Воздохну».

Признаемся, мы никогда не могли прочесть это место без сильного внутреннего волнения, и отнюдь не полагаем, чтобы чувство это было лишено своего серьезного значения. Нет, оно объясняется, и объясняется весьма рационально, ибо в основе его лежит не что иное, как внутренняя связь с народною массою, тою массою, которая до сих пор ни в чем еще не успела проявить себя, кроме упорного труда и песни. Нам часто случается высокомерно относиться к непосредственным проявлениям народной жизни, даже и тогда, когда мы заявляем себя сторонниками ее; ее предрассудки и верования кажутся нам ничтожными, чуть не презрительными; но такое отношение к народу едва ли справедливо, и во всяком случае никак не расчетливо. Скажем более: поступая таким образом, мы противоречим самим себе, противоречим своим убеждениям и целям, мы делаем совсем не то дело, которое хотим делать. Если мы действительно сочувствуем народным массам, мы должны брать их так, как они есть, мы должны принять за исходную точку нашей деятельности тот нравственный и умственный уровень, на котором они стоят, и из него уже отправляться далее. Наша роль — роль пропагандистов-образователей, но ведь понятно, что, прежде нежели приняться за пропаганду, надо изучить, понять и прочувствовать ту почву, на которую имеет пасть наша пропаганда. Иначе народные массы отвернутся от нас, и вся наша деятельность, как бы ни была она разумна, исчезнет в пустоте. Итак, источник сочувствия к народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается отнюдь не в признании ее абсолютной непогрешимости и нормальности (как это допускается славянофилами), а в том, что она составляет конечную цель истории, что в ней одной заключается все будущее благо, что она и в настоящем заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима.

Вообще, Черный, этот один из множества неведомых творцов русской песни, представляет собой создание в высшей степени поэтическое и сочувственное, несмотря на то что оно введено в повествование г-жи Кохановской эпизодически. Есть много недосказанного в рассказе об отношениях его к героине повести, но в этих-то именно недомолвках и скрывается нечто такое, от чего веет девственно-поэтическою свежестью. Мы думаем даже, что такое, преисполненное внутренней песни существо, как Черный, и могло впасть в жизнь другого лица не иначе, как эпизодически: иначе, жизнь была бы не драмой, а ликованием, а этого не могла иметь в намерениях талантливая писательница по тому одному, что этого не бывает в действительности. Поэтому автор и заставляет Черного погибнуть смертью, в такой же мере поэтичною, в какой была поэтична вся его жизнь: он умирает, спасши жизнь утопавшему мужику. И опять-таки мы не можем воздержаться, чтобы не выписать здесь высокопоэтическое описание его похорон, которым и заканчивает г-жа Кохановская свой рассказ.

— И как хоронили его! Вот, моя родная, прекрасно его хоронили! И теперь поезжай в Купянку, спроси, помнят люди, как Черного хоронили. Оно и забыть нельзя. Так светло и радостно никого будто в жизни не хоронили, ни большого, ни малого. Купцы как услышали, что помер Черный, они ему поснесли всего: от свечей и ладану до всего, матушка, что нужно для гроба, и сами взялись гроб сделать и парчой золотою Черного накрыли. Барышни ему под голову кисейную подушку сшили, розовою тафтой подложили, изукрасили ее лентами, что ни есть лучше. Он себе безродный был, ни отца, ни матери, где-то далеко сиротою взрос. Кажись, и гробу-то его пустеть да сиротеть должно бы было; а вышло, нет, родная моя! Народ к нему валом валил, большие и малые, словно их посылал кто: «Иди, мол, иди, поклонися Черному!» И весь город шел — просто, говорили, как река тек. В среду на вечерню его вынесли в церковь, а наутро-то, значит, в четверг, как хоронить его, отец протопоп собором обедню служил (одно то, что Черный его прихода был, а другое, что и купцы просили). И знаешь, дни праздничные, в храме божием светлость такая, царские двери отворены, пение радостное на обедне льется, и Черный просто неузнаваем в гробу лежал, сказывали сестрицы. Большой такой да хороший; болезнь с него черноту сняла, и он, матушка, побелелый, обложился своими черными волосами, вот жив заснул, высоко на разубранной подушке в красоте лежит! Отпели погребение, и как пришло это время, что дадим последнее целование, отец протопоп первый приступил проститься с усопшим; наклонился он, и, видно, господь внушил ему такую мысль: «Христос воскресе!» — сказал он и трижды, как христосуясь, поцеловал Черного. А тут недалечко у самого гроба женщина с дитятею на руках стояла, и дитя забавлялось, держало в ручке красное яйцо. «Дай мне, дитя, твое яичко», — сказал протопоп. И малютка так ему с ручкою и протянула яйцо. Отец протопоп взял красное яйцо и положи его в гроб Черному, и при этом он слово такое хорошее сказал: пусть, дескать, и в самое недро земли он снесет с собой благовестие Христово. И так, матушка, за протопопом весь народ не прощаться, а христосоваться с Черным стал. Всякий подойдет к усопшему, и

прежде, чем целование мертвецу даст, «Христос воскресе!» скажет ему, как живому. Приступили к выносу, так народ толпами толпился, чтобы понести гроб, и как понесли его, день такой прекрасный в полудне сияет, хоругви развеваются, парча золотая на гробе, как жар, горит, и откуда ни возьмись две ласточки вьются да щебечут над самым гробом,— в удивление привели народ. Просто сладость такая святая умилила людей, как стали заколачивать гроб; заколачивают его, опускают в могилу, а тут, матушка, поют: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Не один, не два человека, а целые десятки их, святым словом: ей-богу! говорили, что они с радостию бы легли и заняли место Черного... Вот какую бог судьбу Черному дал,— сказала Любовь Архиповна,— что он и песней своею и смертью, как силой какою, подвигал за собою людей.

Выше, поэтичнее, сладостнее этих строк мы положительно ничего не знаем в русской литературе. Читая их, чутким сердцем понимаешь, что есть, действительно есть в этой невежественной, погрязшей в предрассудках массе та «подвизающая за собою людей сила», которая и может многое сделать, и многое сделает. Если в настоящее время сфера ее деятельности только отрицательная, если в настоящее время эта масса вся опутана и наружными и внутренними путами, то придет же когда-нибудь час, когда эти путы разрешатся, и в тот час, торжествующая и просветленная, чего она не совершит, чего не подвигнет за собою?

Итак, не на долю Черного выпало положить конец песни и внести элемент драмы в жизнь молодой девушки. Драма начинается совершенно по-будничному, но чем менее в ней поэтических задатков, чем беднее она перипетиями и катастрофами, тем тяжелее она ложится на молодое существование, тем решительнее пригибает его. В Купянку (место действия рассказа) приезжает комиссионер «длинный, да худой, рябой; нос за три версты смотрит, и еще голову вперед вытянул». Вот этому-то господину и полюбилась героиня, рассказчица повести, купянская барышня Любовь Архиповна. Мало того что он наружно не пригож: и Черный не мог похвалиться красотою, но Любовь Архиповна не оставалась-таки к нему бесчувственною,— он и внутренно был далеко не привлекателен. От любви один шаг и до сватовства, до того сватовства, которое не слишком-то озабочивается о взаимности, а занято одними формальностями дела. Действующими лицами являются: комиссионер, как виновник сего торжества, мать Любови Архиповны и Феська Неминучая, торговка бубликами, она же и сваха. Главная заинтересованная в деле сторона, сама Любовь Архиповна, и во сне не видит, как ею распоряжаются безапелляционные решители ее судьбы. Когда дело оказалось зрело обдуманным, когда матушка достаточно на-

торговалась, предлагая комиссионеру и Аграфену Архиповну, и Пелагею Архиповну (вероятно, это делалось для препровождения времени, а отнюдь не из того, чтобы мать жалела Любаши, как это утверждает автор, потому что ведь и Аграфенушка, и Пелагеюшка были той же матери дети), когда комиссионер объявил решительно, что ему никого не нужно, кроме Любаши, мать пришла в комнату, где работали дочери, и объявила свое решение.

«Полно, говорит, оставьте работу, Любаша, я тебя просватала». За кого? говорю. «За комиссионера». Я ушам своим не поверила. «За кого, матушка?» — «Что ты, глуха, что ли? Говорят тебе, за комиссионера,— сказала матушка.— И ступай одевайся: жених к вечеру будет». Я, душа моя, и не знаю, всплеснула руками Любовь Архиповна, как и с чего я начала говорить и голосом голосить, что лучше бы меня в гроб живую положили, что пусть меня матушка убьет, а я не пойду за комиссионера. «Убить тебя я не убью,— сказала матушка,— а поучить хорошо поучу, чтобы ты знала, как слушаться матери». А я ей на это как-то скажи, что она меня за связку Феськиных бубликов отдает комиссионеру, так уже матушка дала мне знать бублики! «Иди, говорит, одевайся». Я пошла, села в нашей горенке, и таки не одеваюсь. Глаза у меня от слез, как кулаки, напухли; коса моя русая растрепанная лежит на шее. Пришла матушка опять ко мне. «Одевайся, говорит. Я тебя еще побью». И другим приемом меня побила. «Если ты не станешь сейчас одеваться,— говорит матушка,— я косу тебе отрежу» (не знала уже, что сказать она), и схватила меня покойница за косу. «Сестрица,— говорю я (вижу, что сестрица Пелагея Архиповна на дверях стоит),— подай матушке ножницы»,— так матушка даже плюнула. «Это бес, говорит, а не девка»,— и ушла от меня. Тут скоро и жених-то пришел или приехал — уже я не знаю. Матушка посылала звать Лукьяна Алексеевича с Марьей Кондратьевною; протопопша пришла, поприходили барышни. Стали меня все уговаривать, так нет! Я и осталась на том, что не оделась и не вышла. Жениху сказали, что у невесты голова болит, и она у меня, ох! болела, матушка!»

Далее все идет своим порядком; девушку смиряют надлежащими мерами и доводят до венца; и затем уже начинается та скорбная, затаенная драма, плод насильственного, механического сочетания людей, не связанных между собою никакими внутренними побуждениями, никакими общими чувствами. Любовь Архиповна уединяется и положительно чуждается своего рябого и неповоротливо-глупого мужа; но, по счастливой случайности, этот муж не надоедает ей и вообще выказывает деликатность чувства, в простом быту не совсем обыкновенную. Дело оканчивается благоприятно, хотя и не совсем естественно: та же случайность, чуждая каких-либо разумных оснований, которая свела эти два лица, столь чуждые друг другу, доканчивает и внутренне их примирение. С одной стороны, смирение и внезапное признание силы долга, с другой — прощение и забвение: вот разрешение, которое г-жа Кохановская сочла нужным дать драме.

Мы уже достаточно говорили о воззрениях г-жи Кохановской на жизнь, чтобы вновь возвращаться к этому предмету. Воззрения эти бедны и фальшивы, но здесь не в них и дело. Разве читатель не достаточно проницателен для того, чтобы вывести из приводимого художником-писателем факта свое собственное заключение? Разве он не достаточно силен для того, чтобы очистить этот факт от не идущих к делу толкований самого автора? Самый факт вовсе не фальшив и изображен вполне верно, как с внешней, так и с внутренней своей стороны. Да, описываемая автором жизнь именно такова; она именно составлена из насильств и лжей, которые, однако ж, вследствие известных условий, не признаются ни насильством, ни ложью. Что нужды до того, что ни сама героиня, ни автор за нее не протестуют: за них протестует сама судьба героини. Ведь от читателя не утаишь, никакими хитросплетениями не закроешь, что положение бедной девушки, которую облюбовал рябой комиссионер, есть все-таки положение овцы, которую ведут на убой, что самое примирение этой женщины с своею участью совсем не результат посредничества какой-то таинственной силы, произведшей внезапный переворот во всем существе пациента, но плод глубокого и вымученного сознания, что от комиссионера все-таки никуда не уйдешь. Самое страдание, непосредственно следующее за этим тяжелым нравственным кризисом, самый этот «великий плач», которому предается героиня, непосредственно вслед за примирением, достаточно доказывают, что тут и примирения-то в строгом смысле слова нет, а просто есть отчаяние, доведенное до крайних своих пределов и разрешившееся наконец чувством покорности. Все эти выводы легко сделает сам читатель и затем на все дальнейшие разглагольствования автора может смотреть, как на детское упражнение, сделанное в угоду какому-нибудь строгому педанту-учителю, требующему непременно, чтобы ученик выводил из сочинения своего приличное его возрасту нравоучение.

Все замеченные нами выше достоинства и недостатки еще с большею яркостию выступают в другой повести г-жи Кохановской «Кирила Петров и Настасья Дмитрова», хотя надо сознаться, что здесь недостатков более, нежели достоинств. И здесь двигателем драмы является то бесконечное горе, тот «великий плач» русской женщины, который заставляет ее, в цвете лет, при полной наличности всех данных, обусловливающих право на наслаждение жизнью, говорить любимому человеку: «Утопите вы меня! деньте меня, куда знаете; заведите меня в лес и бросьте, чтоб я свету божьего не видела»; и здесь рассказывается целый искус страданий, сквозь который автор

проводит молодую, нравственно чистую женщину, прежде нежели эта последняя купит себе незавидное право жить хотя тою невзрачною жизнию, которая, по общему, испокон веков установившемуся убеждению, считается единственно законною. Нельзя не сознаться, что содержание драмы задумано весьма чутко, в особенности если примем в соображение ту ограниченность общественной сферы, которая, при настоящем положении русской литературы, доступна ее разработке.

И герой и героиня повести — оба сироты, оба воспитаны в горькой школе нужды. Кирила Петров провел свое детство под руководством старого, вечно пьяного дьячка. Настасья Дмитрова еще того хуже — под ферулою тетки, одного из тех уродливо чопорных созданий, которые вырождало из себя по временам крепостное право, в лице экономок, барских барынь и барыниных фавориток-горничных. Благодаря своей талантливой натуре, Кирила Петров скоро вышел на ровную, самостоятельную дорогу, а Настасья Дмитрова, после смерти тетки, попала в горничные к бывшим господам своей воспитательницы. Господа были либеральные, то есть принадлежали к числу тех российских помещиков, которые, во времена оны, хвастались, что у них «почти конституция», дворовых людей содержали сносно, но в то же время морили над бестолковыми и совершенно непроизводительными работами. Кирила Петров еще ребенком полюбил Настю, и начало повести застает нас уже на сватовстве. По-видимому, и Настя любит Кирилу, однако из ее отношений к нему заметно, что чувство, ее одушевляющее, совсем не любовь, а скорее тихая, дружеская привязанность, порожденная привычкой и долгою взаимною доверенностью. Есть у нее другое чувство, которое охватило все ее существо, чувство, которое, по ее собственному убеждению, не имеет ни малейшей надежды на правильный исход, но которому тем не менее она не могла не отдаться со всею силой молодого, горячего увлечения. Человек, вызвавший это чувство, барин и имеет все свойства милого мерзавца. Настя несколько раз порывается сознаться Кириле в своем большом горе, но всякий раз, в решительную минуту признания, ее останавливает то невольное чувство женской стыдливости, которое нередко подсказывает ей слова полного отчаяния, вроде приведенных нами выше, но никогда не допускает высказаться до конца. В этом тревожном колебании, объясняемом сверх того и беспрерывными отлучками жениха, и тою надоедливою суетою, которая всегда предшествует свадьбе, ни на минуту не оставляя свободными жениха и невесту, проходит все время до той минуты, когда всякие признания и всякий возврат де-

лаются уже невозможными. Кирила Петров и Настасья Дмитрова уже муж и жена и приезжают в свой дом. Но здесь мы предпочитаем продолжать рассказ словами самого автора.

Войдя в дом молодым счастливым мужем, он (Кирила) оборотился к дверям домовитым хозяином и поискал рукою крючок, чтобы припереть двери на ночь.

— Не запирайте, Кирила Петрович. Выгоните вы прежде на улицу меня!

В первую минуту даже не дрогнуло сердце счастливого Кирилы. Войдя в комнату, где огни были потушены и только лампадка теплилась перед божничкою, он не увидел сначала жены и потом, увидя ее, не понял, слыша ее слова, не вслушался, что ему говорила она.

— Выгоните меня, Кирила Петрович, чтоб сырая земля меня приняла.

Что-то страшно дрогнуло внутри всего Кирилы.

— Что это вы говорите, Настасья Дмитревна... радость моя!

Приостановился он с последним словом и вымолвил его с страшной силою находящего горя.

— Что я говорю? Разве я даром говорила вам, чтобы вы утопили меня — дели меня, куда знаете, чтоб я свету божьего не видала, срамоты не клала на себя!

— Настасья Дмитревна! У меня свет заступается, побойтесь милосердного бога! Чтой-то вы такое взводите на себя?

В тиши и сумраке с минуту не слышно было ответа.

— Взвожу... Мне скоро на люди будет показаться нельзя.

Есть несчастные минуты у человека, что он верит и отказывается верить — видит своими собственными глазами, и ушами слышит, и словно не верит ни ушам, ни глазам своим! просит еще другого уверения.

И Кирила просил его.

— Перекреститесь, Настасья Дмитревна! — После первого глотка воздуха, которым было задохнулся, Кирила крестил и себя и ее большим крестом...— Христос-бог с вами!

Бедная, потерянная девушка, до сих пор как бы застылая в своем откровенном позоре, зарыдала.

— Видит бог, Кирила Петрович! — говорила ему она,— хоть разрежьте мне сердце, сами увидите — одно, что я не хотела обманывать вас. Я и сама не знаю, как вы засватали меня! Все я хотела сказать вам, да горькое оно слово, с языка нейдет! На девичнике вы сами не дали мне; перед венцом просилась к вам — не пустили меня. Хоть в этом невиноватом деле простите вы, Кирила Петрович! не кладите вины на меня!

Настенька стояла у стены, как прикованная. Кирила сел.

— Опричь того, бейте, карайте меня! Пусть я шатаюсь, где день, где ночь, и все люди указывают пальцами на меня...

— А сам я где денусь? — ударил Кирила обеими руками об стол и не то слезами, не то сухо голосом зарыдал он,— легче вы бы сняли голову с меня, чем вам говорить такие слова, а мне вас слушать!

Кирила совсем наклонился головою к столу. Сердечная мука донимала его.

— Напоили вы горем меня, как медом, Настасья Дмитревна! Голова пьяна,— поднял он голову, сильно стряхивая тяжелый хмель ее с нависших на лицо кудрей.— Барышня моя! потчуйте разом до дна! Это на лизоблюдное лакейство сменяли меня, иль подымать выше?

— Не на лакейство, Кирила Петрович, не пейте вы моего горького вина! — покорно отозвалась от стены Настенька.

— Что ж мне делать-то? Наложить руки на себя? и рад бы я, так бог не велит.

Кирила встал; но хмелем его сильным так пошатнуло, что он не устоял, опять сел.

— Видишь оно, размывчивое пиво, с ног сбило,— с усмешкою проговорил он.

За этою сценою следует тот скорбный, страдальческий искус, о котором мы говорили выше. Замечательно, с какою грубостью даже такая честная и по-своему высокая личность, какою в самом деле представляется Кирила Петров, относится к тому, что разумеет своим правом. Правда, он не бьет жены своей, он не выгоняет ее из дома, но самая честность и относительная развитость его подсказывают ему кару, еще более мучительную. Эта кара заключается в том, чтобы заставить жену вконец истомиться под игом вечного нравственного укора, и вот с этою-то целью он ездит сначала с ней по монастырям, потом привозит в одну из донских станиц, где и оставляет. Положение бедной женщины, непрерывно видящей перед собой грозного судью всей ее жизни, тем более тяжко, что судья этот не пользуется бесспорным правом, которое дает ему общество, но предпочитает томить свою жертву медленным огнем, сопровождая эту страшную казнь всеми признаками наружной заботливости. Без ласки, без малейшей тени участия вянет это жаждущее любви сердце, питаясь одною боязливою надеждой, что энергия, с которою ведется преследование, утомит когда-нибудь самого преследователя. Где источник этой горькой надежды и откуда странное право на такую бесчеловечную кару? вот вопросы, которые, конечно, вправе будет задать себе всякий читатель, но г-жа Кохановская не ответит ему на них. По обыкновению своему, она доводит драму до высшего развития и потом пришивает к ней славянофильский водевиль.

Вот содержание двух замечательнейших рассказов г-жи Кохановской. Повторяем: личные отношения автора к изображаемой им жизни, отношения, которые, к сожалению, почти везде насильственно выходят на первом плане, крайне односторонни, тем не менее мы должны быть благодарны ему уже за то одно, что он с таким верным инстинктом наметил нам те сердечные боли нашей общественной среды, которые служат для человека бесконечным источником мучительных и совершенно бесплодных тревог. Автор изобразил перед нами целый мир призраков во всей их мниможизненной силе, со всем тем условным гнетом, который один и составляет содержание этой силы; затем от нас самих уже зависит продолжить работу автора, перенести ее в другую сферу и сделать те выводы, которые сами собой из нее извлекаются.

СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. ФЕТА. Издание К. Солдатенкова. 2 части. Москва. 1863.

В семье второстепенных русских поэтов г. Фету, бесспорно, принадлежит одно из видных мест. Большая половина его стихотворений дышит самою искреннею свежестью, а романсы его распевает чуть ли не вся Россия, благодаря услужливым композиторам, которые, впрочем, всегда выбирали пьески наименее удавшиеся, как, например, «На заре ты ее не буди» и «Не отходи от меня». Если при всей этой искренности, при всей легкости, с которою поэт покоряет себе сердца читателей, он все-таки должен довольствоваться скромною долею второстепенного поэта, то причина этого, кажется нам, заключается в том, что мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя г. Фет, довольно тесен, однообразен и ограничен.

Это мир неопределенных мечтаний и неясных ощущений, мир, в котором нет прямого и страстного чувства, а есть только первые, несколько стыдливые зачатки его, нет ясной и положительно сформулированной мысли, а есть робкий, довольно темный намек на нее, нет живых и вполне определившихся образов, а есть порою привлекательные, но почти всегда бледноватые очертания их. Мысль и чувство являются мгновенною вспышкою, каким-то своенравным капризом, точно так же скоро улегающимся, как и скоро вспыхивающим; желания не имеют определенной цели, да и не желания это совсем, а какие-то тревоги желания. Слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полудетского миросозерцания.

И не знаю я, что буду
Петь, но только песня зреет...

Вот как выразил сам г. Фет сущность своей поэзии, и, по нашему мнению, выразил ее совершенно верно.

Родоначальником этой, так сказать, эмбрионической поэзии, от которого она перешла и на нашу почву, можно считать известного немецкого поэта Гейне; но у Гейне это просто один из множества разнообразных оттенков общей картины, свидетельствующей об избытке силы, у г. Фета — это все содержание картины, содержание, из которого можно заключить только о скудости его творческих средств. Другие свойства таланта Гейне, как, например, его исполненное горечи отрицание, его желчный юмор и то холодное полуотчаяние, полупрезрение, выражающееся в постоянном и очень оригинальном раздвоении мысли, те свойства, которые именно и составляют основной и самый прочный капитал его поэтической деятельности,

остались для нашего поэта чем-то вроде очарованного замка, в двери которого он даже и стучаться не пробовал, потому что инстинктивное (и, конечно, похвальное) чувство скромности подсказывало ему: беги сих мест, ибо здесь совершается запутанное и нерадостное людское дело! настоящее же твое место там, где кузнечики (цикады) поют свой радостный гимн. Он послушался этого тайного голоса и, разумеется, поступил весьма благоразумно, но поэзия его от этой скромности не выиграла: она все-таки скудна содержанием, все-таки страдает крайним однообразием мотивов и порою даже прискучивает. Прочесть одно, два стихотворения г. Фета всегда бывает приятно, но прочесть целую книжку его стихотворений составляет уже труд довольно значительный. Бесспорно, в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени, как следующее стихотворение г. Фета:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!..

Но если это самое прелестное стихотворение представят вам в нескольких стах вариантах, то очень будет немудрено, что наконец и самая прелестность его сделается для вас несколько сомнительною. Ибо что, в сущности, составляет содержание этого прелестного стихотворения? содержание его составляет чувство до такой степени неясное, до такой степени мало себя сознающее, что даже для своего собственного определения оно не может остановиться ни на каком отдельном образе, а беспрерывно мечется от одного образа к другому. Тут что ни строка, то один или два образа, так что обилие их делается наконец равносильным совершенному их отсутствию. В сущности, это даже не образы, а просто недоконченные штрихи, по которым внимание скользит, не останавливаясь, и которые, в результате, производят впечатление очень смутное и потому малопродолжительное. Понятно, следовательно, что читателю, незнакомому специально с музой г. Фета, кажется, что он всё одно и то же стихотворение пишет, или много два,

три стихотворения. И если такому читателю вы прочтете следующее, предположим, неизвестное еще ему стихотворение:

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.
От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью;
Слышишь ржанье по долинам:
То табун несется рысью.

Или следующее:

Ночью как-то вольнее дышать мне,
Как-то просторней...
Даже в столице не тесно.
Окна растворишь:
Тихо и чутко
Плывет прохладительный воздух.
А небо? а месяц?
О! этот месяц волшебник!
Как будто бы кровли
Покрыты зеркальным стеклом,
Шпили и кресты — бриллианты;
А там за луной небосклон,
Чем дальше — светлей и прозрачней.
Смотришь — и дышишь.
И слышишь дыханье свое,
И бой отдаленных часов,
Да крик часового,
Да изредка стук колеса
Иль пение вестника утра.
Вместе с зарею и сон налетает на вежды,
Светел, как призрак,
Голову клонит, а жаль от окна оторваться.

то он, наверное, скажет: да! это стихотворение прелестно, но я уже читал его! И не придет ему в голову, что он совсем не это стихотворение читал, а другое, начинающееся стихом: «Шепот, робкое дыханье», и не сообразит он даже, например, того, что в одном стихотворении («Ночью как-то вольнее дышать мне») изображается картина вечера городского, а в обоих других картина вечера сельского — до такой степени впечатление, производимое всеми тремя стихотворениями, одинаково по своей неопределенности.

Это вообще участь всех сильных и энергических талантов — вести за собой длинный ряд подражателей и последователей, которые охотно овладевают пышною ризой богатого патрона, но, не будучи в состоянии совладать с нею, расщипывают ее по кусочкам. Там, где патрон отзывается на многочисленные и разнообразные запросы жизни, клиенты его выбирают какой-

нибудь один мотив и притом, по большей части, самый слабенький и, овладевши им, изувечивают его вконец. И несмотря на то что в некоторых из этих второстепенных деятелей отнюдь нельзя отрицать присутствия таланта, бессилие и ограниченность этого последнего скажется непременно, и скажется очень скоро. В двух, трех пьесах он выльется весь со всем своим внутренним содержанием, и затем вся его дальнейшая поэтическая деятельность будет не более как повторением задов, иногда даже очень неловким.

До какой степени это последнее замечание справедливо, пример тому представляет г. Фет. Читая его стихотворения в сборнике, отказываешься верить, что одна и та же рука писала приведенные нами выше три прекрасные, хотя и очень однообразные стихотворения и, например, следующее:

Ночь нема, как дух бесплотный,
Теплый воздух онемел,
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел.

Тот ли это, что мешает
Вдалеке лесному сну
И, качаясь, набегает
На ночную тишину?

Или этот, чуть заметный
В цветнике моем и днем,
Узкодонный, разноцветный
На тычинке под окном?

Прочитывая это воплощенное противоречие грамматике, читатель недоумевает, уж не загадка ли какая перед ним, не «Иллюстрация» ли это шутки шутит, помещая на своих столбцах стихотворные ребусы без картинок? Нет, читатель, это не загадка, а продолжение той же самой поэтической деятельности, которая уже исчерпала скудное свое содержание, но не хочет еще сознаться в этом. Поэтическую трапезу г. Фета, за весьма редкими исключениями, составляют: вечер весенний, вечер летний, вечер зимний, утро весеннее, утро летнее, утро зимнее; затем: кончик ножки, душистый локон и прекрасные плечи. Понятно, что такими кушаньями не объешься, какие бы соусы к ним ни придумывались; понятно тоже, что придумыванье соусов представляет работу тяжкую и притом до того ослабляющую воображение, что последнее под конец даже вовсе отказывается от всяких придумываний, а просто-напросто довольствуется некоторыми слабыми и притом не всегда впопад делаемыми изменениями в старых рецептах. Вот в эти-то горькие минуты и пишутся стихотворения, подобные выписанному нами «Колокольчику».

И между тем находятся глубокомысленные критики, которые поэтическую деятельность г. Фета ставят до такой степени высоко, что даже для оценки произведений других его собратий употребляют выражение: «тут есть что-то фетовское». Смеем их уверить, что даже в стихотворениях самого г. Фета, некоторой части которых мы, впрочем, отдаем должную справедливость, есть очень мало «фетовского».

О РУССКОЙ ПРАВДЕ И ПОЛЬСКОЙ КРИВДЕ. Писано ко всем православным христианам из царствующего града Москвы, в лето от сотворения мира 7371, от рождества же бога слова 1863, иулия в 15 день, на память святаго равноапостольнаго князя Владимира, в святом граде Киеве народ русский святым крещением просветившаго. Москва. 1863.

Брошюрка эта представляет собой одну из бесчисленных, но до сих пор очень редко удававшихся попыток подделаться под русский народный толк и объясняться с народом языком ему доступным. Фактурой своей она напоминает псевдонародные, несколько ухарские рассказы г. Андрея Печерского, в которых всегда нанизано множество народных слов и оборотов речи, но собственно народного все-таки нет ничего. Видимое дело, что автор брошюры человек бывалый, обращался с народом, знаком с его пословицами и прибаутками, но народной мысли, но кровной народной нужде все-таки остался чужд. А потому в книжке его прежде всего неприятно поражает фальшивый тон и желание автора во что бы то ни стало принизить себя до народного понимания; речь несвободна и сплошь испещрена всякого рода присловьями и стереотипными выраженьицами, для более или менее ловкого подбора которых не требуется даже знакомства с народом, а достаточно заглядывать почаще в труды гг. Снегирева, Буслаева и Даля.

Именно то обстоятельство, что автор, очевидно, приискивал какую-то особенную манеру, чтоб разговаривать с народом, уже изобличает в нем человека, худо понимающего ту личность, к которой он обращается. Он видит в народе или низшую породу людей, или какое-то полудурье и, руководствуясь этим взглядом, измышляет для него низшего сорта мысли и форменно простонародные речи. А между тем это совсем не так; народ и не дурак, и не низшая порода; он страдает только недостатком знаний, а потому и давайте ему знаний, только знаний, а не прикидывайтесь простяками, не обращайтесь к нему с речью и мыслями, с которыми вам было бы совестно обратиться к лицу, стоящему в общественной иерархии на одной ступени с вами.

Книжка написана с специальною целью: возбудить в рус-

ском народе патриотизм, по случаю совершающихся ныне в Польше событий. Само собой разумеется, что такая цель заслуживает всякой похвалы, но при этом не следует забывать, что народ русский и без внушений любит свою родину превыше всего, и что, следовательно, не столько о возбуждении в нем патриотизма надлежит хлопотать, сколько о том, чтобы патриотизм этот не являлся чувством чересчур непосредственным, чтоб он сознал самого себя. Чтоб достигнуть этого, достаточно изложить факты просто, кратко и ясно: они будут говорить сами за себя; народ поймет эти факты и отнесется к ним с тем здоровым смыслом, который составляет его неотъемлемую характеристическую черту, но чувство его положительно будет оскорблено, когда, вместо фактов или рядом с ними, ему навязывают нелепые формальные сентенции, когда к нему обращаются не с обычною речью и когда при этом позволяют себе преднамеренно извращать даже такие факты, которых смысл вполне изведан народом собственным горьким опытом. О, составители народных руководящих книжек! помните, что, прибегая к этим последним приемам, вы подрываете ту самую цель, к которой стремитесь! И потому, если вы, например, думаете сами и желаете передать народу свое убеждение, что смуты, которые в настоящую минуту господствуют в Польше, имеют гнилой и зловредный корень, то и излагайте дело, как вы его понимаете, а не приплетайте же в вашу речь каких-то добродетельных помещиков, потому что, делая это, вы вредите самим себе. «Ну, уж это он, кажется, солгал»,— скажет русский мужичок, читая ваше идиллическое описание русских поместных отношений, да, пожалуй, подумает, что и в остальном вы точно так же солгали. Приятно ли это будет вам, приятно ли будет тем, которые, быть может, слишком понадеялись на вашу бывалость и мнимое знакомство с народной жизнью?

Чтобы говорить с народом, надобно прежде всего отречься от всяких преувеличений и быть строгим к самому себе; надо спросить себя: достаточно ли обуздана моя мысль для такого дела? Ничто так не противно народу, как мешанье дела с бездельем и переливанье из пустого в порожнее. Он сам никогда не бездельничает, а потому требует и от тех, которые к нему обращаются, чтоб они высказывали ему свое дело прямо и кратко, без подмеси пустых и наносных речей. Людей, которые сами не сознают своей мысли, а говорят, что им на ум взбредет или с чужого шепота, называют в народе пустыми мельницами и на все их речи только машут руками. Поэтому, даже и для того, чтоб пустить в народ даже не совсем чуждую ему мысль, нужна крайняя осторожность; нужно прежде всего

соблюсти чувство меры, а не потчевать, по пословице: чем богат, тем и рад, и не выбрасывать зараз весь запас своего скудненького миросозерцания, по пословице: что есть в печи, то и на стол мечи. Таким образом можно напотчеваться и на свою голову, ибо на такое потчеванье народ тоже может ответить пословицей: Еремея потчуют умея, за ворот да в три шеи.

Мы очень хорошо понимаем, что недостаток талантливых людей, которые могли бы просто и вразумительно говорить с народом, есть недостаток весьма печальный. В особенности должен он быть ощутителен для правительства, которое, по самому существу своему, не может иметь в виду иной цели, кроме народного образования и постановки народа, в делах внутренней и внешней политики, на ту точку зрения, которая согласна и с требованиями разума, и с историческим ходом вещей. На каждом шагу оно осаждается людьми усердными и, по-видимому, доброхотными, которые тем не менее, по ограниченности своих мыслительных способностей, предлагают вместо знания народности какую-то бывалость и прожженность, вместо знания народной речи пошлое балагурство, а вместо справедливости изуверство. После того, какая ужасная ложь может вылиться из этого усердия. А между тем такая ложь сплошь и рядом выдается за истину, и находятся наивные люди, которые верят ей и в простоте сердца воображают, что самое лучшее средство беспечально прожить жизнь заключается в том, чтобы систематически держать народ в неведении и систематически же возбуждать в нем какие-то темные силы, влиянию которых и без того слишком легко поддается человек, лишенный действительного знания.

Возьмем, для примера, ту же любовь к родине, о которой мы уже сказали вскользь выше. Любовь эта сама по себе так жива и естественна, что не требует никаких подстрекательств, а тем менее обращения к крайним ее проявлениям, доходящим до фанатизма. Человек и без того уже склонен воспитывать в себе чувство национальности более, нежели всякое другое, следовательно, разжигать в нем это чувство выше той меры, которую он признает добровольно, будучи предоставлен самому себе, значит уже действовать не на патриотизм его, а на темное чувство исключительности и особничества. Этим-то именно усилиям и посвящена разбираемая нами брошюра; в ней на каждом шагу говорится о мерзости запустения, о том, что «не сегодня сказано, что у поляка совесть крива», что «поляк такой уж непостоянный человек: с ним дружи, а за пазухой камень держи», что поляки «хвастунишки и подлипалы» и т. д. С трудом верится, что под «мерзостью запустения» автор разумеет римско-католическую веру, которая

есть все-таки вера христианская, и что кривою совестью он поголовно укоряет народ, огромное большинство которого, быть может, и совершенно чуждо происходящим ныне смутам. Не ясно ли, что, поступая таким образом, он думает совсем не о том, чтобы пробудить в народе сознание правоты его дела, а о том единственно, чтобы поселить в нем слепую ненависть и презрение и содействовать еще большему распространению того невежества, в силу которого хорошо только наше, а все, что не наше, достойно осмеяния и оплевания.

Но этого мало: самые драгоценные перлы сумбурного усердия заключаются на стр. 48—49, где говорится о разных «русских ворах и изменниках». Уже само собой разумеется, что им достается как следует, но всего замечательнее, что автор под «ворами и изменниками» разумеет всякого человека, который «начнет сказывать что-нибудь такое, о чем ни начальство не объявляло, ни отец духовный не говорил», и советует такого человека «немедленно задержать». Следовательно, если бы самому автору, еще как человеку бывалому, вздумалось в каком-нибудь селении сказать басню Крылова «Пустынник и медведь», которую, конечно, «ни начальство не объявляло, ни отец духовный не говорил», то и его надо бы «задержать»? Прекрасно. Мы думаем, однако, что подобные слова, обращенные к народу, представляют собой или плод горячечного бреда, или результат сознательного стремления подстрекнуть народ к междоусобию.

Вновь повторяем: мы совсем не против самой мысли разъяснения народу его прав на участие в таком жизненном вопросе, как тот, который занимает ныне все умы, но думаем, что в таком деле недостаточно одного доброхотства; если же вдобавок к этому чисто отрицательному качеству присовокупляется некоторая ухарская развязность, если автор при этом хранит такое убеждение, что «крестьянское горло, что суконное бердо — всё мнет», то он может быть уверен, что достигнет цели совсем противоположной, нежели та, которую себе предположил.

СКАЗАНИЕ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ И ЧТО БЫЛА РОССИЯ, КТО В НЕЙ ЦАРСТВОВАЛ И ЧТО ОНА ПРОИСХОДИЛА. Князя В. В. Львова. (Посмертное издание.) С.-П.-бург. 1863.

Книжка эта представляет собой одну из бесчисленных, но до сих пор почти никогда не удававшихся попыток подделаться под русский народный толк и объясняться с народом языком ему доступным. Желание понравиться народу и быть

в некотором смысле его руководителем соблазняет очень многих; г. Андрей Печерский пишет для него брошюры, г. Н. Ф. Павлов издает политическую газету, г. Кушнерев сочиняет назидательные повести, г. Розенгейм угощает язвительными стихотворениями; но увы! умение их далеко не равняется усердию. От всех этих попыток так и разит тлением и ветошью; авторы их, очевидно, люди бывалые, обращавшиеся с народом, даже знакомые с его пословицами и прибаутками, но в то же время положительно чуждые и народной мысли, и кровной народной нужде. В их книжках прежде всего поражает какая-то худоскрываемая преднамеренность и желание во что бы то ни стало принизить себя до народного понимания; поэтому речь не свободна и сплошь испещрена всякого рода присловьями и выраженьицами, для более или менее ловкого подбора которых не требуется даже знакомства с народом, а достаточно заглядывать почаще в труды гг. Снегирева, Буслаева и Даля.

Уже то одно, что все эти «сочинители» приискивают какую-то особенную манеру, чтоб разговаривать с народом, что они, нисколько не церемонясь, говорят своим читателям: «посмотрите, как я искусно притворяюсь!» — изобличает в них людей, худо понимающих ту личность, к которой они обращаются, и притом совсем не таких глубоких хитрецов, какими они себя почитают. Они видят в народе или низшую породу людей, или какое-то полудурье и, руководствуясь этим взглядом, измышляют для него низшего сорта речи и форменно простонародные речи. Между тем народ и не дурак, и не низшая порода: он страдает только недостатком знаний, а потому и требует знаний, и только знаний. Поэтому к тем проходимцам, которые обращаются к нему с такими мыслями и речами, с которыми им совестно было бы обратиться к лицам, стоящим, в общественной иерархии, на одной ступени с ними, он и относится так, как прилично к ним относиться: то есть не бросает их книжек под стол потому только, что вообще с печатною бумагою привык обращаться осторожно, но не читает их, и сочинителей их называет ветряными мельницами.

Вообще, услужить народу по письменной части — дело очень трудное. Для этого мало бывалости, мало даже знакомства с сборниками народных пословиц и прибауток, а необходимо прежде всего отречься от всяких преувеличений и быть строгим к самому себе. Одним словом, необходимо спросить себя: достаточно ли обуздана моя мысль для такого дела. Тут более, нежели где-нибудь, требуется строго научный взгляд на вещи, не отравленный ни авторскими умозаключениями, ни желанием достигнуть каких-либо посторонних

целей, потому что ничто так не противно народу, как мешанье дела с бездельем и переливанье из пустого в порожнее. Он сам никогда не бездельничает, а потому требует и от тех, которые к нему обращаются, чтоб они высказывали ему свое дело прямо и кратко, без подмеси пустых и наносных речей. Людей, которые сами не вынашивают своей мысли, а говорят, что им на ум взбредет или же с чужого шепота, народ презирает и на все их речи только машет руками. Поэтому, даже для того, чтобы пустить в народ мысль и не совсем ему чуждую, чтоб укоренить в нем хотя бы и то, что, в качестве семени, уже залегло в него, нужна крайняя осторожность. Самую существенную опасность в этом случае представляют некоторые чувства, которые, при известных условиях, находят слишком легкий доступ к народу. Известно, что подобные чувства всего более находят панегиристов и истолкователей (потому что и дело-то это самое сподручное и неубыточное), и вот темные публицисты бросаются на них с жадностию и сразу вываливают из своих кошниц все плоды своей бывалости и прожженности. Но этою жадностью они только портят свое собственное дело; они забывают, что во всяком деле прежде всего нужно соблюсти чувство меры, а не потчевать по пословице: что есть в печи, то на стол мечи. Ибо, потчуя таким образом, можно напотчеваться на свою голову и можно, в ответ себе, напроситься на другую пословицу: Еремея потчуют умея, за ворот да в три шеи.

Возьмем, для примера, любовь к родине. Что может быть прекраснее? что может быть возвышеннее? Но если мы решаемся говорить об ней, если мы решаемся напоминать об ее существовании меньшей братии, то никак не следует забывать, что для последней это чувство понятно и дорого отнюдь не менее, как и для нас самих. Уже само по себе взятое, это чувство так живо, что избавляет нас от всяких подстрекательств, а тем менее от обращения к крайним его проявлениям. Человек и без того уже наклонен воспитывать в себе чувство национальности более, нежели всякое другое, следовательно, разжигать в нем это чувство выше той меры, которую он признает добровольно, будучи предоставлен самому себе, значит уже действовать не на патриотизм его, а на темное чувство исключительности и особничества. Тогда-то и являются на сцену в изобилии все эти «мерзости запустения», все эти «хвастунишки и подлипалы», одним словом, все эти нелепые сентенции, которыми через край переполнены псевдонародные книжицы. Вместо того чтобы излагать факты просто, кратко и ясно и затем ожидать, чтобы народ отнесся к ним с тем здоровым смыслом, который составляет его харак-

теристическую черту; вместо того чтобы хлопотать о том, чтобы патриотизм сознал самого себя и не являлся чувством чересчур непосредственным, наши неискушенные народоучители из того только и бьются, чтоб осветить факты своим собственным блудящим светом и заразить их своим собственным далеко не благовонным запахом. Ясно, что этим они только наносят ущерб тому делу, которому необдуманно берутся служить.

О, составители народных книжек! помните, что у народа есть очень простое, но вместе с тем и совершенно неизгладимое клеймо, которым он пятнает подобные попытки. «Ну, уж это он солгал»,— говорит он, читая ваши радужно-идиллические повествования, и затем безразлично переносит этот взгляд на всю массу печатной бумаги, которая предлагается для его научения и назидания. Или вам этого-то и надобно?

Да; недостаток талантливых людей, которые могли бы просто и вразумительно говорить с народом, есть недостаток весьма печальный. Но что всего печальнее — это тот результат, который сам собой выходит из этой галиматьи: народ, замечая, что с ним шутят, что к нему обращаются с мыслями, так сказать, получеловеческими, что на него смотрят, как на совокупность низших организмов, мало-помалу сам охладевает к делу образования и начинает отождествлять его с враньем, переливанием из пустого в порожнее и другими непроизводительными занятиями хороших, но праздных людей.

Впрочем, все изложенные выше размышления хотя и внушены нам сочинением кн. Львова, но могут быть применены к нему лишь отчасти. В авторе его не заметно ни преднамеренности, ни той развязности манер, которые отличают ходоков по этой части; напротив того, видно, что он совершенно искренно верит в свое призвание и что он без всякого худого намерения объясняется с народом низшего сорта мыслями и низшего сорта языком. Он просто думает, что для того, чтобы что-нибудь внушить мужику, необходимо хоть на время прикинуться отчасти младенцем, отчасти юродствующим. Он даже не дает себе труда редактировать прибаутки и пословицы, которыми преисполнена его книга, согласно с редакцией Буслаева, Снегирева и Даля, а передает их в том самом виде, в каком они перешли к нему от какой-нибудь старухи-нянюшки. Это человек совершенно искренний, которому даже на мысль не может прийти, чтобы для народа было что-нибудь обидное в том, что к нему относятся, как к младенцу.

Начать с самого заглавия книги — что означает оно? Для чего не поставлено на обертке просто «Краткая история России», а «Сказание о том, что есть и что была Россия, кто

в ней царствовал и что она происходила»? И что такое за выражение: «что она происходила»! Мы знаем, конечно, что народ иногда выражается: «такой-то медные трубы произошел», но смысл этого выражения ограниченный и притом исключительный. Следовательно, употреблять такое выражение для замены им другого, гораздо более понятного («история») — значит или придавать своему труду характер несколько юмористический, или же просто действовать по пословице: слышу звон, да не знаю, откуда он. А может быть, что и ни того, ни другого намерения тут нет, а есть только невинное желание пококетничать с народом, да и «своим» кстати показать, что вот, дескать, какое я слово знаю, что вы и животики надорвете (тоже хорошее выражение)? Может быть, и это.

Затем, начинается рассказ о том, при каких условиях составилась книжка. Потребовалось, вот видите, уяснить (кому потребовалось?), «что такое Россия, велика ли она, всегда ли была такая, как теперь, прибавилась ли она против прежнего или убавилась?». Обязанность отвечать на эти вопросы возлагается на старика Наума, который, «сотворив крестное знамение», и начинает вести речь.

Уже по самым вопросам можно догадываться, что автор очень мало знает своего читателя. Он думает, что русского мужика прежде всего должна поражать громадность и что самый существенный вопрос, который ему представляется, есть вопрос о величине. Мы утверждаем, однако же, что это совсем не так, и в доказательство можем сослаться на множество русских пословиц, которые ясно свидетельствуют в пользу нашего мнения. И в самом деле, неужели же русского мужика могут интересовать прошедшие судьбы его родины только в силу вопроса о ее величине? Неужели между русским народом и его прошедшим нет другой живой связи, кроме той, которая заключает в себе представление о расширении и округлении границ? Не будучи специалистами по этой части, мы, конечно, не беремся разрешить, представляет ли наша история повод для вопросов иного свойства, нежели те, которые задаются кн. В. В. Львовым, но думаем, что если бы она не представляла таких поводов, то знание ее было бы знанием очень неплодотворным.

И вот, руководясь таким взглядом, старик Наум начинает сокращать Карамзина и Устрялова, пересыпая свой рассказ прибаутками вроде: «кто кого смогá, тот того и в рога», «сердечный», «сем-ка» и т. д. Нередко Наум прокашливается и просится отдохнуть, но слушатели его ждут не дождутся, когда опять настанет вечер и опять потекут, словно река, напоенные медом словеса Наумовы.

Что же, братцы, не за дело ли нам? уж не бить ли челом свет Пахомычу?

Ну-тко, детушки, поднимайтеся, вокруг дедушки собирайтеся!

Уж стоит Наум оправляется, уму-разуму учить собирается.

И сошлись опять по-вчерашнему, по-вчерашнему, по-бывалому. Нишкнут все, дожидаются; крестным знаменем осеняются, и Наум, старик, честный крест творит, людям речь говорит.

И говорит он им, что пришли три брата, из них двое умерли, а Рюрик жив остался, что после Рюрика остался сын Игорь мал-малехонек, после Игоря княжил Святослав и т. д. Словом, кратко, но невразумительно излагает номенклатуру князей от времен древнейших и до новейших.

Об новгородцах автор выражается кратко, что их «угомоняли». Так, напр., Иоанн III «угомонил новгородцев, которых было смутил, кто? как же вы думали? женщина, Марфа, вдова посадника, по прозванью Борецкого: вот уж, прости господи, не за свое дело взялась!» Даже о Кузьме Минине говорится только, что он был «молодец» и «мясник», но что «войском начальствовать не при нем писано: всякое дело мастера боится».

Одним словом, народ русский, тот самый народ, которому рассказывается его же собственная история, поставлен, как и следует, у *воды,* то есть там, где от века заведено заставлять плясать гостей и пейзан.

Только и приходится ему утешаться следующими строками:

Так вы смекайте, что это значит такое: конь-то золотогривый (из сказки про Иванушку) — служба царская? (;) войдет в нее мужичок — трудно, словно коню в ухо влезть, а вылезть в другое, то есть (?) оботрется, выправится, и станет русским чудо-богатырем; подавай ему не одного француза, не одного англичанина, не одного турка, а всех вместе, подавай десяток на одного, так померится со всеми, да всех за пояс заткнет.

Нет сомнения, что автор и здесь кокетничал; нет сомнения, что он думал, что и невесть какой комплимент русскому мужику говорит. Представление о величине и представление о физической силе — вот, по мнению его, те два могущественные двигателя, которые могут ободрять русский ум и веселить русское сердце.

Ну, не обидно ли?

КИЕВСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В 1855 ГОДУ. С. С. Громеки. С.-Петербург, 1863.

Г-н Громека принимал личное участие в усмирении крестьянских волнений, бывших в 1855 году в Киевской губернии, и потому рассказ его об этом деле не лишен интереса. Как оче-

видец происшествия, он имел возможность изобразить его со всеми разнообразными подробностями или, по крайней мере, с теми внешними признаками истины, которые прежде всего бросаются в глаза. Но современники-очевидцы, в особенности же современники-участники, редко бывают прозорливыми историками; доля их собственного интереса в деле слишком значительна, чтобы не повлиять на их отношения к описываемому происшествию и не кинуть на них тень подозрения в пристрастии. Положим, что подозрение это будет и несправедливо, но дело совсем не в том, справедливо оно или несправедливо, а в том, что оно совершенно естественно возникает в уме читателя, который видит в рассказчике не просто рассказчика, но и действующее лицо, которого действия, наравне с прочими подробностями происшествия, подлежат критике и суду. А потому по большей части бывает так, что очевидцы благоразумно уклоняются от роли историков и довольствуются более скромною ролью летописцев, то есть простых собирателей фактов, которые впоследствии должны составить достояние истории. К сожалению, г. Громека увлекается своим предметом более, нежели приличествует летописцу; он не просто записывает внешние признаки факта, а усиливается проникнуть в его внутренний смысл, не довольствуется рассказом о мерах, которые были предприняты для того, чтобы прекратить волнения, а относится к ним критически: одно хвалит, другое порицает. Понятно, что при этих похвалах и порицаниях на первом плане стоит его собственная личность; он сделал то-то, отвечал то-то, написал то-то. Понятно также, что, по законам общечеловеческой слабости, г. Громека не мог явиться своим собственным карателем и что, в силу этой снисходительности, все совершенное собственно им является и уместным, и своевременным, и предусмотрительным, все же, сделанное без его участия, носит на себе характер бесполезности, нерасчетливости и во всяком случае могло бы быть сделано лучше, если б он, г. Громека, был тут. Так, например, вице-губернатор В—н, по рассказу г. Громеки, отличается лишь легкомыслием и неосновательностью суждений; генерал-майор Б—в «чинит телесное наказание», и, к сожалению, г. Громека приезжает на место уже тогда, когда нельзя предотвратить горестных последствий такого административного действия; полковник А—в хотя и не чинит телесных наказаний, но зато и не прекращает волнений, а только замазывает дело. Только главный начальник края да генерал-адъютант Я—ч пользуются сочувствием г. Громеки, но и то потому, что внимают его советам. Одним словом, г. Громека, будучи весьма строг к своим товарищам по усмирению, в то же время очень снисходи-

телен к самому себе; эта нескромность значительно уменьшает интерес, представляемый его книжкой, и даже делает чтение ее не совсем приятным.

По сознанию автора, брошюра его издана с целью дать возможность читателю «почерпнуть кой-какие сведения о политических воззрениях, инстинктах и желаниях южнорусского народа». Цель тем более похвальная, что есть множество таких читателей, которые совершенно отказывают простому народу в способности заявлять какие-либо политические воззрения. Убедить таких читателей, что простой народ совсем не настолько погружен в материальные интересы, чтоб из-за них не видеть интересов высших,— дело хотя и трудное, но в то же время и очень завидное. Посмотрим же, выполнил ли и каким образом выполнил г. Громека свою задачу.

По-видимому, разрешение такого рода задачи достигается очень просто: обращением к источникам, из которых вышел факт, раскрытием истории постепенного его развития и созревания и, наконец, рассказом самого факта со всеми его подробностями. Тогда, без излишних мудрований, дело объяснится само собою. Но в том-то и штука, что для лица, принимающего в деле непосредственное участие, такого рода приемы не только трудны, но и положительно невозможны. Он практик в полном смысле этого слова, и принимаемое им на себя звание историка ни в каком случае не может изгладить тех черт действующего лица, которые составляют всю основу его деятельности; как практик, он прежде всего имеет в виду успех и практические последствия своих действий, и в силу этого начинает совсем не с разыскания истины (до разысканий ли тут! разыскивать будем после! говорится обыкновенно в таких случаях), а напротив того, сам приносит на место уже совсем готовый и даже очень определенный взгляд на причины, породившие факт. Эти причины, смотря по большей или меньшей степени мягкосердечия действующего лица, принимают характер мягкий или суровый, и сообразно с этим определяются и просьбы к устранению причин — тоже мягкие или суровые. Так, например, можно приступить к факту с наперед заданною мыслью, что он есть плод простого недоразумения, и можно приступить с намерением видеть в нем порождение опасного буйства и преступного упорства. Можно даже дойти в этом случае до самых больших тонкостей: до различения между преступностью благонамеренною и преступностью неблагонамеренною. Само собой разумеется, что здесь возможность построения теорий тем легче, чем доступнее возможность упразднения их. Если, например, действующее лицо, задавшееся, положим, хоть мыслью о так называемых заблуж-

дениях и недоразумениях и сообразно с этим расположившее свой план кампании, убеждается, что план этот не приводит к желаемому результату, то ничто не препятствует ему перейти к другой мысли — например, к мысли о преднамеренном упорстве, и сообразно с сим начертать новый план кампании. Здесь практический успех или неуспех — вот единственный критериум, который указывает на годность или негодность предвзятой теории, но указывает опять-таки в сфере исключительно практической, а отнюдь не в отношении к абсолютной правде, которая так и остается нетронутою. Короче сказать, здесь теория является совсем не как объяснение истины, а просто как средство к удовлетворению известной потребности человеческого духа, потребности очень беспокойной, в силу которой человек ни на минуту не может остаться без того, чтоб не стремиться к осмыслению своих отношений к факту, хотя бы это осмысление было и совершенно произвольное. Исполнители скромные и не разумеющие себя бог весть какими философами и политиками так именно и взирают на свои теории, как на вещь очень гадательную, и успех или неуспех свой объясняют исключительно действительностью или недействительностью предпринятых мер и искусством или неискусством, обнаруженным в их употреблении; напротив того, исполнители нескромные и мнящие себя урожденными философами не только самих себя уверяют в своей непогрешимости, но и других стремятся поставить на ту точку зрения, на которой стоят сами. Успех только укрепляет их в таком убеждении, дает им повод к беспрестанным ссылкам и к построению целой системы доказательств. Таких философов, кои стремятся проникнуть в таинства природы, а не ограничиваются одним ее созерцанием, очень много, и множество их равняется только множеству и разнообразию их философических попыток. Понятно, какая «рогатая штука» (выражение г. Громеки) может вылиться из этого философического разнообразия.

Вот почему мы позволяем себе думать, что все рассуждения, которые высказывает г. Громека о причинах, породивших киевские волнения 1855 года, суть рассуждения очень мало убедительные; что они даже повредили его брошюре в том отношении, что породили в читателе сомнение относительно правильной постановки самых рассказываемых фактов. Например, г. Громека, как очевидец, утверждает, что волнения эти сами по себе имели значение, заслуживающее даже поощрения, и что тот прискорбный характер, который они с самого начала приняли, и тот еще более печальный исход, который получили впоследствии, объясняется отчасти не-

доразумениями, сопровождавшими обнародование манифеста 1855 года, призывавшего всех русских подданных «с железом в руке и с крестом в сердце» ополчиться за отечество, отчасти же южнорусским простодушием. Следовательно, если тут и есть преступность, то, по свидетельству автора, она заключается не в намерениях, а лишь в тех наружных действиях, в которых эти намерения проявились. Напротив того, полковник А—в, тоже очевидец, «приписывает главную причину волнений озлоблению крестьян противу экономических властей; дело же об указе и казачестве считает побочным и не более как предлогом» (стр. 14). Тут, стало быть, преступность является уже не в одних наружных действиях, но и в самых намерениях, следовательно, и степень ее значительно усугубляется. Вот два мнения, и оба принадлежат очевидцам. Г-н Громека, быть может, скажет: мое мнение оправдывается успехом; но и г. А—в может сказать, что он также действовал вполне успешно и прекратил волнения, возникшие в Каневском уезде, очень скоро и притом одними «благоразумными» мерами. На это г. Громека, конечно, опять скажет: «Вы не прекратили волнений, а только замазали дело»; но кто же может поручиться, что и г. А—в, в свою очередь, не ответит ему: «А вы разве прекратили что-нибудь? а вы разве не замазали?» Кто разрешит эту прю? кто скажет, кто прав и кто виноват? Конечно, все это, впоследствии, разрешат и расскажут нам знаменитые историографы наши, гг. Соловьев и Иловайский, но отнюдь не гг. Громека и А—в, потому что эти последние совсем не историки, а простые исполнители начальственных предписаний.

Оканчивая свою брошюру, г. Громека заключает: «Хорош ли факт или дурен, но он состоит в том, что украинский народ предан русскому царю и не хочет ни английских, ни французских, ни иных каких-либо царей». С этим, разумеется, невозможно не согласиться, но здесь невольно рождается вопрос, для кого писана брошюра г. Громеки? кто сомневался когда-нибудь, что украинский народ хочет английских, французских и еще каких-то «иных» царей? Судя по тому, что брошюра написана по-русски, надобно думать, что она предназначается для русских же, которые, конечно, ни тени сомнения в этом смысле ни на минуту допустить не могут. Если же брошюра написана для таких людей, для которых Украйна составляет неизвестную землю (таковыми представляются все иностранные публицисты), то ведь этих людей ничем не убедишь: у них тоже имеются на этот счет свои теории, в которых желания украинского народа играют ту самую роль, какую на сцене играют гости и пейзане.

РУКОВОДСТВО К СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ К. Ю. А. Миттермайера. Издание А. Унковского. Москва. 1863 г.

Переводом этого руководства начинается ряд изданий, предпринятых А. М. Унковским ввиду ожидаемых Россиею преобразований по судебной части. Практическая польза подобного предприятия слишком очевидна, чтобы нужно было много распространяться об этом предмете: оно отвечает настоятельной потребности публики, и притом отвечает в такую минуту, когда эта потребность всего живее чувствуется. Руководствуясь этим соображением и имея притом в виду, что сделанный г. Унковским выбор сочинений вполне соответствует своему назначению, мы смело рекомендуем его издания всем желающим ознакомиться с характером и подробностями гласного уголовного суда, совершаемого при участии присяжных, обвинителей и защитников.

СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РАСКОЛЕ. I. Изгнание Белокриницкого митрополита из Москвы. II. Окружное послание раскольничьих архиереев и возбужденные им волнения между раскольниками. Соч. Н. С — на. Москва. 1863.

Раскол составляет загадочное явление в русской жизни. По совершенно справедливому замечанию автора рассматриваемой брошюры, мы гораздо обстоятельнее знаем о том, что делается в Мексике, нежели о том, что такое этот раскол, которого имя с некоторого времени так часто слышится. Какая причина глубокого мрака, окутывающего явление до такой степени нам близкое, об этом мы объясняться не считаем удобным, но не можем, однако ж, не указать на тот факт, что до сих пор наша так называемая публика знакомилась с расколом исключительно по сочинениям, направленным в одну сторону и изображающим не столько сущность дела, сколько обрядовые его признаки. Понятно, что, при таком одностороннем, да к тому же еще и недостаточном знакомстве, живого представления о расколе возникнуть не могло; понятно также, что большинство публики должно было составить понятие о расколе как о чем-то мертвом, вращающемся исключительно в сфере сугубой аллилуии и перстосложения. Какое представление имеет о расколе, или точнее сказать, о внутренней его сущности, простой народ и каким образом он к нему относится — этого мы тоже не знаем, или знаем очень смутно и поверхностно.

Между тем имеются некоторые признаки, по которым можно догадываться, что раскол, рассматриваемый как явление генерическое, далеко не исчерпывается одними обрядовыми, формальными разногласиями. Первый признак такого рода составляет его непосредственная живучесть, несмотря на неблагоприятную для него обстановку; второй — замечательная сила прозелитизма, которая постоянно ему сопутствует от первых моментов его возникновения до настоящей минуты; третий, наконец, признак — это чрезвычайная солидарность, которая обыкновенно связывает всех последователей одной и той же секты или толка. Все эти признаки, даже не прибегая к подробному и глубокому их анализу, имеют силу достаточно решительную, чтоб опровергнуть слишком поверхностные и опрометчивые суждения об этом замечательном явлении. И мы очень рады, что автор «Современных движений», по-видимому, близко знакомый с внутренней жизнью одного из разветвлений раскола, с самого начала считает нужным сделать оговорку, именно в этом смысле.

Нынешнее царствование принесло много облегчений раскольникам, и притом весьма значительных. Подробности этих облегчений известны публике только отчасти, но благоприятное их действие не подлежит никакому сомнению, и притом выражается довольно наглядно. Относительное спокойствие и свобода, которыми ныне обладают раскольники в пользовании общими правами, достаточно доказывают, что взгляд администрации на это дело подвергся изменению весьма существенному, а вместе с тем видоизменилась и самая система действий, направленных против распространения и утверждения расколоучений. Нет уже того горячего преследования, того беспрерывного процесса, который, еще в весьма недавнее время, неутомимо вчинался против раскольников и составлял отличительную черту отношений администрации к расколу; нет и того далеко не гуманного воззрения, в силу которого раскольник ни у себя дома, ни вне своего дома не признавался полным гражданином: в этом отношении раскольники сравнены со всеми. Сверх того, самая среда, в которой жили и действовали раскольники, значительно изменилась, и притом изменилась к лучшему. Не стало, например, крепостного права, в осуждении которого согласны были все расколоучения. И если все эти облегчающие условия еще не выразились в форме совершенно ясного и постоянного правила, то это происходит, очевидно, от того, что история вообще совершает свое течение довольно туго. Но поводов ссылаться в этом случае на какую-то случайность и зыбкость решительно нет никаких.

Раскольники прежде всего должны были почувствовать эту перемену системы на самих себе и на своих отношениях к церкви. И тут-то именно прежде всего оказалось, что враждебность раскола основывалась отнюдь не на одних обрядовых разностях и так называемых новшествах, но на причинах несравненно более глубоких и жизненных. Если бы дело шло только об обрядах, то в отношениях раскола к господствующей церкви не могло бы вкрасться никакой перемены, ибо разность в обрядах существует все в одной и той же степени, не умаляясь и не увеличиваясь. Стало быть, если оказываются признаки подобной перемены, то мотивировать их должно нечто совершенно другое. Это нечто, по нашему мнению, заключается именно в тех изменениях экономических и юридических условий народного быта, которые принесло с собой нынешнее царствование. Получилась бо́льшая или меньшая свобода располагать своею личностию, достигнута бо́льшая или меньшая возможность устраиваться у себя дома с некоторою уверенностию, не опасаясь беспрестанного и не всегда полезного вмешательства местных административных властей во внутренний распорядок домашних дел. При этой новой обстановке общественный характер раскольничьего протеста терял часть своих оснований и вынужден был сузиться; живое дело ускользало из рук за постепенным приведением его в действо. Естественно, что и в среде раскольников должно было повториться то же самое явление, которое первоначально отразилось на так называемом русском обществе; а именно: некоторая довольно значительная часть этого общества, находившаяся до известной минуты в неприязненных отношениях к действительности, увидев, что мечты и желания ее осуществились, вдруг перестала мечтать и желать. Естественно также, что новые порядки и новая обстановка должна была коснуться и раскола и произвести в нем некоторые колебания. В особенности же сильно должно было отразиться это явление в секте поповщинской, которая и без того захватывала жизненные вопросы менее глубоко и радикально, нежели прочие раскольничьи секты.

Историю одного из таких колебаний рассказывает нам теперь г. С—н, и брошюрка его должна иметь для нас тем большую важность, что в ней идет дело о старообрядцах-поповщинцах, занимающих, как известно, самое видное место в общей старообрядческой семье.

Известно, что в сороковых годах нынешнего столетия поповщинцы успели добыть себе архиерея, в лице бывшего боснанского митрополита Амвросия, лишенного кафедры и находившегося под запрещением. Амвросий держался недолго,

однако успел посвятить другого архиерея, Кирилла, который сделался его преемником и продолжает править раскольничьею митрополией до сих пор. Местопребывание раскольничьего митрополита находится в Белокриницком монастыре, в Буковине (в австрийских владениях). В Москве большинство старообрядцев-поповщинцев признало сперва Амвросия, а потом и Кирилла верховными пастырями новой иерархии, и впоследствии число епископов австрийского рукоположения возросло до значительной цифры (см. статью г. Мельникова «Старообрядческие архиереи», «Русский вестник» за 1863 г., № 6).

Дело, по-видимому, шло к общему удовольствию, но в феврале нынешнего года случилось в Москве что-то такое, что дало ему совершенно иной оборот. Автор не рассказывает подробности события, а говорит только, что в обществе московских старообрядцев «произошли какие-то беспорядки», однако ж можно догадываться, что «беспорядки» эти были совсем другого рода, нежели те, которые описывает о. Андрей Иоаннов в своем сочинении «Известие о Стригольниках». В последних на первом месте были формальности и разногласия об обрядах, между тем как в февральских «беспорядках» главное место занимали вопросы самого существенного, интимного свойства; а именно, дело шло: во-первых, о независимости русской старообрядческой церкви от австрийского главного иерарха и, во-вторых, о рассмотрении, в самой их сущности, отношений поповщинского толка как к господствующей церкви, так и к другим старообрядческим согласиям. Эта последняя задача в особенности замечательна, потому что она заключает в себе не что иное, как поверку всего внутреннего содержания секты. Автор совершенно справедливо говорит, что поповщинцы с каждым днем всё более и более утрачивают свой авторитет, а беспоповщинцы всё более и более приобретают значение. Действительно, поповщинская секта составляет какой-то недоносок, постоянно находящийся на распутии, постоянно питающийся чужими сектами и не преследующий никакой своей собственной, ясно определенной цели. Поэтому-то она и представляет обширное поприще для колебаний, поэтому-то дело внутренней поверки стоит у нее всегда на первом плане и составляет вечное memento mori[1], свидетельствующее о недостаточной глубине и крайней зависимости ее содержания.

Беспорядки в московском обществе были таковы, что некоторые влиятельные прихожане Рогожского кладбища серь-

---

[1] помни о смерти.

езно встревожились ими и признали за нужное вызвать в Москву самого лжемитрополита Кирилла. Кирилл приехал; на пути он был в Петербурге, где местные старообрядцы устроили ему парадную встречу. В Москве его приняли также с большим почетом. Прежде всего, он созвал «собор» для устройства церковных дел. Первый вопрос, который возник на этом «соборе», касался назначения епископа, который управлял бы всею, как называют раскольники, «российскою церковью». Назначен был Афанасий, лжеепископ саратовский, но назначен условно, *до особого благоустройства*. Очевидно, Кириллу тяжко было уступить часть своей власти.

Такая уклончивость, разумеется, не могла быть по сердцу «собору»: в ней видели только внушение личного интереса лжеиерарха. Сверх того, в то же время возникла польская смута; раскольники почувствовали потребность выяснить свои отношения к ней, пришли к необходимости оправданий и заявлений. Подобно «московским студентам», очищавшимся в «Дне», и они сознавали за собой нечто такое, что требует «очищения». На сцену выступили «благоразумнейшие», и автор совершенно справедливо дает понять, что преобладающим мотивом, вызвавшим с их стороны движение, было опасение «неблагоприятных последствий для всего общества старообрядцев». Это опасение, прибавим мы от себя, конечно, совершенно неосновательно, но таково уже свойство всякого рода секретных занятий, что они, основательно или неосновательно, но вынуждаются во всякое время чего-нибудь опасаться.

«Благоразумнейшие» составили прошение на имя лжеосвященного собора и в прошении этом, обращая внимание на политическое значение пребывания Кирилла в Москве, требовали, чтоб он немедленно выехал из столицы «и даже из России». «Собор» дал знать об этом Кириллу, а так как он все-таки медлил отъездом, то 10 марта послана была ему грамота, в которой требовалось, чтоб он «не отягощал более своим здесь беспотребным и даже опасным существованием для мирных христиан сей столицы, сейчас же с Сергием и Филаретом отправился обратно в Белую Криницу, с тем что за противозаконные, никак не терпимые церковью деяния он, с наложением запрещения от священнодействия, подлежит суду *большого освященного собора»*. Кириллу ничего больше не оставалось делать, как повиноваться.

Таким образом, на Рогожском кладбище был сделан первый шаг к освобождению «российской» старообрядческой церкви от влияния австрийской иерархии, а вместе с тем, высказался во всей силе тот повсеместно существующий у всех

раскольников факт, который доказывает, что там в делах церкви решительный голос имеют не так называемые «соборы», а простые миряне, прихожане. Это последнее предположение еще более подтверждается протестом гуслицких раскольников, о котором будет сказано ниже. Затем, окончательное обособление «российской» старообрядческой церкви совершилось уже в прошлом августе, когда старообрядческие архиереи соборною своею властию возвели Антония, лжеархиепископа владимирского, в сан митрополита московского и всея Руси. Слышно, что и на этом дело не остановилось, что и Антоний уже низложен, а на место его в сан митрополита возведен другой.

Но рядом с этим событием совершилось и другое, по крайней мере, настолько же естественное и необходимое, как и первое; а именно: произошла поверка самой сущности поповщинского раскола и его отношений к господствующей церкви с одной стороны, и к прочим раскольническим разветвлениям с другой. Мы уже сказали выше, что секта поповщинцев, более, нежели всякая другая, представляет обширное поприще для всякого рода колебаний. В смысле социальном, она не идет, подобно многим беспоповщинским сектам, до отрицания основ, которые признаются существенным условием для всякого законно организованного общества, и следовательно, с этой стороны, руки у них развязаны. Протест ее ни глубиною, ни размерами своими не превосходил того протеста, который заявлялся московскими публицистами 1856 и 1857 годов, не шел далее некоторых частностей, положим, довольно существенных, но все-таки далеко не исчерпывавших *всего* положения. Следовательно, как только те частные стеснения, которые сообщали этому протесту жизненный характер, устранились сами собою, то поповщинцам оставалось одно из двух: или примириться с господствующею церковью, которая даже предлагает в этих видах весьма удобное средство (единоверие), или же идти далее на пути отрицания, то есть сблизиться с беспоповщинцами. И действительно, обнаруживающееся ныне между прихожанами Рогожского кладбища движение именно обнаруживает этот двойственный характер. Покамест дело, конечно, ограничивается одними колебаниями, но, во всяком случае, уже и то важно, что поповщинцы сознали, наконец, всю неестественность своего положения, всю ненужность и несвоевременность своего протеста.

Двадцать четвертого февраля, в то самое время, когда «беспорядки», для усмирения которых так спешил в Москву лжемитрополит Кирилл, не только не утихли, но приняли еще более серьезный и горячий характер, старообрядческие

архиереи (очевидно, без участия Кирилла) издали очень любопытный документ под следующим названием: «Окружное послание возлюбленным чадом единыя, святыя, соборныя, апостольския, древлеправославно-кафолическия церкви, всем и повсюду пребывающим». Этот замечательный документ служит очевидным доказательством того тягостного, а отчасти и нелепого положения, в которое поставлены современные поповщинцы. «Послание» писано, по наружности, с целью полемическою и кажется направленным исключительно против беспоповщинской пропаганды (угрожающей, как кажется, сильною опасностью всей поповщине), но, в сущности, оно заключает в себе не что иное, как попытку примирения с господствующей церковью. По крайней мере, в нем торжественно признается, что последняя ни в чем существенном нисколько не отступила от чистоты православия,— и это признание, по нашему мнению, есть единственный факт, на котором можно остановиться с уверенностью. Правда, что, при дальнейшем, более подробном рассмотрении вопроса о поводах к несогласиям, «Послание», между прочим, поименовывает и такие, которые оно называет «новодогматствованиями» и без устранения которых, по мнению его, полное согласие невозможно, однако ж не нужно много проницательности, чтобы заметить, что это не более как простое празднословие, подходящее под категорию таких же невинных соображений, какие заставляют страуса думать, что если он спрячет голову под крыло, то охотник уж его и не увидит (далее окажется на деле, что такие опытные охотники, каковыми оказались гуслицкие раскольники, усмотрели, однако ж, голову страуса). Г-н С — н видит в этом послании непоследовательность и противоречие самому себе и говорит, что заключающиеся в нем «несообразности очень легко могут внушить (кому?) подозрение относительно искренности тех благосклонных отзывов о церкви, которые встречаются в *Послании* и которых доселе не встречалось ни в одном из старообрядческих сочинений». Напрасно. Тут действительно есть непоследовательность, но эта непоследовательность совсем не из рода тех, которые могут внушать опасения или подозрения. Это непоследовательность не преднамеренная, а, так сказать, органическая; это обычный плод колебания; это тысячекратное повторение того образа действия, который так рельефно воссоздается русскою пословицею: «Собака волка дерет: и драть не умеет, и не драть не смеет».

Тем не менее действие, произведенное «Окружным посланием» на раскольников-поповщинцев, далеко не отвечало тем надеждам, которые, по-видимому, возлагали на него «бла-

горазумнейшие» и сам лжеосвященный собор. Преимущественно возмутились против него поповщинцы гуслицкие, которые и протестовали в самых резких и не терпящих никаких уступок формах. «Молим мы,— говорят они,— уничтожьте новые составленные мнения *Окружного Послания,* а мы его не приемлем, но боимся, не пострадать бы, как пострадала церковь во время Никона патриарха...»

Поводы, которые побудили гуслицких и других раскольников отозваться так жестко на *Окружное Послание,* обрисованы г. С—ным довольно неясно. По изложению его выходит, что здесь главную роль играет обрядовая сторона дела, но такое заключение явно противоречит тому мнению о сущности раскола, которое он предпослал своей брошюре и с которым мы вполне согласны. Мы разъясняем себе совершенно иначе. Не надо забывать, что здесь речь идет исключительно об одной поповщине, а эта секта, как мы уже сказали выше, по самой своей внутренней сущности, представляет, в настоящее время, почти совершенный non-sens[1], поражающий своею бессодержательностью и ненужностью. Такие отрицательные качества, конечно, не привлекут к ней много прозелитов, но в то же время дают ей полную возможность свободно протягивать руки во все стороны. И если можно предположить, что «благоразумнейшие» сочиняли свое «Послание» под наитием благоразумия, то отчего же не предположить, что гуслицкие поповщинцы отвергли этот документ под влиянием какого-нибудь другого соображения, тоже имеющего очень мало общего с коренными основами собственно поповщинской секты?

На этот раз гуслицкая строптивость одержала верх. Лжеосвященный собор вынужден был смириться и уступить; с этою целью он издал новое *Соборное Определение,* которое заключает в себе даже не оправдание, а просто-напросто уничтожение всех примирительных попыток, изъясненных в *Окружном Послании.* На этом документе и оканчивается, покамест, любопытный рассказ г. С—на; на нем же кончим и мы.

Мы называем этот рассказ «любопытным», ибо, несмотря на то что в нем о многих интересных подробностях совершенно умолчано (по незнанию, как объясняет сам автор), главный факт до того богат содержанием, что сам по себе дает возможность делать выводы, помимо всяких пропусков и опущений. Но все это не дает нам, однако ж, право назвать издание этого рассказа уместным и своевременным, а тем менее

---

[1] бессмыслица.

выводить из сообщаемого факта те заключения о неискренности и двусмысленности, какие выводит из него г. С—н. По мнению нашему, дело это находится в состоянии колебания, а до тех пор пока оно не вышло из этого состояния, невозможно сказать об нем ничего положительного, кроме того, что содержание, которое до известной поры питало его, начинает, видимо, истощаться. Самое зрелище колебания, всегда сопряженное с непоследовательностями и противоречиями, в сущности, представляет лишь один из естественных и законных фазисов всякого человеческого дела, которому предстоит близкий перелом или поворот. Никакой преднамеренной неискренности или хитро задуманного двусмыслия не может тут быть. Мы желали бы ошибиться, но, судя по тону брошюры, считаем себя вправе думать, что г. С—н именно упустил из вида это обстоятельство; ибо в противном случае он, конечно, усумнился бы обнародовать такие факты, обнародование которых, не отвечая покамест никакой существенной потребности, может лишь усугубить ту непоследовательность и противоречия, на которые жалуется автор.

ВОЛЯ. Два романа из быта беглых. А. Скавронского. Том I-й. Беглые в Новороссии (роман в двух частях). Том II-й. Беглые воротились (роман в трех частях). СПб. 1864.

Роман этот составляет совершенно исключительное явление в современной русской литературе. Беллетристика наша не может похвалиться капитальными произведениями, но, конечно, никто не упрекнет ее в невоздержности, в фантазерстве и в бесцеремонном служении тому, что по-французски зовут словом blague[1], а по-русски просто-напросто хлестаковщиной. Внешним, чисто сказочным интересом она даже вовсе пренебрегает и, по нашему мнению, поступает в этом случае вполне разумно, потому что жизнь и сама по себе есть сказка весьма простая и мало запутанная. То есть, коли хотите, в ней есть даже очень большая доля запутанности, но эта запутанность чисто внутренняя, составляющая, так сказать, интимную ее принадлежность и вовсе не зависящая от случайных передвижений человека с одного места на другое, от переодеваний, от состояния погоды, местоположения и других более или менее произвольных причин. Объясним это примером, близко подходящим к разбираемой нами книге. Если человека секут, как сечет, например, беглого Левенчука полков-

---

[1] вранье, хвастовство.

ник Панчуковский, то драматизм этого положения, конечно, не в том заключается, что человеку дали столько-то розог, выпустили из него столько-то крови и что после этого человек или остервенился, или смирился, а в обобщении факта, в раскрытии его внутренней ненормальности. Чтобы исполнить все это надлежащим образом, вовсе не требуется истязать человека палками, а достаточно дать ему одну, только одну розгу; вовсе не требуется представлять наказующего в виде вельзевула или кровопийца, а достаточно показать его человеком увлекающимся и порой даже одушевленным самыми прекрасными намерениями. Ибо действительная, настоящая драма, хотя и выражается в форме известного события, но это последнее служит для нее только поводом, дающим ей возможность разом покончить с теми противоречиями, которые питали ее задолго до события и которые таятся в самой жизни, издалека и исподволь подготовившей самое событие. Рассматриваемая с точки зрения события, драма есть последнее слово, или, по малой мере, решительная поворотная точка всякого человеческого существования, и всякое человеческое существование, если оно не совсем уж пустое, непременно имеет свою драму, развязка которой для иных отзовется совершенной гибелью, для других равнодушием и апатией, для третьих, наконец, принижением и покорностью. Дело, стало быть, вовсе не в том, чтобы изобразить событие более или менее кровавое, а в том, чтобы уяснить читателю смысл этого события и раскрыть внутреннюю его историю. Иначе, написать драму было бы делом чересчур уж легким; стоило бы, например, представить овраг, а на берегу его вообразить себе всадника; вдруг лошадь закусывает удила и бросается вместе с всадником в овраг — чем не драма! А еще будет драматичнее, если мы представим себе целую сотню всадников, которых лошади закусывают удила и бросаются в овраг. Сколько тут детей одних после них останется, сколько вдов! Право, если описать судьбу каждого из этих сирот, то выйдет, пожалуй, роман, и не в пяти, а в пятидесяти частях. Точно то же следует сказать и о сущности комизма, и почаще припоминать при этом анекдот Гоголя об извозчике, которого наняли на Пески, а он привез на Петербургскую сторону.— В этом происшествии столь же мало действительного комизма, как и в том, например, что автор одной недавно сыгранной в Петербурге комедии заставляет кого-то из своих героев съесть шубу. Это не комизм, а просто-напросто чепуха.

Своим несомненно воздержным и трезвым отношением к действительности литература наша обязана покойному Белинскому. Он первый высказал те простые истины, которые при-

ведены нами выше и которые высказать было в то время совсем не так легко, как кажется. Он первый вооружился всею силою своего критического таланта против преобладания в русской беллетристике сказочного таланта; он, можно сказать, дал тон нашей беллетристике. И действительно, в нашей литературе совсем нет громоздких вещей вроде тех, какими в свое время потчевали французскую публику Дюма-отец и Феваль, а если иногда и прорывается нечто подобное, то положительно в виде исключения.

К такого рода исключениям принадлежит, к сожалению, и разбираемый нами роман г. А. Скавронского. Читая его, вы не видите ни характеров, ни своеобразного языка, ни действительной драмы, а просто вступаете в какой-то темный лабиринт, в котором событие нагромождается на событие. И такова сила общего, господствующего тона литературы, что даже эта чисто внешняя работа ведется автором крайне неискусно и неаккуратно, что он очень часто противоречит самому себе, впадает в забывчивость совершенно непростительную и представляет, например, незнакомыми друг другу таких людей, которые, за несколько страниц перед тем, были чуть-чуть не приятелями. В результате, не достигается даже та чисто внешняя, вытягивающая жилы цель, которую предположил себе автор, и читатель, вместо того чтоб интересоваться судьбою героев романа, чувствует утомление и скуку, а под конец даже и негодование против усердного, но неискусного автора, который так явно его обманывает. Очевидно, что для читателя уже мало того, что автор скажет ему: «представим себе, что вот в таком-то месте случилось такое-то происшествие», а нужно, чтобы это происшествие именно *могло* случиться в таком-то месте, чтобы оно носило в себе признаки жизненной правды, чтобы оно не отзывалось выдумкой и не представляло собой лишь образчиков более или менее правильного словосочинения.

«Воля» заключает собственно два романа, которые не имеют между собой никакой связи, кроме разве того обстоятельства, что оба они рассказывают похождения беглого русского люда. Расскажем содержание первого романа, носящего название «Беглые в Новороссии».

Действие происходит в некотором царстве, некотором государстве. Определяя таким образом место действия романа, мы совсем не думаем шутить, и хотя автор положительным образом удостоверяет нас, что действие его романа происходит в Новороссии, но мы не можем поверить ему ни под каким видом. В этом случае, мы имеем весьма основательные причины для недоверия, хотя сами и очень мало знаем о Новорос-

сии. Причины эти мы укажем после, а теперь будем рассказывать самое содержание романа.

Итак, в некотором царстве, в некотором государстве, пробираются «свиными тропинками» два пешехода: Милороденко и Левенчук, оба беглые, из крепостных крестьян. Милороденко рассказывает свои похождения, как в него однажды влюбилась барышня. Говорят они таким языком:

— ...Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

— Что ты? ах, братец ты мой! — даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул (?) на корточки.

— Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, что смотришь так? вот то-то и дело, что ничего! — продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко,— это почти то же самое дело, никакой разницы нет, *кроме опчей, значит, чистоты (?)...*

И так далее. При этом, чтобы ловчее обмануть читателя, что он действительно мужик, а не барин, Милороденко называет вакштаф «акштафом», вместо «выучился» говорит «вывчился», вместо «заманили» — «заманули» и т. п. Одним словом, употребляет всевозможные хитрости. Пробираются эти путники в обетованный край, называемый автором Новороссией, и наконец достигают его. На рубеже Милороденко напился пьян и поколотил Левенчука, после чего приятели разошлись в разные стороны, но на другой день опять-таки сошлись на работе у некоего полковника-колониста Панчуковского, и здесь Левенчук отказался в пользу Милороденки от своей винной порции. Этот великодушный поступок составляет завязку романа, ибо он связал Милороденку вечною признательностью.

Проходит три года. На сцену героем является полковник Панчуковский. Он едет по степи и встречает богатого колониста Шульцвейна, который хлопочет над сломавшимся экипажем. Разговорились и познакомились. Из разговора этого видно, что Шульцвейн ворочает миллионными делами, что он недавно был в соседстве Панчуковского, на Мертвых Водах, у священника, отца Павладия и что у этого Павладия есть хорошенькая воспитанница. При этом последнем известии Панчуковский задумывается и упрекает своего кучера Самуйлика за то, что он не доложил ему до сих пор о поповой воспитаннице. Оказывается, что он сластолюбец.

На другой день, по случаю рождения Панчуковского, у него праздник. Гости разговаривают о различных торговых предприятиях и о благословенном положении того края, который называется некоторым государством и в котором полиция, как ни старайся, никак ничего поделать не может. С од-

ной стороны, обширность, с другой — малонаселенность сделали из этого уголка надежное убежище для всякого рода беглых людей, наплывом наплывающих туда из России. Полиция, несмотря на свою прозорливость, положительно теряется среди этой обширности и малонаселенности и в этой крайности скромно решается ограничить свою деятельность взятками.

Среди этих разговоров к Панчуковскому подходит студент одесского лицея Михайлов, живущий в учителях у одного тоже колониста, купца Шутовкина, и просит взаймы денег, которые ему нужны для какой-то спекуляции. Панчуковский денег ему не дает и адресует к отцу Павладию, которому и поручается за будущего коммерсанта; но при этом он требует от студента некоторой услуги, а именно, чтобы он высмотрел у отца Павладия его воспитанницу и о том, что окажется, донес. «Извольте»,— отвечает студент Михайлов и мчится к священнику.

Что за человек этот отец Павладий — это понять очень трудно. Даже просто невозможно понять. Он и ростовщик как будто, и как будто не ростовщик; он и умен как будто, и как будто дурак; он и злой и добрый; и любознательный и невежда. Одним словом, лицо это нарисовано словно в каком-то жару; как будто бы автор имел перед собой лексикон, брал из него наудачу слова и нанизывал их одно на другое. Причем не пренебрегал и словами, слышанными случайно на улице. Всё, что ни говорит этот человек, не только к делу не имеет никакого отношения, но просто ни к чему. Священник дает Михайлову деньги за поручительством Панчуковского и лупит при этом с него жидовские проценты; с своей стороны Михайлов пристально всматривается в поповскую воспитанницу («пуркуа регарде?» — спрашивает его по этому случаю отец Павладий... о читатель! не думай, чтоб эта фраза была нами выдумана, нет, она буквально красуется на 61 стр. І-го тома) и летит доложить Панчуковскому, что девица первый сорт и что она дочь какого-то убитого беглого. В это самое время, то есть покуда студент Михайлов докладывает своему патрону о результатах поручения, к отцу Павладию приходит Левенчук и вступает с ним в разговор, из которого явствует, что Левенчук и Оксана (воспитанница) любят друг друга и что священник не прочь их обвенчать, но требует, чтоб Левенчук внес за Оксану двести целковых. Часть этих денег Левенчук отдает тут же, и священник позволяет ему уйти с Оксаной под ракитку, с тем, однако ж, чтобы далее поцелуев — «ни-ни».

Вот какой благодатный край это «некоторое государство»! Из этого же разговора видно, что Милороденко знаком с от-

цом Павладием и что его знает и Оксана, которая на стр. 87 даже вздыхает об нем. Это замечание необходимо нам, потому что оно впоследствии послужит к обличению г. Скавронского в непозволительной рассеянности, которой он, конечно, не мог бы иметь, если б действие его романа воистину происходило где-нибудь на земле, а не в пространстве и во времени.

Итак, покуда перед нами семь действующих лиц: Панчуковский, Левенчук, Милороденко, Шульцвейн, студент Михайлов, отец Павладий и Оксана. Зачем являются они в романе? Яснее мы это увидим впоследствии, но уже и теперь для всякого читателя понятно, что студент Михайлов и колонист Шульцвейн — лица совершенно ненужные, что их можно было бы, без всякого ущерба, соединить в одно лицо, или же заменить Милороденкой, или же, наконец, и совсем выбросить. Результат был бы тот, что печатной бумаги оказалось бы меньше — и только.

Панчуковский решился похитить Оксану и находится по этому случаю в самых приятных мечтаниях. Думы его прерывает купец Шутовкин, «грязный и жирный толстяк, с маленькими свиными глазками, с одышкой, с мильонным состоянием». Шутовкин — это комик романа, а потому у него и наружность такая уморительная. Он объявляет Панчуковскому, что влюблен, и просит его содействия.

— Браво, Мосей Ильич! Кто же эта особа?..

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

— Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уже и старух к ней подсылал, видите ли, и подарки ей делал,— ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод, или в город прежде, и спрячу, и в недельку авось ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

— Полковник,— сказал гость,— мы с вами коммерческие дела обделывали; помогите мне в этом! Я к вам обратился, как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполнé не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто пред вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

— Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

— Сегодня вечером у Святодуховки, по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подъедем двумя тройками,— моя красавица тоже там будет... Ну, а уже самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

— Согласен, извольте.— Абдулка, Самусь! — крикнул он в окно любимцам своим. И, запершись в кабинете, господа обдумали всё, как надо.

— А полиция? — спросил Панчуковский,— ведь эти болгары народ

мстительный и злой, не то что наши; пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

— Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите: а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Сказано, сделано: красавицу болгарку похищают, и это еще более раззадоривает сладострастного полковника. Не думая долго, он, вслед за похищением болгарки, отправляется в дом отца Павладия и, пользуясь отсутствием этого последнего, насильно увозит к себе Оксану. В одной главе и в одну ночь совершаются два похищения, причем первое допущено автором без всякой нужды для романа и, в доказательство своей ненужности, так здесь и замирает, на страницах 7-й главы. «Господи! да как же это так? — восклицает изумленный читатель,— как же это так: захотел, взял и похитил... фу!»

— А всё от того, что край обширный и полиция ничего поделать не может,— отвечает автор,— погодите, то ли еще будет!

Оксана живет под замком у Панчуковского и вздыхает по Левенчуке; но неволя сделала свое дело, и Оксана уже отдалась своему тирану. Левенчук знает это и горит мщением. Он отправляется к полковнику, сначала умоляет отдать ему Оксану, и когда тот не соглашается, то возбуждает против него толпу пьяных батраков. Происходит нечто вроде балетного бунта, в котором бунтующие так, кажется, и ждут, не подъедет ли капитан-исправник и не вздует ли их на порядках. А он, и в самом деле, тут как тут; его обо всем уже уведомил Шульцвейн, которому, в свою очередь, шепнул об этом автор. Исправник этот, по фамилии Подкованцев, бездельник естественнейший и притом большой шутник, но остроты его не простираются далее того, что он, вместо «пить» и «есть», говорит «бювешки» и «манжешки». Тем не менее г. Подкованцев появлением своим доказывает, что даже и в «некотором царстве» полиция, если захочет, то может же что-нибудь поделать. Он усмиряет бунт и проштрафливается разве только тем, что недостаточно бодрствует над Левенчуком и тем дает ему возможность скрыться. «Но почему же Подкованцев не явился тогда, когда Шутовкин похищал прекрасную болгарку, а Панчуковский — Оксану?» — спрашивает читатель; однако автор ничего не отвечает на вопрос его и всячески старается замять этот неприятный для него разговор.

Вторая часть застает Оксану все еще пленницей Панчуковского; она по-прежнему воркует о Левенчуке, и хотя обнимает сладострастного полковника и сидит у него на коленях, но, очевидно, делает это больше для проформы, потому что по-

следний недоволен ее холодностью и обещает ей в случае попытки к побегу: «Поймаю — извини: на конюшне, душечка, выпорю... О, я злой на это! чик-чик, чик-чик! да!» У полковника появляется в это время в числе дворовых Аксентий Шкатулкин, который до того овладевает доверенностью своего барина, что последний допускает его сопровождать свою пленницу в прогулках. Этот Шкатулкин не кто иной, как известный уже нам Милороденко, который знаком и Оксане; но тут происходит какое-то умопомрачение, в совершенстве напоминающее прекрасную поговорку, приводимую Любимом Торцовым в комедии Островского «Бедность не порок»: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик! Автор уже забыл об этом знакомстве и заставляет их встречаться, как людей совершенно друг другу неизвестных. Аксен имеет нечто на уме; он помнит, как Левенчук уступил ему свою чарку водки, и, в благодарность за это, хочет что-то сделать в пользу Оксаны, но не делает ничего, а проводит время в балагурстве самом скучном и тупоумном, точно говорит читателю: а вот погоди! мы сначала побеседуем несколько печатных листов, а там и вызволим! уж вызволим, будь покоен! В это же самое время приезжает в «некоторое государство» из внутренней России помещица Перепелицына и оказывается женой Панчуковского, которую он обокрал и бросил. У Перепелицыной на дороге сбежал слуга, и об этом заведено дело у станового пристава. История, очевидно, начинает запутываться, так что и следить за ней трудно, и запутывается она совершенно без нужды, а потому только... да почему же, наконец? неужели потому, что автору хотелось покрыть типографскими чернилами несколько лишних листов бумаги? О происшествии этом узнает и Панчуковский и едет за справками. Он является к становому приставу от лица помещицы, у которой сбежал слуга, и тут опять происходит нечто вроде «я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик!». Автор, забывши, что заставил своего героя рекомендоваться становому от лица самой Перепелицыной, через одну страницу заставляет его спрашивать того же станового: «Куда же эта барыня проехала?» Читатель охает, а издатель-книгопродавец Вольф потихоньку посмеивается и говорит: «Каков роман-то я издал! а! каков роман!» Подлинно, роман удивительный.

После продолжительной безобразной болтовни между Панчуковским и Шутовкиным и между Панчуковским же и Шкатулкиным, болтовни, ни к чему решительно не ведущей и занимающей целую одиннадцатую главу, действие романа снова возобновляется. Является Левенчук и покушается убить полковника; но его ловят и секут.

Тут же действие быстро подвигается к развязке. Шкатулкин снимает с себя маску, освобождает Левенчука из заключения, крадет у Панчуковского значительную сумму денег, перевязывает ночью сонную дворню и бежит вместе с своим приятелем и Оксаной. На это происшествие опять набегает исправник Подкованцев и производит облаву на беглых (и после этого, не совестно говорить, что полиция ничего не может поделать!). Однако облава до такой степени не удается, что, в заключение, Подкованцев оказывается убитым из ружья, а Шкатулкин, Левенчук и Оксана спасаются.

Помещица Перепелицына влюбляется в студента Михайлова и уезжает с ним в Тамбовскую губернию...

Вот содержание первого романа. Содержание второго, «Беглые воротились», мы рассказывать не будем, хотя и оно в своем роде до крайности поучительно, как доказательство того, что для автора, одаренного твердыми намерениями, нет ничего невозможного. Между прочим, там есть действующее лицо, г-жа Перебоченская, которая, завладевши чужим имением, не впускает в него настоящего владельца, несмотря на решение судебного места, несмотря на то что полиция насильственными мерами выпроваживает ее оттуда. Всех полицейских и понятых она побивает при помощи девки Палашки, которую, в свою очередь, успевает усмирить только одаренный особою полицейскою конструкцией чиновник, по фамилии Ангел. Эта Перебоченская такое лицо, что просто пальчики оближешь. Есть тут даже крестьянский бунт, заправский крестьянский бунт с «пророком» и «пророчицей»... Ну, вот это уж и нехорошо, г. Скавронский! Ну, как-таки браться за такой предмет! ведь это не то, что «бювешки» да «манжешки» описывать, ведь это сюжет серьезный!

Из всего изложенного выше читатель сам может вывести заключение, правы ли мы были, утверждая, что действие романов г. Скавронского происходит в «некотором государстве», а отнюдь не в Новороссии? Где люди забывают то, что они говорили страницу или две назад? в некотором государстве. Где, без всякой надобности, привлекаются к делу такие лица, как Шутовкин, Шульцвейн, о. Павладий, Подкованцев, студент Михайлов, помещица Перепелицына и даже сам Панчуковский? — в некотором государстве. Где исправники появляются из-под земли в такую именно минуту, когда их присутствие наиболее требуется? — в некотором царстве. Где г-жа Перебоченская может разбивать полицию с помощью девки Палашки? — в некотором царстве. Именно, в некотором царстве, а отнюдь не в Новороссии и даже не на Лысой горе.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Г. ГЕЙНЕ. В русском переводе, издано под редакцией Ф. Н. Берга. Том I. Салон, Германия и Атта Троль. СПб. 1863 г.

О собственном поэтическом таланте г. Ф. Берга читатели «Современника» знают по его песне о птицах, которая была однажды цитирована в нашем журнале и которая начинается стихами:

Из-за моря птицы прилетали.
Прилетали, в роще толковали...

Теперь г. Ф. Берг пробует свои силы на издательском поприще и для первого опыта предположил познакомить русскую публику с Гейне, в переводах различных русских писателей. В вышедшем ныне томе помещены переводы самого издателя, гг. Страхова, Вс. Костомарова и Аверкиева. О достоинстве переводов можно сказать следующее: прозаические сочинения переведены добросовестно, хотя и довольно бесцветно; что же касается до стихотворных переводов, то их нельзя назвать иначе, как систематическим претворением Гейне в гг. «Скорбного поэта», Адамантова и Монументова. На этом поприще претворения в особенности отличился г. Вс. Костомаров, который начало 4-й главы поэмы «Германия» перевел следующим образом:

В славном Ахене, в древнем соборе стоит
Императора Карла гробница;
Но Карл Мейер не есть Карл Великий: они
Совершенно различные лица.
Даже с скиптром в руках не хотелось бы мне
Быть схоронену в склепе огромном.
Лучше жить,— даже так, как малейший поэт,—
Жить на Неккаре, в Штутгарте скромном! —

и т. д. Вот как переводится на русский язык Гейне, тот самый Гейне, единой крупицы которого достаточно для того, чтобы напитать целую стаю русских чирикающих воробьев! По нашему мнению, такой поступок доказывает не только самую черную неблагодарность, но и ужаснейшую воробьиную смелость.

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПЛЕЩЕЕВА (Дополнение к изданным в 1861 году.) Москва. 1863 г.

Скромная муза г. Плещеева достаточно известна читающей русской публике; тем не менее мы охотно останавливаемся на вновь вышедшем собрании его стихотворений, так

как, по нашему убеждению, г. Плещеев принадлежит к самым искренним и наиболее симпатичным русским поэтам.

Наше время, богатое всякого рода общественными недоумениями, представляет слишком немного благоприятных условий для спокойного творчества. В сущности, эти недоумения не прерывались никогда и отнюдь не составляют исключительной принадлежности именно современной эпохи, но нельзя не сознаться, что никогда они не чувствовались так живо, никогда так глубоко не захватывали всего человека, как ныне.

Недовольство насущным положением и неопределившаяся, но тем не менее очень настоятельная потребность чего-то лучшего — вот та болезнь, которую, с сознанием или без сознания, носит в груди своей каждый современный человек и которую, по всей справедливости, следует назвать завистью будущего.

Но чем живее недовольство настоящим и чем естественнее возникающие отсюда стремления к идеалу, тем досаднее бледность тех красок, которыми мы располагаем для уяснения этого идеала. Материалов, на основании которых мы могли бы воссоздать хотя часть великой цели, стоящей в конце наших стремлений, или совсем не имеется, или же качество их до того спорно, что едва ли можно прибегнуть к ним с пользою и уверенностью. Прямой результат такого положения заключается в том, что стремления остаются стремлениями, принимают исключительный характер болезненных и далеко не осмысленных порываний к неизвестному. Неприятность очевидная, ибо, идя по этому пути, можно дойти до совершенного забвения целей, до окончательного их устранения, а за этим уже ничего другого не остается, кроме осуществления в громадных размерах знаменитой теории искусства для искусства.

Жизнь и наука — вот единственные убежища, в которых можно укрыться от опасностей, ожидающих на указанном выше пути. Формы жизни, несмотря на свою запутанность и обветшалость, все-таки достаточно ясны, достаточно представляют резкого и действительного дела, чтоб не предохранить человека от излишней расплывчатости. Здесь цели, быть может, и ограниченны, но они притягивают к себе ближайшею своею осуществимостью и сверх того совершенно совпадают с тем естественным отвращением от праздности, которое так присуще человеку. С другой стороны, наука если и не воссоздает в живых и ясных образах того общественного идеала, к которому неудержимо влечется современный человек, то, по крайней мере, дает способ сознательно относиться к предмету

его недовольства, указывает на тот метод, с помощью которого можно легчайшим образом прийти к желаемым результатам. Эта последняя услуга в особенности важна, и никто, конечно, не станет оспаривать, что громадное большинство человеческих заблуждений, крайняя медленность прогресса и прочие бедствия, до сих пор удручающие человечество, имеют источник не в чем ином, как в недостатке разумного метода, которым определялся бы характер отношений человека к природе, и в тех блужданиях, которые отсюда проистекали.

Тем не менее все сказанное нами выше касательно науки и жизни имеет верность лишь относительную. Наука до сих пор доступна лишь незначительному меньшинству, и указания ее проходят в массе весьма туго и с большими затруднениями; следовательно, она не в силах еще покамест сообщить человеческим стремлениям ни твердой формы, ни положительного внутреннего содержания. Что же касается до жизни, то дело, ею представляемое, есть меч обоюдоострый; с одной стороны, оно дает человеку готовое поприще для деятельности положительной, не фантастической, с другой — оно же может этой деятельности сообщить характер самодовольства и мелочности, не столько оберегающий человека от излишней расплывчивости, сколько отвращающий его от всякого стремления к идеалам.

И таким образом, большинство так называемых «хороших людей», то есть тех, которые уже сознали ненормальность некоторых жизненных основ, фаталистически осуждается на вечные и довольно смутные стремления, без всякой надежды на какой-нибудь исход. Ни науке, ни жизни (практической, организующей жизни), конечно, нет никакого дела до этих стремлений, так как и та и другая преследуют лишь положительные результаты, но в так называемом «обществе», то есть в собрании людей достаточно обеспеченных, чтобы дозволить себе желания, но недостаточно прозорливых, чтобы формулировать цель этих желаний, подобные порывания к неизвестному могут находить себе место совершенно удобно.

Тем легче проникают они в область гуманитарного лиризма, который и сам по себе есть не что иное, как милая, но грустная повесть беспредметных человеческих тревог, и который умеет сообщать этим тревогам жалостливую, а нередко и действительно трогательную форму. Там, где наука говорит человеку: ты страдаешь, потому что со всех сторон окружил себя призраками, и будешь страдать дотоле, покуда не изменишь самых приемов, посредством которых устанавливается связь между тобой и остальною природой, а приемы эти должны быть такие-то и такие-то; там, где простая, не щеголяющая

обширными запросами жизнь говорит: ты страдаешь, потому что или хочешь слишком многого, или же сам не знаешь, чего хочешь; во всех этих случаях гуманитарный лирик выражается так: ты страдаешь, потому что страдание есть удел всего прекрасного на свете, а потому мужайся, друг! страдай, крепись и жди! а я тебе буду сочувствовать.

Конечно, гуманитарный лирик ничуть не виноват в том, что не может ни дать более ясное определение общественных недугов, ни заключить свою речь никаким другим утешением, кроме обещания сочувствия. И то и другое повело бы его к разъяснениям и выкладкам, не укладывающимся в поэтические формы. В этом случае он исполняет должность простого летописца и относительно людских волнений и желаний занимает ту же роль, какую собратья его, принадлежащие к школе мотыльковой (А. Фет, г-жа К. Павлова и другие), занимают относительно желаний и волнений божьих коровок, комаров и других миловидных насекомых. И тот и другой записывают только то, что видят и как видят, с тою только разницею, что поэзия гуманитарная настолько же выше поэзии мотыльковой, насколько мир человеческий выше мира насекомых.

Да не подумает, однако ж, читатель, что цель настоящей статьи заключается в глумлении над поэзией вообще и над почтенным автором рассматриваемого сборника стихотворений в особенности. Нет, мы желаем только сказать, что бедность содержания современной русской поэзии есть бедность фаталистическая, имеющая свой источник в разорванности самой жизни. Разумеется, и здесь дело не обойдется без исключений; разумеется, во всякое время найдутся личности, которые у самой, что называется, расшатавшейся жизни сумеют исторгнуть мотивы полные энергии (мы, конечно, разумеем здесь энергию не в выражениях только, но преимущественно и даже исключительно энергию мысли); но, во-первых, это все-таки будут исключения, а во-вторых, для того, чтобы достигнуть этого, необходимо, по нашему мнению, ни простирать свои требования слишком далеко, ни ограничивать их слишком малым.

Что же касается собственно до г. Плещеева, то мы относимся к нему вполне сочувственно и находим в нем все данные таланта скромного, но честного и искреннего. Несомненное достоинство этого таланта заключается уже в том одном, что он сумел возвыситься над миром мотыльковым и перенес свою лиру в мир человеческих интересов. И при этом нет у него ни того паскудного кривлянья, ни того отвратительного жеманства, которые замечаются у большинства наших лири-

ков, искателей так называемых гражданских мотивов, и за которыми так и сквозит беззастенчивое любование поэта самим собой. Чувство, дающее содержание стихотворениям г. Плещеева, не временное и не напускное, но вынесенное из всей его жизни — за это ручается самая простота формы, в которой оно выражается. В доказательство нашего мнения мы могли бы цитировать здесь любое из стихотворений, помещенных в изданном ныне сборнике, но удерживаемся от этого, так как большинство их уже известно читателям «Современника».

НАШИ БЕЗОБРАЗНИКИ. Сцены Н. А. Потехина. С.-Петербург. 1864 г.

Вот эту книжку мы, конечно, не будем рекомендовать нашим читателям. Быть может, г. Н. Потехин и очень благонамеренный молодой человек; быть может, цели его и прекрасны, но таланта у него нет ни малейшего — это верно.

Содержание книги составляют различного рода безобразия, совершаемые на бесконечной лестнице современного русского общества. Действующими лицами являются попеременно то купцы, то приказные, то откупщики, то русские гулящие люди за границей. Сюжет, как видится, довольно благодарный, но увы! при совершенном отсутствии таланта даже богатство сюжета не выручает, а как будто еще более обнажает внутреннюю несостоятельность автора.

В наше время составление подобного рода книжек — дело далеко не трудное. Стоит только начитаться пьес Островского и не полениться заглянуть в рассказцы обличительного свойства — и книжка готова. Главное дело — колорит дать, украсить свое произведение известными выражениями, которые, несомненно, принадлежали бы лицу такого, а не иного сословия, затем, какая из этого выходит яичница, соответствуют ли подобранные выражения какому-нибудь делу и согласны ли они даже с правилами словосочинения, к которым каждый сочинитель обязывается придерживаться хоть из приличия,— все это вещь второстепенная, не обращающая никакого внимания счастливого и беспечного автора. Серьезно, иногда сдается, что произведения подобного рода пишутся не самими авторами, а типографскими корректорами, которые, видя по местам совершенное отсутствие смысла, думают отделаться тем, что вставляют между словами как можно более точек (это, дескать, человек в волнении чувств говорит). Так добродушный аматер-актер, усердно наблюдая за игрою актера настоящего и видя, что последний по временам делает жесты,

приходит к заключению, что чем более жестов, тем выше игра, и, воротясь на свой бедный домашний театр, начинает исполосовывать воздух руками и вдоль и поперек...

Велика должна быть сила таланта Островского, что даже подражательные коверкания, вроде разбираемых нами теперь, не могут подействовать на него губительно. Вот, например, как выражается один из безобразников г. Н. Потехина, купец Кошедавлев: «Вот и аз, а там будут буки... выпил — побежали веди... на постели — мыслете. Ха, ха, ха! здорово живете, широко шагаете, ярмонку встречаете, товар спущаете, руку набиваете, деньги собираете, людей надуваете. Слава! Здесь мой друг!.. Возлюбим друг друга!» Подделка под Любима Торцова очевидная, но язык, которым выражается последний, по всей справедливости, называется художественным, а язык безобразника Кошедавлева, тоже по всей справедливости, называется бессмысленным набором слов, находящимся в беспрерывной борьбе с знаками препинания (одно из несчастий, сопровождающих такого рода произведения, заключается именно в крайней затруднительности приискивать приличные знаки препинания). Не знаем, как на кого, а на нас подобные подделки всегда производят самое тяжелое впечатление.

СКАЗКИ МАРКО ВОВЧКА. С.-Петербург. 1864 г.

Всех сказок три: «О девяти братьях-разбойниках и о десятой сестрице Гале», «Невольница» и «Медведь»; из них последняя, без всякого ущерба для литературной репутации автора, могла бы явиться и ненапечатанною, но первые две, по всей вероятности, прочтутся с удовольствием.

Мы даже полагаем, что они прочтутся и с пользою. Не дурно вводить детей в мир действительного горя и нефантастических нужд; не дурно рисовать перед ними фигуры несколько суровые, но честные и сильные, вроде Остапа в «Невольнице». Мы вообще без особенного восхищения смотрим на большое распространение у нас так называемой детской беллетристики, но уж если участие ее в деле воспитания, вследствие различных условий, еще признается необходимым, то думаем, что сказки Марко Вовчка удовлетворят этой потребности гораздо ближе, нежели так называемые нравственные повестушки, которые составляют настоящий фонд нашей детской литературы и в которых рассказывается, что Ваня был груб и за это его не пустили гулять после обеда, а Маша была умница и за это получила яблоко.

Марко Вовчок не имеет в виду никаких подобных предвзятых целей; он не желает ни учить, ни исправлять, не обещает никаких наград за хорошие поступки и никаких кар за дурные. Он просто-напросто описывает, какая такая бывает трудная жизнь на свете, как люди бодрые и сильные побеждают эту трудную жизнь и как другие, тоже бодрые и сильные, изнемогают под игом ее. Детям это знать не бесполезно, потому что и им, конечно, придется со временем встретиться с трудною жизнью; следовательно, не мешает, чтоб она нашла их бодрыми и сильными, а не дряблыми и готовыми продать свою душу первому, кто обещает им яблоко.

В «Сказке о девяти братьях» рассказывается жизнь одного бедного и честного семейства, которое как ни бьется с преследующею его нуждою, но естественным путем выбиться из-под ее ига все-таки не может. Стремления примириться с жизнью, пойти на стачку с нею изображены автором довольно живо, но, само собой разумеется, что все эти робкие попытки не имеют никакого успеха, ибо жизнь охотно признает только того, кто является с правом господствовать над нею, а совсем не того, кто ищет примазаться к ней без всякого права. Очевидно, что этот последний есть не что иное, как гнусный обманщик и неблагонамеренный льстец. Автор очень хорошо понимает это и потому, показав героям своим всю пошлость подобных обманных приемов, приводит их к необходимости искать другого выхода из гнетущего положения, выхода не обманного, но в то же время и не вполне естественного. Но неестественность эта почему-то кажется совершенно естественною, и читатель не сетует на нее. Мы тоже, с своей стороны, не считаем себя вправе претендовать на него за то, что он не дал героям своим по яблоку за их долготерпение, но тем не менее не можем скрыть, что мелодраматический конец, приделанный к сказке, значительно вредит ее простоте и что, по нашему мнению, дело очень легко могло бы обойтись и без трогательных сцен, сопровождающих тройную смерть: Гали, ее мужа и брата.

В сказке «Невольница» изображается одна из тех оригинальных личностей, которые почему-то с особенною горячностью принимают к сердцу всякое чужое горе, которых сердца закипают гневом при всякой человеческой несправедливости. Вот, между прочим, как рисует автор героя своего рассказа.

Давно когда-то в Овруче, если знаете, находился у одного казака мальчик Остап, и как только этот мальчик Остап стал на свои ножки, сейчас пошел по Овручу, всюду поглядел, посмотрел, да и говорит: «Ге-ге! не хорошо людям в Овруче жить! Надо б этому помочь!»

А тогда, видите ли, делала набеги на Украйну всякая бусурманщина, турки, татары,— не так, как теперь, что теперь хоть бывает тоже попуст, да уж иначе, христианский,— по-христиански — почему-то не так должно быть обидно... Так вот, говорю вам, тогда делала набеги всякая бусурманщина, турки и татары жгли, грабили, совсем уничтожали прекрасные города; мало ли казачества с свету божьего согнано преждевременно, побито, позамучено; много девушек и жен в плен забрано.

Приходит Остап домой, а отец и мать его спрашивают — известно, единственное дитя, так в глаза ему глядят и сейчас же подстерегут всё, всё заметят,— спрашивают: «Чего это ты, сыночек, задумался?»

— А того я,— говорит Остап,— задумался, что не хорошо людям в городе Овруче жить.

— Ге-ге-ге! — говорит отец, а мать только тяжелешенько вздохнула.

— Надо этому помочь! — говорит Остап.

Не правда ли, что характер очень недюжинный и что детям совсем не мешает знакомиться с подобными личностями? Но и здесь нам приходится сетовать на автора, во-первых, за то, что он заставил Остапа истратить кипучую свою деятельность на борьбу с какими-то балетными турками, и во-вторых, за то, что пришил к рассказу такой конец, который вовсе из него не вытекает. Вообще, это, кажется, порок, общий многим из наших лучших современных беллетристов: задумают они, по-видимому, нечто действительно хорошее и глубоко захватывающее жизнь, а концов свести не умеют или не смеют. И происходит тут что-то странное: сначала драма, а потом водевиль.

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. МАЙКОВА. (Приложение к «Русскому вестнику» 1864 года.)

Для всех очевидно, что искусство мало-помалу начинает расширять свои пределы и допускать в свою область такие элементы, которые долгое время считались ему чуждыми. Искусство жило отдельною от дел сего мира жизнию; оно направлено было исключительно к тому, чтобы украшать и утешать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень исправно, то есть обманывало и обольщало, насколько хватало у него сил. Будучи плодом досужества, оно обращалось исключительно к досужеству же; услаждало досуги досужих людей, и это сообщало ему тот чистенький, аристократический характер, который составляет необходимую принадлежность всякого рода успокоительных веяний и усладительных снов.

Я лиру томно строю
Петь скорбь, объявшу дух;
Приди грустить со мною!
Луна, печальных друг.

Так говорил поэт-художник и совершенно основательно изображался на картинках с лирой в руках и с обращенными к небу очами. «Скорбь», которую он намеревался воспеть, вовсе не была скорбью действительною, хватающею за живое; это была та тихая, сладкая и неопределенная скорбь, потребность которой в особенности сильно чувствуется досужеством. Это не скорбь, а приятное чувство томного расслабления; человек доволен и счастлив; он хорошо обставлен, не чувствует над собою тяготения страшной материальной нужды; но в то же время смутно ощущает, что ему чего-то недостает. Это что-то недостающее, это нечто, составляющее необходимую подробность в общей картине жизни, и есть та самая «грусть», во свидетельницы которой приглашается луна и которая, в виде утратившего свою едкость дыма, доходит до обоняния досужего человека (благо, щели не окончательно наглухо законопачены!) из тех низменных пространств, где она зарождается, со всеми признаками действительного, а не увеселительного горя, где она зреет и обсеменяет почву своими проклятыми семенами. Коли хотите, это даже и не грусть совсем, а просто увеселительное представление, которому, для разнообразия, дается меланхолический характер.

Тем не менее мы были бы неправы, не отдавши поэтам-художникам должной справедливости. Как ни лимфатична была их «грусть», как ни незначительна была ее доля в той общей массе всякого рода воинственно-увеселительно-полового клубницизма, составлявшего главное содержание их песнопений, все-таки эта «грусть» о чем-то напоминала, все-таки она была отблеском (хотя и очень слабым) той действительной грусти, которая росла и растет, невидимая даже сквозь щели, в тех темных пространствах, о которых сказано выше. Без этого отблеска, без этих напоминаний, досужество окончательно погрузло бы в грубом служении Астарте. А из этого прямо следует вывести то заключение, что поэты-художники, несмотря на свое умственное малокровие, все-таки имели с так называемым «темным царством» органическую связь, внутренние признаки которой не изглаживались даже тогда, когда наружные исчезали окончательно.

И в самом деле, история искусств показывает нам, что поэты-художники, по большей части, были люди второго сорта и далеко не досужие. Досужие люди, предававшиеся искусствам (потому ли, что они выродились, или потому, что в их однообразно безмятежной жизни недоставало тех переливов света и тени, которые составляют одно из существеннейших условий искусства), были в состоянии производить только ерунду и потому, для оживления своего досужества, вынуждались обра-

щаться к людям «темного царства». Здесь тоже немаловажная заслуга со стороны последних, хотя заслуга и бессознательная. Они невольно способствовали постепенному освобождению «темного царства» из тенет, которые его опутывали, невольно выводили за собой из тьмы более или менее значительные группы узников, которые таким образом делались причастниками света. И хотя этот свет был смурый, хотя люди, сделавшиеся участниками его, сами неминуемо заражались умственным малокровием, тем не менее это все-таки был тот свет, к которому стремилось все живущее, и он-то делался общим достоянием.

Должно думать, что число этих новых участников, с течением времени, сделалось до того значительно, что оно подействовало выгодным образом и на духовное малокровие. Роли перевернулись; прежде досужество развращало пришельцев и подчиняло их условиям своего малокровия; с течением времени уже пришельцы стали развращать досужество и постепенно подкрашивать его лимфу. И не надобно совсем думать, что в этом процессе досужество играло какую-то страдальческую и вынужденную роль — совсем напротив.

Досужество всегда и везде действовало исключительно в видах собственного своего увеселения. Оно всегда и везде пользовалось слишком выгодною обстановкой, чтобы покоряться действию внешнего напора и выходить из своей замкнутости, вследствие какого бы то ни было насилия. Если оно выходило из этой замкнутости, то это было результатом скорее внутреннего, нежели внешнего насилия, актом естественного внутреннего сознания, что всякая замкнутость сама в себе носит семена смерти. Досужество растлевается, но растлевается, так сказать, добровольно, ибо растление это таится в нем самом, в том малокровии, на которое оно фаталистически осуждено, в том опасении смерти, которое преследует его с самой минуты его рождения. И вот оно ищет возобновиться и освежить себя притоком свежего, неспертого воздуха; со временем, быть может, этот свежий воздух сшибет его с ног; быть может, оно даже и предвидит этот конец, но предвидит или не предвидит, а идет к нему непринужденно и даже, так сказать, веселыми ногами.

Повторяем: в этом случае поэты-художники оказывают помощь очень действительную. В их чистеньких манерцах, в их клубничных помыслах есть нечто такое, что по плечу досужеству; они тем успешнее вносят заразу в это последнее, что оно не пугается их и даже охотно предоставляет им право увеселять себя. Но все-таки никак не следует забывать, что это заслуга невольная и что все ее достоинство заключается

не в ней самой, а в тех неизбежных последствиях, которые она за собой влечет.

По мере вторжения в сферу досужества новых сил, прежние отношения искусства к жизни делаются всё более и более невозможными. Жизнь заявляет претензию стать исключительным предметом для искусства, и притом не праздничными безмятежно-идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами. Мало того: она претендует, что в этих-то последних сторонах и заключается самая «суть» человеческой поэзии, что игривые ландшафты и надзвездные пространства, хотя и могут еще, по нужде, оставаться более или менее приятными аксессуарами, но действительного, истинно человеческого содержания искусству ни под каким видом дать не могут. Искусство, следуя этой теории, принимает характер преимущественно человеческий, или, лучше сказать, общественный (так как человек, изолированный от общества, немыслим), и чем ближе вглядывается в жизнь, чем глубже захватывает вопросы, ею выдвигаемые, тем достойнее носит свое имя.

Такой крутой переворот в понятиях о значении искусства необходимо требует новых деятелей, которые, конечно, и являются; но он до того жизнен и силен, что охватывает собой даже и тех старых поэтов-художников, которые до тех пор пели исключительно о счастье птиц. Всем хочется приобщиться к движению, ибо, благодаря своей жизненности, оно всех затрогивает за живое, всех неслышно в себя втягивает.

Но понятно, в каком затруднении должны находиться эти благонамеренные и восчувствовавшие старички. С одной стороны, сердца их несутся к птицам и надзвездным высотам, с другой — нечто смутно говорит им, что птичьи песни уже никого не удовлетворяют и никому не нужны. И вот они начинают соединять несоединимое, начинают склеивать старое, привычное и любезное для них дело с делом новым, привлекающим их взоры своею жизненностью. И начинают они вдумываться, куда бы им примкнуться, начинают вникать в смысл происходящего перед ними движения, но смысла этого угадать не могут, а только улавливают одни внешние признаки, те самые, которые и в старинных реториках уже были помечены известными рубриками.

Вторжение новой жизни собственно в нашу литературу (разумеется, в смысле искусства, а не науки) выразилось или в форме сатиры, которая провожает в царство теней все отживающее, или же в форме не всегда ясных и определенных приветствий тем темным, еще неузнанным силам, которых на-

плыв так ясно всеми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не может и выразиться иначе, как отрицательно, в форме сатиры, или в форме предчувствия и предведения. Но и для того, чтобы иметь право выразить их таким образом, искусство все-таки обязано иметь понятие о том, о чем оно ведет свою речь, и сверх того обладать каким-нибудь идеалом. Вот этим-то последним условиям и не может никак отвечать «поэт высот надзвездных», ибо все, что ни делается нового в мире, все это, так сказать, не при нем делается, и как ни усиливается он приобщиться к движению, но успевает в этом только отчасти, то есть именно схватыванием только некоторых внешних его признаков. И выходит из этого либо явная ложь, либо смех, либо бессмыслица, ибо нет в мире положения ужаснее положения Ювенала, задавшегося темою «бичевать» и недоумевающего, что́ ему бичевать, задавшегося темою «приветствовать» и недоумевающего, что́ ему приветствовать. За что он ни примется — везде попадет не туда, куда следует, за какой кусок ни зацепится — всегда пронесет его мимо рта. Начнет ювенальствовать — никого не покарает; начнет приветствовать — отприветствует так, что до новых веников не забудешь. Ибо и ювенальствует-то он против такого зла, которого никто не замечает, и приветствует-то совсем не ту силу, которая грядет, а ту, которая давным-давно отжила свой век.

Очевидно, что результатом таких усилий может быть только изобилие «мудреных слов», тех самых слов, о которых с таким страхом рассуждает Настасья Панкратьевна в комедии Островского «Тяжелые дни». «Как услышу,— говорит она,— слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся». Но Настасья Панкратьевна, по крайней мере, откровенна: она прямо и сознается, что от этих слов ей страшно, а певцы «высот надзвездных», напротив того, всячески стараются скрыть свой страх и даже, как нарочно, нанизывают слова пострашнее и помудренее: смотрите, дескать, какой я храбрый!

Да, это истина неоспоримая, но, к сожалению, очень немногими она понимается: надо уметь вовремя спеть свою песенку. Ну, спел, пролил утешение и веселость в сердца досужих людей, получил лавровый венок — и будет с тебя! Вспомни хоть Рубини, например; он тоже не умел кончить вовремя и в последнее время не пел, а только рот разевал, а люди, не видевшие дней его славы, и впрямь думали, что он всю жизнь только и делал, что рот разевал...

Но от этих общих размышлений перейдем к настоящему предмету нашей статьи, к сборнику новых стихотворений А. Н. Майкова. К сожалению, мы не можем не сознаться за-

ранее, что размышления наши имеют очень близкое отношение к этому сборнику.

Всякому читателю, конечно, известно, что означает на сценическом языке слово utilité[1]. Так называется обыкновенно актер на роли второстепенные, не требующие очень яркого таланта, но все-таки достаточно обращающие на себя внимание публики, чтоб быть выполненными со смыслом. На актеров этих никто не ссылается, и никто не приводит их в пример; но когда случайно заходит о них речь или когда они сами о себе напоминают, то отзывы всего чаще бывают в их пользу. «Да, это полезный актер,— говорится обыкновенно в таких случаях,— и в общем составе труппы он занимает свое место с честью!» Теперь представьте себе, что вдруг этот самый актер, эта самая полезность, вместо того чтоб добросовестно исполнять роль маркера Шарова (водевиль «Ворона в павлиньих перьях»), берется за роль Гамлета, вместо того чтоб по мере сил своих лицедействовать в роли нигилиста Вертяева (комедия «Слово и дело» г. Устрялова), начинает то же лицедейство производить в роли «Короля Лира»? Что может подумать об нем публика, та публика, которая смелость еще не ставит решительным доказательством таланта?

Такого же рода «полезность» представлял собой в русской литературе г. Майков. Первые его стихотворения были встречены с заметным и вполне заслуженным, по времени их появления, сочувствием, а некоторые из них даже и теперь прочтутся не без удовольствия. Правда, что все они как-то смахивают на игрушку, что после всех их остается как-то так гладко на душе, как будто ничего туда и не западало — все равно, что читал, что не читал,— тем не менее в общем итоге тогдашней русской литературы они были под стать: не многим ее украшали, но и не вредили. В них всегда замечалась некоторая доля хладного резонерства, прикрываемого так называемою пластичностью, но так как публике было решительно все равно, каким именем называется тот умеренный поэтический жар, которым обладал ее менестрель, то она и относилась к нему благосклонно, то есть с теми умеренными похвалами, с которыми обыкновенно относятся ко всем вообще «полезностям». Казалось бы, это жребий довольно завидный, и г. Майков, конечно, поступил бы благоразумно, если бы не выходил из того миросозерцания, которое так долго служило ему путеводною литературною звездой. Скажут, быть может, что это миросозерцание слишком ограниченно, что почва, которую разработывал наш поэт, давно иссякла и что стоять

---

[1] полезность.

на ней дольше невозможно. Но на это есть очень простое возражение. Поэт! если ты из миросозерцания своего выжал последние соки, то замолчи! ведь есть же на свете многие миллионы людей, которые не написали в жизнь свою ни одной строчки, и живут же! — отчего ж и тебе не последовать их примеру?

Но г. Майков не внял этому простому голосу и, начиная с 1854 года, вступил на почву политическую и социальную. Он бичует и приветствует; бичует старую «клубнику», которую сам же воспевал; приветствует... приветствует всё ту же старую клубнику, которую он потому только мнит быть новою, что она окрещена «мудреными словами».

Рассмотрим сперва так называемую сатиру г. Майкова.

Сатира, как составной элемент, входит в значительную часть стихотворений г. Майкова, но вполне сатирическим по содержанию можно назвать только одно из них; это — «Другу Илье Ильичу». Так как оно очень длинно, то мы не будем его выписывать, ибо хорошо понимаем, что прочесть такую тяжеловесную и в то же время вялую и бесцветную вещь — труд далеко не маловажный. Но признаемся, что, по запутанности своего содержания, оно представляет весьма любопытный психологический факт.

В прошлом году (да простит нам читатель этот маленький анекдот) к одному из наших сотрудников явился молодой человек. «Я желаю свистать»,— сказал он вместо всякой рекомендации. «Свищите»,— был ответ. «Но я желал бы знать, об чем свистать?» Вот и весь этот краткий, но поучительный разговор, который, конечно, не стоило бы и вспоминать, если б не напомнила его нам выписанная выше сатира г. Майкова. Сатиру эту следовало бы собственно назвать так: «Ювенал неведающий, или Бичевать желаю, но что — не знаю».

В самом деле, для того, чтоб сатира была действительною сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало. Ни того, ни другого сознания в сатире г. Майкова не замечается.

Идеал скрыт нашим сатириком до такой степени тщательно, что уяснить его читателю нет никакой возможности. Что хочет он бичевать? Во имя чего протестует? желает ли крикнуть жизненному движению: довольно! пора воротиться назад! или же находит, что даже и сего недовольно, что совершающийся на его глазах прогресс есть прогресс мишурный и что жизнь должна отыскать себе другое, более широкое ложе?

Ни на один из этих вопросов сатира его определительного ответа не дает.

На первый взгляд может, однако, показаться, что автор более склонен показывать дорогу назад.

В самом деле, единственные сочувственные строки, которые встречаются в его сатире, относятся к лицу, называемому им «папенькой». Это человек, который

Раздавит, кажется... ан, смотришь, покричит —
И сам расплачется, да тут же и простит!

и далее:

Конечно, память твой папа у стариков
Оставил добрую — и ставят пред икону
И нынче за него свечу...

Сочувствие, по-видимому, несомненное; но в то же время сатирик как будто стыдится своего сочувствия и спешит отречься от всякой солидарности с рисуемым им идеалом. И вот он надевает на своего героя следующий не совсем лестный костюм:

Вот, в самом деле, был забавный-то старик!
Полжизни на плацу вытягивал он ногу,
Был губернатором, здесь чем-то управлял...
Застегнут, вытянут, каким-то дикобразом
Старался выступать — казалось, съест вот разом!
. . . .
Закона — не любил! его боялся даже,
Всегда в нем видел то, против чего на страже
Быть должно всякому...

Отсюда двойственность; с одной стороны, похвальные качества: накричит человек, да тут же и простит; с другой стороны, качества непохвальные: выступание на плацу дикобразом и законобоязнь. Конечно, если мы будем вникать очень пристально в существо этой двойственности, то без труда найдем, что она составляет, так сказать, только последнюю уступку чувству ложной стыдливости; тем не менее она все-таки поражает очень неприятно и обнаруживает в сатирике совершенно неуместную в его ремесле шаткость воззрения на жизнь. Сатирик всегда несколько фанатик своих воззрений, и потому в нем всего менее понятна уступчивость, и особливо такая уступчивость, которая явно допускается под влиянием внешнего гнета и собственной внутренней робости. И если б г. Майков был вполне искренен, то он, конечно, не колеблясь, стал бы на сторону «папеньки», ибо, в сущности, здесь самые противоречия устраняются очень легко, ибо здесь похвальные качества до такой степени примиряются с качествами непо-

хвальными, что едва ли даже отыщется в целом мире то тонкое перо, которое в состоянии провести между ними разделяющую черту. И действительно, весь идеал г. Майкова заключается, кажется, в том, чтоб в России были начальники вспыльчивые (по человечеству, это им прощается), но добрые, чтоб они, пожалуй, и кричали, но умели бы снисходить к оправданиям и слабостям подчиненных. Не хорошо только то, что они выступают «дикобразами» и «боятся закона». Но разве стоит из-за этого распинаться? Разве стоит из-за этого острить жало сатиры? Не достаточно ли внушать этим людям, что ходить дикобразом не следует, равно как не следует и бояться законов, но видеть в них вящее для себя поощрение?

Уверяем, что это гораздо легче, нежели кажется с первого взгляда, и что г. Майков совершенно напрасно скрывает свое сочувствие к «папеньке», ибо скрытность эта, без всякой надобности, лишает его сатиру силы. Мы понимаем: его смущает в этом случае образ Скалозуба, нарисованный мастерской рукой Грибоедова, но ведь кто же может поручиться, что и за него никто не «ставил пред иконы свечу»? Да и на каком, наконец, основании сатирик усматривает противоречие между непохвальными свойствами своего скрытного идеала и другими, которым он положительно сочувствует? Мы думаем, что те и другие совсем не чужды друг другу, что они суть явления одной и той же категории, не только взаимно друг друга пополняющие, но и не могущие существовать один без другого. Мы слишком охотно говорим иногда: «хороший человек: накричит, да зато потом и простит!», однако, выражаясь таким образом, мы прямо свидетельствуем, что мало понимаем значение употребляемых нами слов. Что такое «накричит»? что такое «простит»? Неужели же так трудно понять, что самое существование подобных слов говорит об отсутствии первого и самого необходимого условия всякого человеческого общежития,— об отсутствии равноправности? Да вникните же, вникните хорошенько в прямой смысл этих слов и поймите, наконец, что в них заключается гораздо более горечи, нежели в том выступании дикобразом и в той законобоязни, которые кажутся вам столь смешными!

Из такого-то смутного идеала приходит г. Майков к бичеванию. Кого он бичует? Мы думаем, что он сам не найдется что-либо ответить на это, кроме того, что он бичует «друга Илью Ильича». Кто же таков этот Илья Ильич? С одной стороны, это пропагандист либерализма, ревнитель свободы, с другой — это отчасти департаментский сторож, отчасти бюрократ чичеринской школы, отчасти один из тех дрянных

Робеспьериков, сведения о которых можно почерпать в исторических анекдотах, лихо рассказываемых гг. Семевским и Есиповым. Мы не отрицаем, что такое противоестественное смешение понятий самых противоположных и несовместимых совсем не составляет редкости в нашем так называемом обществе; мы даже думаем, что это могло бы навести талантливого писателя на множество очень комических соображений, но г. Майков не имеет ни возможности, ни права воспользоваться комизмом этого положения, потому просто, что он сам очень искренно признавал и признает, что либерализм и плевание в лицо истории, свобода и регламентация — вещи совершенно однородные. Он сам искренно смешивает эти понятия и, смешавши, силится испоместить по этому поводу все острые слова, которые имеются у него в запасе.

Как назвать такую сатиру? Разумеется, если бы она носила хотя малейший признак преднамеренности, то ее надлежало бы заклеймить именем клеветы, но так как она свидетельствует лишь о близорукости самого сатирика, не умеющего полагать различие между представлениями совершенно противоположными, то и следует ее просто-напросто приобщить к числу прочих опытов попадания пальцем в небо, которыми так богата новейшая русская литература.

Посмотрим теперь, каковы-то приветствия г. Майкова. Эти приветствия всецело выразились в стихотворении под названием «Картинка», которое мы приведем здесь вполне.

КАРТИНКА

(После манифеста 19 февраля 1861 г.)

Посмотри: в избе, мерцая,
Светит огонек;
Возле девочки-малютки
Собрался кружок;

И с трудом, от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя.

Мужички в глубокой думе
Слушают, молчат;
Разве крикнет кто, чтоб бабы
Уняли ребят.

Бабы суют детям соску,
Чтобы рот заткнуть,
Чтоб самим хоть краем уха
Слышать что-нибудь.

Даже с печи не слезавший
Много-много лет,
Свесил голову и смотрит,
Хоть не слышит, дед.

Что ж так слушают малютку,—
Аль уж так умна?..
Нет! одна в семье умеет
Грамоте она.

И пришлося ей, младенцу,
Старичкам прочесть
Про желанную свободу
Дорогую весть!

Самой вести смысл покамест
Темен им и ей:
Но все чуют над собою
Зорю новых дней...

Вспыхнет, братцы, эта зорька!
Тьма идет к концу!
Ваши детки уж увидят
Свет лицом к лицу!

Тьма пускай еще ярится!
День взойдет могуч!
Вещим оком я уж вижу
Первый светлый луч.

Он горит уж на головке,
Он горит в очах
Этой умницы-малютки
С книжкою в руках!

Воля, братцы,— это только
Первая ступень
В царство мысли, где сияет
Вековечный день.

Признаемся: нужно много решимости, чтоб прочитать до конца эту более нежели странную штуку. Здесь что ни слово, то фальшь. Г-н Майков сумел соорудить водевильно-грациозную картину даже из такого дела, которое всего менее терпит водевильную грациозность. История не новая, повторяющаяся неоднократно со всеми переделывателями французских водевилей на русские нравы. Поэт, очевидно, вдохновился каким-нибудь французским эстампом с подписью: La petite Nini faisant la lecture à sa mère [1], и задумал снискать расположение почтеннейшей публики, изобразив этот эстамп в стихах и переложив его на русские нравы. И, может быть, он действи-

[1] Маленькая Нини, читающая матери вслух.

тельно успел бы в своем намерении, если б не сбили его с толку так называемые современные тенденции и если б он местом действия для картинки выбрал не избу, а коттедж досужих людей. Но кто же поверит этой русской семье, где

...с трудом, от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя...

Кого обманет этот балетный обман? Кого не возмутит этот противный ненужный отвод глаз? И неужели в самом деле не может быть ничего священного, коль скоро речь идет об увеселении досужих людей? Неужели даже такой предмет, как свобода нескольких миллионов людей, не огражден от водевильных поползновений?

Грустно.

ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ АФРИКУ. Составленное по запискам доктора Фергюссона Юлием Верн. Перевод с французского. Издание Алексея Головачева. Москва. 1864 год.

Мы с удовольствием обращаем внимание наших читателей на издательскую деятельность г. А. Головачева. Книга, которой заглавие выписано выше, вместе с недавно изданною «Историей кусочка хлеба», непременно должна сделаться настольною детскою книгой, особенно если принять во внимание скудость нашей текущей детской литературы. Ребенок не встретится здесь ни с благонравным Ваней, ни с обжорливою Соней, ни с лгуном Павлушей, рассказы о которых так тлетворно извращают детский смысл, но сразу увидит себя окруженным здоровой и свежей атмосферой. Он увидит, что автор не обращается к нему, как к низшему организму, для которого требуется особенная манера говорить с картавленьем, пришепетываньем и приседаниями и которому нужны какие-то особенные «маленькие» знания; он поймет, что ему дают настоящие знания, что с ним говорят об настоящем, заправском деле. По нашему мнению, этот взгляд на педагогическую деятельность есть единственно верный, и мы охотно поговорили бы об этом предмете подробнее, но в настоящем случае ограничиваемся лишь краткою заметкой, так как в скором времени надеемся возвратиться к нему по поводу бесполезной деятельности московского общества распространения полезных книг.

Но так как всякое даже самое лучшее дело не избавляется от некоторых недостатков, то и в изданном г. Головачевым «Путешествии» мы можем указать на один такой недостаток,

который, по нашему мнению, значительно вредит книге. Он заключается в слишком большом изобилии юмористических и не относящихся к делу разговоров между Фергюссоном и его спутниками. Дело отвечает само за себя и имеет свой собственный внутренний интерес, достаточно значительный, чтобы представлялась крайность прибегать к сдабриванию его какими-нибудь околичностями. И издатель, конечно, поступит очень хорошо, если, при дальнейшем развитии своей деятельности, будет без милосердия урезывать из французских подлинников все, что не относится прямо к делу.

ЗАПИСКИ И ПИСЬМА М. С. ЩЕПКИНА. С его портретом, факсимиле и статьею о его сценическом таланте, писанною С. Т. Аксаковым. Москва. 1864 г.

Пробегая эти «Записки», читатель не должен забывать, что имеет дело не столько с знаменитым и полезным деятелем русской сцены, деятелем, которого имя надолго останется в ее летописях, сколько с одною из тех даровитых русских натур, которые, несмотря на самые неблагоприятные условия, успевают-таки возвыситься над общим уровнем и умеют поставить себя в положение далеко не заурядное.

К сожалению, записки Щепкина дают очень немного для биографии знаменитого актера, да и то, что они дают, представляется в виде каких-то разрозненных отрывков, между которыми лежат значительные промежутки. А между тем биографии таких людей, как Щепкин, не только интересны, но и в высокой степени поучительны; только, разумеется, нужно, чтобы такого рода труд был выполнен не только с талантом, но и без малейшей утайки. Не легка жизнь русского человека, а в особенности подневольного русского человека, каким, по рождению, был Щепкин. Самая страшная сторона неволи измеряется не числом ударов, и не в том состоит, что она с маху бьет человека, а в том, что она всасывается в его кровь, налагает руку на его внутренний мир и незаметно заставляет его не только примириться с неволей, как с таким состоянием, против которого всякая борьба была бы материально напрасна, но даже относиться к нему, так сказать, художественно, все свои умственные и нравственные силы направлять к его вящему утверждению и украшению. И если изобразить историю такого разлагающего действия подобных форм жизни на человека есть дело далеко не легкое, то еще труднее поддается художественному и правдивому воспроизведению та борьба с ними, на которую решается человек смелый и

сильный. Тут предстоит проследить не только все фазисы борьбы, но и то клеймо, которое она необходимо оставляет после себя на человеке, даже в случае его торжества; а здесь-то именно и встречаются на каждом шагу такие тонкие штрихи, которые могут быть уловлены только при полной свободе биографа от всякой фальшивой примеси и при совершенной известности ему даже мельчайших подробностей жизни избранного лица.

Мы слышали, что биография Щепкина пишется и что с этою целью уже собираются материалы. От души желаем, чтобы намерение это осуществилось, хотя, признаемся, не можем ожидать от него многого. Кроме того, что у нас есть дрянная привычка показывать в таких случаях только казовые концы жизни, мы думаем, что есть еще множество и других условий, которые положительно неблагоприятны для трудов подобного рода. Рассказать с большею или меньшею подробностью происшествия жизни известного лица, конечно, очень легко и возможно, но ведь для добросовестного биографа этого недостаточно. Он захочет увидеть своего героя лицом действующим, окруженным известною средою, а тут-то именно и предстоят ему со всех сторон различные непреодолимые преткновения. «Вот это неловко, вот это несвоевременно, а вот этого и совсем нельзя» — будет он слышать на каждом шагу и поймет, что задуманное им дело не только трудно, но едва ли и удобоисполнимо.

Сравнительно с другими людьми, воспитавшимися на лоне крепостного права, судьба была довольно снисходительна к Щепкину: господа у него были добрые и милостивые. Родился он в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенсе (так начинает он свои записки); отец его был камердинером, а впоследствии управляющим имениями графа Волькенштейна, мать — горничною графини. И мать и отец пользовались неограниченным доверием своих господ, которые перенесли свое расположение и на маленького Мишу. В рассказе Щепкина помещики его являются действительно очень добродушными, но, к сожалению, записки его имеют слишком личный характер, и потому очень трудно определить по ним общий характер этого помещичьего добродушия. Известно, что пресловутая патриархальность тем и отличается, что одних благодетельствует, других угнетает, и притом сегодня благодетельствует, а завтра угнетает, и наоборот, вследствие чего одни не нахвалятся ею, а другие не знают, как от нее избавиться. Мать и отец Щепкина, по-видимому, настолько были довольны своим положением, что решились удержать его за собой, в чем и успели; отсюда благоприятные последствия для

нашего будущего знаменитого актера: господа позволяли ему валяться на господских диванах и жаловали его к ручке. Это же самое обстоятельство дозволило Щепкину получить сравнительно порядочное первоначальное образование и потом беспрепятственно удовлетворить своей страсти к театру.

Щепкин довольно пространно объясняет в своих «записках», каким образом возникла в нем наклонность к сцене, но, к сожалению, мы не можем вынести из этих объяснений никакого определенного впечатления. Здесь автор стоит ниже своей задачи, и пространность его объяснений есть не что иное, как многословие. Он, видимо, не может уловить и определить признаков зарождавшейся в нем страсти, и потому ограничивается повторением, в разнообразных формах, таких избитых фраз, как, например: «я весь горел», «я ничего не помнил», «слезы брызнули из моих глаз». Поэтому-то, хотя детству и первым еще ребяческим сценическим попыткам посвящено почти три четверти всей книги, но впечатление, получаемое читателем, очень неполно. Подробностей, мелочей, которые относились бы именно к этой главной, артистической стороне жизни знаменитого актера и которые в таком случае всего драгоценнее, почти нет, а имеется именно одно разглагольствование, вдобавок еще перемешанное со многими рассказами, которые не могут иметь ни для кого интереса (к таким совершенно лишним подробностям мы относим, например, рассказы: о потере маленького Миши в дороге, об ухе из ершей, о спасении двоих утопающих и т. д.). Нет также ровно никаких заметок о нравах и обычаях тогдашних провинциальных театров, о требованиях публики, о жизни, которую вели тогда актеры, кроме разве того замечания, что актрис в то время «господа» считали неприличным поить чаем в гостиной, а угощали вместе с дворовыми людьми.

Но если так мало представляют интереса рассказы Щепкина о его детстве и первых сценических попытках, занимающие, как сказано выше, более двух третей всей книги, то еще беднее содержанием остальные главы его записок, относящиеся к дальнейшему и притом самому любопытному периоду его разнообразной и далеко не заурядной деятельности. Вся эта часть записок посвящена рассказу об актрисе С—ной, не имеющему никакого отношения к жизни автора, да двум-трем анекдотам, из которых в одном повествуется о том, как одна курская аристократка вылечилась от ипохондрии тем, что каждый день давала одной из горничных девок две пощечины, а в другом — о том, как покойный Щепкин препирался с каким-то генералом, причем генерал нападал на новые времена

и отстаивал старые, а Щепкин нападал на старые времена и отстаивал новые. В этом последнем анекдоте всего замечательнее то, что Щепкин говорит генералу *вы,* а генерал отвечает ему *ты.*

Одним словом, записки Щепкина ничего не характеризуют: ни того времени, в которое он жил, ни его собственной замечательной личности. А между тем в одном месте записок автор выражается о себе так: «Я знаю русскую жизнь от дворца до лакейской». И нет сомнения, что в этом отзыве нет ничего преувеличенного, потому что Щепкин был человек высокодаровитый, и притом отличный рассказчик. Следовательно, он и мог бы рассказать о многом, да и было о чем рассказать; однако не сказалось ровно ничего, кроме нескольких пустых анекдотов. Отчего это? Не оттого ли, что при известной обстановке жизнь самая замечательная и разнообразная в конце концов все-таки истрачивается на пустяки?..

МОЯ СУДЬБА. М. Камской. Москва. 1863 г.

Недоумения играют весьма важную роль в человеческом существовании. В особенности сильно сказываются они в так называемом обществе, в том обществе, которого вся жизнь сложилась под влиянием искусственных форм, условных понятий и всякого рода случайных или не случайных предрассудков. В такого рода среде люди говорят и не договаривают, хотят идти и не идут, хотят сидеть и не сидят. Вечно им что-нибудь мешает, вечно они чего-то боятся, перед чем-то трепещут. Сумма таких недоумений, постепенно накопляясь, образует наконец такую громадную бессмыслицу, которая на здорового и непричастного этой недоумевающей среде человека действует вытягивающим жилы образом. Так и хочется всем этим резонерствующим куклам сказать: что вы дразнитесь? что вы приседаете друг перед другом? чем намазан у вас язык, что вы ни одного слова сказать без ужимок не можете? Да идите же! да садитесь же! да говорите же, говорите же, черт возьми!

Но если такова роль недоумений в жизни вообще, то еще более решительную роль играют они в жизни современной женщины. Положение этой последней в обществе таково, что каждый ее шаг есть самое неистовое и неестественное кривлянье. Мужчина все-таки имеет средство более или менее уклониться от гнета форм, которые почему-либо кажутся ему мертвыми и бессодержательными; он может хотя по временам отдаваться свободным внушениям рассудка; в нем самый про-

тест даже охотно оправдывается. Напротив того, женщина, так сказать, фаталистически осуждена делать то, что ей не хочется, молчать, когда она чувствует желание говорить, говорить, когда она не имеет к тому ни малейшего поползновения; одним словом, осуждена соблюдать приличия, то есть кривляться. Самый протест с ее стороны, если таковой по временам и прорывается, кажется каким-то кривляньем; от того ли, что мы привыкли ее видеть постоянно запуганною и стянутою, или от того, что она, именно по причине этой запуганности, не умеет даже формулировать свой протест вразумительным образом, нам все кажется, что она домогается чего-то не должного, что, по-настоящему, ей следовало бы сидеть смирно и ожидать, покуда мы сами не догадаемся: отчего, дескать, наши самочки сидят, повесивши носики?

Чем обусловливается такое содержание жизни вообще и женской в особенности — это вопрос очень обширный, который неуместно было бы здесь разбирать, но верно то, что положение это есть факт несомненный, и следовательно, наравне с прочими жизненными явлениями, подлежащий изучению и дающий обильную пищу для наблюдений. И действительно, мы видим, что недоумения дали содержание целому очень обширному отделу беллетристики, и если не вполне, то в весьма значительной степени легли в основание так называемого домашнего романа, играющего такую блестящую роль в современной английской литературе. В особенности искусными в анализе и описании таких недоумений оказываются женщины-писательницы. Потому ли, что они на самих себе испытывают всю силу такого неестественного положения, или потому, что оно до того уже прочно осело над ними, так слилось со всею их жизнью, что не представляется даже ненормальным, как бы то ни было, но в исследованиях своих по этому предмету женщина-писательница обнаруживает мастерство изумительное. Быть может, в их описаниях читатель не почувствует правильного и резонного отношения автора к предмету, но верность подробностей, наглядное сходство описываемых форм с действительно существующими и добросовестность разработки положения в том виде, как оно есть, не должны подлежать никакому сомнению.

Образцы подобного отношения к делу мы видим в английских писательницах, между которыми ярче прочих выдаются авторы романов: «Джэн Эйр» и «Адам Бид». Вся основа этих романов лежит на психологических недоумениях, к которым авторы относятся не только без малейшего нетерпения или негодования, но, напротив того, с полным и невозмутимым спокойствием. В глазах их, жизнь есть узел, в котором пере-

путаны все нити, но перепутаны не случайно или вследствие известных, иногда очень досадных условий, а, так сказать, преднамеренно искусственно, и именно для того, чтобы люди, попавшие в этот узел, имели удовольствие его распутывать. Понятно, что при таких условиях изображаемые лица не могут быть ни истинно живыми, ни истинно страстными лицами. Конечно, они, в качестве врожденной силы, могут в избытке обладать и энергией, и страстностью, но и то и другое уйдет у них на пустяки, то есть на борьбу с пустяками, на распутывание пустяков и на постоянное самонадувание посредством пустяков. Как тонко ни исследуйте, с каким искусством ни извлекайте напоказ, одно за другим, их внутренние сокровища, все-таки это будут сокровища мертворожденные, и сами обладатели их будут не живыми лицами, а более или менее искусно сделанными фарфоровыми куклами. Поэтому-то, при всем искусстве и несомненно замечательном таланте упомянутых выше авторов, сочинения их никогда не могут удовлетворить вполне и оставляют в уме читателя то неполное и отчасти болезненное впечатление, которое необходимо должно иметь место во всех тех случаях, когда автор-художник не настолько стоит выше своего предмета, чтобы вполне свободно им обладать, когда он не только не обладает им, но сам, так сказать, неотвязно и шаг за шагом за ним плетется.

К такой именно категории повествовательных сочинений относится и рассматриваемый нами роман. Но если уже в самом своем источнике этот род производит не всегда удовлетворительное впечатление, то понятно, что перенесенный на иную, не совсем благоприятную для него почву и разрабатываемый менее искусными руками он должен поражать еще более невыгодным образом. Как ни мало развито русское общество, но, быть может, по этому-то самому в нем меньше замечается той тошной и скучной искусственности, которая так ловко замаскировывает себя всякого рода лицемерными тонкостями и приличиями. Характеристические черты русской жизни крупны, резки и откровенны; в ней можно отыскать непочатые углы всякого рода грубости и самого несносного невежества, но очень мало лицемерства. Поэтому-то, быть может, писательница, сама по себе очень даровитая (мы говорим о Крестовском, авторе повести «В ожидании лучшего»), но постоянно стоявшая в своих сочинениях на почве психологических тонкостей, никогда не пользовалась у нас тем успехом, который принадлежал ей по праву таланта, и стяжала себе лишь почетную известность.

Тем меньшее право может предъявить на внимание публики г-жа Камская. Роман ее положительно плох. Тут все дело

в том, что какая-то Настасья Алексевна не может дать себе отчета в том, любит ли она Александра Сергеича или не любит. С лишком 160 стр. очень убористой печати наполнены этим каверзным распутыванием и запутыванием нитей, лежащих ровно и не нуждающихся ни в каком сплетении. Напутает эта девица — и станет поодаль, полюбуется, хорошо ли напутала; потом зачнет распутывать, распутает — и опять станет поодаль, посмотрит, не рано ли распутала. Даже законных побудительных причин для путаницы никаких нет, а просто хочется нелепым образом подразнить себя и других. С своей стороны, Александр Сергеич тоже охотник попутать; он любит Наталью Алексевну и даже знает это, но в то же время действует относительно ее как совершенный шалопай. В заключение эти люди соединяются браком и уезжают куда-то в захолустье, где, конечно, будут с успехом продолжать свою игру в прятки. Сознайтесь, что неестественнее этого положения трудно что-нибудь выдумать.

Ко всей этой путанице очень неискусно приплетено несколько вводных лиц, которые бродят, как тени, и решительно не знают, что над собою сделать. Им даже и путать нечего, а приходится состоять при чужой путанице, что уже из рук вон мучительно.

РАССКАЗЫ ИЗ ЗАПИСОК СТАРИННОГО ПИСЬМОВОДИТЕЛЯ. Александра Высоты. С.-Петербург. 1864 г.

К этой книге может быть отнесено все, что было сказано в одном из предыдущих нумеров «Современника» о рассказах г. Горского. Но у г. Высоты еще меньше таланта, нежели у г. Горского, меньше даже, нежели у г. Ильи Селиванова. Эти писатели все-таки хоть хныканья кой-какого в свои сочинения напустят, а у г. Высоты и этого нет: просто какая-то голь перекатная.

СБОРНИК ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДСТВА. Издание Н. И. Попова. Москва. 1864 г.

Составитель этого «Сборника» имел, по-видимому, цель весьма скромную — приобрести себе несколько лишних рублей посредством продажи его. В этих соображениях он достал различными путями (источник, откуда взяты четыре статьи, указан, об остальных же четырех статейках издатель, вероятно из скромности, умолчал) восемь статеек, ничем между

собою не связанных, сшил их вместе и, перепечатавши, издал особенною книгой, не потрудившись даже предпослать своему сборнику никакого предисловия. Труд, как видите, легкий и, к счастию для автора, даже благодарный, ибо дело идет о разоблачении тайн раскола, до которых публика в настоящее время довольно охоча. И действительно, статейки подобраны всё «таковские», то есть самые благонадежные, так что охотники до скандалов останутся отменно довольны. В особенности же разутешит их «Рассказ о Рогожском кладбище», в котором они найдут такого полицийместера и другого какого-то «старшего начальника N. N.», что просто пальчики облизать можно. Эти друзья человечества действовали просто: когда понадобятся деньги, то арестуют какого-нибудь раскольнического попа и потом, получив деньги, отпустят. Иногда, впрочем, и разнообразили свои действия: арестуют, возьмут деньги, а попа все-таки не отпустят. Разумеется, это очень утешно, но ведь тут потеха, так сказать, обоюдуострая, так что не знаешь, над кем уж и смеяться: над попом ли Иваном Матвеевичем, который охоч был с какой-то Анной Федоровной в П—ские бани ездить, или над упомянутым выше «старшим начальником N. N.», который, принявши от раскольников поднос с фруктами, между которыми положен был и пакет с двадцатью пятью тысячами рублей, очень любезно спрашивал приносителей: «Впрочем, позвольте, господа! много ли я у вас беру взаймы денег?»

Впрочем, хотя скандалов в этой книжонке предостаточно, мы все-таки предостерегаем неопытных читателей от покупки ее, так как она заключает в себе всего 162 страницы разгонистой печати, а стоит 1 р. с., а с пересылкою 1 р. 50 к. По нашему мнению, деньги эти следует приберечь, потому что они могут пригодиться на покупку нового романа г. Вс. Крестовского «Петербургские трущобы», в котором, судя по отрывку, помещенному в журнале «Эпоха», скандалов и ужастей будет даже больше, нежели сколько было прошлой зимой ухабов на петербургских улицах.

ЧУЖАЯ ВИНА. Комедия в пяти действиях. Ф. Н. Устрялова. С.-П.-бург. 1864 года.

С легкой руки г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей») в российской литературе образовался новый род сочинительства, который все более и более ищет в ней утвердиться. Русские сочинители убедились, что относиться отрицательно к жизненным явлениям невозможно, что это за-

нятие фальшивое и невыгодное, что, наконец, ввиду известных данных, громко вопиющих о прогрессе, оно не только не своевременно, но и несправедливо. Из всех этих соображений, конечно, всего более веса представляет то, которое говорит о невыгодности отрицательного отношения к жизни. Действительно, писатель, который не умеет отличить прогресса истинного от прогресса преувеличенного и не понимает, что первым следует удовлетворяться, а второго избегать, едва ли может иметь много шансов на устройство своей карьеры. Благовоспитанное большинство (то самое, которое держит в своих руках писателя) любит понежиться и отдохнуть от трудов по части прогресса и потому с недоверчивостью и нетерпением смотрит на тех, кои действуют слишком назойливо и настоятельно. Всякому действующему в этом смысле на литературном поприще оно говорит: погоди! разве ты не видишь? — и если деятель продолжает не видеть, то без церемоний отметает его от общения с жизнью и от участия в ее увеселениях. Стало быть, невыгода здесь несомненная и очевидная. А затем уже следуют и прочие соображения: о несвоевременности отрицания, о его несправедливости и о том, что «это, наконец, уж слишком». Они, разумеется, тоже хороши и справедливы, но все-таки несколько слабее предыдущих, ибо не всякому уму доступны.

Итак, русские сочинители убедились, что отрицательное отношение к действительности невыгодно, и, убедившись в этом, бросились отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны. Это искание в одинаковой степени отразилось и в нашей публицистике, и в нашей беллетристике. Публицисты отыскивают положительные стороны путем умозрения, беллетристы — путем художественного воспроизведения; первые находят искомое в тех указанных правах и обязанностях, которыми в данную минуту пользуется общество; вторые — в тех живых типах, которые служат воплощением упомянутых выше прав и обязанностей. Но у всех у них один родоначальник — г. Львов, автор комедии «Свет не без добрых людей». Он первый указал, что и в становом приставе есть нечто положительное, первый изобразил, что в установлении управы благочиния можно отыскать высокий, нравственно-консервативный смысл, если чиновники ее будут заниматься своим делом неленостно и нелицеприятно.

Публицисты «Голоса» и «Московских ведомостей», а также романисты и драматурги, действующие под их обаянием, обязаны помнить это и не слишком-то заноситься мечтами о том, что они новаторы. Все эти Русановы, Вертяевы и тому подобные представители «хорошего направления», все

эти разглагольствования о том, что божий мир прекрасен и что людям остается только скромно себя вести, совсем не ими выдуманы, а г. Львовым. Они в этом случае являются лишь пропагандистами — правда, пропагандистами очень полезными, доведшими тип приветливого и исполнительного начальника отделения до высшей степени ясности,— но все-таки только пропагандистами, а отнюдь не инициаторами.

В самом деле, мудрено и не соблазниться перспективами, открытыми г. Львовым. Что усматривает перед собой писатель, действующий на почве отрицательной? Он, по выражению Гоголя, усматривает одни «свиные рыла». Чем потчует и с чем знакомит он своих читателей? Он потчует и знакомит вас с теми же свиными рылами. Ясно, что таким свинорыльством удовлетвориться нельзя. Даже критики строгие и наименее благосклонные к свиным рылам, как, например, г. Писарев, и те советуют оставить их в покое, и те говорят: довольно! давайте-ка поищем чего-нибудь положительного; достаточно разрушать, будемте созидать! Это и понятно: русская литература так долго и так усердно занималась отрицанием и разрушением, что дальновидные люди должны были наконец убедиться, что отрицать больше нечего, что ветхий мир уже в развалинах и что на этих развалинах следует создать новые монументы и искать примирения. Вот этой-то последней потребности и взялись отвечать публицисты и беллетристы львовской школы. Они прямо говорят отрицателям: врете вы все со своими свиными рылами! Свиные рыла бывали прежде, но теперь с ними все счеты покончены; теперь у нас есть милые молодые люди, скромно занимающиеся «наукою» или же приносящие пользу отечеству бескорыстною службой и приветливым обращением с просителями!

Следовательно, надо созидать и отыскивать в жизни типы положительные — этого же убеждения, вместе с г. Львовым и его последователями, держится и г. Ф. Н. Устрялов. Чтобы доказать эту истину, он в 1862 г. написал комедию «Слово и дело», в которой изобразил, что нынешние молодые люди совсем не имеют в себе ничего подозрительного, что, напротив того, это просто малые дети, любящие читать книжки. Мысль эта до того ему понравилась, что в нынешнем году он решился подкрепить ее новою пятиактною комедией, которой заглавие выписано выше. Эта комедия так же, как и первая, написана на тему неподозрительности, с тою только разницей, что в первой комедии герой ее, Вертяев, доказывает свою неподозрительность тем, что занимается какою-то «наукой», а во второй — некто Зарновский ту же неподозрительность доказывает тем, что едет в Сибирь в качестве управляющего золо-

тыми приисками с жалованьем в пять тысяч рублей. В обоих случаях г. Устрялов говорит: нет, мы не отрицатели и не разрушатели, но скромные созидатели, действующие иногда по рецепту «Русского слова», а иногда по рецептам «Русского вестника».

Но расскажем содержание новой комедии.

Сцена открывается в семействе Возницыных, состоящем из Петра Степановича, жены его Марьи Васильевны, и дочери их Верочки; к этому же семейству прикомандирован в качестве родственника и благодетельного гения отставной капитан Платон Степаныч Возницын. Нравы у этих людей следующие: Петр Степаныч — дурак; Марья Васильевна — дура; Верочка — глупа, но может в конце пьесы исправиться; Платон Степаныч — едва ли не глупее прочих, но в нем глупость умеряется добродетелью и вследствие того приобретает вид еще более тошный. При открытии занавеса лица эти занимаются разговором о том, что пора выдать Верочку замуж и что имеется уже в виду достойный жених в лице Николая Алексеича Зарновского, у которого хорошее место по службе и который «должен скоро выиграть процесс и сделаться миллионером». Поговоривши, эти люди расходятся, кроме Платона Степаныча, который выпытывает у Верочки ее тайну и узнает, что Зарновский ей не противен. При этом оказывается, что Верочка воспитывалась в институте и до того уже невинна, что даже не знает, что «в жизни не одни туфли бывают». Платон Степаныч, с своей стороны, тоже не может растолковать, что́ такое бывает в жизни, кроме туфель, и таким образом разговор мог бы принять самые умопомрачительные формы, если б он не был прерван приездом Зарновского и его начальника, барона Талецкого. Нравы сих новых людей таковы: Зарновский — умен, приветлив, бескорыстен, обладает хорошим слогом и жаждет заняться «делом»; Талецкий — пронырлив, любит полиберальничать, но в сущности взяточник. Затем приезжают еще: Данкова, племянница Талецкого, женщина легкого поведения, и некто Стожников, молодой человек окончательно малоумный. Все эти лица несколько времени между собой разговаривают и разъезжаются. Первое действие кончено.

Второе действие — через три месяца. Зарновский женат на Верочке, но процесс он проиграл, и все его ресурсы заключаются в службе. Нечего и говорить, что он по-прежнему умен, приветлив и бескорыстен, но Верочка начинает пошаливать. Она с утра до вечера шатается по знакомым и этим значительно огорчает своего супруга и добродетельного дяденьку Платона Степаныча, который очень часто ее вразумляет, но

вразумить не может, потому что сам ничего не понимает. Пользуясь стесненным положением Зарновского и шаловливостью Верочки, подрядчик Медный предлагает ему денег за какое-то «подлое» дело, но Зарновский, оставаясь приветливым, по обыкновению от взятки отказывается. Приходит Верочка, и Зарновский выговаривает ей за то, что она слишком часто выезжает и преимущественно с Стожниковым, и в заключение говорит, что «пора, наконец, это кончить». «Отчего же ты на мне женился?» — спрашивает его Верочка. «Оттого, что ты — примирение»,— отвечает Зарновский и, сказавши эту глупость, убегает, спеша застать дома какого-то нужного человека. А Медный только и ждет его ухода, чтобы явиться в виде змия-искусителя к этой новой Еве. Он предлагает ей дорогую шаль; Верочка сначала колеблется, но потом как-то так делается, что шаль остается у нее. Входит Зарновский, который не застал дома нужного человека (вечно эти скромные труженики никого дома не застают!) и видит на жене шаль. Происходит следствие, и юная лихоимица окончательно посрамляется.

Действие третье. Верочка не исправилась, потому что ее сбивает с толку развратная Данкова, которая уговаривает ее разлюбить мужа и обратить внимание на Стожникова. Входят Зарновский и Талецкий; последний требует, чтобы дело Медного было решено в пользу просителя, но Зарновский не соглашается и изъявляет намерение выйти в отставку. Натурально, Талецкий уходит со сцены взбешенный, и вслед за ним оставляет сцену и Зарновский, потому что его ждут в кабинете. Является Верочка, и за ней Стожников; происходит сцена нежничанья, в заключение которой Стожников целует у Верочки руку. На этом застает их Зарновский. Приезжают: Петр Степаныч, Марья Васильевна и Платон Степаныч и взапуски друг перед другом говорят чепуху.

В четвертом действии Зарновский, оставшись без службы и проигравши процесс, отправляется в Сибирь в качестве управляющего золотыми приисками. Верочка, однако ж, за ним не следует, а остается в Петербурге. В пятом действии Верочка оказывается падшею женщиной, и Зарновский узнает об этом. Он приезжает в Петербург, но, как истинный созидатель, не только не огорчается своим супружеским положением, а усматривает в падении жены лишь новый способ выказать свою неподозрительность. Он прощает. Верочка схватывает его руку и целует ее.

Вот голый остов новой комедии г. Устрялова. Но, употребляя выражение «голый остов», мы сознаемся, что оно не совсем верно. Есть такие литературные произведения, для кото-

рых не может существовать «голого остова», которые сами по себе составляют такой голый остов, дальше чего идти совершенно невозможно. Трудно себе представить что-нибудь тошнее и неестественнее этих бесконечно тянущихся, бессодержательных разговоров, этих преднамеренных появлений и исчезновений действующих лиц, которых автор высылает на сцену единственно в том соображении, что надо же как-нибудь и чем-нибудь сцену занять. И над всем этим царствует кисло-сладенькая мораль о каком-то таинственном «деле», из которого должна произойти невесть какая польза, но которое, если поразобрать хорошенько, не стоит выеденного яйца.

Итак, вот покуда к каким результатам приводит нас сочинительство, ищущее положительных сторон в русской жизни. Оно говорит: довольно отрицать, будемте созидать и, в подкрепление своей мысли, высылает на нас целые сонмы теней в виде Вертяевых, Русановых, Зарновских, стреляет руководящими статьями «Московских ведомостей» и «Голоса» и потчует «скромною наукой»... Доказывают ли что-нибудь, удовлетворяют ли кого-нибудь благонамеренные усилия? Нет сомнения, что доказывают и удовлетворяют, ибо спрос на «скромную науку», очевидно, усиливается. Но что именно доказывают и кого удовлетворяют — это вопрос особый, разрешение которого в тесных пределах библиографической статьи было бы не совсем у места.

РОЛЛА. Поэма Альфреда Мюссе. Перевод Н. П. Грекова. Москва. 1864.

Мир поэзии — безграничное; поэт творит под влиянием возбужденного чувства (вдохновения); вдохновение, с своей стороны, есть нечто совершенно особливое, независимое, не столько управляемое поэтом, сколько управляющее им. Поэтому поэт имеет такие свойства, каких не имеют другие смертные, а именно, он может непосредственно проникать в тайны природы и даже прорицать будущее.

С природой одною он жизнию жил,
Он чувствовал (sic) трав прозябанье...

Таковы приблизительно понятия, которые не только у нас, но и в Европе (особливо же в отечестве всякого фразерства — Франции) до сих пор соединяются с словами: поэт, поэзия. Разумеется, если вдуматься в них попристальнее, то очень

скоро окажется, что в них, кроме ребячества и великолепной чепухи, ничего нет, тем не менее авторитет их несомненен и имеет силу не только для толпы, непосвященной и бессознательно повторяющей всякого рода определения с чужого голоса, но и для самих так называемых жрецов искусства. Сами поэты (по крайней мере, огромное их большинство) очень серьезно мнят себя служителями безграничного, прорицателями неведомого и на указания науки, здравого смысла и опыта смотрят как на что-то такое, что подрывает поэзию в самом ее корне и существенно противоречит провиденциальной их миссии. И лишь немногие, уже совершенно гениальные личности уразумели, что конкретность, отсутствие преувеличений, определительность представлений и ощущений и всегдашнее пребывание в здравом уме и твердой памяти не только не враждебны поэзии, но даже представляют существенные условия, обеспечивающие этой последней здоровое, живое и разнообразное содержание.

Нет сомнения, что вся изложенная выше путаница происходит, как выражается у Островского Липочка Большова, единственно от необразования. Чем более знаний проникает в массы, тем менее делаются возможными разнузданность фантазии и «смелость полета». Точно то же должно произойти и относительно многих других неосновательных фраз и выражений, которые ныне, благодаря вдохновенным жрецам искусства, пользуются правом гражданственности. Призраки рассеются, туманы упадут, неопределенность исчезнет, их место заступят: знание, ясность представлений и жизнь, настоящая, невыдуманная жизнь... что-то станется тогда с тобою, служительница безграничного, бесконечного, неизведанного и неисповедимого?

Но покуда все это не больше как гадательное будущее, и потому мы вынуждены довольствоваться поэтцами и поэтиками, которые всею силою своих легких отстаивают права мрака и невежества на господство над миром.

У этих маленьких поборников таинственной чепухи бывают иногда престранные фантазии. То кажется им, что мир исполнен света, красоты, чудес и всякой благодати, то вдруг покажется, что мир погряз в зле и безобразии. Сегодня они будут радоваться и петь восторженные гимны, завтра — посыплют главы пеплом и разразятся проклятиями всему человеческому роду. Одним словом, это народ, живущий вдохновенно-бессознательной жизнью, восторгающийся и проклинающий под игом первого и притом всегда случайного впечатления, а потому в высшей степени непостоянный и малосообразительный.

Повторяем: все это, то есть и бессознательное ликование, и бессознательная скорбь, происходит единственно от необразования. Если бы поэт обладал достаточным количеством знаний, то никак бы не мог сказать:

И не знаю я, что буду
Петь, но только песня зреет...

Ибо сказать это — значит сказать красивую бессмыслицу (даже не столько красивую, сколько поражающую своею неожиданностью), ибо ничто в жизни не приходит случайно и бессвязно, ибо и на песне лежит печать общего строя жизни, и человек, находящийся в твердой памяти и здравом рассудке, не может не знать, что он будет делать при таких или других (и притом совсем не отдаленных) обстоятельствах. Следовательно, сегодня радоваться восходу солнца, а завтра по поводу восхода солнца печалиться — никак невозможно, так как восход этот сам по себе всегда самому себе равен и всегда имеет одинаковые причины и одинаковые последствия.

Но ежели бы последствием невежественности было только легковерие и волтижерство самих поэтов, то это была бы еще не бог знает какая печаль. Но есть последствия гораздо более вредные и серьезные: мы говорим о предрассудках, которым служит наша заурядная поэзия и распространению которых она всячески способствует. В этом отношении «поэты» не только не могут назвать себя передовыми людьми, но, напротив того, должны сознаться, что суеверия и предрассудки толпы тяготеют над ними всею своею массой.

Поэзия, будучи в высшей степени причастною всем упомянутым выше предрассудкам, является совершенно неспособною руководить толпою. Ежели толпа убеждена, что солнце восходит оттого, что восходит, а заходит оттого, что заходит, то поэзия утверждает, что отсутствие на горизонте солнца ночью происходит оттого, что

Спит с Фетидой Феб влюбленный,

а появление его утром — оттого, что

...Аврора уж не спит
И, смутясь блаженством бога,
Из подводного чертога
С ярким факелом бежит.

Спрашивается, велика ли же разница между убеждениями толпы и представлениями поэзии?

Все, что сказано выше, отнюдь, однако ж, не должно быть принимаемо за непризнание поэзии, а тем менее за презрение

к ней. Напротив того, мы думаем, что поэзия сама по себе представляет одну из законных отраслей умственной человеческой деятельности и что она ничуть не враждебна ни знанию, ни истине. В подтверждение этой мысли мы можем привести множество примеров, которые прямо доказывают, что чем выше и многообъемлющее поэтическая сила, тем реальнее и истиннее ее миросозерцание. Не говоря уже о Шекспире, этом царе поэтов, у которого всякое слово проникнуто дельностью, не упоминая также о множестве менее сильных поэтов, которые тоже были непричастны лганью, мы можем на примерах гораздо более нам близких удостовериться, что невежество, преувеличения и фальшь никак не могут считаться неотъемлемою принадлежностью поэзии.

Вот, например, описание весеннего вечера:

«Солнце село, но в лесу еще светло, воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускли; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается; слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг — по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней да темней. Деревья сливаются в большие, чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звезды. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голосок пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше (охотника) томится ожиданием, и вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу».

Наблюдатель не-поэт описал бы этот вечер так: «в такой-то местности, под таким-то градусом северной широты и таким-то восточной долготы, такого-то года, месяца и числа, захождение солнца произошло во столько-то часов, минут и секунд. При этом в воздухе было тихо, а небо было чисто; барометр показывал то-то, термометр то-то». Нет сомнения, что это был бы не более, как тощий формулярный список весеннего вечера, но в массе других подобных же списков и он имел бы свое почтенное значение; нет сомнения также, что

г. Тургенев (приведенное выше описание принадлежит ему) тот же самый вечер изобразил несравненно поэтичнее, тем не менее описание его ни в одной черте не противоречит истине, и ни один метеоролог или астроном-наблюдатель не позволит себе сказать, что тут есть что-нибудь неверное, нелепое или преувеличенное. Спрашивается теперь: утратила ли картина сколько-нибудь своей поэтической прелести от того, что в ней нет ни «влюбленного Феба, спящего с Фетидой», ни «Авроры, бегущей с факелом из подводного чертога»?

Или вот еще пример:

> Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
> Опять и опять я люблю тебя;
> Тихая, теплая,
> Серебром окаймленная!

здесь также нет спящего Феба и вообще ни малейшей клеветы на действительность, но это не мешает быть картине в высшей степени поэтичною. И страннее всего, что прекрасные эти стихи принадлежат тому же самому перу, которое изобразило и Аврору с факелом в руках.

Все эти соображения пришли нам на мысль по поводу поэмки Альфреда Мюссе, заглавие которой выписано выше. Сама по себе, она не стоила бы даже упоминовения — до того поразительно ее ничтожество; но в ней типически выразились те стремления к милому невежеству, которые, к сожалению, еще в весьма большом ходу между так называемыми поэтами.

Дело, составляющее сюжет этой тощей поэмки, по-видимому, очень простое. Дрянной человечишко, по имени Ролла, истощивши свои силы в дешевом и гадком разврате и растративши все свое состояние, решается покончить с жизнью. Чтобы выполнить это намерение, он придумывает пошлую мелодраматическую обстановку, вполне достойную всей его жизни, а именно: покупает у гнусной матери невинную дочь, проводит последнюю ночь в ее объятиях и затем, выпивши яд, умирает. Сюжет, как видится, дюжинный, и проникаться по поводу его негодованием к человеческому роду, выставлять подобный поганый случай, как результат распространившейся страсти к анализу, совершенно ни на что не похоже. Конечно, и ныне встречается на свете довольное количество шалопаев и негодных людей, но ведь никак нельзя же сказать, чтобы и в прежние времена в них ощущался недостаток. Напротив того, история и этнография самым убедительным образом доказывают, что в те времена и в тех странах, где знания слабы, негодяев и безнравственных людей бывает гораздо более, не-

жели в те времена и в тех странах, где сумма знаний сравнительно больше, где люди осмысливают свои поступки и желают видеть факты в их настоящем свете, а не окруженными непроницаемым мраком невежества.

Но не так мыслит маленький поэтик Альфред Мюссе. Пошлый поступок своего пошлого героя он приписывает — чему бы вы думали? приписывает влиянию Вольтера!! Что может быть общего между Вольтером и дрянным человечишком, называющимся Роллою, этого постичь совершенно невозможно; тем не менее Мюссе твердо стоит на своем и всячески клянется, что не будь Вольтера, не было бы и его дрянного Роллы. По несообразительности своей, он даже не задает себе вопроса: а что, если бы, вместо истории Роллы, рассказать историю какого-нибудь Катилины или другого подобного ему древнего героя, возможно ли было бы обвинить по поводу его Вольтера и страсть к анализу? Он поэт, и в этом качестве не хочет иметь никакого дела с показаниями истории. Полагая всю сущность поэзии в смелости полета, а всю прелесть жизни — в невежестве, он весьма естественно желает уязвить если не самое знание, то, по крайней мере, поползновение к знанию. Одним словом, он чувствует необходимость защитить дорогое его сердцу невежество, под покровом которого, по мнению его, неприкосновенно сохраняется поэтическая свежесть и цельность жизни. И вот, вооружась всею силою нелепого негодования, он возглашает:

Вольтер! спокойно ли ты спишь в своей могиле?
Ты улыбаешься ль, смотря на подвиг свой?
Ведь век твой молод был, и были не по силе
Ему твой злой сарказм и гений адский твой.
Но нами понят ты. На нас все пало зданье,
Которое рука воздвигнула твоя.
О, с нетерпением, наверное, тебя
Ждала немая смерть в могилу на свиданье:
Ты восемьдесят лет ухаживал за ней,
И вы должны пылать друг к другу страстью сильной,
Обнявшись горячо под грудою червей и проч. и проч.

Далее, изобразив самую пошлую сцену, в которой главную роль играют «сладкие немые содрогания», и заметив, что все сии содроганья происходят при совершенном равнодушии обеих заинтересованных сторон, поэт восклицает:

И вот твое деяние,
Вот славный подвиг твой! Ты видишь, Аруэт,
Как этот юноша — весь жизнь, весь пыл и цвет,
Целует грудь ее? как пламенно и нежно

Склонил к ее плечу пылающий свой лоб?
Сегодня он умрет, сегодня неизбежно
Его под сень свою возьмет холодный гроб.
Ведь он читал тебя — и всякая отрада
Чужда его душе и проч.

Что касается до перевода г. Грекова, то он напоминает собой золотые времена Василия Кирилловича Тредьяковского. Уже выписанные выше места достаточно характеристичны, но есть вещицы и покурьезнее этих. Так, например:

И встанет он могуч,
И в этот темный гроб сойдет без содроганья,
Рассеяв страшный мрак над ним висящих туч,
И жертву своего разврата в тьме полночной
Поднимет с ложа он позора непорочной
И от души ее вручит он богу ключ.

Спрашивается: зачем г. Греков перевел сию ерунду? На этот вопрос мы должны отвечать словами самой поэмы: затем он ее перевел, что

...полет его потреба.

В СВОЕМ КРАЮ. Роман в двух частях. К. Н. Леонтьева. С.-Петербург. 1864.

Сочинение г. Леонтьева нельзя назвать просто романом; это, если можно так выразиться, роман-хрестоматия. В нем вы на каждом шагу встречаетесь с воспоминаниями о Тургеневе, графе Л. Н. Толстом, Писемском и других. Вот Татьяна Борисовна, которая у г. Леонтьева называется Катериной Николаевной, вот тот молодой цыган-шалопай (фамилии его не помним), который у Тургенева пленяет дам залихватскими русскими песнями, подражанием жужжанию мухи и другими такой же силы талантами и который у г. Леонтьева называется Милькеевым; вот цыганка — любовница Чертопханова, которая у г. Леонтьева называется Варей; вот добродушный и действительно прелестный старик-полковник, который у Тургенева ходит взад и вперед по кабинету и произносит: брау! брау! и который у г. Леонтьева называется Максимом Петровым; вот дети гр. Л. Н. Толстого, которых без всякого законного акта усыновляет г. Леонтьев. Всё люди знакомые. Кажется даже, г. Леонтьев не чужд некоторым измышлениям г. Клюшникова, хотя роман его печатался одновременно с «Маревом»: вот что значит основательное изучение одних и тех же образцов.

Говоря откровенно, мы признаем составление подобных хрестоматий делом далеко не бесполезным. Есть литературные произведения, которые в свое время пользуются большим успехом и даже имеют немалую долю влияния на общество, но вот проходит это «свое время», и сочинения, представлявшие в данную минуту живой интерес, сочинения, которых появление в свет было приветствовано общим шумом, постепенно забываются и сдаются в архив. Тем не менее игнорировать их не имеют права не только современники, но даже отдаленное потомство, потому что в этом случае литература составляет, так сказать, достоверный документ, на основании которого всего легче восстановить характеристические черты времени и узнать его требования. Следовательно, изучение подобного рода произведений есть необходимость, есть одно из непременных условий хорошего литературного воспитания. Тем не менее не нужно скрывать от себя, что разрешить удовлетворительно эту задачу совсем не легко. В самом деле, прочитать до тридцати томов, сочиненных в разное время гг. Тургеневым, гр. Л. Н. Толстым, Писемским, Авдеевым и друг., сделать из этих сочинений выборки, привести эти выборки в систему,— все это для современника, не слишком отдаленного от того миросозерцания, которое руководило упомянутыми выше авторами, еще может быть делом занимательным, но для потомства подобная работа должна сопрягаться с чрезвычайным утомлением. Облегчить эту работу крайне полезно, и вот тут-то именно являются те драгоценные литературные архивариусы, которые трудолюбием своим оказывают истории литературы гораздо более услуг, нежели даже писатели, хотя действительно даровитые, но не настолько, чтоб целиком перейти в потомство. Архивариусы эти берут полное собрание сочинений знаменитейших авторов известной эпохи, компилируют их, делают из них резонированные выборки и затем предают свой скромный труд тиснению, как бы говоря публике: зачем тебе читать Тургенева, Толстого, Писемского и друг.? прочти лучше меня: тут найдешь ты все, что тебе нужно знать об этих писателях.

Итак, г. Леонтьев трудится для потомства. Он не претендует на оригинальность, не говорит читателю: слушай! я тебе преподам нечто новое; напротив того, он прямо сознается: это не я говорю, это говорят гг. Тургенев, Толстой, Авдеев и Писемский, я же состою при них только в скромной роли собирателя всероссийского миросозерцания. Все это, конечно, с его стороны очень мило, тем не менее мы не можем скрыть, что даже и для того, чтобы тронуть нас скромностью, нужен талант, и притом талант не менее существенный, как и тот,

который трогает нас действительною силою своего содержания.

Тут нужен талант критический. Г-н Леонтьев, быть может, удивится, читая эти строки (ежели, конечно, он прочтет их); быть может, он примет их за иронию и даже за мистификацию, но мы совершенно далеки от того и от другого. Мы искренно убеждены, что автор, являющийся в публику с таким «сочинением», как «В своем краю», не может иметь в виду иных целей, кроме критическо-хрестоматической, и потому, не обинуясь, высказываем наше мнение как относительно самой задачи, так и относительно способов ее выполнения.

Задача хороша — это скажет всякий. Археолог и историк, и даже современный наблюдатель, утративший мерило для оценки явлений современной русской беллетристики с кисейными героинями и обтянутыми лайкой jeunes premiers — все от души поблагодарят за такой труд. Но одного похвального намерения мало; необходимо уменье, необходим критический талант.

Только критика может провести ту раздельную черту, которая существует между гг. Тургеневым и Клюшниковым, только она одна может до очевидности доказать, что если между этими двумя авторами и есть сходство, то это последнее следует уподобить тому сходству, которое существует между настоящим французским виноградным вином и тем, которое выделывается усердием гг. Рызыкиных, Термековых и Соболевых. И хотя критика во всей неприкосновенности сохраняет свое право относиться неодобрительно ко всем вообще виноградным винам известных достоинств и марок, но это отнюдь не освобождает ее от обязанности делать даже и в этом смысле строжайшие различения. В качестве ценовщика критик не имеет права не знать, что как ни плохо вино французское, все-таки же оно настоящее виноградное, тогда как вино рызыкинское не может быть ничем иным, как дрянной и не всегда безвредной фабрикацией.

В этом последнем смысле, г. Леонтьев являет себя критиком весьма неопытным. Решившись компилировать Тургенева, Писемского, Толстого и друг., он, во-первых, не разложил тех ядов, которыми каждый из этих писателей обладает в частности, и не определил их значения в общественной токсикологии; во-вторых, он даже не спросил себя, для чего он компилирует и какие могут быть достигнуты цели с помощию подобной компиляции?

Первое условие, то есть разложение ядов, определение их свойств и указание того значения, которое каждый из них имеет в общей токсикологической системе,— совершенно не-

обходимо. Каждый яд, как известно, действует двояко, то есть имеет свойство и убивать, и восстановлять здоровье. Все зависит от большей или меньшей значительности приема и от того, в каких условиях происходит действие яда. Есть яды, взаимно друг друга уничтожающие и одновременное действие которых должно произвести в результате нуль, есть яды, которые, при несоразмерно-усиленном употреблении, тоже не расстраивают организма, а дают в результате нуль. Точно то же следует сказать и о ядах литературных. Ежели, например, взять яда тургеневского и употребить его в надлежащей пропорции, то он, конечно, может оказать действие до некоторой степени человекоубийственное; но ежели к этому яду присовокупить яд клюшниковский или григоровичевский, то всякий без труда убедится, что тургеневский пресловутый яд есть не что иное, как невинный сироп. То же самое надо сказать о яде г. Писемского, о хныкательной эссенции, изготовляемой г. Ф. Достоевским. Тут необходимо различать, ибо, в противном случае, яд самый смертельный может оказаться смешным и годным только для истребления мух.

Затем, что касается до целей, то они могут быть двоякого рода: или просто изобразить положение и направление всероссийской литературы (а в то же время и всероссийского общества) в данный момент, или же изобразить его с некоторым нажимательством на известные более или менее чувствительные пункты. В первом случае задача разрешается просто. Надобно только взять отрывки из одного, другого, третьего и т. д. писателей и переписать их в таком порядке, чтоб они не противоречили друг другу, чтоб герои не обедали после ужина и чтоб Иван 24-й страницы не назывался Прохором на странице 25-й. Достигнуть этого не трудно. Самое важное здесь вкус и орнаментальное искусство, и ежели бы подобное дело и в тех условиях, в каких существует русская литература в настоящее время, было поручено нам, то, признаемся, мы поступили бы следующим образом. Для начала выбрали бы Тургенева, для средины Тургенева и для конца Тургенева. Мы просто перепечатали бы «Отцов и детей» и подписались бы: «с подлинным верно. К. Н. Леонтьев». Публика, наверное, прочитала бы наше сочинение с удовольствием, потому что воззрение сколько-нибудь цельное и оригинальное можно найти только у г. Тургенева, а у гг. Писемского и Григоровича следует искать лишь аксессуаров. Аксессуары эти суть: пьяницы и обжоры, отменно изображаемые г. Писемским, и девицы, коих кринолины разорваны и кои очень смешно изображаются г. Григоровичем. Аксессуарами этими можно воспользоваться так: перепечатывать себе да перепечатывать

роман Тургенева, да вдруг и воскликнуть: а посмотрим-ка, читатель, что-то поделывает наш любезный Иона-циник,— да и хватить целиком из Писемского главу об Ионе-цинике. Вполне органической связи и тут, конечно, не будет, но читатели в претензии не останутся, ибо знают, во-первых, что перед ними не сочинение, а образцы сочинений, и во-вторых, что г. Леонтьеву все-таки не сочинить так, как сочинит г. Писемский. И таким образом цель будет достигнута, цель, правда, не хитрая, но в то же время и не бесполезная. Читатели увидят, что в данный момент направление всероссийской литературы главнейшим образом заключалось в посильном испускании некоторого тонкого яда, что яд этот с одной стороны умерялся хныкательною эссенцией г. Достоевского, с другой стороны усиливался человекоубийственною поварней г. Писемского, и что поставленный в такие условия он никакого ощутительного действия ни на кого не производил.

Гораздо, разумеется, сложнее будет дело романиста-хрестоматика, который, вместо простого и нехитрого изображения литературного положения известной эпохи, задумывает еще заняться по части нажимательной. Кроме того, что такой компилятор должен быть замечательным токсикологом, то есть уметь разлагать чужие яды, он обязан обладать некоторым запасом и своего собственного, оригинального яда. Яд этот должен преимущественно обнаруживать свое действие в том остром соусе, которым обливаются подобные компиляции, в той ехидной преднамеренности, которая высказывается в подборке и сортировке чужих ядов. Ясно, что в этом случае без критики, и притом самой основательной, нельзя ступить ни шагу, что без нее невозможно оттенить как следует собранный материал.

Ни одной из объясненных выше трех задач не удовлетворяет г. Леонтьев. С одной стороны, он положительно не знает толку в ядах, и потому в один и тот же сосуд кладет и сильнодействующие средства г. Тургенева, и тараканные отравы г. Григоровича, и гнилостно-заражающие припасы г. Писемского. От этого в результате выходит не яд, а мутный сироп, отнюдь не вредный, а в то же время и не полезный. С другой стороны, отнестись просто к своему хрестоматическому делу он не хочет, потому что считает подобный труд ниже себя, ниже своих сил. Затем, г. Леонтьеву оставалось приступить к делу третьим из указанных выше способов, то есть взять из сочинений Тургенева, Писемского и др. разных Татьян Борисовн, Базаровых, Проскриптских и переженить их на свой собственный манер: он так и сделал, но удачи не получил.

В первой части, где автор ближе придерживается избранных им образцов, дело идет еще довольно изрядно. По крайней мере, читатель может сразу сказать: вот это Тургенев, это Писемский, это Толстой и т. д., и даже похвалить трудолюбивого собирателя за его уменье сортировать этот более или менее разнообразный материал. Но во второй части, то есть там именно, где приходится женить героев, почтенный компилятор постоянно стоит ниже своей задачи. Он положительно не умеет свести концы с концами и, поставив в первой части своего труда на первом плане интерес внутренний, вдруг круто поворачивает и начинает заботиться исключительно о поддержании интереса внешнего.

Какого достоинства этот внешний интерес, можно судить из того, что он главным образом основывается на нерешимости героев романа, кого им любить и на ком жениться. Милькеев не знает, жениться ли ему на Нелли, или на Любаше, или на дочери Катерины Николаевны, или, наконец, просто любить Катерину Николаевну по-прежнему, и как любить, как мать, или более нежным манером. Лихачев не знает, жениться ли ему на Нелли или на Любаше, или возвратиться к Вареньке. Любаша не знает, за кого ей выйти замуж, за Руднева, за Милькеева, за кн. Самбикина или за Лихачева. И так далее. Такое невежество героев относительно положения их собственных чувств тяжело действует на читателя. Он подозревает, что перед ним развивается не драма, а какая-то бессвязная и очень неловко организованная игра в жмурки. Имея положительное убеждение, что нельзя сказать: не хочу есть, когда чувствуешь голод, нельзя сказать: хочу гулять, когда гулять не хочешь, он начинает догадываться, что г. Леонтьев затеял всю эту игру неспроста, что он и тут преследует какую-нибудь высоко-хрестоматическую цель...

И читатель не ошибается. В числе корифеев нашей литературы есть один, которого мы не назвали,— это г. Скавронский. Задача, которую предположил себе этот мало знаменитый писатель, заключается в том, чтобы доказать миру, что истинный герой романа должен на следующей странице забывать то, что он делал и говорил на странице предыдущей. Нельзя, конечно, утверждать, чтобы это была задача особенно глубокомысленная, но в то же время невозможно отказать ей в некоторой оригинальности. Это последнее качество, очевидно, поразило г. Леонтьева, и он, как добросовестный хрестоматист, счел долгом указать, что в российском государстве, кроме гг. Тургенева, Писемского и друг., существует еще и г. Скавронский. Однако мы похвалить его за это не можем, так как, по нашему мнению, всякое кушанье требует своего

особенного специального соуса, и обливать Тургенева Скавронским совершенно ни с чем не совместно.

Но всегда похвалим за то, что г. Леонтьев первый возымел мысль о повествовательной хрестоматии, и хотя опыт, сделанный им в этом смысле, и не вполне удачен, но для нас важно уже то, что дело пущено в ход. Деятели не замедлят явиться, и мы уже теперь можем начертать приблизительную картину, изображающую гг. Пятковского, Гербеля, Геннади и других собирателей русской литературы, готовых ринуться в бой по первому знаку г. Галахова, этого Гостомысла российской хрестоматической промышленности.

О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И НЕДОСТАТКАХ, какие замечаются на всех ступенях развития общественной жизни, или нравственные правила в руководство к исправлению недостатков и к утверждению добрых начал в многосторонней земной жизни для блага общего. Сочинение переводное с иностранного. П. Б. Суходаев. К. У. С портретом автора. Москва. 1864.

ЗЕРКАЛО ПРОШЕДШЕГО. Выписки и записки многих годов. Москва. 1864.

РИМ. Современный очерк («Эпоха», 1864 г., № 8).

ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ «МОНТАНА» Г. КАЛАУЗОВА («Эпоха», 1864 г., № 8).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА «ЭПОХА», литературного и политического, издаваемого семейством М. М. Достоевского («Эпоха», 1864 г., № 8).

Стрижиная литература решительно процветает. Чувствительность сердца, добродетель, кроткое поведение, почитание усопших, умеренность в употреблении яств и прочих напитков — вот новые принципы, которые внесены в нашу литературу стрижами. Правда, что проповедь эта не совсем-таки нова, а только позабыта; правда, что опыты обращения русской литературы в «Лизин пруд» начинаются уже с Карамзина, но никогда они не были так настоятельны, никогда не лезли так напролом, как в настоящее время. Прежние проповедники чувствительности и аккуратности были, по крайней мере, кратки и не ложились на душу читателя излишним грузом; нынешние проповедники тех же истин извергают из себя целые монументы и решительно притесняют публику своею настойчивостью.

Прежнее русское общество было само очень чувствительно; воспитанное на почве крепостного права, оно любило отдых за картинками содержания чувствительного и аккурат-

ного. Видя в Ваньках-разбойниках и Машках-подлячках одну нравственную необразованность и, сверх того, примечая в их обжорливости явный и положительный для себя ущерб, оно охотно останавливалось на повествовании о каком-нибудь Агатоне, который не ел и не пил, а только проливал слезы, или о какой-нибудь Хлое, которая, невзирая на настойчивость своего Алексиса, посолила-таки свою невинность впрок. «Вот, подлецы, как жить нужно, а не то, чтоб лопать да брюхо набивать», или: «Вот, девки, как нужно себя соблюдать, а не то, чтоб целые ночи по коридорам шляться»,— говорило оно и сладко-пресладко вздыхало. Ибо видело в этих картинах и повествованиях не токмо утешение, но и подкрепление.

Совсем не таково положение современного общества относительно аккуратно-чувствительной литературы. Заботы по насаждению нравственности в сердцах Ванек с него сняты; ущербы, проистекавшие от прожорливости Машек, или устранены, или вошли такою определенной статьей в бюджет, что отвертеться от них нет возможности. Следовательно, надобности в примерах разного рода окаянству решительно не настоит. Пример Агатона, питающегося слезами, важен для нас в том только смысле, что он врачует наши сердца, уязвленные примерами других Агафонов, таскающих из наших кладовых огурцы и капусту для своего насыщения; но как скоро мы сродняемся (или что-нибудь сродняет нас) с мыслью, что упомянутые выше огурцы и капуста не составляют еще особенной манны небесной, то воспоминание об Агатоне-слезоистребителе и Хлое-блюстительнице не только не утешает, но даже бесит нас. Нам кажется, что все это пишется нам в пику, что тут заключается тайное злорадство, недобросовестный намек на то, что вот и хорошо бы, да не хочешь ли выкусить! И так бывает нам в то время скверно и огорчительно, что мы были бы готовы горло зубами перервать тому стрижу, который так и зудит около нас с своею проквашенною кротостью и посоленною впрок невинностью.

А стрижиная литература все пристает да пристает потихоньку. Словно вот ядом поливает. «Да будьте же вы, говорит, кротки, черт вас дери! вспомните, говорит, об Косте-прожорливом, о некоторой Насте, которая позволяла Коленьке свою ручку целовать! Куда вы угодить хотите? вспомните, наконец, о некоторых «стрижах», которые без ума без всякого вдруг вздумали странствовать,— что постигло их?» Слушая это унылое голошение, видя этих пришельцев с того света, колотящих себя в грудь даже без приглашения полиции, публика сначала недоумевает, но, наконец, положительно озлоб-

ляется. «Что я вам сделал? долго ли притеснять меня будете? И как я покажусь в люди с вашею выеденною добродетелью!» — говорит читатель неотвязчивым птицам. А стрижи пристают себе да пристают полегоньку.

Вот лошадки для езды,
Пистолетик для стрельбы,
Барабан, чтобы стучать
И в солдатики играть! —

кричат они хором, и какие бы усилия ни употребляла публика, чтоб унять их,— все будет бесполезно. Во-первых, они от рождения находятся в «забвении чувств», а во-вторых, в самом воздухе есть нечто им покровительствующее.

Да, это так; действительно, нечто покровительствует им. Известно, что ничто так не утверждает общественного благоустройства на незыблемых основаниях, как невинные занятия. В сем отношении игра «в солдатики», «в лошадки», «в фофаны» и проч. занимает самое видное место. Люди, занимающиеся такими непредосудительными поступками, суть те самые граждане, на коих всегда положиться можно, ибо они никогда не выдадут. Затем, к числу непредосудительных ремесел следует отнести также балет, в особенности же с превращениями, полетами и исчезновениями, так как от оного ведут свое родопроисхождение занятия балетно-философические, тоже немало к утверждению общественного благоустройства содействующие. Человек, уязвленный до глубины души игрою в фофаны, до такой степени закаляет себя в этом занятии, что никаким порочным движениям доступен быть не может. Видя конец платка, вылетающий из кафтана ближнего, он не только не присвояет его себе (то есть весь платок, а не конец его), но даже не соблазняется; видя людей, беседующих о деле действительном, он не только не принимает участия в их беседе, но даже не соблазняется; видя людей, страдающих не едиными чирьями и золотухой, он не только не расспрашивает о причине страданий их, но даже не соблазняется. Как некоторый адамант светлый, проходит он посреди людского торжища, поражая всех своею невинностью и аккуратностью. Правда, что и им, в свою очередь, никто не соблазняется, но всякий при виде его говорит: оставьте сего невинного, ибо если вы его тронете, то извергнет из <*пропуск в корректуре*> всякий остерегается, всякий себя <?> монумент, известный под именем «сапогов всмятку!» проходит мимо. Ибо все мы — члены общества, и в этом качестве должны всемерно заботиться о благоустройстве. А от кого же

и можем мы ждать порядка, как не от тех, кои никогда беспорядка произвести не могут? Следовательно, поощрять и охранять их суть прямой долг наш и главнейшая обязанность. А ежели мы должны поощрять их, то, стало быть, должны выносить и их приставанья. Вот истинная причина возникновения «стрижей» и их процветания; вот почему им нет и не может быть перевода, так что ни трескучие морозы, ни летний зной не могут оказать на них решительно никакого влияния.

Итак, несмотря на то что характер общества русского значительно изменился, несмотря на то что наше общество стало менее чувствительно, процветание стрижиной литературы совершенно законно. Само общество обязано всемерно заботиться о возможном его продолжении, ибо в процветании этом заключается самое действительное отвлекающее средство, при помощи которого различные горькие заботы и думы уже не представляются уму с такою мучительною назойливостью, как это обыкновенно бывает, когда человек предоставлен самому себе и своим размышлениям. Кто огорчен, угнетен или обижен, тот пусть возьмет в руку стрижа: он споет ему повесть о Феденьке-нестроптивом, который тоже был когда-то строптивым, и тогда все у него шло скверно, но потом предоставил себя на волю провидения — и все пошло у него хорошо. И стал Феденька торговать отчасти выеденными яйцами, отчасти непредосудительными выражениями — и расторговался так, что ныне завел даже в Мещанской колбасную лавочку. Можно ли, спрашивается, устоять против такого соблазна? Можно ли не оставить все горькие житейские помышления, когда в перспективе виднеется колбасная лавочка? Нет, нельзя; кремень — и тот не устоит, особливо когда ему объяснят, что колбасы, выделываемые в этой лавочке, не взаправду колбасы, а простая тряпочка, набиваемая без разбору всяким сором. Только одно серьезное возражение предвидим мы против такого соблазна: а что, ежели все примутся вдруг торговать выеденными яйцами,— кто тогда станет покупать их?

По нашему мнению, стрижи могли бы даже служить отвлечением и в смысле политическом, если б политика не имела в своем распоряжении других средств, более быстро действующих. Ведь оказывает же, сказывают, Наполеон III некоторое покровительство спиритам, а чем они лучше наших стрижей?

Да простят нас многоуважаемые авторы выписанных выше сочинений, что мы как будто по поводу их заговорили о стрижах. По правде-то сказать, во всех этих сочинениях действи-

тельно есть немножко стрижиного... ну, хоть немножко! Но во всяком случае, и смысл, и направление, и даже слог — все у них совершенно общее. Ежели сочинение «О добродетелях и недостатках», а также «Зеркало прошедшего» не помещены в «Эпохе», а являются изданными отдельно, то это есть лишь признак прискорбного недоразумения, признак того, что «Эпоха» недостаточно еще разлилась по лицу земли, не знает сама, где ее агенты, где ее счастье, и что агенты ее, с своей стороны, не знают, где их счастье, где та укромная роща, в которой они могли бы по душе потолковать. Ни «Добродетели и недостатки», ни «Зеркало прошедшего» не могли бы, конечно, быть помещены ни в одном русском журнале, а в «Эпохе» прочитались бы с удовольствием, и притом довольно многочисленною публикой, которая обращается к этому журналу именно как к средству позабыть о всех горестях. Точно так же нельзя бы было поместить ни в одном журнале ни «Рима», ни «Объявления» об издании «Эпохи» в будущем 1865 году, ни других выписанных выше статей, а «Эпоха» поместила их — почему? Потому, что она издается с известными отвлекающими целями, для которых все эти статьи как нельзя больше пригодны. А чтобы доказать самым делом, что факт появления «Добродетелей и недостатков» и проч. отдельно от «Эпохи» есть не что иное, как недоразумение, объяснимся несколько подробнее.

Все сочинения, заглавия которых выписаны нами выше, трактуют о том, что человек должен украшать себя добродетелями, а не пороками, что он должен от рождения считать себя виноватым, что невинность есть то качество, которое хотя он и утратил однажды, но стремиться к которому не возбраняется и доднесь, что науки, конечно, полезны, но — вопрос, какие науки? Не те науки, в основании которых лежит кичливый разум, а те, кои зиждутся на стыдливом уповании, что понимать ничего не следует, ибо понимание разрушает ценность жизни и устраняет прелесть бестолковщины и что, впрочем, необходимо всегда и везде главную надежду возлагать на провидение. Затем, слог, которым написаны эти сочинения, может быть назван высоким, по временам впадающим в «забвение чувств».

Вот общие черты; что касается до отличий, то их немного — всего два. Во-первых, автор «Добродетелей и недостатков» приложил к сочинению свой портрет, а прочие сочинители портретов не приложили. Мы находим, что со стороны последних это большое упущение, ибо ежели вошло в обычай сохранять для современников и потомства черты знаменитейших злодеев, то тем справедливее соблюдать это обыкновение

относительно благодетелей человечества. Из портрета, приложенного к «Добродетелям и недостаткам», мы видим, что г. Суходаев человек средних лет, что он кавалер грех медалей, что глаза его устремлены к потолку и что под рукой у него две книги (должно полагать: научно-полемическая статья «Сказание о Дураковой плеши» и игриво-философское рассуждение об индюшках и Гегеле). Таким именно мы представляли себе сотрудника «Эпохи». Второе отличие состоит в том, что г. Суходаев посвятил свое сочинение «достойнейшему князю Георгию Иоанновичу, сыну Окрапира-царевича», посвятил явно и открыто и даже записал, когда и где сие совершалось, а именно: «20-го июня 1863 года на Южном берегу Крыма, на даче генерала Лешневич» (ведь записывал же Иван Иванович Перерепенко на семенах «сия дыня съедена такого-то»), между тем как публицисты «Эпохи» хотя и посвящают свои монументы гг. Каткову и Аксакову, но посвящают тайно, с полным сознанием своей виноватости. Это отличие тоже, по нашему мнению, служит в пользу Суходаева. Во-первых, мы вполне признаем, что поступки явные гораздо прочнее и заслуживают большего уважения, нежели поступки тайные, и охотно верим в этом случае г. Суходаеву, который вот что говорит в главе о «Тайных грехах»:

«Как, неужели злодей, впавший в явные преступления; достоин большей казни, чем сии скрытные беззаконники, от которых никто не может остеречься, потому что они скрывают свою развратность под личиною добродетели?»

И далее, очертив мастерскою рукой изображение тайного беззаконника, который, между прочим, «сплетничает, а между тем хочет слыть человеком честным, о благе всех пекущимся», автор в негодовании восклицает:

«Узнай себя в этом изображении, скрытный беззаконник, и ужаснись, если в тебе осталось еще столько совести, чтобы различать, что достойно и что недостойно человека! Узнай себя, вероломный сквернитель чужой чести» и т. д. и т. д.

Во-вторых, мы полагаем, что беззакония тайные никогда не сопровождаются ожидаемым успехом, и опять-таки охотно верим в этом г. Суходаеву, который так отзывается об этом предмете в своем сочинении:

«Поистине ты (то есть беззаконник тайный) для других опаснее явного беззаконника; но ты еще более опасен себе самому; таковы последствия твоего притворства. Ибо тебе никто не может подать совета, пока ты скрываешь язвы сердца твоего от взоров других; никто не может помогать до самого падения твоего в пропасть, изрытую твоими пороками. Твоя пагуба лишь скорее дает тебе созреть для ужасной развязки

той пьесы, которую ты столь искусно играешь. Тем ужаснее будет твоя погибель».

И далее:

«...ты сам и твое тело обличает тебя перед светом. Тайное беззаконие выкажется в твоих впалых глазах, в твоем расстроенном здоровье. Смотря на болезненных, убитых, рано увядших потомков твоих, ты будешь сокрушаться. Остальное поприще твоей жизни и самая могила порастут терниями».

Картина ужасная, и ежели припомнить, что она начертана, собственно, для страстей, то надобно удивляться той закоснелости, с которой они внимают словам учителя, продолжая в то же время производить тайные беззакония, как будто бы совсем не об них шла речь.

Итак, отличия все в пользу г. Суходаева; но мы увидим далее, что и родственные черты гораздо больше выигрывают под пером этого философа, нежели под перьями эпохиных публицистов.

Вот, например, что говорит г. Суходаев о вреде наук:

«И просвещение, подобно всем вещам, имеет свойственные себе опасности, когда для приобретения его надобно читать много сочинений различного рода. В те времена, когда не было еще никаких других книг, кроме рукописных, одни только отличные мужи отваживались письменно излагать и распространять свои мысли».

И далее:

«Истина, собственным нашим размышлениям открытая, драгоценнее тысячи слышанных, которые остаются бесплодными в нашей памяти: подобно как небольшой достаток, нажитый собственными нашими трудами и употребленный с пользою, несравненно бо́льшую имеет цену, чем груды золота, даром доставшиеся и в сундуке скряги лежащие».

И вот об этом же самом предмете говорит «Эпоха» (см. Объявление «Об издании в 1865 г. ежемесячного журнала «Эпоха», литературного и политического, издаваемого семейством М. Достоевского»):

«От науки никогда народ сам собой не отказывается. Напротив, если кто искренне чтит науку, так это народ. Но тут опять то же условие: надо непременно, чтоб народ сам, путем совершенно самостоятельного жизненного процесса, дошел до этого почитания».

Мысли совершенно верные, хотя и вполне стрижиные. Но у г. Суходаева они выражены рельефно и вполне резонно, тогда как в «Эпохе» они принимают несколько вялый и притом только полурезонный характер. Г-н Суходаев прямо гово-

рит: человек, конечно, должен иметь табличку умножения, но он обязан выдумать ее сам, а не заимствовать из арифметики Меморского; «Эпоха» говорит: «народ, конечно, сам должен додуматься до таблички умножения, но он имеет право обойтись и без нее». Г-н Суходаев не подвергает никакому сомнению ни пользы, ни своевременности таблички умножения, «Эпоха» же явно настаивает на ее своевременности. Разница, очевидно, в пользу г. Суходаева.

Другой пример. Г-н Суходаев выражается о «путях провидения» следующим образом:

«Зачем ты, сердце мое, столь часто сокрушаешься о судьбе своей? Зачем с неудовольствием смотришь на счастье многих других, жалуясь, что ты его не имеешь? Зачем ты плачешь о своих неудачах, почитая себя рожденным для всегдашней горести?.. Ты говоришь, мое сердце: я несчастно, ибо никакие предприятия мне не удаются; заботы мои и труды никогда не достигали желанной цели. Сколько уже сплетал я предположений о моей будущности, но они никогда еще вполне не сбывались! Сколько планов строил я в мыслях, как бы улучшить положение мое собственное и моих домашних; но все напрасно!»

«Эпоха» о том же предмете выражает так (зри там же):

«Эпоха» с самого начала своего существования подверглась большим и неожиданным неудачам (следует слезный перечень неудач)... Образовавшаяся наконец редакция увидела вдруг перед собой бездну новых трудностей, которые должна была преодолеть».

Опять-таки мысли совершенно верные и опять-таки совершенно стрижиные. Но и здесь преферанс положительно на стороне г. Суходаева. Г-н Суходаев прямо говорит о предприятиях сердца и объясняет, что предприятия эти заключались в том, чтоб обеспечить его и домашних. Из объяснений же «Эпохи» можно усмотреть одно: что у нее были «предприятия сердца», что и она видела перед собой «бездну», но с какою целью предпринимались эти «труды сердца» — ничего об этом не сказывается. Скрытность явная и положительно говорящая не в пользу «Эпохи».

Третий пример. Суходаев так говорит о современном обществе:

«Преступное искажение естественной потребности оказывается в столь различных видах, производит опустошения столь обширные, явно и тайно свирепствует во всех состояниях, полах и возрастах с такою жестокостью, что верный последователь Христосов с ужасом отвращает свои взоры от людей, до такой степени унизившихся».

О том же «Эпоха» гласит следующее (там же):

«Мы видим, как исчезает наше современное поколение само собой, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих и лишних людей».

Опять, с одной стороны, определенность; с другой, неясность, хотя существо мысли в обоих случаях совершенно одинаково. Оба единомышленника соглашаются, что современное поколение погибает, но первый указывает и на причину этого явления, которая, по мнению его, состоит в «преступном искажении естественной потребности», второй же говорит, так сказать, сплеча, а потому совершенно бездоказательно. Кому отдать преимущество?

Четвертый пример. Г-н Суходаев говорит: «Женщина стремится вступить в брачный союз не с женщиною, но с мужчиною»; «Эпоха» же хотя ничего об этом предмете не высказывается, но это, очевидно, пробел, который, подобно и прочим пробелам, очень мало говорит в ее пользу.

Наконец, г. Суходаев говорит, что его «Сочинение» — переводное с иностранного; «Эпоха» говорит, что ее издание есть издание, издаваемое... Кому отдать преферанс относительно этого пункта, «решить не решаемся», ибо опасаемся посредством какофонической какофонии впасть в тавтологическую тавтологию.

Затем, прочие сочинения, заглавия которых выписаны нами в начале статьи, поражают не столько умозрительностью, сколько кротостью и, так сказать, беззащитностью. Вот, например, какие «сапоги всмятку» проповедует г-жа Анопуте в своем «Зеркале прошедшего»:

«Хотя женщина должна покоряться общему мнению; но довольно в душе своей может иногда презирать его, видя, как оно часто бывает неосновательно, ветрено, переменчиво. Довольно иметь чистую совесть, тихое самоудовольствие — и свое собственное мнение, утвержденное на оных, должно быть дороже мнений целого света».

А вот «сапоги всмятку» г. Н. М., напечатавшего под именем «Современного очерка Рима» краткое извлечение из руководств Кайданова и Смарагдова:

«Главным предметом их (пап) заботливости сделалось *сохранение и увеличение* папских владений, которым они незаконно придали название *наследия св. Петра,* как будто св. апостол, которого имя они употребляли во зло, мог с высоты своего небесного жилища утвердить то, чему так явно противоречила вся его земная жизнь».

Но еще наивнее примечания к статье «Монтана». Примечания эти до того прелестны, что мы не решаемся даже выписывать их. Пусть читатели обратятся прямо к источнику и там удостоверятся, какие у нас на Руси еще могут издаваться журналы.

Мы оканчиваем. Надеемся, что «Эпоха» перестанет огорчать нас и не будет более помещать на своих столбцах статей, подобных «Зеркалу прошедшего» и «Объявлению об издании «Эпохи» в 1865 году». Мы даже имеем полное основание выражать такую надежду; в прошлом году мы подали подобный же совет насчет г. Ф. Берга — и с тех пор имя этого знаменитого сатирика не появляется на обертке «Эпохи». Вероятно, точно так же будет поступлено с гг. Н. М., Ф. Достоевским, Н. Страховым и Дм. Аверкиевым. В добрый час!



ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

СКАЗАНИЕ
О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ, МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ ИНОКА ПАРФЕНИЯ[1]

В 4-х частях. Издание второе с исправлениями. Москва.

Мрак, обнимающий многоразличные проявления русского духа, начинает мало-помалу рассеиваться; благодаря плодотворной, хотя, быть может, и не столь блестящей деятельности наших писателей, мы в течение немногих последних лет успели весьма близко познакомиться с внутреннею жизнью русского народа, и если это знакомство еще не вполне достаточное, то нельзя не иметь крепкой надежды, что молодая русская литература, став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело. Достаточно указать на литературные попытки гг. Тургенева, Писемского и Островского и в особенности на «Семейную хронику» г. Аксакова, чтобы убедиться, что последние годы должны занять весьма почетное место в истории русской литературы. Разработка разнообразных сторон русского быта началась еще очень недавно, и между тем успехи ее не подлежат сомнению. Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которою стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором идет речь о России. Не далее как лет десять тому назад книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компиляциями, в которых русского были только слова; в настоящее время можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким образом, было бы весьма печально. И это стремление изучить самих себя, воспользоваться почти нетронутою сокровищницею народных сил, чтобы извлечь из них

[1] Первоначальная редакция статьи. Не окончена.— *Ред.*

все, что может послужить на пользу, заметно не только в сфере литературы и науки; оно проникло в практическую деятельность всех слоев нашего общества, и всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста.

Перед нами лежит сочинение, которое по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа, мы не обинуясь ставим рядом с «Семейною хроникой» г. Аксакова. Многим, быть может, странным покажется такое сопоставление двух сочинений, которые и по предмету и по изложению не могут иметь между собою ничего общего. В действительности же эта невозможность только кажущаяся, ибо и г. Аксаков, и многоуважаемый отец Парфений, конечно, в различных сферах, имеют в виду одну и ту же цель — правдивое изображение известных сторон народного быта, известных народных потребностей; оба они одушевлены одною и тою же любовью к своему предмету, одним и тем же знанием его, вследствие чего и самое изображение у обоих приобретает чрезвычайную ясность и полноту и облекается в художественные формы.

Отец Парфений, по рождению своему, принадлежит к сословию, поставленному далеко не в выгодные условия относительно умственного и нравственного развития, и между тем такова сила убеждения, такова мощь истинно страстной и любящей натуры, что одних этих данных достаточно было, чтобы сделать книгу его в высшей степени интересною даже для людей, непричастных богословским прениям.

Участие, возбуждаемое «Сказанием», делается еще более понятным, если принять в соображение, что главный интерес его заключается не столько в защите известных богословских положений — для того, чтобы достойно оценить достоинство и значение последних, необходимо быть специально к сему приготовленным,— сколько в том, что оно делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям. Одним словом, предметом сочинения о. Парфения служат: паломничество и раскол, два явления, которые и по настоящее время не утратили своего значения в русской народной жизни. Почтенный автор, будучи сам смолоду раскольником, видел лицом к лицу все тайные и явные условия, которые объясняют возможность существования раскола и делают это явление фактом пророческим; он с юных лет был обуре-

ваем жаждою внутреннего духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие его душу, и только пройдя через все искушения, через все испытания, достиг наконец того состояния, в котором человек может смотреть на свет и истину глазами невооруженными. Автору, таким образом приготовленному и обладающему сверх того большим запасом того внутреннего жара, который в избранном предмете заставляет находить его лучшую, симпатичнейшую сторону, нельзя не верить на слово: воспроизводимые им образы, описываемые им дела красноречивее всяких математически точных доказательств говорят в пользу того дела, на защиту которого он вооружился.

Нельзя сказать, чтобы наша духовная литература была бедна сочинениями, направленными против заблуждений «глаголемых старообрядцев». Из новейших мы можем в особенности указать на сочинения высокопреосвященного Григория, нынешнего митрополита С. П.-бургского [1], и преосвященного Макария, епископа Винницкого [2]. С догматической стороны, в сочинениях этих так называемое старообрядчество опровергнуто на всех пунктах, с замечательною ясностью и знанием дела; очевидно, что в расколе, кроме религиозных догматов, есть нечто такое, что дает ему живучесть и силу, несмотря на всю неопровержимость доводов, выставляемых против него святителями православной церкви. Это «нечто», эту особенную силу заставляет нас предполагать и о. Парфений, когда рассказывает нам на стр. 97—130 1-го т. своего сочинения прение на соборе, созванном в молдавском раскольническом селении Мануиловке против него и друга его Иоанна за уклонение из раскола. Обличения, говоренные автором, до такой степени не только ясны и просты, но, что важнее всего, согласны с свидетельством Св. писания и отеческих преданий, что нет материальной возможности не согласиться с ними,— и между тем каков оказался результат собора? Тот, что «некоторые воздыхали и плакали, а некоторые распыхались сердцами и роптали», и решили наконец все-таки на том, чтобы с уклонившимися из раскола никому не разговаривать и не иметь никакого сообщения.

Подобно сему, многознаменательны и следующие два случая, рассказанные почтенным автором. Первый имел место в стародубских раскольнических монастырях, куда автор, тогда еще раскольник, пришел в чаянье найти таких для себя

---

[1] Истинно древняя и истинно православная Христова церковь. 2 ч. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

[2] История русского раскола. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

наставников, которые «проходят строгую иноческую жизнь» и которые «победили страсти и достигли совершенства». На вопрос странствователя о таких подвижниках стародубские раскольники с полною откровенностью отвечают: «Брат! далеко ты лезешь! Мы про страсти и про совершенство почти и не слыхали, а в нынешние времена какие дары духа святого?» Другие советовали жить как живется или указывали на таких старцев, которые оказывались или малограмотными или вовсе безграмотными и пользовались уважением только потому, что «ни с кем не пьют, не едят, и всеми гнушаются, и всех хулят, и всех осуждают, и даже своих единоверных; и всех считают грешниками, а только себя святыми; и толкуют день и ночь, а о иноческой жизни и не знают, в чем она состоит». Второй случай имел место в Константинополе, где автор встретился с некоторыми раскольническими монахами, проживавшими вместе с ним в Молдавии в Мануиловском скиту. О. Парфений повел их в патриаршую церковь и указал на древнюю икону пресвятыя богородицы, на которой благословящая рука превечного младенца изображена именословно. Древность иконы не подлежит сомнению: она принесена была из Иерусалима царицею Еленою, потерпела много от огня и иконоборцев, ввержена была в море и чудесно спаслась; свидетельство такой иконы не могло быть, следовательно, сомнительным для раскольников, и между тем на деле оказался результат совершенно противный. «Они (раскольники) подошли к ней,— рассказывает о. Парфений,— и стали смотреть; но мой знакомый монах Дорофей вдруг отскочил от нее и, переменившись в лице, с дерзостию сказал: «Не только мы этой иконе не поверуем, но если бы и сам Христос нам явился и сказал, что эта церковь правая, и то не поверуем». Эти три случая заставят призадуматься всякого. Очевидно, что раскольники не только не могут выдерживать состязания о вере с лицами, которые могут доказать им неправость их понятий по сему предмету, но даже не хотят допускать подобные состязания из опасения, что могут «посрамиться». Но там, где есть в них этот страх обличения в ложном толковании догматов веры, не может быть, чтобы рядом с этим страхом не возникло сомнение и насчет правоты собственного убеждения, и если это последнее отстаивается несмотря ни на что, то очевидно, что причина такого упорства должна лежать не в самом этом убеждении, а, как мы сказали выше, в целом круге иных понятий и явлений, составляющих для главного, выставляемого напоказ и, так сказать, официального убеждения нечто если не совершенно постороннее, то, во всяком случае, не существенно с ним связанное.

Предпринимая разбор сочинения отца Парфения, мы заранее считаем нужным оговориться, что не можем и не считаем себя вправе касаться той стороны его, которая заключает в себе защиту святой православной церкви против раскольников. Мы не признаем себя достаточно приготовленными для такой оценки, и притом правота православия составляет для нас факт столь несомненный, что распространяться об нем значило бы только испестрить предлагаемую статью ссылками и выписками из сочинений лиц, специально посвятивших себя делу обличения неправды раскольников. А потому мы ограничиваемся здесь лишь упоминовением двух названных нами сочинений, а также сочинения протоиерея Андрея Иоаннова «О стригольниках», о котором мы, впрочем, предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее, по тому уважению, что оно, во многих отношениях, представляет разительное сходство с «Сказанием» о. Парфения.

В последнее время сложилось много самых разнообразных воззрений на русскую народность. Все они могут быть приурочены к трем главным категориям: воззрения сонные, воззрения идиллические и воззрения раздражительные или жёлчные. Сонное воззрение смотрит на народ, как на театральную толпу, которая в известных случаях является на помост, чтобы прокричать нӳжную по ходу пьесы фразу и потом удалиться в порядке со сцены,— или как на кордебалет, отплясывающий где-то у воды. По традициям этого воззрения, русский мужик непременно должен произнести несколько раз слова: «кормилец», «шея лебединая, брови соболиные» и т. д.; более смелые отваживают до «тутотка», «болезный» и пр. По тем же традициям, русский народ необходимо обязан называться «добрым русским народом» и являться на сцену с веселым видом и простосердечием несказанным, потому что в противном случае воззрение может огорчиться. Представителями такого воззрения служат наши драматические писатели, которых невинные труды доселе украшают сцены наших театров. Воззрение идиллическое видит в русской народности проявление всех человеческих совершенств, наделяет его жаждою внутреннего просветления, семейными добродетелями, смирением, кротостью, благодушием и всеми качествами, которые приводят в результате к благоденственному и мирному житию. По-видимому, это воззрение очень веселое, но веселость эта только наружная, ибо в существе своем оно покрыто самым мрачным колоритом. Эта жажда внутреннего просветления есть не что иное, как совершенное порабощение отдельной человеческой личности в пользу лица коллективного, или лучше сказать, самое это воззрение есть не что иное, как пропаганда какого-то

общинного аскетизма. Само собою разумеется, что при таких условиях жизнь утрачивает свою цельность и делается лишь подвигом послушания; общество, в котором живет человек, перестает быть средою, представляющею наиболее споспешествующих условий к удобнейшему удовлетворению его законных потребностей; напротив того, оно является тесно замкнутым кругом, который все отдельные личности, его составляющие, порабощает своему отвлеченному эгоизму, в котором до потребностей отдельного лица никому нет надобности, где всякий должен жертвовать своими живыми интересами в пользу интересов искусственных. Цель этого воззрения, по-видимому, заключается в торжестве общества над личностью, в подчинении последней первому, и между тем — странное дело! — сторонники этого воззрения незаметным, но весьма логическим путем пришли к оправданию самого дикого, самого необузданного торжества личности. Приняв за основание всякого нравственного подвига совершенное самоотвержение, нельзя, однако же, не согласиться, что как бы оно ни поработило частную личность в пользу личности высшей и коллективной, все-таки первая, живя в обществе и составляя одну из деятельных единиц его, невольным образом вынуждена будет предъявить свои эгоистические притязания. Как бы ни предусмотрительно, как бы ни искусственно была придумана форма общежития, в которую мы хотели бы втянуть личность человека с целью сделать ее безгласною, каким бы духом самоотвержения ни были одушевлены самые личности, согласившиеся принесть себя в жертву общежитию, все-таки хоть в слабой степени, хотя в мелочах, личный принцип найдет для себя исход и возможность протестовать против подавляющих притязаний общежития. Очевидно, следовательно, что порабощение частной личности в пользу общины, мира, есть только половина того нравственного подвига, на который *осужден* человек, очевидно, что тут нет еще полного аскетизма, ибо как бы мы ни дисциплинировали волю человека, живущего в обществе, все-таки самое поверхностное понятие о значении последнего предполагает уже существование каких бы то ни было отношений, в которых отдельная личность *непременно* должна выразиться. Итак, община не представляет в себе достаточных условий для достижения того нравственного совершенства, той полной свободы духа, к которой должен стремиться человек. Где же искать таких благоприятных условий, где найти ту среду, в которой человек являлся бы творцом всех своих ощущений, всех своих радостей, всех своих потребностей, всей своей внутренней жизни, где человек становился бы независимым не только от внешнего мира, прелестного и многомятежного, но, так ска-

зать, от самого себя или, по крайней мере, от своей чувственной природы, которая также громко предъявляет свои права? Очевидно, что эта среда находится в лесу, в ущелиях, пещерах и что переход от общества к вертепу делается весьма логически. И опять-таки спешим здесь оговориться, дабы слова наши не были подвергнуты недобросовестным толкованиям, что слова наши вовсе не касаются отдельных стремлений тех исключительных и страстных натур, которые высшее блаженство свое видят в постоянном и безусловном порабощении личности высшим духовным принципам. Такого рода явления не только почтенны сами по себе, но будут всегда служить неопровержимым доказательством торжества духовной природы человека. Но мы открыто восстаем против поползновения приурочить целый народ к такому принципу, который, будучи возведен на степень национального характера, является принципом совершенно противообщественным.

Мы с намерением остановились на воззрении, которое назвали мрачно-идиллическим. Воззрение это до сего времени постоянно ставило спор о русской народности на такую почву, на которой так упорно и с таким успехом держится известная французская газета «Univers». Преследуя своими насмешками и даже ненавистью все приходящее с Запада, поборники идиллического воззрения, быть может, бессознательно, переносят на русскую почву антисоциальные воззрения Louis Veillot и комп. Воззрение это вовсе не новое и на русской почве. Прежде нежели оно формулировано нашими Тирсисами, оно уже жило в безобразных понятиях русских раскольников, которые убеждены, что спасение возможно не иначе как под условием жительства в *горах, вертепах и расселинах земных,* под условием *плачей бесчисленных.*

Третьего рода воззрение заключается в том, что обладатели его смотрят на русскую народность как на что-то растленное, из чего, несмотря ни на какие усилия, не может произойти ничего положительного и плодотворного. Подобно тому как идиллисты считают долгом при всяком удобном случае восторгаться и расплываются искусственно при одном названии русского, раздраженные во всяком явлении русской жизни видят следы обскурантизма и убеждены, что не стоит защиты такое явление, которое само себя защитить не может.

Очевидно, что такие крайние воззрения могут существовать только в молодом обществе, которого жизнь еще не сложилась в определенные формы. Общество зрелое и сложившееся бывает более нежели умеренно на воззрения; оно берет жизнь в том виде, как она есть, не приурочивает ее ни к каким воззрениям, для которых еще не настало время, и стремится только

изучить эту жизнь во всех ее мельчайших подробностях. Поняв свою обязанность в этом скромном виде, оно предоставляет будущим потомствам сделать выводы из фактов, набранных с такою настойчивостью и трудом; оно не увлекается воззрениями и системами именно потому, что прежде всего стремится приготовить матерьялы, без которых всякое воззрение есть не что иное, как праздная болтовня.

Мы, с своей стороны, сознаемся откровенно, что смотрим на нашу народность без всяких предубеждений. Она нравится нам как потому, что мы видим в ней факт живой и, следовательно, имеющий право на жизнь, так и потому, что мы чувствуем самих себя причастными этой народности. Но мы не считаем себя вправе делать какие-либо решительные заключения о характере ее и тем менее заглядывать в будущее, которое ее ожидает; мы находим, что для такого прозрения у нас еще слишком мало фактов, что в самой жизни нашего народа так много еще заметно колебаний, что ни под каким видом нельзя определительно сказать, на котором из них она остановится. Будет ли она развиваться самобытно и своеобразно или подчинится законам развития, общим всем народам,— для нас это вопрос темный, хотя сознаемся, что последнее предположение кажется нам более основательным.

Все сказанное выше достаточно определяет точку зрения, с которой мы смотрим на «Сказание» отца Парфения: для нас оно имеет интерес этнографический. Выше мы объяснили, что предметом «Сказания» служат два капитальные явления русской жизни: паломничество и раскол.

Те, которые видят в паломничестве явление исключительно русское, весьма ошибаются. Жажда посетить места, освященные подвижническою жизнью и страданиями Спасителя, а равно учением и деятельностью святителей и подвижников христианства, не только была явлением, общим всем народам Западной Европы, но и составляла, в известную эпоху, все содержание их истории. Конечно, в настоящее время это явление в Западной Европе совершенно утратило уже прежний характер всеобщности, но для нас достаточно и того, что Западная Европа перешла через него, чтобы сделать из этого тот вывод, что Россия причастна этому явлению отнюдь не в сильнейшей степени, как и прочие народы христианские. Нам скажут, быть может, что на Западе это явление было искусственно возбужденное, что оно явилось как бы результатом высшей политики пап, в России же оно выразилось совершенно непосредственно. Но это несправедливо, ибо соображения пап не имели бы тех блестящих результатов, если бы в основание их были приняты не действительные, а искусственные потребности века. Толпе,

которая шла за Петром Пустынником, не было дела до чьих бы то ни было высших политических соображений: она шла одушевляемая действительным энтузиазмом к предпринятому святому делу освобождения гроба господня, которое так вполне отвечало всем духовным потребностям того времени; она смотрела на этот подвиг как на исключительную цель всех стремлений жизни, нисколько не доискиваясь посторонних пружин, двигавших этим делом.

Итак, для нас это факт несомненный, что религиозный энтузиазм не составляет принадлежности одной какой-либо народности, а есть явление общее всем народам в известную эпоху их жизни. Что в России явление это и доныне не утратило своей силы, в этом удостоверяют нас бесчисленные толпы богомольцев, беспрерывно тянущиеся по дорогам к святым местам русским. Нет сомнения, что не праздность и не простое любопытство влечет эти толпы к местам, дорогим сердцу всякого русского; нет сомнения, что здесь кроется побуждение более чистое, более свежее, то самое побуждение, которое заставляет сердце юноши с большею теплотою и сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материальной сферы. В одном уже стремлении своем к чему-то отвлеченному, безграничному, стремлении, по самому своему существу безотчетном, в одной этой вере в любовь всеисцеляющую и в истину всеразрешающую юный человек находит и самую любовь и самую истину, и разрешение всех своих сомнений и сладостное успокоение от всех тревог ума и сердца.

Разъяснению этой-то могущественной, юношески светлой потребности любви и истины посвящает о. Парфений свое сочинение. Будучи сам причастным этой потребности, нося ее в своем сердце с самого детского возраста и целую жизнь проведя в отыскивании, часто трудном и бесплодном, средств для удовлетворения ей, он находит, для изображения своего предмета, краски, поражающие самого обыкновенного читателя своею высокой поэзией, своею искренностью и свежестью. Воспитание и все обстоятельства, в которых возрос почтенный автор, сложились таким образом, чтобы возжечь в нем тот светлый огонь веры, который поддерживал его в многотрудных странствиях. Названые родители его были русские раскольники, поселившиеся в Молдавии; первоначальное воспитание автора было, следовательно, основано на правилах раскола, что не помешало, однако же, ему познать истинный страх божий и исполниться того ненасытного стремления к уразумению вечных истин Христовой веры, которое помогло преодолеть все препятствия, встречавшиеся на пути к такому уразу-

мению. В самом деле, если мы примем в соображение, что с самых детских лет вокруг его слышались только постоянные жалобы на мир «суетный, прелестный и многомятежный», которому противопоставлялись картины «тихих и безмолвных мест, пустынь, гор и вертепов», в которых люди, «отложив всякое житейское попечение, посвятили себя на служение единому, истинному своему господу богу, и воспевают его день и ночь»; если мы припомним, что подобные картины не случайные только слова, а составляют в известной среде постоянное правило, до такой степени действительное, что оно как бы слилось с жизнью, то нам сделается понятным это страстное желание «переплыть многоволнистое и страшное житейское море, наполненное всяких соблазнов и искушений, и препроводить необузданную юность, чтобы соблюсти чистоту душевную и телесную».

И вот, действительно, едва достигнув совершенного возраста, автор немедленно отправляется в странствие «на всю временную жизнь». Надо взвесить беспристрастно последние слова, чтобы вполне оценить все глубокое значение их, чтобы не раз задуматься над громадностью подъятого автором подвига. Тут, в этих немногих словах, слышится полное отречение не только от всех житейских радостей, но даже от самого себя, от своей человеческой воли, и всецелое порабощение всего своего существа идее сурового долга, со всеми его лишениями и беспрерывным трудом. Понятое в этом смысле решение автора принимает действительно все размеры подвига, исполнение которого под силу только избранным личностям. И мы все, мы, люди, принадлежащие, по обстоятельствам, к миру суетному и, следовательно, стоящие вне этой страстной струи, которая проникает почтенного автора, мы тем не менее сочувствуем его горячему убеждению и с любовию и непрерывающимся интересом следим за его странствием, ибо в каком бы ни стояли мы отдалении от его убеждений, они оказывают на нас чарующее действие уже по одному тому, что в основании их лежит искренность и действительная потребность духа. Мы далеки от того, чтобы разделять воззрения почтенного автора на «суетный» мир, и между тем готовы сочувствовать ему в его отречении, в его искании тихих и безмолвных мест, в которых человек живет, отложив всякое житейское попечение. Причина этому очень понятна: нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрений этого лица, и ту совокупность обстоятельств,

в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными, и беспрекословно, с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях.

Убеждение, возведенное на такую степень, находит для выражения себя и слово, соответствующее этой энергии. Нельзя без особенного чувства умиления читать рассказы почтенного автора о жизни, проведенной им в пустынях, и о подвижниках, которыми наполнены эти пустыни, эти леса, где не бывала нога человеческая, где люди живут подобно птицам небесным, не зная, что обещает завтрашний день, но твердо веруя, что этот завтрашний день не обманет их, а напитает подобно всем прошлым дням подвижнической их жизни. Считаем нелишним, чтобы познакомить читателя с воззрением автора на жизнь в пустыне, сделать здесь выписку из его поэтического описания местности, в которой находится скит, служивший некоторое время убежищем для нашего странствователя. Скит этот расположен внутри Карпатских гор, в такой непроходимой пустыне, что трудно до него и пешему дойти.

«Проживая в том скиту немалое время, я часто ходил и странствовал по великим горам Карпатским, и по высоким холмам, и по непроходимым лесам; и много утешался, и радовался, и благодарил господа бога моего, царя небесного, что привел меня в такую тихую и непроходимую пустыню. Ибо совершенно закрылся от моих очей суетный и многомятежный мир со всеми своими прелестями и соблазнами. По Карпатским горам мало человеческая нога проходит; разве только одни те, которые ловят зверей. Весь Карпат покрыт великими и непроходимыми лесами и испещрен беспрерывными горами и холмами. Внутри гор нет никакого жительства, ни дорог. Ежели сойти между гор в долину, то и солнца мало увидишь; ежели взойти на высоту гор, то гора горы выше, и холм стоит на холме. Над всеми же горами Карпатскими стоит, как отец выше детей своих, славная гора Щаглуй с плешивой своей головою. Сколько ни высоки горы Карпатские, но против Щаглуя ничего не значат: видно его через горы за 200 подобно как за 10 верст. А стоит он внутри гор Карпатских от преддверия два дня ходу, над рекою Быстрицей, близ самой границы австрийской. На него один день ходу; но мало бывает такого удобного времени, что можно на него взойти; потому что всегда ниже его стоят облака, и часто кругом его бывают дожди; верх у него плоск; на севере стоит гребнем. На верху горы весьма холодно; часто и летом выпадает снег. Внизу, кругом горы, при подошве находятся три монастыря. Но я сам близ нее не бывал, а жил от нее на один день ходу. Сказывали мне те, которые на ней бывали не по одному разу, что путь на нее труден

и в ее неприступных пропастях и ущелиях много водится великих змей».

«Карпатские горы тянутся от севера на юг и идут сквозь Австрию, Венгрию, Молдавию и Валахию до самого Дуная. За Дунаем называются горы Балканские. Карпатские горы имеют поперечнику 300 верст; ходу 6 дней; леса по горам больше сосновые и еловые, пихтовые, буковые и грабовые; довольно дубовых и березовых; в них множество родится разных грибов, груздей и рыжиков. И часто я ходил по горам и восходил на высоту гор утешать свои скорби любопытным зрелищем: посмотришь на все четыре страны — и ничего не видно, ни полей, ни городов, ни сел, только видны одни горы, покрытые лесами, и выше гор голые вершины; ровного места нигде нет. Иные горы дымятся подобно как от пожара; иные испускают наподобие дыму из труб; это все исходят пары, и делаются облака, и из них идут дожди. Часто мне и сие случалось видеть, что на горе вёдро и сияет солнце, а внизу между гор стоят облака и гремит гром, но только весьма глухо; и когда сойдешь вниз, в скит, то сказывают, там был сильный дождь и гром, а мы на горе ничего не видали. Таковы Карпатские горы!»

Никто, конечно, не скажет, чтобы в этой картине была хотя тень преувеличения и искусственности; напротив того, все здесь так чуждо всякой претензии, что описание кажется проще, нежели самая природа, которую оно изображает; нет здесь ни малейшей подбелки или подкраски; нет ни «переливов света», ни «высей гор, утопающих в бесконечной синеве неба»; простота воззрения и умеренность выражения таковы, что даже удивительною кажется громадность того впечатления, которое производится на читателя этою суровою картиною. И между тем могучесть этого впечатления есть факт, и факт действительный; и если описание природы так широко, так благотворно действует на читателя, то можно себе представить, как велико должно быть непосредственное действие этой природы на человека, ставшего к ней лицом к лицу, человека с душою полною кипучего желания успокоить истомленную душу на лоне ее.

Русская народная поэзия весьма богата памятниками, выражающими такое страстное сочувствие к природе и в особенности к природе первобытной и девственной. Не знаем, был когда-нибудь напечатан довольно распространенный в народе «Стих Асафа-царевича», но во всяком случае считаем нелишним привести его здесь в том виде, как он имеется у нас под руками в рукописи, сообщенной нам одним любителем старины.

«Восплачется младь юношь пред пустынею стоя: /Прекрасная пустыня, любимая мати! /Прими мя, пустыня, яко чада, на

руце! /Научи мя, пустыня, волю божию творити; /Избави мя, пустыня, злыя превечныя муки; /Введи мя, пустыня, в небесное царство! /Проречет мати пустыня архангельским гласом: /Ты млады юношь, Асафей-царевич! /У меня во пустыни много нужи приняти, /У меня во пустыни постом попоститися, /У меня во пустыни скорбя поскорбети, /У меня во пустыни терпя потерпети! /Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: /Прекрасная пустыня, любимая мати! /Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами, /Могу я, пустыня, много нужи прияти; /Могу я в тебе, пустыня, постом попоститися; /Могу я в тебе, пустыня, трудом потрудитися; /Могу я в тебе, пустыня, скорбя поскорбети; /Могу я в тебе, пустыня, терпя потерпети! /Проречет пустыня архангельским гласом: /Ты млады юношь Асафей-царевич! /У меня во пустыни негде погуляти; /У меня во пустыни не на что смотрити; /У меня во пустыни не с кем слово говорити; /У меня во пустыни нет сладкого брашна; /У меня во пустыни нет медвяного пойла! /Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: /Прекрасная пустыня, любимая моя мати! /Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами; /Разгуляюсь я во пустыни во зеленой во дуброве; /Насмотрюсь во пустыни на различные светы; /Со мной будут говорить вси райские птицы; /А стану я носить черную ризу; /А стану я питатися гнилою колодою; /А стану я пити болотную воду... /Тебя, мати пустыня, вси ангели знают; /Тебя, мати пустыня, пророцы прославляют; /Тебя, мати пустыня, ангели хвалят; /Тебя, мати пустыня, преподобные ублажают; /Тебя, мати пустыня, Предотеча воспевает; /В тебе, мати пустыня, господь на престоле /С херувимы и серафимы, с преподобною силою».

Стихотворений, подобных приведенному выше, ходит множество в народе. В недавно открытом древнем русском стихотворении «Повесть о Горе-Злосчастьи» герой ее после многих тревог и волнений приходит к тому же «спасенному пути», на который указывает «Стих Асафа-царевича». Содержание всех этих «стихов» исключительно аскетическое. Явно, что в представлении народном пустыня получала совершенно особый смысл, что в ней русский человек находил удовлетворение всем своим грубо-мистическим стремлениям. Действительно, раздолье и беспредельность пустыни, тишина, царствующая окрест,— все это как-то особенным образом настроивает все душевные силы человека, отрешает их от всего временного и ограниченного и устремляет исключительно к вечному и беспредельному. Отсюда то великое множество аскетических стихотворений, которые и доселе ходят по рукам в простом народе; в стихотворениях этих преимущественно восхваляется

житие в пустыне и противопоставляется ему растление, царствующее в мире; напоминается человеку об ожидающей его смерти: *взирай с прилежанием, тленный человече, како век твой проходит, а смерть недалече;* являются сомнения о том, *как на свете жити да не согрешити,* говорится о двух дорогах, по которым *идут люди многи; одни идут в небесное царство, в превечную радость, а другие идут в превечную муку, в бесконечную пропасть.* К этому же разряду народных воззрений на жизнь будущую и путь спасенный относятся многочисленные сказания об антихристовом пришествии. По смыслу этих сказаний спастись в то время может только тот, кто скрывается в вертепах, расселинах земных и проводит жизнь «в плачех бесчисленных». Сюда же можно отнести и народные представления о женщине, которая вообще изображается как начало злое, скверное и *язычное.* Конечно, в народных сказаниях об этом предмете встречается и понятие о жене *доброй,* которая представляется как муравей в доме, и о *доброй* дочери, но памятники древней русской письменности слишком умеренны на этот счет; им привольнее говорить о жене *злой,* которая «всякого зла злее», которую нельзя ни с чем иным сравнить, как с «козою неистовой, сатаниным праздником и жидовскою гостиницей». Самая *добрая* жена в представлении народном есть не что иное, как работница, «муравей в дому», и если она не удовлетворяла этому представлению (и не удовлетворить ему весьма легко), то делалась немедленно *злою.* Иногда даже вообще говорится о женщине как о пагубе для души, как, напр., «некто плакал по жене, приговаривая: не об этой плачу, а о том, если будет и другая!»

Такие частью аскетические, частью мистические воззрения, не будучи умерены светом истинной веры и понятием о долге гражданском и человеческом достоинстве, могут, в крайних своих выражениях, переходить в самое зверское безобразие. Таковы, например, понятия раскольнической секты, известной под именем филипанов, о самосожигании и вообще самоубийстве, понятия, возведенные на степень догматов. Мы остановимся на этом предмете несколько более, потому что он заслуживает глубокого внимания со стороны всякого мыслящего человека. Послушаем рассказ протоиерея Андрея Иоаннова о филипанах, помещенный в сочинении его «Полное известие о древних стригольниках и новых раскольниках». «К самоубийству (филипане) столько склонны, что всегда наведываются, где, когда и сколько сожглось или запостилось самовольно. Старики и старухи, увидя какой-нибудь дом или покой, на их вкус устроенный, со слезами взывают: «О, если бы в таком бог привел сгореть!» Они всякого новоприходящего уговаривают

запоститься, чтоб получить венец мученический. Ежели кто согласится на то, таковым заповедуют четыредесятодневный пост. А как знают они, что человеческие силы без пищи сорока дней не вынесут и что человек жив быть не может, то, исповедав по потребнику сих постников, постригают их в монашество и, посхимив, сажают в пустую избу, а чтоб *прежде времени* не умертвили себя, снимают с них всю одежду и пояс и крест, и приставляют нарочно к тому определенных, чтобы напоминали им обещание, ими принятое, сообразно Христу. Постники дотоле молчат, доколе силы их сносят, а как начнут ослабевать, то вообразить не можно того мучения, которое терпеть принуждены бывают; они, бедные, тоскуют, тысящекратно раскаиваются, проклинают день рождения своего и прельстивших их, сами себя кусают и терзают. Желают скорой смерти, но не обретают, ибо все способы отняты. Молят о свободе, но не получают. Просят жаждущей гортани каплю воды, но в ответ от приставов слышат: не дастся вам, не дастся, да не лишитеся венцов мученических... Напоследок, истерзавши сами себя, в неописанном безобразии и отчаяньи испускают бедную душу свою».

«В 1781 году, продолжает тот же автор, на светлой неделе пасхи, Киевской губернии, в слободе Злынке, один из филипан перекрестил жену свою беременную и троих детей, которых всех в ту же ночь сонных убил, для того, чтобы новокрещенных мучеников удобнее отправить в рай. Поутру же сам пришел в тамошнее правление и, дерзновенно объявляя о себе, говорил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в царстве небесном мученики».

Еще более поучителен переданный в этом же сочинении рассказ о морельщиках некоего Ксенофонта, впоследствии обратившегося из раскола в недра православной церкви. Речь идет о некоем Ионе, который запер двадцать человек в ригу, «и как стало им тошно, то они, взявши камни из каменницы, били в дверь и выбили доску и поползли вон, а мы (то есть ученики Ионы) *каменьями в головы их били, и тако двоих убили,* и, заградивши дверь, донесли о том Ионе, что с ними велит делать! И приказал соломой ригу окласть и сожещи; что мы тогда ж и исполнили». Замечательнее всего, что за эту послугу Иона своим помощникам «дал по двадцати рублей».

Что эти рассказы не вымышлены, доказательством тому могут служить известия о самосжигателях, сохраненные официальными документами и другими историческими памятниками. Таким образом, в грамоте 24 августа 1685 года царей Иоанна и Петра Алексеевичей на имя Новгородского митро-

полита Корнилия (Акты историч., т. V, № 127) говорится, что в деревне Острове, вотчине монастыря Хутыня, собралось в овине и сгорело тридцать человек. В 1687 году сожглись добровольно раскольники, запершиеся в Полюстровском монастыре (Акты историч., т. V, № 157). В 1693 году произошел случай такого же самосожжения в Пудожском погосте, в деревне Строкиной (Акты историч., т. V, № 223). Более же всего страдала от фанатизма раскольников страна Сибирская, где случаи самосжигательства повторялись часто и иногда в огромных размерах. Так, напр., в 1679 году, вверх р. Тобола, на речке Березовке, сгорело разом 2700 душ, прельщенных учением бывшего попа, тюменца Дементьяна.

Замечательно еще, что основание учения филипан взято из Священного писания, и именно они приводят в оправдание своего фанатизма слова св. Евангелия: «Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю» (Марк. <8>, зач. 35).

Но увы! И не здесь еще крайний предел аскетических воззрений на жизнь и подвиг ее. Так называемые скопцы превзошли морельщиков в фанатическом безобразии. К сожалению, мы имеем очень мало свидетельств об этой секте, замечательной как высочайшее уклонение человеческого разума. Впрочем, почтенный о. Парфений дает нам некоторое понятие о скопцах в своем «Сказании». Послушаем его:

«Когда мы приехали в Яссы,— говорит он,— то ясские скопцы, узнавши, что мы оставляем раскол и хотим ехать в Россию, захотели покуситься прельстить нас в свою погибель и желали иметь с нами разговор. Хотя я не соглашался входить с ними в разговор, потому что мне уже наскучили и свои толки и раздоры, и думал, что не успели мы еще из одной ямы вылезти, а уже другую бездну нам готовят; однако мой друг Иоанн согласился с ними войти в собеседование. Выбравши место, все сели; и я с ними. Отец Иоанн спросил: «Что хощете у нас спросить или что хощете сказать нам?» Они отвечали: «Мы наслышаны, что вы оставляете свой раскол и хощете ехать в Россию; мы бы советовали вам лучше остаться здесь и присоединиться к нам». Иоанн: «На чем же вы утверждаетесь в своей вере и какое имеете свидетельство от Священного писания?» Скопцы: «Мы идем по Евангелию; ибо там сказано: *суть бо скопцы, иже из чрева матерня родишася тако; и суть скопцы, иже скопишася от человек; и суть скопцы, иже исказиша сами себе, царствия ради небесного* (Матф. 19, 12). Вот на чем мы утверждаемся».

Опровергнув, устами друга своего Иоанна, нелепое учение скопцов, автор рассказывает кратко историю утверждения этой ереси в Молдавии. Скопцы переселились в Молдавию из Рос-

сии в царствование императора Александра I-го, но никто не принимал их там под свое покровительство. Напоследок, по усиленным их мольбам, принял их молдавский митрополит Вениамин, под условием, чтобы приходили в митрополитскую церковь, прислуживали как митрополитские слуги, причащались ежегодно св. таин по трижды и отнюдь никого не скопили. Но вскоре благодушие митрополита было самым печальным образом обмануто. Думая искусить их, он сделал для них обед, изготовив всю пищу мясную. Скопцы взбунтовались и едва не убили своего благодетеля. Митрополит отрекся от них и передал гражданскому начальству, а молдавский сенат приговорил: «Как людей непотребных и царству бесполезных, выгнать скопцов всех в поле и побить из пушек». Только заступничество русского консула, рассказывает о. Парфений, могло спасти их от исполнения этого решения. И с тех пор они живут в Яссах спокойно, обязавшись только подпискою никого впредь не скопить.

Между этими грубыми и уродливыми порождениями фанатизма и суровыми, но в высшей степени человеческими образами, вызываемыми почтенным автором «Сказания», целая бездна. По-видимому, нельзя и подумать, что в основании тех и других положено, однако ж, одно и то же начало, а за всем тем, однако ж, тожденность этого основания не подлежит сомнению. И в том и в другом случае внутреннее содержание жизненного подвига дается страстным желанием спасти душу среди соблазнов многоволнистого житейского моря, послужить кресту и обрести вечный покой и светлую радость в будущем, но в первом случае страстное движение души, не умеряемое ни светом истинной веры, ни ясным представлением обязанностей человека и гражданина, носит на себе все признаки грубой страсти, возводится на степень фанатической ненависти ко всему, что ставит преграду этой противуобщественной страсти, и в самом себе доходит до исступления, во втором, при более благоприятном настроении духовных сил, воззрение на жизнь делается мягким и снисходительным и самый предпринятый подвиг жизни становится не подвигом озлобления и ненависти, а подвигом светлым и в высшей степени симпатическим, при всей своей исключительности.

Следуя за отцом Парфением и вступая с ним в тот мир, которого двери он нам отворяет, нельзя без особенного и очень сильного чувства умиления читать рассказы его об этих суровых, но вместе с тем беззлобивых и кротких подвижниках, которые отложили помыслы о всем земном и всецело посвятили себя богу. Мы сознаем, что жизнь эта как будто не по нас, что все коренные понятия наши о жизни и ее требованиях сложи-

лись совершенно иным образом, что мы не в состоянии были бы понести и тысячную долю тех нужд и лишений, которые добровольно приняли на себя эти странники моря житейского; мы сознаем еще — что всего важнее,— что через эту неспособность к высоким подвигам отшельнической жизни мы не делаемся ни преступниками, ни недостойными членами христианского общества, что, оставаясь в мире среди его соблазнов и искушений, мы совершенно удобно можем исполнить все обязанности, налагаемые на нас христианским учением; мы сознаем все это, и между тем не только понимаем, но и всем сердцем сочувствуем этим людям, которые, по-видимому, умертвили в себе все страсти человеческие, отреклись от всего, чтобы проникнуться одною идеею сурового долга, одним желанием послушания. В конце четвертой части «Сказания» рассказаны жития знаменитейших подвижников св. Афонской горы. Пространнее прочих передана жизнь русского иеросхимонаха Арсения, который был духовником автора и, следовательно, ближе к нему, нежели прочие старцы афонские.

Родился он в г. Балахне, Нижегородской губ., от мещан, но на двадцатом уже году оставил родительский дом и пошел странствовать. Посетивши множество святых мест русских и нашедши себе спутника Никиту, уроженца Тульской губернии, пришли оба в Молдавию, и там пострижены в монашество. Но не здесь суждено было совершиться подвижнической жизни обоих друзей; внутреннее чувство призывало их на Афонскую гору, в те прекрасные и безмолвные пустыни, о которых с юных лет тосковало их сердце. И вот, преодолев все трудности, без денежных средств, питаясь мирским подаянием, они достигают-таки своей цели и, пришедши в Афон, в то время совершенно разоренный турками, постриглись там в великую схиму. Дальнейшая их жизнь в уединенной келии, в непроходимой почти пустыне протекла в служении богу и скромных подвигах добра. «Достигли они, говорит автор, в тихое пристанище душевного спокойствия и безмолвия, сиречь соединения ума с богом. Отцу Авелю (Арсению) дал господь дар рассуждения, вкупе и прозорливства; отцу же Никандру (Никите) — дар слезный: ибо плакал день и нощь до самой смерти. Этот «дар слезный» принимает иногда под симпатическим пером автора размеры глубоко потрясающие. Таков, например, рассказ о служении литургии. «Многажды мне случалось, говорит автор, взойти в притвор и слушать их громогласную литургию и музыкальное их пение, слезами растворенное. Вижду двух старцев, постом удрученных и иссушенных: один в алтаре, пред престолом господним стоит и плачет и от слез не может возгласов произносить, только едиными сердечными воздыха-

ниями тихо произносит; а другой стоит на клиросе и рыдает, и от плача и рыдания, еще же и от немощи телесной, мало что можно слышать». Смеем думать, что ирония самая беспощадная смолкнет перед этим поразительным проявлением «слезного дара».

Начало жизни своей они проходили по пустынному уставу, не занимаясь никаким житейским попечением, ни садом, ни огородом, ели единожды в день, а в среду и пяток оставались без трапезы. Пищу их составляли: сухари, моченные в воде, и черные баклажаны квашеные, посыпанные красным перцем. Ночь всю препровождали в молитве, и если сон превозмогал, то «сидя давали место сну, не более часу во всю ночь, и притом *неприметным образом»,* разговоров между собой отнюдь не имели, а пребывали в молчании и беспрестанной умной молитве. «Сии два старца, прибавляет автор, толико возлюбили господа своего, что ни на одну минуту не хотели с ним разлучиться, но всегда с ним беседою соуслаждались, умом и сердцем и устнами».

В высшей степени замечательно также описание смерти другого подвижника Афонской горы, схимонаха Макария, родом грека. Причастившись св. таин, он пришел к игумену и сказал: «прости меня, отче святый, и благослови: я хочу умереть». Вышедши от игумена, пошел в больницу и просил койку, и на вопрос больничаря: «на что тебе, отец Макарий, койку?» — отвечал: «умирать хочу». Потом со всеми простился, возлег на постель и скончался.

Таковы афонские отцы, по рассказам почтенного автора, но кроме их есть много и таких отшельников и пустынножителей, живущих кругом самого Афона, которых и в монастырях никто не знает. Живут они в пещерах, одежда на них обветшала, ходят полунагие или покрытые власами, питаются «саморастущими травами», а от людей укрываются. Заставши однажды одного такого пустынника, монахи узнали от него, что он уже сорок лет живет в пустыне, с небольшим числом пустынников, не видя никого, кроме своей братии. На вопрос «как проживали они в течение шести лет, когда Афонская гора была разорена и всюду ходили турки», он отвечал: «ничего мы не видали и не слышали».

Понятно, что при таком исключительном, особенном образе жизни, и ум и чувство человека приобретают своеобразный склад, совершенно отличный от понятий и чувств общепринятых. Здесь является особенный дар прозорливства, дар обонять то «благоухание», о котором так часто говорит о. Парфений, особенное пристрастие везде находить чудесное и всякое явление в природе объяснять вмешательством какой-то выс-

шей, самостоятельно действующей силы. Так, например, старцы афонские почти все заранее предугадывают время смерти своей, и при жизни еще делаются как бы причастными откровению, которое раздирает для их глаз завесу будущего. С этим особенным направлением всех чувств и помышлений нас в совершенстве знакомит о. Парфений, передавая в книге своей как собственные впечатления, так и рассказы посторонних лиц о разных явлениях природы. Чтобы ознакомить читателя с этим взглядом, не излишним считаем сделать выписку из заключительных параграфов 4-й части «Сказания».

«От Афонской горы три дня ходу есть полуостров Кассандра. Там наш русский монастырь имеет водяную мельницу. Вода на мельнице удивительная: когда она сбегает с колеса, то претворяется в камень и замерзает сосульками, как лед чистый; но это не лед, а камень; такожде обмерзает и колесо, и часто его обрубают и очищают. Таковая же вода есть и в Афоне, в монастыре Хилендаре».

«Болгары сказывают вещь неудобь вероятную,— что в Македонии, в двух местах, одно близ города *Неврокопа,* а другое от Солуни день ходу, стоят по целому обозу, один за другим, окаменелые люди, верховые и пешие, мужчины и женщины. А предание о них имеется такое: якобы в древние времена, когда еще были там идолопоклонники, ехали беззаконные свадебные поезды и окаменели. Мне самому видеть сего не случилось, а пусть рассуждает кто как знает».

«Еще скажу следующее: шли мы из Иерусалима и стояли в карантине двенадцать дней, на острове Самосе, внутри гавани, подле монастырька; там, близу нас, из-под камня протекал большой источник воды холодной и сладкой, которою пользовались мы три дня и благодарили бога, что привел стоять в карантине, подле такой воды благодатной. В тех странах ничто так не нужно, как добрая вода. Но в четвертый день утром, когда мы пришли взять воды, ни одной капли не нашли, и источник весь высох; видевши сие, мы весьма ужаснулись и много тому удивлялись, куда девался толь великий источник воды; плакали и говорили, что, видно, за великие наши грехи взял от нас господь эту благодать. Потом пришел игумен и сказал нам, что сия вода раза три и четыре в год престает течь, а после паки начинает течь. И мы три дня великую имели нужду в воде, а после паки она потекла по-прежнему: и мы много тому удивлялись. А отчего это происходит, никто сего не знает. А источник столь велик, что может быть пригоден для мельницы».

К этому же разряду воззрений относится рассказ о матери какого-то султана, которая, по чувству любопытства, зашла в

христианскую церковь, съела там антидору и внезапно почувствовала «некое благоухание». Эта султанская мать не только сама обратилась в христианство, но и склонила к тому своего сына, который по этому случаю принял мученическую смерть.

Но в то самое время, когда на юге, среди чуждой народности, совершаются указанные выше подвиги самоотвержения, тот же самый склад мысли, та же струя чувства и с тою же силою отзывается на отдаленном севере. Здесь выразителем их служит ссыльнокаторжный богомольского винокуренного завода (Томской губ.), Даниил Корнильев Дема. В этом заводе он находился несколько лет под ведением первого пристава, Егора Петрова Афанасьева, от которого претерпел много гонения. «Сей называл его святошею, говорит о. Парфений, и употреблял его в самые тяжкие работы. Но он все работы, возлагаемые на него, исправлял без опущения и по вся ночи стоял на молитве; пищи вкушал очень мало, и то только хлеб и воду. Среди дня, когда прочие отдыхали, он удалялся на молитву в уединенное место, где бы его не видно было. От того наипаче начальник Афанасьев на него сердился и насмехался, говоря ему: «Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!» Однажды, в зимнее время, обнаженного его посадил на крышу дома своего, велел из машин поливать его водою и с насмешкой кричал ему: «Спасайся, Данил! ты святой!» Он ему ничего не отвечал, а молился только о нем же богу, чтобы не поставил сего ему в грех»...

Этот рассказ, заимствованный из достоверных источников, приводит нам на память другой подобный, переданный тем же Ксенофонтом, на свидетельство которого мы уже ссылались.

«1783 года. Познавши тоя волости (Вологодской губ. Устюжского уезда) священник, что много отверглось от сообщения святыя церкве детей духовных, и наведавшись про нас, где живем и куда приходим, донес в духовную консисторию, а сия просила светское правление поступить с нами по законам. Вследствие чего, из губернии отправлен был капитан-исправник, который, приехавши к нам с командою нощным временем, и *вначале взявши детей наших,* допрашивал о нас с жестоким истязанием. Я в то время с дядею отлучился в жило для нужной потребы, а показанный Тимофей (живший вместе с рассказчиком) за несколько перед тем вышел к соседу. Дети при допросе показали, что нас дома нет, что мы отлучились в жило; а как капитан спрашивал и о Тимофее, то они показали, что и он с нами был. Когда же, по приходе нашем, увидел он, что с нами Тимофея нет, то начал допрашивать меня, где Тимофей, и как я его не показал и грубыми речьми *нарочно капитана раздражал, чтоб он меня начал бить и убил до смерти,*

то он так жестоко бил меня плетью и так пробил тело на хребте моем, что оно висело лоскутами, а после, сгнивши, опало; от чего так тяжко было мне, что я не помышлял себе живому быть. Болезнь от побоев продолжалась более полугода, через все же это время был я под стражею, и потому ниже лекарства принять было можно. А какие претерпел изнурения, будучи при допросах и скован по рукам и по ногам, то в своем Красноборске, то в Устюге и в Вологде, хотя бы все сие пострадал я, но не по разуму, поелику все то противно было богу и церкви, яко же и апостол пишет: «аще и постраждет кто незаконно, не венчается». Бог един ведает, что не было в моем разуме желать и искать суетной и тщетной славы человеческой или скорогибнущего и суетного богатства, и потому вся сии мои страдания и внутренние и внешние ни во что полагал, понеже нельзя человеку, спасающемуся без сих великих искушений, в познание себя прийти, и аз многогрешный зело о сем радуюся, что через вся сия великая искушения познал себя и матерь свою святую соборную и апостольскую церковь, которая меня издетска породила и воспитала, якоже матерь питает сосцами любимое свое чадо; и хотя супостат и наветник душ человеческих, восхитив овцу от Христова стада, загнал в горы, во тьму заблуждения прелести своей; но создатель мой господь, видя скитающуюся по дебрям заблудшую овцу, сыскал ее и, возложив на рамена своя, привел в ограду словесных овец» (Полн. истор. изв. о стригольниках и пр. протоиерея Андрея Иоаннова, изд. 5, ч. IV, стр. 115 и 116).

Хотя в последнем рассказе истязуемым субъектом является раскольник, тем не менее значение обоих фактов совершенно одинаково. С одной стороны, являются пристав Афанасьев и капитан-исправник, явления равно безобразные, равно убежденные в законности торжества материяльной силы над силою нравственною, и во имя первой совершающие самые вопиющие бесчинства; с другой стороны, встречаем мы Даниила и Ксенофонта, которые, несмотря на всё различие положений и убеждений, становятся в наших глазах представителями той великой нравственной силы, которая до того живуча, что, несмотря ни на какие препятствия, ни на какие утеснения, постоянно всплывает наверх. Здесь не может быть речи о том, находится ли заподозренный субъект в обладании истины или нет; здесь весь вопрос заключается в том, что субъект этот есть представитель известного убеждения, которое образовалось в нем не случайно, а вследствие продолжительной и трудной работы мысли, и что по этому самому обладатель такого убеждения не заслуживает того высокомерного презрения, с которым относятся к нему люди, убежденные в своем праве потому только,

что обладают матерьяльными средствами, чтоб поддержать это право. Вообще вопрос о том, какого рода должны быть отношения к такого рода явлениям мира нравственного, есть предмет, заслуживающий самого серьезного изучения, и мы намерены ниже коснуться его несколько подробнее. Здесь же можем только сослаться на обоих уважаемых нами авторов. Оба самым убедительным и, так сказать, наглядным образом объясняют нам не только явную бесполезность, но и совершенный вред насильственных мер в этом отношении. Убеждение, воспитанное работою целой жизни, до такой степени всасывается во все существо человека, сливается с ним, что даже в то время, когда уже начинает сознавать свою собственную ложность, оно не может вдруг отказаться от самого себя, потому что это значило бы отказаться от труда целой жизни, а такого рода подвиги совершаются нелегко. За первыми возникшими сомнениями следует тяжелая и болезненная борьба, и благо тому, который найдет в себе достаточно силы, чтобы выйти из этой борьбы, сохранив в себе прежнюю свежесть и ясность души. В этой борьбе всякое возникающее сомнение вызывает за собою целый ряд новых сомнений, из которых каждое взвешивается не только с крайнею осторожностью, но даже с придирчивостью самою мелочною. Долгое время сердце остается на стороне старых обветшавших убеждений, с которыми давно свыклось, и до тех пор длится это межумочное состояние, доколе разум, уже подкопавшийся под все основания старого здания, не нанесет ему решительного удара, от которого оно обратится в безобразные и не имеющие живого смысла развалины. Послушаем, например, что говорит о. Парфений о своем обращении в недра православной церкви:

«Получивши паспорт, мы отправились в путь через австрийское владение в Россию, с намерением ехать в единоверческий Высоковский монастырь, что в Костромской епархии. *Вот сколько в человеке укореняется раскол* (и не один раскол, прибавим мы от себя, а всякое убеждение, которого корни лежат в сфере нравственной) *и как бы совершенно обращается в природу! Хотя мы непринужденно и по искреннему своему расположению,* истинно и добровольно обращались ко св. восточной греко-российской Христовой церкви и во всем ее признали справедливою, но в православные монастыри еще прямо поступить не пожелали, а только захотели присоединиться к единоверию. *Что же сказать о тех, которые из раскольников присоединяются к св. церкви по принуждению или по какому-либо нечистому побуждению? Не только церковь иметь не будет от них какую-нибудь пользу, но они еще горшее сотворят. Я много таких знал».* Слова эти в полной мере подтвержда-

ются и тем рассказом инока Ксенофонта, на который мы уже столько раз ссылались. Что должен был чувствовать этот Ксенофонт в то время, когда слишком усердный капитан-исправник, по энергическому выражению инока, «превратил в лоскутья тело у него на хребте»? Очевидно, что в уме его не могло крыться иной мысли, кроме той, что будь этот капитан-исправник, безобразный и пропитанный сивухой, в эту минуту в его руках, то, конечно, матерьялом для лоскутьев послужила бы иная спина, иное тело! И действительно, только разумное слово, только благость и милосердие растворили сердце бедного, отуманенного лжеучением раскольника, только кротость и тихие ласковые слова преосвященного митрополита Гавриила нашли доступ к этому ожесточенному сердцу, а терпение довершило остальное. Великие и милосердые святители православной церкви всегда понимали, что человек, как бы ни была извращена его природа, все-таки носит на себе образ божий, и по этому одному уже заслуживает, чтобы к нему относились, по крайней мере, с терпением. Таким же образом действовали и благодушные монархи наши, как это будет показано ниже. Одни только капитаны-исправники XVIII столетия не умели отличить в человеке его человеческого образа.

Но да не заподозрит нас читатель в некотором пристрастии к безобразным проявлениям фанатизма, которые, к сожалению, встречаются в нашем отечестве весьма нередко. Пишущий эти строки имел случай сталкиваться с весьма многими оттенками глаголемого старообрядства, и никто более его не сознает всей уродливости и праздности этих суесловий и препираний о мертвой букве, которые составляют всю сущность раскольнических убеждений, но он практически убедился, что за этим безобразием скрываются нередко побуждения, заслуживающие внимания уже по одной своей искренности, что эти побуждения следует, и *непременно* следует, отличать от самых проявлений их и что, наконец, кроткое и терпеливое убеждение и ласковость обращения во всяком случае гораздо более могут принести делу пользы, нежели все возможные плети капитана-исправника, которого плотская мысль не в состоянии понять иных побуждений, кроме побуждений желудка и половых органов.

Позволяем себе сделать здесь ссылку на статью «Старец», помещенную в 22 № «Р. вестника» за прошлый год, которая может дать читателю возможность яснее уразуметь смысл наших настоящих слов. Автор заставляет говорить здесь одного из коноводов раскола:

«А все, сударь, благость! Она, одна она, совлекла с меня ветхого человека! Не просвети нас великий монарх своим ми-

лосердием, остался бы я, кажется, о сю пору непреклонен, и все бы враждовал и как зверь подземный копал во тьме яму своему ближнему по крови. По той причине, что будь для нас время тесное, нет нам резону от своего отставать; всяк назовет тебя прелестником, всяк пальцем на тебя укажет... ну, а мы хоть и мужики, а свою совесть тоже имеем. Теперь другая статья; теперь для нас *любви действо* видимо, если, по выражению Святого писания, *ныне наста время всех освящающее*... Ну, и идем мы с упованием, потому что слышим глас любви, призывающий нас: *вси приидите, вси напитайтеся*».

И действительно, кто знает, что, быть может, в этом заблудшемся стаде есть множество кающихся и недоумевающих, которые потому только не совлекают с себя *ветхого человека*, что совесть их еще робка и что необходимо внешнее, но очень осторожное и мягкое усилие, чтобы осветить эту робкую совесть светом истины? И потому нельзя не отозваться с полным сочувствием благородным и горячим словам почтенного автора «Сказания», выписанным нами выше.

Но обратимся к прерванному нами рассказу о жизни старца Даниила, извиняясь перед читателем в слишком пространном уклонении от этого рассказа. Отпущенный, за неспособностью к работе, на волю (на пропитание), он ни о чем уже не думал, кроме спасения души своей. Поселился он близ города Ачинска в деревне Зерцалах. Там была и келия его, «подобно гробу, выкопанному в земле, ширины — вершков двенадцать, вышины и длины — в его рост, а окошечко на восток самое маленькое». Пища его была хлеб, и то больше гнилой, да еще иногда картофель; одежда, по рассказам очевидцев, такая, что «если б бросить на улице, то никто бы не поднял». Молитва его была беспрестанная и духовная; он весьма любил молчание и даже нужное говорил кратко и мало и более притчами, «а разговоров мирских, политических и исторических даже отнюдь не терпел». Чтобы дать понятие о его подвижнической жизни, достаточно сказать, что пред вкушением пищи он под пояс себе забивал деревянный клин, чтобы менее съесть. Незадолго перед смертью он снял с себя вериги, и на вопрос, почему он это сделал, отвечал, что они не стали уже ему приносить пользы, потому что тело его так привыкло к ним, что не чувствует ни тяжести, ни боли. Замечательно высказанное при этом следующее воззрение на подвижническую жизнь: «тогда только полезна вещь, или подвиг, или добродетель для души, когда они наносят скорбь или обуздание телу... Пусть лучше говорят, что Даниил ныне уже разленился и вериги с себя скинул: это будет для меня полезнее...» Нестяжание его было совершенное; милостыни не подавал и не при-

нимал, работал безмездно, к бедным ходил жать и косить, но преимущественно в ночное время, чтобы никто не мог его видеть. От постоянного молитвенного стояния на коленах его наросли струпы бугром, и под ними завелись черви.

Подобных явлений, свидетельствующих о несомненной энергии духа, найдется чрезвычайно много в рассматриваемом сочинении. Судя по этим образцам, нельзя не думать, что эта энергия, эта неподкупность воли глубоко гнездится в самых недрах народного духа и обещает в будущем великие и бесчисленные последствия. И в самом деле, не один о. Парфений свидетельствует об этих подвигах, совершенных во имя долга, по крайнему разумению понятого, но и прочие духовные писатели наши нередко упоминают об них. Нет сомнения, что понятие о подвиге жизни подвержено многим видоизменениям, что оно может приобрести характер более или менее истинный и более или менее ложный, смотря по степени разумения и нравственного совершенства каждой отдельной личности, тем не менее достоверно, что стремление сделать из жизни нечто равносильное подвигу составляет одну из симпатических черт русского человека. Возьмем эту черту в самом ее преувеличенном, искаженном проявлении — учении раскольнической секты *странников* или *скитальцев* — и тут невольно останавливается внимание на этой бесконечной готовности перенесть все возможные бедствия во имя известного нравственного принципа, в существе своем ложного, но поражающего наблюдателя своею суровостью, не допускающею никаких уступок и соглашений.

«Странники,— говорит преосвященный Макарий, автор «Истории русского раскола» (стр. 280—283),— принимая все начала беспоповщины, смотрят на церковь русскую, как на отступническую, еретическую, и веруют, будто антихрист уже пришел и царствует на земле... Посему — единственным путем ко спасению эти сектанты почитают не только совершенное отчуждение от русской церкви, но вместе совершенное непризнание над собой царской и всякой земной власти и, при невозможности бороться с нею, бегство от антихристова владычества, удаление от семейства, общества, от подчинения каким бы то ни было гражданским законам и *странствование* в лесах и пустынях... Секта странников состоит из двоякого рода членов: из действительных странников и так называемых жиловых христиан или странноприимцев. Действительными странниками признаются те, которые, разорвав все узы семейные и общественные, бродят из места в место, проживают в лесах, пустынях, а часто в городах или селениях, только скрытно, и считают такое странничество единственным усло-

вием для спасения в настоящее злополучное время антихристова владычества. От желающего поступить в согласие странников требуется: а) прежде всего, чтобы он бежал из того общества, к которому принадлежит; б) чтобы истребил пашпорт или документ о звании, который считается выдумкою антихриста; и в) наконец, чтобы принял новое крещение. Сан свой странники считают иноческим... Брак совершенно отвергают и признают бо̀льшим грехом, чем блуд, говоря, что общения с законною женой не осудят, потому с нею легче и грешить, а блуд осуждают, и тем отчасти искупляется грех... Эти сектаторы, постоянно скрываясь, даже при простой встрече с кем-либо не объявляют своего звания, следуя правилу: «аще кто вопросит: откуда — ответствуй: граду не имею, но грядущего взыскую»... Жиловыми христианами называются те, которые, еще не вступив в странничество, только приготовляются к нему, живут в мире и принимают у себя странников, разделяя их верования. Как находящиеся еще во власти антихристовой, странноприимцы могут записываться притворно в ревизских книгах или раскольниками разных сект или даже православными... Под конец жизни странноприимцы и сами уходят в странство; в случае же тяжкой болезни их выносят из дому куда-нибудь в лес или пустыню для того только, чтобы зачислить их состоящими в бегстве и дать им возможность умереть в звании странников, хотя бы они скончались «в самом близком расстоянии от собственного дома» [1].

Как ни уродливыми, как ни бессмысленными кажутся нам такие противообщественные стремления, тем не менее мы должны сознаться, с одной стороны, что в основании их все-таки

---

[1] Хотя многоуважаемый автор «Истории русского раскола» и признает самостоятельность секты странников, но мы, с своей стороны, из его собственного изложения учения этой секты, не видим никаких таких характеристических черт, которые бы оправдывали мнение о таковой самостоятельности. Имев случай практически изучать раскол в многоразличии его проявлений, мы убедились, что догмат «странничества» есть принадлежность и логическое следствие всякого раскольнического учения, или, лучше сказать, крайнее выражение их, и что, следовательно, всякий отдельный раскольнический толк имеет своих странников и пустынножителей. Указываемый почтенным автором догмат неповиновения властям гражданским, общий частью всем раскольническим сектам, весьма определенно выражается в учении сект: *федосеевской* и *филипповской,* а потому невольно западает в голову мысль: не есть ли рассматриваемая секта *сопелковцев* (по селу Сопелкам Ярославской губернии и уезда) лишь крайнее и фанатическое выражение одной из поименованных выше беспоповщинских сект. На это же сомнение наводит и общее всем раскольникам учение о числе 666, которое заставляет предполагать, что не одни сопелковцы, а все вообще раскольники разумеют царство антихристово уже наступившим. Впрочем, это не более как догадка, которую мы отнюдь не думаем выставлять как факт несомненный. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

положено убеждение, выходящее из ряду обыденных, узких убеждений, и это убеждение, несмотря на свою крайнюю односторонность, носит в себе такие несомненные зачатки энергии, что даже та бесплодная сфера, в которой вращается эта мощная сила, не может окончательно притупить ее, а с другой стороны, что принцип сам по себе весьма почтенный, не будучи сдержан и смягчен цивилизацией, неминуемо влечет, в крайнем своем выражении, к проявлениям безобразным и противоестественным.

Где же причина, породившая это суровое воззрение на жизнь, это одностороннее убеждение, которое заставляет смотреть на земное существование, как на временное странствование, почти как на невольное преступление, искупляемое только целым рядом подвигов, нередко столь громадных, что невольно удивляешься той свежей девственной мощи, которая одна в состоянии подъять их? Но вместе с тем, где же кроется и та причина, которая всю эту мощь, всю эту силу ставит как бы ни во что, которая заставляет ее растрачиваться в бесплодных стремлениях к чему-то суетному и призрачному?

Мы несколько раз в продолжение настоящей статьи произнесли слово «раскол». Явление это, составляющее неотъемлемую принадлежность русской почвы и принявшее в «Сказании» о. Парфения живой и отчетливый образ, требует более подробного раскрытия, которое, быть может, и даст нам возможность разъяснить те вопросы, которые кажутся нам загадочными.

ИЗВЕСТИЕ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

На днях мы получили из Полтавской губернии известие о скандале, происшедшем между мировым посредником Григорием Павлычем С. и помещиком Александром Павлычем Б. Статья, трактующая об этом деле, подписана псевдонимом «Не тронь менѐ» и напечатана в «Современнике» быть не может, во-первых, потому, что она очень многословна для такого простого дела, во-вторых, потому, что слишком резко идет вразрез требованиям грамматики (вероятно, это последнее происходит от того, что она переписана не совсем грамотным переписчиком), и в-третьих, потому, что г. «Не тронь менѐ», очевидно, искажает факты. Но мы не считаем себя не вправе передать здесь содержание этой статьи, тем более что скандал, о котором здесь идет речь, представляет факт не новый и далеко не уединенный. Впрочем, мы оговариваемся, что передаем только сущность дела, а не подробности его; эти последние слишком важны, чтоб можно было основываться на одних показаниях г. «Не тронь менѐ». Дело в том, что в частный дом помещика З., во время обеда, происходившего по случаю введения в имении З. уставной грамоты, ворвался помещик Б., обругал посредника С. мерзавцем и вором, бросил ему в лицо зажженную сигару и в довершение всего (приводим здесь подлинные слова корреспондента) «схватил посредника Григория Павловича С. одною рукою за волосы, другою колотил по зубам; потом, бросивши его на пол, еще повторил ту же самую зубную операцию. Михаил Иваныч Б. (письмоводитель посредника) и сам хозяин З. бросились оборонять С.; последний из них, то есть З., от испуга упал в обморок, дамы (так тут и нежный пол присутствовал?) подняли крик. Посредник С., лежа в объясненном положении, стремился сделать выстрел

из револьвера, но Степан Б. (брат дантиста Александра Б.) вырвал из рук таковый (истинно братская любовь!), а у него вырвала из рук какая-то дама»...

Таков факт. Мы не будем слишком много распространяться об нем, не будем даже пускаться в подробную характеристику его. Полагаем, что ни с чьей стороны не встретим особенного противоречия, если просто назовем поступок полтавских наездников диким, постыдным и даже не найдем в нем ничего обидного для г. С. Обижаться подобными выходками, по нашему мнению, было бы столь же неосновательно, как и претендовать на какой-нибудь локомотив, который нет-нет да и оторвет кому-нибудь руку или ногу, а быть может, и голову. Что с него возьмешь?

Для нас факт этот важен не столько сам по себе, сколько в связи с другими подобными же фактами, о которых, к сожалению, нередко заявляется в русских газетах. Он важен для нас, сверх того, по предмету, который его возбудил и против которого он направлен. Одним словом, нам хотелось бы уяснить в этой истории некоторые пункты, которые кажутся несколько темными.

Почему мировые посредники возбуждают против себя такое ожесточенное преследование?

Вследствие каких причин сделалось возможным проявление протестов в виде физического насилия и во имя каких принципов допускается подобное проявление?

Какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из этого факта?

Ни для кого не тайна, что та часть русского общества, которая называет себя цивилизованною, находится в настоящее время в некотором волнении чувств. «Звон вечевого колокола раздался — и дрогнули сердца новгородцев!» — сказал некогда Карамзин; то же самое действие произвело на сердца россиян уничтожение крепостного права. Произошел раскол в той самой среде, которая наиболее заинтересована этим вопросом; явились так называемые крепостники и так называемые эмансипаторы, явились ретрограды и либералы; отцы не узнали детей, дети не узнали отцов. Все это сгруппировалось в великом беспорядке около крестьянского вопроса, все это усиливалось вырвать вопрос из рук неприятельской партии и поближе прибрать к себе. Не надо ошибаться: в основании всей этой разладицы лежит крестьянский вопрос, один крестьянский вопрос, и ничего больше; все эти коммунизмы, сепаратизмы, нигилизмы и проч.— все это выдумано впоследствии, все это только затейливые и не совсем невинные упражнения, сквозь которые проходит один мотив: упразднение крепостного права.

Следовательно, причина огорчения понятна; не нужно также много проницательности и для того, чтобы наперед угадать, в каком порядке расположатся враждующие стороны, где станут так называемые крепостники и ретрограды и где — так называемые эмансипаторы и либералы. Первые, как огорченные, будут, натурально, стараться проявить это огорчение на практике; вторые — будут с кротостью переносить таковые проявления, дабы несвоевременною раздражительностью не повредить торжеству самого принципа... Одним словом, выкажут не только похвальное самоотвержение, но и неслыханное гражданское презрение к целости собственных своих боков.

Положения 19 февраля вызвали к деятельности в особенности много молодых людей. Это и естественно. Такая существенная реформа, как отмена крепостного права, тогда только может идти успешно, когда люди, на долю которых выпало практическое ее проведение, суть вместе с тем и люди, искренно ей сочувствующие. Очевидно, что сочувствием такого рода не может обладать тот, кто, так сказать, всласть напитался крепостным правом, кто проникся не только наружными красотами его, но и тем тончайшим эфиром, который присутствует в самых сокровенных его тайниках. Для него реформа представляет совсем иной склад жизни, совсем иной строй понятий; здесь всё для него и враждебно и неприветно, все говорит непонятным для него языком. Совсем не таковы отношения молодого поколения к этому делу. Оно не может иметь естественно-сочувственных отношений к упраздненному праву уже по тому одному, что практически не вкусило от плодов его: не успело. Для него не может даже существовать тех сложных и разнообразных причин любви, какие существуют для «людей старых порядков». Его понятия о сословном гоноре (если и сохраняются еще в нем такие понятия) держатся на иной почве, питаются иными соками; они умереннее уже потому, что не раздражаются всегда присущими воспоминаниями о древнем великолепии. Таким образом, делается ясно, что крепостниками пылкими, ретроградами пламенными могут быть только «люди старых порядков»; ясно также, что все надежды законоположений 19 февраля должны покоиться исключительно на молодом поколении, которое, естественно, ему сочувствует.

Так оно случилось и на практике. «Люди старых порядков» внезапно почувствовали себя отодвинутыми на задний план; «люди новых порядков» внезапно же выдвинулись вперед. Понятно, что если это могло поощрить последних, то отнюдь не могло обрадовать первых. Тут на помощь общему враждебному чувству, зароненному, собственно, упразднением

крепостного права, явилось еще уязвленное самолюбие, явилось сознание о насильственном устранении от жизни в такую пору и в таком деле, в котором жажда жизни дает себя чувствовать с особенною силою...

Тем не менее «люди новых порядков» скоро почувствовали, что энтузиазм, который они выказывали, едва ли не преждевременен, а «люди старых порядков» догадались, что дело их совсем не в таком отчаянном положении, как казалось с первого взгляда.

Для того чтобы объяснить себе причину этой перемены, скажем здесь несколько слов об отношениях молодого поколения к великому делу, которое провело такую резкую черту между нашим прошедшим и нашим настоящим. Положение «детей» очень странное. Ни в какой среде основная мысль положений 19 февраля не встречала такого горячего сочувствия, как в среде «детей», и ни на кого не сыплется со всех сторон (даже и с той стороны, откуда всего менее можно было бы этого ожидать) столько упреков, сколько сыплется их именно на молодое поколение. Нигде не проявлялось такой страстной жажды служить делу именно в духе положений 19 февраля, ниоткуда не пришло столько деятелей для нового дела, сколько пришло их из рядов именно молодого поколения, и ничья жажда не была столь мало удовлетворена, ничьим надеждам не предстояло столь решительного и горького разочарования.

Откуда это, милые молодые люди? или вы не прилежно занимаетесь?

Нет, они прилежны; они до такой степени прилежны, что даже немного идеальничают. Приступая к своему делу, они впадают в тон г. Громеки: чего-то трепещут, перед чем-то проникаются благоговением, закатывают глаза и даже подпевают тем кисленьким тенором, которым имеют обыкновение петь очень влюбленные пономари. Прилежание их примерное, преданность делу бескорыстная и беззаветная, честность самая строгая; стало быть, с этой стороны упрекнуть их нельзя.

Но, может быть, они зарываются? может быть, они завлекаются какими-нибудь тенденциями, идут дальше, нежели идет само положение?

Нет, и этого сказать нельзя. Журналы и газеты, в изобилии передающие публике решения, состоявшиеся в мировых учреждениях по разным делам, и преимущественно по разным жалобам, свидетельствуют положительно, что, за малыми исключениями, не только закон уважается, но не допускается даже самомалейшего отступления от буквы его. Зная враждебность окружающей их среды, молодые мировые посредники действуют с осторожностью и благоразумием весьма похваль-

ными, за исключением разве павлоградского посредника Р., о котором пишет в «Нашем времени» г. Герсеванов, будто бы он, как человек молодой и неопытный, *увлекся* сначала. Однако ж и он впоследствии, убежденный доводами павлоградских дворян, спокаялся, извинился и обещался исправиться [1]. Стало быть (за исключением опять-таки г. Р.), и от закона отступлений нет, по крайней мере таких отступлений, на которые можно было бы с удовольствием сослаться, как на капитальный обвинительный пункт.

А предубеждения против молодых мировых посредников все-таки существуют, и притом не только в тесной сфере так называемых крепостников, но и там, где, по-видимому, не должно бы и быть подобных предубеждений. Газета «Голос», неизвестно кем вдохновленная, уверяет, что это происходит от того, что посредники мало проникаются мнением благоразумного большинства («Голос», 1863 г., № 3). Но «Голос», очевидно, забывает, что большинства, и в особенности благоразумного, еще у нас и не отыскано и что то, что он называет большинством, в сущности, совсем не большинство, а уединенная корпорация, в последнее время сошедшая на степень секты.

Нам кажется, что причина разлада заключается вовсе не в недеятельности или недобросовестности молодых мировых посредников и даже не в том, что они не проникаются мнением какого-то благоразумного большинства, а в том просто, что всякое истинное жизненное явление имеет свою неумолимую и неотразимую логику. Есть факты, про которые можно сказать: не человек обладает фактом, а факт человеком; есть факты, которые стирают жизнь целых поколений и выдвигают вперед совершенно новые, доселе прятавшиеся по закоулкам и захолустьям основы жизни. Они, в самом существе своем, уже заключают зерно бесконечного и безостановочного развития; этого развития нельзя остановить, как нельзя остановить логического развития мысли: если не допустишь другого досказать эту мысль, сам невольно ее доскажешь, или выищутся другие «другие», которые ее доскажут.

Вот эта-то неотразимость последующего развития, собственно, и внушает опасения, хотя мы и сами не всегда сознаем ясно, что именно нас тревожит. Нам хотелось бы, чтоб явление остановилось в одном положении, а оно развивается, оно хочет исчерпать все последствия, которые естественным образом из него вытекают.

Нам хотелось бы, подобно Иисусу Навину, сказать: стой, солнце, не движься! а солнце все-таки движется, то есть не

---

[1] «Наше время», № 3 за 1863 год. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

солнце, а земля (эту оговорку мы делаем, собственно, для «Русского вестника», чтоб он не обвинил нас в невежестве).

И вот мы сердимся и, не будучи в силах совладать с самым явлением, не имея возможности остановить его развития, сваливаем всю вину на лица, которые к нему случайным образом прикосновенны. Ясно, что мы ошибаемся, ясно, что обвиняемые не только не управляют явлением, но, скорее всего, сами идут за ним, но потребность придираться, потребность обвинить и заподозрить кого бы то ни было так велика, что мы уж не рассуждаем и даже боимся рассуждать.

Во всяком случае, антагонизм существует, а недоверие к действиям мировых посредников (преимущественно молодых) выражается и часто, и ярко. Мы уже не говорим о формальных жалобах: жаловаться, конечно, всякий имеет право, хотя бы и без разумного основания, но не можем пройти молчанием протестов, которые для выражения своего нашли удобным избрать форму положительного насилия.

В последнее время примеров такого насилия рассказано в наших журналах три, один за другим.

Первый пример передан нами выше.

Второй пример рассказан в 3 № «Голоса» за сей год. Дело заключается в том, что дворяне Сердобского уезда в особенности недовольны действиями мировых посредников Оз — на и Кр — ского. Г-н Оз — н жалуется, что в зале сердобского городского клуба к нему подходили некоторые помещики и, громогласно выражая свое неудовольствие на его бездействие и нерадение к своим обязанностям, просили его выйти в отставку. Г-н Кр — ский жалуется, что его не только просили выйти в отставку, но один помещик, «из отставных военных», вызвал его на дуэль. «Сердобский обыватель», который это описывает, хотя и оговаривается, что все это очень преувеличено, однако что-нибудь да было же в этом роде, коль скоро сам сердобский уездный предводитель, г. Ст — в, встревожился и, в качестве председателя уездного мирового съезда, писал к начальнику Саратовской губернии, что он находит невозможным открыть мировой съезд до тех пор, «пока не только права̀, но и самая личность присутствующих (то есть посредников) не будут ограждены от неприятностей и оскорблений».

Третий случай рассказан очень трогательно г. Герсевановым в «Нашем времени» и произошел в Павлоградске. Дело в том, что там есть один ужасный мировой посредник Р., который куда-то все гнет, только не туда, куда хочется павлоградским дворянам. Покуда был в Павлоградском уезде «умный и гуманный предводитель дворянства, позволивший себе (?) одну минуту (??) вступиться за г. Р.» (это подлинные

слова г. Герсеванова), Р. кутил и увлекался напропалую; но вот «умный и гуманный предводитель пал», а на место его избран Андрей Петрович Письменный. Кутить не стало больше возможности... В самом деле, на первом же мировом съезде г-ну Р. прочитали сильнейшую нотацию, а на другой день, на частном съезде дворян, прочитали ему нотацию еще сильнейшую, заключавшуюся в том, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых; хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операцию; дворянин, лишенный примирительного характера, не должен быть посредником». Одним словом, г. Р. предлагалось оставить службу, и жаль только одного: г. Герсеванов не объяснил, что это был за *частный* съезд дворян, по какому случаю он происходил и где именно происходил? Кончилось дело тем, что г. Р., пораженный павлоградским красноречием, оказал павлоградское раскаяние и обещал на будущее время приложить павлоградское старание.

С первого взгляда, факты эти могут показаться несколько загадочными; не потому, чтобы встречалось какое-либо сомнение насчет существования насилия (в этом могут сомневаться только г. Герсеванов да «Голос»), а потому, что насилие действует что-то уж чересчур решительно и самоуверенно. По-видимому, и сила вещей, и сила закона — всё на стороне мирового посредника; по-видимому, если он действует согласно требованиям закона и собственной совести, то может оставаться спокойным; если же он ошибается или даже против закона действует, то хотя и навлекает за это на себя взыскания, но все-таки взыскания, налагаемые в законном же порядке, а не вне его. Оказывается, однако ж, что все это теория и что теория у сердобских, павлоградских и полтавских обывателей сама по себе, а практика — сама по себе. Обыватели эти вообразили, что в них, как в некоем драгоценном сосуде, все совместилось: и кротость голубя, и мудрость змия. Отчего они вообразили это?

Такого рода воображение может проистекать из двух равно поощрительных источников.

Во-первых, может случиться так, что на стороне посредников находится только «видимая» сила, а на стороне их антагонистов — сила «тайная», покровительствующая, так сказать, под рукою. Это сила не высказывающаяся, но чувствующаяся в воздухе, подобно едкой гари; это сила стыдящаяся и не формулирующая себя, но подстрекающая: «Дерзайте, дети, дерзайте! Я ничего не вижу!» Не предосуждая решение читателя, которой из этих двух сил отдать преимущество, мы, с своей стороны, однако, находим, что сила тайная имеет на своей

стороне ту выгоду, что ее нельзя ни уловить, ни поставить с очей на очи, ни уличить и что, следовательно, она хотя и нейдет напролом против законной силы, но подрывает ее беспрестанно, и притом самым воровским и изменническим манером.

Мы не называем эту силу по имени, во-первых, потому, что не желаем дразнить кого бы то ни было, а во-вторых, потому, что всякий читающий эти строки, наверное, может назвать ее сам. Цель ее — парализировать все добрые и плодотворные начала, заключающиеся в законоположениях 19 февраля, средство же, которое употребляется ею для достижения этого, до того просто, что даже легко может прийти в голову и самому неострому уму. Оно состоит в том, чтобы всякими нехитрыми мерами отбивать охоту служить положению у тех, которые действительно этому делу преданны и, следовательно, могли бы принести ему наибольшую пользу.

Средство это, несмотря на всю свою незатейливость, весьма ловкое и притом совершенно национальное. Мы, русские, столько веков на разные манеры твердили, что

Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты...

мы до такой степени убедились в справедливости этого изречения горькою практикой, что оно сделалось как бы непременным спутником нашей жизни, чем-то таким, без чего существование наше было бы не полно. Возьмите, например, павлоградский случай: пал «умный и гуманный уездный предводитель» — и «тотчас же явились суд, правда и мир» (ирония это или не ирония — пускай судит сам г. Герсеванов). Прочитайте речь Андрея Петровича Письменного в изложении г. Герсеванова, вы увидите из нее, во-первых, что он «надеется, что павлоградские мировые съезды будут поистине мировыми» (мы, с своей стороны, надеемся, что они вместе с тем не перестанут быть и павлоградскими); во-вторых, он обращается к «благороднейшим дворянам» и говорит им: «В вас, благороднейшие дворяне, я должен иметь силу и значение для действия к общему благу». Одним словом, на первом плане стоит Андрей Петрович и «благороднейшие дворяне»: они будут давать Андрею Петровичу силу, и он станет действовать. О положениях 19 февраля Андрей Петрович совсем забыл, и это тем страннее, что в них-то именно, и в них одних, он, как председатель мирового съезда, должен был бы искать и опоры и силы. Любопытно было бы знать, во имя чего действовали павлоградские мировые учреждения при «умном и гуманном уездном предводителе»? Или тогда были всё только супостаты?

Орудиями для отбивания охоты от службы неприятному делу являются обыкновенно те самые Ш — ны, Н — ны, М — ры и Ю — вы, о которых говорит «Сердобский обыватель», а также Александры Б. и Николаи З., о которых повествует г. «Не тронь менѐ». Личное их вмешательство в действия мировых посредников, по-видимому, совершенно лишнее; по-видимому, они, наравне с прочими, могут найти для себя убежище и в законе, и в праве жалобы, и, наконец, в праве публичного оглашения неправильных действий: во всем этом никому и нигде не отказывается; но Ш — ны, Н — ны, М — ры и Ю — вы рассуждают не так; они думают: куда там еще с законами, да с апелляциями, да с оглашениями! закон в нас самих! И вследствие такого рассуждения призывают к себе на помощь помещика из «отставных военных», который, по мнению их, заключает в себе и суд и расправу и который действительно «предлагает г. Кр — скому удовлетворение», то есть вызывает его на дуэль. И тут начинается целый ряд насилий, насилий смешных и невинных, но тем не менее в целом представляющихся невыносимыми. Произносятся остроумные речи, вроде того, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», начинаются кивания, мычания, визжания, предлагаются любезные вызовы на дуэль; одним словом, вчинается безобразнейший procès de tendance, в котором общественный обвинитель, вместо того чтобы формулировать обвинение, высовывает язык и делает угрозу носом. И никак не надо думать, чтобы полтавская драка была первою попыткой насилия над мировыми посредниками, первою попыткой подействовать на мировые учреждения посредством устрашения. В этом нас усерднейше разуверяют г. Герсеванов и сердобский обыватель, хотя они, по-видимому, и не подозревают, что воспеваемые ими подвиги павлоградских и сердобских обывателей принадлежат к разряду подвигов, именуемых насильственными. Конечно, полтавское происшествие составляет в своем роде перл, но и сердобские судоговорения не дурны. Сердобские дворяне требуют, чтоб гг. Оз—н и Кр—ский вышли в отставку, но где же они почерпали себе право выразить такое требование? Ведь Оз—н и Кр—ский даже не ими и выбраны! Помещик из отставных военных вызывает г. Кр—ского на дуэль... с какого повода, за что, зачем? Неужели это не насилие? Неужели тут есть какой-нибудь другой смысл, кроме смысла простого грубого гнета?

Итак, первая причина, обусловливающая возможность проявления всякого рода насилий против людей мирового института, заключается в существовании тайной силы, им покровительствующей и подрывающей силу открытую, законную.

Вторая причина легкой возможности проявления насилий лежит гораздо глубже и заключается, по нашему мнению, в совершенном отсутствии твердой почвы, на которую могли бы опираться мировые посредники. Конечно, самый закон, самое положение уже представляет опору, но выше мы сказали, что защита, которую можно бы искать в законе, постоянно парализируется какими-то скрытными, но тем не менее совсем не вымышленными влияниями, какими-то закулисными колебаниями, которым нельзя даже прибрать приличного названия. Остается, следовательно, искать опоры инде, то есть там же, где ищет ее насилие. Вдохновенная газета «Голос» советует искать этой опоры в мнениях «благоразумного большинства», но гг. Оз—н и Кр—ский отвечают на это, что это мнение совсем не большинства, а «семейное мнение, образовавшееся в известных кружках». По-нашему, гг. Оз—н и Кр—ский правы; они очень хорошо понимают, что в таком деле, которое представляет собой беспрерывный гражданский иск, должно принимать в расчет не одну, а обе стороны; они понимают, что *мнение* — собственно, составляется и высказывается здесь только одною стороной, а какое *мнение* имеет другая сторона — о том не только никто не интересуется знать, но даже никто и не говорит: точно его совсем нет и быть не может. Если бы оно имело возможность высказываться с тою же ясностью, с какою высказывается *мнение* сердобских и павлоградских обывателей, то, быть может, и оказалось бы возможным найти в нем опору и противопоставить его домогательствам противной стороны. Однако этого нет, и мировые посредники, волею-неволею, должны оставаться безмолвными даже против таких простодушных обвинений, как «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций». Они не могут даже сказать, что обязанность их заключается не в том, чтобы защищать семейные интересы, а в том, чтобы служить общему делу всей русской земли: за такую продерзость их назовут нигилистами — и дело с концом.

Положение мировых посредников у нас и трудное, и новое. Мы привыкли всякого человека к чему-нибудь приурочивать: либо к сословию, либо к званию. Хоть коллежского регистратора, хоть отставного истопника, а нацепим-таки ему на шею; без этого нам как-то странно даже относиться к человеку, смешно на него смотреть. И вдруг являются люди, которые претендуют действовать во имя общих интересов земства, а не во имя миллионных частиц его, не во имя коллежских асессоров, не во имя отставных истопников. Сверх того, эти люди и не чиновники (чиновников-то мы поняли бы), потому что деятельность их чисто специальная, внутренно-устроительная и

отнюдь не касается ни интересов казны, ни даже интересов общественного спокойствия, в том тесном смысле, в каком мы доселе эти интересы понимали. Там, где эти интересы выступают на сцену, посредники стушевываются и уступают место полиции. Понятно, что такое положение должно было перемешать все наши представления, понятно, что мы начали везде обонять измену, везде видеть «офицеров, не могущих служить в рядах храбрых». Но понятно также, как невыносимо должно быть такое положение для тех, которые в него поставлены, и как прав был г. сердобский уездный предводитель дворянства, утверждая, что личность мировых посредников не безопасна.

Вывести из этого положения мировых посредников крайне необходимо, и притом совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Для этого следует только пересмотреть «правила о лицах, имеющих право быть избранными в мировые посредники», равно как и самый порядок избрания, существующий ныне, но, разумеется, пересмотреть их в тех видах, чтобы новым законом создать для мировых учреждений твердую нравственную опору, помимо той формальной опоры, которую предлагает сам закон. Это тем легче сделать, что самые правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года [1].

Лицо, служащее мировому институту, в нынешней ли ограниченной его сфере или в сфере более обширной, какая для него ожидается в будущем, во всяком случае не может быть ни чиновником, ни представителем семейных интересов; оно должно быть живым словом земства. Но это тогда только возможно, когда оно будет обязано своим появлением на поприще общественной деятельности избранию, и притом когда избирательной системе даны будут самые широкие основания. Тогда только избранное лицо будет пользоваться действительным доверием, и тогда только оно получит для действий своих не мнимую, но положительную опору. Здесь уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо; теперь же мы исполняем только ту часть нашей задачи, которая заключается в исследовании действительных причин странного и исключительного положения мировых посредников в той среде, где им суждено действовать. Ясно, что опоры для них нет нигде; ясно, что они имеют дело только с антагонистами реформы и что, при таких условиях, торжество последних не только легко объясняется, но

[1] Всего этого следует ожидать от нового устава о судопроизводстве и судоустройстве.— *Ред. (Прим. М. Е. Салтыкова.)*

даже было бы странно, если б оно не проявлялось со всею наглостью и со всеми прибаутками, свойственными национальным нравам...

Теперь посмотрим, в чем заключаются собственно обвинения, взводимые на мировых посредников (опять-таки в особенности на молодых). Несмотря на все их разнообразие, сквозь все эти обвинения звучит одна нота: гнет, дескать, в одну сторону! Что это за «одна сторона», в которую гнет посредник,— это понятно и без объяснения; обратимся лучше к самому существу обвинений. Во-первых, нас прежде всего поражает общность и преувеличенность обвинений. Общность эта выражается бедностью фактов и какою-то кабалистическою их неосязаемостью. В то время, когда мы были практически прикосновенны к этому делу, нам случалось читать обвинения поистине жалкие: «Ставил, говорит, меня, коллежского асессора, на очные ставки с временнообязанным крестьянином», «требовал, говорит, каких-то свидетелей в подтверждение моей жалобы», «вызывал, говорит, меня, коллежского асессора, в волостное правление и в присутствии моем предложил старшине сесть; сажал и меня, но я не сел»... Что прикажете сказать о таких обвинениях и как уверить жалобщика, что его обвинения не суть обвинения? Как вы ни уверяйте его, как ни смягчайте ваш отказ от разбирательства подобных сплетен, он не внемлет и будет говорить одно: «Да нет, это вы намеренно защищаете посредника, потому что вы враг дворянского сословия вообще!» Он готов и правительство заподозрить во враждебности интересам дворянского сословия! Тут есть какой-то камень в голове, который раздолбить совершенно невозможно и который препятствует пониманию самой обыкновенной идеи. Но это бы еще ничего, если бы дело ограничилось только такими обвинениями; есть другие обвинения, обвинения злостные, наводящие на мысль о какой-то революционной пропаганде. Нечего и говорить, что в этих обвинениях столько же смысла, как и в тех, которые возникли летом 1862 года, по поводу происходивших в Петербурге пожаров, и которые тщились инсинуировать, что пожары эти — дело молодого поколения, горький плод влияния, оказываемого молодою русскою литературою. Нечего и говорить, что эти обвинения суть не более как развитие тех же общих обвинений, о которых было упомянуто выше, и что революционные тенденции и действия, на которые указывают обвинители, заключаются исключительно в том, что мировые посредники сажают старшин, а не заставляют их, в присутствии своем, стоять на ногах. Во всяком случае, обвинения эти действуют и производят впечатление. Почему они действуют? Не потому ли, что мы все,

сколько нас ни есть, давая известному явлению право гражданственности, вовсе не думаем ни о сущности его, ни о тех прямых последствиях, которые оно влечет за собою? не потому ли, что, даже принимая реформу, мы все-таки питаем сокровенную надежду, что все останется по-прежнему, что реформа будет чем-то внешним, каким-то шутовским нарядом, которым прикроется древняя распущенность? И вот, когда оказывается, что надежды наши обмануты, мы кричим: «пожар!», несмотря на то что пожара совсем нет и все происходит на строгом законном основании; мы обвиняем кого-то в революционных и коммунистических тенденциях и ни разу не спросим, кого же мы обвиняем, кого хотим мы распинать! Неблагоразумие поразительное, но благодатное; непредусмотрительность нелепая, но спасительная.

Во-вторых, никто не хочет принять в соображение то положение, в которое поставлен посредник обстановкою самого дела, которому он служит. Говорят: «посредник гнет в одну сторону»; несмотря на нелепую форму такого обвинения, вы чувствуете, что в нем *может быть* частица правды, вы чувствуете это тем яснее, чем ближе знакомы с практическою стороною дела. Утверждая это, мы вовсе не думаем щеголять перед читателями каким-нибудь дешевым парадоксом; нет, мы очень положительно и очень серьезно утверждаем, что дело не может произойти иначе и что инакое течение его тем невозможнее, чем честнее и чище представляется нам личность мирового посредника. Не надо никогда забывать, что посредник имеет дело с двумя сторонами. Одна сторона письменная, называющая сама себя цивилизованною и в самом деле пользующаяся известною дозой образованности; эта сторона и средств больше имеет, да и формулировать свои домогательства может. Другая сторона — безграмотная, имеющая о вещах своеобразные понятия, которые, благодаря вековому сословному разъединению, сделались даже недоступными для цивилизованного меньшинства; эта сторона, скудная средствами, легко пугающаяся, затрудняющаяся даже в способах объяснить толково свои желания и претензии. Обе стороны предъявляют перед посредником иск друг на друга; одна говорит бойко и вразумительно, другая хочет нечто сказать в ответ, но путается; путается не потому, чтобы она не *чувствовала* своего права, но просто потому, что ей впервые привелось предъявить это право, как право, что ее смущает непривычная обстановка, в которую она внезапно вовлечена. Неужели посредник имеет право воспользоваться неумением и неведением? Неужели он не обязан вызвать сознание права там, где право в действительности существует, а нет только сознания его?

Нет, он не может пользоваться неведением, он обязан вызвать сознание права там, где этого сознания нет, во-первых, потому, что если и нет в данную минуту этого сознания, то никак нельзя ручаться, чтобы возможность этого сознания не явилась никогда. Она явится, быть может, позже, быть может, раньше, но явится — это несомненно. И тогда факт попрания бесспорного права принесет плоды горькие и далеко не безопасные: тогда начнется бесконечный и желчный процесс, и чем дольше и упорнее будет продолжаться непризнание права, тем желчнее и резче будут домогательства его. Кто может предвидеть, чем они разрешатся? Следовательно, в этом смысле посредники являются не пропагандистами революционных идей, но предусмотрительными и благоразумными умиротворителями; следовательно, в этом смысле, чем откровеннее и яснее действия посредника, тем больше они обеспечивают будущее. Во-вторых, посредник обязан вызвать на свет скрывающееся и несознанное право и потому, что это дело всякого человека, имеющего понятие о чести и совести. Пользоваться неведением и простотою могут только люди, составившие себе из этого профессию, но никак не люди совестливые и честные; еще менее позволительно пользоваться простым неумением формулировать право, неумением, дающим иногда такое широкое поле произвольным толкованиям и извращениям...

Нам скажут, быть может, что крестьянам предоставлено право действовать через поверенных, но это возражение едва ли можно назвать основательным. Не говоря уже о той затруднительности, с которою сопряжено отыскивание дельных и честных поверенных, мы просто отсылаем желающих знать, в каком положении находится у нас адвокатура по крестьянским делам, к статье г. Громеки, напечатанной в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1862 год. Из нее читатель увидит, что это за адвокатура и до какой степени может быть приятна профессия адвоката [1].

Таким образом, мировой посредник, незаметно для самого себя, одною силою вещей, делается и судьею, и ходатаем... Конечно, в таком отношении к делу не может быть строгой правильности, но кто же виноват в этом? Виноваты ли

---

[1] Мы отдаем полную справедливость г. Громеке: статья его написана со свойственною ему пламенностью и, главное, преисполнена фактов весьма доказательного свойства. Но для чего он прибавил к статье такой грустный финал? для чего он взял на себя роль адвоката, которой ему никто не поручал, о которой его никто не просил? Очевидно, г. Громека, постепенно разгорячаясь, заслушался наконец самого себя и, к довершению всего, дошел до такой восторженности, вследствие которой произошел в нем какой-то совсем нелитературный акт. Это совсем испортило его статью, ибо в результате оказался клякс. (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

гг. Оз—ны и Кр—ские и не поступили ли бы гг. Ю—вы, Ш—ны, Н—ны и М—ры точно так же, как и они, если б силою обстоятельств были поставлены в подобное же положение?

Как бы то ни было, но обвинения противу мировых посредников существуют; легкость противодействия мировым учреждениям тоже не подлежит никакому сомнению. Странно было бы, если б протест замедлил своим заявлением.

И он не замедлил; насилие явилось во всех видах и со всеми атрибутами, насилие дикое, позорное, вооруженное кулаками.

Мы, с своей стороны, не удивляемся этому. Мы старались, по мере сил наших, изложить положение дела и взаимные отношения заинтересованных сторон; результат этих изысканий следующий: да, вражда возможна, протест возможен. Затем, в каких формах является этот протест, час ли продолжается драка или полтора часа, до этого нам нет надобности, ибо это дело домашнее. Это явление до того отвратительное, что омерзение, которое оно поселяет, мешает нам даже приблизиться к месту сражения и освидетельствовать его.

Одно можем сказать мы: Александр Б. явил себя изрядным хирургом, и павлоградские обыватели могут смело дать ему патент на делание операций — он не упадет в обморок при виде крови.

Гораздо важнее для нас другой вопрос: какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из этой драки? Корреспондент «Мирового посредника», описывающий происшествие точь-в-точь подобное тому, которое мы привели выше, поднимает перед нами край завесы, скрывающей это будущее, и нам ничего не остается, как заключить настоящую статью словами его. «Худой пример подаете вы, господа,— говорит он,— вы беретесь за плеть, а что, если, глядя на вас и подражая вам, другие возьмутся за обух?» (см. «Мировой посредник» за 1862 г., № 25).

С этим, действительно, нельзя не согласиться: худой пример!

ДОПОЛНЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЮ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»[1]

Нас просят известить почтеннейшую публику, что в названной выше статье, помещенной в I томе «Современника», вкрались некоторые неверности и что г. С. вовсе не такой идеальный посредник, каким он представляется «Современ-

[1] См. 1-й т. «Современника» за сей год. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

нику». Из полученного нами по этому делу нового письма явствует:

1) Что г. С. тот самый мировой посредник, о котором в 3 № «Дня» изображено, что он, при вводе в одном имении уставной грамоты, действовал с таким убеждением, что выколол палкой глаз семидесятилетнему старику, крестьянину Дыкансо.

2) Что гг. С. и З. (у которого в доме произошла история избиения г. С.) составляют одну компанию.

3) Что г. З. выбил временнообязанному крестьянину своему, Ивану Клочану, два зуба, а посредник С., которому Клочан принес жалобу, вместо всякого удовлетворения, приказал ему разинуть рот и, заглянув туда, сказал: «Ты лжешь, мерзавец! у тебя целы корни, а зубы выбиваются с корнями!»

4) Что тот же г. З. принес посреднику С. жалобу в том, что он, «к крайнему своему изумлению, поймал самолично, в полунощное время, бабу Гарпину, с украденными из господской кладовой куриными яйцами и сальными свечами, которые она несла в переднике своей запаски, а всего на сумму 30 р. сер.», и что посредник С., вместо того чтобы разобрать дело и понять, что баба никак не может унести в своем переднике яиц и сальных свечей на сумму 30 р. с., посадил бабу Гарпину в «холодную». Баба была беременная, испугалась и родила мертвого ребенка.

5) Что г. С., сверх того, многих кучеров не удовлетворил и имел даже по этому случаю историю с г. К., который, вследствие сего, вынужден был оставить Полтаву и удалиться в г. Вельск Вологодской губернии.

6) Что гг. Б., напротив того, очень хорошие люди и подарили своим временнообязанным крестьянам их усадьбы и полевой надел, за что и заслужили неприязнь со стороны прочих помещиков Полтавского уезда,

и 7) Что хотя в доме З. и действительно была драка, но зачинщиком оной был посредник С., а отнюдь не Александр Б.

Помещая эти поправки, оставляем, впрочем, их достоверность на ответственности того лица, которое нам их доставило. С своей стороны, считаем долгом присовокупить, что мы вовсе не имели намерения рассматривать г. С. как «идеального мирового посредника»; мы даже вовсе не желали рассматривать г. С. ни с какой точки зрения. Нас занимали, собственно, беспрерывные известия о различных кулачных казусах, случающихся с мировыми посредниками, и, по мере сил наших, мы старались вывести из этих частных фактов общее заключение. Успели ли мы в этом — это другой вопрос, но во всяком случае нас интересовал не С., а факт драки, факт далеко не уеди-

ненный. Затем, г. С. может выкалывать глаза, может сажать бабу Гарпину в «холодную», может высказывать те или другие мнения насчет выбивания зубов с корнями, до нас это нисколько относиться не может. Это дело местных административных и судебных властей, которые, вероятно, найдут средство пролить мир и спокойствие в взволнованную душу г. С. А нам взволнованными душами заниматься не приходится, ибо протяжение Российской империи великое и взволнованных людей на этом протяжении обретается множество.

ЕЩЕ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»[1]

Несмотря на то что заметка наша имела в виду не столько частный факт побиения мирового посредника С., сколько явление, повторившееся одновременно в нескольких местах, несмотря на то что мы и смотрели на него именно с точки зрения причин, его обусловивших, о чем уже и заявляли в 3 № нашего журнала за сей год, мы продолжаем получать по этому делу поправки и замечания. Замечания эти главнейшим образом трактуют о том, будто бы мы приняли на себя защиту и оправдание посредника С., которого деятельность не заключает в себе ничего похвального. При этом нам сообщают и некоторые сведения о г. С., не совсем для него лестные, то есть всё в том же роде, в каком уже было опубликовано одно сведение в газете «День». Даже есть нечто и похуже: между прочим, история с г. К. разъясняется очень гадко.

По этому поводу второй раз считаем долгом повторить, что ни г. С. и никого вообще из участников этой истории мы не знаем, да и знать не желаем, и что самый факт драки обратил наше внимание единственно с точки зрения тех общих заключений, которые можно было вывести из всех подобного свойства фактов, которых в нашей статье приведено не мало.

---

[1] «Заметка» эта была напечатана в 1—2 №№ «Современника» за 1863. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*



ПРИМЕЧАНИЯ

Вводные заметки к тому и разделу рецензий, а также текстологические части примечаний — *С. А. Макашина.*

Комментарии к статьям и рецензиям написали:

И. М. Белявская — «О русской правде и польской кривде...»; *Д. И. Золотницкий* — «Московские письма», «Петербургские театры» (при участии С. А. Макашина), «Наши безобразники» Н. Потехина; *В. Я. Кирпотин* — «Драматурги-паразиты во Франции», «Немного лет назад» И. Лажечникова, «Кремуций Корд» Н. Костомарова, «Князь Серебряный» А. Толстого, «Повести Кохановской»; *Р. Я. Левита* — «Заметка о взаимных отношениях помещиков и крестьян», Газетные статьи 1861 г., «О старом и новом порядке...» Н. Безобразова; *И. М. Лурье* — «Стихи Вс. Крестовского», «Гражданские мотивы...» (сб. под ред. А. Пятковского) и «Песни Скорбного поэта», «Стихотворения К. Павловой», «Стихотворения А. Фета» (совместно с С. А. Макашиным), «Полное собр. соч. Г. Гейне», «Новые стихотворения А. Плещеева, «Новые стихотворения» А. Майкова, «Ролла» А. Мюссе; *С. А. Макашин* — «Стихотворения Кольцова», «Сказание о странствии... инока Парфения» (при участии П. Г. Рындзюнского), «Еще скрежет зубовный», «Несчастие в Порхове», «Анафема, или торжество православия...», «Стихотворения А. Фета» (совместно с И. М. Лурье), «Сказание о том, что есть и что была Россия...» кн. В. В. Львова, «Записки и письма» М. С. Щепкина, «Чужая вина» Ф. Устрялова, «Известие из Полтавской губернии», «Дополнение к «Известию из Полтавской губернии», «Еще по поводу «Заметки из Полтавской губернии»; *В. В. Прозоров* — Фельетоны и юморески из «Свистка» 1863 г. (при участии Л. М. Розенблюм); *П. С. Рейфман* — «Несколько слов по поводу «Заметки, помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год», «Несколько полемических предположений», «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге» М. Беницкого, «Киевские волнения в 1855 году» С. Громеки; *Л. М. Розенблюм* — «Литературная подпись» А. Скавронского, «О добродетелях и недостатках...»; *П. Г. Рындзюнский* — «Современные движения в расколе...» Н. С — на, «Сборник из истории старообрядства» Н. Попова; *И. Т. Трофимов* — «Приключения, почерпнутые из моря житейского» А. Вельтмана, «Руководство к судебной защите...» К. Миттермайера, «Воля» А. Скавронского, «Сказки» Марко Вовчка, «Воздушное путешествие...» Ю. Верна, «Моя судьба» М. Камской, «Рассказы из записок старинного письмоводителя...» А. Высоты, «В своем краю» К. Леонтьева.

В пятый том настоящего издания входят *критика и публицистика Салтыкова 1856—1864 годов,* кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».

Все эти материалы не собирались самим автором в отдельные издания. Они остались в первопечатных публикациях эпохи (журнальных), а иные из них не были обнародованы при жизни писателя и дошли до нас в автографических рукописях или гранках набора, запрещенных к изданию цензурой.

Впервые критика и публицистика Салтыкова конца 50-х и начала 60-х годов была собрана в пятом и шестом томах издания сочинений писателя 1933—1941 гг. По основному своему составу пятый том настоящего издания близок к своему предшественнику — пятому же тому названного издания, но значительно полнее его по числу входящих произведений, которые все сопровождаются заново написанными комментариями.

Важнейшие отличия по составу и по текстам сводятся к следующему.

Впервые в Собрание сочинений Салтыкова включаются все найденные после 1941 г. статьи и рецензии его 1856—1864 гг., либо вовсе отсутствующие в издании 1933—1941 гг., либо воспроизведенные в нем по первопечатным журнальным текстам, сильно и в самом главном усеченным цензурой. Это — программная статья «Стихотворения Кольцова», заметка «Первое представление новой драмы Островского», пародия-памфлет «Наяда и рыбак. Фантастический балет...», рецензия на комедию Ф. Устрялова «Чужая вина» и сводная рецензия на переводную книгу «О добродетелях и недостатках...».

В разделе Из других редакций впервые публикуется (по автографу) первоначальная и очень важная редакция статьи по поводу книги «Сказание о странствии и путешествии... инока Парфения».

Первоначальная редакция статьи «Несчастие в Порхове», попавшая в предыдущем издании не на свое место (в «Приложение» к тому шестому), печатается в основном разделе настоящего тома. Вынужденно же заменившие эту не попавшую в печать редакцию статьи и заметки «Известие из Полтавской губернии», «Дополнение к «Известию из Полтавской

губернии» и «Еще по поводу заметки из Полтавской губернии» помещены в разделе Из других редакций.

В настоящем томе читатель найдет также полемическую статью 1860 г. «Еще скрежет зубовный», неосновательно включенную в издании 1933—1941 гг. в состав тома четвертого, занятого художественно-сатирической прозой.

Авторство Салтыкова в отношении анонимных и неизвестных в автографах статей, заметок и рецензий, помещенных в «Современнике», установлено не только на основании переписки Салтыкова с Ип. Ал. Панаевым, заведовавшим конторой «Современника» (переписка опубликована В. Е. Евгеньевым-Максимовым в т. 13—14 «Литературного наследства»). Эти атрибуции проверены, подтверждены и дополнены для настоящего издания на основании трех позднейших публикаций: 1) С. А. Рейсер. Гонорарные ведомости «Современника».— «Литературное наследство», т. 53—54, М. 1949, стр. 257—274; 2) В. Э. Боград и С. А. Макашин. Новые материалы о Салтыкове-Щедрине.— «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, и 3) В. Э. Боград. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.— Л. 1959.

На основании документальных данных, содержащихся в названных публикациях, в настоящий том не включены следующие рецензии из «Современника», ошибочно приписанные Салтыкову в статье В. Дажука: Нові сторінки Салтыкова-критика.— «Літературна газета», Київ, 1937, 11 липня, № 32, стр. 4; 1) «Краткое руководство к изучению политической экономии» Ф. Г. Тернера, СПб. 1863 («Современник», 1864, № 2); 2) «О наместниках, воеводах и губернаторах». Сочинение Ивана Андреевского. СПб. 1864 («Современник», 1864, № 6); 3) «Губерния, ее земские и правительственные учреждения» А. Лохвицкого, СПб. 1864 («Современник», 1864, № 8); 4) «Детские книги». Издания книгопродавца М. О. Вольфа с 1856 по 1864 г. («Современник», 1864, № 9). Все эти рецензии в действительности написаны Ю. Г. Жуковским, а не Салтыковым.

Также не включена в том, как бездоказательно приписанная Салтыкову в библиографии А. А. Шилова (К. Арсеньев. Салтыков-Щедрин, СПб. 1906, стр. 255), статья «Историческое предание и описание праздника «Свистопляски в Вятке» из «СПб. ведомостей», 1856, № 127, и две юморески «Письма отца к сыну» и «Песня московского дервиша» из «Свистка», 1863. Как установлено В. Е. Евгеньевым-Максимовым в упомянутой выше публикации (стр. 70), первая юмореска написана М. А. Антоновичем, а вторая — В. П. Бурениным.

За пределами тома осталась, наконец, «Заметка на «Письмо» г. И. Тургенева...», напечатанная за подписью «С.» в газете «Северная пчела» от 16 декабря 1862 г. Предположение о принадлежности «Заметки» Салтыкову допустимо (см. И. С. Щуров. Затерянный ответ «Современника» И. С. Тургеневу.— «В мире книг», М. 1963, № 1, стр. 44). Однако вполне убедительные доказательства справедливости такого предположения пока отсутствуют.

СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА

(Стр. 7)

Впервые, в сокращенной редакции,— в журнале «Русский вестник», 1856, № 22, за подписью: М. С. (с послесловием М. Каткова: «Несколько дополнительных слов к характеристике Кольцова»). Автограф неизвестен. Полный текст опубликован лишь в 1959 г., в «Литературном наследстве» по корректурным гранкам журнала «Библиотека для чтения» (ЦГАЛИ, ф. 1296, оп. 2, ед. хр. 32, лл. 4—36) [1]. На гранках имеются пометы цензора (отчеркивания и знаки вопроса на полях, подчеркивания в тексте) и три надписи: 1) на л. 1: «№ 8 Библиотеки для чтения 21 июля»; 2) на лл. 7, 9 и 11: «Статья эта не может быть пропущена. Цензор *И. Лажечников.* 24 июля 1856 г.» и 3) на л. 28 об.: «Отд. V «Библиотеки для чтения», № 8-й. *Исправленное автором.* Г. цензору Лажечникову». Корректура содержит одновременно первоначальную авторскую редакцию статьи (если читать только наборный текст) и редакцию, выработанную Салтыковым применительно к замечаниям цензора (если читать наборный текст с учетом всех рукописных изменений). В настоящем издании статья печатается в первоначальной доцензурной редакции, за исключением нескольких мелких поправок, внесенных Салтыковым в гранки вне связи с цензорскими замечаниями и являющихся, таким образом, последними авторскими вариантами. Изъятия и замены в тексте, сделанные Салтыковым в соответствии с пометками цензора, как и сами эти пометки,— см. в подстрочных примечаниях к названной выше публикации В. Э. Боград а.

Комментируемая статья написана в связи с выходом в свет книги стихотворений Кольцова, выпущенной в Москве в конце марта 1856 г. [2]. Это было повторение издания 1846 г., осуществленного Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем. При перепечатке новые издатели сохранили вступительную статью Белинского и на титульном листе обозначили его имя, находившееся под запретом в последнее семилетие царствования Николая I [3]. Преимущественно по этой последней причине книга сразу же оказалась в центре общественного внимания. Почти все журналы поместили о ней отзывы. Рецензия в «Современнике» — в майском номере — была написана Чернышевским. Он оценил появление нового издания Кольцова со статьей

---

[1] «Литературный манифест» Салтыкова. Запрещенная цензурой статья о Кольцове (1856). Статья и публикация В. Э. Бограда.— «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 281—314.

[2] Уточняющее указание на дату выхода книги содержится в след. словах из письма И. В. Павлова к А. И. Малышеву из Москвы, 28 марта 1856 г. «Здесь *только что* появились стихотворения Кольцова...» (ЛБ).

[3] «Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским», изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, Москва, 1856.

Белинского, как «одно из важных и самых отрадных событий в нашей литературной жизни за настоящий год»[1]. Желая, по-видимому, привлечь большее внимание к явочному «амнистированию» имени Белинского в печати, Чернышевский свел свою рецензию к публикации нескольких отрывков из «превосходной статьи» критика, так как «напрасно было бы желание сказать что-нибудь более полное и верное»[2].

Не ставя перед собой такой тактической задачи, Салтыков, напротив того, взялся за перо с намерением сказать о Кольцове то, что, по его мнению, не сказали о нем Белинский и Вал. Майков, чьи статьи он хотя и называет «весьма замечательными», но признает их недостаточными для оценки таланта поэта и ошибочными в некоторых исходных теоретических суждениях.

Статья Салтыкова была написана летом 1856 г. К середине июля рукопись ее была набрана. Статья предназначалась для августовского номера «Библиотеки для чтения» и должна была, таким образом, явиться первым выступлением Салтыкова в печати после возвращения из ссылки (печатание «Губернских очерков» начиналось со второй августовской книжки «Русского вестника»)[3]. То, что выступление Салтыкова должно было состояться на страницах «Библиотеки для чтения», объясняется его приятельскими в ту пору отношениями с А. В. Дружининым. Последний уже принимал в это время участие в руководстве «Библиотекой...», хотя формально стал ее редактором с ноября 1856 г., вместо О. И. Сенковского и его помощника А. В. Старчевского.

Однако статья Салтыкова в «Библиотеке...» не появилась. Горячий демократизм автора и его призывы к писателям обратиться к насущным социальным вопросам современности испугали А. В. Старчевского, фактического руководителя издания вплоть до перехода его в руки А. В. Дружинина. Умеренный либерал по своим политическим симпатиям и «коммерческий литератор» по практической деятельности, А. В. Старчевский заявил издателю «Библиотеки...» В. П. Печаткину, что «такие статьи перевернут все вверх дном, погубят журнал и что он за такие статьи <...> не отвечает»[4]. Одновременно А. В. Старчевский поделился этими своими опасениями со вновь назначенным цензором журнала писателем И. И. Лажечниковым и

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 510 и 841 (первоначально в «Современнике», 1856, № 5).

[2] Там же, стр. 511—512.

[3] В письме от 14 июля 1856 г. издатель «Библиотеки для чтения» В. П. Печаткин, перечисляя А. В. Дружинину предполагаемое содержание августовской книжки, сообщал, в частности: «Критика — г. Салтыкова,— отдано набирать, потому что от г. Григорьева еще ничего нет...» («Письма к А. В. Дружинину».— В серии «Летописи Гос. литерат. музея», кн. 9, М. 1948, стр. 246). По-видимому, место, отведенное для «критики» в августовском номере, было обещано Аполлону Григорьеву, статья же Салтыкова не была заранее предусмотрена и появилась в редакции в последний момент.

[4] «Письма к А. В. Дружинину», цит. изд., стр. 200 (письмо Вл. Н. Майкова от 31 июля 1856 г.).

попросил его ознакомиться с уже набранной статьей. Как это видно из приведенных выше надписей на корректурных гранках, Лажечников прочитал статью дважды; второй раз — после того, как, следуя его замечаниям при первом чтении, Салтыков внес в текст много изменений и сокращений. Однако и сильно смягченная редакция не удовлетворила «робкого» (более позднее выражение Салтыкова) цензора-писателя, и статья была им запрещена.

По существовавшим правилам можно было просить о пересмотре решения цензора. Статья могла быть представлена редактором журнала в Петербургский цензурный комитет для коллегиального рассмотрения. Салтыкову так и предлагали поступить, но он отклонил предложение[1]. Уверенности в том, что Комитет занял бы иную, чем его цензор, позицию, у Салтыкова не могло быть. Начинать же после возвращения из ссылки писательскую деятельность официальным столкновением с органом политического контроля правительства над печатью ему, по понятным причинам, не хотелось. Салтыков перенес печатание статьи в Москву, в «Русский вестник», надеясь, видимо, на другое отношение к своему выступлению как со стороны редактора Каткова, так и со стороны либерального цензора Н. фон Крузе, с которым был знаком. Но если такие надежды имелись, они оказались тщетными. Хотя статья и появилась в журнале, но без своей важнейшей программно-теоретической части, с рядом других изъятий и смягчений и в сопровождении несколько «гувернерского» послесловия Каткова, скрыто полемичного (в оценке кольцовских «дум»), хотя внешне и комплиментарного, по отношению к Салтыкову, названному здесь «одним из даровитейших наших сотрудников». Подписанная лишь инициалами Салтыкова, эта публикация вплоть до 1930 г. не значилась в списке сочинений писателя, хотя не только сотрудники «Библиотеки для чтения», но и ряд других литераторов-современников знали имя автора[2].

Появление статьи в печати осталось почти незамеченным критикой. Лишь В. Р. Зотов кратко отметил ее в «Сыне отечества», в своем анонимном «Обзоре периодических изданий». Среди «замечательных» статей 20 и 21 номеров «Русского вестника» Зотов упомянул и статью М. С. «Алексей Васильевич Кольцов»: «Хотя и трудно было после Белинского сказать что-нибудь об этом поэте,— говорится в «Обзоре»,— но критик умел найти в нем некоторые новые стороны...»[3]

---

[1] В письме к А. В. Дружинину от 30 июля — 3 августа 1856 г. В. П. Печаткин писал: «...забыл второпях уведомить Вас, что критика г. Салтыкова, набранная на август, после больших переделок и просьб самого автора запрещена цензором; я предлагал г. Салтыкову представить <статью> в Комитет, но он почему-то не захотел...» — «Письма к А. В. Дружинину», цит. изд., стр. 248.

[2] Так, например, Е. Я. Колбасин писал И. С. Тургеневу 2 декабря 1856 г.: «Салтыков написал хорошую характеристику «Алексей Васильевич Кольцов»...» Публикация этого письма и дала возможность М. Н. Мотовиловой и Е. П. Населенко извлечь из забвения салтыковскую статью.— «Тургенев и круг «Современника», «Academia», М.— Л. 1930, стр. 303 и 309.

[3] «Сын отечества», 1856, № 37, 16 декабря, стр. 238.

Статья о Кольцове, в ее доцензурной редакции,— важный программный документ Салтыкова, созданный им непосредственно при возобновлении — после ссылки — своей писательской работы. Статья вышла далеко за рамки суждений, относящихся собственно к поэзии Кольцова. В ней дано широкое изложение взглядов автора по общим коренным вопросам искусства и литературы, в связи с требованиями, предъявляемыми «современностью» — русской жизнью периода начинавшегося демократического подъема в стране. Статья представляет выдающийся интерес для понимания многих идейно-эстетических взглядов Салтыкова, впервые формулированных им в момент вступления в «большую литературу», но сохранявших для писателя живое значение и в дальнейшем.

Салтыков стягивает все затрагиваемые им в статье проблемы к двум основным вопросам — «художественности» и «народности». Разъяснение вопроса о «художественности» ведется в полемической форме. Оспаривается взгляд на этот вопрос «наших эстетиков», под которыми подразумеваются эстетики-идеалисты, теоретики «искусства для искусства», чьи воззрения господствовали тогда в литературе и обществе. Среди названных адресатов полемики — П. В. Анненков и его «теория чистой художественности», программно развернутая в незадолго до того напечатанной статье «О значении художественных произведений для общества» («Русский вестник», 1856, январь, кн. 1). Среди неназванных — А. В. Дружинин и его «артистическая теория», философской основой которой являлось мировоззрение крайнего идеализма.

Салтыков направляет свою критику на те представления, которые отводят искусству «область, находящуюся вне действительного мира» (первоначально было: «область внеобщественную»). К таким представлениям Салтыков относит, прежде всего, понимание «творческой силы» художника, как силы, всецело основанной на способности «созерцания», дающего будто бы возможность добывать «факты», то есть содержание, для искусства не из действительности, а из особого духовного мира, создаваемого воображением художника. «Теорией сошествия святого духа» назвал Салтыков в письме к А. В. Дружинину (апрель — май 1856 г.) такое понимание творческой работы, имея в виду то самое выступление П. В. Анненкова, с которым он полемизирует в статье о Кольцове. Этим спиритуалистическим концепциям, восходящим к романтизму и немецкому философскому идеализму, Салтыков противопоставляет материалистические принципы складывающейся эстетики русского революционно-демократического просветительства (для определения места салтыковской статьи в этом процессе следует помнить, что она написана до выступления в печати Добролюбова и лишь немного позже опубликования «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевского). Единственный предмет искусства — утверждает Салтыков — «действительность» (понимаемая в социальном смысле и применительно к современности). Основной способ познания действительности, как в искусстве, так и в науке — «анализ».

Созерцание же определяется как вспомогательная к анализу синтезирующая способность художника.

В своем неприятии теорий «стихийного» творчества, возникающего в результате подсознательных импульсов художника или «самодеятельной силы» его фантазии, Салтыков продвигается, в увлечении борьбы, дальше нужного рубежа. Доказывая необходимость для художника быть прежде всего «исследователем», аналитиком общественной жизни, он почти что отождествляет методы познания мира, которыми пользуются искусство и наука. «Силы, присущие труду художника и труду ученого,— утверждает он,— в существе своем одни и те же, и мысль художественная, в действительности, не что иное, как мысль общечеловеческая». Салтыков полемизирует здесь уже не с Анненковым или Дружининым и их единомышленниками. Он спорит с суждениями, а точнее, с формулировками Белинского и Валерьяна Майкова. «Искусство не допускает к себе ... рассудочных идей,— писал Белинский,— оно допускает только идеи поэтические...»[1] В произведении искусства,— утверждал, со своей стороны, Вал. Майков,— не одна только форма, но сами «идея», «мысль» должны быть «художественны»[2]. Салтыков полагает, что, выдвигая такой принцип, Вал. Майков не только солидаризируется с «внеобщественной» концепцией искусства, но и доходит до «более крайнего результата», чем сами эстетики-идеалисты. Еще дальше — по мнению Салтыкова — идет в том же направлении Белинский. Определяя свойства «гения», он — по словам Салтыкова — «наделяет его правом и способностью возвещать людям новую жизнь», то есть допускает будто бы возможность для художника творить в отрешении «от всякого участия в труде действительности и современности». А такое участие выдвигается Салтыковым в качестве главнейшего требования, предъявляемого им к людям искусства. Салтыков полемически комментирует тут следующее место (не приводя его) из статьи Белинского о Кольцове: «Гений <в отличие от таланта.— *С. М.*> всегда открывает своими творениями новый, никому до него не известный, никем не подозреваемый мир действительности <...> Является гений — и возвещает людям новую жизнь...»[3]

Полемические заострения Салтыкова не означали, конечно, что он отказывал Белинскому и Вал. Майкову в понимании ими общественной природы и назначения искусства или что он действительно не делал различия между научным и художественным способами познания действительности, между мышлением понятиями и мышлением образами. Как далеко, однако, шло в это время увлечение Салтыкова «практическим направле-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 312 («Соч. Александра Пушкина. Статья пятая»).

[2] Вал. Майков. Критические опыты. 1845—1847, СПб. 1891, стр. 35—36 (статья «А. В. Кольцов»).

[3] В. Белинский. О жизни и сочинениях Кольцова.— Рецензируемое Салтыковым издание, стр. 51 (в Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, изд. АН СССР, см. т. IX, М. 1955, стр. 527).

нием»[1] в литературе и искусстве, видно из следующего сообщения Л. Н. Толстого в его письме к В. П. Боткину и И. С. Тургеневу от 21 октября — 1 ноября 1857 г.: «Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше»[2].

Эти заострения проистекали из характерного для личности Салтыкова, но также и для нового этапа в исторической жизни страны, страстного возвышения социально-действенной, практически-результативной роли искусства, а тем самым и места художника в общественном строю современности. Отсюда неудовлетворенность Салтыкова статьями Белинского и Вал. Майкова и упрек Белинскому в том, что его «оценка таланта Кольцова носит характер исключительно эстетический...»[3].

Салтыков стремится, таким образом, идти дальше Белинского в анализе литературы с точки зрения ее социального содержания и «практического направления». Но в целом, развиваемые им мысли об общественной природе и назначении искусства не только не противостоят общеэстетической концепции Белинского, но, напротив того, восходят к ней, как к одной из своих теоретических первооснов.

Другим источником, с которым связана программная часть статьи Салтыкова, является диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). И общее направление статьи о Кольцове, и отдельные ее положения и формулировки не оставляют сомнения в том, что на Салтыкова, как и на многих современников, знаменитая диссертация эта произвела глубокое впечатление.

Как и Чернышевский, Салтыков выдвигает на первый план вопрос об отношении искусства к действительности, художника — к современности. Это главные проблемы. К ним, как радиусы к своему центру, сходятся все другие вопросы. Предлагаемые Салтыковым решения во многом напоминают те, которые дает Чернышевский. Вместе с тем они везде отмечены творческой индивидуальностью автора.

Из трех значений искусства, указанных в диссертации Чернышевского — передача действительности, объяснение ее и приговор над ней,— Салтыков сильно акцентирует два последних. Вместе с тем он предъявляет искусству еще одно требование, на его взгляд, важнейшее: «Каждое

---

[1] В литературно-критических статьях и заметках конца 50-х годов, посвященных «Губернским очеркам», не раз встречается определение Салтыкова, как создателя «практического направления в литературе» или «школы практической литературы». См., например, Е. Эдельсон, Н. Щедрин и новейшая сатирическая литература.— «Утро». Лит. сборник, М. 1859, стр. 363.

[2] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное), т. 60, М. 1949, стр. 233—234.

[3] Десятилетием позже Варфоломей Зайцев — представитель «левицы» в демократическом движении 60-х годов — упрекнет Белинского в пропаганде «искусства для искусства».— В. Зайцев. Избр. соч., изд. О-ва политкаторжан, т. 1, М. 1934, стр. 479.

произведение искусства необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный». Ни у Белинского, ни у Чернышевского, ни впоследствии у Добролюбова нет таких решительных, далеко идущих формулировок, в которые облек Салтыков столь характерное для него устремление к действенности искусства, к социально-активной эстетике. Однако требование результативности искусства не следует понимать прямолинейно, как призыв к художнику находить своими средствами конкретные решения общественно-политических задач. Несмотря на очевидное тяготение к утилитарной эстетике, Салтыков далек от рецептов, низводящих искусство до служебной роли помощника в таких областях общественной практики, как государственная и административно-правовая. Салтыков вкладывает в свою формулу другой смысл. «Мы требуем только,— поясняет он,— чтобы произведение имело последствием не праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника». Здесь отчетливо звучит голос Салтыкова — социального моралиста и просветителя, с его верой в преобразующую силу нравственного потрясения, вызванного правдой мысли и чувства художника — его «искренностью», требование которой признается безусловным.

От общего взгляда на «художественность» и на художника как носителя «современной мысли» Салтыков переходит к определению конкретных задач, которые современность ставит перед искусством. Важнейшая задача — «разработка русской жизни», которая должна удовлетворять двум условиям: вестись «без предубеждения» и быть «монографической»[1]. Теоретические предпосылки этих принципов заключены в отношении к «народности» — главному, в представлении Салтыкова, критерию «подлинности искусства».

Для Салтыкова равно неприемлемы как требование «исключительно национального направления в искусстве», так и противостоящие этому требованию воззрения, согласно которым искусство в качестве «достояния общечеловеческого» не должно иметь на себе ярко выраженного национального отпечатка. Эти суждения полемически направлены: первое — против славянофильских и казенно-патриотических теоретиков национальной исключительности, непосредственно же против Тертия Филиппова и

---

[1] Мысли и самые формулировки о «монографической деятельности» были, видимо, подсказаны Салтыкову начальными строками печатного текста диссертации Чернышевского. Объясняя «внутренний характер» построения своего трактата, Чернышевский указывал, что современность требует «монографий» (*«ныне век монографий»*), то есть не обобщающих и систематизирующих трудов, а конкретных исследований, посвященных отдельным вопросам и явлениям (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, М. 1949, стр. 5). Эти мысли, сильно акцентируя их, и развивает Салтыков применительно к творческой работе художника. Задача его — не полеты фантазии и не прилаживание действительности к априорным взглядам на нее, а добросовестное «монографическое» исследование жизни во всех ее «мельчайших изгибах».

его статьи о комедии Островского «Не так живи, как хочется»; [1] второе — против космополитических тенденций покойного Вал. Майкова, имя которого, однако, в данном контексте не упоминается. Здесь Салтыков продолжает, в новых исторических условиях, борьбу Белинского на два фронта, писавшего в 1847 г. по адресу тогдашних славянофилов и того же Валерьяна Майкова: «Одни бросились в фантастическую народность, другие — в фантастический космополитизм...» [2].

Салтыков ищет реалистического подхода к пониманию народности — вопросу давнему, но получившему новое значение в условиях демократического подъема второй половины 50-х годов. Главнейшим условием такого подхода является, по его мнению, необходимость осмыслить русскую народную жизнь исторически и отказаться тем самым от умозрительных представлений о ней. В этой связи Салтыков подвергает критике «идеальный» образ русского народа в патриархально-романтической утопии славянофилов. Критика эта представляет существенный интерес для идейной биографии писателя. В ней содержится первый публицистически изложенный набросок салтыковского взгляда на русскую народную жизнь (первый художественный набросок — в «Губернских очерках»). Главные положения этого взгляда или концепции Салтыков будет разрабатывать на протяжении всей последующей своей деятельности.

Основа концепции — демократизм; уже не в отвлеченно-гуманитарном аспекте «бедного человечества», как в 40-е годы, а исторически-конкретный, крестьянский, хотя и находящийся пока в его начальной стадии, поскольку представления Салтыкова о народной жизни еще лишены социально-исторической ясности и перспективы. Образ русского народа — «младенца-великана» — признается Салтыковым в это время «загадочным», многие проявления народной жизни — объятыми «мраком», хотя и начинающим «мало-помалу рассеиваться» [3]. Отсюда признание невозможности «делать какие-либо решительные заключения» о жизни русского народа и заглядывать в ее грядущее. «Будет ли она развиваться самобытно и своеобразно,— писал в это время Салтыков,— или подчинится законам развития, общим всем народам,— для нас это вопрос темный, хотя сознаемся, что последнее предположение кажется нам более основательным» [4]. Признание это имеет, возможно, в виду не только славянофилов, но и сторонников герценовского «русского социализма», с их верой в особые, самобытные исторические пути России, в особую роль крестьянской общины.

---

[1] «Русская беседа», 1856, № 1. Против этой статьи Т. Филиппова резко выступил также и Чернышевский в «Заметках о журналах» за май 1856 г.— «Современник», 1856, кн. 6, стр. 235—256.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 25.

[3] См. эти формулировки на стр. 33 статьи о «Сказании о странствии и путешествии... инока Парфения», писавшейся через год после статьи о Кольцове и в программных своих установках весьма близкой к ней.

[4] «Сказание о странствии... инока Парфения» (первая редакция), стр. 480.

Исходя из убеждения, что для выработки общих «воззрений» на русскую жизнь время еще не настало, Салтыков, как сказано, выдвигает требование «монографического» исследования этой жизни. «Роль современного художника и ученого весьма скромна,— утверждает Салтыков,— эта роль почти монографическая, но такова потребность времени, и идти против нее значило бы впасть в ложь и преувеличение». Это и случилось, по мнению Салтыкова, с Гоголем, когда он перестал относиться к русской жизни «в качестве простого исследователя», и с Островским, когда, отойдя от изображения «истины жизни», он вознамерился сказать «новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором». Хотя критикуемые произведения этих писателей не названы, нет сомнения, что в первом случае имеется в виду второй том «Мертвых душ» (появился в печати осенью 1855 г.) и «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), а во втором — комедия «Бедность не порок» (1854), написанная с «почвеннической» позиции группы «молодой редакции» «Москвитянина», идеологически враждебной Салтыкову.

Следуя провозглашенному им принципу смотреть на действительность «прямо», «без предубеждения», Салтыков строит свою концепцию русской жизни с реалистическим учетом не только ее положительных, но и отрицательных элементов. Но в трезвом восприятии враждебных писателю и отвергаемых им черт народного характера — пассивности, бессознательности, стихийности, фатализма и беспечности русского «авось» — еще не звучит, как впоследствии в «Истории одного города» и во множестве других произведений, трагическая нота, уже звучавшая в поэзии Некрасова. Салтыков еще оптимистичен, так как все отрицательные свойства народного характера с избытком объясняются им, с одной стороны, исторической молодостью русского народа, «находящегося еще в младенчестве», а с другой — «экономическими отношениями», то есть крепостным правом. Тем самым эти свойства признаются исторически преходящими, временными. Оптимистично поэтому и отношение Салтыкова к тому делу пробуждения народных сил, которое стоит на историческом череду русской жизни и которому служит «молодая» русская литература, идущая по пути Пушкина, Гоголя и их народного «пополнителя» Кольцова. «Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской жизни,— есть ряд продолжателей дела Кольцова»,— утверждает Салтыков, ставя тем самым свою собственную возобновляющуюся литературную деятельность в прямую преемственность с тем, что являлось, в его понимании, основой поэзии Кольцова,— с ее народностью, крестьянским демократизмом.

Стр. 7. *...одна принадлежит покойному Белинскому,* а *другая Валериану Майкову.*— Статьи о Кольцове Белинского и Вал. Майкова были напечатаны: первая — в сборнике «Стихотворения Кольцова», изд. Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем, СПб. 1846 (перепечатано в рецензируемом Салтыковым издания 1856 г.); вторая — в «Отечественных записках», 1847,

№№ 11 и 12 (вошла в сборник — Вал. Майков. Критические опыты. 1845—1847, СПб. 1889 и 1891).

Он сделался чем-то вроде вопроса о трех знаменитых единствах.— Единства «времени», «действия» и «места» были основополагающими требованиями в драматургии классицизма. Вокруг вопроса об этих «единствах» в течение длительного времени сосредоточивались споры с классицистами представителей новых литературных направлений — романтизма и реализма.

Стр. 14. *В последнее время явилось драматическое представление, в котором изображается господин, помышляющий о введении между русскими крестьянами благотворительных хороводов и тому подобных нелепостей.*— Имеется в виду комедия Константина Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню», напечатанная отдельным приложением к № 1 журнала «Русская беседа» за 1856 г. Пьеса проникнута славянофильской идеализацией крестьянства и его патриархальных отношений с помещиком.

Стр. 15. *Вслушайтесь в народную песню — там изображается, например, жена, которую бросил муж...*— Эта характеристика относится к цитируемой Т. Филипповым, в названной выше статье его, песне «Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко!» («Русская беседа», 1856, № 1, стр. 88).

Стр. 16. *...наивно мечтаем о возвращении времен Кошихинских* — то есть времен допетровской Руси, описанных в известном сочинении XVII в. Григория Котошихина или Кошихина.

...новое слово, которое г. Островский усиливался сказать, новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором.— Писателем, сказавшим в литературе «новое слово», считал Островского Аполлон Григорьев. В соответствии со своим идеалом патриархальной самобытности, критик усматривал это «новое слово» в идеализации писателем русского купечества и его быта. Впервые выражение «новое слово» было употреблено Ап. Григорьевым в стихотворении «Искусство и правда», написанном по случаю представления пьесы Островского «Бедность не порок» и напечатанном в «Москвитянине» (1854, № 4). Но полемика Салтыкова с Ап. Григорьевым ближайшим образом относится к статье критика «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» («Москвитянин», 1855, № 3). В борьбе 60—80-х годов с реакционными направлениями «почвенничества», позднего славянофильства и националистическими течениями в официальной идеологии Салтыков часто иронически пользовался выражением «новое слово».

Стр. 24. *При всем уважении к таланту г. Аксакова, нельзя не сознаться, что его великолепные картины природы как-то подавляют читателя... Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос.*— Эти слова, относящиеся к «Семейной хронике» и другим сочинениям С. Т. Аксакова, были изъяты самим Салтыковым или редактором Катковым из текста статьи при печатании ее в «Русском вестнике».

Стр. 29. *Лучшим доказательством служат «Думы» Кольцова: что означают они, кроме немощного желания вывести мысль из той тесной сферы,*

в которую она заключена обстоятельствами? — Здесь, как и в оценке стихотворения «Размышление поселянина» (см. выше, стр. 20—21), Салтыков существенно (не во всем, однако) разошелся во мнениях с Белинским. Салтыков безоговорочно осуждает кольцовские «думы» за их «несамостоятельность и несостоятельность». Белинский же находил, что «почти во всех его думах есть поэзия и мысли и выражения». В «думах» Кольцова, пишет Белинский, есть две стороны: «вопрос» и «решение». «В первом отношении некоторые думы прекрасны... Но во втором отношении эти думы, естественно, не могут иметь никакого значения». И дальше Белинский приводит для иллюстрации те же стихи из «думы» «Неразгаданная истина», которые приводит и Салтыков. В послесловии к статье Салтыкова Катков, скрыто полемизируя с ним, встал на сторону Белинского в оценке кольцовских «дум» (см. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX, М. 1955, стр. 540, 538—539).

СКАЗАНИЕ О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ, МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ ИНОКА ПАРФЕНИЯ

(Стр. 33)

Незаконченная статья-рецензия. При жизни Салтыкова не публиковалась. Впервые напечатана В. В. Гиппиусом по автографу в 1937 г., в составе т. 5 Полн. собр. соч., изд. 1933—1941 гг. Рукопись черновая, сильно правленная автором. В ней два слоя, образующих две редакции статьи. Главное отличие их друг от друга в том, что в более поздней редакции значительно шире развернуты критические характеристики «аскетических воззрений древней Руси», что обусловило необходимость дополнительного обращения к материалу древней русской письменности и к определенным фольклорным источникам, а именно к духовным стихам. Соответственно сокращены и ослаблены, по сравнению с первоначальной редакцией, общие одобрительные отзывы о записках Парфения. Другое существенное отличие — отсутствие во второй редакции критики западнического — «раздражительно-желчного» — воззрения на русскую народность, имеющейся в редакции первоначальной. К этому направлению Салтыков склонен был в некоторой мере относить и себя.

В основном корпусе настоящего издания печатается вторая редакция статьи. В разделе Из других редакций впервые полностью воспроизводится текст первоначального слоя рукописи. (В публикации 1937 г. приведено лишь несколько важнейших вариантов рукописного текста.)

Статья о «Сказании ... инока Парфения» отражает один из начальных этапов работы Салтыкова по «исследованию» духовной жизни русского народа — его мировоззрения и психологии. Для характеристики идейных позиций писателя периода его вхождения в «большую литературу»,

периода «Губернских очерков», это такой же важный документ, как и несколько более ранняя статья «Стихотворения Кольцова» (см. выше).

«Сказание ... инока Парфения», напечатанное в четырех книгах-частях в Москве первым изданием в 1855 г. и вторым в 1856 г., принадлежало к числу «обличительных» сочинений против «раскола». Автор «Сказания...», сын русских старообрядцев за границей, занимавший видное место в старообрядчестве, потом вышел из «раскола», через несколько лет постригся в монахи в одном из православных монастырей на Афоне, а затем перешел на постоянное жительство в Россию, где принял активное участие, в том числе и пером литератора, в борьбе с вероучением, которого прежде придерживался.

Принадлежа к числу «обличительных», «Сказание...» сильно, однако, отличалось от многих полемических сочинений против «раскола», написанных в грубо-осуждающей манере и узкобогословских по своему содержанию. Автор претендовал не только на углубленное объяснение «раскольничьих заблуждений», но в известной мере и на уяснение характера религиозных настроений народа (крестьянства). Освещение догматических вопросов заняло в «Сказании...» ограниченное место. Напротив того, автор пространно описывал духовные искания и быт, идейные искания и брожения как в среде православных крестьян, так и, особенно, в среде живших за границей и внутри России старообрядцев, то есть в той части русского народа, к которой в середине XIX в. проявлялся повышенный интерес у представителей различных течений общественной мысли, включая революционно-демократические круги.

Выход в свет «Сказания...» оказался заметным фактом в литературной жизни 50-х годов. Журнальные рецензии на сочинение опубликовали Н. Г. Чернышевский, С. М. Соловьев и Н. П. Гиляров-Платонов [1]. Интерес к «Сказанию...» сохранялся и в последующие годы. Записки инока Парфения привлекли, в частности, внимание Л. Н. Толстого и не только произвели большое впечатление на Ф. М. Достоевского, но и заняли определенное место в творческой истории его крупнейшего романа «Братья Карамазовы» [2].

В 1856—1857 гг. о записках Парфения подготавливала большое выступление «Библиотека для чтения». С историей этого неосуществившегося редакционного замысла и связана, по-видимому, неоконченная статья Салтыкова. Тогдашний редактор журнала А. В. Дружинин отнесся к «Сказанию...» как к одному из примечательнейших явлений времени. Рекомендуя сочинение вниманию И. С. Тургенева, он писал ему: «Или я жестоко ошибаюсь, или на Руси мы еще не видали такого высокого та-

---

[1] Рецензии помещены: Н. Г. Чернышевского — в «Современнике», 1855, № 10 (без подписи); С. М. Соловьева — в «Русском вестнике», 1856, т. III, № 5 (май), кн. 1, «Современная летопись», стр. 17—28; Н. П. Гилярова-Платонова — в «Русской беседе», 1856, кн. III (за подписью: «Н. Г.»).

[2] Ф. М. Достоевский. Письма. Под ред. А. С. Долинина, М.—Л. 1928, т. I, стр. 32, и т. II, стр. 264 и 476.

ланта со времен Гоголя, хотя и род, и направление, и язык совершенно несходны. Таких книг между делом читать нельзя,— а если Вы еще проживаете в деревне, то засядьте на неделю и погрузитесь в эту великую поэтическую фантасмагорию, переданную оригинальнейшим художником на оригинальнейшем языке» [1].

В ответном письме Тургенев, уже знакомый, как оказалось, со «Сказанием...», дал ему и его автору не менее высокую оценку. «Парфения,— писал он Дружинину,— я читал ... и нахожу Ваше мнение о нем совершенно справедливым; это великая книга, о которой можно и должно написать хорошую статью ... Парфений — великий русский художник и русская душа» [2].

Однако старания Дружинина получить статью о записках Парфения не увенчались успехом. Статья была заказана весной 1856 г. Аполлону Григорьеву. Спустя полгода он извещал Дружинина о ходе работы: «Статья об о. Парфении представляет страшные трудности: об этой книге можно написать или гладенькую пристойную статью, каковых я писать не умею, или статью живую, выношенную в сердце: откровенно скажу Вам, что и она уже написана, но я ею недоволен. Потерпите — довольны будете!» [3] Но выработка удовлетворявшей автора редакции не давалась, и в январе 1857 г. Ап. Григорьев в ответ на неизвестное нам письмо Дружинина вынужден был согласиться уступить статью о «Сказании...» в «Библиотеке...» другому автору. Он писал Дружинину: «Если нельзя журналу до весны обойтись без статьи об отце Парфении — *и если есть дельная и серьезная <статья>* — катайте!» [4]

Более чем вероятно, что автором этой «дельной и серьезной статьи» (точнее сказать, «предполагаемой статьи») был Салтыков, который либо сам предложил Дружинину написать ее, либо получил такое предложение от Дружинина, с которым в ту пору находился в приятельских отношениях и в журнале которого дал согласие сотрудничать (см. выше, в прим. к статье о Кольцове, стр. 524).

Статья Салтыкова не датирована. Но в рукописи имеется зачеркнутая потом ссылка на рассказ «Старец» (из «Губернских очерков»), помещенный, как сказано в тексте, «в 22 № «Русского вестника» за прошлый год», то есть в ноябре 1856 г. Таким образом, статья датируется следующим, 1857 г. Уточнить в пределах годовой даты время работы над статьей позволяет сопоставление ее с разделом «Богомольцы, странники и проезжие» из «Губернских очерков». Рассказы и очерки этого раздела появились в пе-

---

[1] «Тургенев и круг «Современника», цит. изд., стр. 217 и 330 (письмо от 19 сентября 1858 г.).

[2] И. С Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Письма, т. III, изд. АН СССР, М.—Л. 1961, стр. 242.

[3] «Письма к А. В. Дружинину», цит. изд., стр. 101 (письмо от 19 сентября 1856 г.).

[4] Там же, стр. 104 (письмо от 5 января 1857 г.). Подчеркнуто нами.— *С. М.*

чати в августе 1857 г. и, таким образом, не могли быть закончены позже июля. Списанный Салтыковым в Нижегородской губернии стих об Асафе-царевиче и ряд духовных стихов из публикаций Киреевского приводятся как в статье о «Сказании...», так и в очерках «Богомольцы...». Кроме того, в этих очерках имеются и текстуальные совпадения со статьей о «Сказании...» (ср., например, абзац из «Сказания...»: «И действительно, давно ли, кажется...», стр. 34, с абзацем из «Богомольцев...»: «Давно ли русский мужик...», т. 2, стр. 115).

Эти текстуальные совпадения, так же как и совпадения цитируемых фольклористических материалов, книг и статей о «расколе», свидетельствуют, что статья о «Сказании...» писалась раньше «Богомольцев...». Лишь отказавшись от намерения закончить статью, а значит, и напечатать ее, Салтыков мог сделать ряд заимствований из ее текста для другой работы. Таким образом, статью следует датировать первой половиной 1857 г., не позже июня — июля [1].

Статья Салтыкова о «Сказании...» является своего рода теоретической и публицистической параллелью к писавшейся почти одновременно и также оставшейся незаконченной серии художественных очерков «Богомольцы, странники и проезжие» (см. т. 2, стр. 111—162). В письме к С. Т. Аксакову от 31 августа 1857 г. Салтыков следующим образом изложил «мысль», которая преимущественно занимала его при работе над этими очерками. «Мысль эта,— писал он,— степень и образ проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества. Доселе я успел высказать взгляд простого народа <...> Затем предстоит еще много...» Интерес к религиозным настроениям масс был подсказан Салтыкову славянофилами. Именно они, в частности П. В. Киреевский, фольклористическими публикациями которого Салтыков пристально интересовался в это время, искали в «религиозном чувстве» народа основную стихию и сущность его миросозерцания. Отсюда повышенный интерес славянофильски настроенных историков, филологов, публицистов к различным формам и проявлениям религиозно-нравственного сознания народа. Большое внимание уделялось, в частности, старообрядцам, в которых славянофилы видели элиту русского крестьянского мира [2], к таким явлениям народной жизни, как паломничество (богомолье), и к таким формам эпического и лирического песенного творчества, распространенного главным образом среди сектантов и у части

---

[1] Тем самым исправляется ошибочная и никак не аргументированная датировка «1856, не ранее июля» в печатном описании автографов Салтыкова, хранящихся в ИРЛИ.— «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, М.—Л. 1961, стр. 14 (№ 11).

[2] Любопытную перекличку с такими взглядами находим у Салтыкова в «Мелочах жизни», написанных через тридцать лет после «Губернских очерков». «Старообрядцы,— читаем здесь,— это цвет русского простолюдья. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде» (см. наст. изд., т. XVI).

старообрядцев, как духовные стихи с их религиозно-мистической тематикой.

В предпринятом Салтыковым в конце 50-х годов «исследовании» внутреннего мира простого русского человека, его идеалов и «задушевных воззрений», всем этим предметам славянофильских интересов и изучений уделяется значительное внимание. Однако в принципиальной и конкретной разработке их Салтыков шел собственным путем, шел «по... дороге своего развития»[1]. Корень расхождения в том, что, в отличие от славянофилов, идеализировавших в национальном характере и в истории русского народа проявления пассивности и послушливости, а в народном мировоззрении «аскетизм», Салтыков рассматривает эти элементы как социально отрицательные и в значительной мере наносные, а значит, и временные. Он объясняет их, с одной стороны, исторической молодостью русского народа («младенец-великан»), а с другой — воздействием на психологию и быт народа длительного господства крепостного права («искусственные экономические отношения»).

В поисках борьбы с враждебными и отрицаемыми элементами в народных воззрениях Салтыков стремится опереться на здоровые общественные силы самого народа. Он ищет такие силы во всех активных формах духовной жизни масс, в том числе и в явлениях, прикрытых покровом религиозных настроений и идеологии. Отсюда интерес к народной психологии религиозного подвига, рассматриваемого Салтыковым в качестве одного из видов «служения избранной идее». Пафосом такого подвига проникнуты многие страницы «Сказания...» Парфения. Салтыков подчеркивает, что он смотрит на это сочинение с точки зрения «этнографической» (а не религиозно-богословской). Главный интерес «Сказания...» заключается, по его мнению, в том, что оно «делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям». Салтыков не раз подчеркивает свою отдаленность от этих верований и убеждений, персонифицируемых в фигуре Парфения и в его поисках «истинной веры». Тем не менее он заявляет о своем сочувствии искренности и страстности этих поисков и той силе «самоотвержения», которая порождается ими. «Причина этому,— пишет Салтыков, и это ключ к разъяснению его интереса к «Сказанию...»,— очень понятна: нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрений этого лица, и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными, и беспрекословно, с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях».

---

[1] Выражение А. Н. Пыпина из письма к В. И. Ламанскому от 12 марта 1859 г. о Салтыкове и славянофилах.— «Литературное наследство», т. 67, стр. 454.

Характерная для просветительских взглядов и просветительского же этизма Салтыкова тенденция придавать морально-психологическим категориям преувеличенное и универсальное значение, считать общественно ценными все убеждения, в основании которых «лежит искренность и действительная потребность духа», приводят его, несмотря на все оговорки, к идеализации религиозного чувства (особенно в первой редакции статьи). Его попытки классифицировать проявления «аскетизма» в народных воззрениях соответственно критериям «энергии духа» и его неподкупности оказались малоуспешными. Течения, в которых, по мнению Салтыкова, «преодолевалось аскетическое отторжение личности от общества» и которым он поэтому предсказывал «в будущем великие и бесчисленные последствия», очень нечетко отделялись от тех вероучений, где не усматривалось никакого положительного начала. В этом смысле показательны, например, колебания в оценке «страннического толка», получившего в двух редакциях статьи противоположные характеристики.

Создается впечатление, что, задумав статью с целью показать на материале повествования инока Парфения идеологически и психологически здоровые тенденции в религиозных настроениях масс, Салтыков в процессе работы над статьей пришел к принципиально другой оценке и этих настроений, и самого сочинения. Соответственно этому он начал переводить статью (правка рукописи) в другой ключ — в ключ резкой полемики с «аскетизмом» и его защитниками. О том, что Салтыков занял или склонен был занять отрицательную позицию по отношению к «Сказанию...», которое по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа он ставил вначале рядом с высоко ценимой им «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова,— свидетельствует не только характер правки рукописи статьи-рецензии, но и одно мемуарное свидетельство. Оно принадлежит Ап. Григорьеву и находится в его известной работе 1864 г. «Парадоксы органической критики». Вспоминая об одном из своих наездов в Петербург — судя по контексту, весной 1857 г.,— Ап. Григорьев писал: «...на одном из литературных вечеров <...> довелось мне завести речь о книге отца Парфения с человеком, которого я, судя по его деятельности, мог считать более компетентным судьею в отношении к народу и его быту, который тогда не только одни губернские сплетни рассказывал, но подчас к народу сильное сочувствие высказывал и даже раскольников с некоторым знанием дела изображал, да и притом честно, а не ерыжно, как один знаток их быта... Компетентный господин в ответ на мою речь выразил только опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развила бы слишком аскетического настройства» [1].

---

[1] Ап. Григорьев. Парадоксы органической критики.— «Эпоха», 1864, № 5, стр. 272—273. Что здесь имеется в виду Салтыков, несомненно, хотя он и не назван. «Губернские сплетни» — это, конечно, «Губернские очерки», в которые входили и зарисовки быта «раскольников», противопоставляемые «ерыжным» изображениям «знатока их быта», то есть П. И. Мельникова-Печерского.

Особенный интерес для истории мировоззрения Салтыкова представляют те места статьи, преимущественно начало и конец второй редакции, где он говорит о «молодости» и о «будущем» русского народа, высказывает свое отношение к различным воззрениям на русскую жизнь и стремится выработать собственный взгляд на нее (см. об этом выше, стр. 530—531). Салтыков резко отрицательно отзывается об уже отмирающем, «сонном полуидиллическом воззрении, которое смотрело на народ, как на театральную толпу»[1], имея здесь в виду теории официальной, или, по выражению Чернышевского, казенной, народности. Но главная его критика направлена против тех трактовок общественной и духовной жизни народа, в которых идеализировались разного рода формы ограничения живых и законных интересов личности в пользу искусственных интересов «личности высшей и коллективной». Здесь Салтыков выступает впервые против крестьянской общины, и, быть может, не только в славянофильском ее понимании. Но прежде всего его критика затрагивает славянофильские взгляды и защиту общинного строя.

Славянофилы, и в первую очередь Константин Аксаков, считали общину основой народной крестьянской жизни, формой, обеспечивающей раскрытие лучших сторон духовной и материальной жизни простого русского человека. Решительный противник «порабощения частной личности в пользу общины, мира...», Салтыков, напротив того, считал общину одною из отрицательных и потому отвергаемых им форм русской народной жизни. По его мнению, она сковывала развитие личности общинника и обрекала его во всех сферах деятельности и быта на ненавистный Салтыкову «подвиг послушания».

Заявленное, но ненаписанное или не дошедшее до нас продолжение статьи о «Сказании...», судя по заключительным словам публикуемой рукописи, должно было быть посвящено «подробному объяснению» значения «раскола», как одного из «капитальных явлений русской жизни».

Стр. 36. *Селение Мануиловка* — один из главных заграничных центров старообрядческого (поповщинского) движения близ города Яссы.

Стр. 36—37. *...благословящая рука... изображена именословно* — то есть трехперстно, как это не признавали старообрядцы. Именословным такое сложение пальцев называли потому, что считалось, что оно воспроизводит начертание первых букв имени Иисуса Христа.

Стр. 37. *...сочинения протоиерея Андрея Иоаннова «о стригольниках», о котором мы ... предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее...* — Это намерение не было осуществлено. Точное название книги: «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, собранное из потаенных раскольничьих изданий, записок и писем», в четырех частях. В 1794 г. вышло ее первое,

---

[1] В первой редакции статьи это воззрение называется просто «сонным», а «идиллическим» именуется воззрение славянофильское.

в 1855 г. пятое издание. Автор книги — протоиерей одной из петербургских церквей, ранее был видным старообрядцем-беспоповцем поморского толка.

Стр. 38. *...воззрение благоразумно прячется за коноплянниками аскетизма и оттуда смело кричит своему противнику: «Найди меня в этой трущобе!»* — Под «коноплянниками аскетизма» разумеются, видимо, самодержавие и православие. Защита этих институтов как теоретиками официальной народности, так и славянофилами политически затрудняла открытую полемику с ними. В этой связи уясняется и ссылка на французского католического писателя Луи Вейо (Veillot), крайнего реакционера. Выступая в редактируемой им ультрамонтанской газете «Univers» против прогрессивных общественных направлений, он неизменно характеризовал их как силы, непосредственно угрожающие официальной религии и бонапартистскому режиму. В вопросах религиозных он превозносил пользу для народа суеверий, предрассудков, насаждал веру в «чудеса».

Стр. 40. *Толпе, которая шла за Петром Пустынником...* — Речь идет о первом крестовом походе (1096 г.), вдохновителем которого был Петр Пустынник, или Петр Амьенский, военный, затем монах, аскет, фанатичный сторонник насильственного насаждения христианства.

Стр. 42. *Мы имели случай видеть ... другой вариант этого замечательного стиха...* — Приведенный текст стиха об Асафе-царевиче был списан Салтыковым с рукописи весной 1855 г. в одном из старообрядческих монастырей Нижегородской губернии, во время выполнения, вместе с П. И. Мельниковым (А. Печерским) служебных поручений по борьбе с «раскольниками». Это наиболее распространенная и полная редакция стиха; позднее она была издана П. А. Бессоновым (1861 г.).— См. «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 502—503.

Стр. 43. *«Повесть о Горе-Злосчастьи...»* — открыта в 1856 г. А. Н. Пыпиным и тогда же опубликована им и Н. И. Костомаровым в № 3 «Современника».

Стр. 46. *...любопытные разыскания проф. Буслаева.*— Статья Ф. И. Буслаева под названием «Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин. Древнее стихотворение» напечатана в журнале «Русский вестник» за 1856 г., т. IV, № 7, книги 1 и 2, стр. 5—52, 279—322.

Стр. 48. *...секта так называемых «странников» или бегунов* — особый толк старообрядчества (беспоповщины), возникший в 60-х — начале 70-х годов XVIII в. Собственно, датой основания толка считается 1772 г., когда его зачинатель, дважды беглый с военной службы Евфимий (ум. в 1792 г., точное его имя неизвестно), сам окрестил себя в «странствующую церковь». Выделение из беспоповщины нового толка бегунов означало протест против обогащения верхушки старообрядцев и забвения ею принципов аскетизма и общности имуществ. Толк получил преимущественное распространение в России в предреформенные десятилетия, особенно в Верхнем

Поволжье, на Севере и в разных местах центрально-промышленной области.

Стр. 49. *Имев случай практически изучать раскол...* — В 1854—1855 гг., во время подневольной службы в Вятке, Салтыкову было поручено производство расследования по одному обширному делу о «раскольниках». См. об этом: С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1. Изд. 2-е, М. 1951, стр. 352—365.

...в учении сект: федосеевской и филипповской... — Федосеевский толк — одно из разветвлений беспоповщины, обособившееся на рубеже XVII и XVIII вв. на северо-западе Руси. Получил название по имени дьячка Крестецкого Яма близ Новгорода Феодосия Васильева. С 70-х годов XVIII в. главным центром федосеевцев стала Московская Преображенская община (Преображенское кладбище). Филипповский толк старообрядцев-беспоповцев возник в Поморье в 30-х годах XVIII в., как протест против компромиссной политики верхушки поморцев-старообрядцев по отношению к правящим властям. Назван по имени бывшего стрельца Филиппа. К самоубийству филипповцы, как и старообрядцы других толков, вынуждены были прибегать, не желая идти на соглашение с преследующими их властями.

Секта сопелковцев — так иногда называли толк бегунов или странников (см. выше) по названию села Сопелки близ Ярославля, одному из главных центров его обоснования.

Стр. 50. *Филипане* — так именовался филипповский толк (см. выше) в некоторых церковно-«обличительных» книгах XVIII—XIX вв.

Стр. 53. *Афонская гора* — восточная часть Халкидонского полуострова (Греция), где с давних времен были расположены в большом количестве православные монастыри.

ЗАМЕТКА О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН

(Стр. 69)

При жизни Салтыкова не было напечатано. Впервые опубликовано В. В. Гиппиусом и М. В. Нечкиной в «Литературном наследстве», № 11—12, 1933, по автографической рукописи из архива М. М. Стасюлевича.

Для настоящего издания текст заново сверен с автографом В. Н. Баскаковым. Отдельные элементы текста утрачены вследствие ветхости рукописи и воспроизводятся по публикации «Литературного наследства». Эти места отмечены квадратными скобками.

В рукописи зачеркнуты следующие два фрагмента:

Стр. 71, строка 16 сн., *после слов* «с своими выгодами»: «И притом какая надобность вооружать помещика понудительными мерами? не будет ли он через это сделан судьею в своем собственном деле? сверх того, разве нельзя это право употреблять понудительные меры, право наказывать вру-

чить третьему лицу или учреждению, которое непричастно интересам ни той, ни другой стороны?»

Стр. 76, строка 1 св., *после слов* «удержать его»: «Существует ныне вид преступлений, известных под именем неповиновения власти помещика, грубостей, ослушания и т. д. Эта категория преступлений проистекает из существа крепостного права и в этой среде имеет законное право гражданственности, но с уничтожением личной крепостной зависимости было бы странным анахронизмом оставлять в своей силе прежний вид «крепостных преступлений».

В рукописи имеется также несколько других, мелких вариантов чисто стилистического характера.

«Заметка...» не датирована. Но имеющееся в тексте скрытое цитирование статьи Б. Н. Чичерина, опубликованной в журнале «Атеней», 1858, часть первая, январь — февраль, кн. 8 (см. ниже, примечание к стр. 76 и 78), позволяет установить, что «Заметка...» написана не ранее марта 1858 г., когда вышла из печати указанная книжка журнала, и не позже 3 апреля того же года, когда Салтыков уехал из Петербурга на вице-губернаторство в Рязань и когда ему было не до писания статей.

Судя по имеющимся в тексте обращению к читателям и обещанию в непродолжительном времени следующей статьи, «Заметка...» предназначалась для печати. Возможно, что Салтыков намеревался поместить ее в «Русском вестнике», в котором сотрудничал и где как раз в это время, а именно со второй мартовской книжки, был открыт специальный отдел «Крестьянский вопрос». Но уже во второй апрельской книжке редакция журнала сообщила, что «по некоторым обстоятельствам отлагает в этом номере, а может быть и в следующем, продолжение открытого ею отдела...». «Обстоятельства», на которые глухо ссылалась редакция, заключались в следующем. 22 апреля 1858 г. в Главном комитете по крестьянскому вопросу был составлен и передан министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому для подписания и исполнения циркуляр, в котором говорилось: «В некоторых периодических изданиях начали появляться статьи, относящиеся до предпринятого улучшения и устройства крестьянского быта, где предполагаются не те начала, кои указаны правительством, излагается необходимость освободить крестьян вполне от всякой зависимости помещиков и даже от полицейской их власти...[1] Государь император, признавая необходимым, чтобы при настоящем положении крестьянского вопроса не были решительно допускаемы к напечатанию такие статьи, в какой бы форме они ни были, кои могут волновать умы и помещиков и крестьян, рассевая между сими последними нелепые толки и суждения, изволил высочайше повелеть:

---

[1] В «Русском вестнике» в упомянутом разделе «Крестьянский вопрос» было напечатано две статьи, в которых содержались предложения освободить крестьян от полицейской власти помещика: 1) И. Ш а т и л о в а — «Несколько слов о годовом заработке крестьянского тягла» (2-я мартовская книга 1858 г.) и 2) А. Г о л о в а ч е в а — «По поводу вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян» (1-я апрельская книга 1858 г.).

ни в каком случае не отступать от духа и смысла правил, указанных уже по сему предмету...»[1]

Основанное на императорском повелении распоряжение по цензуре от 22 апреля 1858 г. запретило в печати «критику главных начал, в высочайших рескриптах ... указанных»[2]. «Заметка...» Салтыкова целиком подпадала под это цензурное запрещение и, вероятно, именно по этой причине и не была опубликована.

17 декабря 1857 г. были обнародованы рескрипты Александра II виленскому военному, гродненскому и ковенскому генерал-губернатору В. И. Назимову от 20 ноября и санкт-петербургскому военному генерал-губернатору П. И. Игнатьеву от 5 декабря, в которых впервые публично было заявлено о начавшейся подготовке к отмене крепостного права. «Заметка...» Салтыкова является откликом на эти правительственные документы, привлекшие к себе напряженнейшее внимание всей страны.

Рескрипты намечали такие основные положения крестьянской реформы:

«1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они, в течение определенного времени, приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того предоставляется в пользование крестьян надлежащее, по местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком, количество земли, за которое они или платят оброк, или отбывают работу помещику.

2. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, помещикам же предоставляется вотчинная полиция...»[3]

Рескрипты предписывали открыть в губерниях комитеты для составления «проекта положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян».

Сопроводительные «отношения» к императорским рескриптам министра внутренних дел С. С. Ланского предусматривали, что крестьяне «...должны быть сначала, в состоянии переходном, более или менее крепки земле; а потом уже в окончательном, когда правительство разрешит им выход из одной местности в другую»[4]. Переходное состояние не могло превышать 12 лет. Заведование делами обществ крестьян предоставлялось мирским сходам и составленным из крестьян мирским судам, но «под наблюдением и с утверждения помещиков». «Отношения» предусматривали

---

[1] «Материалы для истории упразднения крепостного состояния...» (1855 до 1858), Берлин, 1860, стр. 245—247.

[2] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре», СПб. 1862, стр. 428.

[3] «Санкт-Петербургские ведомости», № 274 от 17 декабря 1857 г.

[4] «Сборник правительственных распоряжений и официальных известий по улучшению быта помещичьих крестьян с 20 ноября 1857 по 20 мая 1858 года», М. 1858, стр. 29.

организацию специальных уездных присутствий «для надзора за введением и соблюдением новых правил и для разбора недоразумений, могущих возникнуть между помещиками и крестьянами»[1].

«Заметка...» Салтыкова направлена в основном против того пункта в проекте реформ, которым предусматривалось предоставление помещику, на время «переходного состояния», полицейской власти в его имении («Помещикам же предоставляется вотчинная полиция»). Распоряжение по цензуре 16 января 1858 г. запрещало публикацию статей, «где будут разбирать, осуждать и критиковать распоряжения правительства», относящиеся к готовящемуся освобождению крепостных[2]. Поэтому Салтыков свою критику рескриптов облекает в форму их толкования. Подобный же прием был использован Н. Г. Чернышевским в его статье «О новых условиях сельского быта»[3].

По мнению Салтыкова, на время «переходного состояния» отношения крестьян и помещиков должны рассматриваться не как «личные», а как чисто «имущественные», как отношения арендатора и землевладельца. Отсюда делается вывод, что необходимость в полицейской власти помещика отпадает. Более того, предоставление помещикам сферы полицейской деятельности в их имениях означало бы, что «крепостное право ... не будет de facto уничтожено». И Салтыков предлагает толковать слова правительственного проекта «вотчинная полиция предоставляется помещику» не буквально, а как данное «в общих чертах» указание на будущее административно-полицейское устройство. В основе такого устройства, по мнению Салтыкова, должны лежать «муниципальные начала», то есть участие в полицейском управлении всех сословий, в том числе и крестьян. В этой части «Заметки...» Салтыков развивает мысли, изложенные им в его служебной «Записке об устройстве градских и земских полиций», дошедшей до нас в изложении и в цитатах К. К. Арсеньева в его работе «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)».

Хотя окончательный вариант крестьянской реформы во многом отличался от предложенного в рескриптах, пункт о вотчинной полиции сохранился в Положениях 19 февраля. Помещику было предоставлено право вмешиваться в дела крестьянской общины, против чего восставал Салтыков в «Заметке...»[4].

Стр. 69. *Меры правительства по изменению и устройству быта помещичьих крестьян...*— Даже приступая к подготовке реформы, царизм боялся

---

[1] «Сборник правительственных распоряжений...», цит. изд., стр. 31.

[2] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре», цит. изд., стр. 422.

[3] «Современник», 1858, № 2.

[4] См. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», статьи 18, 148—163.— Полн. собр. законов Российской империи, собр. второе, т. XXXVI, отд. первое, 1861, стр. 143.

открыто произнести слова «отмена крепостного права». Если в первом (секретном) сопроводительном отношении С. С. Ланского к рескрипту Назимову говорилось об «освобождении крепостного сословия», то во всех последующих, публиковавшихся отношениях это выражение было заменено термином «устройство и улучшение быта помещичьих крестьян».

Стр. 71. *Одни полагают, что на время переходного состояния необходимо вооружить помещика... правом наказания...* — Эта мысль неоднократно высказывалась в печати. Она развивается, например, в статье А. К—ина «Предположение об устройстве крестьянского быта и помещичьих имений по Рязанской губернии» («Сельское благоустройство», отдел «Русской беседы», 1858, кн. I, № 1, январь).

Другие идут еще далее и смотрят на помещиков как на прирожденных полицийместеров в районе своих имений... — В том же выпуске «Сельского благоустройства», где опубликована указанная статья А. К—ина, помещена статья В. Лыкошина «Мысли бельского вотчинника по вопросу об устройстве быта смоленских крестьян», где утверждается, что помещик — идеальный полицеймейстер, с которым не может сравниться никакой чиновник. Народ, заявляет В. Лыкошин, свыкся с тем, что помещик — заботливый блюститель порядка, а «мирские сходы, сельские суды не могут действовать с тем единством, которого требует самодержавная власть в обширном государстве».

Стр. 74. *Наконец, явятся... и такие имения, которых крестьяне... приобретут себе от помещика участок земли в свою полную собственность.* — Ни царские рескрипты, ни сопроводительные к ним отношения С. С. Ланского не предусматривали такой возможности, но в печати этот вариант активно обсуждался (см., например, вызвавшую ряд откликов статью В. Ржевского «Несколько мыслей по вопросу о доставлении помещичьим крестьянам возможности приобретения поземельной собственности».— «С.-Петербургские ведомости», 15 марта 1858 г.). Официально возможность выкупа земельных наделов впервые была признана в «отношении» С. С. Ланского к начальнику Тверской губернии от 5 ноября 1858 г.

Стр. 74—75. *...полиция барщинских имений... оброчных... казенных... удельных... горнозаводских... находящихся на посессионном праве...* — Как по формам эксплуатации, так и по правовому положению, дореформенное крестьянство не представляло однородной массы. В черноземных губерниях, в Поволжье, Белоруссии, на Украине в помещичьих имениях господствовала барщина: не менее трех дней в неделю крепостные обрабатывали барскую запашку своим скотом и инвентарем. В нечерноземных губерниях преобладала оброчная форма эксплуатации, при которой помещик извлекал доход в виде продуктов или денег, доставляемых крепостными. Казенные имения находились в ведении министерства государственных имуществ; административную власть здесь осуществляли чиновники при некоторых формальных элементах крестьянского самоуправления. Удельные имения принадлежали императорской фамилии или ее отдельным лицам;

в отличие от других крепостных, удельные крестьяне не могли быть проданы. Имениями на посессионном праве назывались частные заводы, основанные на крепостном труде; производство здесь велось под правительственным контролем, а работники не могли быть проданы отдельно от заводов. Не продавались отдельно от заводов и приписанные к казенным заводам крестьяне.

Стр. 76. *Прибавляют, что наказание может быть окружено гарантиями для крестьян... крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления.*— Салтыков здесь цитирует, не называя ее, статью Б. Н. Чичерина «О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян»: «Наказание должно быть окружено гарантиями для крестьян; мера его должна быть определена законом, оно должно совершаться в присутствии мирских выборных с объявлением вины и, наконец, крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления» («Атеней», ч. 1, январь — февраль, кн. 8, 1858, стр. 512).

Стр. 77. *...мы не принадлежим к числу приверженцев бюрократии.*— По терминологии того времени, бюрократия противопоставлялась местному самоуправлению как аппарат централизованной государственной машины. В этом смысле Салтыков характеризует «специальное назначение» бюрократии: «охранять интересы государства от излишнего наплыва интересов местных».

Стр. 78. *...то, что в законе называется именем земства. До сих пор элементов этих у нас не было.*— В законодательстве предреформенной России термин «земство» упоминается исключительно как податно-фискальная категория. При этом под земством понимались «все обыватели губернии или области» независимо от сословий (см. Полное собрание законов Российской империи, собр. второе, т. XXVI, отделение первое, 1851, «Правила устройства земских повинностей», разд. 1, пп. 8, 9). Салтыков указывает, что как административно-политическое понятие земство, охватывающее все население, в крепостной России и не могло существовать.

Крепостное право наложило запрещение на целую половину народонаселения России (или около того)...— В письме И. В. Павлову от 15 сентября 1857 г. Салтыков также отмечал, что «половина России в крепостном состоянии». Эта цифра могла быть взята им из широко известной в те годы книги Л. В. Тенгоборского «Etudes sur les forces productives de la Russie», 1854, I, откуда она заимствована и Н. Г. Чернышевским (см. его статью «О новых условиях сельского быта».— «Современник», 1858, № 2). Другие источники указывали значительно меньший процент. По данным, собранным министерством внутренних дел в начале 1858 г. (опубликованы в мае), удельный вес крепостных в населении Европейской России составлял в 1857 г. 37,9% (А. Тройницкий. О числе крепостных людей в России.— «Журнал министерства внутренних дел», 1858, ч. 30).

Часто случается нам слышать мнение (а в недавнее время оно выразилось и печатно), что злоупотребления чиновников имеют своим источником тот же строй понятий и воззрений, которые служат основою для крепост-

ного права.— Имеется в виду и цитируется упомянутая выше статья Б. Н. Чичерина (см. прим. к стр. 76), в которой говорится: «В настоящее время общество сильно восстало против злоупотреблений чиновников. По-видимому, здесь нет никакой связи с помещичьим правом; а между тем, если мы вникнем поглубже, мы увидим, что оба происходят из одного источника... Лихоимец смотрит на свое место как на кормление, то есть как на источник частных барышей. Закон его за это преследует, а между тем самый же закон установляет в помещичьем праве общественную власть, основанную на частной прибыли. Может ли исчезнуть кормление беззаконное, когда рядом с ним существует кормление законное?» («Атеней», 1858, ч. 1, январь — февраль, кн. 8, стр. 489—490).

Стр. 79. *...даже там, где высшая власть, для обуздания произвола, связанного с одноличным управлением, нашла полезным окружить своих агентов коллегиями, она вместе с тем была вынуждена вооружить председателей этих коллегий правом давать предложения, сразу уничтожающие все коллегияльные мудрования.*— Согласно «Общему учреждению губернских правлений», в губерниях был создан коллегиальный орган, подчиненный сенату,— губернское присутствие, в состав которого входили губернатор (на правах председателя), вице-губернатор и три советника. Но этот же закон устанавливал: «Если губернатор не согласен с постановлением присутствия, то... приказывает исполнить, что считает нужным и законным» («Свод законов Российской империи», изд. 1857 г., т. II, разд. II, стр. 187, ст. 785).

Стр. 82. *Становые управления.*— В дореформенной России во главе уездной полиции стоял земский исправник, избираемый на эту должность дворянством. Уезд делился на станы, возглавляемые становыми приставами, которые назначались губернским правлением преимущественно из местных дворян.

ЕЩЕ СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ
(Стр. 84)

Статья была запрещена цензурой и при жизни Салтыкова не печаталась. Опубликована в 1915 г. в № 9 журнала «Вестник Европы», по автографической рукописи, хранившейся у М. М. Стасюлевича. Последующая судьба рукописи неизвестна. Как явствует из публикации «Вестника Европы» и редакционного примечания к ней, в конце утраченного или неразысканного автографа статьи имелись подпись и дата — «М. Салтыков. 23 февраля 1860 г. Рязань», а на первом листе надпись Салтыкова: «Если статья напечатается, то просят отпечатать особо 25 оттисков» и помета над нею: «Не одобряется». Вс. Суходрев в статье «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина» сообщает со слов М. М. Стасюлевича о другой карандашной пометке: «№ 90. Неудобно» («Новое время», 1910, № 12 155 от 13 января). Но, по-видимому, «неудобно» и «не одобряется» —

не две надписи, а одна, но только в первом или во втором случае неверно прочтенная.

История статьи такова. В февральском номере журнала «Вестник промышленности», издававшегося в Москве под редакцией известного финансиста Ф. В. Чижова, была помещена статья под заглавием «Косвенные налоги на фабрики», с подзаголовком «Рассказ проезжего», с подписью «Проезжий» и с эпиграфом «Не бойся суда, а бойся судьи». Статья в беллетристической форме описывала дорожные встречи автора и его беседу с городничим уездного города Нововласьевска, подвергшимся опале со стороны губернских властей и переведенного в другой уезд; потом автор, попадая в самый Нововласьевск, еще подробнее узнавал в нем о причинах опалы городничего. Причина, в изложении «Проезжего», заключалась в том, что некоторые добродетельные фабриканты этого города вместе со своим управляющим, англичанином, решили облагодетельствовать местных крепостных крестьян и взяли их к себе на фабрику рабочими, уговорив для этого помещиков, которым принадлежали крестьяне, дать им волю. Но губернское начальство злонамеренно вмешалось в это дело и стало преследовать как фабрикантов, так и местные власти, арестовывая ни в чем не повинных людей. Во враждебно-юмористических зарисовках губернского начальства особенно доставалось вице-губернатору, изображенному в образе бюрократа-формалиста, пляшущего под дудку своих подчиненных, чистота намерения которых в преследовании фабрикантов бралась под сомнение.

Статья «Проезжего» представляла собою весьма тенденциозное изложение так называемой «хлудовской истории» — преступной аферы с крепостными крестьянами группы помещиков Егорьевского и Зарайского уездов, Рязанской губернии, и богатейших фабрикантов этой же губернии Хлудовых. В раскрытии этого дела и передаче его в уголовно-следственное производство главную роль сыграл Салтыков, бывший в ту пору рязанским вице-губернатором. Статья «Проезжего» преследовала цель обелить виновников преступления и скомпрометировать Салтыкова. Автором статьи, скрывшимся под псевдонимом «Проезжий», был некто Н. Ф. Дубенский, старший советник Рязанского губернского правления и в этом качестве ближайший сослуживец Салтыкова.

Естественно, что Салтыков не мог не отозваться на это выступление — на этот еще один «скрежет зубовный» «либерального обличительства», вставшего, накануне падения крепостного права, на защиту уголовно наказуемых махинаций крепостников-помещиков и фабрикантов-миллионеров (название статьи связывало ее с салтыковским очерком «Скрежет зубовный» — сатирой на либеральную гласность,— только что тогда появившимся в январской книжке «Современника» за 1860 г.).

Как это давно уже установлено и на расширенной основе подтверждено новейшими архивными разысканиями И. В. Князева, статья Салтыкова, несмотря на памфлетную заостренность, строго документальна. Она

вся, включая мельчайшие подробности, построена на основе подлинных материалов следственного дела [1]. При этом, однако, Салтыков сохранил псевдонимические наименования лиц и местностей, которые были предложены в статье «Проезжего», и прибег к буквенным обозначениям других участников этого, по его определениям «чудовищного дела», этой «аферы, основанной на человеческом мясе». Все псевдонимы, сокращения и анонимные обозначения в статье полностью раскрываются при помощи архивных дел. Но для понимания сути статьи в таком детальном комментарии нет необходимости [2].

По-видимому, Салтыков первоначально рассчитывал напечатать свой ответ «Проезжему» в том же издании, где появилась статья последнего. Такая информация содержится в письме Златовратского к Н. А. Добролюбову из Рязани от 18 марта 1860 г.[3]. После отказа от этого намерения или неудачи предпринятой попытки — статья была передана в газету «Московские ведомости» и поступила в цензуру. Московский цензурный комитет статью запретил на том основании, что в ней давалось «описание злоупотреблений помещичьей власти, прикрытых формою законности». Салтыков опротестовал решение Комитета и потребовал нового рассмотрения статьи в Главном управлении цензуры. Требование это было удовлетворено. Статью переслали в Петербург, и чтение ее было поручено члену Главного управления А. Берте. Через пять дней, 24 марта 1860 г., Берте представил в Управление обширную записку. В ней он брал под защиту, как правильную и «безвредную», статью «Проезжего» (Дубенского) и резко осуждал ответ ему Салтыкова. Берте писал:

«Г-н Салтыков в своем возражении на статью Дубенского смотрит на все дело с другой точки зрения, он видит в помещиках и фабрикантах — посягателей на свободный труд крестьянина, аферистов на человеческое мясо... Его мысль одна — помещики, желая отпустить своих крестьян без надела землею, стараются сбыть их фабрикантам по контрактам с этими последними, даже неизвестным контрагентам ... Его статья выставляет уго-

---

[1] Основные материалы «дела» — см. в Госуд. архиве Рязанской области, фонд 5, оп. 50, св. 247, ед. хр. 13, и оп. 197, св. 11, ед. хр. 108 (сообщено И. В. Князевым, автором ряда документальных публикаций о Салтыкове по материалам Рязанского областного архива). См. также: 1) «Труды Рязанской ученой архивной комиссии» (за 1890 г.), т. V, № 8, Рязань, 1891, стр. 137; 2) А. Повалишин Рязанские помещики и их крепостные, Рязань, 1903 (глава «Вольноотпущенные»); 3) С. Н. Егоров Воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрине.— «Сын отечества», 1900, №№ 138 и 139 (вошло в сборник, составленный С. А. Макашиным.— «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 440—453).

[2] Укажем для примера, что город «Нововласьевск» в салтыковской статье (также и в статье «Проезжего») — это, в действительности, город Егорьевск Рязанской губ.; «Сараевский уезд» — Зарайский уезд; «Братья Х.»,— владельцы знаменитой в ту пору Егорьевской мануфактуры, миллионеры братья Хлудовы; «англичанин» — директор фабрики Хлудовых Ф. Х. Отсон и т. д.

[3] ИРЛИ (*неизд.*).

ловный характер всего дела, требует юридического разбора; сожаление читателей первой безвредной статьи о фабрикантах, глупо впутавшихся в чужое для них дело, о невинно удаленном городничем, теперь превращается в сильное негодование против помещиков, сознающих только свои выгоды и забывающих об интересах крестьянина... Как ни полезно допускать в литературу печатание опровержения на обличительные статьи литературного характера, но нельзя согласиться на напечатание еще не разрешенного уголовного дела, на обнародование важных злоупотреблений, еще не доказанных по суду и только скрепленных подписью известного литератора — первоначальника обличительной литературы нашего времени. Тем более в настоящее время нельзя предать гласности действия помещиков, когда разрешение крестьянского вопроса требует строгой осторожности со стороны цензуры».

Главное управление цензуры согласилось с мнением Берте и 26 марта 1860 г. окончательно запретило опубликование статьи, о чем 31 марта и была послана соответствующая бумага в Московский цензурный комитет [1].

Так как разоблачение «хлудовской истории» не смогло появиться в печати, Салтыков неоднократно пользовался ее материалами, чтобы в дальнейших своих произведениях довести до сведения читателей суть этого «чудовищного дела». Он обращался к нему не только в сатирах 60-х годов — «Соглашение» и «Литераторы-обыватели» (см. в т. 3 наст. изд., стр. 312 и 433 и прим. к ним), но и в произведениях поздних годов — в «Дневнике провинциала в Петербурге» и «Мелочах жизни».

Стр. 84. *...тому порядку вещей, который в настоящее время выражается нами словом «тово».*— Речь идет об освободительных веяниях в идеологии и настроениях русского общества периода падения крепостного права.

Стр. 85. *...два крокодила: некто Бесчленный и некто Лисичка.*— Обобщенные обозначения группы рязанских помещиков, принимавших участие в «хлудовской истории» (Хотяинцев, Буковские, Афанасьев, Злобин, Введенский, Улитина, Алабин и др.).

Стр. 86. *...чиновник особых поручений, который производит следствие* — чиновник особых поручений при Рязанском губернаторе Хросицкий. Он вел следствие по «хлудовскому делу» под непосредственным наблюдением Салтыкова.

...подобно Пояркову Печерского, поющему под тенью дерев «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».— Этот псалом поет герой одноименного рассказа П. И. Мельникова-Печерского, странник Поярков.

Стр. 87. *...как губернатор, так и вице-губернатор ... были только что определены к своим должностям...*— Определение М. К. Клингенберга губернатором в Рязань, а Салтыкова — вице-губернатором состоялось в марте 1858 г.; приступили же они к исполнению своих должностей в апреле.

---

[1] «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 132—134.

ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ 1861 г.

В течение апреля — октября 1861 г. Салтыковым были написаны шесть газетных статей по вопросам, связанным с проведением в жизнь крестьянской реформы. Пять из них были опубликованы. Одна статья («Ответ В. К. Ржевскому на статью в № 30 «Современной летописи») не была напечатана. О содержании ее — оно приводится ниже, на стр. 559,— известно лишь из цитат и пересказа К. К. Арсеньева, пользовавшегося для своих «Материалов для биографии М. Е. Салтыкова» черновыми автографами статей, впоследствии утраченными.

В настоящем издании статьи воспроизводятся по тексту первопечатных публикаций. Важнейшие варианты по «Материалам...» К. К. Арсеньева приводятся в примечаниях. Хотя почти все варианты возникли вследствие явно цензурных причин или цензурных же опасений самого автора, ввести эти варианты в основной текст не представлялось возможным, поскольку мы не располагаем ни подлинными рукописями, ни подробными сведениями о них, ни цензурными документами.

В составленном Н. В. Яковлевым «Хронологическом списке произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина» (т. 1, изд. 1933—1941 гг.) указана еще одна — седьмая — статья под заглавием «О членах от дворянства в губернских по крестьянским делам присутствиях». Но это, очевидно, недоразумение, восходящее к ошибке К. К. Арсеньева, принявшего часть рукописи статьи «К крестьянскому делу» за самостоятельную заметку, «посвященную специально членам от дворянства в губернских по крестьянским делам присутствиях».

Несмотря на специальный характер вопросов, обсуждающихся в газетных статьях 1861 г., цикл этот представляет существенный интерес для характеристики отношения Салтыкова к крестьянской реформе и к тому соотношению классовых сил, которое обнаружилось в связи с проведением реформы в жизнь. Значительная часть дворянства, недовольная реформой, проявляет оппозиционное настроение по отношению к правительству, настаивая, чтобы последнее компенсировало дворянство за отмену крепостного права расширением дворянских прав и привилегий. На этой почве возникает крепостническая оппозиция, мечтающая об установлении олигархической конституции. Одним из представителей этой группы был В. К. Ржевский, орловский помещик и видный чиновник министерства внутренних дел. Полемике с Ржевским посвящены четыре из пяти опубликованных газетных статей Салтыкова 1861 г. и упомянутая выше статья, оставшаяся в рукописи. Салтыков знал Ржевского еще по Московскому дворянскому институту, где он служил в годы обучения Салтыкова инспек-

тором и где зарекомендовал себя сторонником телесных наказаний[1]. В 1862—1863 гг. Ржевский выступал в «Северной почте» — газете министерства внутренних дел — под псевдонимом Василий Заочный против литературных произведений Салтыкова.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
(Стр. 101)

Впервые — в газете «Московские ведомости», 1861, 27 апреля, № 91. Подпись и дата: «М. Салтыков. 17 апреля 1861 г.». В «Ответе г. Ржевскому» (см. наст. том, стр. 121—130) Салтыков указал, что статья «Об ответственности мировых посредников» была напечатана в «Московских ведомостях» не совсем в том виде, в каком была написана, и что выражения «найдутся средства», за которое особенно ухватился в полемике Ржевский, «вовсе в ней не было» (см. стр. 123).

Статья написана в связи с появлением заметки В. К. Ржевского «Несколько слов о дворянстве» в официозной и субсидируемой правительством газете «Наше время» (1861, № 11). Автор заметки выступил с «воззванием» о праве дворянства на политическое преобладание в государстве и о необходимости охранения всех прочих привилегий дворянства, как наиболее просвещенной части общества.

Конкретным предметом полемики с Ржевским Салтыков избрал актуальный вопрос о мировых посредниках. Институт их был учрежден Положением 19 февраля 1861 г. На обязанностях мировых посредников лежало практическое проведение в жизнь реформы и урегулирование отношений между помещиками и крестьянами. Мировые посредники назначались губернаторами из числа потомственных дворян-помещиков, удовлетворявших определенному образовательному и имущественному цензу. Они наделялись широкими полномочиями, в частности административно-полицейскими, и могли подвергать крестьян аресту на срок до 7 дней и наказанию розгами до 20 ударов.

Мировые посредники по своим правам были приравнены к уездным предводителям дворянства, которые были независимы от местной администрации и подвергались «замечаниям, выговорам и суду не иначе как с разрешения правительствующего Сената» (Свод законов, изд. 1857 г., т. III, «Устав о службе по выборам», разд. 1, стр. 269). Крепостническое дворянство увидело в независимости мировых посредников от местных властей ликвидацию каких-либо ограничений помещичьего произвола при проведении реформы в жизнь. В противовес крепостнической апологии *независимости* мировых посредников, пронизывающей статью В. К. Ржевского, Салтыков выдвигает вопрос об *ответственности* мировых посредников.

---

[1] С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2-е, М. 1951, стр. 96—118.

Главная цель выдвигаемых в статье предложений об учреждении губернских съездов мировых посредников, о публикации материалов работы этих съездов в местной печати и др.— поставить практику проведения крестьянской реформы под контроль не только правительства, но и общества, «гласности». Проекты Салтыкова направлены «против ноздревских поползновений мыть наше грязное белье втихомолку». Ржевский отнесся к статье Салтыкова как к резкому антидворянскому выступлению, каким она и была в действительности. Отсюда продолжение полемики статьей Ржевского «Ответ на статью г. Салтыкова об ответственности мировых посредников» в «Современной летописи» (1861, июнь, № 22) и статьей Салтыкова «Ответ г. Ржевскому» (см. прим. к этой статье на стр. 558—560).

Стр. 103. *...с теми или другими материяльными выгодами.*— Формально мировому посреднику жалованье не устанавливалось, но «на издержки по отправлению должности» в его безотчетное распоряжение отпускалось по 1500 рублей ежегодно.

Еще недавно, на судебных следователях...— Должность судебных следователей была учреждена в 1860 г. Ранее следствия по уголовным делам велись полицией.

Трифонычи — одно из обозначений дворян-помещиков в салтыковской сатире и публицистике.

Стр. 104. *Легкость получить возмездие...*— Здесь слово «возмездие» употреблено в его старинном значении: воздаяние, награда, средства к существованию.

...у нас теперь «мода ездить в деревню и идти в посредники», как выразился недавно «Русский вестник»...— В обозрении «Современной летописи» (изд. «Русского вестника») № 13 от 29 марта 1861 г., стр. 15, говорилось: «Теперь становится даже модой ехать в деревню и идти в мировые посредники. Всегдашние столичные жители оставляют столицы и хотят служить каждый своему краю. Такое настроение, распространившееся в высшем обществе обеих столиц, значительно облегчает начальникам губерний выбор людей, способных занять должности мировых посредников...»

Стр. 105. *Не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет статский советник Стрекоза...*— В пьесе 1862 г. «Погоня за счастьем» («Сатиры в прозе») эти персонажи салтыковской сатиры также фигурируют в качестве влиятельных лиц, рекомендующих кандидатов на должности мировых посредников. Эти персонажи выступают и в ряде других произведений Салтыкова, в том числе и позднейших («Помпадуры и помпадурши» и др.). В «Матрене Ивановне» современники угадывали намек на Минну Ивановну Буркову, влиятельную в 50—60-е годы фаворитку министра двора гр. В. Ф. Адлерберга (см. подробнее т. 3 наст. изд., стр. 610).

...выбор падет на людей порядочных и добросовестных.— Даже правительство первоначально было напугано крайней реакционностью многих

мировых посредников, видя в ней одну из причин крестьянских волнений (см. доклад министра С. С. Ланского Александру II от 16 апреля 1861 г. в кн. «Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы 1861—1862 гг.», М.— Л. 1950, стр. 15—18). Однако, как показало время, среди мировых посредников оказалось немало и либерально настроенных дворян, выступивших даже с коллективными отказами проводить в жизнь крепостнические Положения 19 февраля. Вследствие этого мировые посредники «первого призыва» были распущены и заменены людьми, целиком угодными властям.

Стр. 107. *...члены уездных мировых съездов, определяемые от правительства...* — Согласно «Положению о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» в работе мировых уездных съездов принимали участие специально назначенные губернатором чиновники (от двух до четырех на губернию), которые именовались «членами от правительства».

...члены губернских присутствий... — В состав губернского по крестьянским делам присутствия входили губернатор, губернский предводитель дворянства, управляющий палатой государственных имуществ, губернский прокурор, два местных помещика, назначенные министром внутренних дел, и два помещика, избранные предводителями дворянства.

К КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ
(Стр. 109)

Впервые — в газете «Московские ведомости», 1861, 30 апреля, № 94. Подпись: «М. Салтыков». В «Материалах...» К. К. Арсеньева находим следующий вариант, место которого в тексте не обозначено, но предположительно может быть отнесено в самый конец абзаца, начинающегося словами: «Случаи, требующие этого действия...» (стр. 110): «Действие полиции, как оно до сих пор представлялось в понятиях народа, есть нечто не успокаивающее, но даже производящее результаты совершенно противоположные...»

Вряд ли можно сомневаться, что слова эти не попали в печать по причинам цензурного характера.

Обнародование Положений 19 февраля, начатое 5 марта в Петербурге и Москве, сразу же вызвало крутую волну крестьянских волнений в стране. Крестьяне были разочарованы «волей» и считали манифест царя о грабительской реформе поддельным документом, сфабрикованным помещиками. Уже в марте волнения происходили, по далеко не полным официальным данным, в восьми губерниях, а в апреле они охватили двадцать восемь губерний[1]. Наибольшую известность приобрело выступление кре-

---

[1] П. А. Зайончковский. Отмена крепостного права в России, М. 1954, стр. 164.

стьян в с. Бездна Казанской губернии 12—19 апреля, при подавлении которого 70 человек было убито, 21 человек получил смертельные ранения, а руководитель крестьян Антон Петров расстрелян. Хотя сообщение о безднинских событиях появилось (в официозной «Северной пчеле») только 15 мая, известия о кровавой расправе в Бездне сразу же широко распространились по России. Нет сомнения и в том, что по своему положению вице-губернатора Салтыков очень скоро узнал о событиях в Бездне, так же как о расстреле 18 апреля крестьян в селе Кандеевка, Пензенской губернии, из источников официально-служебной информации.

Насколько удалось установить, статья «К крестьянскому делу» была первым в подцензурной русской печати откликом на крестьянские волнения, вызванные обнародованием манифеста и Положений 19 февраля.

В своей статье Салтыков не только энергично протестует против полицейской расправы, но и проводит мысль о необходимости серьезных уступок крестьянству со стороны помещиков. Там, где крепостники искали «подстрекательство», Салтыков видел закономерное недовольство масс.

При оценке этой, как и других газетных статей, Салтыкова следует учитывать, что писатель, занимавший в то время видный административный пост тверского вице-губернатора, выступая под своим полным именем, должен был особенно тщательно «конспирироваться» в цензурном отношении. Так, вряд ли отражают действительные взгляды Салтыкова упования на благотворную роль губернских присутствий и надежды, что помещики сами позаботятся об уничтожении смешанной повинности. Практика проведения реформы даже в славившейся своим «либерализмом» Тверской губернии учила иному. Статья «К крестьянскому делу» опубликована 30 апреля, а 11 мая Салтыков пишет Е. И. Якушкину: «Губернское присутствие, очевидно, впадает в сферу полиции, и в нем только и речи, что об экзекуциях... Крестьяне не хотят и слышать о барщине и смешанной повинности, а помещики, вместо того чтоб уступить духу времени, только и вопиют о том, чтобы барщина выполнялась с помощью штыков».

Одобрительный отзыв о статье «К крестьянскому делу» содержится в выступлении «Современной летописи» (1861, № 20, от 17 мая, стр. 17) по поводу безднинских событий.

Стр. 109. *...смешанная повинность...* — то есть сочетание барщины (обработка помещичьей земли трудом крестьянина) и оброка (денежные взносы, которые крестьяне делали помещикам взамен барщины).

Стр. 110. *...число рабочих дней достигает 50 с тягла в год...* — В крепостном хозяйстве единицей, с которой насчитывались повинности, было тягло — семья, состоящая из двух работников: мужчины (от 17 до 55 лет) и женщины (от замужества до 50 лет).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТИННОМ ЗНАЧЕНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

(Стр. 112)

Впервые — в газете «Московские ведомости», 1861, 11 июня, № 128. Подпись: «М. Салтыков». При публикации текст подвергся цензурному вмешательству (см. А. Попельницкий. Специальная цензура книг и статей по крестьянскому вопросу в 1861—1862 гг.— «Русская старина», 1916, № 2, стр. 301).

«Материалы...» К. К. Арсеньева содержат следующие варианты доцензурного текста:

Стр. 112. *После слов:* «назовет его сиятельством» *было продолжено:* «и поцелует у него руку».

Вместо слов: «учинит дебош, о котором долго, между гаваньцами, будут переходить из рода в род преувеличенные рассказы» *было:* «...учинит дебош. Я даже не прочь от мысли, что он напьется пьян и что-нибудь напаскудит мимоходом».

Стр. 114. *Вместо слов:* «не предъявить чего-нибудь лишнего» *было:* «не попривередничать малость».

По-видимому, после слов: «А между тем люди, предъявляющие относительно крестьян, ожидания и требования буколического свойства, выискиваются нередко» *в рукописи следовал текст, приведенный Арсеньевым без кавычек, то есть, возможно, в пересказе:* «Они ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство благодарности за дарованные права владеет не всецело. Отсюда те дикие вопли, которые нередко слышатся в так называемом образованном обществе; отсюда неистовые воззвания к насилию, как единственному убежищу против черной неблагодарности и единственному средству для насаждения надлежащих чувств в черствой душе крестьянина».

Стр. 115. *Вместо слов*: «Не на завладение ферулой, а на искоренение понятия о необходимости ее ∾ этих учреждений» *было:* «Не на завладение ферулой, а на исторжение ее из рук прочих административных мест и на предание ее всенародно сожжению должно быть обращено ревнивое внимание крестьянских учреждений».

Стр. 118. *После слов:* «а дядя Корней записывается в книжечку, как будущий зачинщик и подстрекатель» *следовало продолжение:* «Кстати, о зачинщиках. Одна дама спрашивала некоторого глубокомысленного администратора, хвалившегося, что он в таком-то случае взял столько-то зачинщиков и поступил с ними по всей строгости (есть такие плоскодонные головы, которые и этим хвалятся!): «Скажите, пожалуйста, каким образом Вы умеете отличать зачинщиков? — Администратор вытаращил глаза и, по-видимому, изумился, как это ему никогда не приходил в голову подобный вопрос.— Вы, может быть, отличаете их по волосам: один раз зачинщики — белокурые, другой раз — брюнеты?» Администратор побагровел от злости, но удовлетворительного ответа не дал. Увы! Я и сам до сих пор не знаю, какие отличительные наружные признаки зачинщика. Мне

все сдается, что зачинщик — время и что его-то именно и следует подвергнуть полицейскому взысканию. Очень может быть, что я ошибаюсь».

Стр. 120. В изложении Арсеньева статья заканчивалась отсутствующим в печатном тексте предложением, чтобы особые мнения, подаваемые членами губернских присутствий, доводились до сведения центральной власти.

Настоящая статья, как и предыдущая, «К крестьянскому делу», написана в связи с происходившими в марте и апреле 1861 г. почти по всей Европейской России крестьянскими волнениями, вспыхнувшими в связи с разочарованием в реформе 19 февраля.

14 февраля 1861 г. был введен новый порядок публикации статей по крестьянскому делу: все одобренные цензурой статьи допускались к напечатанию только с разрешения государственного секретаря (см. «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре», СПб. 1862, стр. 457). После первых крестьянских волнений государственный секретарь В. Бутков дал указание цензуре не допускать в печати каких-либо рассуждений «о печальных событиях». Однако московский цензор, аттестуя статью Салтыкова как написанную «в тоне умеренном и хорошем направлении», просил в порядке исключения разрешения В. Буткова на ее опубликование, которое и было получено (см. А. Пепельницкий. Специальная цензура книг и статей по крестьянскому вопросу в 1861—1862 гг.— «Русская старина», 1916, № 2).

«Главный предмет» статьи состоит в том, чтобы, с одной стороны, убедить «проницательного читателя» в естественности и обоснованности тех «недоразумений», которые вызывают крестьянские волнения, а с другой, указать пути устранения причин этих «недоразумений» и рекомендовать такие средства к предупреждению и прекращению волнений, которые бы начисто «исторгли» из административной практики «ферулу» политического насилия. К всенародному сожжению этой «ферулы» Салтыков смело призывал в доцензурной редакции статьи (см. выше, вариант к стр. 115). Несмотря на вмешательство цензуры, Салтыков сумел провести в статье мысль, что причиной крестьянских волнений является неудовлетворенность крестьянских масс реформой. Но, настаивая на необходимости со стороны помещиков «пожертвования частью материальных выгод», он, однако, не касается главного требования крестьянства — ликвидации помещичьей собственности. Впервые в печати оно было поддержано Салтыковым после прихода в «Современник» (см., например апрельскую за 1863 г. хронику «Наша общественная жизнь» — т. 6 наст. изд.).

Стр. 112. *Галерная гавань* — район на Васильевском острове в Петербурге, заселенный в середине XIX в. преимущественно мелким чиновничеством.

Квартальный поручик.— В полицейском отношении Петербург начала 60-х годов делился на 56 кварталов, во главе которых стояли квартальные надзиратели. До 1838 г. помощники квартальных надзирателей назывались квартальными поручиками. Вероятно, что Салтыков употребляет уже

исчезнувшее из официальной терминологии наименование полицейского офицера, исходя из цензурных соображений.

Стр. 113. *Английская набережная* — парадно-аристократический район старого Петербурга; здесь находились посольства и особняки столичной знати.

Стр. 114. *...хоть на два годочка...*— Для введения в действие Положений 19 февраля был установлен двухлетний переходный период, в течение которого крестьяне должны были отбывать на помещика повинности в прежних формах и размерах. Уже в первом докладе министра Ланского Александру II о ходе проведения реформы (31 марта 1861 г.) отмечалось массовое недовольство крестьян этим практическим сохранением крепостного права еще на два года.

Стр. 115. *Ферула* — хлыст, розга (*лат.* ferula).

Стр. 118. *...барыня Падейкова.*— В рассказе 1859 г. «Госпожа Падейкова» Салтыков создал образ помещицы-крепостницы, испуганной и озлобленной слухами об отмене крепостного права (см. т. 3 наст. изд.).

ОТВЕТ г. РЖЕВСКОМУ
(Стр. 121)

Впервые — в «Современной летописи» (приложение к журналу «Русский вестник»), 1861, 28 июня, № 26. Подпись и дата: «М. Салтыков. 10 июня 1861 г. Тверь». «Материалы...» К. К. Арсеньева дают два следующих варианта:

Стр. 123. *Вместо слов:* «У нас ∾ в сфере своей деятельности» *было:* «В России, как между служащим дворянством, так и между неслужащим (но служившим), могут быть ералашисты, могут быть преферансисты, могут быть даже люди весьма серьезные и начитанные...»

Стр. 124. *По-видимому, вместо слов:* «Всякий, кто ∾ обычаях» *было:* «Отвращение, которое я питаю к неделикатным отношениям, достаточно доказывается всей моей литературной деятельностью, которая почти исключительно направлена к обнаружению их нелепости».

Статья написана по поводу полемического выступления Ржевского «Ответ на статью г. Салтыкова об ответственности мировых посредников», напечатанного в «Современной летописи», 1861, № 22.

Прикрывая защиту помещичьего своеволия фразами о необходимости борьбы с бюрократической централизацией, Ржевский упрекает Салтыкова в измене взглядам на бюрократию и земство, выраженным в рассказе «Неумелые» из «Губернских очерков» (см. наст. том, стр. 129—130). Разумеется, Ржевскому было совершенно ясно, по какой причине Салтыков «вступился» за централизацию и бюрократию. Он усматривал в них силы, в известной мере способные противостоять помещичье-крепостнической «земщине». Раскрывая в доносительно-булгаринской манере антидворянскую,

демократическую суть статьи, Ржевский сближал ее с «направлением известной школы реформаторов, желающих во что бы то ни стало благодетельствовать низшим классам». В этой связи он называет французского утопического коммуниста XVIII в. Гракха Бабёфа — организатора тайного революционного «Общества равных», участники которого требовали народовластия и лишения гражданских прав тех, кто не трудится. В рецензии на книгу Б. Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего» («Русский вестник», 1861, март) Ржевский относит к школе Бабёфа Сен-Симона, Фурье и Энгельса, «опровержению» книги которого «Положение рабочего класса в Англии» посвящена в основном рецензия. Статья Ржевского носила характер политического доноса, и в таком качестве заклеймил ее Салтыков. В № 30 «Современной летописи» Ржевский поместил «Письмо к редактору «Русского вестника» по случаю полемики с г. Салтыковым». Подготовленный Салтыковым новый ответ по неизвестным нам причинам опубликован не был. В «Материалах...» Арсеньева сохранился следующий фрагмент из не дошедшей до нас полемической статьи Салтыкова, относящийся к тому месту выступления Ржевского, где давалось определение бюрократии: «беспрерывная регламентация, беспрерывное вмешательство в частную жизнь, стремление заменить не только жизнь, но и самую совесть предписаниями начальства». В ответ на это Салтыков писал:

«Гораздо справедливее и проще было бы сказать, что бюрократия представляет собою в государстве орган центральной власти, которая, в свою очередь, служит представительницей интересов и целей государственных ... Г-н Ржевский напрасно берет на себя труд формулировать мою мысль так: везде, где нет земства, господствует бюрократия. Нет, я сказал и желал сказать: где нет земства, там нет и бюрократии, а есть чепуха, есть бесконечная путаница понятий и отношений, при существовании которых всякий отдельный общественный деятель получает возможность играть в свою собственную дудку».

«Отвергая обвинение в неуважении к общественному мнению,— излагает далее Арсеньев ход мыслей в статье,— Салтыков замечает, что и по отношению к общественному мнению не всегда подобает играть роль Молчалина». И затем вновь приводится цитата из салтыковской рукописи: «Бывают общества, где эксплуатация человека человеком, биение по зубам и пр. считаются не только обыденным делом, но даже рассматриваются местными философами и юристами с точки зрения права. Благоговеть перед мнениями таких обществ было бы не только безрассудно, но и бессмысленно».

Стр. 126—127. ... *не того прелестного незнакомца, к которому простирал свои руки Булгарин, а незнакомца другого... вопиющего, будто бы его со всех сторон обидели.*— Если Булгарин доставлял свои доносы в III Отделение — высший орган политической полиции самодержавия, то Ржевский, по мнению Салтыкова, апеллирует со своими инсинуациями ко всему дворянско-помещичьему классу, озлобленному реформой, усматривающему в отмене крепостного права крушение всего существующего порядка вещей.

Стр. 127. ... *француз Бабёф и русский полковник Скалозуб...*— В подготовленном сторонниками Бабёфа «Декрете об управлении» гражданскими правами безусловно пользовались лишь люди физического труда, занятые же наукой и преподаванием должны были для получения этих прав представить удостоверение о своей гражданской честности. На этом основании Ржевский сближает Бабёфа и грибоедовского Скалозуба, пытаясь доказать, что коммунисты — такие же противники просвещения, как и Скалозуб. «Защита просвещения» служит у Ржевского помещичьим интересам: по его мнению, в общественно-политической жизни должны участвовать только лица, имеющие материальный достаток и образование, то есть дворяне-помещики.

Стр. 127. *Шиканировать* — прибегать к крючкотворству, придираться (*франц.* chicaner).

Стр. 129. *...ставит мне в укор, что я подражаю «великим писателям, украшающим своими произведениями «Свисток».*— Ржевский намекал тут на Некрасова и особенно на Добролюбова, бывшего душой «Свистка» — сатирического отдела «Современника».

...словами одного из действующих лиц моего очерка «Неумелые».— Имеются в виду заключающие очерк слова мещанина Голенкова (см. т. 2 наст. изд., стр. 258).

ГДЕ ИСТИННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДВОРЯНСТВА?
(Стр. 131)

Впервые — в «Современной летописи» (приложение к журналу «Русский вестник»), 1861, 18 октября, № 42. Подпись: М. Салтыков. Из «Материалов...» К. К. Арсеньева следует заключить, что при публикации статьи текст ее значительно пострадал от цензуры и политическая острота его была существенно ослаблена. Приводим полностью рукописную редакцию статьи, как она дана в «Материалах...» — в цитатах салтыковского текста (в кавычках) и в его пересказе К. К. Арсеньевым (без кавычек). Текст, не попавший в публикацию «Современной летописи», набран курсивом:

«Покуда *г. Ржевский* приглашает дворян воспользоваться каким-то единственным в истории случаем, чтобы утвердить свое политическое преобладание над прочими сословиями, благоразумнейшие *и образованнейшие* из дворян помышляют не о преобладании и даже не о том, чтобы удержаться, так сказать, на поверхности возникающего *в России* земства, а о том, чтобы просто-напросто сделаться членами этого земства — членами не случайными, признающими за собой только права, а не обязанности, но действительными членами, связанными с земством всей совокупностью условий, налагаемых этим званием. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось известное сословие, действительная сила *свободного* государства лежит в земстве. Там источник материального его благосостояния; там же залоги дальнейшего его политического и умственного развития. Оторваться от всего этого — значило бы оторваться от общей жизни государства, значило бы стать в класс бобылей, *тот самый класс, в который некоторые благодетели*

человеческого рода так усердно хлопотали пристроить крестьян». В России необходимость дружной, единодушной работы всех общественных сил понималась до сих пор довольно слабо: помехи и преграды такая работа встречала со всех сторон. «Тут сословия, там ведомства, тут чины, там гильдии и разряды; все топорщится, все представляет свои особенные права, ни к чему нельзя приступиться, не сделавши наперед особенного и совершенно бессмысленного маневра. Однако русский человек покладист, привыкает ко всему. Привык и к маневрам,— так привык, что без них ему и жизнь не в жизнь: все равно что без клопов спать и без тараканов щи хлебать. И если бы расплодившиеся в Петербурге комиссии не доказали нам фактически, что мы ежечасно приносим в жертву наши интересы некоторому чудовищу, именуемому гилью, то мы и до сих пор были бы вполне довольны своей судьбой». Искусственные дробления, созданные администрацией, ею же могут быть и уничтожены. С этим уничтожением нелегко примириться большинству, а между тем примирение необходимо. С отменой крепостного права сословные интересы дворянства потеряли прежнее значение. «Напрасно толпа (увы! в каждом сословии, как бы высоко оно ни было поставлено, есть своя толпа!) старается удержаться за немногие крохи, упавшие с паскудной трапезы крепостного права и несметенные лишь по недоразумению; напрасно философы и юристы этой толпы усиливаются эскамотировать благодетельные последствия реформы, придумывая новые, обманывающие только зрение формы для упрочения того же крепостного права. Усилия эти останутся бесплодными уже потому, что они ставят дворянство вне общей жизни государства, а ему необходимо войти в самое сердце этой жизни». Констатировав признаки увеличивающегося сближения между народом и дворянством, Салтыков указывает на единственное средство упрочить это сближение, сделать его действительным и деятельным: помещик должен стать членом сельского общества и волости. *Закон этого не требует, но и не воспрещает, предоставляя разработку вопроса времени и общественному мнению.* Разрешение его в утвердительном смысле было бы одинаково полезно и для помещиков, и для крестьян под одним только условием: чтобы сближение было искренне. *Крестьяне сумеют различить волка от сторожевого пса, и дело, испорченное одним, долго не поправится даже при соединенных усилиях многих.* Помещик, желающий вступить в состав сельского общества и волости, должен предварительно окончить, путем выкупной сделки, все расчеты с бывшими своими крестьянами, и затем участвовать наравне с прочими членами общества, в платеже податей и повинностей, лежащих на обществе.

Статья «Где истинные интересы дворянства?» является заключительным звеном полемики Салтыкова 1861 г. с защитником «дворянской идеи» Ржевским. Отголоски полемики имеются в очерке Салтыкова «К читателю» из «Сатир в прозе» (см. в т. 3 наст. изд., стр. 263, 595, 597 и 601) и в статьях Ржевского «Да или нет? По поводу статьи Н. П. Семенова «Освобождение

крестьян в Пруссии» («Русский вестник», 1862, № 12, стр. 816—839), «Ответ на заметку в фельетоне № 50 «С.-Петербургских ведомостей» («Современная летопись», 1863, № 14).

Содержащиеся в статье призывы к сближению дворянства с народом были справедливо расценены в печатных откликах современников как совершенно нереальные[1]. Да и сам Салтыков вряд ли рассчитывал на то, что сколь-нибудь значительная часть помещиков искренне стремится к единению с народом. Позже, в 1863 г. в «Современнике» он язвительно высмеял «игру в сближение сословий» (см., например, апрельскую за 1863 г. хронику «Наша общественная жизнь» и очерк «В деревне» в т. 6 наст. изд.). Однако главное в статье Салтыкова — не просветительские апелляции к «благоразумнейшим из дворян», а заявленная в ней демократическая программа немедленной ликвидации наиболее вопиющих пережитков крепостничества.

Требование устранения общественно-политического господства помещиков в жизни страны, особенно деревни, отчетливо звучащее в статье, подкрепляется конкретными проектами экономических преобразований в интересах крестьянства. В дореформенной России дворянство было освобождено от уплаты государственных налогов, крестьяне же обложены подушной податью, которая к концу 50-х годов равнялась, по подсчетам директора кредитной канцелярии Ю. Гагенмейстера, поденной плате за 120 дней работы. Выдвинутый в статье Салтыкова проект реформы налогового обложения, переносящий основную тяжесть налогов на помещиков, был под его влиянием в феврале 1862 г. включен в известное письмо экстренного съезда дворян Тверской губернии Александру II (см. Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии, Калинин, 1939, стр. 107—108). Не меньшее значение придавал Салтыков скорейшему осуществлению так называемой выкупной сделки. Согласно Положениям 19 февраля крестьяне наделялись землей не в собственность, а в пользование, и за надел должны были в барщинных имениях отрабатывать на помещика 70 дней в год, а в оброчных — вносить от 8 до 12 рублей ежегодно. По соглашению с помещиком крестьяне могли выкупить надел. До совершения выкупной сделки крестьяне именовались «временнообязанными». Выкуп наделов стал обязательным только с 1881 г., а подушная подать отменена лишь в 1887 г. Но в условиях революционной ситуации 1861 г. Салтыков рассматривал немедленную отмену податной сословности, ликвидацию «временнообязанных» отношений и ряд других экономических и политических преобразований как реально возможные уступки, на которые помещики вынуждены будут пойти под давлением крестьянских волнений.

Стр. 131. ...*на поверхности возникающего земства...* — Проект земской реформы, то есть перестройки местного управления на сословно-представи-

---

[1] А. Винберг. По поводу статьи «Где истинные интересы дворянства?».— «Современная летопись», 1861, 29 ноября, № 48; Н. Карцов. Заметка на статью Салтыкова «Где истинные интересы дворянства?».— Там же. № 50, от 13 декабря.

тельной основе, разработала в министерстве внутренних дел в 1859 г. специальная комиссия под председательством Н. А. Милютина. К работам этой комиссии привлекался и Салтыков. Введена была земская реформа с 1864 г.

...стать в класс бобылей.— Бобыль — юридический термин, обозначающий одинокого и не имеющего надела крестьянина. В быту бобылем называли всякого человека, живущего обособленно от общества. В рукописной редакции (см. выше) Салтыков обыгрывал двузначность термина «бобыль», намекая на попытки крепостников лишить всех крестьян надела, превратить их в «класс бобылей».

Стр. 132. *...сила их должна заключаться не в предании...*— то есть не в опоре на исторически сложившиеся привилегии, которые определяются Салтыковым как «искусственно созданные права и преимущества».

Стр. 133. *Прочтите исчисление предметов, подлежащих ведению сельского схода.*— Это перечисление дано в «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

Стр. 134. *Когда податная и земская повинность переложена будет с душ на землю...*— Кроме подушной подати, поступавшей в государственный бюджет, крестьяне должны были вносить ряд так называемых земских сборов на внутригубернские нужды, а также выполнять натуральные земские повинности (дорожную, подводную и др.). Подушное обложение было введено еще при Петре I. О намерении отменить подушный принцип было заявлено правительством в 1859 г., но взимание подушной подати в Европейской России было прекращено лишь в 1877 г.

СТАТЬИ ИЗ «СОВРЕМЕННИКА» 1863 ГОДА

МОСКОВСКИЕ ПИСЬМА

(Стр. 139)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 163—176 (ценз. разр.— 5 февраля), и № 3, отд. II, стр. 11—12 (ценз. разр.— 14 марта). Подпись — К. Гурин. Псевдоним раскрыт А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 236); авторство подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 64—65, и т. 53—54, стр. 258—289). Рукописи не сохранились. Печатаются по тексту журнала.

Хотя точные данные об авторских планах «Московских писем» отсутствуют, из самого текста вытекает, что у Салтыкова был более обширный замысел, не осуществленный до конца. Очевидно, предполагался развернутый полемический цикл, в котором за первым письмом — о московском театре и вторым — о московской публицистике должны были последовать письма о науке, народности, праздности и чревоугодии в Москве. Такие

обещания содержатся в существующих двух письмах, тесно связанных между собой. Например, во втором письме говорится: «Я хотел писать вам о московской науке, о московской народности, о московской праздности, о московском обжорстве... Наука, народность и обжорство от нас не уйдут... Стало быть, об науке — до следующего письма...» Это следующее, третье письмо не появилось.

Исходный объединяющий замысел цикла «Московских писем» вызван, как всегда у Салтыкова, обстоятельствами современного момента и заключался в задаче обличения той идеологической «Москвы», которая после реакционного перелома 1862—1863 гг. в общественном движении давала во множестве примеры отступничества от былого сочувствия передовой русской мысли и все больше превращалась в оплот консерватизма.

Сатирические атаки Салтыкова направлены на разные явления в общественной жизни той «Москвы», о которой Герцен писал 1 июня 1862 г. в «Колоколе»: «...Как же она изменилась с тридцатых, сороковых годов... вместо Белинского — Павлов, в университете — проповедь рабского повиновения...» [1] и т. д. Салтыков то прямо затрагивает кричащие признаки этой «деженерации» (вырождения), то касается их обиняком.

Резко сдала позиции, пошла на попятную еще недавно либеральничавшая профессура. Университетский совет во второй половине 1862 г. передал газету «Московские ведомости» (собственность университета) на правах аренды М. Н. Каткову и его ближайшему сотруднику профессору П. М. Леонтьеву. Это сильно уронило общественный престиж университета и сыграло на руку реакции. Ибо Катков к тому времени уже полностью завершил свой поворот от недавнего либерализма к союзу с правительством. В июне 1862 г. Катков напечатал в «Современной летописи» (приложение к «Русскому вестнику») пасквиль на Герцена. Александру II пасквиль понравился. Вскоре после того как «Московские ведомости» перешли в руки Каткова, газета получила исключительное право печатать казенные объявления, что было одновременно и привилегией, и формой субсидии [2]. С этими фактами связан ряд сатирических выпадов в «Московских письмах». Например, и название выдуманного Салтыковым водевиля «Сила судьбы, или Волшебный четвертак», и куплет из этого водевиля об «интересах государственной казны», и некоторые «слухи» во втором «письме» подразумевают университетских профессоров, отдавших свою газету Каткову, и получение последним монополии на казенные объявления, что наделало тогда много шума. Скандал разросся после того, как Н. Ф. Павлов — издатель субсидировавшейся правительством газеты «Наше время», прежде весьма дружественно относившийся к Каткову,— заявил о несправедливости такой монополии. Возникла ожесточенная полемика (см. «Наше время», 1862, №№ 231, 242, 254,

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 106 (статья «Москва нам не сочувствует»).

[2] Подробнее см.: Ш. М. Левин. Общественная жизнь Москвы в 60-х годах (раздел «Поворот к реакции»).— В кн. «История Москвы», т. IV, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 317—322.

264, и «Современная летопись», 1862, №№ 44, 46, 48, 50), вызвавшая многочисленные насмешки демократической печати (см., например, в №№ 43 и 44 «Искры» в «Хронике прогресса» Г. Елисеева и в «трагической сцене» В. Курочкина «Лорд и маркиз, или Жертва казенных объявлений»). Об этом же эпизоде Салтыков упомянул на страницах «Современника» (1863, № 1—2) еще и в другой своей статье: «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» (см. наст. том, стр. 216). А в конце второго «письма» он издевательски распространяет и муссирует «слухи» о «примирении» обоих «антагонистов», которое все как-то не может состояться.

Другая тематическая линия «Московских писем» относится к обличению славянофилов и их газеты «День» (еженедельник), выходившей в Москве с 1861 г. под редакцией И. С. Аксакова. В начале своего существования газета выступала в качестве оппозиционного органа (с требованием созыва земского собора, свободы печати и др.) и подвергалась преследованиям цензуры. Но в дальнейшем она все больше сближалась с правительственной платформой.

Меру реакционного падения славянофильской группы «Дня» показало ее отношение к польскому восстанию 1863 г. «Друзья славянства» после неловких маневрирований выступили с поддержкой усмирителя повстанцев Муравьева-Вешателя и с нападками на Герцена, защищавшего на страницах «Колокола» демократические позиции в польском вопросе. С этой темой также связаны сатирические намеки Салтыкова: коленопреклоненный Аксаков, приносящий в жертву цыпленка, приготовленного à la polonaise, то есть по-польски, и др.

Таков общий исторический фон и главные сатирические темы незавершенного «московского цикла» Салтыкова.

I

Первое из «Московских писем», намечая тематическую перспективу всего цикла, специально посвящено Малому театру времен пореформенной реакции.

Салтыков высоко ценил реалистическое искусство Малого театра и в своей последней книге «Пошехонская старина» (глава XXIX) благодарно вспоминал о первых юношеских впечатлениях от этого театра в 40-е годы и о его тогдашних корифеях — Мочалове, Щепкине (см. также рецензию на «Записки и письма» М. С. Щепкина в наст. томе, стр. 436—439). Однако в «Московских письмах» он не ставил себе задачу характеризовать заслуги Малого театра перед русской культурой. Цель здесь сатирическая: резко противопоставить былое значение Малого театра как высокой общественной трибуны 40-х годов (в «письме» упомянуты Гоголь, Мочалов) его относительному упадку в первые пореформенные годы. Не претендует Салтыков и на оценку творчества Щепкина в целом. Недоверие Щепкина к Островскому,

к новому этапу развития критического реализма воспринято писателем как признак дряхлости некогда могучего таланта.

Непосредственный повод для сатирических обличений в первом «письме» дала постановка в Малом театре пьесы Ф. М. Толстого «Пасынок». Правая печать встретила ее сочувственно. Газета Павлова «Наше время» 30 ноября 1862 г. (№ 259) посвятила ей статью С. П. (С. Д. Полторацкого) «Новая драма на московской сцене». Для Салтыкова не только пьеса, но и ее беспринципный автор — «Феофилка», как называл его сатирик в частных письмах и разговорах,— были явлениями резко отрицательными.

В молодости, в 1820—1830 гг., Феофил Толстой пробовал свои силы в сфере салонного музицирования и исполнительства. Потерпев неудачу на этом поприще, он сделался музыкальным критиком (под псевдонимом «Н. Ростислав»), публицистом, писал повести, романы, пьесы, стал своим человеком в булгаринской «Северной пчеле», получил придворное звание гофмейстера и вплоть до 1871 г. занимал влиятельный пост в цензурном ведомстве — был членом совета Главного управления по делам печати и в этом качестве имел прямое отношение к политическому контролю над изданиями, в которых печатался Салтыков. Вместе с тем Ф. Толстой пытался заискивать перед демократической литературой. Ему принадлежат произведения, в которых он пробовал приблизиться к прогрессивным позициям. Таковы глухо упомянутые Салтыковым «Три возраста. Дневник, наблюдения и воспоминания музыканта-литератора» («Современник», 1853, №№ 10—12) и «Болезни воли» («Русский вестник», 1859, №№ 9—10). О последней повести позднее сочувственно отозвался Д. И. Писарев в статье «Образованная толпа» (1867) [1], а В. Н. Фигнер отметила в автобиографии, что повесть эта сыграла известную роль в ее идейном воспитании [2]. Но Салтыков не сделал исключения и для «Болезней воли», саркастически заметив, что экземпляры журналов с обеими повестями «все затеряны». Реакционность содержания и художественную несостоятельность «Пасынка» Салтыков обнажает приемом памфлетно-сатирического пересказа пьесы. К. И. Чуковский — автор специальной работы о Ф. Толстом — указал, что и та страница салтыковского «письма», где рассказана встреча с посторонним литературе «любезным стариком», также представляет собой памфлетный набросок с Феофила Толстого [3].

Салтыковское «письмо» содержит вместе с тем не только негативно-критический материал. Позитивную эстетическую ценность представляют общие суждения писателя о принципах реализма в театре, в актерском искусстве. Салтыков требует, чтобы сценический образ соответствовал жизненной правде, взятой во всех многосторонних ее проявлениях, в светотенях, в соче-

---

[1] Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 261—315.

[2] Вера Фигнер. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах, т. 1, изд. «Мысль», М. 1964, стр. 90.

[3] Корней Чуковский. Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову.— «Литературное наследство», т. 51—52. Н. А. Некрасов, ч. II, изд. АН СССР, М. 1949, стр. 573.

таниях уродливого и человечного. «Вот на этих-то человеческих сторонах, на этой-то человеческой основе и мирится актер со своею ролью»,— пишет он и отстаивает, в сущности, то качество актерской игры, которое ныне зовется внутренним перевоплощением. При всех оговорках, вызванных ничтожностью драматургии Ф. Толстого, Салтыков выделяет «даровитого актера» П. М. Садовского, отмечает реалистическую природу его искусства. Во имя торжества правды на русской сцене писатель высмеивает ремесло актерского внешнего «представления». Еще в «Губернских очерках» Салтыков писал (а потом повторял устами персонажа «Теней») про актеров, которые «играют кожей, а не внутренностями». В «письме» он иронически именует их «протеями», относя к ним москвича С. В. Шумского, петербуржца В. В. Самойлова и некоторых других, менее крупных актеров. Близкие оценки современных актеров давали и другие русские писатели, например Островский, Тургенев, Писемский [1].

«Московские письма», как и одновременно начатые печатанием статьи «Петербургские театры» (см. наст. том, стр. 163—215),— первые программные выступления писателя о сценическом реализме.

Стр. 139. *...М. С. Щепкин, в виде старого причетника, сдавшего дьяческое место дочери, дрожащим от слез голосом поет.*— В быту русского сельского духовенства уходивший на покой по старости причетник «сдавал» свое место в приходе мужу дочери, также священнослужителю. Салтыков сближает это с ситуацией водевиля Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин», герой которого, старый заштатный актер, добивается театрального дебюта для своей дочери.

Взято из водевиля «Гризетка Лизетта, или Нас не оставит бог!».— Такого водевиля (как и названных ниже двух других) не существовало. Салтыков пародирует названия репертуарных водевилей и куплеты из них в сатирических приемах «Свистка» (см. наст. том, стр. 275—304), насыщая их злободневными сатирическими намеками.

...г. Никита Крылов возлагает руки на г. Бориса Чичерина...— Пародируя обряд священнодействия, Салтыков намекает на «вольнодумство» профессора государственного права Б. Н. Чичерина; умереннейший либерал, он все же оказался единственным, кто возразил на университетском совете против передачи «Московских ведомостей» в аренду Каткову. Позднее Чичерин писал: «Можно утвердительно сказать, что этим роковым решением Московский университет сам наложил на себя руку» («Воспоминания Б. Н. Чичерина», Московский университет, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1929, стр. 81).

Еду ли по Спиридоновке, мимо редакции «Дня»...— На Спиридоновке (ныне улица Алексея Толстого) помещалась редакция славянофильской газеты «День», возглавляемой И. С. Аксаковым.

Стр. 140. *...проезжаю мимо Лоскутного трактира... молебны Молоху служат.*— Лоскутный трактир — он помещался в одной из улочек снесенного теперь квартала (на месте нынешней Манежной площади) — был признан-

---

[1] А. Ф. Писемский. Письма, изд. АН СССР, М.— Л. 1936, стр. 87.

ным «святилищем» знаменитого «чревоугодия» дворянско-купеческой Москвы. Образное сближение «сытости» с консервативным застоем — обычный прием салтыковской сатиры, разоблачающей «политику в быте» (М. Горький).

Стр. 143. *...вроде, например, г. Устрялова, автора знаменитой драмы «Слово и дело»...* — Пьесу Ф. Н. Устрялова «Слово и дело» Салтыков критиковал в статье «Петербургские театры» (см. наст. том, стр. 163—172).

Стр. 144. *Камелии* — женщины легкого поведения.

Стр. 145. *...дух долины ... сын фараона!* — высмеиваются названия двух репертуарных балетов на музыку Цезаря Пуни, впервые показанных в 1862 г. в Петербурге: «Сирота Теолинда, или Дух долины» в постановке Артура Сен-Леона (6 декабря) и «Дочь фараона» в постановке Мариуса Петипа (18 января).

Стр. 147. *Мы недоумеваем... нет прямого нисходящего потомства.*— Это примечание Салтыкова, оспаривающее, так сказать, юридические мотивировки сюжета «Пасынка», вызвало особое негодование Ф. Толстого. Догадываясь об истинном имени своего критика, он писал в феврале 1863 г. Н. А. Некрасову: «Что какой-то Гурин, критикуя пьесу, все переврал и ничего не понял, тут нет ничего удивительного», но «после этого и оберобличитель Щедрин ничто больше как полицейский чиновник» («Литературное наследство», т. 51—52, стр. 580).

Стр. 148. *...подражание драме г. Дьяченко «Жертва за жертву».*— Пьеса плодовитого драматурга В. А. Дьяченко «Жертва за жертву», поставленная в 1861 г. в Александринском театре и в 1862 г. в Малом, имела успех у публики, особенно благодаря сцене, изображающей привал ссыльных по пути в Сибирь.

Стр. 149. *Какое торжество готовит древний Рим?* — начало стихотворения К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс» (1816).

...г. Славин (сей презент Москвы Петербургу) не все же в златотканых одеждах ходит...— Актер А. П. Славин, отличавшийся внешней картинностью игры, служил в 1839—1842 гг. в Малом театре и, уволенный по прошению, поступил в 1845 г. в Александринский театр, где играл до года смерти (ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 97/212, ед. хр. 10 298). В 1863 г. среди его ролей были тень отца Гамлета («Гамлет» Шекспира), дож Венеции («Венецианский купец» Шекспира), император Юстиниан («Велизарий» в переделке П. Г. Ободовского), верховный воевода князь Дмитрий Трубецкой («Смерть Ляпунова» С. А. Гедеонова), Абдул-Гассан, калиф багдадский («Багдадские пирожники, или Волшебная лампа» П. Г. Григорьева 2-го), и т. п. «костюмные» роли.

Стр. 150. *Протей* — в греческой мифологии вещий старец, обитал в море и произвольно менял свой облик.

Стр. 151. *...почти ни разу не дали ни одной пьесы Островского, а потчуют все «Пасынками», да «Ветошниками», да «Извозчиками», да «Испорченными жизнями»?* — Справедливо сожалея, что ремесленные поделки, вроде «Пасынка» Ф. М. Толстого, исполнялись за счет хороших пьес, Салты-

ков все же не вполне точен. В 1862 г. в Малом театре шли четыре пьесы Островского (10 представлений), в 1863 г.— десять пьес Островского (63 представления). (См. Н. Кашин. Мартиролог Островского.— В сб. «Александр Николаевич Островский. 1823—1923», Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 38). «Ветошник», точнее, «Парижский ветошник» — мелодрама Феликса Пиа (1847), поставленная Малым театром 5 ноября 1862 г. в переводе М. П. Федорова и Ф. А. Бурдина. «Извозчик» — двухактная комедия, переведенная с французского К. А. Тарновским и В. П. Бегичевым, впервые сыграна в Малом театре 7 декабря 1860 г. «Испорченная жизнь» — комедия И. Е. Чернышева, впервые показана в Малом театре 22 января 1862 г.

II

Второе, и последнее, из «Московских писем» посвящено московской публицистике периода реакционного натиска 1863 г. Показывая несамостоятельность ее выступлений по главным вопросам внутренней жизни, прямую зависимость от официальных мнений Петербурга, писатель сравнивает московскую прессу этой поры с оркестрами крепостных музыкантов, которых помещики только пытались выдать за вольных артистов.

«Понижение тона» бывшей либеральной печати Салтыков усматривает, в частности, в том, что страницы газет и журналов заполняются или далекими от интересов русской жизни иностранными сообщениями, или мелкими фактами и фактиками местной хроники, иногда скандального содержания, вокруг которых создается видимость полемики по принципиальным общественным вопросам. «Руководящие» же статьи московская пресса заимствует из петербургских официозов: сатирик не без яда предлагает читателям войти в затруднительное положение московских редакций, поскольку Николаевская железная дорога иногда с задержкой доставляет из Петербурга газету «Русский инвалид», ставшую с середины 1862 г. официозом военного министерства, или «Северную почту», выходившую с начала 1862 г. в качестве официоза министерства внутренних дел. Поэтому Салтыков и называет московские органы печати не более чем «афишками», то есть такими органами, которые публикуют полученные тексты, не высказывая по ним суждения, да и не имея его. Поэтому же он дает им и другое прозвище: «полицейская литература».

Как в первом «письме» Салтыков, иллюстрируя идейное и художественное убожество «Пасынка», пародировал пьесу в намеренно пустых диалогах об устрицах от Елисеева и о покупке нового пальто, так и во втором «письме» он пародирует образцы мнимой, бессодержательной полемики между двумя главными газетами тогдашней Москвы — «Московскими ведомостями» М. Н. Каткова и «Нашим временем» его фактического единомышленника Н. Ф. Павлова, органами равно реакционными и законопослушными, равно боящимися иметь собственный взгляд даже на третьестепенные вопросы. Пародию на оригинальные материалы московских газет представляет собой заключительный раздел «письма», где в излюбленной газетами

форме «слухов» сатирик высмеивает своих идейных противников, выступающих в качестве основных персонажей этих заметок. Подобный сатирический прием Салтыков однажды уже применил в отрывках из «Характеров», которые он печатал в июле 1860 г. в «Искре» (см. т. 4 наст изд., стр. 197—201).

Но, пародируя мелкие пересуды московской прессы, иронически признаваясь, будто «и сам я больше наклонности чувствую к маленьким вопросам, нежели к большим», Салтыков до известной степени и скрывается за их невинной внешностью для того, чтобы высказать такие свои идеи, какие изложить открыто было бы трудно в условиях того времени.

Например, одним из «маленьких вопросов» был «вопрос» о награждении почетного гражданина И. И. Четверикова орденом св. Владимира за рвение, проявленное при сборе икон, риз и т. п. для белорусских церквей. В связи с этим газета «День» 19 января 1863 г. (№ 3) поместила «Письмо к редактору «Дня» историка и публициста М. О. Кояловича и сопроводила публикацию «Ответом редакции», где указывала, что подвиги благочестия не требуют официальных наград. В № 5 «Дня», от 2 февраля, редакции возражал попечитель Виленского учебного округа П. Н. Батюшков (брат поэта К. Н. Батюшкова); его письмо вновь сопровождал «Ответ редакции». Салтыков справедливо упоминает об этом как о примерах пустопорожней полемики. И лишь мимоходом, казалось бы, затрагивая вопрос о славянофильском культе «народности», Салтыков приходит, однако, к глубокому и обобщенному наблюдению. Говоря, что «эта «народность» оказывается, право, ничем не хуже государственности», он отметил подстегнутое польскими событиями смыкание славянофильской идеологии аксаковского лагеря с правительственной идеологией и политикой. Наконец, возникала здесь и еще одна, самим Салтыковым поставленная тема. «...Никто мне не будет выдавать за философию то, что в действительности не более как балет...» — пишет сатирик, неожиданно сближая «чудеса» идеалистической философии, ее спиритуализм с балетными «чудесами» и «духами». Дальше в «письме» это сближение конкретизируется, иронически снижая реакционные концепции философа-идеалиста П. Д. Юркевича.

Повод для постановки этой темы сам по себе опять-таки незначителен. 15 января 1863 г. во время представления балета Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни «Наяда и рыбак» упала и несколько ушиблась танцовщица Н. К. Богданова, исполнительница партии Наяды, что, впрочем, не помешало ей довести спектакль до конца. Инцидент был раздут в газетах. 22 января «Московские ведомости» (№ 17) поместили статью Н. М. Пановского «Бенефис г-жи Богдановой», где вина возлагалась на машиниста-декоратора Большого театра Ф. К. Вальца. 6 февраля газета (в № 29) опубликовала оправдательное письмо Вальца «По поводу статьи г. Пановского о бенефисе г-жи Надежды Богдановой». 13 февраля там же (в № 33) Богданова напечатала свой «Ответ г. Вальцу», а 15 февраля еще одно дополнительное «Письмо в редакцию»; его сопровождала длинная статья Пановского в защиту пострадавшей танцовщицы. На другие театральные темы попутно писал в той же газете Т. Арновский — то есть известный в будущем

драматург К. А. Тарновский, сочинявший, между прочим, и балетные сценарии. Салтыков саркастически заключал, что московские газеты одержали «еще маленькую победу». Он воспользовался случаем опять показать их пустословие. Но главной его целью было сравнить с неправдоподобными фантазиями Вальца, давшими осечку, фальшивую философию Юркевича, который как раз в это время приехал в Москву со своими лекциями. Если «г. Вальц был разбит на всех пунктах», то, намекает сатирик, участь его суждена и Юркевичу. По замечанию С. С. Борщевского, «в «Московских письмах» публицист «Современника» заговорил о «балетной полемике» только для того, чтобы, воспользовавшись ею как поводом, нанести меткий удар по мракобесию в области идеологии, неотделимому от политической реакции» [1]. Сатирические атаки на философию Юркевича посредством балетных аналогий Салтыков проводил и дальше, прежде всего в «задушенном» цензурой памфлете о балете «Наяда и рыбак» (см. наст. том, стр. 199—215) и в его позднейшей модификации — в «Проекте современного балета» (см. т. 7 наст. изд.).

Касаясь Юркевича и его лекций о философии в Москве (они начались 18 февраля 1863 г., и газеты их рекламировали), Салтыков исподволь подходит к теме третьего, неосуществленного «письма» «московского цикла» — о науке. В подборке «слухов» сатирик предпринимает одну из первых своих атак на псевдонауку, на безыдейное гелертерство и фактографическое крохоборство. Сатира связывается с деятельностью и трудами известных библиографов М. Н. Лонгинова, Г. Н. Геннади и П. А. Ефремова (под псевдонимом А. Эфиров выступавшего в «Отечественных записках»), А. А. Краевского. Салтыков высмеивает, для примера, статейку Лонгинова с громким названием «Восстановление истины», напечатанную 8 февраля 1863 г. в «Московских ведомостях» (№ 31): там устанавливалось всего лишь, что французский поэт и политический деятель Жан-Пьер-Гийом Вьенне (Vienné) в 1833 г. заявил в палате депутатов не «La legalité nous tue» («законность губит нас»), а «La legalité actuelle nous tue» («нынешняя законность губит нас»). Другой пример «научного» вытеснения со страниц печати больших проблем «маленькими вопросами» — «текстологический» спор между Эфировым-Ефремовым и Лонгиновым в «Отечественных записках» (1862, №№ 7 и 12). В связи с этим спором Салтыков насмехается и над такой «наукой», и над издателем журнала Краевским. Подготовка полного собрания сочинений и биографии Краевского, который ничего не написал и ничего не совершил,— нелепица, выставляющая на смех участников этого придуманного сатириком предприятия. Насмешки над «библиографами», означающие, разумеется, не отрицание библиографии, а критику всякого узкоспециального беспроблемного подхода в науке, содержатся и в других произведениях Салтыкова. Вершины сатирического развития эта тема достигла в гл. VI и IX «Дневника провинциала в Петербурге» и в двенадцатом из «Писем к тетеньке» (см. тт. 10 и 14 наст. изд.).

---

[1] С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, Гослитиздат, М. 1956, стр. 150.

Другой пример мелкотемья московских газет — шумиха, поднятая вокруг выборов в органы городского самоуправления. В 1862 г. Москва получила примерно такое же «Положение» об общественном управлении городом, какое имел с 1846 г. Петербург. В Московскую городскую думу наряду с лицами других сословий (кроме крестьян) могли теперь избираться и дворяне, прежде туда не входившие, число же избирателей было сильно ограничено высоким имущественным цензом [1]. «Нового, собственно, конечно, ничего, но ведь в этом-то и важность, что ничего нового»,— иронизирует Салтыков по поводу «нового городского устройства». «Уравнение сословных прав» было показным и мнимым.

Катков в «Московских ведомостях» (30 октября 1862 г., № 236) отстаивал высокий имущественный ценз, усматривая «в лице собственника полезнейшего и ревностнейшего сотрудника на общую пользу». Ив. Аксаков в «Дне» ратовал за избрание городским головой дворянина. 16 февраля 1863 г. (в № 7) он поместил статью под названием «От забытого голоса (По поводу городских выборов в Москве)» и с подписью «Московский мещанин». К статье было прибавлено «Примечание редакции», в котором, в частности, говорилось: «...чтобы извлечь всю возможную пользу из нового преобразования, необходим, по нашему мнению, по крайней мере на первое четырехлетие, выбор городского главы из дворян. Необходимо сдвинуть, своротить с колен глубоко увязнувший в ней старый порядок,— а пусть мещане скажут, по совести, сами, имеют ли их кандидаты из мещан, ремесленников и купцов все потребные для того условия? Едва ли...»

Салтыков высмеял выступления и Каткова и Ив. Аксакова. Он издевательски прочил «домовладельцу» Каткову будущность «московского воеводы», то есть городского головы, поскольку редактор «Московских ведомостей» вполне отвечал имущественному цензу, а сомнений в его благонадежности теперь не возникало. Сатирик пародировал призывы аксаковского «Дня». «Увидите, каких он вам дел наделает!..» — предвещал Салтыков, говоря об избраннике из дворян.

Разные «маленькие вопросы», заполнившие московскую печать с наступлением реакции, позволили Салтыкову поставить, в конечном счете, главный, крупный вопрос о половинчатости реформ, о показной, обманчивой сути вызванного ими «умиротворения», а также о том, что бывшие либералы оказались «подмяты» правительством и практически сомкнулись с ним.

Стр. 151. *Прусско-русская конвенция... датско-голштинский вопрос... Наполеон III ... очень уж хорошо действует!* — Салтыков показывает, что международные события намеренно раздувались в московской печати, находящейся в полной зависимости от официальной политики, и оттесняли на-

---

[1] С. П. Луппов и Н. Н. Петров. Городское управление и городское хозяйство Петербурга от конца XVIII в. до 1861 г.— В кн. «Очерки истории Ленинграда», т. I, изд. АН СССР, М.—Л. 1955, стр. 608—609; Б. В. Златоустовский. Городское самоуправление.— В кн. «История Москвы», т. IV, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 464—469.

сущные вопросы внутренней жизни. Газетные столбцы заполнялись пересудами о так называемой конвенции Альвенслебена, то есть о соглашении по польскому вопросу, подписанном 8 февраля 1863 г. в Петербурге министром иностранных дел Горчаковым с прусским уполномоченным Альвенслебеном. На все лады обсуждалась война между Данией, с одной стороны, Пруссией и Австрией, с другой, из-за провинции Шлезвиг-Гольштейн, расположенной на юге Ютландского полуострова; год спустя, в 1864 г., Дания потеряла эту провинцию, вошедшую в число германских княжеств. Салтыков назвал «притворством» ажиотаж московских газет, обсуждавших в начале 1863 г. прелиминарии датской войны, перспективы послевоенного устройства. Газетные комплименты Наполеону III также вызывали скептическую усмешку сатирика, ибо отражали чисто официальную точку зрения: в то время царская дипломатия старалась сблизиться с Францией, рассчитывая на отмену ограничений, наложенных на Россию Парижским мирным договором 1856 г. после поражения в Крымской войне. Но курс на франко-русский альянс не оправдал себя, и в дальнейшем Горчаков перешел к политике союза с Пруссией.

Стр. 152. *О мирной агитации, которую некогда возбуждал «Русский вестник», нет и помину...* — Указание на недавнее прошлое «Русского вестника», когда этот журнал с момента своего основания в 1856 г. и вплоть до 1861 г., то есть до конца революционной ситуации, выступал за отмену крепостного права и сословных привилегий, за децентрализацию власти и т. д. Свою программу журнал осуществлял, по словам его редактора М. Н. Каткова, в формах «мирной агитации».

Стр. 156. *...в Петербурге, несмотря на толкования, дело обошлось как нельзя лучше...* — Реформа петербургского городского управления в 1846 г. была враждебно встречена купечеством, поскольку впервые привлекла дворянство к участию в этом управлении. Петербургские купцы подали министру внутренних дел ходатайство об отмене нового городового положения, которое, по их мнению, несло «неудовольствие, вражду, мщение между торгующими, разорение, гибель многим семействам». Купцов пугала возможность назначения городского головы из дворян и использования дворянами городских сумм, в том числе и добровольных взносов, в своих интересах. Прошение не имело последствий. Однако тревога купцов была напрасной. Во всех составах Думы городской голова неизменно назначался из купечества. Дворяне были мало заинтересованы в работе такого неавторитетного органа, как Дума (С. П. Луппов и Н. Н. Петров. Цит. статья, стр. 609).

..деженерировало, или дегенерировало (от *франц.* dégénérer) — выродилось.

Стр. 158. *...опыты престидигаторства,* или престиджитаторства (от *франц.* prestidigitation) — демонстрация фокусов, ловкости рук.

Стр. 159. *...можно из Англии выписать несколько лордов...* — намек на англоманство М. Н. Каткова.

А ну, как Н. Ф. окажется прав? — Подразумевается Н. Ф. Павлов.

Байборода — соединенный псевдоним М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева в «Русском вестнике».

Стр. 161. *...один из подписчиков, получив книжку в октябре, подумает, что на дворе еще июнь, и пойдет купаться. Искупавшись, схватит горячку и умрет.*— Салтыков воспользовался здесь анекдотом Н. Ф. Щербины, где жертвой подобной трагикомической ошибки оказался подписчик «Москвитянина», получивший июльскую книжку журнала в декабре (Н. Ф. Щербина. Альбом ипохондрика. Гиз, М.—Л. 1929, стр. 102).

...М. С. Щепкин... выйдет в отставку... и будет плакать вплоть до самой квартиры Н. Х. Кетчера.— В 1855 г. Щепкин справил пятидесятилетний юбилей сценической деятельности и с тех пор не раз говорил о намерении покинуть театр, но все не решался на этот шаг. В «Московских письмах» Салтыков слегка подтрунивает над общеизвестной тогда слабостью Щепкина, который под конец жизни мог легко расчувствоваться и всплакнуть. В других своих произведениях, вплоть до «Пошехонской старины», Салтыков всегда уважительно отзывался о великом актере, особенно вспоминая 40-е годы. Тогда Щепкин находился на высшем подъеме творчества и был близок к кружку Белинского, Грановского, Герцена. В этот кружок входил и упоминаемый здесь и дальше поэт-переводчик Н. Х. Кетчер, позже порвавший с оппозиционными настроениями своей молодости. Щепкин до конца дней был близок с Кетчером. Строки Салтыкова написаны за полгода до кончины Щепкина.

...одежда прáзелень, борода до чресл, внизу раздвоенная...— текст из старинных (времен Московской Руси) руководств для иконописцев, где давались точные наставления, как какого святого надлежит изображать.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ
(Стр. 163)

«Петербургские театры» — всего лишь рубрика в журнале «Современник»; под ней печатались разные авторы. В 1863 г. Салтыков в этом разделе поместил (без подписи) три статьи. Четвертая, снятая в 1864 г. цензурой, осталась в гранках набора «Современника».

Четыре статьи Салтыкова о петербургских театрах, в отличие от «Московских писем» (см. выше), не связаны единством замысла. Но, не обладая единством в строгом значении слова, они близки по идейно-тематическим и жанровым задачам. Салтыков выступает в них как театральный критик, критик своеобразный, откликающийся на спектакли в форме острого фельетона, пародии, ядовитой сатиры.

Театром Салтыков интересовался смолоду. Еще в лицее и в послелицейские 1844—1848 гг. он часто посещал петербургскую драму и оперу, а когда бывал в Москве — Малый театр. Театральные впечатления тех лет отразились на страницах многих его книг — от юношеских повестей «Противоречия» и «Запутанное дело» и до «Пошехонской старины». В первой статье из цикла «Петербургские театры», как и в первом из «Московских

писем», театр 40-х годов служит сравнительным, и чаще всего позитивным критерием для оценки театра середины 60-х годов, испытавшего на себе воздействие реакции.

В статьях, опубликованных под рубрикой «Петербургские театры», Салтыков вновь обращается к интересующим его конкретным проблемам современного репертуара и актерского мастерства, то есть к тому кругу вопросов, которые он освещал и в первом из «Московских писем».

Салтыков решительно осуждает «внешние» приемы игры, свойственные «протеям», актерам «наружного», «внешнего» перевоплощения, играющим только «свое амплуа». Взгляды Салтыкова на мастерство актера, его представления об эстетике актерской игры во многом складывались под влиянием искусства Щепкина. В качестве типичного «протея» Салтыков называет петербуржца В. В. Самойлова, артиста одаренного, но чрезмерно увлекавшегося внешним рисунком роли,— «актера всех стран и времен, а преимущественно всех костюмов». Актерам подобного склада, пусть даже талантливым, на взгляд Салтыкова, не дано исследовать сложный, «разнообразный» внутренний мир героев, им неведомы «общечеловеческие основы» роли, что обедняет художественный образ, а тем самым умаляет силу нравственного и эстетического влияния театра на общество. По мнению Салтыкова, усилиями драматургов-«протеев» и актеров-«протеев» искусство театра может быть низведено до уровня «водевиля с переодеваниями», «простого акробатства».

Современный реалистический театр Салтыков связывал с именем Островского. Словно для контраста, он «подверстал» к статье-памфлету о фальсификаторской ремесленной пьесе Ф. Устрялова «Слово и дело» отклик на первое представление драмы Островского «Грех да беда на кого не живет», которая по своим идейным и художественным достоинствам виделась Салтыкову разительной противоположностью «картонной» драматургии.

Салтыков выражает солидарность с главными положениями гоголевской драматургии, изложенными в «Театральном разъезде после представления новой комедии» — этой своего рода эстетической программе Гоголя. Как и Гоголь, Салтыков видит гуманистический смысл искусства и, в частности, театра прежде всего «в том, чтобы напомнить человеку, что он человек».

Статьи серии «Петербургские театры» представляют интерес и как произведения конкретной театральной критики Салтыкова, и как документы эстетического наследия писателя. В них продолжена разработка принципов реалистического искусства, сформулированных Салтыковым в программной статье 1856 г. «Стихотворения Кольцова».

Раздумья Салтыкова о роли мировоззрения и «общественном значении писателя», о необходимости идеала, его мысли о революционной природе драматического конфликта («содержание драмы может составлять исключительно протест»), о натурализме и реализме, о важности психологического анализа («одна из главных обязанностей художника заключается в устройстве внутреннего мира его героев»), развитые в третьей статье

(о «Горькой судьбине» Писемского), его последовательно демократическое толкование народности, национальности и общечеловеческого смысла искусства (в статье четвертой) — являются образцами революционно-демократической эстетики шестидесятников.

Одна из сквозных публицистических тем статей «Петербургские театры» — полемика со сторонниками «чистого искусства». Основополагающий тезис критика: искусство не может быть свободным от насущных социальных интересов народа, иначе оно оборачивается не добром, а злом, становится орудием реакции, а не передовых сил общества. «Искусство,— утверждает Салтыков, намеренно утрируя свою мысль,— отвращая взоры человечества от предметов насущных и земных... оказывает полиции услугу; полиция... оказывает искусству покровительство».

Театрально-критические статьи Салтыкова, как и все другие произведения его пера, насыщены общественно-политическим материалом текущей современности. В них нашла свое отражение борьба лагеря революционной демократии с крепнувшей послереформенной реакцией — политической и общественной — и непосредственно связанные с этой борьбой бурные идеологические споры начала 60-х годов: полемика «Современника» с «Русским словом» вокруг тургеневского романа «Отцы и дети» и вопроса о «новом герое»; полемика «Современника» с почвенническими журналами «Время» и «Эпоха»; споры о либерализме, о материализме и идеализме и т. п.

Салтыков придавал серьезное общественное значение своим «театральным» статьям. Позднее он возобновит свои театрально-публицистические выступления под той же рубрикой «Петербургские театры» в журнале «Отечественные записки».

<**«Слово и дело».** Комедия в пяти действиях Ф. Устрялова. **«Карл Смелый».** Опера в трех действиях, музыка Дж. Россини>
(Стр. 163)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 177—197 (ценз. разр.— 5 февраля). Без подписи. Авторство указано А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 236) и подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 64, и т. 53—54, стр. 258). Автограф неизвестен.

Сохранились неправленые гранки набора статьи для «Современника» (ИРЛИ). По ним восстанавливаются следующие места, опущенные в журнальной публикации, вероятно, по цензурным причинам:

Стр. 164. *После слов:* «...и туда проник конституционализм!» *восстановлена фраза.* «даже и капельдинеры и те уступают частицу своего всемогущества!»

После слов: «...Василько-Петров и Манн» *восстановлен абзац:* «Ну слава богу. », перекликающийся с предшествующим упоминанием о Гротенгельме — персонаже «Новгородцев в Ревеле», а также с последующим

абзацем (отделенным отбивкой). Там же, в следующем абзаце, восстановлены слова (набраны курсивом), продолжающие тему о «капельдинерах» — правителях репертуара: «Рядом с «Новгородцами в Ревеле», *служащими как бы продолжением прежней, капельдинерской традиции,* он выпустил...»

Стр. 175. Восстановлен эпитет «*административное* средство», который в журнале был заменен на «благоустрояющее».

Стр. 177. Восстановлен конец первого абзаца, со слов: «Или они думают применять?..»

Стр. 180. Восстановлены слова (набраны курсивом) в конце первого абзаца: «да ведь этак скоро Палкин трактир, *скоро Адельфинкино заведение* потребует конституции... для швейцарцев!..»

Стр. 180—181. В первом абзаце восстановлены слова (набраны курсивом): «...и мороз мог бы *в руках опытного и ревностного охранителя общественного благоустройства составлять...»* В конце того же абзаца восстановлено: «как жаль, что *начальство не имеет возможности* устраивать мороз по своему усмотрению!» В журнале набранные курсивом слова заменены одним: «невозможно».

На этой же стр. восстановлен заключительный абзац — постскриптум.

Не восстановлены купюры, сделанные, очевидно, автором с целью сокращения. На стр. 173, во втором и третьем абзацах, перечень пьес был длиннее:

«Сошлюсь на возобновление таких пьес, как «Ермак Тимофеевич», как «Маркитантка», *«Смерть Ляпунова»,* «Параша-сибирячка» и мн. др.

Сошлюсь на постановку таких пьес, как «Новгородцы в Ревеле», *«Не по носу табак», «Легкая надбавка»,* как все пьесы гг. Дьяченко и Чернышева».

С упадком после 1862 г. освободительного движения, петербургскую казенную сцену наводнил поток верноподданнических пьес — старых и новых, «антинигилистических».

Салтыков остановился на комедии Ф. Н. Устрялова «Слово и дело», чтобы рассмотреть ее в ряду других «самоновейших произведений положительного нигилизма». Такую оценку он дал позднее, в 1868 г., пьесе Н. И. Чернявского «Гражданский брак» (см. т. 9 наст. изд.), говоря в связи с ней о «расцвете» целой школы, отличающейся «благонамеренностью дерзновения». Сторонники этой школы «проводят ту мысль, что в настоящее время не отрицать и обличать, а «любить» должно. И вот они принялись «любить» и отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны». Начало «расцвета» этой «необулгаринской» школы Салтыков датировал 1862 г., так что приведенная характеристика полностью относится и к пьесам Устрялова «Слово и дело» (1863) и «Чужая вина» (1864).

Как пишет С. А. Макашин, Устрялов в своих пьесах с позиций либерала «стремился противопоставить «отрицательным» героям «нигилистической» литературы (в первую очередь Рахметову) «положительный» тип

новейшего «русского деятеля»[1]. В своей первой пьесе «Слово и дело» Устрялов пробовал «выпрямить» и «улучшить» образ «нигилиста», предлагая смягченную версию темы тургеневского Базарова. На это указывала печать еще перед премьерой Александринского театра. 9 ноября 1862 г. газета «Современное слово» извещала: «12 ноября... идет новая пьеса соч. г. Устрялова «Слово и дело». Пьеса эта есть как бы продолжение романа г. Тургенева «Отцы и дети», в которой автор сделал из Базарова самую симпатичную личность наперекор ярых врагов нигилизма. Искренне пожелаем полного успеха новой пьесе»[2].

Устрялов пытался создать положительный образ представителя современной молодежи и сделал «нигилиста» поборником «скромного», «незаметного» труда или, как иронизирует Салтыков, труда «ни для кого не подозрительного». Другими словами, Устрялов задумал — и этот замысел сразу разглядел Салтыков — противопоставить своего «положительного» Вертяева «отрицательному» Базарову. «Личность Базарова до того заинтересовала меня,— вспоминал потом Устрялов,— что долго не выходила из моей памяти, и тогда-то, совершенно случайно, в голове моей из этого первообраза создался другой тип, другая личность, которая более подходила к моим воззрениям, была более для меня понятна,— и этот образ, переработанный моими задушевными убеждениями, выразился в Вертяеве...»[3]

Салтыков в статье «Петербургские театры» разоблачает объективную фальшь этой попытки, осмеивает чуждое революционной демократии вульгарное понимание проблемы положительного героя, называет Вертяева «новым Молчалиным», «верящим в мыло». И позднее сатирик возвращался к образу Вертяева, придавая ему даже некое распространительное значение. Например, в статье «Драматурги-паразиты во Франции» упомянуты «безличные Вертяевы, всласть твердящие о труде скромном, о труде неслышном» (см. наст. том, стр. 254).

В связи с проблемой современного героя на страницах статьи «Петербургские театры» возникает полемика и относительно образа Базарова — одно из центральных выступлений Салтыкова по этому вопросу (см. ниже, прим. к стр. 168).

Общественной роли и назначению театра посвящен второй раздел статьи — письмо-пародия некоего провинциального ретроградa, будто бы написанное им под впечатлением героической оперы Россини «Вильгельм Телль». Опера ставилась в петербургском Большом театре (с 1838 г.) с политически «нейтрализованным» сюжетом и под названием «Карл Сме-

---

[1] С. А. Макашин. Против «литературы благонамеренных усилий...».— «Литературное наследство», т. 67, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 351.

[2] Разные известия.— «Современное слово», 1862, № 130, 9 ноября, стр. 532.

[3] Ф. Устрялов. Воспоминания о русской сцене в шестидесятых годах.— «Исторический вестник», 1884, т. XVIII, ноябрь, стр. 364.

лый» (русское либретто Р. М. Зотова). Как «Carlo il Temerario» она шла и в итальянской опере в Петербурге с 1846 г.

Простодушно-циничные откровения провинциального меломана обнажают редкостное единство ревнителей чистой «красоты», «забав» и «охранителей общественного благоустройства».

В рассказе о спектакле присутствует «второй план» отчетливых иносказаний, где проводятся идеи революционно-освободительной борьбы: движение швейцарцев за свободу против австрийского ига прозрачно уподоблено революционной ситуации 1859—1861 гг. в России, борьбе крестьян за землю и волю. Отдельные мотивы в описании спектакля непосредственно перекликаются с главой VIII юношеской повести Салтыкова «Запутанное дело», в которой разночинец Иван Мичулин восторженно воспринимает революционные образы той же оперы (см. т. 1 наст. изд., прим. к стр. 253 и 255). Совпадения объясняются, по-видимому, и тем, что как раз в то время Салтыков создавал новую редакцию текста этой повести для сборника «Невинные рассказы». Ср. также разговор Крестникова и Веригина на представлении оперы «Гугеноты» в повести «Тихое пристанище» (см. т. 4 наст. изд., стр. 280—283), а также рассказ «приятеля» в седьмом из «Писем к тетеньке» об инциденте на представлении оперы Беллини «Пуритане» (см. т. 14 наст. изд.).

Салтыков не одинок в оценке революционизирующего воздействия на демократических зрителей итальянской оперы. В особенности «Вильгельм Телль» воспламенял сердца. Герцен писал в дневнике 29 октября 1843 г.: «Есть места в «Вильгельме Телле», при которых кровь кипит, слезы на ресницах...»[1] Десятилетие спустя, 9 января 1853 г., сходное признание оставил в своем саратовском дневнике и Чернышевский: «Вильгельм Телль» приводит меня в восторженное состояние...»[2]

Стр. 163. *Я семнадцать лет не был в Петербурге.*— С точки зрения автобиографической, писатель чуть вольно обращается с хронологией. Но его воспоминания о петербургской сцене, которой он отдал дань увлечения в 1844—1848 гг., по существу совершенно точны.

...г. Самойлов... играл иудеев и греков...— Подразумевается одно из эффектных «переодеваний» В. В. Самойлова в шутке П. С. Федорова «Хочу быть актрисой! или Двое из шестерых», впервые представленной в Александринском театре 16 мая 1840 г.

...для русской Мельпомены и русской Талии существовал только один храм.— В 60-х годах русские драматические спектакли шли не только в Александринском театре, как в 40-е годы, но также и в Мариинском театре. Мельпомена и Талия — музы трагедии и комедии в греческой мифологии.

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 313.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1939, стр. 409.

...г-жа Жулева ...оставила «Новичков в любви» для высшей комедии.— Е. Н. Жулева дебютировала на Александринской сцене в январе 1846 г. В водевиле Н. А. Коровкина «Новички в любви» она играла роль сиротки Полиньки. От ролей инженю и травести актриса перешла к 60-м годам на амплуа пожилых женщин. К «высшей комедии» Салтыков иронически относит комедию Устрялова «Слово и дело», впервые шедшую в бенефис Жулевой. Актриса играла роль Мартовой, матери Наденьки.

...не было обольстительного г. Бурдина...— Ф. А. Бурдин вступил в труппу Александринского театра в 1847 г., незадолго до вятской ссылки Салтыкова. (О неприязни писателя к Бурдину см.: Екатерина Жуковская. Записки. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930, стр. 242—243.) В свой бенефис 20 октября 1867 г. Бурдин сыграл роль Хрептюгина в «Утре у Хрептюгина» Салтыкова.

...когда о театральном комитете и в помине не было и драматическое искусство ведалось чуть ли не капельдинерами.— Театрально-литературный комитет был учрежден в 1856 г., первоначально для оценки пьес, написанных к столетию русского театра; в октябре комитет был объявлен постоянным совещательным органом при дирекции императорских театров. В том же 1863 г., что и Салтыков, о комитете так отзывался Островский: «Многие из лучших наших литераторов, принявшие сначала деятельное участие в комитете, впоследствии, убедившись в бесплодности своих занятий и в напрасной трате времени, мало-помалу вышли из него. Один за другим оставили комитет: Писемский, Майков, Дружинин и Никитенко; остались только люди или неизвестные в литературе, или не имеющие никакого авторитета. С таким изменением в составе комитет потерпел изменение и в принципе и сделался не только не полезен, но и положительно вреден для сцены...» (А. Н. Островский. Полн. собр. соч., т. XII, Гослитиздат, М. 1952, стр. 16). С 1860 г. председателем комитета стал драматург и театральный критик П. И. Юркевич. Под «капельдинерами» Салтыков здесь и далее подразумевает чиновников театральной дирекции, вплоть до высших, угодливо служивших двору, но не искусству, о котором они, как правило, не имели ни малейшего понятия.

Г-н Славин из Гамлета сделался простым Юстинианом, из Кина — герольдом Гротенгельма и от горести... переставляет слоги в словах...— Об актере А. П. Славине см. наст. том, прим. к стр. 149. О его склонности к обмолвкам на сцене Салтыков писал и в статье 1864 г. «Литературные мелочи» (см. в т. 6 наст. изд.). В мемуарах Боборыкина также упомянут «ужасный актер Славин, отличавшийся всегда способностью перевирать слова» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. 1, Гослитиздат, М. 1965, стр. 134). Этот недостаток поясняет, почему от таких центральных трагических ролей, как Гамлет и Кин (герой пьесы Александра Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство», 1836), Славин был принужден перейти в начале 60-х годов к ролям второстепенным и эпизодическим, в частности к роли императора Юстиниана из драмы «Велизарий», переделанной с немецкого П. Г. Ободовским, и к роли герольда барона Гротенгельма из пьесы

А. А. Соколова и С. Егорова «Новгородцы в Ревеле», поставленной на Александринской сцене 24 октября 1862 г.

Стр. 164. *...наслаждаться... «Ермаком Тимофеевичем»...*— Трескучая драма Н. А. Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь», прославляющая колонизаторскую политику царизма, была поставлена в Александринском театре в 1845 г., а 16 октября 1862 г. ее возобновили вслед за другими верноподданническими пьесами николаевской поры.

Рефютация (от *франц.* rèfutation) — опровержение.

Стр. 165. *...Вертяев... всенародно вертит в руках свою фуражку...*— Фуражка в 40—60-х годах была признаком демократичности. Некрасов писал о П. В. Анненкове: «За то, что ходит он в фуражке/ И крепко бьет себя по ляжке, /В нем наш Тургенев все замашки/ Социалиста отыскал».

Стр. 167. *Вертяев скрывается в Гейдельберге... готовит России, в лице своем, чернорабочего... и с чувством говорит о Гейдельберге, потому что в нем есть довольно много хороших людей.*— После того как из-за студенческих «беспорядков» осени 1861 г. правительство закрыло Петербургский университет, усилилась тяга русской молодежи к западноевропейским университетам, особенно к Гейдельбергскому, старейшему в Германии, славившемуся тогда блестящим составом профессуры. В Гейдельберге находилось немало русских, которые еще на родине принимали участие в студенческих кружках и революционных конспирациях. На их специфическом языке слова «чернорабочий», «хорошие люди» обозначали тех, кто посвятил себя общественно полезной деятельности. Тургенев в «Отцах и детях» иронизировал над русскими «нигилистами» из Гейдельберга; Устрялов пробовал за них заступиться, но, как показывает Салтыков, лишь компрометировал тему поверхностным подходом к ней.

Колер (от *франц.* colère) — гнев.

«Не хочу учиться, хочу жениться!» — слова Митрофана из «Недоросля» Фонвизина.

Стр. 168. *...принимает Базарова за что-то серьезное, тогда как серьезного в нем нет ровно ничего.*— Оценки, данные здесь и далее Базарову, отражают тогдашнее отношение к тургеневскому герою всей группы журнала «Современник». Роман о «нигилисте», то есть, по расшифровке самого Тургенева, о революционере, появился, когда классовая борьба в стране достигла большой остроты и переросла в революционную ситуацию Такой роман поэтому не мог остаться для читателей тех лет в пределах только литературно-эстетического восприятия. Русское общество глубоко переживало предвестья революции. В свете отношения к революции и в перспективе ее оценивались все явления общественной жизни.

Тургенев не верил в тогдашнюю готовность русского народа и общества к радикальной смене порядка вещей, и Базаров был для него трагической фигурой революционера без революции. В своем герое писатель персонифицировал новую силу русской жизни: она уже связана с народом, демократией, но осуждена в данной общественной и исторической ситуации на бездействие, стоит лишь «в преддверии будущего», виды которого

неясны, обречена поэтому не только на «бесплодие», но и на гибель, и, в конечном счете, исполнена социально-исторического и философского скептицизма.

Напротив, русская революционная демократия в то время страстно ждала всеобщего крестьянского восстания и была глубоко враждебна всему, что внушало неверие в дело революции.

«Революционеры 1861 г.» (Ленин), чьи отзывы об «Отцах и детях» широко известны, принципиально расходились с Тургеневым в оценке исторического момента и его перспектив и были единодушны в своем *тогдашнем* неприятии Базарова. «Время, тип — все было выбрано неудачно»[1],— писал Герцен. Вслед за Чернышевским, Антоновичем, Елисеевым, всей группой «Современника» Салтыков отказывал *тогда* Базарову в праве быть «действительным представителем нынешнего молодого поколения», видел в нем человека без подлинного дела, стремлений и надежд. Отсюда салтыковская характеристика «слоняющегося из угла в угол» «хвастунишки» и «болтунишки». Дополнительные жесткие акценты в эту резкую памфлетную характеристику привнесла острота полемики «Современника» с «Русским словом», в частности, с позицией Писарева, занятой по отношению к тургеневскому герою (статья «Базаров» в третьей книжке «Русского слова» за 1862 г. и др.). С Писаревым, как защитником Базарова, Салтыков расходился прежде всего в вопросах мировоззрения: естественнонаучный, механистический материализм Базарова был чужд Салтыкову. Разделяли их и вопросы тактики: научным занятиям Базарова — «лягушке», его культурничеству Салтыков противопоставлял необходимость борьбы, хотя бы и чисто идейной, за социально-политические цели.

Впоследствии, когда крах революционной ситуации обрек целые поколения русской демократии на трагедию исторического *«без дела»,* Салтыков пересмотрел свой взгляд на «Отцов и детей» — взгляд, вызванный «истинной минуты» и заостренный журнальной полемикой. Салтыков высоко оценил роман Тургенева, писал о Базарове как об одном из «действительных носителей» «добрых чувств» и вместе с тем «подлинных мучеников той темной свиты призраков, которые противопоставляют добрым стремлениям свое бесконтрольное и угрюмое non possumus» (см. написанный Салтыковым некролог Тургенева; см. также в т. 6 по указателю имен)[2].

...сам г. Лонгинов затруднился бы написать ее библиографию.— Библиограф М. Н. Лонгинов сочинял скабрезные стихи, ходившие в списках, из-за чего и поставлен в связь с разговором об охотниках до клубнички.

Стр. 169. *...дать ему скрипку в руки и заставить наигрывать, в ночной тиши, хоть не «Ritter Togenburg», а какую-нибудь песню о сладостях труда или, пожалуй, хоть английскую песню «о рубашке».*— Салтыков допускает двойную ошибку: Кирсанов-отец играет на виолончели, а не на

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVIII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 216.

[2] Примечание о Базарове написано С. А. Макашиным.

скрипке, и «Ожидание» Шуберта, а не музыкальную пьесу «Рыцарь Тогенбург» на тему баллады Шиллера.

«П е с н я о р у б а ш к е» — политическое стихотворение Томаса Гуда: переведенное в 1861 г. поэтом-революционером М. Л. Михайловым, оно было очень популярно у русской демократической молодежи шестидесятых годов.

Стр. 171. *...подобно знаменитой Закхеевой смоковнице, поражено бесплодием...* — Здесь контаминация двух разных евангельских тем: Иисус проклял смоковницу, не найдя на ней зрелых плодов, и она засохла; мытарь Закхей взобрался на смоковницу, чтобы лучше видеть приход Иисуса в Иерихон.

Стр. 171—172. *Всем известно, что г. Самойлов — актер великий... как был бы хорош г. Самойлов в балете!* — Салтыков критически относился к В. В. Самойлову как актеру внешнего перевоплощения, хотя и хвалил его в роли Архипа из драмы Островского «Грех да беда на кого не живет» (см. наст. том, стр. 182). Здесь же писатель, говоря об архаичности внешних приемов игры Самойлова, вспоминает о нем в роли Пузыречкина из давней мелодрамы К. Д. Ефимовича «Отставной театральный музыкант и княгиня», поставленной в Александринском театре 24 апреля 1846 г. Упоминая роль Кречинского в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина, Салтыков имеет в виду, что Самойлов, ее первый исполнитель (премьера в Александринском театре — 7 мая 1856 г.), тщательно оттенял такую внешнюю черту характерности, как польский выговор своего героя.

За упреками, которые адресует актеру Салтыков, возможно, таится главный, не высказанный по цензурным причинам: он связан с тем, что, по некоторым свидетельствам, Самойлов играл Вертяева, загримировавшись под Герцена. Устрялов признавался потом, что облик Самойлова — Вертяева «представлял удивительное сходство с наружностью и чертами лица того знаменитого писателя, о котором в то время можно было говорить лишь втихомолку,— Герцена» (Ф. У с т р я л о в. Воспоминания о русской сцене в шестидесятых годах.— «Исторический вестник», 1884, т. XVIII, ноябрь, стр. 372). Это не могло не возмутить Салтыкова и, очевидно, объясняет смысл его слов о том, что Самойлов «и Вертяева играет вяло, хотя и старается к чему-то приурочить его...».

Впоследствии отношение Салтыкова к Самойлову переменилось к лучшему. В статье 1868 г. о комедии И. В. Самарина «Перемелется — мука будет» Салтыков писал, что Самойлов — «один из тех немногих сценических деятелей, которые могут украсить любую сцену» (см. т. 9 наст. изд.).

Стр. 172—173. *...капельдинерская традиция... процветает... «Маркитантка», «Параша-сибирячка» и мн. др. ...они все вместе «Цырульника на Песках» написали?* — Речь идет о репертуарной политике, осуществляемой членами театрально-литературного комитета. С их согласия на Александринскую сцену хлынул поток старых верноподданнических пьес времен николаевской реакции. Псевдоисторическая драма Н. В. Кукольника «Мар-

китантка» с сюжетом из Петровской эпохи, шедшая в 1854 г., возобновлена 31 октября 1862 г.; драма Н. А. Полевого «Параша-сибирячка», поставленная в 1840 г., возобновлена 14 ноября 1862 г. Заодно упомянут — как характерный для уровня требований и вкусов комитета — водевиль П. Г. Григорьева (2-го) «Цырульник на Песках и парикмахер с Невского проспекта», шедший в Александринском театре с 1846 г. и исполнявшийся в сезон 1862/63 г. Пески — район в Петербурге, прилегающий к Неве около Таврического сада и Смольного; в ту пору считался окраиной.

Стр. 173. *...весьма приятные статьи под названием «Современное состояние русской драматургии и сцены».* — Их точное название: «Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены». Они принадлежали Ап. Григорьеву и печатались без подписи в журнале бр. Достоевских «Время» с сентября по декабрь 1862 г. и в февральском номере 1863 г. Отдельные конкретные оценки в этих статьях действительно совпадают с высказываниями Салтыкова и подкрепляют их.

Стр. 174. *..нынешний Петербург, против прошлогоднего, мне больше понравился.* — Для салтыковского сатирического персонажа — благонамеренного провинциала признание характерное. «С половины 1862 г. ветер потянул в другую сторону», — писал Герцен в статье 1864 г. «VII лет» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVIII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 239), подразумевая момент, когда реакция перешла в контрнаступление против революционно-демократического натиска или, как выражается салтыковский ретроград, — против «нахальства мальчишек».

Доныне видел я... «Боярин Матвеев». — Верноподданническая драма П. Г. Ободовского «Боярин Матвеев, друг царя и народа», поставленная на петербургской казенной сцене еще в 1826 г., была возобновлена в декабре 1862 г.

Стр. 175. *...присутствуя недавно при представлении «Карла Смелого».* — Оперу Россини в петербургском Большом театре в сезоне 1862/63 г., когда ее слушал Салтыков, исполняла итальянская труппа. В партии Арнольда выступал знаменитый драматический тенор Энрико Тамберлик. Остальные актеры, упоминаемые Салтыковым, пели следующие партии: Рита Бернарди — Матильду, Ахилл Дебассини — Рудольфа, Джеремия Беттини — рыбака, Игнацио Марини — Вальтера, Чеккони — Мельхталя, Фортуна — Леутольда, Пальтриньери — капитана Кампобассо.

Стр. 177. *Что́ они швейцарцам, что́ швейцарцы им?* — Перифраза из «Гамлета» Шекспира (акт II, сцена II): «Что́ он Гекубе? Что́ ему Гекуба?»

...в нашей стране покорения-то не было, а было призвание? — У Салтыкова часто встречаются насмешки над так называемой норманнской теорией о призвании на Русь трех братьев-варягов. См. сатирическую разработку этой темы в рассказе «Гегемониев» (т. 3 наст. изд., стр. 11—12), «Истории одного города» (т. 8) и др.

...итальянцы почти освободились от австрийцев... голштинцы также, вероятно, в скором времени освободятся от датчан... — К началу 1863 г., ко-

гда Салтыков писал свою статью, в результате национально-освободительного движения от австрийцев были очищены все княжества Италии, кроме Венеции, освобожденной в 1866 г. Дания потеряла провинцию Шлезвиг-Гольштейн в 1864 г. См. выше, прим. к стр. 151.

Стр. 178. *...принадлежит к лагерю филистимлян-австрияков.*— Филистимляне — здесь в смысле: коварные завоеватели.

Стр. 178—179. *...фраза эта кончается словом libertá, словом, которое, как известно, первый выдумал... М. Н. Катков.*— Насмешка над былым либерализмом Каткова. L i b e r t a *(итал.)* — свобода.

Стр. 180. *«Ну, вот это так! Это так!» — шептал штаб-офицер...*— Салтыков близко повторяет здесь эпизод из своей повести «Запутанное дело», где разночинец Мичулин слушает ту же оперу: «— Вот это так хорошо! так их!..— шептал он...» и т. д. (см. т. 1 наст. изд., стр. 253).

Адельфинкино заведение — дом терпимости.

Стр. 181. *...читая «Историю двух калош» и «Аптекаршу»...*— повести В. А. Соллогуба, относящиеся к 1839 и 1841 гг.

...потрясающее «maledetto!», которым в Лючии оглашал своды Большого театра великий Рубини...— Белинский писал В. П. Боткину 30 апреля 1843 г.: «Слушал я третьего дня Рубини (в «Лючии Ламмермур») — страшный художник — и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольцо с Лючии и призывает небо в свидетели ее вероломства,— страшна, ужасна,— я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос — столько чувства, такая огненная лава чувства — да от этого можно с ума сойти!» (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. XII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 158). «Л ю ч и я д и Л а м м е р м у р» — опера Гаэтано Доницетти (1835) по роману Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», в Петербурге исполнялась с 1840 г.

«Привлекать ли... лондонских агитаторов?» — Все названнные в постскриптуме органы печати деятельно участвовали в походе против Герцена и Огарева и их «Колокола», издававшегося в Лондоне. Герцен разоблачал ренегатство своих идейных противников в «Письме гг. Каткову и Леонтьеву», в статье «Протест» и др. (А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 212—213; т. XVII стр. 215—217).

Первое представление новой драмы г. Островского

(Стр. 182)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 197—198 (ценз. разр.—5 февраля). Без подписи. Авторство установлено в книге: В. Б о г р а д. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания, Гослитиздат, М.— Л. 1959, стр. 418 и 577. Автограф неизвестен.

В статьях 1863—1864 гг. Салтыков часто писал о силе реализма Островского. Он постоянно противопоставлял исполненные правды жизни

пьесы Островского псевдообличительной современной драматургии (см., например, в наст. томе статью «Московские письма» — Письмо первое, рецензию на сб. сцен Н. А. Потехина «Наши безобразники»).

Салтыков дорожил участием Островского в «Современнике», как и в «Отечественных записках» в последующие годы. Пародируя в апрельской книжке «Современника» 1863 г., в обозрении «Наша общественная жизнь», чуть ли не все произведения из январской книжки журнала «Время», Салтыков «обошел» напечатанную в журнале драму «Грех да беда на кого не живет». «Только и не могу сочинить (то есть спародировать.— *Д. З.*),— признавался он,— одну драму Островского. Драма! драма! как ты в рощу попала?» Следующая пьеса Островского, «Тяжелые дни», появилась в «Современнике», в сентябрьской книжке того же 1863 г.

Стр. 182. *...на Мариинском театре...*— Пьесу исполняла труппа Александринского театра. См. прим. к стр. 163.

...глубокую признательность гг. актерам и актрисам...— На первом представлении роли исполняли: Бабаев — А. А. Нильский, Краснов — Ф. А. Бурдин, Краснова — Ф. А. Снеткова, Жмигулина — Ю. Н. Линская, Архип — В. В. Самойлов, Афоня — И. Ф. Горбунов и др.

Даже у г. Бурдина вырвались два-три движения весьма недурных.— Об отношении Салтыкова к этому актеру см. прим. к стр. 163.

...г-жа Снеткова 3-я совсем оставляет сцену. Это потеря покамест незаменимая.— Ф. А. Снеткова покинула сцену в 1863 г. совсем молодой: ей было 24 года. За неполных семь лет (с 1856 г.) она сыграла ряд значительных ролей, в частности была первой исполнительницей Катерины в «Грозе» Островского (премьера — 2 декабря 1859 г.). Салтыков одобрительно отзывался об игре Снетковой даже в роли Наденьки из осмеянной им пьесы Устрялова «Слово и дело» (см. наст. том, стр. 172). Слова о незаменимой потере — высокая оценка в устах Салтыкова. Так он отзывался только о А. Е. Мартынове и А. М. Максимове (см. т. 9 наст. изд. по указателю имен).

Горькая судьбина. Драма в 4-х действиях А. Писемского
(Стр. 183)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 11, отд. II, стр. 90—106 (ценз. разр.—9 декабря). Без подписи. Авторство указано А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 236) и подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 64, и т. 53—54, стр. 259). Автограф неизвестен.

В Пушкинском доме хранятся неправленые гранки набора статьи для «Современника». По ним восстанавливаются следующие места, опущенные или замененные в журнальной публикации, по-видимому, по цензурным причинам:

Стр. 183. *После слов:* «...с точки зрения благоуханной» *восстановлен конец фразы:* «и которого поэтому барыни называли l'auteur d'Anton».

Стр. 193. *После слов:* «...какие могут происходить» *восстановлен первоначальный текст продолжения:* «между двумя *благородными* людьми» (в журнале: «между двумя людьми»).

Стр. 195. *После слов:* «...даже наша снисходительная публика» *восстановлено первоначальное продолжение фразы:* «...строгими мерами приученная...» (в журнале: «публика, терпеливо выносящая»).

Стр. 196. *В третьем абзаце восстановлены сатирические выпады против Григоровича и Мельникова:* «Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским миросозерцанием, а последний — татарским».

Не восстанавливаются отдельные нападки на Писемского, смягченные в журнальной редакции, вероятно, самим автором; приводим лишь существенные разночтения, выделяя первоначальный текст курсивом:

Стр. 183. Вторая фраза первого абзаца звучала резче *(набрано курсивом):* «Большинство смотрело на нее *как на мистификацию или, по крайней мере,* как на обмолвку...»

Стр. 186. *Вместо слов:* «...и не может взирать на мужчину без особенных соображений» *было:* «...и не может взирать на мужчину без *известных похотливых* соображений».

Стр. 195. *Вместо слов:* «разных «Неровней» *было:* «разных *«Пасынков».*

Стр. 197. *Вместо слов:* «...его драма едва ли может удовлетворять требованиям строгой критики» *было:* «его драма едва ли *не ниже всякой критики». Вместо слов:* «деревянные фигуры» *было:* «деревянные *чурбаны*».

«Горькая судьбина» Писемского была впервые опубликована в ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1859 г. Статья Салтыкова появилась лишь после премьеры пьесы 18 октября 1863 г. на Александринской сцене.

В годы пореформенной реакции Салтыков на страницах «Современника» упорно и последовательно вел борьбу за чистоту принципов реализма и выступал против вульгарного толкования его, как «грубого механического списывания с натуры».

Критика псевдореалистических течений, в частности натурализма, которую Салтыков продолжит потом во многих своих выступлениях, впервые с большой полнотой была развернута именно в статье о «Горькой судьбине», что сделало эту работу новаторским вкладом в теорию критического реализма. «Когда Салтыков-Щедрин разбирал творчество Писемского,— пишет В. Я. Кирпотин,— ни общественная мысль, ни эстетическая литература не проводили еще разграничения между реализмом и натурализмом»[1].

Еще до появления «Горькой судьбины» Салтыков в письме к П. В. Ан-

---

[1] В. Я. Кирпотин. Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина, Госполитиздат, М. 1957, стр. 301.

ненкову от 3 февраля 1859 г. так оценивал талант автора «Тысячи душ» и «Тюфяка»: «Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а духа жива вдохнуть в них не может». Эта же мысль присутствует и в статье о пьесе: Писемский, по словам Салтыкова, «удачно ловит внешние признаки и лепит из них фигуры, по большей части, довольно выпуклые, но глаза у этих фигур всегда оловянные...»

Одновременно с «Грозой» Островского «Горькая судьбина» получила в 1860 г. Уваровскую премию и вызвала ряд высоких оценок в печати либерального лагеря (отзывы С. Дудышкина, А. Майкова и др.). Иными были суждения революционно-демократической критики. В статье «Луч света в темном царстве» (1861) Добролюбов писал об «исключительности», то есть нетипичности центральных образов пьесы — крепостного Анания и барина Чеглова: русская жизнь, по мнению критика, «так же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и помещиков, подобных Чеглову». Добролюбов был крайне неудовлетворен тем, как разворачивается главный драматический конфликт пьесы. «...не эта сила рвется наружу из тайников русской жизни,— писал он,— и не таково должно быть ее проявление»[1]. Салтыков, явно перекликаясь с Добролюбовым, прямо говорит о нарушении жизненной логики в развитии драмы, о несовпадении поступков героя с обстоятельствами: «...крепостное право тем-то именно и было характеристично, что оно проявляло себя необыкновенно цельно... и что при подобной обстановке не могло быть места для сделок, а было ли, нет ли место, так или для совершенной приниженности, или для явного и резкого протеста».

Подлинный реализм, который «берет» человека со всеми его «определениями», исследуя не только настоящее, но прошлое и будущее героев, Салтыков отделяет от эмпирической «однозначности» натурализма, от его описательности, бессильной постичь «интимный смысл», «внутреннюю жизнь» действительности.

Задаваясь вопросом о том, не написана ли «Горькая судьбина» Писемского «в пику г. Григоровичу», Салтыков тем самым резко противопоставляет прежней поэтической идеализации русского крестьянина 40-х годов другую крайность: грубое, разрозненное изображение отталкивающих внешних подробностей быта и нравов. «Можно даже подумать,— говорится в статье,— что автор лично чем-то огорчен. Мужик грубиян, бахвал, дурак и пьяница, одним словом, мужик...» Салтыков глубоко расходился с Писемским во взгляде на мужика, на народ и его роль в общественном развитии России.

Писатель осуждает «ограниченность взгляда» автора «Горькой судьбины», отсутствие в его произведении широкого общественного идеала, «миросозерцания», «страстной руководящей мысли». Это капитальный недостаток в глазах Салтыкова.

Подобно выступлению Салтыкова по поводу «Отцов и детей» (см. наст. том, прим. к стр. 168), его полемика с автором «Горькой судьбины» в

[1] Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 6, Гослитиздат, М.— Л. 1963, стр. 335—336.

1863 г. имела и непосредственно политические мотивы. Это был один из острых моментов борьбы между Писемским и лагерем «Современника». Писатель, близкий в середине 50-х годов к передовым кругам русского общества, автор «Тюфяка» и «Тысячи душ», которого Чернышевский называл художником гоголевской школы, в 1861 г. открыто заявил себя противником демократического движения, а несколько позднее опубликовал реакционный роман «Взбаламученное море» [1].

Полемическая горячность статьи Салтыкова подготовлена рядом предшествовавших выпадов Писемского против демократии. В серии фельетонов «Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки» («Библиотека для чтения», 1861, №№ 1—3), написанных от лица либерала-карьериста, осмеянного автором, Писемский клеветал на прогрессивную молодежь, на круг «Современника». В декабрьской книжке той же «Библиотеки для чтения» — журнала, который редактировал тогда Писемский,— он выступил с еще более безудержной бранью в адрес демократов, подписав свой пасквиль «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов». Этот поступок Писемского явился причиной общественного скандала. Г. З. Елисеев писал 2 февраля 1862 г. в «Искре» (№ 5), в «Хронике прогресса»: «Никогда еще русское печатное слово не было низводимо до такого позора, до такого поругания, до какого низвела его «Библиотека для чтения» в декабрьском фельетоне своем...», и прямо причислял автора фельетона к пособникам реакции. В «Библиотеке для чтения» (1862, № 1—2) Писемский поместил весьма грубый «Ответ Никиты Безрылова своим врагам — фельетонисту «Северной пчелы» и хроникеру «Искры», после чего скандал разросся до того, что издатели «Искры» В. С. Курочкин и Н. А. Степанов вызвали Писемского на дуэль. Она не состоялась. Писемский признал себя побежденным. 4 марта 1862 г. он писал Тургеневу: «Партия «Современника» в полном торжестве...» [2]

Писемскому на время пришлось покинуть Петербург и отправиться за границу, а в январе 1863 г. он расстался с «Библиотекой для чтения», переехал в Москву и привез М. Н. Каткову шеститомный «антинигилистический» роман «Взбаламученное море», напечатанный в том же 1863 г. в «Русском вестнике», №№ 3—8.

Такова последовательность фактов. В их свете проясняются некоторые существенные полемические мотивы статьи Салтыкова.

В статье о «Горькой судьбине» последние произведения Писемского рассматриваются как продолжение политической борьбы, как ответ писателя «Искре», всему лагерю демократии. «...г. Писемский, как кажется, возомнил себя писателем политическим, а политика, как известно, способ-

---

[1] См. К. И. Тюнькин. Писемский и Тургенев в их переписке.— «Литературное наследство», т. 73, кн. II. Из парижского архива И. С. Тургенева, «Наука», М. 1964, стр. 136—137. См. также: Б. П. Козьмин. Писемский и Герцен. К истории их взаимоотношений. «Звенья», кн. 8, Гослитиздат, М. 1950, стр. 103—151.

[2] «Литературное наследство», т. 73, кн. II, стр. 172.

ствует развитию только страстей и огорчений... Стоит только припомнить описание крестьянских волнений в последнем романе этого автора,— иронизирует Салтыков, имея в виду «Взбаламученное море»,— чтобы понять, до каких пагубных последствий может довести недостаток проницательности...»

Иные памфлетные сгущения красок и резкости, допущенные Салтыковым в оценке «Горькой судьбины», отражают, как прежде в оценке Базарова, «истину минуты». Салтыков вообще отказывает автору в каком-либо сознательном творческом отношении к замыслу пьесы, не хочет видеть в ее героях даже проблесков живой жизни, а в развитии основного конфликта — драматизма. В своем стремлении «отлучить» Писемского от писателей реальной школы он категорически отождествляет объективный смысл «Горькой судьбины» и «Взбаламученного моря». Между тем пьеса Писемского, несмотря на очевидные натуралистические тенденции, безусловно давала актерам повод для создания антикрепостнического спектакля, для лепки драматических характеров. С конца 60-х годов «Горькая судьбина» прочно закрепилась в репертуаре главным образом провинциальной сцены. В истории русского театра исполнение ролей Анания и Лизаветы связано с именами Стрепетовой и Станиславского.

По прошествии ряда лет, когда конкретные поводы борьбы отошли в прошлое, когда Писемский прекратил сотрудничество с Катковым (свыше года он заведовал отделом беллетристики в «Русском вестнике»), возобновились его встречи с Салтыковым, а в 1875 г. Салтыков пригласил его сотрудничать в «Отечественных записках».

Стр. 183. *...по-видимому, место действия происходит в Костромской... губернии...*— В воспоминаниях о Писемском «Художник и простой человек» П. В. Анненков сообщает, что основа пьесы «не была выдумана художником. Писемский встретился с подобным происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он имел в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, принимал участие в его разборе сам» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960, стр. 517).

...мужика представил в виде пошлого дурака...— Очевидно, подразумевается рассказ Писемского «Батька», напечатанный в журнале «Русское слово» (1862, № 1), где действует молодой крестьянин Тимофей.

Стр. 184. *Пьеса прошла тихо, не возбудив ничего, кроме недоумения...*— Спектакли «Горькой судьбины» шли в самый разгар общественного скандала, возникшего после опубликования «Взбаламученного моря», что и вызвало в значительной мере равнодушие публики.

Стр. 185. *...общество распространения бесполезных книг отравляет наших детей...*— Салтыков иронически называет так Общество распространения полезных книг, основанное в 1861 г. в Москве для пропаганды в народе «полезных сведений в религиозно-нравственном направлении»; оно находи-

лось под «высочайшим» покровительством императрицы. Об изданиях этого Общества Салтыков хотел высказаться специально. 15 августа 1863 г. он писал из Витенева своему соредактору по «Современнику» А. Н. Пыпину: «Я взял себе для разбора... несколько книг издания Общества распространения полезных книг» («Литературное наследство», т. 67, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 467). Вслед за тем в рецензии на «Воздушное путешествие через Африку» Жюля Верна («Современник», 1864, № 2) Салтыков замечал, что журнал надеется в скором времени выступить «по поводу бесполезной деятельности Московского общества распространения полезных книг» (см. наст. том, стр. 435). Разбора таких книг в «Современнике» 1863—1864 гг. не появлялось.

Стр. 186. *Софи Ленева, отец Леневой* — персонажи «антинигилистического» романа Писемского «Взбаламученное море» (1863). *Калинович* — герой его же романа «Тысяча душ» (1858).

Стр. 188. *Стоит только припомнить описание крестьянских волнений в последнем романе этого автора.* — Имеются в виду 11—13 главы из пятой части романа «Взбаламученное море», в которых тенденциозно изображена вспышка недовольства среди крестьян из-за реформы 19 февраля 1861 г.: крестьяне ведут себя крайне тупо и бестолково, смиряются после порки.

Стр. 191. *...мы вовсе не требуем, чтоб он сделал из него Жака или Лопухова...* — Жак — герой одноименного романа Жорж Санд (1834); Лопухов — герой романа Чернышевского «Что делать?» (1863). И тот и другой отступают перед новым избранником, не желая мешать счастью героини.

Стр. 192—193. *...в катковско-либеральном духе...* — очередная насмешка над осторожным свободолюбием М. Н. Каткова, угасшим после 1861 г.

Стр. 195. *...публика, строгими мерами приученная терпеливо выносить разных «Неровней» да «Бедных племянниц»...* — Полемический выпад Салтыкова, поставившего «Горькую судьбину» чуть ли не ниже ремесленных пьес ходового репертуара. «Неровня» — комедия В. А. Дьяченко, впервые исполнена в Александринском театре 11 октября 1863 г. «Бедная племянница» — комедия И. Л. Грюнберг, шла первый раз на Мариинской сцене 3 января 1863 г.

Стр. 197. *Саддукеизм...* — Секта саддукеев, возникшая приблизительно за 150 лет до н. э., с исступленным фанатизмом придерживалась буквы иудейского вероучения.

Наяда и рыбак. Фантастический балет в трех действиях и пяти картинах. Соч. Ж. Перро; музыка г. Пуни

(Стр. 199)

При жизни Салтыкова первоначальная редакция статьи не публиковалась. Предназначенная для последней, двойной книжки журнала «Современник» за 1864 г.— № 11—12 (ценз. разр.—25 ноября и 30 декабря), она

была набрана, но изъята цензурой[1]. Следовательно, время ее написания определяется ноябрем — декабрем 1864 г. В январе 1866 г. Салтыков вновь пробовал напечатать статью, в качестве отклика на балет композитора Л. Минкуса в постановке А. Сен-Леона «Фиаметта», но цензура и на этот раз запретила публикацию сатиры[2]. Лишь в марте 1868 г. статья появилась в «Отечественных записках», притом в значительно измененном и урезанном виде, в форме рецензии на балет Минкуса и Сен-Леона «Золотая рыбка». Сокращенный «цензурный» вариант статьи (в сущности, это уже другое произведение) вошел в состав сборника 1869 г. «Признаки времени», «Письма о провинции».

Текст первоначальной редакции частично приводится в статье И. Т. Трофимова «М. Е. Салтыков-Щедрин о художественном мастерстве писателя» («Ученые записки Орехово-Зуевского гос. педагогического института», 1955, т. II, вып. I, стр. 75—111) и в названной выше книге С. Борщевского (стр. 149—157). Полностью пародию-фельетон Салтыкова в первоначальной редакции опубликовал С. А. Макашин в «Литературном наследстве» (т. 67, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 388—402) по тексту корректурных гранок из бумаг Н. А. Некрасова (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 101).

В настоящем издании статья печатается по несколько более полному тексту гранок, хранившихся в бумагах А. Н. Пыпина, а ныне находящихся в салтыковском фонде Пушкинского дома. Сообщение об этих гранках было сделано В. Э. Боградом в «Литературном наследстве», т. 67, стр. 363, 369.

На стр. 214 *в последнем абзаце после слов:* «...освещаемый молнией» восстановлена по гранкам ЦГАЛИ фраза: «По сторонам... стража».

В своей четвертой статье из серии «Петербургские театры» Салтыков продолжает борьбу за реализм «на два фронта»: как с теоретиками «искусства для искусства», так и со сторонниками примитивного утилитаризма и натурализма. В центре статьи — диалоги о назначении искусства между самим «искусством» и «мужиком». Отношение к мужику, к народу является пробным камнем правды в искусстве; подлинная, «мужицкая» народность или, как пишет Салтыков, национальность искусства определяет меру его общечеловеческой содержательности и ценности. Такая демократическая постановка вопроса о зависимости искусства от интересов народной жизни сделала эту статью неприемлемой для цензуры.

Сам Салтыков прочно связал практику собственного творчества с интересами и чаяниями мужика. С позиций мужицкой демократии он обличает и осмеивает не только философскую реакцию, но и выдохшийся либерализм, «скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова», и, разумеется, «отечественно-консервативную силу» в образе Давилова —

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов и Г. Тизенгаузен. Последние годы «Современника». 1863—1866, Гослитиздат, Л. 1939, стр. 85.

[2] С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, Гослитиздат, М. 1956, стр. 149.

воплощении режима административного насилия, вместе с его подручными Обираловым и Дантистом — раздателем зуботычин, и т. д., устанавливает между всеми ими внутреннюю общность побуждений, задевая в результате и самую «Систему». «Вот моя программа»,— пишет сатирик, начиная свою пародию-памфлет на пустые и легковесные балетные сценарии того времени, и эти слова о программе многозначительны [1].

Статью-пародию Салтыкова, само собою разумеется, нельзя рассматривать как собственно балетную рецензию, хотя в ней и схвачены весьма точно кризисные черты балетного театра 60-х годов, времен заката романтического стиля. Как пишет историк русского балета В. М. Красовская, «если романтический балет эпохи расцвета привлекал сочувственное внимание Белинского, Герцена, Щедрина, то балет поры упадка для Щедрина и Некрасова уже не существовал как искусство, а являлся лишь одним из неприглядных «признаков времени» [2]. Действительно, для сурового реалиста и демократа Салтыкова балет в 60-х годах — одна из отрицаемых им форм «чистого искусства», запоздало романтического, далекого от народа, отвлекающего общество от насущных задач жизненной борьбы и потому, в конечном счете, реакционного. Как и в «Московских письмах» (см. наст. том, стр. 153—156), как и в ряде более поздних публицистических выступлений писателя, критика балета часто служит лишь средством критики спиритуализма, всякого философского идеализма вообще. В статье «Современные призраки», относящейся к апрелю 1863 г. и при жизни автора не напечатанной, например, прямо утверждается: «Пускай философы-идеалисты... сходят в первый балет, какой будет даваться на сцене. Они увидят, они с краской стыда почувствуют, что целую жизнь свою посвятили не чему иному, а именно только сочинению балетов» и т. д. (см. т. 6 наст. изд.). Так и в настоящей статье. Образ балетной «галиматьи» помогает сатирику высмеять «галиматью» философскую, с прямым прицелом в философа-идеалиста П. Д. Юркевича и подобных ему воинствующих врагов материализма.

Статья Салтыкова написана в разгар ожесточенной схватки «Современника» с Достоевским и его журналом «Эпоха» и вся пронизана полемическими выпадами в этот адрес. В перечне персонажей «балета» Салтыкова фигурирует «Эпохино семейство»; потому «семейство», что издатель «Эпохи» М. М. Достоевский умер в июне 1864 г. и его права перешли к наследникам. Салтыков высмеивает «почвенническую» идеологию журнала, как вид ретроградства. Расплывчатость призывов к сближению с «почвой», то есть с исконными началами русской жизни, он уподобляет чириканью стрижей. «Стрижами» же в системе полемических иносказаний Салтыкова вы-

---

[1] Форма литературного фельетона в пародийной оболочке балетного сценария не выдумана Салтыковым; она была достаточно распространена в журналистике 60-х годов. Например, 14 января 1862 г. «С.-Петербургские ведомости» напечатали анонимное «Либретто фантастического балета из современной жизни», где высмеивалась деятельность газовой и водопроводной компаний.

[2] В. Красовская. Русский балетный театр второй половины XIX века, «Искусство», Л.—М. 1963, стр. 530.

ступают, кроме братьев Достоевских, также А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов («Косица») и др. (подробнее о полемике Салтыкова с «Временем» и «Эпохой» см. в т. 6 наст. изд., прим. к статье «Литературные мелочи» и др.; см. в наст. томе стр. 611—612, 623—627, 636—637, а также прим. к рецензии «О добродетелях и недостатках...»). Попутно Салтыков пародирует мнимо-обличительную журналистику «необулгаринского» толка, которая звала к реформистской «постепенности», усматривала корень зла во взятках и других нарушениях «безупречных» законов.

Стр. 199. *«Наяда и рыбак»* — балет выдающегося романтического хореографа и танцовщика Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни. Впервые показан в Лондоне 22 июня 1843 г. под названием «Ундина, или Наяда». Петербургская премьера состоялась 30 января 1851 г. с участием Карлотты Гризи в роли Наяды и Жюля Перро в роли рыбака Маттео. 7 ноября 1863 г., после отъезда Перро из России, в партии Наяды впервые выступила М. Н. Муравьева; прочие роли исполняли: Маттео — Х. П. Иогансон, Джианина — В. А. Лядова, Гидрола — А. Н. Кеммерер, Тереза — Н. Н. Троицкая.

...да простит мне г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих... старичков.— Об отношении Салтыкова к роману Тургенева «Отцы и дети» см. наст. том, прим. к стр. 168.

...Кирсановы... говорят об «даже»... — намек на умеренный либерализм «отцов» из тургеневского романа. Должно быть, Салтыков имеет в виду диалог братьев Кирсановых и Базарова в десятой главе «Отцов и детей» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, т. VIII, «Наука», М.—Л. 1964, стр. 237—249). См. также в январской хронике «Нашей общественной жизни» (т. 6, М. 1941, стр. 47).

Стр. 201. *...балет находится в состоянии еще более младенческом, нежели, например, поэзия гг. Майкова, Фета и проч.*— Салтыков посвятил специальные рецензии «Стихотворениям» А. А. Фета и «Новым стихотворениям» А. Н. Майкова (см. наст. том, стр. 383—387 и 424—435).

...с своими «духами долин», с своими «наядами», «метеорами» и прочею нечистою силой.— Имеются в виду репертуарные балеты: 1) «Сирота Теолинда, или Дух долины» А. Сен-Леона на музыку Ц. Пуни, поставленный на петербургской сцене в бенефис М. Н. Муравьевой 6 декабря 1862 г.; 2) «Наяда и рыбак» и 3) «Метеора, или Долина звезд» А. Сен-Леона на музыку Пипта и Пуни, шедший в Петербурге впервые для бенефиса Н. К. Богдановой 23 февраля 1861 г.

Стр. 202. *...белила и румяны ползут с его лица, на котором обнажаются старческие морщины...*— Исполнителю роли рыбака Маттео, выдающемуся петербургскому танцовщику Х. П. Иогансону, в 1864 г. было 47 лет.

Стр. 203. *Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?.. от всей этой галиматьи...*— Салтыков иронически ставит простейшие, школярские вопросы латинской грамматики и логики, высмеивая реакционный спиритуализм

(и намеренно смешивая его со спиритизмом) П. Д. Юркевича. С этой же разоблачительной целью сатирик устанавливает тождество между миром балетных «чудес» и «духов» и «философией духа» Юркевича, оказывающейся на поверку такой же фантазией.

Стр. 204. *Соч. хроникера «Современника»...*— Салтыков вел в «Современнике» 1863—1864 гг. постоянную хронику «Наша общественная жизнь» (см. т. 6 наст. изд.).

Стр. 213. *Ах, когда же с поля чести /Русский воин удалой...*— начало так называемого рассказа Собинина из первого акта оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», по тексту либретто барона Е. Ф. Розена.

Стр. 214. *...секретнейшее отделение!!* — намек на III Отделение собственной его величества канцелярии — центральное учреждение политической полиции царизма.

Тихо всюду! глухо всюду! /Быть тут чуду! быть тут чуду! — стихи из второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды».

Стр. 214—215. *...на коленях Взятка-Потихоньку-Постепенная преподносит изящнейший портсигар из черной юфти.*— Здесь и далее пародируются газетные отчеты о бенефисных подношениях танцовщицам.

Стр. 215. *...герб Хлестаковых-Давиловых Римский огурец.*— Салтыков сатирически заостряет, как символ чудовищной лжи, образ из басни И. А. Крылова «Лжец», герой которой заявляет:

Вот в Риме, например, я видел огурец:
Ах, мой творец!
И по сию не вспомнюсь пору!
Поверишь ли? ну, право, был он с гору...

...слесарши Пошлепкиной...— персонаж из комедии Гоголя «Ревизор»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ», ПОМЕЩЕННОЙ В ОКТЯБРЬСКОЙ КНИЖКЕ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» ЗА 1862 ГОД

(Стр. 216)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 1—16 (ценз. разр.— 5 февраля). Подпись: Т — н (Тверянин?). Псевдоним раскрыт А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 235); авторство подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 64, и т. 53—54, стр. 258). Рукопись неизвестна. Но в ИРЛИ сохранились исправленные корректурные гранки (на них помета: «2 корр. Декабря 29» и надпись: «Его Высокоблагородию Александру Николаевичу Пыпину»). Они дают возможность восстановить тексты двух ядовитых выпадов против «Русского вестника», которые были исключены из журнальной публикации, по-видимому, по цензурным соображениям. Восстанавливаются тексты — стр. 218—219: «Одним словом... телесные упражнения»; стр. 221: Подстрочное примечание: «Когда-то «Современник»... не вышел».

В «Материалах...» К. К. Арсеньева приводятся сведения о хранившейся в бумагах Салтыкова, но впоследствии утраченной черновой рукописи под заглавием «Замечания на проект устава книгопечатания». К. К. Арсеньев усматривал в этом автографе набросок записки, предназначавшейся не для обнародования в журнале, а для представления кому-то из лиц высшей администрации, причастных к разработке законодательства о печати. Документальные подтверждения такой догадки отсутствуют. Но если бы она и была доказана, это не помешало бы рассматривать «Замечания...» как первоначальный набросок тех мыслей и формулировок, которые в несколько измененном и сокращенном виде перешли затем в текст комментируемой статьи. К сожалению, однако, сведения из «Материалов...» К. К. Арсеньева не могут быть введены в корпус сочинений писателя. Немногие цитаты из салтыковского текста перемежаются здесь пересказами отдельных мест рукописи и комментарием К. К. Арсеньева.

Восьмого марта 1862 г. при министерстве просвещения была учреждена «Комиссия для пересмотра, изменения и дополнения постановлений по делам книгопечатания» под председательством князя Д. А. Оболенского. В октябре того же года комиссия закончила свою работу, подготовив том материалов «Первоначальный проект устава о книгопечатании». (Впоследствии этот проект был пересмотрен другой комиссией, учрежденной при министерстве внутренних дел, и послужил основанием закона о печати 6 апреля 1865 г.) Проект предусматривал введение карательной цензуры, но и сохранение элементов цензуры предупредительной. С материалами был ознакомлен Катков, который и написал, ориентируясь на них, свою «Заметку», вызвавшую отпор Салтыкова (см. М. Лемке, Эпоха цензурных реформ, СПб. 1904, стр. 210—218; А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков, СПб. 1899, стр. 32—35).

В связи с работой Комиссии в русской периодике 1862 г. оживленно обсуждался вопрос о преобразовании цензуры. В ходе дискуссии обнаружились две основные точки зрения. За сохранение предупредительной цензуры не ратовал почти никто. И либералы и бывшие либералы, повернувшие в обстановке революционной ситуации вправо, выступали под знаменем борьбы за «свободу слова», против цензурных ограничений. Такие выступления часто оказывались неразрывно связанными с нападками на «нигилизм», с которым будто бы легче будет справиться, если он сможет высказаться открыто. «Если ложь,— заявлялось в журнале Каткова,— присутствует в умах, пусть лучше она выскажется со всем своим задором и без утайки; тогда с ней легко справиться без всяких карательных мер; она или сама себя уничтожит своею откровенностью, или вызовет в обществе отпор...» («Русский вестник», 1862, № 10, стр. 877). Издания этого лагеря с похвалой отзывались о намерениях правительства преобразовать цензуру, стремились представить проекты, планируемые властями, как подлинное освобождение слова, призывали принять участие в обсуждении вопроса о цензурной реформе. В то же время они старались оправдать те

цензурные ограничения, которые предполагалось сохранить, говорили о важности постепенности в цензурных преобразованиях, о «государственной необходимости», мешающей иногда осуществить свободу слова (см., например, «Современную летопись», 1862, № 12, стр. 18). В отдельных случаях в высказываниях об изменении цензуры ощущались оппозиционные ноты, встречались критические замечания в адрес официальных проектов, но и здесь звучала вера в то, что от правительства можно ожидать подлинного освобождения слова, нужно лишь только доказать ему пользу такого освобождения («День», №№ 21—24; «Время», № 5—6, статьи «Законы о печати...» и др.). Иной была позиция демократической журналистики. Дело сводилось даже не к тому, что, критикуя официальные проекты, она требовала подлинной свободы слова. Главное заключалось в том, что, раскрывая реакционность различных цензурных систем, демократическая печать подводила читателей к мысли, что такие системы закономерны для абсолютистских правительств, автократических режимов, которые боятся подлинной свободы слова и могут существовать, лишь обуздывая ее. Обсуждение вопроса о цензурных законодательствах, по мнению демократического лагеря, практически не влияет на проведение цензурной реформы (правительство все равно проведет ее по-своему).

Но оно полезно, чтобы заставить понять сущность дела, разрушить всяческие иллюзии, показать несовместимость свободы слова и самодержавной власти. Подобного рода рассуждения высказывались в статьях Н. Г. Чернышевского «Французские законы по делам книгопечатания» («Современник», 1862, № 3), Н. Л. Тиблена «По делу о преобразовании цензуры» (там же), Д. И. Писарева «Очерки из истории печати во Франции» («Русское слово», 1862, № 3—5). Определяют они и содержание статьи Салтыкова. Следует учитывать, что его выступление воспринималось в общем контексте аналогичных материалов, опубликованных, в частности, в № 1—2 «Современника». В конце отдела «Словесности...» этого номера напечатана первая из серии статей А. Н. Пыпина «Процессы о печати в Австрии». Автор прямо указывает на связь своей статьи с прошлогодними толками о цензуре, с прежними выступлениями «Современника» о цензурных законодательствах. Рассказывая о преследованиях австрийской печати, о полной зависимости ее от «господ, имевших в руках своих кулачное право» (стр. 436), Пыпин подчеркивает, что положение не может быть иным, «когда общество или не сознает, или не умеет поддержать своих прав; когда учреждения остаются абсолютными; когда законодательство не изменилось», «можно ли было ожидать другого положения печати при тех обстоятельствах, в которых находится внутренняя жизнь государства?» — спрашивает он (стр. 437). Сразу же после статьи Пыпина, в начале II отдела, редакция печатает статью Салтыкова. Пользуясь тем, что проект нового устава не был официально опубликован, делая вид, что спор идет лишь о катковской «Заметке», и одновременно намекая, что это не так, Салтыков подвергает уничтожающей критике подготавливаемую реформу. Он показывает, что новая система основана на желании «заме-

нить произвол беспорядочный произволом, так сказать, узаконенным», что «правительство сильное, опирающееся на сочувствие народа», не может руководиться подобным желанием. Отсюда напрашивался вывод, что ожидать свободы слова от царского правительства, не пользующегося поддержкой народа, наивно. Подобный вывод мимоходом делал и Антонович в «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев», напечатанном в том же № 1—2 «Современника» (стр. 238).

Выступление Салтыкова по поводу «Заметки» привлекло внимание цензора О. Пржецславского, весьма раздраженно отозвавшегося о статье в своем докладе о январско-февральской и мартовской книжках «Современника» Совету министра внутренних дел по делам книгопечатания (см. «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 139—140).

Стр. 216. *...чтобы различить вредные и антисоциалистские учения от невредных и социалистских.*— Слово «социалистский» здесь следует понимать в смысле «общественный» (см. А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков, СПб. 1899, стр. 35).

Стр. 217. *Прохаживался ли, например, «Русский вестник» насчет Австрии...*— В «Русском вестнике» конца 50-х годов нередко встречались отрицательные оценки австрийских порядков (см., например, «Политическое обозрение», 1858 — № 4, кн. 2; 1859 — № 7, кн. 1, № 9, кн. 1, № 10, кн. 1). В журналистике того времени именно отклики на австрийские события чаще всего служили замаскированной формой критики русской действительности.

...восхвалял ли «Русский вестник» австрийского мистера Брука...— Редакция «Русского вестника» в какой-то степени противопоставляла австрийского министра финансов Карла Людвига Брука остальным министрам, утверждая, что упреки за финансовый кризис следует адресовать «не столько к барону Бруку, сколько вообще к австрийской камарилье и бюрократии», Брук же «прославился своей финансовою находчивостию», «имя его будет всегда называться в финансовой науке, как имя весьма замечательное» («Политическое обозрение», 1859, № 10, кн. 1, стр. 264—265).

Если верить «Русскому вестнику» и г. Громеке...— Утверждения, что предупредительная цензура на руку нигилистам, см. в «Заметке...» «Русского вестника», написанной Катковым (1862, № 10), и в «Современной хронике» «Отечественных записок», которую вел Громека (1862, №№ 4, 11).

Мы не имели случая читать подлинный проект нового «устава о книгопечатании»... но знаем о содержании его из «Русского вестника».— Судя по рукописи «Замечаний на проект устава книгопечатания», бывшей в распоряжении К. К. Арсеньева (см. выше), это заявление не соответствует действительности и сделано, по-видимому, по цензурным соображениям.

Стр. 219. *С точки зрения практической, для литературы, конечно, все равно, в каком ведомстве будет сосредоточен контроль по делам книгопечатания...*— Намек на то, что, в сущности, нет никакой разницы между министерством внутренних дел, ведавшим полициею, и министерством про-

свещения, должен был задеть мнившего себя либералом министра просвещения А. В. Головнина.

Стр. 219—220. *Какое отношение может существовать между литературою, как органом просвещения, и полицией, как органом охранения государственной безопасности...* — Сближение цензуры и полиции задело цензора О. А. Пржецславского. В своем отчете (см. выше) он отмечал, что Салтыков смешивает понятие об «обыкновенной» полиции с понятием о «высшей полиции, *о полиции слова*».

Стр. 221. *...права печатать казенные объявления... против «Нашего времени».* — О монополии, полученной Катковым на печатание казенных объявлений в «Московских ведомостях», и о возникшей по этому поводу полемике с редактором газеты «Наше время» Н. Ф. Павловым см. прим. на стр. 564—565 наст. тома («Московские письма»).

...в последнее время «Современная летопись» начала что-то заговариваться о редакторах, заслуживающих доверия, и редакторах, доверия не заслуживающих. — В полемике с Н. Ф. Павловым редакция «Современной летописи» утверждала, что университет, передавая свою газету «Московские ведомости» М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву, считает «их образ мыслей особенно заслуживающим доверия», что само правительство, утверждая выбор университета, «признает за ними достаточные нравственные обеспечения и считает их людьми, заслуживающими доверия» (№ 46, стр. 22).

...сравняться в «рвении» с «Нашим временем». — В 1862 г. «Наше время» вело ожесточенную травлю «нигилистов», обвиняя их в поджогах и т. п. (см., например, № 122).

«Он схватил меня,— рассказывает Гулливер...» — цитата из «Путешествия Гулливера» Свифта, ч. II, гл. I.

Когда-то «Современник» назвал... «Русский вестник» подготовительным журналом... — Вероятно, имеется в виду оценка «Русского вестника» Чернышевским в статье «История из-за г-жи Свечиной» («Современник», 1860, № 6): «Мы думаем, что воззрения, излагаемые «Русским вестником», подготовляют людей к принятию воззрений, излагаемых нами... мы считаем его очень полезным для нас подготовителем серьезных людей к принятию наших понятий» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 302—303).

Стр. 223. *...имеет в предмете указать на Францию.* — Готовя цензурные преобразования, русское правительство в значительной степени ориентировалось на французские законы о печати. В связи с этим демократическая журналистика неоднократно резко критиковала французскую цензурную систему.

...что для нас Франция? что мы для нее? — ироническая перифраза слов Гамлета «Что ему Гекуба? что он Гекубе?»

Что мы, русские, не имели до сих пор свободных учреждений... тут, конечно, хорошего мало... — Смелое указание на то, что в государственном устройстве России отсутствуют элементарные конституционные свободы, вызвало неблагосклонный отзыв цензора Пржецславского (см. выше).

НЕСЧАСТИЕ В ПОРХОВЕ

(Стр. 232)

Первоначальная редакция статьи «Известие из Полтавской губернии» («Современник», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 47—62), сохранившаяся в корректурных гранках «Современника». Подпись: Вл. Торопцев. Впервые опубликовано В. Е. Евгеньевым-Максимовым в кн. «Труды Московского Гос. института истории, философии и литературы», т. IV. Филологический факультет. М. Е. Салтыков-Щедрин (К 50-летию со дня смерти), М. 1939, стр. 165—179.

«Несчастие в Порхове» написано в конце декабря 1862 г. Поводом для статьи послужили события в Порхове, уездном городе Псковской губернии, о которых сообщалось в № 25 газеты «Мировой посредник» за 1862 г. в корреспонденции: «Еще пример дикости», подписанной инициалом «С.». Предназначалась статья для первой сдвоенной книжки «Современника» за 1863 г. «Вооруженное кулаками» насилие, учиненное порховскими помещиками-крепостниками над местным мировым посредником А. И. Володимеровым[1] за то, что при составлении уставных грамот он защищал интересы крестьян, Салтыков представил не изолированным уголовным деянием, а явлением типическим для тех условий и настроений, в которых проходила на местах реализация Положений 19 февраля 1861 г. После того как статья была уже набрана и сверстана, к ней было добавлено в качестве постскриптума «Примечание редакции», написанное, несомненно, также Салтыковым. В нем излагалось содержание только что полученного редакцией «Современника» письма из Полтавской губернии. Не очень грамотный автор письма, укрывшийся под псевдонимом «Не тронь менѐ», сообщал о кулачной расправе над местным мировым посредником будто бы «либеральным» «С.», избитым помещиком «Б.», будто бы «дурно обращавшимся с крестьянами».

«Несчастие в Порхове» и постскриптум к статье не появились в печати. Обнародованию этого резкого антидворянского выступления помешали «некоторые препятствия», как глухо сообщал об этом Салтыков в письме к А. Я. Конисскому от 1 мая 1863 г. Чтобы обойти эти «препятствия», Салтыков переделал статью. Он почти полностью — по существу и текстуально — сохранил разработку темы о преследовании крепостнической реакцией мировых посредников из числа либерально настроенного дворянства, но иллюстрировал ее теперь в основном фактами не из происшествия в Порхове, но аналогичными событиями в Полтавской губернии, о которых сообщалось в упомянутом письме «Не тронь менѐ». Соответственно этому было изменено название статьи. Под заглавием «Известие из Полтавской губернии» она появилась в № 1—2 «Современника» за 1863 г. Но уже в

---

[1] Это был тот самый А. И. Володимеров, с семейством которого, приехавшим в 1864 г. в Италию, подружилась старшая дочь Герцена, Наталья Александровна («Литературное наследство», т. 63, М. 1956, стр. 454).

следующей книжке журнала, в № 3, Салтыков вынужден был поместить заметку «Дополнение к «Известию из Полтавской губернии». В ней он сообщал содержание полученного «Современником» нового письма, из которого явствовало, что корреспондент «Не тронь менѐ» ввел редакцию, а тем самым и Салтыкова, в заблуждение и совершенно в превратном виде изобразил как посредника С., так и помещика Б. Месяца через полтора после опубликования разъяснений Салтыкова в «Современник» пришло еще одно письмо, выражавшее «негодование» по поводу защиты и оправдания в статье «Известие из Полтавской губернии» посредника С. Автором письма был упомянутый выше А. Я. Конисский, украинский писатель и общественный деятель, отбывавший в ту пору ссылку в Вологодской губернии. Конисский сообщил редакции «Современника» такие сведения о полтавском посреднике С., которые не только превращали его из либерала в ярого реакционера-крепостника, но и компрометировали политическую честность этого человека. На эту корреспонденцию Салтыков ответил частным образом в упомянутом выше письме Конисскому и публично — в майской книжке Современника», в краткой реплике, озаглавленной «Еще по поводу «Заметки из Полтавской губернии» (имя Конисского, разумеется, названо не было).

Публикуя в 1939 г. «Несчастие в Порхове», В. Е. Евгеньев-Максимов высказал предположение, что статья была сначала «изуродована», а затем и вовсе запрещена цензором Бекетовым. В подтверждение исследователь ссылался на недатированную записку Салтыкова к Некрасову, начинающуюся словами: «Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, изуродованную г. Бекетовым корректуру...» Однако нет никаких видимых оснований относить эту записку к гранкам «Несчастия в Порхове». Кроме того, как уже сказано выше, почти вся принципиальная часть статьи текстуально была перенесена в заменившее «Несчастие в Порхове» «Известие из Полтавской губернии», которое лишь с небольшими смягчениями текста было пропущено тем же цензором Бекетовым для той же январско-февральской книжки «Современника» за 1863 г.

Сличение «Несчастия в Порхове» с «Известием из Полтавской губернии» показывает, что из текста первой статьи, при ее переработке во вторую, было сделано два крупных изъятия. Во-первых, была устранена начинавшая статью обширная цитата из «Мирового посредника» о происшествии в Порхове. Причина этого изъятия остается неясной. Вряд ли она могла восходить к официальной цензуре. Ведь убиралась перепечатка газетной корреспонденции, то есть материала уже цензурованного. Во-вторых, были сняты все места, в которых обличение насилия крепостников-помещиков, учиненное ими над мировым посредником, связывалось с полемически-сатирическими стрелами в адрес тургеневских «Отцов и детей». (На вопрос статьи «Кто эти люди, которые дерутся?» давался ответ: «...в Порхове дрались отцы: дрался Павел Кирсанов... дрался Николай Кирсанов...» и т. д.) Допустимо предположение, что эти места Салтыков снял по рекомендации П. В. Анненкова, которому в это время

показывал свои работы до их напечатания (см., например, записку начала 1863 г., в которой были такие слова: «Пользуясь Вашим обещанием, многоуважаемый Павел Васильевич, препровождаю при сем корректуру моей статьи...»).

Так или иначе, представляется несомненным, что законченное, подписанное к печати «Несчастие в Порхове» было переделано в «Известие из Полтавской губернии» не по авторской воле, а вследствие воздействия каких-то посторонних причин. В результате внесенных изменений, в статье, по собственной оценке Салтыкова, «произошла некоторая несвязность» (из цит. письма к Конисскому) и в нее проникли материалы из фальсифицированной корреспонденции «Не тронь менѐ». Эти ошибки Салтыкову пришлось исправля́ть в двух дополнительных публикациях. Вследствие всех этих обстоятельств в основном разделе настоящего тома печатается «Несчастие в Порхове», а вынужденно заменившие его «Известие из Полтавской губернии», «Дополнение к «Известию из Полтавской губернии» и «Еще по поводу «Заметки из Полтавской губернии» помещаются в разделе Из других редакций.

«Несчастие в Порхове» — один из публицистических откликов Салтыкова на практику проведения крестьянской реформы и на деятельность созданного для реализации Положений 19 февраля института мировых посредников (см. об этом выше, в прим. к статье «Об ответственности мировых посредников»). Главное в статье — разоблачение «тайной силы» крепостнической оппозиции, «подрывающей» дело реформы, и выдвигаемый Салтыковым проект переустройства самого «мирового института». Салтыков предлагает заменить установленный Положением порядок назначения посредников губернатором из числа дворян-помещиков принципом выбора мировых посредников, выбора от всего народа данной местности, без различия сословий и без учета имущественного ценза («Лицо, служащее мировому институту, должно быть живым словом земства»). Этот проект в духе призывов к слиянию сословий дворянских либералов Тверской губернии, естественно, не мог получить в условиях тогдашней России практического применения.

Стр. 235. *«Звон вечевого колокола раздался — и дрогнули сердца новгородцев!»* — начальные слова повести Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода» (1803), несколько неточно цитируемые. В подлиннике: «Раздался звук вечевого колокола, и вздрогнули сердца в Новгороде».

Стр. 237. *«Наше время», № 3 за 1863 год* — статья «Вести с южных полей».

«Голос» 1863 г., № 3 — передовая статья этого номера.

Стр. 238. *«Стой, солнце, не движься!..»* — слова из Библии: Книга Инсуса Навина, X, 12—13.

Стр. 239. *Второй пример рассказан в 3 № «Голоса» за сей год* — в ста-

тье за подписью «Сердобский обыватель», озаглавленной «За и против. К вопросу об антагонизме между помещиками и посредниками».

Стр. 240. *Законы святы, /Да исполнители лихие супостаты...*— не совсем точно приводимые слова Доброва из комедии В. В. Капниста «Ябеда» (действ. I, явл. 1): «Ах, добрый господин! ей, ей! Законы святы, /Но исполнители лихие супостаты».

Стр. 241. *Procès de tendance* — «Процесс о намерении»; процесс, возбуждаемый против писателя не за высказанное им, а за приписываемые ему намерения.

Стр. 243. *...правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года.*— Эти «временные» правила практически без изменений стали затем постоянными. См. в полном собр. законов Российской империи специальный раздел, посвященный институту мировых посредников (Собр. второе, отд. 1, т. XXXVI, СПб. 1861, стр. 202—213). В мировые посредники избирались потомственные дворяне, «владеющие удобной землей... в количестве не менее пяти сот десятин». См. в наст. томе прим. к ст. «Об ответственности мировых посредников», стр. 552—553.

Стр. 244. *...уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо...*— Статья Салтыкова по вопросу о цензе неизвестна. Спор по этому вопросу возник в 1862 г. на страницах славянофильской газеты «День». Ее редактор И. С. Аксаков выступил в передовой статье № 11 против имущественного ценза, дающего право участвовать в деятельности тех или иных общественных учреждений, доказывая, что сама идея ценза есть западная идея, чуждая для России и неприменимая в ней. Ему возражал в № 18 «Дня» А. И. Кошелев, выступавший в защиту ценза как средства «опознания» людей, наиболее пригодных для «заведования общими делами». В своем ответе А. И. Кошелеву, помещенном в № 19 «Дня», И. С. Аксаков утверждал, что ценз не есть «мерило доброкачественности и способности человека». Эта полемика вызвала ряд откликов и за пределами славянофильской печати. В защиту высокого имущественного ценза выступил, например, М. Н. Катков в № 236 «Московских ведомостей» от 30 октября 1862 г.

Стр. 244—245. *...в этих обвинениях столько же смысла, как и в тех, которые возникли летом 1862 года по поводу происходивших в Петербурге пожаров...*— При прямом поощрении и участии правительства широкое распространение в обществе и в печати получила версия о причастности к огромным пожарам, происшедшим в Петербурге в мае 1862 г., революционеров и студентов, находящихся под влиянием революционно-демократической литературы, в первую очередь «Современника».

Стр. 245. *По поводу этих пожаров образовалась у нас... целая обвинительная литература, о которой мы в скором времени надеемся представить читателям «Современника» подробную статью.*— Поскольку примечание это дано от имени редакции «Современника», неясно, имеет ли оно в виду,

в качестве автора задуманной статьи, Салтыкова или какого-либо другого литератора. Так или иначе, специальной статьи на эту тему в «Современнике» не появилось. Но ей посвящены два абзаца в статье Салтыкова «Несколько полемических предположений» в «Современнике», 1863, № 3 (см. в наст. томе стр. 271—272), и ряд мест в его «хрониках» «Наша общественная жизнь» (см. в т. 6 наст. изд.).

Стр. 246—247. *...отсылаем желающих... к статье г. Громеки, напечатанной в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1862 год.*— Имеется в виду статья «Современная хроника России» в названной книжке «Отечественных записок». Статья не подписана, но автором ее действительно является С. С. Громека.

Стр. 247. *...для чего он взял на себя роль адвоката, которой ему никто не поручал, об которой его никто не просил?* — В конце своей «хроники» — «грустном финале» ее, по определению Салтыкова,— Громека, бывший жандармский офицер, а затем обличительный литератор, выступил с защитой политики воздержания от публичной полемики с оппозиционными и преследуемыми течениями общественной мысли. Громека писал: «Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература не может сражаться с мнениями, которые подвергаются преследованиям и запрещаются цензурою; разум не может подавать руки насилию. К тому же на Руси исстари ведется добрый обычай, по которому лежачего не бьют. Если б литература позволила себе нарушить этот обычай, она бы унизила себя в общественном мнении, лишилась бы всякого влияния на публику и только возвысила бы преследуемое мнение на степень мученичества... Когда преследуется целое литературное направление, тогда все прочие направления, бывшие с ним в споре, становятся в унизительное положение невольных доносчиков». В этой тираде Громека имел, несомненно, в виду правительственное закрытие на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова», последовавшее 19 июня 1862 г. Демократический лагерь не хотел и не мог принять «адвокатских» услуг от Громеки, имея в виду его двойственную политическую биографию, в частности его выступление в 1862 г. против Герцена.

Стр. 248. *«Худой пример подаете вы, господа...»* — В «Мировом посреднике» это начало цитируемой фразы имеет продолжение: «Худой пример подаете вы, господа, меньшей братии...», и дальше, как в тексте.

ДРАМАТУРГИ-ПАРАЗИТЫ ВО ФРАНЦИИ

(Стр. 250)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 63—80 (ценз. разр.— 5 февраля). Без подписи.

Принадлежность статьи Салтыкову установлена В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании документов конторы «Современника» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.— Л. 1926, стр. 133, см. также «Литературное наследство», т. 13—14, стр. 64, т. 53—54, стр. 258). Рукопись не сохранилась. Печатается по тексту журнала.

Внешним образом статья посвящена критике драматургов-апологетов Второй империи во Франции и вместе с тем обличению буржуазного общества, породившего насильственный режим Наполеона III. По существу, однако, Салтыков ни на минуту не упускает из виду политическую и общественную реакцию, восторжествовавшую в России в 1862—1863 гг. после краха революционной ситуации.

Слова «Франция, в этом случае, может служить живым и поучительным примером» и намекают на то, что во всей статье проводится эзоповская аналогия между бонапартистской Францией и реакцией в России.

Развернутое определение понятий «паразиты», «паразитство» Салтыков дал в «Признаках времени», в частности в очерке «Сила событий». «Паразитство», как общественное явление, писатель связывает с торжеством реакции и с ложным патриотизмом, являющимся прикрытием для беззастенчивой эксплуатации масс и всевозможных форм ограбления отечества. В области идеологии «паразитство» приводит к вытеснению подлинного искусства «зрелищами, возбуждающими чувственность, литературой, проповедующей низменность и пошлость, искусством, чуждающимся мысли и преследующим ее презрением и насмешкою» (см. т. 7 наст. изд.).

Публицистическое определение «паразиты» в комментируемой статье является ступенью в процессе создания обобщенных художественных образов «хищников» и «пенкоснимателей», в позднейших произведениях Салтыкова («Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге» и др.).

Статья содержит в себе три плана: историко-философский, актуально-политический и литературный.

В историко-философской публицистике и полемике 60-х годов нередко проводилась аналогия между положением Западной Европы после 1848 г. и состоянием Римской империи накануне ее падения. Ими пользовались Джон Стюарт Милль, Герцен (например, в книге «С того берега», в статье «Русский народ и социализм»). Аналогия эта нередко распространялась и на Россию. Чернышевский решительно и убедительно отверг ее в статье «О причинах падения Рима» («Современник», 1861, № 5). В конкретных условиях 60-х годов историко-философский спор о судьбах западноевропейской культуры и образованности содержал в себе политический подтекст: славянофилы прямо утверждали, что демократия и социализм не могут спасти Европу от гибели, что демократия и социализм — форма ее предсмертной болезни и по этому одному уже неприемлемы для России. Чернышевский же доказывал, что пробуждение масс, победа демократии и социализма гарантируют европейскую и русскую культуру от гибели и вырождения.

В целом Салтыков примкнул в этом споре к Чернышевскому. И он считал, что приравнивание социального кризиса современной ему Европы к разрушению Римской империи варварами есть не более как «близорукий парадокс». Однако, отвергая представление о цикличности исторического развития, по аналогии с зарождением, восхождением и крушением античного мира, Салтыков подчеркивал, ссылаясь на опыт и Франции и России, что подавление революционных сил и разгул реакции приводят к разложению

общества и к упадку культуры и что в этом смысле выражения «владычество варварства» и «падение общества» становятся уж совсем не столь фальшивыми... и если несправедливо употреблять их в абсолютном значении, «то весьма и весьма позволительно применять к данному моменту общественного развития». Это уточнение было тем более необходимо, что Салтыков сам в «Глуповском распутстве» сравнивал крепостническую Россию с деградирующим Римом. По рукописным и корректурным материалам «Глуповского распутства» видно, как тщательно работал Салтыков, чтобы придать аналогии истории Глупова с историей Рима ограниченный конкретно-исторический (и сатирический) характер.

Славянофилы и «почвенники» использовали аналогию между гибнущим будто бы Западом и гибнущим Римом в узконационалистических целях. Противополагая «гниющему» Западу «патриархальную» Россию, они отрицали самую идею «человечества». Белинский писал: «Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было; только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования; словом, любовь к отечеству должна быть вместе и любовью к человечеству»[1]. Полемизируя с Белинским, Ап. Григорьев писал, что «в лице теоретиков <то есть в лице Белинского и его наследников Чернышевского, Добролюбова и их сторонников.— *В. К.*> мы... отрицаемся от идеи национальности в пользу общей идеи, которая на языке благопристойном зовется человечеством, а на циническом, хотя в этом случае очень метком языке père Duchesne'я новейших времен — «человечиной»[2] <«Père Duchesne новейших времен» — Бурачек, крайний реакционер, издатель журнала «Маяк»>. Несколько позднее Н. Я. Данилевский, бывший фурьерист и петрашевец, а затем «почвенник» и славянофил, писал в своей известной работе «Россия и Европа»: «Понятие об общечеловеческом... не имеет в себе ничего реального и действительного» <первоначально — в 1869 г. в журнале «Заря». Цитирую по третьему изданию, СПб. 1888, стр. 128>. Вот это-то противопоставление нации интернациональному понятию человечества и имел в виду Салтыков, когда писал, что идея «человечества едва-едва начинает проникать только в историю человечества...». Сам Салтыков вполне солидаризовался с Белинским. И для него любовь к родному народу и к родной стране была силой не разделяющей, а соединяющей народы, стремящиеся к «общему благу». «Идея, согревающая патриотизм,— писал Салтыков,— это идея общего блага... Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве» (наст. изд., т. 7).

Поражение общественного движения 60-х годов вызвало в некоторых кругах русской общественности разочарование в политике. К тому же многие течения в утопическом социализме, и в Европе и в России, относились

---

[1] В. Г. Белинский. Стихотворения М. Лермонтова.— Полн. собр. соч., т. IV, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 489.

[2] Ап. Григорьев. Стихотворения Некрасова.— «Время», 1862, № 7, стр. 25.

отрицательно к политической борьбе. После 1862 г. такие настроения стали сказывать влияние на Писарева, что в скором времени сказалось в его статьях (например, в «Реалистах»). Вопрос о социализме и политической борьбе стал одной из самых главных проблем русского революционного движения 60-х и 70-х годов. Отвергали политическую борьбу Бакунин и Лавров. По вопросу об отношении к политической борьбе вторая «Земля и воля» раскололась на «Черный передел» и «Народную волю». Марксистское решение проблемы, применительно к русским спорам, впервые дано было Плехановым в брошюре, которая так и называлась «Социализм и политическая борьба» (1883).

Салтыков сразу же понял огромное, можно сказать, решающее, значение проблемы, от правильного решения которой зависели судьбы революции в России. Он проявил в обстановке начавшегося разброда и растерянности величайшую твердость и теоретическую зрелость, требуя сохранения линии заточенного Чернышевского, доказывая необходимость политической борьбы для свержения самодержавия и необходимость политической свободы, как предварительного условия для борьбы за социализм: «Ужели в самом деле время политических интересов миновалось? — восклицал он...— Нет, это только самообольщение; нет, это сон... забывается одно весьма важное условие, а именно, что разработка политических интересов приготовляет почву для тех «других» <то есть социалистических.— *В. К.*>, о которых так много заботятся. Здесь, очевидно, забывается то, что, отклоняя политические интересы, мы вместе с тем отдаляем и «другие».

Салтыков пропагандировал необходимость единства всех сил, враждебных самодержавию, для общего натиска против него, для того, «чтобы поразить общего врага».

Предположительное рассуждение об отношении Австрии к Венеции содержит в себе эзоповское изложение взглядов Салтыкова на отношение царизма к угнетенной Польше. В январе началось польское восстание 1863 г. Салтыков воспользовался иносказанием для того, чтобы выразить свое сочувствие польскому делу.

Статья «Драматурги-паразиты во Франции» содержит в себе первое выступление в поддержку восставших поляков в русской легальной печати. В майской хронике «Наша общественная жизнь» (т. 6) Салтыков со страстным негодованием отмечает, что говорить по польскому вопросу могут только катковские органы, «Русский вестник» и «Московские ведомости», и что на уста всех инакомыслящих наложена печать насильственного молчания. И все же Салтыков в комментируемой статье и в ряде мест хроники «Наша общественная жизнь» сумел выразить свое сочувственное отношение к польскому вопросу и польскому восстанию, совпадавшее с позицией Герцена (см. также в наст. томе на стр. 387—390 не пропущенную цензурой рецензию на пасквильную брошюру П. И. Мельникова «О русской правде и польской кривде»).

Таким образом, статья «Драматурги-паразиты во Франции» вышла далеко за пределы критического обзора двух пьес «Les Ganaches» Викторьена

Сарду и «Le fils de Giboyer» Ожье и приобрела значение программного выступления, разъясняющего политическую, социальную и культурную позицию возобновленного «Современника». Однако и в оценке смысла и формы пошлой и развлекательной буржуазной драматургии Салтыков точен, лаконичен и прав. В этом отношении он не был одиноким. Его предшественником является Герцен, давший отрицательный отзыв о вырождающейся буржуазной драме в «Письмах из Франции и Италии». Одновременно с Салтыковым Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» («Время», 1863, февраль и март), исходя из своих собственных предпосылок, также подверг убийственному разбору пьесы тех же Сарду и Ожье, добавив еще к ним пьесы Понсара и Деланда.

Стр. 250. *Пускай нам доказывают, пускай убеждают нас, что человечество не может останавливаться в своем развитии...* — Полемическое начало статьи имеет в виду, по-видимому, Гизо и его «Историю цивилизации Франции от падения Западной Римской империи» или, точнее говоря, то изложение его взглядов на положительную роль отрицательных моментов исторического развития, которое дал Чернышевский в статье «О причинах падения Рима».

...все идет к лучшему в лучшем из миров! — В главе 1-й романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм», доктор Панглосс утверждал, что все целесообразно «в лучшем из важнейших миров» и что «все к лучшему».

Стр. 253. *...высказываться ясно может только один паразитский, сытоликующий унисон.*— Применительно к русской печати это, в первую очередь, «унисон» «Московских ведомостей» Каткова и «Нашего времени» Павлова; применительно к французской прессе — «унисон» официальных и официозных бонапартистских изданий, в первую очередь: «Le Constitutionnel», «Le Pays (Journal de l'Empire)».

...«позволительно думать», да «смеем надеяться»... — намек на М. Н. Каткова, часто употреблявшего эти обороты в своих статьях, печатавшихся в «Московских ведомостях», а за одно и на всю трусливую и раболепную либеральную и консервативно-либеральную русскую публицистику.

Тогда наступает третий период развития мысли...— Для сравнения напомним, что Огюст Конт, философ, весьма популярный в России 60-х годов, делил историю человеческой мысли на три фазиса — теологический, метафизический и позитивный. Отсутствие характеристики «третьего периода» самим Салтыковым объясняется либо цензурным вмешательством, либо умолчанием, мотивируемым оглядкой на цензуру. Судя по контексту рассуждений Салтыкова, «третий период» — период развития мысли в условиях полной свободы и от гнета грубой силы, и от «внутреннего» растления.

...Франция, которая всегда казалась каким-то недостижимым идеалом всякого рода порываний и благородств...— Салтыков напоминает здесь о громадном освободительном воздействии, которое оказывали на него и на его поколение французские революции, французские утопические социали-

сты и передовая французская литература (ср. «За рубежом», гл. IV, т. 14 наст. изд.).

Нравственное и умственное каплунство.— Термин «каплунство» восходит к неопубликованной при жизни статье Салтыкова «Каплуны» (1861—1862 гг. См. т. 4 наст. изд.).

Стр. 254. *Вертяев* — герой комедии Ф. Н. Устрялова «Слово и дело». Образ Вертяева, его идеология, его общественная позиция подробно разобраны Салтыковым в статье «Петербургские театры» (1) (наст. том., стр. 163—172).

Стр. 255. *Вероны, Ла-Геррроньеры, Лимейраки и Грангилльо* — имена французских журналистов Верона, Ла-Герроньера, Лимейрака и Грангилльо употребляются как нарицательные. Для русских читателей они ассоциировались с именами М. Н. Каткова, редактора «Московских ведомостей», А. Краевского, редактора-издателя газеты «Голос» и др. Как и их французские собратья, Катков и Краевский меняли «вехи» в зависимости от политической погоды; как и у французских издателей, газеты их субсидировались правительством. Особенно охотно Салтыков ассоциировал имя «вдохновленного свыше» «протея» Грангилльо с именем «протея» Каткова.

«Увенчать здание».— Либералы надеялись, что реформы 60-х годов приведут к «увенчанию здания» самодержавной государственности какой-нибудь умеренной конституцией — и «переходный период», грозящий постоянными революционными взрывами, сменится покойным «органическим» периодом постепенного буржуазного развития.

Стр. 259. *Недавно нам случилось прочесть в одной русской газете следующую оценку деятельности политических изгнанников.*— Политические изгнанники, о которых в цитате идет речь, это, в первую очередь, Герцен и Огарев. До 1862 г. имена обоих запрещены были к публичному упоминанию. С 1862 г. правительство разрешило реакционной и либеральной печати критиковать Герцена и Огарева поименно. Первой в легальной печати напала на Герцена, назвав его имя, катковская «Современная летопись», 18 апреля 1862 г. Салтыков в комментируемом тексте полемически цитирует статью «Г-н Герцен и г. Огарев (Русская литература за границей)» из «Нашего времени», № 8, от 10 января 1863 г. Статья редакционная, без подписи; редактором-издателем «Нашего времени» был Н. Ф. Павлов (источник цитаты установила С. Д. Гурвич). Салтыков взял под защиту Герцена и Огарева и в энергичных выражениях заклеймил публицистов-паразитов, послушно воспринявших сигнал к публичной травле «лондонских» изгнанников. Вместе с тем для 60-х годов Салтыков считал уже нецелесообразным, без крайних оснований, политическую эмиграцию за границу; он полагал, что изменившиеся условия создают возможность для трудной, опасной, но все же успешной освободительной борьбы в самой России.

Стр. 260—261. *...понятия о преступности действия, о зловредности или благотворности участия страсти в человеческих действиях...*— Намеки на учения утопического социализма. Все школы утопического социализма смотрели на преступление как на следствие неправильного устройства общества

и учили, что для устранения преступлений нужно прежде всего коренным образом реорганизовать основы общественного бытия. Теория благотворности правильно направленных страстей принадлежит Фурье.

Стр. 261. *...вопросы, возникающие из этой сферы... запутывались ежеминутно всплывающими наверх мелочами жизни.*— Сопоставление «вечных вопросов» с «мелочами жизни» имеет у Салтыкова и философское и художественно-методологическое значения. Понятие «мелочей жизни» восходит к Гоголю. Впоследствии Салтыков написал цикл «Мелочи жизни». Подробнее см. в книге В. Кирпотина «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина», М. 1957, глава «Мелочи жизни».

...ухитрились-таки внести паразитство и в сферу искусства. Оно явилось туда... в виде безусловного дифирамба грубой силе... — В статьях «Московские письма» и «Петербургские театры» (1) Салтыков приводит некоторые примеры «паразитства» в современной ему русской драматургии.

Стр. 262. *...они уже даются в Петербурге на Михайловском театре.*— Премьера комедии Ожье «Le fils de Giboyer» состоялась в Петербурге, в Михайловском театре, 12 января 1863 г. Комедия «Les Ganaches» была представлена в первый раз в том же театре 19 января. В Михайловском театре играла французская труппа.

... публика бегала некогда смотреть на Фредерика Леметра в «Chifonier de Paris».— «Chifonier de Paris» («Парижский ветошник») — пьеса Феликса Пиа, участника революции 1848 г., впоследствии члена совета Парижской коммуны. Главную роль исполнял актер Фредерик Леметр. Спектакль пользовался огромным успехом. Анализ пьесы и игры Леметра дан Герценом в «Письмах из Франции и Италии», письмо третье (А. И. Герцен, Собр соч. в тридцати томах, т. V, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 42).

...публика... не знала, как превознесть г-жу Рашель, когда она произносила знаменитую Марсельезу.— Описание исполнения «Марсельезы» Рашелью оставил Герцен: «Помните «Марсельезу» Рашели... Ее песнь испугала, толпа вышла задавленная. Помните?.. Это был погребальный звон середь ликований брака; это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния середь надежды. «Марсельеза» Рашели звала на пир крови, мести...» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VI, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 40).

Гистрион — шут, лицедей.

Стр. 263. *Все партии... должны подать друг другу руку...*— См. письмо к Н. Г. Чернышевскому от 29 апреля 1862 г. и программу журнала «Русская правда», в которой Салтыков писал: «...впоследствии времени мы сочтемся относительно основных принципов, но в настоящее время направим все усилия к тому, чтобы разработать почву и подготовить среду таким образом, чтоб в ней можно было свободно и без оговорок заявлять о дорогих нам принципах».

Стр. 264. *Мы не сомневаемся, говорит Прево-Парадоль...*— Цитата взята из статьи Прево-Парадоля «Le fils de Giboyer, par M. Emile Augier в «Revue de deux mondes», 1863, I, pp. 182—183.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

(Стр. 265)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 3, отд. II, стр. 1—10 (ценз. разр.— 15 марта и 4 февраля 1863 г.). Без подписи. Авторство указано А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», стр. 236) и подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13—14, стр. 64, и т. 53—54, стр. 259). Рукопись неизвестна, но сохранились гранки набора (ИРЛИ). Печатается по тексту журнала с восстановлением по гранкам, вслед за В. В. Гиппиусом (см. в т. 5 изд. 1933—1941 гг., стр. 439), первоначальных сатирических псевдонимов «Русского листка»: «Смрадный листок» и «Пакостный листок» (в журнальном тексте, несомненно, вынужденное смягчение: «Убогий листок» и «Плохой листок»). Кроме того, по гранкам же восстанавливается первоначальное определение антинигилистических статей реакционной печати, как статей «гнусно-нелепого свойства» (в журнальном тексте: «нелепого свойства»).

Псевдоним «Юхманов» был введен в журнальный текст вместо подлинной фамилии Юматова, как было в гранках, и все соответственное место переработано. Значительно были сокращены для печати насмешки, разоблачающие единый по своей сути фронт реакционной и либеральной литературы. *Вместо слов:* «Но знаю... это решительно одно и то же» (стр. 270) *было:* «Но знаю наверное, что В. И. Аскоченский думает о нем, что он его крестный сын, Н. Ф. Павлов — что он его племянник, г-жа Анна Дараган, что он ее кузен, а г. Громека — что он ему, во всяком случае, седьмая вода на киселе. Но знаю наверное, что публика, с своей стороны, убеждена, что Юматов есть псевдоним Аскоченского, Аскоченский — псевдоним Н. Ф. Павлова, Н. Ф. Павлов — псевдоним Анны Дараган, а Анна Дараган — псевдоним Громеки. Я, с своей стороны, если б только имел счастье состоять хоть чем-нибудь в редакции «Современника», то вполне доверился разуму и проницательности публики и, не желая, чтобы имя г. Юматова пользовалось известностью, стал бы называть его то Аскоченским, то Павловым, то Громекою, то Анною Дараган».

Статья направлена против реакционной газеты «Русский листок», против призывов к литературным доносам, к травле «нигилистов». В то же время в ней настойчиво подчеркивается мысль о единстве, по существу, либеральной и реакционной журналистики, при внешнем различии этих направлений Салтыков стремится «уловить сродство, существующее между визгами, по-видимому, противоположными». Еще отчетливее эта мысль выражена в приведенном выше варианте корректурного текста.

Важную роль в статье играют иронические замечания, адресованные почвенническому журналу «Время». Полемика «Современника» с «Временем» как раз в начале 1863 г. была в полном разгаре. В № 1 «Времени» опубликована редакционная «Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях». В ней осуждалась революционно-демократическая

журналистика. Одновременно редакция «Времени» критиковала реакционную периодическую печать, издания Каткова, резко отзывалась о «Русском листке», довольно подробно говоря о нем. Салтыков решительно отвергает претензии «Времени» на какую-то особую позицию, будто бы отличающуюся от взглядов и «нигилистов» и реакционеров. Он с иронией говорит о разнице между «Русским листком» и «Временем», требуя от сотрудников первого «сравняться в либерализме, по крайней мере, с М. М. Достоевским», в течение одного месяца «вырасти в меру г. Косицы». Аналогичные мысли о близости «Времени» реакционной журналистике см. в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» (т. 6 наст. изд.), опубликованной в том же номере, что и «Несколько полемических предположений».

Статья обратила на себя внимание цензора О. Пржецславского, отметившего, что она «отличается крайне резкими и неприличными выходками против некоторых журналов, именно тех, которые заявили направление реакционное» [1].

Стр. 265. *Прочитайте ... «Письма об Осташкове».*— «Письма об Осташкове» В. А. Слепцова как раз в то время печатались в «Современнике» (1862, № 5, 1863, №№ 1—2, 4, 6).

Стр. 266. ... *он начал писать письма к каким-то прежде бывшим подругам, с которыми он был дружен в то время, когда они еще были институтками...*— По-видимому, здесь идет речь о статьях Каткова 1862 г., направленных против Герцена и Огарева (Салтыков пишет в 1863 г. «...в прошлом году»). Это были доносительские выступления на манер писаний Булгарина и дурно-обличительных статей П. И. Мельникова о расколе.

Нынешний год принес... много новых газет, да и старые-то газеты почти все до одной переменили хозяев.— С 1863 г. начали выходить газеты «Голос», «Иллюстрированная газета», «Мирское слово», «Очерки», «Воскресный досуг» и др. В то же время «Московские ведомости» перешли в руки М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева, в редакцию «Русского листка» вошли В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов, редактором «С.-Петербургских ведомостей» стал В. Ф. Корш, изменилась редакция «Русского инвалида».

М. М. Достоевский... возомнил, что может быть самостоятельным и иметь право на знакомство с министрами.— В № 9 журнала «Время» (1862), издававшегося М. М. Достоевским при фактическом редакторстве Ф. М. Достоевского, было опубликовано редакционное объявление об издании журнала на будущий год. В нем, наряду с критикой реакционной журналистики, содержались резкие выпады в адрес революционных демократов. Эти выпады положили начало длительной полемике между изданиями Достоевского и «Современником». Они были истолкованы Салтыковым как стремление редакции «Времени» выслужиться перед властями, затушевываемое уверениями о своей независимости и самостоятельности. Аналогичное истолкование высказываний «Времени» см. в январской хро-

[1] «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 140.

нике «Нашей общественной жизни»: «Время» свистит и в то же время говорит: «Из чести лишь одной я в доме сем *свищу!*» (т. 6 наст. изд.).

Стр. 267 ... *избиение некоторых мировых посредников, идущее рядом с заявлениями о развитии в россиянах чувств законности и гражданственности.*— По-видимому, имеется в виду передовая в № 1 газеты «Голос» за 1863 г., где говорилось про «ужасающий случай зверства против одного из порховских мировых посредников» и одновременно расписывалось расширение общественной инициативы, «законности общественного мнения», доказывалось, что против произвола «поставлены: закон и сила общественного мнения». Ср. в наст. томе статью «Несчастие в Порхове» и прим. к ней.

... *в другом подобном же издании доказывается, якобы помещики очень довольны упразднением крепостного права.*— См., например, передовую № 2 «Русского листка» за 1863 г., в которой говорилось об адресе дворян Орловской губернии, благодаривших царя за реформы: «Орловское дворянство благодарит государя за реформы ... а в числе этих реформ главнейшее место занимает отмена крепостного права!»

Есть, например, в Петербурге газетка, которая... предупреждает, что она не остановится даже и перед доносом.— Имеется в виду газета «Русский листок». С начала 1863 г. руководящую роль в ней стали играть реакционные публицисты дворянского лагеря В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов (с 32 номера газета получила название «Весть»). Позицию своей группы они определяли словами «охранительные либералы». В № 4 была помещена статья «Печатные доносы», которую и имеет непосредственно в виду Салтыков. В ней, между прочим, заявлялось по адресу демократической журналистики: «Мы не пойдем доносить на вас в полицию, но всякий раз (знайте это!), когда вы станете проводить идею, которую мы считаем нелепою, ждите печатного отпора! Ждите стойкого отпора во всяком случае, даже если мы будем знать, наверное и заранее, что вследствие наших слов журнал ваш будет запрещен...» Аналогичные заявления см. в статьях «Трескучие ракеты в демократическом лагере» (№ 8) и «Правительство и оппозиция» (№ 11).

Стр. 268. ... *от радости у ней стеснится в зобу дыхание* — неточная цитата из басни Крылова «Ворона и Лисица».

... *скончалась, подобно «Атенею»...*— «Атеней» — журнал либерального направления, выходивший в Москве в 1858—1859 гг. Не пользовался успехом, неоднократно высмеивался другими изданиями и перестал выходить в начале 1859 г.

... *«Смрадный листок» начинает доказывать... что истинно храбрый человек не должен уклоняться от доноса...*— Утверждения о том, что доносительные статьи должны рассматриваться как своего рода выражение гражданской доблести, неоднократно встречались в «Русском листке». Так, например, в статье «Правительство и оппозиция» (в № 11 за 1863 г.) пропагандировалась «возвышенная доблесть гражданина», решающегося на донос. Редакция прямо заявляла: «Да, мы сделали донос...» — и обещала в дальнейшем продолжать «доносить перед общественным мнением» (стр. 195).

Стр. 270. *...скромным автором полногрудой Лурлеи.*— Известный мракобес В. И. Аскоченский, издатель журнала «Домашняя беседа», проповедник ханжеской морали и аскетизма; в молодости сочинял стихи, иногда эротические. Они были изданы в Киеве в 1846 г. Среди них было стихотворение «Лурлеин утес» (подражание «Лорелее» Гейне), в котором имелись такие строки: «В сладострастье тайно млея, /Слаще девственных сирен /Полногрудая Лурлея /Пела песенку свою». Об этом стихотворении вспомнила «Искра», и «Лурлея» стала предметом постоянных насмешек над Аскоченским (см., например, В. Курочкина «Печальный рыцарь тьмы кромешной», «Легенды о куклеване»).

...в меру г. Косицы.— Косица — псевдоним Н. Н. Страхова, одного из ведущих сотрудников «Времени».

Экспиация — искупление (*франц.* expiation).

Стр. 271. *...летние походы некоторых органов русской литературы против нигилистов...*— Подразумеваются обвинения «нигилистов» в поджогах (в связи с происходившими в Петербурге пожарами), высказанные летом 1862 г. в ряде реакционных изданий («Наше время», № 122, «Современная летопись», № 23, и др.).

...руководящие занятия г. Аскоченского...— Видимо, его статьи в «Домашней беседе».

...некоторые каникулярные упражнения «Русского вестника».— Вероятно, имеются в виду статьи, опубликованные летом 1862 г. и направленные против «нигилистов» (например, «О нашем нигилизме...», № 7).

ФЕЛЬЕТОНЫ И ЮМОРЕСКИ ИЗ «СВИСТКА» 1863 г.

Двадцать восьмого апреля 1863 г. вышел в свет девятый, и последний, номер «Свистка» («Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок») — нерегулярного сатирического приложения к «Современнику» (№ 4, ценз. разр.— 20 апреля). «Свисток» был создан в 1859 г. Добролюбовым по идее Некрасова.

Главное участие в девятом номере принял Салтыков, ранее в «Свистке» не сотрудничавший. Ему принадлежат статьи, стихотворения и заметки — напечатанные без подписи и под псевдонимом «Михаил Змиев-Младенцев»,— занимающие почти треть всего выпуска. Рукописные источники материала Салтыкова в «Свистке» неизвестны. Авторство Салтыкова установлено на основании его переписки с Ип. А. Панаевым (В. Евгеньев-Максимов. Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Современнике.— «Литературное наследство», т. 13—14, стр. 61, 70). Из письма Салтыкова от 26 апреля 1863 г. следует, в частности, что ему в «Неблаговонном анекдоте о г. Юркевиче» принадлежат лишь первые шесть страниц (журнального текста), остальные же восемь — М. А. Антоновичу. Длительное время эта статья ошибочно приписывалась Салтыкову полностью (А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков-Щедрин, стр. 236).

ЦЕНЗОР ВПОПЫХАХ

(Стр. 275)

Эта юмореска — одно из выступлений Салтыкова, направленных на дискредитацию царской цензуры и цензоров в их борьбе с революционно-демократической литературой и публицистикой. Непосредственным поводом для выступления явилась, по-видимому, реформа политического контроля власти над печатью, предпринятая в связи с общим реакционным курсом правительства, а также с польскими событиями. С января 1863 г. цензура из подчинения министерству народного просвещения перешла в ведение министерства внутренних дел. Тем самым она стала, по отзыву современника, «не чем иным, как полицией в области мысли и знания» («Отечественные записки», 1863, № 2, стр. 67).

Стр. 276. *...на гамбсовском мягком пате...* — Гамбс — старинный мастер мебели; пате — род кушетки.

...посредством «Ключа к таинствам природы» — теософски-алхимическое сочинение Карла Эккартсгаузена, пользовавшееся большой известностью в России (первое издание на русском языке — в 1804 г.).

Стр. 277. *...в древности, Тиверий (см. драму г. Костомарова «Кремуций Корд») всегда выражался, по-видимому, весьма благонадежно, но впоследствии всегда же оказывалось, что он принадлежал к тайной секте «свистунов».* — Критика сразу же обнаружила сходство ситуаций в драме Н. И. Костомарова с жизненными коллизиями недавнего времени и прежде всего с процессом Чернышевского и другими сходными с этим процессом правительственными «мерами» (см., например, «Наше время», 1862, 13 октября, № 220, стр. 3—4). Сам же Костомаров позднее сообщал, что «Кремуций Корд» написан был им еще в 1849 г., то есть в пору саратовской ссылки («Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1922, стр. 357). Сближая исторические события, рассказанные в драме, с современностью, Салтыков распространяет это сближение и на одного из главных героев пьесы императора Тиверия, убийцы ни в чем не повинного, мужественного историка Кремуция Корда. Тиверий употребляет самые недостойные (под видом весьма благопотребных) средства для расправы с трезво, критически мыслящими людьми. Здесь несомненна салтыковская ирония по поводу принадлежности Тиверия «к тайной секте «свистунов». Не указывая инициалов автора драмы, Салтыков давал возможность современникам правильно воспринять язвительный намек и на Вс. Костомарова, позорно известного своими доносами на Чернышевского.

Стр. 279. *...лекция г. Юркевича о самодеятельности души...* — см. прим. к «Неблаговонному анекдоту о г. Юркевиче».

МОСКОВСКИЕ ПЕСНИ ОБ ИСКУШЕНИЯХ И НЕВИННОСТИ

(Стр. 282)

Цикл сатирических «песен» Салтыкова посвящен обличению политики самодержавия в области печати и самой печати, шедшей на сделку с правительством и реакцией за определенные материальные выгоды. Конкретными адресатами «песен» были в первую очередь «Московские ведомости» М. Н. Каткова и особенно газета «Наше время» Н. Ф. Павлова. Газета эта выходила еженедельно, что и позволило Салтыкову вести речь о «журнале» («Я принесу свой журнал...»). В 1862 г. «Новое время» не только увеличило свой формат, но и круто переменило направление с умеренно либерального на охранительное, что было непосредственно связано с получением Павловым правительственных субсидий.

Для понимания сатирического смысла и отдельных намеков «Московских песен...» имеют значение следующие записи в «Дневнике» министра внутренних дел П. А. Валуева, относящиеся к переговорам и «торговле» Павлова с правительством о субсидиях:

1861 год. 5 октября. «Моя мысль о приобретении органа прессы для правительства, по-видимому, осуществляется. На днях имел переговоры с Павловым. Его газета «Наше время» может сделаться «une feuille inspirée»[1]. 20 октября. «Государь утвердил мои предположения о преобразовании журнала министерства и о сделке с Павловым насчет его газеты». 25 октября. «...был у меня Павлов, который начинает торговаться..» 1862 год. 7 апреля. «Утром был у меня Павлов из Москвы с новою просьбою о деньгах. Он уверяет, что без значительного пособия не может продолжать издание газеты «Наше время», и ставит меня этим в неприятное и затруднительное положение, ибо по моему ходатайству ему уже ссужено до 26 тыс. руб.» («Дневник П. А. Валуева», в двух томах, т. I, изд. АН СССР, М. 1961, стр. 117—118, 122, 123).

Строки из «Элегии»: *«Я с бюрократами пил!..», «Ядом французских речей...», «Подарил мне генерал!..»* — явно метят в видное сановное лицо, по-видимому, в самого Валуева.

Непосредственно перекликается с салтыковским стихотворением статья Герцена в № 170 «Колокола» от 1 сентября 1863 г. «В этапе»: «...Головнин и Валуев учредили открытые рынки, на которых покупались «мертвые души» литературного мира...»; в Москве «ни одной живой души не было после смерти Грановского и, следовательно, мертвых тьма-тьмущая» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XVII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 251). Ср. у Салтыкова: *«Встанет Грановский из плена могильного, / Спросит: где взял капитал?»* Здесь — намеки на прежнюю близость некоторых московских публицистов, в частности Каткова, к Грановскому, Белинскому, Станкевичу и на их ренегатство, на капиталы, нажитые ими ценой отказа от либеральных увлечений молодости. (Об этом см. т. 6 наст. изд., «Наша общественная жизнь», январь — февраль 1863 г.)

---

[1] органом, инспирируемым правительством.

Стр. 285. *Или Л...ва злого, трехпробного?..*— Имеется в виду П. М. Леонтьев, сотрудник и единомышленник Каткова. «Трехпробный» — здесь: ядовитый, опасный, вредный. Ср. у Даля: «трехпробное вино — которого треть выгорает», то есть очень крепкое, с большим содержанием спирта.

Стр. 286. *И шептал он мне, вручая...*— сатирическая перифраза из стихотворения Пушкина «Талисман» (1827).

...карт алкая...— Сатирическая стрела в адрес Павлова, страсть которого к картам была общеизвестна.

НЕБЛАГОВОННЫЙ АНЕКДОТ О г. ЮРКЕВИЧЕ, ИЛИ ИСКАНИЕ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ

(Стр. 288)

Статья, написанная Салтыковым в соавторстве с М. А. Антоновичем[1], представляет собой одно из звеньев в полемике революционных демократов с русским идеализмом 60-х годов. Один из наиболее известных и вместе с тем политически реакционных представителей его П. Д. Юркевич в феврале — марте 1863 г. выступил в Москве с циклом публичных лекций, которыми решил дать бой материалистическим доктринам. Лекции Юркевича рекламировались консервативно-охранительной печатью как «одно из замечательнейших, небывалых явлений в нашей умственной московской жизни» («Наше время», 1863, 12 марта, № 54). Еще за полмесяца до начала лекций славянофильский «День» писал: «Бюхнер в особенности является всем *отцам* нашим каким-то страшным кошемаром,— и всем *детям,* всем отрицателям авторитетов, каким-то непогрешимым, недосягаемым авторитетом. Развенчать этот кумир, показать, как мало заслуживал он преследования и страха, и тем менее поклонения — было бы немаловажною общественною заслугою со стороны г. Юркевича» (1863, 2 февраля, № 5, стр. 20).

Описанный в статье Салтыкова инцидент с оглашением письма «неизвестного материалиста», происшедший на шестой по счету лекции Юркевича 9 марта, послужил поводом для оживленной дискуссии в ряде газет и журналов. М. Н. Лонгинов в «Московских ведомостях» расценивал «анонимные письма», полученные Юркевичем «от отечественных последователей материализма, грозивших ему свистками, если он осмелится впредь говорить против этой системы», как «угрозы», как стремление «насиловать чужое убеждение и заставить молчать противника» (13 марта, № 56). И. С. Аксаков в «Дне» называл автора письма Юркевичу «врагом всякой свободы мнений», утверждая попутно, что «всякий *искренний* материалист — враг свободы, приверженец и слуга деспотизма, проводник грубого физического насилия» (16 марта, № 11, стр. 2—3). Обе статьи были исполнены похвал в адрес Юркевича.

В газете «Очерки» (19 марта, № 76) и других изданиях демократического направления («Искра», 12 апреля, № 13, и др.) давалась резко отри-

---

[1] Салтыкову принадлежит текст включительно до абзаца: «Увы! тут все правы!.. до чего он хотя случайно прикоснется...»

цательная оценка как лекциям Юркевича в целом, так и эпизоду с письмом «Неизвестного материалиста» (в ходе дискуссии анонимность была раскрыта самим автором письма, напечатавшим его в № 93 «Очерков» за подписью «А. Рогов»).

Стр. 288. *...г. Лонгинов своими представлениями чревовещания и восточной магии в Обществе любителей российской словесности...* — С 1859 по 1864 г. М. Н. Лонгинов был секретарем Общества любителей российской словесности и постоянным оратором на его заседаниях. Н. П. Гиляров-Платонов так характеризует его секретарскую деятельность: «...Он искал, понуждал, торопил. Самый первоклассный режиссер театра мог позавидовать в рвении и искусстве, с каким Лонгинов ставил заседания — если можно так выразиться...»

Московские газеты удостоверяют... — См.: «Московские ведомости», 1863, 13 марта, № 56 (Михаил Лонгинов. «Письмо к редактору»); Там же, 15 марта, № 58 (Н. С. «Несколько слов о публичном курсе г. Юркевича»); «День», 1863, 16 марта, № 11 (И. Аксаков. «Два слова о материализме и общественной свободе») и др.

Стр. 289. *...в «Очерках» блаженной памяти...* — Издатель «Очерков» А. Н. Очкин, боясь ответственности за радикальный характер газеты (негласным редактором которой был Г. З. Елисеев), внезапно прекратил ее существование. «Очерки» выходили с 11 января по 8 апреля 1863 г. На это и намекает Салтыков, говоря об «Очерках» — *«блаженной памяти»*.

Стр. 290. *...одной почтенной газеты московской.* — Имеется в виду «День» И. С. Аксакова.

«Есть речи — значенье...» — начальные строки стихотворения Лермонтова (1840).

СЕКРЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

(Стр. 295)

«Секретное занятие» — отклик на заявления «московских публицистов» — М. Н. Каткова и Н. Ф. Павлова о том, что «Современником» они не интересуются. Каждое из действующих лиц боится признаться, что читает «Современник», совсем недавно подвергшийся восьмимесячной «опале». В «комедии» разоблачалась политика замалчивания и принижения значения «Современника» реакционно-охранительной печатью, прежде всего «Московскими ведомостями» и «Нашим временем».

Лица, явившиеся непосредственными объектами сатиры, названы собственными их именами. В авторских ремарках заключены намеки на действительные злободневные факты. Неизменно подчеркивается, например, взаимная неприязнь Каткова и Павлова (ср.: на столе у Каткова — «кусок колбасы, завернутый в клочок «Нашего времени»; у Павлова — «селедка, завернутая в клочок «Московских ведомостей»). Известно, что два видных консервативных органа нередко полемизировали друг с другом, в частности, о роли дворянского сословия в России и т. п.

Стр. 295. *...теперь вы свободны?* — намек на реформу 1861 г. В разговоре Каткова с «простолюдином» сатирически запечатлено стремление российских экс-либералов превозносить свою роль в крестьянской реформе.

...ребята сказывали, что это Александр Иваныч Кошелев! — Примыкавший к славянофилам публицист А. И. Кошелев был активным участником Рязанского губернского комитета по освобождению крестьян.

Это я да Василий Александрыч Кокорев... — В. А. Кокорев, питейный откупщик-миллионер, в конце 50-х — начале 60-х годов нередко выступал со статьями в либерально-аболиционистском духе на страницах «Русского вестника» Каткова. Подробнее об этом см. в т. 2 наст. изд., стр. 525 и 528.

Стр. 296—297. *Быть может, Основский теперь на небесах!* — Н. А. Основский, которого разорили его издательские дела, не мог расплатиться с рядом лиц, и ему угрожала долговая тюрьма. Это и дало Салтыкову повод назвать его «покойником», «тенью».

...машинист Вальц, услышав имя г. Пановского... — Об этой «полемике» Салтыков подробно писал во втором из своих «Московских писем». См. в наст. томе, стр. 154—156 и 570—571.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БУДОЧНИКИ
(Стр. 298)

Это выступление Салтыкова связано прежде всего с разгулом великодержавного шовинизма, с «патриотическим остервенением» (Герцен) в пору польского восстания 1863 г. «Глашатаем этого охватившего всех движения сделался Катков, который через это приобрел необыкновенную силу»,— вспоминал Б. Н. Чичерин [1]. Восставших поляков «Московские ведомости» именовали не иначе, как «толпой ослушников», «шайкой», «мятежниками», «бунтовщиками». Катков стремился быть правее самого правительства, во всеуслышанье заявляя, что у поляков нет никаких «оснований требовать от России, чтоб она оставила за Польшей хотя бы обманчивый вид политической самобытности» («Московские ведомости», 1863, 29 марта, № 69). В номерах газет, на которые обращает внимание Салтыков, содержатся разглагольствования о силе русского войска, о раздорах «между различными польскими партиями», о «преследовании колонн мятежников» и т. п.

Охваченную шовинистическим угаром публицистику Салтыков называет «литературным будочничеством». (В дореформенной России полицейские, наблюдавшие за порядком на улицах, находились в специальных будках.) Сатирический образ этот был подсказан Салтыкову самими публицистами охранительного лагеря. Катков, например, заявлял: «Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе» («Русский вестник», 1861, № 1, стр. 483—484). «Почему, кому бы то ни

---

[1] «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1929, стр. 92.

было, и не стать у будки, если отечество того требует!» — вторило ему «Наше время» (1862, 7 июня, № 120). В 1862 г., в связи с предполагавшимися «преобразованиями состава нижних чинов московской полицейской команды» и упразднением некоторых будок в Москве, «Наше время» рассуждало так: «Упразднять следует только то, что бесполезно. Чтобы определить с достаточною верностью, в какой степени нужно упразднение будок, нам необходимо бросить взгляд на цель этого учреждения и на то, в какой степени цель эта достигается». Вслед за этим вступлением помещалось целое «исследование» о будках (С. Натальин. Полицейские будки в Москве.— «Наше время», 1862, 29 ноября, № 258). Подводя итоги литературного 1862 года, Н. Степанов писал в «Искре» о том, что год этот «примирил большинство журналов, сообщил им особенный запах и дал серенькую форму будочников» (1863, № 1, стр. 2). Герцен в «Колоколе» (л. 142 от 22 августа 1862 г.) именовал катковцев (в отличие от «явнобрачных блюстителей порядка», то есть самих полицейских) «*тайнобрачными* будочниками» и замечал при этом, что «*тайнобрачные* будочники и городовые начинают все хуже и хуже ругаться...» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 234).

Стр. 299. *Новый 1863 год внес и новый элемент, новые привычки в русскую литературу: элемент полицейский, привычки будочничества.*— Сходную мысль (уже после подавления восстания в Польше) высказал Герцен в статье «Виселицы и журналы», напечатанной в л. 169 «Колокола» от 15 августа 1863 г.: «1863 год останется памятным в истории русской журналистики и вообще в истории нашего развития»; литература «сделалась официальной, официозной, в ней появились доносы, требование *небывалых* казней и пр. Правительство, подкупая, поощряя всеми средствами поддавшиеся ему журналы, запрещало на французский манер органы независимые. Полицейская литература воспользовалась этим, она говорила не стесняясь, возражать ей в России никто не мог» (А. И. Герцен. Цит. изд., т. XVII, М. 1959, стр. 235).

...Петербург, в котором также появилось несколько будок, но это будки скверные, презренные, о которых не стоит и говорить, потому что торговля, в них производящаяся, едва-едва дает на хлеб будочникам.— К «литературному будочничеству» в Петербурге Салтыков относил несколько новых, начавших выходить в 1863 г., изданий охранительного направления, в числе которых были: «Весть» (орган дворянско-крепостнической оппозиции реформам 60-х годов), «Мирское слово» (газета «для народа», в которой большое место занимали «выражения признательности временнообязанных крестьян царю»), «Народная газета» (реакционный орган, проповедовавший официальную точку зрения на все важнейшие вопросы современности), журнал «Якорь» (близкий к славянофильству и «почвенничеству») и др. Успеха у читателей эти издания не имели.

Стр. 300. *«Вот тебе и «братцы, братцы, поцелуйтесь»! Вот тебе и «божественная Оливинска»! «И нíшто!»* — Салтыков цитирует строки из заметки

(без подписи) «Франко-польско-русский курьез», помещенной в № 67 «Московских ведомостей» за 1863 г. В заметке излагается по парижской газете «Le Temps» содержание письма французского офицера Брето. Француза поразило поведение в варшавском театре русского офицера («русского дикаря»), прибывшего в Варшаву с карательными целями. «Этот дикарь, в шумном изъявлении восторга, готов был лезть целоваться с танцовщицами на сцене...» «Поцелуемтесь, божественная Оливинская,— кричал он приме-балерине.— Взгляните, как мы вас любим...» В этом эпизоде, по словам «Le Temps», отразилось «исполненное противоречий, неопределенное и смутное положение просвещеннейших из русских по отношению к Польше,— русских, этих завоеванных завоевателей, этих покоренных и обольщенных варваров, исполняющих против воли жестокие приказания». Строки, которыми «Московские ведомости» прокомментировали это сообщение французской газеты, Салтыков переадресовывает самим «будочникам».

Стр. 300. *«Моя личность наводит панический страх»...*— В заметке «Нам пишут из Могилева» некое, по-видимому, официальное лицо делится с читателями следующими впечатлениями: «Моя личность наводит панический страх на всех без исключения поляков, в присутственных местах чиновники кланяются в пояс, а чуть выехал из города, так всеобщая тревога по уездам — помещики все пожгли, что у них было бесцензурного, что малейше указывало на сочувствие их центральному комитету; можно смело надеяться, что восстания не будет, даже присоединения к шайкам, если бы таковые прошли из Минской губернии» («Наше время», 1863, 27 марта, № 66).

Рады вы, что ли, тому, что льется человеческая кровь? — Возможный комментарий к этим словам см. ниже стр. 641—642.

СОПЕЛКОВЦЫ
(Стр. 301)

В «Отрывке» передано впечатление от того «патриотического экстаза», в который ввергали себя публицисты ведущих московских печатных органов в период польского восстания. События 1863 г., по словам Герцена, вывели «наружу все татарское, помещичье, сержантское, что сонно и полузабыто бродило у нас; мы знаем теперь, сколько у нас Аракчеева в жилах и Николая в мозгу» («Виселицы и журналы».— Собр. соч. в тридцати томах, т. XVII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 236). Для обозначения этого явления Салтыков соединяет новообразование от глагола «сопеть» (в противоположность — «свистеть») с названием реакционной секты бегунов-странников, именовавших себя «сопелковцами» (от села Сопелково, Ярославской губ.).

Стр. 301. *Сопцы и народ молвящ* — слова из Евангелия (Матф., IX, 23), в переводе с церковнославянского: «И пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельников и народ в смятении...» С эпиграфом перекликается строка из «Отрывка»: «...но простой народ встревожен» (стр. 301).

...клятву, которую произносит в «Князе Серебряном» колдун-мельник: «Шикалу! ликалу! слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуют, летят да кричат! шагадам! шагадам!» — Здесь сведены воедино заговоры, многократно произносимые колдуном-мельником в «Князе Серебряном» А. К. Толстого. На эту повесть Салтыков поместил в «Современнике» памфлетную рецензию (см. в наст. томе, стр. 352—362).

...случилось с одним нигилистом, беспечно гулявшим в сумерки по Страстному бульвару.— На углу Страстного бульвара и Б. Дмитровки помещалась типография, в которой печатались издания Каткова — «Московские ведомости» и «Русский вестник». Там же помещались редакции этих изданий.

...видел... упыря...— Под упырем подразумевается Катков.

Стр. 302. *...видел чудовищного горбуна.*— Имеется в виду П. М. Леонтьев, который был горбат.

...сравнивают настоящее положение Москвы с теми временами, когда, бывало, наезжал в нее покойник Шешковский.— Наиболее реакционные периоды русской жизни ассоциировались в сознании Салтыкова с именем руководителя политического сыска при Екатерине II, «кнутобойца» С. И. Шешковского (ср.: «Письма к тетеньке», «Современная идиллия» и др.).

<ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ «СВИСТКА»...>
(Стр. 303)

Не вполне ясно, что представляют собой эти «наброски» Салтыкова: действительно ли план и «заготовки» задуманных статей для предполагавшегося продолжения «Свистка» или просто жанр сатирических миниатюр. Подобного рода «программы на будущее» часто встречались в сатирических изданиях эпохи, в частности, на страницах «Искры». См., например: 1863, № 1, стр. 15—16 — «Состав некоторых январских журналов и газет за 1863 год»; 1863, № 4, стр. 60 — «Содержание январской книжки «Русского вестника», которая «выйдет не в апреле (как было прежде объявлено), а в марте месяце» и т. п.

Стр. 303. *«Прогулка в роще, или Птицы без перьев». Ученое исследование, написанное для журнала «Время»...*— Первое такое «исследование» помещено Салтыковым в мартовской хронике «Наша общественная жизнь» (1863). Там, в фельетоне «Тревоги «Времени», пародируя стихотворение Ф. Берга «Птицы» («Время», 1863, № 1), он дает емкую сатирическую характеристику «птичьей» идеологии «почвенников», не имеющей твердых теоретических основ, межумочной, склонной к благонамеренности. Фельетон был первым шагом в создании Салтыковым образа «стрижей», которым публицисты «Современника» пользовались для борьбы с представителями «почвеннического» направления (об этой борьбе см. подробно в т. 6 наст. изд.) [1].

[1] Это и другие примечания данного раздела о полемике с «Временем» и Ф. М. Достоевским написаны Л. М. Розенблюм.

«Опыты самораздирания». Рассказ очевидца.— В январской хронике «Наша общественная жизнь» (1863) Салтыков дал следующую характеристику современной русской журналистики: «Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и уськавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, *всенародно раздирают на себе одежды...»* (Подчеркнуто нами.— *Л. Р.*). В данном случае речь шла прежде всего о «Русском вестнике» М. Н. Каткова, но характеристика имела отношение и к журналу «Время», по поводу которого Салтыков заявлял, что он в ближайшем будущем начнет «катковствовать». В упомянутом выше фельетоне «Тревоги «Времени» Салтыков упрекает в страсти к «самораздиранию» уже «почвенников»: «Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли, что сами же свои собственные внутренности раздираете...»

Стихотворная элегия на кончину «Времени»...— «Элегия» не была, конечно, откликом на факт закрытия журнала «Время». Она написана раньше: «Современник», № 4, где появилось произведение Салтыкова, получил цензурное разрешение 20 апреля, а правительственное распоряжение о запрещении издания «Времени» датировано 24 мая 1863 г. (Поводом к закрытию журнала Достоевских была помещенная в № 4 «Времени» статья Н. Н. Страхова о событиях в Польше — «Роковой вопрос». Резкий отзыв о ней в газете «Московские ведомости», 1863, № 109 от 13 мая, предрешил судьбу журнала.)

В пародийном стихотворении на кончину «Времени» Салтыков использовал стихотворный размер «Моей эпитафии» Пушкина.

«Самонадеянный Федя»...— В сатирическом стихотворении, относящемся к Ф. М. Достоевскому, интересна мысль Салтыкова о том, что туманность, бесплодность идеологии «почвенников» должна отозваться и на творчестве писателя, на характере его гуманизма, который может превратиться в «тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели» (как это было замечено еще в «Тревогах «Времени»). Содержание пародии проясняет более поздняя статья Салтыкова «Журнальный ад» (см. т. 6 наст. изд.). «Под «бездельничеством»,— говорит Салтыков,— я отнюдь не разумею что-либо преступное <...>; нет, «бездельничество» означает лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет» (ср. «Все ленился, да ленился... и попал впросак!»). И далее: «Откуда нашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить <...>. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знаменье особенного божьего гнева, над нами тяготеющего» (ср. ироническое: «Федя богу не молился, /«Ладно, мнил, и так!»). Здесь же вновь появляется образ обветшалой гоголевской «Шинели». Речь идет о герое «Записок из подполья», представляющем некий демонический вариант маленького человека — Макара Девушкина («Бедные люди»): «В довершение всего роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексее-

вич Девушкин, тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек».

Стихотворение Салтыкова запомнилось Достоевскому. В романе «Идиот» (1868) он использовал его в своих пародийных целях.

Лева Шнейдера шинелью
Пятилетие играл
И обычной канителью
Время наполнял... и т. д.

Эти стихи написаны нигилистами с целью скомпрометировать положительного героя романа, князя Мышкина.

Стр 303. *«Опыты сравнительной этимологии, или Мертвый дом», по французским источникам...* — Салтыков неизменно высоко оценивал «Записки из Мертвого дома» Достоевского. В хронике «Наша общественная жизнь» за март 1863 г., обращаясь к редакции журнала «Время», он писал: «А что, если мы докажем вам, что в вас только и есть русского что «Мертвый дом»?» В статье «Литературные мелочи» (1864) повторяется та же мысль: «...есть настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей») и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор «Старшой и меньшой» и предприниматель журнала «Эпоха»)». Однако о связи «Мертвого дома» с «французскими источниками» упоминалось в первоначальном тексте мартовской хроники 1863 г. («Наша общественная жизнь»): «Самое русское из всего русского, в вас помещавшегося, ваш «Мертвый дом» написан на манер французского...» (Не хотел ли этим сказать Салтыков, что автор «Мертвого дома» более привержен идеям утопического социализма, чем полагалось бы убежденному почвеннику?)

Изображая царскую каторгу, Достоевский находил здесь много общего с тем, что происходит «на воле». «Записки из Мертвого дома» были восприняты современниками как приговор всей социально-политической системе самодержавной России, а образ острога приобрел широкий, обобщающий смысл. Но в «Зимних заметках о летних впечатлениях», опубликованных в журнале «Время», 1863, №№ 2, 3, Достоевский использует этот образ с совершенно иной целью. С острогом, лишающим людей свободы личности, сравнивает он будущее общество, о котором мечтали французские утопические социалисты: «Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала, а все еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется, сдуру, что *это острог* и что самому по себе лучше, потому — полная воля... Разу-

меется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды...» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 109. Подчеркнуто нами.— *Л. Р.*). Так Достоевский, принадлежавший в 40-е годы к самым активным членам общества петрашевцев, поплатившийся за свои социалистические идеалы каторгой и ссылкой, в начале 60-х годов приравнивает фурьеристский фаланстер к «Мертвому дому». В «Опытах сравнительной этимологии» Салтыков, по-видимому, был намерен сопоставить два последних произведения Достоевского, указав на то, как переменились убеждения писателя.

Стр. 303. *«Обоюдуострый Громека».*— Называя С. С. Громеку «обоюдуострым», Салтыков намекает на то, что в недалеком прошлом этот либерально-обличительный публицист служил жандармским офицером.

В упоминаемой далее «Современной хронике России» в разделе «Как относятся к правительству истинно независимые люди и журналы, такие, например, как г. Унковский и редакция «Современника», Громека призывал общественное мнение России к «благородной сдержанности», к единению вокруг правительства журналов всех направлений. Верноподданнически ратуя за прекращение «ребяческой» игры в систематическое неудовольствие против правительства», Громека писал: «В настоящее время правительство само признает общественное стремление к свободе делом законным, само сделало несколько законодательных шагов по пути к свободе. В настоящее время, следовательно, относиться к нему по-прежнему — значило бы доказывать только, что мы сами еще несвободны в собственных чувствах и раздражение ставим на место самостоятельности» («Отечественные записки», 1863, март, стр. 18). По словам Громеки, тенденциозно использующего цитаты из «Внутреннего обозрения» Г. З. Елисеева в № 1—2 «Современника» за 1863 г., редакция этого журнала будто бы «откровенно созналась», что «правительство наше идет относительно привития к русскому народу европейской цивилизации тем самым путем, за который стоит «Современник»...» «А «Невинные рассказы» г. Щедрина — что это, как не такое же честное и горячее признание великих благодеяний реформы»,— с издевкой добавлял хроникер «Отечественных записок» (там же, стр. 26). Последняя фраза относилась к тому месту в рассказе «Миша и Ваня» из «Невинных рассказов», которое содержало определенную идеализацию крестьянской реформы, и вызвала упреки в адрес Салтыкова со стороны демократической печати (см. т. 3 наст. изд., стр. 93 и комментарий к ней).

«Не устроить ли нам колбасную?» ...всякое коммерческое предприятие, как журнальное, так табачное, колбасное или полпивное...— Издатель журнала «Время» М. М. Достоевский владел в 50-е годы табачной фабрикой. Это обстоятельство не раз упоминалось фельетонистами «Искры».

В статье «Молодое перо» Ф. М. Достоевский писал, обращаясь к Салтыкову: «Ведь вы ругаетесь, как какой-нибудь сотрудник «Головешки» <т. е. «Искры»>... Ведь вам только один шаг остался до попреков за

табачную фабрику» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XIII, ГИЗ, М.— Л. 1930, стр. 311). Салтыков, как видим, не замедлил ответить на этот вызов. В другой статье — «О добродетелях и недостатках...», написанной в конце 1864 г., но при жизни Салтыкова не напечатанной, упоминание о «колбасной лавочке» ставится в прямую связь с общественной позицией писателя (см. наст. том, стр. 463).

Стр. 304. *«Опыты отучения сотрудников от пищи и бесплатного снабжения их одеждою». Из записок одного неопытного литератора.*— Имеется в виду инцидент, происшедший в 1862 г. между М. М. Достоевским и А. П. Щаповым и ставший известным в литературных кругах. М. М. Достоевский предложил А. П. Щапову, тогда начинавшему и очень нуждавшемуся литератору, в счет гонорара заказать платье у своего портного. На эпизод со Щаповым намекал Салтыков и в более поздней полемической статье из серии «Петербургские театры» — «Наяда и рыбак» (см. наст. том, стр. 204). Здесь в сатирической «программе балета» сказано: «...костюмы того самого портного, который, взамен полистной платы, одевает сотрудников «Эпохи».

История о гонораре Щапова через много лет была рассказана в его некрологе. В связи с этим Ф. М. Достоевский вступился за честь брата в специальной статье «Дневника писателя» (1876, «За умершего». См. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XI, ГИЗ, М.— Л. 1929, стр. 278—281).

«...как будто тухлое разбилось яйцо...» — строка из стихотворения Пушкина «И дале мы пошли, и страх обнял меня...» (Подражание Данте, 1832).

На Малой Дмитровке дом высится прекрасный... /При доме конура, в ней циник жил ужасный.— На Малой Дмитровке помещалась редакция газеты «Наше время»; «циник ужасный» — Н. Ф. Павлов.

Невинное занятие общества Тирсисов на Спиридоновке...— На Спиридоновке в доме Мазаровича помещалась редакция газеты «День». «Общество Тирсисов» — собрание наивных и прекраснодушных деятелей (по имени Тирсиса — героя пасторалей французского придворного поэта Ракана, 1589—1670). Салтыков имеет в виду туманную по форме, славянофильскую по сути своей позицию «Дня».

«Ничего в волнах не видно», рассуждение по поводу 75 № «Моск. ведомостей», в котором доказывается, что и в волнах можно что-нибудь усмотреть.— В ответ на рассуждения, появившиеся за рубежом, в частности во Франции, о «равнодушии, какое русские оказывают к польскому вопросу», «Московские ведомости» в передовой статье № 75, на которую ссылается Салтыков, излагали свою шовинистическую версию об отношении русских людей к этому вопросу.

«Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях». Фельетон нового мормона за все время одержания бесами; с эпиграфом из сочинений г. Ф. Берга.— «Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все лето»

Ф. М. Достоевского были помещены во «Времени» непосредственно после стихотворения Ф. Берга «Грезы и песни», которое начиналось так:

Не отнимут люди, не отнимут —
Грезы, песня будут вечно с нами.
И за что б ни стали люди биться,
Греза, песня будут вечно с нами,
В сердце нашем глубоко таиться.

Клятву, данную относительно непечатания литературных упражнений г. М. Достоевского...— Намек на то, что официальный редактор «Времени» не пишет литературных произведений, а, подобно А. А. Краевскому, выступает лишь как предприниматель журнального дела.

РЕЦЕНЗИИ 1863—1864 гг.

Все рецензии, вошедшие в настоящий том, впервые были напечатаны в «Современнике» 1863 и 1864 гг., в отд. II — «Современное обозрение. Новые книги» — или предназначались для опубликования в этом журнале, но не появились в нем по цензурным и другим причинам (№№ 14 и 33). Приводим пономерную роспись рецензий:

1863

1. «Немного лет назад» И. Лажечникова	№ 1—2 (ц. р. 5. II)
2. «Кремуций Корд» Н. Костомарова	
3. «Приключения, почерпнутые из моря житейского» А. Вельтмана	
4. «Стихи» Вс. Крестовского	
5. «Гражданские мотивы». Сборник под ред. А. П. Пятковского и «Песни Скорбного поэта»	
6. «Литературная подпись». Соч. А. Скавронского	
7. «О старом и новом порядке...» Н. А. Безобразова	
8. «Анафема, или Торжество православия...» А. А. Быстротокова	№ 3 (ц. р. 14. III)
9. «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге» М. Беницкого и «Заметки и отзывы» в «Русском вестнике»	№ 4 (ц. р. 20. IV)
10. «Князь Серебряный» А. К. Толстого	
11. «Стихотворения» К. Павловой	№ 6 (ц. р. 26. VI)
12. «Повести Кохановской»	№ 9 (ц. р. 13. X)
13. «Стихотворения» А. А. Фета	
14. «О русской правде и польской кривде»	При жизни Салтыкова не было напечатано. Предназначалось для № 9

15. «Сказание о том, что есть и что была Россия...» кн. В. В. Львова 16. «Киевские волнения в 1855 году» С. С. Громеки 17. «Руководство к судебной защите по уголовным делам» К. Ю. А. Миттермайера	№ 10 (ц. р. 6. XI)
18. «Современные движения в расколе» Н. С—на (Н. И. Субботина)	№ 11 (ц. р. 9. XII)
19. «Воля». Два романа из быта беглых А. Скавронского 20. «Полное собрание сочинений Г. Гейне» под ред. Ф. Н. Берга, т. 1	№ 12 (ц. р. 8. I. 64 г.)

1864

21. «Новые стихотворения» А. Плещеева 22. «Наши безобразники» Н. А. Потехина 23. «Сказки» Марко Вовчка	№ 1 (ц. р. 10. II)
24. «Новые стихотворения» А. Н. Майкова 25. «Воздушное путешествие через Африку» Ю. Верна	№ 2 (ц. р. 9. III)
26. «Записки и письма» М. С. Щепкина 27. «Моя судьба» М. Камской (Е. А. Словцовой) 28. «Рассказы из записок старинного письмоводителя А. Высоты» 29. «Сборник из истории старообрядства» Н. И. Попова	№ 4 (ц. р. 11. V)
30. «Чужая вина» Ф. Н. Устрялова	№ 5 (ц. р. 10. VI частично)
31. «Ролла» Альфреда Мюссе	№ 8 (ц. р. 16. IX)
32. «В своем краю» К. Н. Леонтьева	№ 10 (ц. р. 13. XI)
33. «О добродетелях и недостатках...» и др.	При жизни Салтыкова не было напечатано. Предназначалось для № 10

Все рецензии, как это было принято в «Современнике» и других журналах эпохи, напечатаны без подписи.

Лишь одна из рецензий, а именно № 14 «О русской правде и польской кривде», известна в автографической рукописи Салтыкова (Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина).

Авторство Салтыкова в отношении перечисленных рецензий, за исключением названного № 14 и упоминаемого ниже № 33, установлено на основании гонорарных ведомостей «Современника», опубликованных С. А. Рейсером в «Литературном наследстве» (т. 53—54, М. 1949, стр. 257—275). Эти

ведомости документально подтвердили и уточнили сведения о салтыковских рецензиях, впервые сообщенные в книге А. Н. Пыпина «М. Е. Салтыков» (СПб. 1899, стр. 235—238) и в публикации В. Е. Евгеньева-Максимова «Новые материалы о сотрудничестве Щедрина в «Современнике» («Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 57—80).

Авторство Салтыкова в отношении рецензии № 33 «О добродетелях и недостатках...» установлено в публикации В. Е. Бограда «Полемика с Достоевским» («Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 363—387).

В Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) хранятся неправленые корректуры, в гранках «Современника», следующих двенадцати рецензий — все из бумаг А. Н. Пыпина: №№ 12—16, 18, 21—24, 30 и 33.

В настоящем издании рецензии печатаются по тексту «Современника» с устранением цензурных купюр по корректурным гранкам.

Немного лет назад. Роман в четырех частях.
Соч. И. Лажечникова. Москва.

(Стр. 307)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 111—123.

Рецензия начинается с краткой и в то же время очень точной справки о литературной деятельности Лажечникова. Писатель начал ее «Походными записками русского офицера» (о кампании 1813—1815 гг.), вышедшими отдельным изданием в 1820 г. В 30-х годах один за другим появляются три исторических романа Лажечникова — «Последний Новик» (1833), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838). Об этой полосе литературной деятельности Лажечникова Салтыков говорит, что она «сопровождалась замечательным блеском». Романам «Ледяной дом» и «Басурман» Белинский посвятил сочувственную статью в «Московском наблюдателе» (1839). Оценки Белинского не оспаривались и позднейшей русской критикой. Однако в дальнейшем литературная деятельность Лажечникова падает и вырождается. Драмы Лажечникова (четыре, а не три, как указано в рецензии) «Христиерн II и Густав Ваза» (1841), «Дочь еврея» (1849), «Горбун» (1858) и «Опричник» (1859) не получили сколько-нибудь заметного резонанса. Мемуарные очерки «Беленькие, черненькие и серенькие» («Русский вестник», 1856), в отличие от «Моего знакомства с Пушкиным» и «Заметок для биографии В. Белинского», незначительны по содержанию и консервативны по направлению.

Роман «Немного лет назад», написанный под конец жизни Лажечникова, уже просто неудачен. Былой романтизм автора выродился в прямое верноподданническое восхваление правительства и его реформаторской деятельности. Романтическая поэтика выродилась в примитив, охарактеризованный Салтыковым как «драгоценный перл» старой «дорафаэлевской манеры». Заметим, что уже Аполлон Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая» («Русское слово»,

1859, №№ 2 и 3) назвал дарование Лажечникова «допотопным», то есть устарелым и несовершенным.

Всеми этими обстоятельствами объясняется тон рецензии Салтыкова: снисходительный и насмешливо-иронический; Салтыков в целом дискредитирует «Немного лет назад» в качестве «положительно детского упражнения». Но он признает историко-литературные заслуги Лажечникова и считает необходимым высказать свое уважение к искренности и другим личным достоинствам старого беллетриста.

Стр. 307. *...собирался подарить публику «Колдуном на Сухаревой башне», да так и не подарил...* — Из этого романа была напечатана лишь небольшая часть («Отечественные записки», 1840, № 10).

Стр. 309. *Указывать на Шекспира мог только Белинский... потому, что он знал, как указать на Шекспира.* — Салтыков имеет в виду прежде всего знаменитую статью Белинского «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838).

Почему... потеряла кредит так называемая обличительная литература? — Об отношении Салтыкова к обличительной литературе см. в его очерке «Литераторы-обыватели» и прим. к нему (т. 3 наст. изд., стр. 428—464, 623—628).

Стр. 311. *...поведи он читателя... в водосточную трубу, как сделал недавно Виктор Гюго...* — Жан Вальжан, герой «Отверженных» Виктора Гюго, спасая раненного на баррикадах, спускается с ним в подземный водосток.

Стр. 312. *...«истину царям с улыбкой говорил»* — из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник».

Стр. 315. *...направление «Русского вестника», составляющее... середину между английским и стародубовским...* — сатирические шпильки в адрес М. Н. Каткова с его англофильством и отечественно-дворянским консерватизмом. (Помещик Стародубов — один из персонажей рецензируемого романа Лажечникова.)

Кремуций Корд. Соч. Н. Костомарова, СПб. 1862.
(Стр. 319)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 123—126.

Рецензия на драму Н. И. Костомарова «Кремуций Корд» явилась прежде всего эзоповым откликом Салтыкова на арест и процесс Чернышевского. Это хорошо понимали современники, что неоднократно отмечалось в литературе предмета[1]. В то же время в ней проводится параллель между начавшейся в 1862 г. реакцией в России и тираническим самовластием римских императоров, причем аналогия распространяется не только на действия правительства, но и на порожденные реакцией об-

[1] В. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника», Л. 1939, стр. 45—47 и др.

щественные нравы. В том же 1863 г. Салтыков воспользовался этой бичующей аналогией в «Свистке», в сатирической сцене «Цензор впопыхах» (см. выше, стр. 275—281 и прим. к стр. 277). В 1870 г. Салтыков прибегнул к этой же прозрачной аналогии в рецензии на трагедию Н. П. Жандра «Нерон» (см. в т. 9 наст. изд.).

Как это часто бывает у Салтыкова, он переносит свои рассуждения в историко-философский план. Историко-философский смысл рецензии раскрывается при сопоставлении ее с нижеследующей цитатой из сочинений немецкого историка Древнего Рима Бартольда Георга Нибура, приведенной Салтыковым в очерке 1869 г. «Что такое ташкентцы?» и в статье 1870 г. «Один из деятелей русской мысли»: «В это несчастное время злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя; все чистое, благородное, совесть, свойственный даже порочным людям стыд дурных и бесчестных дел исчезли» (см. т. 9 наст. изд.). Эта сентенция Нибура была использована для характеристики русского общества эпохи Николая I и Александра II не только Салтыковым, но и Грановским. Однако Салтыков освободил мысль Нибура (и Грановского) от свойственного ей метафизического, безысходно-трагического оттенка. Его аналогия и связанные с ней рассуждения конкретно-историчны, актуальны, дышат гневом и призывают к общественному действию.

Стр. 321. *Трудно поверить, чтобы могли быть такие времена! А между тем они были: в том убеждает нас летопись Тацита.*— Эзопов прием, имеющий целью обратить внимание читателя не на Тацита, конечно, а на современность, на «такие времена» переживаемой реакции.

Приключения, почерпнутые из моря житейского. Воспитанница Сара. А. Вельтмана. Москва. (Стр. 321)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 126—129.

Романы и повести А. Ф. Вельтмана в 30—40-е годы пользовались популярностью. Их ценили А. С. Пушкин и В. Г. Белинский. Но к 60-м годам Вельтман сошел с литературной авансцены. Самое имя его к этому времени оказалось полузабытым. Роман «Воспитанница Сара» — последний из цикла романов Вельтмана «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (кн. 1—4, 1846—1863) — написан в архаической манере романтической прозы. Он лишен единого сюжета, распадается на ряд эпизодов, изобилующих неожиданными, иногда фантастическими сцеплениями случайных событий, ложных ситуаций, характерных для романтической прозы. Отзываясь положительно лишь об одном образе — Потапе Савиче («создание мастерское»), Салтыков в целом дискредитирует роман за отсутствие в произведении серьезного общественного содержания («образец самого невинного переливания из пустого в порожнее»), за вычурность и растянутость повествования («старческая болтливость»).

Стр. 323. ...*«царь фараон каждую ночь из Чермного моря выходит», как выражается достолюбезная Устинья Наумовна в комедии Островского «Свои люди, сочтемся»*.— О фараоне, выходящем по ночам с войском из моря, говорит у Островского не Устинья Наумовна, а сваха Акулина Гавриловна Красавина в комедии «Праздничный сон — до обеда» (карт. 2, явл. 3).

О чем не писал этот знаменитый писатель! И о чиновничестве, как о неизбежном признаке и спутнике общественного бессилия, и об отношениях г. Григорьева к Грановскому...— Имеются в виду статьи Н. Ф. Павлова «Чиновник», комедия графа В. А. Соллогуба («Русский вестник», 1856, № 6—7; отд. изд., М. 1857) и «Биограф-ориенталист» («Русский вестник», 1857, № 8). Последняя статья была полемически направлена против статьи профессора-ориенталиста В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский — до его профессорства в Москве» («Русская беседа», 1856, № 3—4), в которой автор стремился доказать, будто Грановский был красноречивый человек, но легковесный ученый, ставший западником лишь по недостатку серьезных научных знаний (см. об этой полемике: Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, М. 1929, стр. 267—269).

Теперь Н. Ф. Павлов добалтывается в «Нашем времени».— Об Н. Ф. Павлове и его газете «Наше время» см. выше в «Московских письмах», II (стр. 152, 158, 569) и в юмореске «Секретное занятие» из «Свистка» (стр. 295—297, 618).

Стихи Вс. Крестовского
(Стр. 324)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 129—136.

Автор известного романа «Петербургские трущобы» В. В. Крестовский начал свою писательскую деятельность как поэт. Но сборник стихов, изданный им в 1862 г., оказался единственным в литературном наследии будущего романиста. Книга вызвала отрицательные оценки критики, определившей «основной напев В. Крестовского» как «напев человеческой похоти» («Голос», 1863, № 22; ср. также «Русское слово», 1863, № 1, отд. II, стр. 45—53).

Не удивительно, что Салтыков, которого, по свидетельству близко знавшего его современника, «скабрезность... шокировала даже у известных писателей и в хороших произведениях» [1], резко выступил против Крестовского. Считая выход в свет его стихов своеобразным «знамением времени» в ряду других явлений русской общественной жизни, Салтыков посвящает рецензию не столько самому Крестовскому, сколько деятелям «второго сорта», к которым, по его мнению, принадлежит этот поэт. При этом замечания о поэзии и поэтах «второго сорта» перемежаются с замечаниями о «второго сорта» законах, администрации, политике, философии, публици-

[1] Н. С. Кривенко. М. Е. Салтыков, СПб. 1891, стр. 81.

стике. В системе рассуждений Салтыкова все называемые им или подразумеваемые явления общественной жизни «второго сорта» раскрываются как явления реакционные, социально враждебные и отрицаемые.

Стр. 324. *...Кодекс Наполеона воспламенил множество европейских правительств...* — Кодекс Наполеона, или Гражданский кодекс Франции (Code civile), был издан в 1804 г. Этот, по определению Ф. Энгельса, «классический свод законов буржуазного общества» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, изд. 2, Госполитиздат, М. 1961, стр. 311) оказал большое влияние на законодательство ряда европейских стран: Голландии, Италии, Германии и др.

...и хоть это были кодексы второго сорта, но все же... не разбросанная какая-нибудь дребедень — сатирическая стрела в адрес законодательной системы царской России.

Стр. 325. *«Галуб».* — Название «Галуб» дано поэме Пушкина «Гасуб» («Тазит») Жуковским, неправильно прочитавшим в рукописи имя героя поэмы. Ошибочное чтение исправлено только в 1930 г.

«На нем треугольная шляпа...» — цитата из стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль», посвященного Наполеону I. Дальше — сатирический перифраз строк этого стихотворения: «Скрестивши могучие руки, / Главу опустивши на грудь».

Владимир Рафаилович и Рафаил Михайлович Зотовы... даже и отгравировали себя с сложенными на груди руками. — Салтыков имеет в виду портрет романиста и драматурга Р. М. Зотова, помещенный в альманахе «Сто русских литераторов», изданном А. Ф. Смирдиным в 1839 г. Об этом портрете неоднократно с иронией писал Белинский: «Все хороши, особенно г. Зотов: по лицу тотчас узнаешь, что писатель знатный» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 45, 99).

Стр. 326. *...сегодня Фиален Персиньи, завтра Еспинас... как в древние времена Тьер да Гизо, Гизо да Тьер... да и дошли полегоньку до 24 февраля 1848 года!* — В ироническом рассуждении о «нашем» увлечении реакционнейшими политическими деятелями Июльской монархии и Второй империи Салтыков обличает российскую реакцию и вместе с тем намекает, что, как и во Франции 1848 г., реакционный натиск самодержавия может привести к революционному взрыву.

...когда на русский язык переводились шведские законы; что эти законы... второго сорта, в этом нам служит ручательством то, что они и доныне представляют мертвую букву. — Вероятно, здесь имеются в виду реформы Петровской эпохи. Заимствованные от Швеции законы и учреждения не имели достаточной экономической, правовой и политической почвы в русской действительности, и многие из них остались поэтому «мертвой буквой».

...или ...целиком пригонять законы о книгопечатании, написанные Наполеоном III, на пользу свою. — В тех изменениях, которые вносились в русское законодательство о печати в 60-х годах, образцом неизменно слу-

жило французское законодательство Второй империи. Об этом намеками писал Чернышевский в статье «Французские законы по делам книгопечатания» («Современник», 1862, № 3, отд. II, стр. 141—176) и сам Салтыков в статье «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» (см. выше, стр. 220—221).

...Гоголь сам признавал, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» — самое слабое из всего им написанного. — Гоголь говорил об этом в предисловии к изданию своих сочинений 1842 г. «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя» (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. I, изд. АН СССР, М. 1940, стр. 318).

Стр. 327. *...он сам может создать лухмановские картоны Рафаэля.* — В 1851 г. в Москве были выставлены 9 картин религиозного содержания, нарисованных на больших картонах, владельцем которых был А. Д. Лухманов. Картины приписывались Рафаэлю, по поводу чего в печати возникла полемика. Итогом ее явилась статья К. Герца «Происхождение рафаэлевских картонов, принадлежащих А. Д. Лухманову» («Современная летопись», 1863, № 25, стр. 11—12), в которой он доказывал, что картины эти принадлежат не Рафаэлю, а художнику Феличе Кампи (XVI в.). Рецензия Салтыкова была написана до появления статьи К. Герца.

...холуйско-мстёрская школа живописи. — Хо́луй (Ивановской обл.), Мстёра (Владимирской) — старинные центры иконописи и народного художественного ремесла. Во второй половине XIX в. искусство Хо́луя и Мстёры резко падает: в работу народных мастеров проникает штамп, начинается массовое производство «расхожей» иконы, украшений из фольги и т. д.

...чувствуете в себе охоту раздражиться Майковым. — В «Нашей общественной жизни» (март 1863 г.) Салтыков писал: «Вспомните г. Вс. Крестовского: мог ли А. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его в цвете лет» (см. в т. 6 наст. изд.). Об отношении Салтыкова к творчеству А. Майкова см. наст. том, стр. 424—435 и 665.

Стр. 328. *Приятный жанр скрытной клубнички, которого тайною обладал доселе один г. Майков...* — Клубничка — понятие, обозначающее нечто нескромное, скабрезное, связанное с эротическими похождениями. Вошло в оборот после «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 4). Борьба с «клубничной» литературой проходит через все творчество и литературную критику Салтыкова.

Стр. 329. *...кто писал испанские романсы из русских поэтов? но кто не писал их? Петр Исаич Вейнберг! вы не писывали ли испанских романсов?* — Высмеивается культ сладостной экзотической Испании, который был широко распространен в романтической поэзии 50—60-х годов (см. пародию Козьмы Пруткова «Желание быть испанцем»).

Мало вам «Гитаны» — вот вам «Затворница». — Приводятся названия стихотворений В. Крестовского 1861 г., входящих в его цикл «Испанские мотивы». Гитана — испанская цыганка.

Стр. 330. *Г-ну Фету посчастливилось несколько более.*— Оценку Салтыковым творчества Фета см. в наст. томе, стр. 383—390.

Стр. 331. *...раздражение пленной мысли.*— Перифраза строки из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

«Теремок» — стихотворение В. Крестовского (1860).

Гражданские мотивы. Сборник современных стихотворений, изданных под редакцией А. П. Пятковского. СПб. 1863.
Песни Скорбного поэта. СПб. 1863.
(Стр. 331)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 136—139.

За исключением последнего абзаца, эта рецензия на обозначенные в ее «титуле» две книги посвящена лишь первой из них — сборнику стихотворений 50—60-х годов, тенденциозно названному составителем А. П. Пятковским «Гражданские мотивы». Содержание сборника мало соответствовало такому названию. Вместе с отрывком из некрасовского «На Волге» в сборник вошли: идиллическая «Грустная картина» Ю. Жадовской, верноподданнические «Война и мир» В. Бенедиктова, «Битва» Н. Щербины, «Женщине» Я Полонского, приводимое в рецензии «После бала» А. Майкова и другие стихотворения, противостоящие общественной («гражданской») теме.

Сборник А. П. Пятковского дискредитируется в рецензии двояко. Коммерческие расчеты составителя, спекулирующего на общественном интересе к «гражданской поэзии», обнажаются в издевательской «калькуляции» издания и подсчетах «барыша» от него. Эклектизм сборника высмеивается в ироническом совете рецензента составителю издать еще один сборник под названием «Эротическо-гражданские стихотворения», в котором бы чередовались вперемежку стихотворения поэтов-демократов, с одной стороны, и сторонников «чистого искусства» — с другой.

Автором стихотворений, вошедших во второй «рецензируемый» сборник «Песни Скорбного поэта», был Г. Н. Жулев, видный участник «Искры», а также других изданий 60-х годов.

Стр. 332. *«Пожалуйте списать»* — слова Чацкого о Молчалине в «Горе от ума» (д. I, явл. 7): «Бывало, песенок где новеньких тетрадь / Увидит, пристает: пожалуйте списать».

Стр. 334. *Ералаш* — старинная карточная игра.

...лучше вспомнили бы о воскресных школах... точно был бы гражданский мотив! — Воскресные школы для взрослых, возникшие в 1859 г., обслуживались преимущественно революционно настроенной интеллигенцией, рассматривавшей их не только как одну из форм просвещения народа, но и как легальную форму демократической и антиправительственной пропаганды. В июне 1862 г. воскресные школы были закрыты правительством (вновь разрешены в 1864 г.).

«Герои преферанса» — водевиль актера П. И. Григорьева I (1844), который Белинский оценивал как «фарс на фарсе, нелепость на нелепости, невероятность на невероятности» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР, стр. 427).

«Литературные староверы».— Яркая и злая сатира Г. Н. Жулева, в которой он боролся с «литературными староверами» всех мастей — врагами демократического и реалистического искусства и сторонниками официальной идеологии. Непосредственно же сатира была направлена против «Северной пчелы» и близких к ней писателей — «булгаринских времен хилых фигурантов» (И. Ямпольский. Сатирическая журналистика 1860-х годов, М. 1964, стр. 124).

Литературная подпись. Соч. А. Скавронского
(«Время» за 1862 г., № 12, 1 стр.)
(Стр. 334)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 140—142.

Эта заметка явилась первым частным поводом к острой и длительной полемике между Салтыковым, как ведущим публицистом «Современника», и Ф. М. Достоевским, фактическим редактором и идейным вдохновителем журналов «почвеннического» направления «Время» и «Эпоха». Истинным поводом вражды послужила напечатанная в той же январско-февральской книжке «Современника» за 1863 г. заглавная статья начатого Салтыковым публицистического цикла «Наша общественная жизнь», где в связи с польскими событиями говорилось о появлении духа «политической благонамеренности» в русском обществе и наносился косвенный удар по общественно-политической позиции «почвенников» [1].

Заметка Салтыкова была памфлетно-сатирическим откликом на «письмо к редактору «Времени» писателя А. Скавронского (псевдоним Г. П. Данилевского), выражавшего неудовольствие тем, что под именем Н. Скавронский выступал московский литератор А. С. Ушаков. Стремясь «размежеваться» с *Н.* Скавронским, *А.* Скавронский подробно перечисляет свои сочинения. Здесь же дается и примечание от редакции «Времени»: «В эти годы напечатаны г. А. Скавронского: в «Искре» — очерк «Девочка» (1859, № 50, 25 декабря), в «Современнике» — рассказы: «Пенсильванцы и каролинцы на Украйне» и «Село Сорокопановка» (1859, № 4 и № 10), и во «Времени» — повесть «Беглые в Новороссии» (1862, №№ 1 и 2)». Последние три названия Салтыков пародирует: «Пенсильванцы и Виргинцы», «Село Сарановка», «Бедные в Малороссии».

---

[1] Подробно об этой полемике, представляющей одну из интереснейших страниц общественно-литературной борьбы 60-х годов, см. в т. 6 наст. изд. и в кн. С. Борщевского — «Щедрин и Достоевский», Гослитиздат, М. 1956.

В 1863 г. «Время» напечатало еще один роман А. Скавронского — «Беглые воротились» (№№ 1—3), другое название — «Воля». Впоследствии Г. П. Данилевский стал известен как автор популярных исторических романов: «Мирович» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886).

А. С. Ушакову (Н. Скавронскому) принадлежат «Были и повести» (1838), роман «Антон Иванович Пошехонин» (1855), очерки и повести «Из купеческого быта» (1862), «Очерки Москвы» (1862—1866).

Памфлетная заметка Салтыкова, ядовито оформленная в виде «рецензии» на «Сочинение» А. Скавронского — его «письмо к редактору «Времени» задело и Ф. М. Достоевского. На «Литературную подпись» Салтыкова он отвечал статьей «Молодое перо», в которой писал: «Почему, скажите, г. А. Скавронский не имеет права досадовать, что другой писатель подписывается его именем? Потому что он не генерал, не великий писатель? Но ведь всякому свое дорого. Что, ежели б вы сами изобрели себе какой-нибудь псевдоним и приобрели себе славу, а другой какой-нибудь проказник в Москве взял бы да и стал подписываться вашим же псевдонимом, да еще, положим, где-нибудь в «Русском вестнике»?» («Журнальные заметки».— «Время», 1863, № 2, стр. 222).

Стр. 335. *...«Бедных в Малороссии»...* — в статье «Молодое перо» Достоевский замечал: «Ведь это вы нарочно написали «Бедных в Малороссии» вместо «Беглых в Новороссии» — для усиления своего остроумия. Будто, дескать, и название-то романа забыл, потому что не стоит и помнить» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XIII, ГИЗ, М.— Л. 1930, стр. 307).

...Николаенки, Вахновские, Сердобские обыватели, Калужские обыватели, Прохожие, Проезжие... — Перечисляются псевдонимы третьестепенных литераторов того времени. Под именем Николаенко выступали две писательницы: Н. Д. Шамонина («Русский вестник», 1858—1859) и М. М. Манасеина («Отечественные записки», 1862). С. Вахновская — псевдоним Е. А. Лодыженской, печатавшейся в «Русском вестнике» (1856—1859). Отдельным изданием вышли ее «Рассказы и очерки», М. 1859. Псевдонимом «Сердобский обыватель» подписана заметка в «Голосе», 1863, № 3, о которой Салтыков упоминает в статье «Известие из Полтавской губернии». «Калужский обыватель» — очевидно, «Калужский житель» — подпись под статьей в газете «День», 1863, № 3. Псевдонимом «Проезжий» была подписана статья «Косвенные налоги на фабрики» («Вестник промышленности», 1860, № 2), направленная против Салтыкова как рязанского вице-губернатора и на которую он отвечал написанной, но запрещенной цензурой статьей «Еще скрежет зубовный» (см. ее в наст. томе, стр. 84—97).

Стр. 336. *...словами г-жи Толстогараздовой (в комедии г. Островского «Не сошлись характерами»): «Да что ж в этом есть постыдного, что я назвался Н. Скавронским?»* — Имеется в виду следующий диалог между купцом Толстогараздовым и его женой из 2-й картины пьесы: «— А ты

нешто дама? — Обнакновенно дама.— Да вот можешь ты чувствовать, не могу я слышать этого слова... когда ты себя дамой называешь.— Да что же такое за слово — дама? Что в нем... *(ищет слова)* постыдного? — Да коли не люблю! Вот тебе и сказ!»

Стр. 337. ...*один литератор вдруг ни с того ни с сего объявил недавно в «Северной пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор...*— Речь идет о «Письме к издателю «Северной пчелы» И. С. Тургенева («Северная пчела», 1862, № 334, от 10 декабря). «Письмо» явилось актом окончательного, формального разрыва Тургенева с редакцией «Современника», разрыва, который начался еще в 1860 г. Тургенев ссылается на последующие попытки Некрасова восстановить отношения: «В январе 1860 г. «Современник» печатал еще мою статью («Гамлет и Дон-Кихот»), и г. Некрасов предлагал мне при свидетелях значительную сумму за повесть, запроданную «Русскому вестнику», а весною 1861 г. тот же г. Некрасов писал мне в Париж письмо, в котором, с чувством жалуясь на мое охлаждение, возобновлял свои лестные предложения и, между прочим, доводил до моего сведения, что видит меня почти каждую ночь во сне». В письме Некрасова, о котором сообщает Тургенев, написанном не весной, а 15 января 1861 г., сказано: «Прошу тебя думать, что я в сию минуту хлопочу не о «Современнике» и не из желания достать для него твою повесть — это как ты хочешь, я хочу некоторого света относительно самого себя и повторяю, что это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, Гослитиздат, М. 1952, стр. 441—442). «Я ... отвечал г. Некрасову,— заявляет Тургенев,— положительным отказом, сообщил ему мое твердое решение не участвовать более в «Современнике».

О старом и новом порядке и об устроенном труде (travail organisé) в применении к нашим поместным отношениям...

(Стр. 337)

«Совр.», 1863, № 1—2, отд. II, стр. 142—146.

Рецензия направлена против одного из лидеров дворянско-крепостнической оппозиции реформам 60-х годов Н. А. Безобразова, о котором даже министр внутренних дел П. А. Валуев говорил, имея в виду его крайнюю реакционность, что «между им и сумасшедшим различия немного» («Дневник П. А. Валуева...», ред. П. А. Зайончковского, т. I, М. 1961, стр. 191— запись от 26 сентября 1862 г.). В 1858 г., уже после официального объявления о приступе к крестьянской реформе, Н. Безобразов напечатал в Берлине брошюру «Об усовершенствовании узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства», в которой доказывал ненужность отмены крепостного права и распространял ее среди петербургских сановников. После февраля 1861 г. в своих печатных выступлениях он призывал к сохранению

«старого», то есть крепостнического «порядка» в деревне. Этим духом проникнута и рецензируемая Салтыковым брошюра, вышедшая в Петербурге в самом начале 1863 г. и представляющая собой отдельный оттиск статьи из «Экономических записок», 1862, № 51 (статья восходит к речи, произнесенной Н. Безобразовым в собрании Вольного экономического общества 13 декабря 1862 г. по поводу учреждения справочного стола для управляющих поместными имениями). Н. Безобразов придавал своему выступлению столь важное значение, что в 1863 г. перепечатывал брошюру еще два раза: в Берлине, а затем вновь в Петербурге («издание второе, исправленное»). Салтыков вскрывает, что рассуждения Н. Безобразова об «устроенном труде» являются не чем иным, как мечтами о новых формах крепостного права.

В рецензию Салтыковым включен отклик на заметку другого крепостника — А. Муравьева «Выкуп крестьянских угодий», опубликованную в № 3 «Московских ведомостей» за 1863 г. Положения 19 февраля предусматривали, что выкуп полевого надела осуществляется на основе добровольного соглашения помещиков и крестьян. Но помещик мог и в одностороннем порядке перевести крестьян на выкуп, лишаясь при этом одной пятой выкупной суммы (так называемых «верхов»). Крестьяне первое время весьма неохотно шли на заключение выкупных сделок. За 1861 г. по всей России было заключено лишь 322 сделки. А. Муравьев предлагает правительству обеспечить помещику сумму «верхов» и при переводе крестьян на выкуп без их согласия. Средства для этого должны быть добыты путем увеличения платежей крестьян в казну.

Салтыков отказывается от полемики с А. Муравьевым по существу. «Мы ни слова не говорим здесь о том,— заявляет он,— справедлива или несправедлива мысль об обязательности выкупа земельных крестьянских угодий...», он только указывает на жульнические передержки и стремление к максимальному ограблению народа в заметке крепостника. Уход от обсуждения вопроса об *обязательности* выкупа не случаен. Еще в 1861 г. Салтыков выдвигал требование немедленной ликвидации состояния «временно-обязанных» путем «совершенного окончания расчетов между помещиком и бывшими его крепостными крестьянами» посредством выкупной сделки (см. «Где истинные интересы дворянства?» в наст. томе). Иную позицию занял лагерь революционной демократии после того, как выявилось массовое нежелание крестьян идти на выкупную сделку. Почти повсеместные вначале отказы крестьян от добровольных соглашений рассматривались как признак краха грабительской реформы и как надежда на перерастание крестьянского недовольства в революционную борьбу. Об этом писал Чернышевский в 1862 г. в «Письмах без адреса» и ретроспективно в «Прологе» (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 93, и т. XIII, стр. 187—188). Характерно, что и А. Муравьев, отмечая нежелание крестьян заключать выкупные сделки, выдвигает на первое место такое объяснение: «Во многих местах крестьяне надеются еще получить в собственность землю без выкупа».

Принадлежа к лагерю «Современника», Салтыков, однако, не разделял в 1863 г. представления о близости революции, признаком чего будто бы являлся отказ крестьян от выкупной сделки. Оставаясь на прежних позициях в вопросе о необходимости скорейшей ликвидации состояния «временнообязанных», Салтыков вместе с тем, по-видимому, не считал возможным на страницах «Современника» полемизировать с его руководителем, находившимся в заключении, и уклонился от обсуждения вопроса об обязательности выкупа.

Стр. 337. *...членом Вольного экономического общества...* — «Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства» — старейшее научное общество в России (1756—1917). Его основной задачей была теоретическая разработка путей наиболее выгодного ведения помещичьего хозяйства. В 60-е годы в работе Общества принимали участие как крепостники, так и либералы.

...дополнительные платежи. — При переводе на выкуп 80% выкупной суммы помещику выплачивало процентными бумагами правительство, за что крестьяне повинны были в течение 49 лет вносить в казну по 6,5% этой суммы ежегодно. Остальные 20% крестьяне вносили помещику сами при условии добровольного соглашения о выкупе. Эти взносы и назывались «дополнительными платежами».

Стр. 340. *«...изложение двух тысяч с лишком статей...»* — Положения 19 февраля состояли из 17 отдельных законов со множеством статей в каждом из них: «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», «Положения о выкупе...», четырех «Местных положений о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях...», «Положения об устройстве дворовых людей...» и т. д. К этому прилагались многочисленные «Именные указы сенату» и т. п.

Анафема, или Торжество православия, совершаемое ежегодно в первый воскресный день великого поста. (Три письма к другу.) Составил А. А. Быстротоков. СПб. 1863.

(Стр. 341)

«Совр.», 1863, № 3, отд. II, стр. 128—130.

Сатирический и атеистический яд этой рецензии заключается в простом изложении двенадцати канонических пунктов православной церкви, относящихся к анафематствованию, то есть к «отлучению от церкви и преданию вечному проклятию» еретиков и грешников. Приводя просторечно-бытовые значения слова «анафема» (ругательство «скверная рожа» и др.) и такие же представления о причинах анафематствования (за то, что «ездят в экипажах с дышлами»), Салтыков издевательски «снижает» грозное догматическое значение этой формулы церковного устрашения и возмездия.

Стр. 341. *Ефимоны* — вечерняя служба православной церкви в великий пост.

Сборное воскресение — первое воскресенье великого поста в календаре православной церкви; называлось так потому, что в Древней Руси в этот день духовенство собиралось к епископу и совещалось с ним о церковных делах.

Стр. 342. *Один из самых лютейших иконоборцев... император Феофил...* — Византийский император Феофил в 832 г. выпустил указ, которым запрещалось почитание икон.

Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге. Соч. М. Беницкого, издание К. И. Синявского. СПб. 1862 г. **«Заметки и отзывы».** «Русск. вести.» 1863 г., № 1-й.

(Стр. 343)

«Совр.», 1863, № 4, отд. II, стр. 285—295.

Поводом для рецензии послужили ура-патриотическая, самого низкого пошиба брошюра М. Беницкого о петербургских пожарах, о прокламациях 1862 г. и редакционная статья в январской книжке «Русского вестника» за 1863 г. «Отзывы и заметки. Польский вопрос». Последняя, написанная самим Катковым, открывает в его изданиях серию грубых нападок на восставших поляков (см. в «Русском вестнике» под той же рубрикой «Отзывы и заметки» статьи «Русский вопрос» в № 2, «Что нам делать с Польшей?» в № 3 и т. д.).

В рецензируемых «Отзывах и заметках» Катков использовал обострение общественно-политической обстановки в стране, вызванное польским восстанием 1863 г., для разжигания травли русских революционеров, «нигилистов». Конкретно речь шла о прокламации тайного революционного общества «Земля и воля» «Льется польская кровь, льется русская кровь», написанной одним из основателей общества и членом его центрального комитета А. А. Слепцовым. После некоторых изменений, внесенных в текст другими членами центрального комитета, прокламация была подпольно отпечатана большим тиражом и широко распространялась по всей Российской империи (текст ее см.: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 90). Катков обрушился с злобной бранью на авторов прокламации, обвиняя их в измене «уже не правительству, чем они хвалятся, но своему народу, своему отечеству» (стр. 483). Он вновь повторял обвинения в поджогах, которые в 1862 г. редакция выдвинула против революционеров, заявляя, что такая прокламация «еще хуже пожаров» (стр. 479). О прокламации и катковских нападках на нее писал в 160 листе «Колокола» Герцен, называя статью «Отзывы и заметки. Польский вопрос» образцом «жандармской литературы... из III Отделения «Русского вестника»[1]. Возможно, косвенным откликом на прокламацию и на-

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 90—91, 112—113 и примеч. к ним.

падки на нее, является обращение Салтыкова к реакционным публицистам в заметке «Литературные будочники» из «Свистка», опубликованной в том же номере «Современника», что и рецензия «Несколько серьезных слов...»: «По поводу чего вы так расплясались? Рады вы, что ли, тому, что льется человеческая кровь?» (см. в наст. томе, стр. 300).

Рецензия Салтыкова — одно из многочисленных его выступлений против реакционно-либеральной печати, травли ею «нигилизма». В 1863 г. большинство из них связаны с польским вопросом. Непосредственно рецензия направлена против Каткова. Салтыков сопоставляет статью «Русского вестника» с наиболее низкопробной реакционной стряпней на схожую тему, с брошюрой Беницкого (само такое сопоставление было оскорбительным), и приходит к выводу, «что «Русский вестник» идет далее г. Беницкого». В рецензии затрагиваются и более общие вопросы. В ней идет речь о положении литературы в 60-е годы, о сущности правительственного «либерализма», «квасного патриотизма», «официальной народности». Салтыков показывает, как ничтожно мала разница между самыми мрачными временами николаевской реакции и эпохой александровского «либерализма», между требованием «ничего не трогать», а «просто любить» и правом «дурное порицать и хорошее хвалить» («дурное» и «хорошее» с точки зрения властей), правом «трогать умеючи» и доказывать важность тезиса: «люби».

Стр. 343. *Вести журнальное дело очень нетрудно. Надобно только взирать на вещи... с патриотической точки зрения...* — ирония над «свободой слова», которая предоставлена русской журналистике только для восхваления существующего порядка, для пропаганды «официального патриотизма». О том, что лишь «относительно выражения патриотических чувств общественное мнение в России всегда пользовалось весьма достаточною свободой», Салтыков писал неоднократно (см., например, «Нашу общественную жизнь» за сентябрь 1863 г., т. 6).

...право «трогать умеючи» приобретено нами в течение последних восьми лет — то есть после 1855 г., с воцарением Александра II.

...«Русский вестник»... иногда даже трогал «не умеючи» — намек на отдельные выступления «Русского вестника», вызывавшие недовольство властей (например, столкновение Каткова с цензурой в 1858—1859 гг. См. Н. А. Любимов. М. Н. Катков, гл. 4.— «Русский вестник», 1888, № 3, стр. 209—249).

...вникать во смысл таинственных загадок — строка из стихотворения В. Крестовского «Затворница», о котором Салтыков упоминает и в рецензии «Стихи Вс. Крестовского» (см. в наст. томе стр. 329).

Стр. 344. *...это завещано еще стариком Гостомыслом, который и свои-то собственные дела советовал нам поручать людям, которые их лучше нашего знают.*— По летописным преданиям, новгородский посадник или князь Гостомысл завещал призвать варягов на Русь для прекращения смут и беспорядков.

Стр. 344. *Можно... лечь спать озорником, а на следующее утро проснуться человеком достойным... французский министр... г. Бильо, был когда-то... свистуном.*— Одним из признаков реакционного «понижения тона» было обращение бывших деятелей либеральной оппозиции к оголтелому шовинизму и безоговорочной поддержке правительства в борьбе с Польшей и революционерами. Возможность таких метаморфоз иллюстрируется изменением в карьере французского политического деятеля Огюста Бильо. В эпоху Луи-Филиппа он принадлежал к оппозиции («был... свистуном»), после февральской революции 1848 г. примыкал к республиканцам, а после государственного переворота 2 декабря 1851 г. стал целиком па сторону Наполеона III.

Преферанс — предпочтение (*франц.* préférence).

Стр. 345. *...не можем оставаться равнодушными... ко всем этим «штукам и экивокам».*— Вероятно, вольный перевод слов — with no biggodd nonsense about her, постоянно повторяемых Спарклером, персонажем романа Чарльза Диккенса «Крошка Доррит». В русских переводах 1858 г. (и в «Отечественных записках», и в отдельном издании) эти слова переводятся: «без всяких проклятых фокусов».

Стр. 346. *С природой одною я жизнью дышу, /Я чувствую трав прозябанье...*— Перифраза строк из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте»: «С природой одною он жизнью дышал... / И чувствовал трав прозябанье».

Стр. 347. *...какие в прошлом году изрекал «Русский вестник» предики мальчишкам устами г. Белюстина.*— Имеется в виду корреспонденция священника-публициста И. С. Беллюстина «Из Петербурга», опубликованная в газете «Современная летопись» (1862, № 23) — еженедельном приложении к «Русскому вестнику». В корреспонденции этой, посвященной петербургским пожарам, говорилось, в частности: «На кого указывает народ как на главную причину своих бедствий? Горько и тяжело, а нельзя скрыть — на учащуюся и ученую молодежь. Совершающиеся бедствия он ставит в неразрывной связи с предшествовавшими возглашениями, объявлениями [1] — всею этою возмутительною нечистью, которую враги общественного спокойствия щедрою рукою сыпали в народ. Ради чести науки, ради стольких надежд, которые возлагались было на молодое поколение, не хотелось бы верить подозрениям народа. Но что, если и тут есть своя доля правды? Что̀, если и в самом деле эта молодежь, увлеченная погибельными возгласами проповедников анархии и всеобщего погрома, посредственно или непосредственно принимает в этом участие? — О, какую страшную судьбу готовит она себе!»

...публицист «Русского вестника»... не ссылается ни на македонян, ни на греков, потому что знает, что всякий читатель заранее уверен в его знакомстве и с теми и с другими — один из сигналов узнавания в неназванном «публицисте» «Русского вестника» Каткова — поборника классического образования.

---

[1] Имеются в виду революционные прокламации.

Стр. 348. *...страшный пожар, бывший 28 мая в Петербурге* — пожар Апраксина рынка, самый большой из петербургских пожаров 1862 г.

Стр. 351. *...а четвертака даже и не показываю.*— В статье Каткова «Одного поля ягоды» («Русский вестник», 1861, № 5) говорилось о продажных журналистах: «Зарезать они не зарежут, но не кладите вашего четвертака плохо» (стр. 26). Салтыков переадресовывает эти слова сотрудникам «Русского вестника» и самому Каткову.

Стр. 352. *...«Бруки и Броки»...— «Китайские ассигнации».*— Имеются в виду какие-то высказывания Каткова периода его либерализма. В конце 50-х годов в «Русском вестнике» много говорилось о финансовом кризисе в различных странах, о вреде ассигнаций, обесценивающих деньги, и т. п. Такого рода «иностранные материалы» часто содержали в себе критику русских порядков вообще. О Бруке см. прим. к стр. 217. Брок — видимо, русский министр финансов П. Ф. Брок. Нарочитое искажение его имени не раз встречалось в журналистике 60-х годов. См., например: А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XII, М. 1957, стр. 446: «министр финансов... Брик, Брак, Брук».

...если нынешние титулярные советники суть раскаявшиеся прогрессисты, то кто же мешает нынешним прогрессистам заключать в себе, как в зародыше, будущих титулярных советников?..— Подобные утверждения, в несколько измененной форме (вместо «прогрессистов» появляются «нигилисты»), повторяются Салтыковым в «Нашей общественной жизни» (декабрь 1863 г., январь 1864 г.). В рецензии они направлены в первую очередь против «титулярных советников», против Каткова и других реакционных публицистов, некогда выступавших в роли «прогрессистов». Но в какой-то степени такие утверждения обращены и против современных «прогрессистов»: они, по мнению Салтыкова, могут проделать ту же эволюцию, которую в свое время проделал Катков и ему подобные. Позднее, в полемике с «Русским словом», Салтыков акцентирует именно этот второй смысл (см. об этом в т. 6 наст. изд.).

Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного. Соч. гр. А. К. Толстого. 2 тома, СПб. 1863 г.

(Стр. 352)

«Совр.», 1863, № 4, отд. II, стр. 295—306.

Исторический роман «Князь Серебряный» был опубликован первый раз в «Русском вестнике» в 1862 г. Возобновленный с февраля 1863 г., «Современник» открыл свой полемический огонь прежде всего по катковскому органу и потому не мог обойти молчанием напечатанное в нем произведение А. К. Толстого, тем более что оно сразу же завоевало внимание самых широких слоев читающей публики.

Однако критический разбор романа А. К. Толстого представлял известные трудности. Роман обладал несомненными художественными достоинствами. К тому же А. К. Толстой занимал в общественной и литературной

борьбе особую позицию[1]. По собственным его словам, он был «двух станов не боец, а только гость случайный». В 60-х годах он выступал как идейный противник революционной демократии, но, несмотря на свой консерватизм, отрицательно относился к бюрократической централизации, к полицейским репрессиям, к правительственному деспотизму. Он не скрывал своего несогласия с арестом Чернышевского. А. К. Толстой был воинственным сторонником теории «чистого искусства», но вместе с тем являлся с братьями Жемчужниковыми автором сатирических произведений, выходивших под именем Козьмы Пруткова.

Салтыков нашел выход из положения, избрав для своей рецензии пародийно-юмористическую форму. «Князь Серебряный», с его аристократическими тенденциями и романтизацией боярской старины, производил на фоне 60-х годов архаическое впечатление. Салтыков и «спрятался» поэтому под маской полуграмотного отставного учителя, уровень воззрений которого не шел дальше истории Карамзина, соответствующим образом стилизовав свой текст.

Критика в злой рецензии Салтыкова на это «византийское сочинение» направлена против исторических взглядов А. Толстого, идеализировавшего феодальную Русь, осуждавшего преобразовательную деятельность Ивана Грозного не только за жестокие методы, но по самому существу. Салтыков иронизирует над формальными особенностями романа, обремененного чрезмерной стилизацией и натуралистическими деталями (описания царского стола и др.). На это последнее обстоятельство обращали внимание и друзья А. К. Толстого, например, А. А. Фет[2].

Рецензия на роман «Князь Серебряный» примечательна еще в одном отношении: по ней видно, что Салтыков уже вынашивал зерна замысла «Истории одного города», полемически отталкиваясь, между прочим, и от художественной методологии прочитанного романа, да и всей исторической романистики того времени. За «простосердечными» рассуждениями отставного учителя скрываются и собственные серьезные раздумья сатирика. Наивному реализму и натуралистическому бытовизму обыкновенных исторических романистов Салтыков противопоставляет уже точно сформулированный сатирический принцип, согласно которому художник должен, подобно разгневанному «промыслу», употреблять «орудиями не действительных людей, а, так сказать, подобия их, или лучше сказать, такие сомнительные существа, которые имели бы наружный человеческий облик, но внутреннего человеческого естества не имели бы». Все глуповские «градоначальники» созданы по этому принципу.

Изображение богатства и роскоши, развращающих правительственную верхушку, противопоставление земным интересам небесных, появление

---

[1] См., например, его письмо к А. Губернатису.— А. К. Толстой. Собр. соч. в четырех томах, т. 4, «Художественная литература», М. 1964, стр. 422—428.

[2] Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями, Гослитиздат, М. 1962, стр. 247.

«градоначальника», приводящего грешников к очищению и покаянию,— набросок, из которого впоследствии выросла тема главы «Поклонение Мамоне и покаяние».

Стр. 352. *...украшением любой книжки «Северных цветов»... как сам «Князь Серебряный» был бы весьма приятным явлением в «Аонидах».*— Относя рецензию по ее уровню и стилю к «Северным цветам», альманаху, выходившему под редакцией А. Дельвига и О. Сомова в 1825—1832 гг., а самый роман к «Аонидам», альманаху, издававшемуся Н. М. Карамзиным в 1796—1799 гг., Салтыков сатирически подчеркивал архаизм идеологии, содержания, а отчасти и формы «Князя Серебряного».

Стр. 353. *...первые попытки робкого еще тогда Ло́жечникова.*— Шутливое искажение фамилии Лажечникова,— по-видимому, намек на его неудачную попытку орфографических нововведений, о которых незадолго до того вспомнил и которые высмеял Некрасов в юмореске из № 7 «Свистка» («Современник», 1861, № 1): «Вместо предисловия, о шрифтах вообще и о мелком в особенности». Издавая в 1838 г. один из первых своих исторических романов «Басурман», Лажечников, стремясь приблизить письменный язык к разговорному, обратился к «фонетической транскрипции» и печатал, например: «нашол», «дешовый», «учоный», «поражон» и т. д.

...«Истину царям с улыбкой говорить» — см. прим. к стр. 312.

Стр. 354. *«...не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщины!»* — В этой тираде особенно выпукло выразился аристократический, «боярский» характер исторической концепции А. К. Толстого. Это поняли даже во «Времени», также отметившем рецензией выход «Князя Серебряного». Именно по поводу комментируемой фразы журнал братьев Достоевских писал: «Народ не сочувствовал оппозиции земских бояр по той простой причине, что солоны ему самому были эти земские бояре, которых хочет наш романист выставить защитниками его прав против опричнины» («Время», 1862, декабрь, стр. 51).

Салтыков выступил против «политической теории», лежавшей в основе романа: этой политической теорией оставался абсолютизм.

«Редакционные комиссии» — временные учреждения (1859—1860), созданные правительством Александра II, для подготовки крестьянской реформы 1861 г.

Стихотворения К. Павловой. Москва. 1863.
(Стр. 362)

«Совр.», 1863, № 6, отд. II, стр. 311—316.

Рецензия посвящена сборнику стихотворений Каролины Павловой 1863 г., который, по существу, подытоживал ее творчество (в последующие годы она занималась почти исключительно переводами). В 60-е годы, когда в общественных настроениях господствовала «политика», а не «эстетика», элегические «раздумья» и салонно-светские «Послания» К. Павловой, ее

взгляды на творчество и назначение художника в духе «чистой поэзии» воспринимались как анахронизм. Выход сборника был отрицательно встречен не только в «Современнике», но также в «Русском слове» (1863, № 6, отд. II, стр. 28—31 — отзыв В. Зайцева) и «Библиотеке для чтения» (1863, № 8, стр. 80—86). Лишь газета «День» (1863, № 17, 27 апреля) — орган славянофилов, с которыми К. Павлова была тесно связана, выступила с положительным отзывом о сборнике и поддержала тяготение поэтессы к славянофильской этико-религиозной и философско-исторической романтике.

Памфлетная рецензия Салтыкова подвергает резкой критике бедность идейного содержания поэзии К. Павловой и ее эстетические взгляды, «освобождавшие» искусство от общественного содержания и больших тем современности. Называя К. Павлову представительницей «мотыльковой поэзии», Салтыков ведет ее литературную генеалогию от сентиментализма кн. П. И. Шаликова и писателя «казенной», по определению Чернышевского, народности С. П. Шевырева. Он усматривает в творчестве поэтессы «продукт целого строя понятий... который в философии порождает Юркевичей, в драматическом искусстве дает балет, в политической сфере отзывается славянофилами, в воспитании — институтками». Другими словами, Салтыков связывает поэзию К. Павловой с враждебной демократии идеологией романтизма и идеализма. В борьбе Салтыкова с этими системами его выступление по поводу стихов К. Павловой занимает важное место.

Стр. 363. *...послание поэту... послание Аксакову... лампадку из Помпеи... не оставит без песнопенья.*— Речь идет о стихотворениях К. Павловой «Поэт» (1839), «И. С. Аксакову» (1847), «Лампада из Помпеи» (1850).

...сидят графиня и Вадим и объясняются в любви.— Далее приводятся фрагменты из драматического стихотворения «Сцена» (1855).

Прелестно. Картина вторая... берет лиру и поет.— Картина вторая вымышлена Салтыковым в памфлетно-сатирических целях.

Стр. 364. *«Труд ежедневный... Нисходят ангелы с небес».*— Салтыков намеренно присоединяет к отрывку из «Сцены» самостоятельное стихотворение К. Павловой «Труд ежедневный» (1862). «Заставляя» графиню произносить стихотворение самой К. Павловой, Салтыков как бы отождествляет поэтессу с ее светской героиней.

Стр. 365. *«Но проходит между нами...»* и дальше *«Пусть им только даст она...».*— Оба отрывка взяты из стихотворения К. Павловой «Есть любимцы вдохновений» (1839).

...какую тревогу поднял недавно г. Фет из-за 11 рублей, чуть-чуть не пропавших у него.— После реформы 1861 г. А. А. Фет выступил в печати с очерками «Из деревни», в которых упрекал власти за то, что они будто бы плохо защищают помещичью собственность от крестьян. В одной из статей («Русский вестник», 1863, № 1, стр. 448—451) Фет рассказал о том, как он сумел только через мирового посредника получить от работника Семена неотработанный долг 11 руб. Жалобы Фета в печати по этому поводу долго служили предметом насмешек в демократических кругах

(Д. Минаев.— «Русское слово», 1863, № 6, стр. 7—11; В. Зайцев — там же, № 8, стр. 62—67; Д. Писарев. «Русское слово», 1864, № 11.— Собр. соч. в четырех томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1957, стр. 95—96; см. также сатирические выпады Салтыкова в «Нашей общественной жизни», т. 6 наст. изд.).

Он вселенной гость... сладкозвучных игр.— Процитировано стихотворение К. Павловой «Поэт» (1839).

Стр. 366. *...«покинуть земную обитель... порхать оживленным сапфиром»* — перифраза строк из стихотворения «Мотылек» (1841): «Упейся же чистым эфиром, /Гуляй же в небесной дали,/ Порхай оживленным сапфиром, /Живи, не касаясь земли.../ Покинь же земную обитель /И участь прими мотылька»... С этим стихотворением связано определение «мотыльковая поэзия», которое Салтыков присвоил творчеству представителей «чистого искусства».

Все это излагает она в послании «К С.К.Н.».— Стихотворение «К С.К.Н.», написанное в революционном 1848 г., содержит декларацию общественной индифферентности поэтессы: «Годины этой многосмутной /Хочу не слышать крик и спор,/ Не спрашивать про сейм немецкий, /Давно стоящий на мели, /Не знать о вспышке этой детской, /С которой справился Радецкий».

Ломбардо-Венецианское королевство — часть Северной Италии, находившейся с 1815 г. под властью Австрии. *Восстание в Милане* (центре Ломбардии) — одно из основных событий буржуазно-демократической революции 1848 г. в Австрии. Кровавым усмирителем революционного Милана, а затем и всех областей Италии был генерал-губернатор Ломбардского королевства, участник жестокой расправы над революционерами, австрийский фельдмаршал, князь И. В. Радецкий.

Стр. 367. *...будем жить, свой пыл смиря... В Москве в начале октября* — последние строки стихотворения «К С.К.Н.».

Повести Кохановской. Москва. 1863 г. 2 тома.
(Стр. 368)

«Совр.», 1863, № 9, стр. 67—83.

Рукопись не сохранилась. В ИРЛИ хранятся исправленные гранки, перешедшие из архива А. Н. Пыпина.

Рецензия на повести Кохановской (Н. С. Соханской) принадлежит к числу лучших критических выступлений Салтыкова. Она богата философским и методологическим содержанием и содержит справедливую оценку творчества писательницы.

Кохановская была сторонницей учения славянофилов. Салтыков дает сжатую оценку взглядов славянофилов в том виде и в той мере, как они отразились в разбираемых им произведениях. Насколько позволяют цензурные условия, он отвергает их религиозную основу, апелляцию к «какой-то таинственной силе», управляющей ходом дел мира сего. Реакционная

националистическая концепция славянофилов, считавших себя защитниками русской «самобытности», восходила к немецким источникам, к шеллингианской и гегелианской философии, трактуемой в религиозно-консервативном плане. В системе и Шеллинга и Гегеля большую роль играют понятия необходимости и свободы, по терминологии рецензии понятия «безусловной покорности» и «свободного творчества». С одной стороны, Гегель обосновывал свободу, с другой — низводил ее на нет, растворял ее в воле абсолюта, или бога. Христианская мораль, которой пронизаны произведения Кохановской, также подводит читателя к необходимости покорности и смирения. Салтыков пишет: «По-видимому, между выражениями: «безусловная покорность» и «свободное творчество» существует противоречие, но это противоречие мнимое и легко улаживается посредством прибавления к последнему выражению слова «разумное»... таким образом, свобода жизненного творчества, которою обладает человек, является уже не просто свободою, а свободою разумно-покорною». Салтыков имеет в виду известную формулу Гегеля: «Все действительное разумно», которую правые гегельянцы и эпигоны великого мыслителя превратили в формулу: «Все существующее разумно», оправдывавшую и пережившие себя нравственные нормы, и строй социального неравенства, и политическую реакцию.

В истории русской общественной мысли гегельянство послужило одним из отправных пунктов, исходя из которого одни деятели пошли вперед, к революционной демократии, к наиболее зрелым формам утопического социализма, другие же обратились к буржуазному либерализму, к консерватизму или к философски обоснованному консерватизму — славянофильству. Это в известной мере и имеет в виду Салтыков, когда пишет, что критика, отрицание представляют «два выхода: один ведет назад, другой открывает дорогу вперед». Вперед пошли Белинский, Чернышевский, Добролюбов — и сам Салтыков. Назад от Гегеля пошли славянофилы — К. Аксаков и др. и повели за собой таких писательниц, как Кохановская.

В 60-х годах славянофилы, отстаивая православие и самодержавие, стали искать поддержки своих позиций «в огне и мече», что понимал даже Достоевский (см. редакционную статью в журнале Достоевского «Время»: «Девятнадцатый нумер «Дня», 1862, № 2). Но было среди славянофилов и народолюбивое крыло, приближавшееся к некоторым оттенкам народничества. Славянофильское народолюбие явственно отразилось в творчестве Кохановской, что и объясняет мягкий тон критики Салтыкова.

Очень важно рассуждение Салтыкова об отношении интеллигенции («пропагандистов-образователей») к народной массе. Оно имело в 60-х годах весьма актуальный характер. Разновидность славянофилов, «почвенничество» (лидерами которого были Достоевский, Ап. Григорьев, Страхов, Данилевский и др.) призывало интеллигенцию духовно разоружиться и преклониться перед уровнем тогдашнего «народного» сознания. Если нельзя возвысить народ до себя, то надо самому опуститься до его уровня, то есть до его тогдашней отсталости и темноты,— доказывал Достоевский.

«Не многому могут научить народ мудрецы наши,— писал Достоевский в «Записках из Мертвого дома»,— даже утвердительно скажу — напротив: сами они еще должны у него поучиться»[1]. С этими и подобными ему взглядами Салтыков и спорит энергично, в том числе и в разбираемой рецензии.

В рецензии на повести Кохановской ясно обнаруживается родство критики Салтыкова с критикой Добролюбова.

Реальная критика, писал Добролюбов, не судит писателя по его намерениям, по его «силлогизмам». Она «относится к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты». Она ищет действительный взгляд писателя на мир, «служащий ключом к характеристике его таланта», «в живых образах, создаваемых им» («Темное царство».— Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 5, М.— Л. 1962, стр. 20, 22).

Кохановская, принадлежавшая по своему мировоззрению к направлению славянофилов, печаталась в «Русском вестнике» Каткова и во «Времени» Достоевского. Убедительно опровергнув «бедные и фальшивые» воззрения Кохановской, Салтыков делает, однако, следующий вывод: «...но здесь не в них и дело ...описываемая автором жизнь именно такова; она именно составлена из насильств и лжей, которые, однако ж, вследствие известных условий, не признаются ни насильством, ни ложью. Что нужды до того, что ни сама героиня, ни автор за нее не протестуют: за них протестует сама судьба героини». Вполне в духе Добролюбова, Салтыков не отождествляет художественного мышления писателя с его публицистическим мышлением. Он ищет и находит «собственный взгляд» художника не в его публицистических намереньях, а в созданном последним образном мире, хотя и понимает, вслед за Добролюбовым, что уродливое мировоззрение может в той или иной мере отразиться на правдивости и совершенстве мастерства писателя. Так и Кохановская к реальной драме существования подневольного человека пришивала «славянофильский водевиль».

Стр. 370. *«...истина призрачна», «...мир призраков».*— Понятия «Призраки» см. в т. 6 наст. изд. и в книге: В. Кирпотин. Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина, М. 1957, гл. «Призраки».

Стр. 371. *...будет искать в будущем те идеалы, в которых отказывает разорванное и колеблющееся настоящее.*— Ср. со следующими словами Салтыкова: «Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека» («Современная идиллия»).

Стр. 372. *Высший общественный идеал заключается... в том, чтобы интересы частного лица и интересы общества шли рука об руку, не только не*

[1] Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, Гослитиздат, М. 1955, стр. 550.

мешая друг другу, но взаимно друг другу помогая.— Здесь формулировка высшего общественного идеала совпадает у Салтыкова с формулировкой Герцена. «Понять всю ширину и действительность,— писал Герцен,— понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена» (А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии.— Собр. соч., т. V, изд. АН СССР, 1955, стр. 62).

Стр. 373. *Здесь вся суть заключается единственно в непосредственной силе таланта, и чем выше эта последняя, тем более даст она правды читателю, даже, быть может, и помимо воли самого художника.*— Взгляд на значение таланта, выраженный Салтыковым в рецензии на сочинения Кохановской, совпадает со взглядом Добролюбова, который писал: «Талант есть принадлежность натуры человека... он не отдаст себя на служение неправде и бессмыслице, не потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может,— не выйдет у него ничего хорошего, если он и вздумает понасиловать свой талант» («Луч света в темном царстве» — Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 6, М.— Л. 1963, стр. 313).

Стр. 375. ...*источник сочувствия к народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается... в том... что в ней одной заключается все будущее благо, что она и в настоящем заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима.*— В рецензии на повести Кохановской Салтыков уже в совершенно зрелом виде формулирует понимание народа, легшее в основу всей его дальнейшей литературной деятельности (см., например, неотправленное письмо в редакцию «Вестника Европы» в апреле 1871 г. по поводу «Истории одного города»).

Стихотворения А. А. Фета. Издание К. Солдатенкова. 2 части. Москва, 1863.

(Стр. 383)

«Совр.», 1863, № 9, отд. II, стр. 83—87.

Рецензия написана на двухтомное издание стихотворений Фета 1863 г., подводившее итог его двадцатипятилетней работы. Фет для Салтыкова «высокий поэтический талант» («Наша общественная жизнь», апрель 1863 г.). Его стихотворения дышат «самою искреннею свежестью», они «прелестны», и, «бесспорно», что не только в русской, но и в «любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени», как знаменитое «Шепот, робкое дыханье...».

Тонко и точно характеризует Салтыков поэтический мир Фета. Это «мир неопределенных мечтаний и неясных ощущений», в котором все зыб-

ко, эскизно, все подчинено не мысли, а вспышкам настроений и «тревогам желаний». Но как раз эти элементы импрессионизма и иррационализма фетовской поэзии, а также ее тематическое содержание — только природа и любовь — противостоят салтыковской просветительской эстетике, построенной на страстном возвышении в искусстве мысли и большой общественной темы. Отсюда — признание идейной бедности мировоззрения и стихов Фета, несмотря на их высокое художественное достоинство.

Остро полемический характер выступления Салтыкова объясняется прежде всего эстетической позицией Фета в конце 50-х — начале 60-х годов, его пропагандой искусства, свободного от общественных и гражданских интересов современности. (См. например, заявления Фета в статье 1859 г. «О стихотворениях Тютчева»: «Вопросы о правах гражданственности поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался» [1].)

Резкость памфлетных характеристик в рецензии заострена отношением Салтыкова, как и всего демократического лагеря, к реакционно-помещичьей публицистике Фета этого времени. С его «письмами» «Из деревни», печатавшимися в 1862—1863 гг. в «Русском вестнике», Салтыков ядовито полемизировал в апрельской хронике «Нашей общественной жизни» (см. в т. 6 наст. изд.). Кроме того, летом 1863 г. Фет написал при участии В. П. Боткина злобный памфлет на «Что делать?» Чернышевского, который ему не удалось напечатать, но о существовании которого было известно в редакции «Современника» [2]. Однако, в отличие от других критиков демократического лагеря (см., например, «Искра», 1863, № 23 и 24; «Русское слово», 1863, № 6, отд. II, стр. 62—67), полностью переносивших отрицательные оценки публицистики Фета на его поэзию, Салтыков в своей рецензии стремился разобраться в сильных и слабых сторонах творчества Фета.

Стр. 383. *«На заре ты ее не буди», «Не отходи от меня»* — пользовавшиеся большой популярностью романсы композитора А. Е. Варламова на стихи Фета (относятся к 1842 г., то есть к началу его творческого пути).

«И не знаю я, что буду петь, но только песня зреет...» — Неточная цитата из стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...». Как программную для Фета и представленного им направления эстетическую декларацию рассматривали эти строки и другие критики («Русское слово», 1863, № 9, отд. II, стр. 34; «Библиотека для чтения», 1863, № 9, стр. 87 и др.).

Стр. 386. *«Ночь нема... /На тычинке под окном».*— Приведено стихотворение «Колокольчик» (1859).

---

[1] «Русское слово», 1859, № 2, стр. 64, 84.
[2] «Литературное наследство», т. 25—26, М. 1935, стр. 483—599.

...не «Иллюстрация» ли это шутки шутит, помещая... стихотворные ребусы...— «Иллюстрация» — выходивший в Петербурге (1858—1863) еженедельник, откровенно рассчитанный на вкусы обывателя. Регулярно помещал ребусы.

О русской правде и польской кривде... М. 1863.
(Стр. 387)

Анонимная брошюра «О русской правде и польской кривде...» вышла в свет в конце июля — начале августа 1863 г. (дата ценз. разр. 25 июля 1863 г.). А уже в письме от 15 августа Салтыков сообщал А. Н. Пыпину, что наряду с другими книгами «взял для разбора» и эту брошюру и обещал выслать «разборы» не ранее 30 августа («Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 467). Рецензия предназначалась для сентябрьского номера «Современника», но не была опубликована, несомненно, по цензурным причинам, хотя документы о запрещении неизвестны. Сохранилась в автографической рукописи Салтыкова (Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина) и в гранках журнала «Современник» (ИРЛИ). На гранках имеется помета: «2 корр(ектура) Сент(ября) 4». Впервые опубликована В. В. Гиппиусом в т. 5 изд. 1933—1941 гг. В настоящем издании печатается по тексту гранок с исправлениями ошибок набора по автографу.

Поскольку рецензия осталась ненапечатанной, значительную часть материала, касавшуюся вопросов народности литературы и понимания патриотизма, Салтыков использовал в разборе книги В. В. Львова «Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал и что она происходила». Этот разбор был помещен в октябрьском номере «Современника» за 1863 г. (см. в наст. томе, стр. 390—395).

Брошюра «О русской правде и польской кривде» была написана П. И. Мельниковым (А. Печерским) по заказу министра внутренних дел П. А. Валуева, а издана на средства правительства в типографии Московского университета, фактическим хозяином которой был М. Н. Катков. Брошюра называлась первоначально «Письмо к православным христианам». Заглавие «О русской правде и польской кривде» дал брошюре Катков[1]. Написанная в псевдонародном, церковнославянском стиле, брошюра являет собой яркий образчик политической литературы «для народа», создававшейся по заказу властей в целях борьбы с польским восстанием 1863 г. и его защитниками в России и Западной Европе. По своим идеям она непосредственно примыкает к верноподданническим адресам, инспирированным в связи с восстанием министерством внутренних дел. Она стоит в одном ряду с реакционными и воинствующе шовинистическими статьями Каткова, направленными против Польши и восстания 1863 г.

Авторство Мельникова-Печерского не осталось тайной для Салтыкова.

---

[1] П. Усов. П. И. Мельников, его жизнь и литературная деятельность. В кн.: Полн. собр. соч. П. И. Мельникова-Печерского, т. I, СПб. 1897, стр. 204—210.

Это видно из замечания рецензента о том, что «фактурой своей» брошюра «напоминает псевдонародные ...рассказы г. Андрея Печерского». В отзыве же на книгу Львова, говоря о том, что «желание понравиться народу и быть в некотором смысле его руководителем соблазняет очень многих», Салтыков прямо отмечал, что Андрей Печерский пишет брошюры для народа.

Рецензия на брошюру «О русской правде и польской кривде» вместе с рецензией на брошюру С. С. Громеки (1863) «Киевские волнения в 1855 г.» и сентябрьской хроникой «Наша общественная жизнь» относятся к важнейшим источникам для определения политических позиций Салтыкова в период польского восстания 1863—1864 гг. и спада революционного движения в России. Отстаивая дело свободы, разоблачая квасной патриотизм, бичуя реакционеров от пера, Салтыков, подобно Герцену и Огареву, понимал, что неудача польского восстания означает для России застой на десятки лет. В сентябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г., также подвергшейся цензурным гонениям, Салтыков, характеризуя последствия «польской смуты» для России, писал, «что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели, как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...».

Это положение Салтыкова близко тому, что много лет спустя по поводу этих событий скажет В. И. Ленин: «Несчастье народа, который, порабощая другие народы, укрепляет реакцию во всей России. Воспоминания 1849 и 1863 годов составляют живую политическую традицию, которая, если не произойдут бури очень большого масштаба, еще долгие десятилетия грозит затруднять всякое демократическое и *особенно* социал-демократическое движение» [1].

Стр. 387. *...она напоминает псевдонародные... рассказы г. Андрея Печерского.*— В 50-х годах П. И. Мельников выступил с рядом повестей и рассказов, носивших обличительно-критический характер в отношении крепостных порядков. Отдельные из них получили положительную оценку Чернышевского и Добролюбова («Поярков», «Старые годы» и др.). Салтыков, по всей вероятности, имел в виду рассказы Мельникова 1859—1862 гг., опубликованные им в газетах «Русский дневник» и «Северная пчела» («Заузольцы», «У Макария» и др.). В этих рассказах проявились реакционные политические позиции автора, идеализация им устоев старины, выступавших воплощением «русского духа», злоупотребление стилизацией псевдонародного языка.

Стр. 388. *...не приплетайте же в вашу речь каких-то добродетельных помещиков...*— В брошюре А. Печерского говорится: «Наши помещики

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 317.

сами царя просили об отмене крепостного права, но с тем, чтобы крестьянам был дан надел земли в вечное оброчное пользование, а захотят, так выкупай землю и усадьбы невозбранно. Польские же помещики в Литовских губерниях ...желали ...крестьянам волю дать, а земли не давать... Царь Александр Николаевич, видя русскую правду и польскую кривду, указал делу по всей земле так быть, как русские православные помещики просили... Это стало полякам за великую обиду... Оттого и забунтовали» (стр. 12—13).

В брошюре рисовалась идиллическая картина отношений между помещиками и крестьянами в русской деревне: «...если в которых вотчинах насчет земли еще что и не покончено, в чем-нибудь еще полюбовно не согласились — так это дело домашнее: не сегодня, так завтра сладимся — у бога дней впереди много. А тут дело общее, земское: веру святую, царя православного и землю русскую от врага отстоять надо» (стр. 37).

Стр. 390. *...говорится о разных «русских ворах и изменниках»...* — В эту категорию автор брошюры зачислял Герцена и Огарева — «безумных людей в Лондоне, съякшавшихся с поляками». Мельников заявлял, что они зла хотят Руси и православным, царя не хотят, Русь раздробить хотят... (стр. 38).

Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал и что она происходила. Князя В. В. Львова. (Посмертное издание.) С.-П.-бург, 1863.

(Стр. 390)

«Совр.», 1863, № 10, отд. II, стр. 317—321. На лл. 1 и 2 сохр. корректурных гранок пометки: «2 корр<ектура> Окт<ября> 24».

Значительная часть текста этого отзыва взята Салтыковым из написанной им для № 9 «Современника» 1863 г., но снятой цензурой рецензии на анонимную брошюру для народа П. И. Мельникова (А. Печерского) «О русской правде и польской кривде». В примечаниях к этой рецензии сказано о тех обстоятельствах, связанных с польским восстанием 1863 г., которые заставили органы политического контроля самодержавия над печатью позаботиться об издании пропагандистских книжек для народа. Салтыков разоблачает фальшь и псевдонародность этой реакционной шовинистической «литературы».

Стр. 391. *...Андрей Печерский пишет для него <народа> брошюры...* — Имеется в виду упомянутая выше брошюра «О русской правде и польской кривде».

...Н. Ф. Павлов издает политическую газету... — В сентябре 1863 г. Н. Ф. Павлов стал издавать в Москве дешевую газету для народа «Русские ведомости», выходившую сначала три раза в неделю. Будущий вид-

нейший либеральный орган в первое время своего существования при Павлове был окрашен весьма шовинистически.

...Кушнерев сочиняет назидательные повести... — Эти низкопробные «повести» И. Н. Кушнерев, впоследствии владелец большой типографии в Москве, печатал в своих изданиях — журнале «Грамотей» и «Народной газете», распространявшихся при помощи субсидий от правительства. В 1860 г. он выпустил в Москве «Очерки и рассказы» в 2-х частях.

Стр. 395. *У воды* — то есть на последнем плане; театральный термин, означающий местоположение на сцене на последнем плане, у задней декорации, на которой часто изображались море, река, фонтан, водопад и проч. «вода».

Киевские волнения в 1855 году. С. С. Громеки. С.-Петербург. 1863. (Стр. 395)

«Совр.», 1863, № 10, отд. II, стр. 321—326. На лл. 1 и 2 сохр. корректурных гранок пометки: «2 корр<ектура> Окт<ября> 24».

Весной 1855 г., в связи с манифестом о государственном ополчении, в ряде губерний (особенно в Киевской и Воронежской) возникли крестьянские волнения. Крестьяне отказывались работать на барщине, платить подати, говорили, что они стали вольными казаками, что им будут принадлежать все помещичьи земли. Уговоры властей не действовали. Были вызваны войска и произведены экзекуции и расстрелы [1].

С. С. Громека, в прошлом жандармский офицер, чиновник особых поручений при киевском военном губернаторе, принимавший личное участие в усмирении крестьян, поместил в апрельском номере «Отечественных записок» за 1863 г. большую статью о киевских волнениях, издав ее вскоре отдельной брошюрой, вызвавшей рецензию Салтыкова. Появление воспоминаний Громеки в год польского восстания было не случайным. Сам автор указывал на полезность публикации его статьи именно «в настоящую минуту» для прояснения вопроса «о политических воззрениях, инстинктах и желаниях южнорусского народа». Подробно, с «внешними признаками истины» излагая факты, Громека старался доказать, что киевские волнения будто бы свидетельствуют о верноподданнических настроениях народа, о преданности его царю и о враждебности революционерам и польской шляхте. Такое насквозь тенденциозное истолкование событий непосредственным образом перекликалось как с попытками царского правительства при подавлении польского восстания 1863 г. противопоставить восставшим «мнение народа», опереться на народный авторитет, так и с восхвалениями в реакционной печати (особенно в изданиях Каткова) под видом патриотизма, настроений крайнего национализма и шовинизма. Статья Громеки, успешно делавшего в это время карьеру «специалиста» по польскому и

---

[1] См. «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», М. 1962, стр. 485—500; «Отмена крепостного права на Украине», Киев, 1961, стр. 66—67.

крестьянскому вопросам, вызванного в 1863 г. в Польшу и возглавившего там комиссию по крестьянским делам, была целиком выдержана в духе реакционной антипольской пропаганды. Но факты, которыми автор стремился подтвердить свои выводы, далеко не целиком укладывались в реакционную схему. Они свидетельствовали, вопреки намерениям Громеки, о недовольстве крестьян своим положением, вражде к правящим классам, о народной мечте о каком-то «другом указе», дающем подлинную свободу, непохожем на манифесты царя. Эти факты, хотя отнюдь не в том плане, который предусматривался Громекой, также перекликались с современностью, с недовольством народа реформой 1861 г. Салтыков считал их довольно любопытными и в то же время начисто отвергал их истолкование Громекой, подводя читателей к пониманию подлинных социально-политических причин крестьянских волнений не только предреформенного, но и послереформенного периодов. Прямо говорить об этих причинах, о сущности официального «патриотизма», об отношении народа к царю было невозможно. Поэтому Салтыков критиковал Громеку, не раскрывая содержания его рассуждений, а просто указывая, что они «очень мало убедительные». Рецензия на брошюру Громеки явилась одним из замаскированных выступлений «Современника» и по крестьянскому и по польскому вопросам. Она перекликалась с написанной примерно в то же время и запрещенной цензурой рецензией Салтыкова «О русской правде и польской кривде» и могла быть напечатана лишь потому, что критик не упоминал прямо об антипольской сущности выводов Громеки. О брошюре Громеки см. в декабрьской хронике «Нашей общественной жизни» (т. 6 наст. изд.).

Стр. 396. *Вице-губернатор В — н* — М. А. Веселкин. Его донесения о киевских волнениях, о роли Громеки см. в вышеназванных сборниках.

Генерал-майор Б — в — штаб-офицер корпуса жандармов И. Д. Белоусов. 1 и 4 апреля 1855 г. по его приказу войска стреляли в крестьян деревень Быкова Гребля и Березная.

Полковник А — в. — Речь идет о подполковнике Г. Г. Афанасьеве, чиновнике особых поручений при киевском военном губернаторе.

Главный начальник края — князь И. И. Васильчиков, киевский, подольский и волынский военный генерал-губернатор.

Генерал-адъютант Я — ч — Н. М. Яфимович, посланный специально из Петербурга для наведения порядка и производства следствия.

Стр. 399. *...знаменитые историографы наши...* — Похвалы историкам С. М. Соловьеву, издавшему в 1863 г. книгу с антипольскими тенденциями «История падения Польши», и Д. И. Иловайскому, крайнему националисту, реакционеру, сотруднику изданий Каткова, имеют, разумеется, иронический смысл.

...народ предан русскому царю и не хочет ни английских, ни французских, ни иных каких-либо царей. — Салтыков воспользовался невольной двусмысленностью слов Громеки, чтобы намекнуть, что народ не хочет никаких царей.

Руководство к судебной защите по уголовным делам. К. Ю. А. Миттермайера. Издание А. Унковского. Москва 1863 г.

(Стр. 400)

«Совр.», 1863, № 10, отд. II, стр. 326.

Рекомендуемая в этой краткой заметке книга профессора законоведения в Гейдельбергском университете содержала характеристику средств судебной защиты и «правил, выведенных для нее из всемирного опыта» (стр. IV). Книга была издана А. М. Унковским — другом Салтыкова и будущим известным адвокатом, в связи с интересом русского общества к осуществлявшейся тогда судебной реформе, завершенной в 1864 г. (введение суда присяжных, института адвокатуры и т. д.).

Современные движения в расколе. Соч. Н. С — на, М. 1863.

(Стр. 400)

«Совр.», 1863, № 11, отд. II, стр. 83—89.

Рецензия подверглась при печатании многочисленным цензурным искажениям и сокращениям. Вслед за публикацией В. В. Гиппиуса в т. 5 изд. 1933—1941 гг. (стр. 440—441) она печатается в настоящем издании по сохранившимся корректурным гранкам.

В этой рецензии Салтыков продолжил рассмотрение вопроса об общественной значимости религиозных движений в России, к которому он проявлял большой и устойчивый интерес. Рецензировалась книга, написанная реакционным «изобличителем» старообрядчества, будущим сподвижником Победоносцева, профессором Московской духовной академии Н. И. Субботиным. Единственным достоинством многочисленных писаний этого автора была насыщенность их фактами о «загадочном явлении в русской жизни», как называл старообрядчество Салтыков, но отбор этих фактов в книгах Субботина был ограниченно-тенденциозным.

Собственно, разбора сочинения Субботина в рецензии почти нет,— рецензент откликнулся на вышедшую книгу для того, чтобы высказать свои мысли о самом старообрядчестве. Здесь повторяются основные мысли, развитые Салтыковым ранее в его отзыве о книге инока Парфения, в том числе отрицание мнения о лишь обрядовом значении старообрядчества. Но в новой статье-рецензии обнаруживается более углубленное понимание писателем интересующего его явления. Важным приобретением стала мысль об исторической изменяемости старообрядчества, обусловленной не столько ходом внутреннего развития самого этого религиозного движения, сколько внешними для него изменениями общественно-политического положения в стране. Салтыков правильно указывает, что ко времени подготовки буржуазных реформ поповщина, как умеренная часть старообрядчества, исчерпала свою оппозиционность и теперь находилась в промежуточной, колеблющейся позиции.

Одновременно Салтыков говорит об усилении радикальных демократических течений в старообрядчестве, в виде беспоповщинского толка бегунов или странников, о характере которого у него ранее не было устойчивого мнения.

В рецензии проводится аналогия между событиями в сфере старообрядчества и общей расстановкой общественно-политических сил в стране. Рецензент развивает мысль о том, что освобождение демократических течений от неустойчивых буржуазных элементов укрепляет их позиции.

Бурные события в жизни правящей верхушки старообрядчества поповщинского толка начала 60-х годов XIX в. привлекали к себе внимание передовой русской интеллигенции, в том числе Огарева и Герцена. Они освещались на страницах журнала «Общее вече» и были предметом обсуждения в переписке Огарева с братьями Кельсиевыми (см. «Литературное наследство», т. 62, М. 1955, стр. 159—258). Этот интерес был вызван замыслами привлечь старообрядцев к революционному делу.

Стр. 401. *Нынешнее царствование принесло много облегчений раскольникам.*— В общем плане буржуазного реформирования государственного строя России в середине XIX в. произошло некоторое смягчение режима в отношении преследуемых вероучений. 15 октября 1858 г. были приняты «Наставления для руководства при исполнительных действиях и совещаниях по делам до раскола относящимся». Смягчение режима было противоречивым и касалось лишь части старообрядцев.

Стр. 402. *«Секта поповщинская»* — одно из двух главных подразделений старообрядчества, на которые оно разделилось вскоре после своего зарождения. Старообрядцы-поповцы не считали возможным обходиться при отправлениях культа без специально посвященных церковнослужителей.

Стр. 402—403. *...Боснийский митрополит Амвросий... архиерей Кирилл... Белокриницкий монастырь в Буковине...*— В результате длительных поисков единой главы старообрядческой (поповщинской) церкви в 1846 г. был поставлен в ее митрополиты отставной Босно-Сараевский епископ Амвросий, проживавший тогда в Константинополе. Центром воссоздаваемой организации старообрядцев стал монастырь при старообрядческом селении Белая Криница в Буковине, находившейся тогда под владычеством Австрии. Отсюда обычное наименование новой иерархии — австрийской или белокриницкой. После высылки митрополита Амвросия в конце 1847 г. его место занял поставленный ранее в епископы Кирилл (прежнее имя Киприан Тимофеев).

...в феврале нынешнего года случилось в Москве...— Имеется в виду острый конфликт между митрополитом Кириллом и руководителями старообрядчества в России (1863). К началу 60-х годов проявилось глубокое внутреннее разложение поповщины, выразившееся в недовольстве руководством со стороны демократических кругов, в стремлении к соглашению с властями у значительной части богатых старообрядцев, в конкурентной борьбе между главарями движения. Митрополит Кирилл, при-

бывший в Москву в феврале 1863 г. для укрепления своего авторитета, наведения порядка и для участия в соборе, по требованию собора, принятого под нажимом противников митрополита, должен был удалиться из России; он фактически отстранялся от управления старообрядческими организациями в России. Это постановление собора признавалось не всеми старообрядцами.

Стр. 404. *Подобно «московским студентам», очищавшимся в «Дне».*— В газете «День» (1863, № 21) было опубликовано «Заявление», подписанное московскими студентами и вольнослушателями, которые зарекались от революционных связей и заявляли о своем сочувствии славянофильской программе. Не выражая настроения массы студенчества, «Заявление» свидетельствовало об идейном расхождении в его среде.

Стр. 405. *«Московские публицисты 1856 и 1857 гг.».*— Имеются в виду публицисты «Русского вестника» в начальный период существования этого издания. Когда оно выступило в защиту конституционно-монархических принципов, то потребовало децентрализации власти, упразднения сословных привилегий и т. д.

Единоверие — признанная правительством переходная форма между старообрядческой и официальной церковью, в которой богослужения происходили по правилам старообрядчества, но священнослужители назначались и управлялись официальными церковными учреждениями (учреждено в конце XVIII в.).

Стр. 406. *Окружное послание* — подписанное несколькими видными деятелями старообрядчества 24 февраля 1862 г. обращение к старообрядцам, автором которого считается житель Стародуба Иларион Егорович Ксенов. Послание разрывало с традицией непримиримого отношения к оспариваемым догматам православной церкви, поэтому оно вызвало большое брожение в старообрядческой среде. Отношение митрополита Кирилла к нему с течением времени изменялось.

Стр. 407. *Поповщинцы гуслицкие* — старообрядцы, проживавшие в гуслицком районе, то есть местности, лежавшей в Богородском и Бронницком уездах Московской губ., Егорьевском уезде Рязанской и Покровском уезде Владимирской губ. Местность получила название по реке Гуслице. Один из центров наиболее непримиримых течений в старообрядчестве.

Воля. Два романа из быта беглых. А. Скавронского. Том I-й. Беглые в Новороссии (роман в двух частях). Том II-й. Беглые воротились (роман в трех частях). СПб. 1864.

(Стр. 408)

«Совр.», 1863, № 12, отд. II, стр. 243—252.

Рецензируемые романы Г. П. Данилевского (А. Скавронского), прежде издания их книгой в 1864 г., были напечатаны в журнале «Время» братьев Достоевских: «Беглые в Новороссии» в № 1—2 за 1862 г. и «Беглые воротились» в № 1—3 за 1863 г. Сотрудничая во «Времени», Дани-

левский предпринял попытку возобновить свое былое сотрудничество в «Современнике», для чего обратился к посредничеству Н. Г. Помяловского. Посредничество оказалось неудачным. В письме от 29 декабря 1862 г. Помяловский извещал Данилевского: «Я говорил Салтыкову о Вашей новой повести, но, к сожалению моему, должен сказать, не прибегая к разного рода обинякам, прямо, что он предубежден против Вас» (Неизд. рукоп. отд. Гос. публ. библ. имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 236, фонд Г. П. Данилевского, т. 3).

По крайней мере одна из причин этого «предубеждения» известна. Как раз в декабрьской книжке «Времени» за 1862 г. Данилевский напечатал «письмо» в редакцию под заглавием «Литературная подпись», на которое, как на «хлестаковщину», а заодно с «письмом» и на напечатавшую его редакцию «Времени», зло обрушился Салтыков в очередной книжке «Современника» (см. в наст. томе заметку Салтыкова «Литературная подпись. Соч. А. Скавронского» и прим. к ней). Полемическая ситуация обострила резкость и категоричность отрицательных суждений Салтыкова о «крестьянских» романах Данилевского, которые имели определенный успех у демократического читателя и сохранили до сих пор известное познавательное значение. Но история литературы подтвердила правоту Салтыкова в его невысокой оценке писательского дарования Данилевского и в его критике художественных просчетов обоих романов.

Особенно ядовито осуждена в рецензии фальшь в изображении Данилевским крестьянского бунта — «сюжета серьезного» для Салтыкова.

Рецензия содержит один из принципиально важных отзывов Салтыкова о Белинском и его значении для развития реализма в русской литературе.

Стр. 409. *...анекдот Гоголя об извозчике, которого наняли на Пески, а он привез на Петербургскую сторону...* — Ссылка на Гоголя не совсем точна. В пьесе Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» один персонаж, недовольный сюжетом «Ревизора», говорит: «Как будто нет других предметов, о чем можно писать?.. Ну, положим, например, я отправился на гулянье на Аптекарский остров, а кучер меня вдруг завез там на Выборгскую или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?»

...автор одной недавно сыгранной в Петербурге комедии заставляет кого-то из героев съесть шубу. — Об этом эпизоде из пьесы Ф. Толстого «Пасынок» Салтыков упоминает в «Московских письмах» (см. наст. том, стр. 146).

Стр. 411. *Вакштаф* — сорт табака.

Стр. 412. *Пуркуа регарде?* — Зачем смотрите? (от *франц.* pourquoi regardez?).

Стр. 416. *Есть тут даже... заправский крестьянский бунт с «пророком» и «пророчицей».* — Имеется в виду изображение в романе «Беглые воротились» вооруженного сопротивления крестьян войскам, посланным для усмирения возникших волнений. «Народная молва» провозгласила вожаков

движения Илью Танцура и его невесту Настю Талаверку «пророком» и «пророчицей».

...«бювешки» да «манжешки» — питье и еду (от *франц.* глаголов boire — пить и manger — есть).

Полное собрание сочинений Г. Гейне. В русском переводе, издано под редакцией Ф. Н. Берга. Том. I. СПб. 1863.
(Стр. 417)

«Совр.», 1863, № 12, отд. II, стр. 252—253.

По признанию Салтыкова, Г. Гейне был для него «сочувственнейшим из всех писателей». «Я еще маленьким был, как надрывался от злобы и умиления, читая его»,— писал он А. В. Дружинину (18 октября 1859 г.). Об этой же давней увлеченности Салтыкова творчеством немецкого поэта свидетельствует сделанный им в лицее перевод гейневской «Рыбачки», пародирование в «Противоречиях» лирики подражателей Гейне и довольно частые упоминания имени поэта в критических статьях (см., например, в наст. томе статью о стихотворениях Фета).

Начатое под редакцией Ф. Н. Берга русское издание Гейне вызвало резкий протест Салтыкова не только вследствие низкого, ремесленнического качества переводов. Возмущение Салтыкова, несомненно, вызвал тенденциозный подбор лиц, приглашенных редактором для участия в издании. Все они — и предатель Чернышевского В. Д. Костомаров, и Д. В. Аверкиев, и Н. Н. Страхов, и автор вступительной статьи Аполлон Григорьев — были людьми враждебного лагеря, чуждыми духу социального критицизма и протеста гейневской поэзии. И Салтыков отказывает этой «стае ...чирикающих воробьев» в праве представлять русскому читателю творчество «злобного поэта».

Салтыков не был одинок в своем отношении к подобному изданию Гейне. Резко отрицательные оценки дали Д. И. Писарев (см. ст. «Поэты всех времен и народов».— «Русское слово», 1862, № 5) и В. А. Зайцев («Русское слово», 1863, № 12, отд. II, стр. 44—48). Последний, как бы раскрывая причины резкого протеста Салтыкова, писал: «Какая злая насмешка судьбы! Гейне, благородный Гейне, поэт свободы, враг и жертва филистерства... переводится для русской публики гг. А. П. Григорьевым, Страховым и Вс. Костомаровым!» (стр. 44), «Презрением и негодованием должно встретить общество эту отвратительную книгу, в которой топчется в грязь имя величайшего поэта нашего века» (стр. 48). Эти отзывы решили судьбу издания. Оно прекратилось на первом томе.

Стр. 417. *...что же касается до стихотворных переводов, то их нельзя назвать иначе, как ...претворением Гейне в гг. «Скорбного поэта», Адамантова и Монументова* — псевдонимы Г. Н. Жулева, Б. Н. Алмазова, В. П. Буренина. Этим сопоставлением Салтыков указывает на то, что

в переводах из Гейне названные поэты-юмористы широко применяли трафареты тех стихотворных форм, которые были характерны для их собственного творчества и вообще для русской сатирической журналистики 60-х годов.

Новые стихотворения А. Плещеева. (Дополнение к изданным в 1861 году.) Москва. 1863 г.
(Стр. 417)

«Совр.», 1864, № 1, отд. II, стр. 79—82.

Сборник Плещеева 1863 г. был недоброжелательно встречен критикой, увидевшей в стихах поэта «бледность и сбивчивость мысли» («Библиотека для чтения», 1864, № 2, стр. 39), «механическое сочетание слов» («Отечественные записки», 1864, № 5, стр. 416).

Рецензия Салтыкова сочувственна Плещееву. Она относит его «к самым искренним и наиболее симпатичным русским поэтам». Вместе с тем давние и дружественные отношения с Плещеевым — они познакомились в 40-е годы, в кружках петрашевцев — не помешали Салтыкову объективно отнестись к «скромной музе» поэта. Определяя Плещеева как «гуманитарного лирика» и противопоставляя его в этом качестве поэтам «мотыльковой» школы, то есть поэтам, выступавшим под знаменем «искусство для искусства», Салтыков указывал и на отрицательные стороны этого «честного и искреннего» таланта — на «смутность стремлений» и на отсутствие «энергии мысли» в плещеевской поэзии.

Как обычно у Салтыкова, критический отзыв на конкретную книгу сочетается в рецензии с суждениями по более общим и принципиальным вопросам — в данном случае на темы о значении общественного идеала для искусства и о причинах «бедности содержания современной русской поэзии».

Стр. 420. *...страдание есть удел всего прекрасного на свете.*— Алексис Звонский (персонаж «Запутанного дела»), в стихах которого пародируется поэзия Плещеева 40-х годов, так же говорит: «Страдание есть удел человека на земле» (I, 225).

Разумеется, и здесь дело не обойдется без исключений...— В этих и дальнейших словах о поэтах, которые «у самой, что называется, расшатавшейся жизни» умеют исторгать «мотивы, полные энергии и преимущественно «энергии мысли», Салтыков, по-видимому; имеет в виду Некрасова и его поэзию.

Стр. 421. *...большинство их уже известно читателям «Современника».*— В корректурных гранках было полностью приведено стихотворение Плещеева «Лжеучителям». За этим стихотворением следовали следующие слова Салтыкова: «Всякий читатель, конечно, согласится с нами, что это стихотворение написано не только под влиянием светлого чувства, но что оно не лишено и некоторой мужественной мысли».

Наши безобразники. Сцены Н. А. Потехина. С.-Петербург. 1864.
(Стр. 421)

«Совр.», 1864, № 1, отд. II, стр. 82—83.

В 1858 г., в числе 17 студентов Московского университета, Н. А. Потехин отправился за границу, чтобы привезти оттуда произведения Герцена. Там он примкнул к русским «гарибальдийцам», о которых Салтыков сочувственно упомянул позднее, в обозрении «Наша общественная жизнь» в сентябрьской книжке «Современника» 1863 г. (см. т. 6 наст. изд.). В 1862 г. Потехин ездил в Лондон к Герцену и Огареву. По возвращении на родину был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, откуда выпущен в 1864 г. В том же году издал свою первую книгу «Наши безобразники». Сборник жанровых очерков и сцен, печатавшихся раньше в «Искре»: «На нижегородской ярмарке», «Выборное начало», «Благотворители», «Откупные козыри» и «Наши в Париже».

Имея, вероятно, в виду изложенные факты биографии Потехина, Салтыков вносит оговорку относительно намерений автора: «...быть может, цели его и прекрасны...» Но оговорка не мешает Салтыкову с суровой прямотой осудить художественную беспомощность и подражательность книги и заявить об авторе ее: «Таланта у него нет ни малейшего — это верно».

Стр. 421. *...аматёр* — любитель (*франц.* amateur).

Стр. 422. *...купец Кошедавлев...* — персонаж трех сценок «На нижегородской ярмарке», открывающих сборник «Наши безобразники». Салтыков цитирует первые произносимые Кошедавлевым слова.

Подделка под Любима Торцова очевидная. — Салтыков называет героя комедии Островского «Бедность не порок» (1853).

Сказки Марко Вовчка. С.-Петербург. 1864.
(Стр. 422)

«Совр.», 1864, № 1, отд. II, стр. 83—85.

В заметке о «Сказках» весьма популярной в те годы писательницы М. А. Маркович, выступавшей под псевдонимом Марко Вовчок, разрабатываются характерные для Салтыкова взгляды на литературу для детей. К ней предъявляются требования реальности, отказа от элементов фантастики и дидактизма; литература должна вводить детей в мир «действительного горя и не фантастических нужд».

Новые стихотворения А. Н. Майкова.
(Приложение к «Русскому вестнику» 1864 года.)
(Стр. 424)

«Совр.», 1864, № 2, отд. II, стр. 260—271.

Сохранились корректурные гранки рецензии в наборе для «Современника». На л. 1 помета: «2 корр<ектура> февр<аля> 24». По этим гранкам восстанавливаются заключительные четыре фразы рецензии (на-

чиная со слов «Кого не возмутит...»), опущенные в первоначальной публикации, по-видимому, по соображениям цензурного характера.

Рецензия написана по поводу выхода в свет в 1864 г. книги стихотворений Ап. Майкова. Но содержание отзыва намного шире непосредственной оценки творчества поэта. Это одно из программно-теоретических выступлений Салтыкова в области литературы, посвященных разработке вопросов о ее общественном содержании, характере реализма и о задачах сатиры. Все эти вопросы ставятся и разрешаются в связи с вторжением в искусство «новой жизни», возникшей вследствие падения крепостной эпохи. «Жизнь заявляет претензию,— формулирует Салтыков один из главных тезисов статьи,— стать исключительным предметом для искусства», и притом таким «предметом», который бы отражался в искусстве «не праздничными, безмятежно-идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами». Исходя из этой «претензии жизни», Салтыков подвергает суровой критике творчество Ап. Майкова, выступавшего в 60-е годы под знаменем «чистого искусства». Вместе с тем Майков не чуждался политических и социальных вопросов современности, к освещению которых он подходил с позиции своего консервативно-монархического мировоззрения. Особое раздражение Салтыкова вызвало слащаво-идиллическое стихотворение «Картинка», в котором Ап. Майков умиляется «счастью» крестьян при слушании царского манифеста 19 февраля 1861 г. По оценке Салтыкова, в этом стихотворении (оно входило до Октября во множество школьных хрестоматий и книжек для народа) «что ни слово, то фальшь».

Стр. 424. *Я лиру томно строю... Луна, печальных друг...*— неточная цитата из стихотворения В. В. Капниста «На смерть Юлии». Приводилось в качестве примера в учебнике риторики Н. Ф. Кошанского, по которому учился Салтыков в лицее (Н. Ф. Кошанский. Общая риторика, СПб. 1849, изд. 10, стр. 13).

Стр. 425. *Клубницизм* — см. в наст. томе прим. к рецензии «Стихи Вс. Крестовского», стр. 634.

...без этих напоминаний досужество окончательно погрузло бы в грубом служении Астарте — то есть в эротизме. Особая группа жриц Астарты, финикийской богини любви и плодородия, занималась так называемой священной проституцией.

Стр. 428. *«Как услышу,— говорит она,— слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся»* — слова Натальи Панкратьевны. в комедии Островского «Тяжелые дни» — действ. II, явл. 2.

Стр. 429. *«Ворона в павлиньих перьях»* — водевиль Н. И. Куликова (1860).

Комедия «Слово и дело» г. Устрялова...— см. в наст. томе в статье «Петербургские театры».

Первые его стихотворения были встречены с заметным... сочувствием.— Имеется в виду положительная оценка Белинским антологических стихов

молодого Ап. Майкова (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 10; т. VII, М. 1955, стр. 298 и др.).

Стр. 430. *Майков... начиная с 1854 года вступил на почву политическую и социальную.*— Речь идет о сборнике патриотических стихотворений Майкова, посвященных событиям Крымской войны,— «1854-й год» и о верноподданническом стихотворении «Коляска», посвященном памяти Николая I.

«Другу Илье Ильичу»... мы не будем его выписывать.— В корректурных гранках рецензии это стихотворное послание приведено полностью.

«Я желаю свистать»...— то есть обличать. Выражение связано с добролюбовским «Свистком» — сатирическим приложением к «Современнику» (см. в наст. томе стр. 275 и след.).

Стр. 433. *...Майков ...сам очень искренно... признает, что либерализм и плевание в лицо истории... вещи совершенно однородные.*— Ср. конец стихотворения «Другу Илье Ильичу»: «Тиран ты — но какой? Тиран либерализма! / А с этим можешь ты — не только все ломать, / Не только что в лицо истории плевать,— / Но, тиская под пресс свободы,— половину / Всего живущего послать на гильотину!»

Воздушное путешествие через Африку. Составленное по запискам доктора Фергюссона Юлием Верн. Перевод с французского. Издание Алексея Головачева. Москва. 1864 год.

(Стр. 435)

«Совр.», 1864, № 2, отд. II, стр. 289—290.

Краткая заметка Салтыкова о первом русском переводе первого романа Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре» (1863) — это и есть «Воздушное путешествие через Африку» — один из самых ранних в России отзывов о творчестве создателя жанра научно-фантастического романа. Высокая оценка этого произведения дается в русле тех взглядов на воспитание детей, которые были усвоены Салтыковым еще в 40-е годы, в идейной школе Белинского и Герцена, и разрабатывались им в его тогдашней рецензентской работе в области детской и учебно-педагогической литературы (см. об этом в т. 1 наст. изд., стр. 441 и др.).

Стр. 435. *«История кусочка хлеба»* — книга французского писателя для детей и юношества Жана Масе. Перевод ее на русский язык вышел в 1863 г. и был рецензирован А. Ф. Головачевым в «Современнике», 1863, № 11, отд. II, стр. 62—66.

...мы охотно поговорили бы об этом предмете подробнее...— В письме к А. Н. Пыпину от 15 августа 1863 г. Салтыков сообщал, что он взял себе для разбора «несколько книг, изданных Обществом распространения полезных книг». Однако рецензий на эти издания в «Современнике» 1863—1864 гг. не появлялось, если не считать сатирической стрелы, пущенной в «Московское общество распределения бесполезных книг» в сентябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г.

Записки и письма М. С. Щепкина. С его портретом... и статьею о его сценическом таланте, писанною С. Т. Аксаковым. Москва. 1864 г.

(Стр. 436)

«Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 255—258.

Рецензия Салтыкова — один из первых отзывов критики на посмертное издание воспоминаний М. С. Щепкина «Записки крепостного актера», начать которые его побудил Пушкин, а продолжать Герцен и Белинский.

Замысел «Записок» был обширен и поначалу выходил далеко за границы только автобиографического рассказа — «...хочу изложить свой взгляд на искусство драматическое вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время...» — писал Щепкин Гоголю в мае 1847 г. Но хотя Щепкин работал над «Записками» до конца своей жизни (правда, с большими перерывами), замысел его во многом так и остался неосуществленным. Автобиографическое повествование в «Записках...» очень эскизно и фрагментарно. Оно лишено строгой хронологической последовательности и обрывается в самом начале важнейшего московского этапа в творческой жизни Щепкина. Отмечая, что «Записки...» «дают очень немного для биографии знаменитого актера» и «не характеризуют его замечательной личности», Салтыков попутно высказывает свой общий взгляд на то, какими должны быть биографические труды. Главные его требования к «добросовестному биографу» сводятся к тому, чтобы он «увидел» своего героя «лицом действующим, окруженным известной средою» и показал бы «без малейшей утайки», а не только со стороны «казовых концов жизни».

Салтыков, лично испытавший в годы своей юности могучее воздействие сценического искусства Щепкина, высоко ценил его талант и не раз характеризовал его общественное значение для развития русской передовой мысли. Но, так же как и Герцен, Салтыков видел, что годы крепостного рабства и общая придавленность русского общества оставили свое «клеймо» на личности великого актера. Вызванные чтением «Записок...» Щепкина размышления о «самой страшной стороне неволи», когда она налагает руку на «внутренний мир человека», входят в постоянно занимавшую Салтыкова трагическую тему о разлагающем действии насилия и рабства на волю людей. Наиболее полно эта тема разработана в «Пошехонской старине».

Стр. 437. *Мы слышали, что биография Щепкина пишется и что с этою целью... собираются материалы.*— Речь идет, по всей вероятности, о работе, подписанной псевдонимом Z, «Материалы для биографии М. С. Щепкина». Эта работа печаталась в газете «Театральные афиши и антракт», 1864, №№ 41, 44, 47. Позднее появились биографические материалы о Щепкине, составленные А. Мейном (см. «Театральные афиши и антракт», 1864, №№ 156, 160). Эти биографические материалы перепечатывались во многих периодических изданиях той поры (см. «Одесский вестник», 1864, № 230; «Биржевые ведомости», 1864, № 265; «С.-Петербургские ведомости»,

1864, № 222; «Голос», 1864, № 282; «Русская сцена», 1864, № 9). Биография Щепкина появилась значительно позднее — в 1885 г. (см. А. Островинская. Великий актер из народа. Биографический очерк, СПб. 1885). В 1864 г. было опубликовано только десять глав «Записок» Щепкина. Наиболее полное издание «Записок» и писем Щепкина, воспоминаний и автобиографических материалов о нем осуществлено лишь в 1914 г. его внуком.

Моя судьба. М. Камской. Москва. 1863 г.
(Стр. 439)

«Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 258—261.

М. Камская — псевдоним Е. А. Словцовой, второстепенной писательницы из круга «Русского вестника». Заметка Салтыкова представляет интерес не отзывом о совершенно справедливо забытой книге писательницы («роман ее положительно плох»). Заслуживают внимания содержащиеся в рецензии рассуждения Салтыкова по женскому вопросу и об английском «домашнем романе», в частности отзывы об известных романах «Адам Бид» Джордж Эллиот (1859) и «Джэнн Эйр» Шарлотты Бронте (1847).

Стр. 441. *«В ожидании лучшего».*— Этот роман Н. Д. Хвощинской-Зайончковской, писавшей под псевдонимом В. Крестовский (не смешивать с Всеволодом Крестовским), был напечатан в «Русском вестнике», 1860, №№ 7—8, и в том же году вышел отдельным изданием.

Рассказы из записок старинного письмоводителя Александра Высоты. С.-Петербург. 1864 г.
(Стр. 442)

«Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 261.

В резко отрицательном отзыве «Современника» (1864, № 1) на «Сатирические очерки и рассказы» П. Н. Горского говорилось, что автор их обладает ничтожными литературными способностями, вовсе лишен наблюдательности и т. д. Автором этого отзыва, который Салтыков переадресовывает А. Высоте, был А. Ф. Головачев («Литературное наследство», т. 53—54, М. 1949, стр. 269).

Сборник из истории старообрядства. Издание Н. И. Попова. Москва. 1864 г.
(Стр. 442)

«Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 266—267.

Рецензированный сборник составлен собирателем материалов по истории старообрядчества, их издателем Н. И. Поповым. Как издатель документов Н. И. Попов пользовался устаревшими и примитивными приемами. Он не очень удачно отбирал и систематизировал публикуемые ма-

териалы, что и послужило причиной резко отрицательного отзыва Салтыкова об одном из выпущенных им сборников. Но в изданных Н. И. Поповым документах, почерпнутых из собственного собрания рукописей, хранящихся теперь в Рукописном отделе Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, имеются весьма ценные материалы по истории старообрядчества.

Стр. 443. *...судя по отрывку, помещенному в журнале «Эпоха»...*— В журнале «Эпоха», 1864, № 1—2, был помещен отрывок из романа Вс. Крестовского «Петербургские трущобы» («Ерши»).

Чужая вина. Комедия в пяти действиях. Ф. Н. Устрялова.
С.-П.-бург. 1864 г.
(Стр. 443)

Впервые — без вводного «теоретического» раздела и заключительного абзаца — в «Современнике», 1864, № 5, отд. II, стр. 57—59. Полностью, по корректурным гранкам, опубликовано В. Э. Боградом и С. А. Макашиным в «Литературном наследстве», т. 67, М. 1959, стр. 359—362. На л. 1 гранок — помета: «2 корр<ектура> мая 23».

Спустя четыре года Салтыков повторил некоторые положения опущенного в «Современнике» раздела и напечатал часть его текста в рецензии на пьесу Н. И. Чернявского «Гражданский брак» («Отечественные записки», 1868, № 8 — см. в наст. изд. т. 9).

Это второй отзыв Салтыкова о драматургии Ф. Н. Устрялова. Первый — о пьесе «Слово и дело» — был напечатан в «Современнике», 1863, № 1—2 (см. в наст. томе статью «Петербургские театры», I).

И в той и в другой пьесе автор задавался целью поисков «положительных сторон» в современной русской жизни, находившейся, после спада революционной волны начала 60-х годов, в полосе реакции. Либерал по своим политическим взглядам и в этом качестве противник революционно-демократической идеологии, Устрялов стремился противопоставить «отрицательным» героям «нигилистической литературы» (в первую очередь Рахметову) «положительный» тип новейшего «русского деятеля», представленный в «Чужой вине» в образе З а р н о в с к о г о, в «Слове и деле» в образе В е р т я е в а («современного Молчалина»), а в «антинигилистическом» романе В. П. Клюшникова «Марево», в образе Р у с а н о в а.

Салтыков разоблачает реакционно-охранительную суть «нового рода сочинительства, который все более и более ищет утвердиться» в русской литературе. «Сочинительство» это иронически определяется как «хорошее направление» и как «львовская школа» — по имени ее родоначальника либерально-обличительного драматурга Н. М. Львова, популярного в пору общественного подъема конца 50-х годов. Позднее, в упомянутой выше ре-

цензии на пьесу Н. М. Чернявского «Гражданский брак», Салтыков назовет «львовскую школу» «необулгаринской» и скажет, что она «поставила целью своих усилий утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное», то есть стоять на защите существовавшего «порядка вещей». Вместе с тем критика «львовской школы» — явления, казалось бы, уже устаревшего для 1864 г.,— заключала в себе, в несколько замаскированном виде, отповедь Салтыкова Писареву, объявившему в «Цветах невинного юмора» автора «Губернских очерков» одним из основоположников либерально-благонамеренного направления в обличительной литературе и в этом качестве будто бы предтечей и союзником Львова. В рецензии имеется и ряд других отголосков полемики с Писаревым. «Что усматривает перед собой писатель, действующий на почве отрицательной?» — спрашивает Салтыков. И отвечает: одни «свиные рыла». «Ясно,— иронически резюмирует далее Салтыков,— что таким свинорыльством удовлетвориться нельзя. Даже критики строгие и наименее благосклонные к свиным рылам, как, например, г. Писарев, и те советуют оставить их в покое, и те говорят: довольно! давайте-ка поищем чего-нибудь положительного; достаточно разрушать, будемте созидать!» Совет оставить в покое «свиные рыла» и обратиться к чему-нибудь положительному — это полемический отклик на знаменитое писаревское поучение Салтыкову из тех же «Цветов невинного юмора»: *«бросить» Глупов,* оставить его в покое и обратиться к созидательному труду популяризатора естественнонаучных знаний.

Затрагивают Писарева и те места рецензии, где речь идет о занятиях «скромной наукой». В годы спада демократического движения литература «благонамеренных усилий» особенно старалась пропагандировать привлекательных для молодого поколения положительных героев, находящих свое призвание вне сферы прямых политических интересов, в том числе и особенно, в науке. Салтыков считал, что естественнонаучная пропаганда и культурничество в статьях Писарева 1863—1864 гг. являлись, объективно, выражением его наметившегося отхода от общественной борьбы. Поэтому он вкладывает в уста либерально-благонамеренного Устрялова такое сближение группы Писарева — Зайцева с группой Каткова: «...нет, мы не отрицатели и не разрушатели, но скромные созидатели, действующие иногда по рецепту «Русского слова», а иногда по рецептам «Русского вестника».

Стр. 444. *...не умеет отличить прогресса истинного от прогресса преувеличенного...*— Ирония для обозначения: в первом случае — половинчатости, куцести реальных итогов реформы 1861 г., крепостнической по своему характеру и не осуществившей ни одной из надежд на политическую демократизацию режима; во втором случае — тех требований радикальных общественных преобразований в интересах народных масс, с которыми выступали революционные демократы и которые были направлены против существовавшего порядка.

...и если деятель продолжает не видеть, то без церемоний отметает его от общения с жизнью и от участия в ее увеселениях — намек на расправу самодержавия с Чернышевским [1] и с другими революционерами — М. Михайловым, В. Обручевым, Н. Серно-Соловьевичем, отметенными «от общения с жизнью» каторжными приговорами правительства.

Он первый указал, что и в становом приставе есть нечто положительное... — Такой «положительный» пристав выведен Н. М. Львовым в пьесе 1858 г. «Предубеждение, или Не место красит человека...»

Ролла. Поэма Альфреда Мюссе. Перевод Н. П. Грекова. Москва. 1864 г. (Стр. 448)

«Совр.», 1864, № 8, отд II, стр. 201—207.

Эту рецензию не следует рассматривать как критический разбор собственно творчества Альфреда Мюссе, хотя она и отражает, притом в самой резкой форме, неприятие Салтыковым эстетики и мировоззрения французского поэта-романтика, в особенности его философии социального пессимизма. Русским изданием поэмы «Ролла» (1833), в очень плохом переводе Грекова, Салтыков воспользовался, в своей постоянной борьбе за реализм и общественную содержательность искусства, как убедительным, в его представлении, материалом для очередной атаки на романтическую эстетику, на эстетику «искусства для искусства» и на присущие им теории «вдохновенно-бессознательного» творчества.

Примечательны в рецензии отзывы о «царе поэтов» Шекспире, у которого «всякое слово проникнуто дельностью», и высокая оценка «поэтической прелести» прозы Тургенева, данная в момент, когда Салтыков остро полемизировал с ним в своей публицистике, как с автором «Отцов и детей».

Стр. 448. *С природой одною он жизнию жил. /Он чувствовал трав прозябанье* — неточная цитата из стихотворения Баратынского «На смерть Гёте» (1832).

Стр. 450. *И не знаю я, что буду /Петь, но только песня зреет* — неточная цитата из стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом...» (1843).

Спит с Фетидой Феб влюбленный... /С ярким факелом бежит — неточная цитата из стихотворения Фета «Ночь весенней негой дышит» (1854).

Стр. 451. *«Солнце село... навстречу вашему выстрелу».* — Описание взято из рассказа И. С. Тургенева «Ермолай и мельничиха» («Записки охотника»).

Стр. 452. *Здравствуй!.. Серебром окаймленная!* — начало стихотворения Фета «Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!..» (1842).

---

[1] Обряд гражданской казни над ним был совершен 19 мая 1864 г., а № 5 «Современника», из которого был изъят комментируемый текст, цензурован 10 июня и вышел в свет 14 июня.

Стр. 453. *...если бы, вместо истории Роллы, рассказать историю какого-нибудь Катилины... возможно ли было бы обвинить по поводу его Вольтера и страсть к анализу?* — В поэме «Ролла» впервые у Мюссе получает сильное развитие тема «трагедии века». В трагедии этой Мюссе готов винить материалистическую философию Вольтера, будто бы отнявшую у людей утешительную силу веры. Отсутствие веры — по мысли Мюссе — и мешает его герою, кутиле и картежнику Ролле, встать на путь добродетельной жизни. Комментируемое здесь ироническое замечание направлено на то, чтобы развенчать устанавливаемую Мюссе зависимость легковерия и пессимизма Роллы от учения и взглядов Вольтера.

В своем краю. Роман в двух частях К. Н. Леонтьева. С.-Петербург. 1864 г. (Стр. 454)

«Совр.», 1864, № 10, отд. II, стр. 177—183.

Рецензия-памфлет Салтыкова, дискредитировавшая подражательную книгу К. Н. Леонтьева «В своем краю» определением «роман-хрестоматия», непосредственно содействовала прекращению дальнейшей художественно-беллетристической деятельности автора, известного впоследствии публициста и критика правого лагеря, призывавшего опереться на «византизм» и «подморозить» Россию, то есть задержать прогрессивное развитие страны [1].

Авторство Салтыкова впервые было указано самим К. Н. Леонтьевым (а не А. Н. Пыпиным, как до сих пор считалось). Во второй части воспоминаний «Мои дела с Тургеневым...», написанных в 80-е годы, но опубликованных посмертно в 1914 г., читаем: «Ловкие консульские дела гораздо больше меня радовали, чем признание моего таланта в *разговорах, на словах* (я не говорю о статьях, которых никогда никто обо мне не писал, кроме Щедрина)». «Библиография Современника» 62—63 [2] о романе «В своем краю) (К. Леонтьев. Собр. соч., т. 9, СПб. 1914, стр. 134). А в заметке «Где разыскать мои сочинения после моей смерти» К. Леонтьев писал: «Есть очень злая критика, видимо, Щедрина по манере, в «Современнике». Роман очень язвительно сравнен с хрестоматией, в том смысле, что он будто бы весь слит из кусков Тургенева, Л. Толстого, Писемского и Григоровича... Критика очень хороша, и роман за *грубость* некоторых приемов заслуживает строгого разбора... По мысли, конечно, он самобытен» («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 814).

В 1863 г. в «Голосе» К. Леонтьев поместил три фельетона под общим названием «Наше общество и наша изящная литература». В двух из них — последних (№№ 63 и 67) значительное место уделено Салтыкову. Поло-

---

[1] К. Леонтьев. Моя литературная судьба.— «Литературное наследство», т. 22—24, М. 1935.

[2] Ошибка памяти. Правильная дата: 1864.

жительные отзывы о «Невинных рассказах», о лиризме сатирика, перемежались с обвинениями в однообразии его произведения [1].

Стр. 454. *Татьяна Борисовна...*— героиня рассказа Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» («Записки охотника»).

...молодой цыган — шалопай...— помещик Веретьев из повести Тургенева «Затишье».

...цыганка — любовница Чертопханова...— Маша из рассказа Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» («Записки охотника»).

...старик-полковник...— Степан Петрович Барсуков из повести Тургенева «Два приятеля». Салтыков ошибается, называя его полковником.

...вот дети гр. Л. Н. Толстого, которых без всякого законного акта усыновляет г. Леонтьев...— В романе Леонтьева повествовалось об усыновлении мальчика Юшки — сына горничной и бывшего мужа Катерины Николаевны Новосильской. Этот эпизод лишь отчасти восходит к судьбе осиротевшей Любеньки и ее братьев — падчерицы и пасынков молодой жены их отца («Детство, отрочество и юность» Л. Н. Толстого).

Стр. 458. *Иона-циник...*— помещик Дедовхин, прозванный Ионой-циником, один из персонажей антинигилистического романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

Проскриптский...— персонаж из романа А. Писемского «Взбаламученное море», являющийся злостной карикатурой на Н. Г. Чернышевского.

О добродетелях и недостатках...

(Стр. 460)

Рецензия, написанная в конце октября — начале ноября 1864 г., предназначалась для № 10 «Современника», но не появилась в журнале. Впервые опубликована В. Э. Боградом в «Литературном наследстве», т. 67, стр. 368, 381—387. Печатается по сохранившимся в бумагах А. Н. Пыпина корректурным гранкам.

Рецензия относится к последнему этапу острой полемики между «Современником» и «Эпохой». Одновременно Салтыковым были написаны статьи «Журнальный ад» и «Литературные кусты», которые также не появились в печати (см. эти статьи и комментарий к ним в т. 6 наст. изд.).

В рецензии «О добродетелях и недостатках...» как и в «Литературных кустах», предметом сатирического обличения является программная статья «почвенников» «Объявление о подписке на журнал «Эпоха» в 1865 году», («Эпоха», 1864, № 8). Статья — она не была подписана — принадлежала перу Ф. М. Достоевского. В этом выступлении, как и во всей почвенниче-

---

[1] Фельетоны подписаны инициалами К. Л., которыми он подписывался также в «Отечественных записках», «Московских ведомостях» и «Русском вестнике». Кроме того, принадлежность их именно Константину Леонтьеву устанавливается на основании цитированной выше статьи его «Где разыскать мои сочинения после моей смерти», стр. 815.

ской идеологии, которую публицисты «Современника» называли «птичьей» («стрижиной»), социальные проблемы подменялись проблемами национальными и отвлеченно нравственными. Если в «Литературных кустах» Салтыков сосредоточился на разоблачении реакционной сущности национальной доктрины «почвенников», трактовавших национальную самобытность как национальную исключительность, то в рецензии сатирик зло высмеивает стремление «Эпохи» постоянными призывами к нравственному самосовершенствованию заменить обсуждение насущных вопросов современного общественного развития. Обращаясь к генеалогии «почвеннической добродетели», Салтыков видит ее истоки в сентиментальной и нравоучительной литературе XVIII в., русской и переводной. В этой связи упоминается повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» («обращение русской литературы в «Лизин пруд»), а также роман Г. Виланда «Агатон» и «пастушеская повесть» «Алексис». Отмечая дворянский, антидемократический характер многих популярных нравоучительных сочинений, Салтыков утверждает, что в настоящее время они представляются для «взрослого читателя» глубоким анахронизмом. Наивные наставления о пользе добродетели и советы о том, как надобно вести себя, сохраняются лишь в детской и «стрижиной» литературе («Вот лошадки для езды, /Пистолетик для стрельбы...» и т. д.).

Рецензия «О добродетелях и недостатках...» отличается от других полемических статей Салтыкова более резкой и подробной характеристикой политического смысла почвеннической проповеди нравственности. Салтыков прямо заявляет, что блюстителям порядка выгодно «стрижиное» смирение: «В самом воздухе есть нечто им <стрижам> покровительствующее». Далее Салтыков пишет: «А от кого же и можем мы ждать порядка, как не от тех, кои никогда беспорядка произвести не могут... Вот истинная причина возникновения «стрижей» и их процветания». И еще: «...процветание стрижиной литературы совершенно законно. Само общество обязано всемерно заботиться о возможном его продолжении, ибо в процветании этом заключается самое действительное отвлекающее средство, при помощи которого различные горькие заботы и думы уже не представляются уму с такою мучительною назойливостью, как это обыкновенно бывает, когда человек предоставлен самому себе и своим размышлениям». Как бы завершая эту систему намеков, весьма, впрочем, прозрачных, Салтыков заявляет: «По нашему мнению, стрижи могли бы даже служить отвлечением и в смысле политическом, если б политика не имела в своем распоряжении других средств, более быстро действующих».

Уничтожающим сатирическим приемом для характеристики «Эпохи» явилось объединение в одной общей рецензии «Объявления...», очерка «Рим», примечаний к статье «Монтаны», опубликованных в № 8 этого журнала, и двух претенциозных нравоучительных книжек, рассчитанных на мещанского читателя («О добродетелях и недостатках...» П. Б. Суходаева и «Зеркало прошедшего» г-жи Anonyme). Вот некоторые выразительные названия глав книжки Суходаева: «Пути провидения», «Сила совести»,

«Власть над собою», «Опасности общественных увеселений», «Гибельность сладострастия», «Благоприличие и неприличие в общежитии» и т. д. В начале каждой главы — эпиграф — образец «философического» пустословия: «Как гармонирующая нашим чувствам природа есть проявление мысли и слова божия к человеческому духу — так дух наш проявляется через наши мысли и слова... П. Суходаев». Характерен верноподданнический и богобоязненный тон этого сочинения, которое заканчивается следующими словами, написанными, по выражению Салтыкова, в «забвении чувств»: «Очисти мой смысл, боже, освяти волю мою, да избегну опасностей, которые нередко свершаются с нами на скользком пути к свету и совершенству». Хотя сочинение «Зеркало прошедшего» отнюдь не назидательное, а, наоборот, «интимно-лирическое» («Исповедь сокрушенного сердца»), смысл его — все тот же. «О слабость человеческая! — пишет автор.— Мы имеем прекрасные правила, которым следуя не отступили бы ни на шаг от добродетели». Кончается книжка восклицанием: «Господи помилуй, господи помилуй!»

Стр. 461. *...на повествовании о каком-нибудь Агатоне...* — Агатон — герой нравоучительного романа Г. Виланда. (Русский перевод был издан в 1783—1784 гг.: «Агатон, или Картина философическая нравов и обычаев греческих», переведено с немецкого Ф. Сапожниковым, 4 части. М.) Вот как характеризует автор смирение добродетельного героя перед жестокими ударами судьбы: «За несколько дней перед сим был он любимец счастия и предмет зависти своих сограждан. Но нечаянною переменою нашел себя вдруг лишенна своего имущества, друзей своих, своего отечества и подверженна не только всем приключениям противного счастия, но и самой неизвестности, каким образом он мог сохранить единую оставшуюся ему вещь, то есть свою обнаженную жизнь. Но невзирая на все злосчастия, соединившиеся на умерщвление его бодрости, повествование нас уверяет, что тот, кто его в сем видел состоянии, не мог приметить ни в его виде, ни в его поступках малейшего следа отчаяния, нетерпеливости или только неудовольствия».

...о... Хлое, которая, невзирая на настойчивость своего Алексиса... — Имеется в виду «Алексис, пастушеская повесть», вольный перевод Павла Львова из сочинений Леонара, СПб. 1876.

Повесть представляет сентиментальное изображение любви героя к пастушке Делии (Хлоя — имя матери Алексиса, с добродетелями которой сравнивается благонравие Делии). Острая сатирическая оценка Салтыковым поведения героев повести подтверждается такими, например, описаниями: «Прочие рассказывали о своих приключениях и казали дары, полученные ими от их возлюбленных; Алексис же имел единое о Делии воображение; к восстановлению счастия его и того было довольно». И далее: «Они вкушали все то блаженство, которое токмо на земли может быть для человеков. Жизнь их не иное что была, как цель утех невинных, коих прелести всечасно возрождали любовь и добродетель». Общественная тен-

денция повести выражена автором прямо: «У народа столь любомудрого довольно и единой любви, мнится мне, для утверждения общего согласия».

Стр. 462. *...занятия балетно-философические...*— Сатирическую разработку темы балета для характеристики «отвлекающего» направления произведений, помещаемых в «Эпохе», Салтыков дал в статье «Петербургские театры» («Наяда и рыбак»). Здесь изложена «программа современного балета», участниками которого являются сотрудники журнала Достоевского (см. стр. 204—215 наст. тома).

Стр. 463. *Феденька нестроптивый, который... был когда-то строптивым* — намек на эволюцию убеждений Достоевского от 40-х до 60-х годов: прежде — «строптивый», участник общества петрашевцев, теперь — «нестроптивый», редактор журнала «Эпоха».

Стр. 465. *«Сказание о Дураковой плеши».*— Под этим названием в журнале «Время», 1863, № 3, была напечатана статья Игдева (псевдоним И. Г. Долгомостьева). Игдев выступил против статьи А. Слепцова «Педагогические беседы» («Современник», 1863, №№ 1, 9) и статьи А. Н. Пыпина «Наши толки о народном воспитании» (т а м же, №№ 1, 5), полемических по отношению к статье Л. Н. Толстого «Воспитание и образование» («Ясная Поляна», 1862, июль). Игдев воспользовался выражением Салтыкова из январской хроники «Наша общественная жизнь», 1863, где было сказано: «...если ты побежишь под гору, то уткнешься в «Дураково болото», тогда как, если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в «Дуракову плешь»!» Так характеризует сатирик «перспективы» общественной деятельности после кризиса революционной ситуации. Игдев обратил слова Салтыкова против «Современника»: «По-моему, это не более и не менее, как явное доказательство пребывания вашего на «Дураковой плеши», местность, честь открытия которой принадлежит бесспорно вам».

...игриво-философское рассуждение об индюшках и Гегеле.— Речь идет о статье Н. Н. Страхова «Об индюшках и Гегеле», напечатанной в журнале «Время» за 1861 г., № 9.

Стр. 468. *...под именем «Современного очерка Рима» ...еще наивнее примечания к статье «Монтана».*— В № 8 «Эпохи» 1864 г. помещены рядом две статьи: «Монтаны» В. Клаузова (с примечаниями автора) и «Рим (Современный очерк)» за подписью Н. М. Несмотря на различие тем: первая статья описывает быт и нравы сектантов в Заволжье, а вторая — социальную структуру современной Италии и роль католической церкви, обе статьи чрезвычайно близки по направлению и даже стилю. В обеих статьях общественные и личные добродетели и пороки объясняются либо верностью христианской нравственности, либо же ее отсутствием.

Стр. 469. *...в прошлом году мы подали подобный же совет насчет г. Ф. Берга...*— В статье Салтыкова «Для следующих номеров «Свистка» было сказано: «По прочтении этой статьи редакция «Времени» даст клятвенное обещание никогда не печатать стихов г. Ф. Берга» (см. наст. том, стр. 304).

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

СКАЗАНИЕ О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ, МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ ИНОКА ПАРФЕНИЯ (Первая редакция)

(Стр. 473)

Первоначальная редакция незаконченной статьи-рецензии Салтыкова 1857 г. При жизни автора не публиковалась. Воспроизводится полностью впервые по черновому автографу. Текст подготовлен для печати Н. С. Никитиной. Та же рукопись содержит вторую, существенно отличающуюся от первой, редакцию статьи. Она печатается в основном разделе настоящего тома. См. выше общий комментарий к обеим редакциям.

Стр. 479. *...нашими Тирсисами* — см. прим. к стр. 304.

Стр. 492. *Антидор* — остатки просфоры («причастия»), которые после богослужения раздавались молящимся в церкви.

ИЗВЕСТИЕ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

ДОПОЛНЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЮ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»

ЕЩЕ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»

(Стр. 501—517)

Впервые — в журнале «Современник», 1863: 1) № 1—2, отд. II, стр. 47—62; 2) № 3, отд. II, стр. 173—174; 3) № 5, отд. II, стр. 158. Без подписи Авторство Салтыкова установлено В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании документов конторы «Современника» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 133. См. также «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 70).

«Известие из Полтавской губернии» является переработкой статьи «Несчастие в Порхове», которая по не совсем ясным причинам, но, несомненно, не по авторской воле не могла появиться в «Современнике» в своем первоначальном виде. Подробнее об этом, так же как и об обстоятельствах, вызвавших необходимость в написании двух дополнительных заметок, см. выше, в комментарии к статье «Несчастие в Порхове».

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

Авдеев Михаил Васильевич (1821—1876), романист — 455.

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), драматург, беллетрист и критик — 417, 469, *662*.

Адамантов, литературный псевдоним Алмазова Б. Н. (см.).

Адлерберг Владимир Федорович, граф (1790—1884), генерал-адъютант, в 1852—1872 гг. министр императорского двора, член Главного комитета по крестьянскому делу с 1857 г.— *553*.

Акимова (Ребристова) Софья Павловна (1824—1889), актриса московского Малого театра с 1846 г.— 144.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), поэт и публицист; славянофил, редактор-издатель газет «Парус» (1859), «День» (1861—1865); в 1859 г. был фактическим редактором «Русской беседы» — 140, 153, 157, 289, 291, 294, 297, 363, 367, 465, *565, 567, 572, 603, 617, 618*.

«Два слова о материализме и общественной свободе» — *618*.

«От забытого голоса (По поводу городских выборов в Москве)» — *572*.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, критик и поэт; славянофил — *532, 539, 649*.

«Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» — *532*.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель — 436, 473, 474, *532, 536, 538*.

«Семейная хроника» — 34, 473, 474, *532, 538*.

Алабин, рязанский помещик, участник «хлудовской истории» — *550*.

Александр I (1777—1825), император с 1801 г.— 52, 488.

Александр II (1818—1881), император с 19 февраля 1855 г.— *542, 543, 554, 558, 562, 564, 613, 616, 642, 646, 655, 657*.

Александр Македонский (356—323 до н. э.), царь Македонии с 336 г. до н. э.— 324, 347, *631*.

Алмазов (литературный псевдоним — Адамантов) Борис Николаевич (1827—1876), поэт и литературный критик, в 1851—1856 гг. сотрудничал в журнале «Москвитянин» — 417, *662*.

Альвенслебен Густав фон (1803—1886), прусский генерал, с 1866 г. генерал-адъютант короля Вильгельма I — *573*.

Амвросий (1791—1863), босно-сараевский митрополит, положивший начало раскольнической «белокриницкой иерархии» — 402, 403, *659*.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887), литературный критик и историк литературы; мемуарист — 8, *526, 527, 581, 587—588, 590, 601*.

«Литературные воспоминания» — *590*.

«О значении художественных произведений для общества» — 8, *526*.

«Художник и простой человек» — *590*.

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, встречающиеся в текстах Салтыкова-Щедрина и в комментариях к ним. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате комментария, в указатель не введены.

Составитель указателя А. М. Малахова.

Антоний Владимирский (Андрей Илларионович Шутов), владимирский и московский епископ, управлял общероссийскими делами старообрядческой церкви — 405.

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), критик и публицист революционно-демократического направления, сотрудник и член редакции «Современника» — 294, *522, 582, 598, 614, 617.*

«Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев» — *598.*

«Письма отца к сыну» — *522.*

«Аониды, или Собрание разных новых стихотворений», альманах, выходил в Москве в 1796, 1797, 1799 гг., издатель Н. М. Карамзин — 352, *646.*

Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769—1834), временщик при Павле I и Александре I, военный министр в 1808—1810 гг.— *621.*

Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — 168.

Аркрайт Ричард (1732—1792), английский предприниматель в области текстильной промышленности; ему приписывают изобретение прядильной машины — 92.

Арновский Т., литературный псевдоним Тарновского К. А. (см.).

Арсений (отец Авель), иеросхимонах, «подвижник» Афонской горы — 58, 59, 490, 491.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), публицист, критик и общественный деятель — *522, 544, 551, 554, 556—560, 598.*

«Материалы для биографии М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)» — *522, 544, 551, 554, 556, 558—560, 596.*

Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879), реакционный писатель и публицист, редактор-издатель журнала «Домашняя беседа для народного чтения» с 1858 по 1877 г.— 270, 271, *611, 614.*

«Лурлеин утес» — 270, *614.*

«Атеней», журнал критики, современной истории и литературы, издававшийся в Москве в 1858—1859 гг. еженедельно, с 1859 г. выходил два раза в неделю, под редакцией Е. Ф. Корша — 268, *542, 613.*

Афанасий (Александр Васильевич Дроздов; 1794—1876), ректор Петербургской духовной академии, в 1847—1856 гг.— саратовский епископ — 404.

Афанасьев, рязанский помещик, участник «хлудовской истории» — *550.*

Афанасьев Григорий Григорьевич, полковник, чиновник особых поручений при киевском военном генерал-губернаторе — 396, *657.*

Афанасьев Егор Петрович, пристав на богомольском винокуренном заводе — 62, 64, 67, 493.

Б. Александр Павлович, полтавский помещик — 248, 249, 501, 502, 509, 515, 516, *600, 601.*

Б. Егор Павлович, полтавский помещик — 249, 516.

Б. Михаил Иванович, письмоводитель мирового посредника в Полтавской губернии — 249, 501, 516.

Б. Степан Павлович, полтавский помещик — 249, 502, 516.

Бабеф Гракх (настоящее имя Франсуа-Ноэль; 1760—1797), организатор и вождь утопически-коммунистического движения «равных» во время термидорианской буржуазной контрреволюции во Франции — 127, 129, *559, 560.*

Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881), экономист и историк, публицист; профессор Московского университета в 1857—1874 гг.— 139.

Байборода, общий псевдоним М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева и Ф. М. Дмитриева в «Русском вестнике» — 159, *574*

Байрон Джордж Ноэль Гордон, лорд (1788—1824) — 11, 325.

«Дон Жуан» — 184; Командор — 184.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — *607.*

Барановский Егор Иванович, саратовский гражданский губернатор — 239.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — *643, 671.*

«На смерть Гете» — 345, 448, *643, 671.*

Баскаков Владимир Николаевич, литературовед и текстолог — *541.*

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт — 122, *568, 570.*

«Умирающий Тасс» — 149, *568.*

Батюшков Помпей Николаевич (1810—1892), журналист, попечитель Виленского учебного округа в 1868—1869 гг.— 153, *570.*

Бегичев Владимир Петрович (1827—1891), драматург, директор императорских московских театров — *569.*

«Извозчик» (совместно с К. А. Тарновским) — 151, *569.*

Безобразов Николай Александрович (1816—1867), дворянский публицист, автор

брошюр по крестьянскому вопросу, камергер — 337—341, *638, 639.*

«О старом и новом порядке и об устроенном труде (travail organisè) в применении к нашим поместным отношениям...» — 337—340, *638, 639.*

«Об усовершенствовании узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства» — *638.*

Бекетов Владимир Николаевич (1809—1883), цензор Петербургского цензурного комитета — *601.*

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 7, 8, 17, 18, 26, 309, 409, *523—525, 527—531, 533, 564, 574, 585, 593, 606, 616, 629—631, 633, 636, 649, 661, 665—667.*

«Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» — 309, *630.*

«О жизни и сочинениях Кольцова» — 7, 8, *523, 524, 527, 528, 531.*

«Стихотворения» М. Лермонтова» — *606.*

Беллини Винченцо (1801—1835), итальянский оперный композитор — *579.*

«Пуритане» — *579.*

Беллюстин Иван Степанович (1820—1890), священник, публицист — 347, 348, *643.*

«Из Петербурга» — 347, *643.*

Белоусов И. Д., генерал-майор, штаб-офицер корпуса жандармов — 396, *657*

Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873), историк, профессор Московского университета по кафедре истории русского законодательства с 1852 г.; славянофил — 140.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт и переводчик — *635.*

«Война и мир» — *635.*

Беницкий М., журналист — 343, 346—352, *627, 641, 642.*

«Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в Санкт-Петербурге» — 343, 346, *627, 641.*

Берг Федор Николаевич (1840—1909), поэт, беллетрист и переводчик, в начале 60-х годов сотрудничал в «Современнике», затем во «Времени» и «Русском вестнике» — 304, 417, *622, 627, 628, 662, 676.*

«Грезы и песни» — 304, *627.*

«Птицы» — *622.*

Бернарди Рита, артистка итальянской оперы в Петербурге в 1858—1867 гг.— 178, *584.*

Берте Александр Александрович (ум. 1893), цензор, в 1860—1861 гг. член Главного управления цензуры — *549, 550.*

Бессонов Петр Алексеевич (1828—1898), литературовед, славист — 140, *540.*

Беттини Джеремия (1823—1865), тенор, артист итальянской оперы в Петербурге с 1856 г.— 176, *584.*

«Библиотека для чтения», литературно-художественный журнал, основанный О. И. Сенковским в 1834 г., издавался в Петербурге, в 1856—1860 гг. выходил под редакцией А. В. Дружинина, с конца 1860 г.— А. Ф. Писемского, в 1863—1865 гг.— П. Д. Боборыкина — 141, 183, *523—525, 534, 535, 587, 589, 647, 663.*

Бильо Огюст-Адольф-Мари (1805—1863), французский адвокат, с 1854 по 1858 г.— министр внутренних дел, в конце 1858 г.— министр без портфеля — 344, *643.*

«Биржевые ведомости», ежедневная литературно-политическая газета, выходившая в Петербурге с перерывами с 1861 по 1879 г., издатели-редакторы К. В. Трубников и П. С. Усов, а с 1874 г.— В. А. Полетика — *667.*

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель и мемуарист — *580.*

«За полвека. Мои воспоминания» — *580.*

Богданова Надежда Константиновна (1836—1897), артистка балета, солистка «Гранд-Опера», в 1855 г. вернулась в Россию, где выступала на петербургской и московской сценах до 1864 г.— 154—156, *570, 594.*

«Ответ г. Вальцу» — *570.*

Боград Владимир Эммануилович, литературовед и текстолог — *522, 523, 585, 592, 629, 669, 673.*

«Журнал «Современник» 1847—1866. Указатель содержания» — *522, 585.*

«Новые материалы о Салтыкове-Щедрине» — *522.*

«Полемика с Достоевским» — *629.*

Бодянский Осип Максимович (1808—1877), филолог-славист, в 1842—1868 гг. профессор Московского университета по кафедре истории и литературы славянских наречий — 139.

Борецкая Марфа, жена новгородского посадника И. А. Борецкого, ставшая после смерти мужа во главе литовской партии, выступала за сохранение независимости Новгорода, известна под именем Марфы-Посадницы — 395.

Борщевский Соломон Самойлович (1895—1962), литературовед и текстолог — *571, 592.*

«Щедрин и Достоевский» — *571, 592, 636*.

Боткин Василий Петрович (1811—1869), писатель, критик и переводчик — *528, 585, 652*.

Брето, французский офицер, автор письма в «Le Temps» — *621*.

Брок Петр Федорович (1805—1875), член Государственного совета, в 1852—1858 гг. министр финансов — 352, *644*.

Бронте Шарлотта (1816—1855), английская писательница — 440, 441, *668*.

«Джэнн Эйр» — 440, 441, *668*.

Брук Карл Людвиг (1798—1860), австрийский государственный деятель, в 1848—1851 гг.— министр торговли и общественных работ, с 1855 г.— министр финансов — 217, 352, *598, 644*.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), римский политический деятель, глава заговора против Юлия Цезаря и участник его убийства — 319, 320.

Буковские, рязанские помещики, участники «хлудовской истории» — *550*.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), реакционный журналист и беллетрист, осведомитель политической полиции; издатель-редактор газеты «Северная пчела» и соредактор журнала «Сын отечества» — 121—124, 126, 265, 266, *558, 559, 566, 577, 636, 670*.

Бурачек Степан Анисимович (1800—1876), писатель и журналист, издатель журнала «Маяк» — *606*.

Бурдин Федор Алексеевич (1825—1887), актер петербургского Александринского театра, переводчик, друг А. Н. Островского, знакомый Салтыкова — 163, 182, *569, 580, 586*.

Буренин (литературный псевдоним В. Монументов) Виктор Петрович (1841—1926), публицист, поэт и литературный критик, сотрудник «Искры» и «Санкт-Петербургских ведомостей» — 417, *522, 662*.

«Песня московского дервиша» — *522*.

Буркова Минна (Вильгельмина) Ивановна, фаворитка графа В. Ф. Адлерберга — *553*.

Буслаев Федор Иванович (1818—1897), исследователь русского языка, народной поэзии и древнерусского искусства, профессор Московского университета, академик — 46, 387, 391, 393, *540*.

«Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин. Древнее стихотворение» — *540*

Бутков Владимир Петрович (ок. 1820—1881), государственный секретарь в 1853—1865 гг., затем член Государственного совета и комитета министров — *557*.

Бутков Яков Петрович (ум. 1856), демократический писатель, автор повестей из быта чиновничества и городской бедноты, сотрудник «Отечественных записок» — 18.

«Петербургские вершины» — 18.

Быстротоков А. А., духовный писатель — 341, *627, 640*.

«Анафема, или Торжество православия, совершаемое ежегодно в первый воскресный день великого поста» — 341, *627, 640*.

Бэкон (Бакон) Фрэнсис, барон Веруламский (1561—1626), английский философ — 333.

Бюхнер Фридрих Людвиг (1824—1899), немецкий физиолог и философ, представитель вульгарного материализма — 169, 289, 290, *617*.

В*алуев* Петр Александрович (1814—1890), министр внутренних дел в 1861—1868 гг.— 218, 226, 230, *616, 638, 653*.

«Дневник» — *616, 638*.

Вальц Федор Карлович (1820—1869), театральный машинист и декоратор, с 1841 по 1855 г. работал в петербургских театрах. С 1856 г.— гл. машинист московского Большого театра — 152, 154—156, 297, *570, 571*.

«По поводу статьи г. Пановского о бенефисе г-жи Надежды Богдановой» — *570*.

Варламов Александр Егорович (1801—1848), композитор — *652*.

Васильев Павел Васильевич (1832—1879), артист петербургского Александринского театра с 1860 по 1875 г.— 198.

Васильев Феодосей (ум. 1711), дьячок из Крестецкого Яма близ Новгорода, основатель раскола федосеевцев в конце XVII в.— 49, *541*.

Василько-Петров Василий Петрович (1824—1864), писатель, обозреватель и театральный хроникер, сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Русском инвалиде» — 164, 173, *576*.

Васильчиков Иларион Иларионович, князь (1805—1862), киевский военный губернатор, подольский и волынский генерал-губернатор в 1853—1862 гг.— 396, *656, 657*.

Вахновская С., литературный псевдоним Лодыженской Е. А. (см.).

Введенский, рязанский помещик, участник «хлудовской истории» — *550*.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт и переводчик, сотрудничал в журнале «Искра» — 329, *634*.

Вейо (Veillot) Луи (1813—1883), французский писатель и журналист, с 1843 г. редактор газеты «L'Univers» («Вселенная») — 38, 479, *540*.

Вельтман Александр Фомич (1800—1870), писатель-романист и археолог — 321, 323, 324, *627*, *631*.

«Воспитанница Сара» («Приключения, почерпнутые из моря житейского») — 321, 323, 324, *627*, *631*.

Вениамин, митрополит молдавский при Александре I — 52, 489.

Верн Жюль (1828—1905) — 435, *591*, *628*, *666*.

«Пять недель на воздушном шаре» («Воздушное путешествие через Африку») — 435, *591*, *628*, *666*; Фергюссон — 435, 436, *666*.

Верон Луи (1798—1867), французский романист и журналист, основатель «Revue de Paris» и директор «Constitutionel» — 255, *609*.

Веселкин Михаил Александрович (ум. 1889), полтавский вице-губернатор — 396, *657*.

«Вестник Европы», ежемесячный историко-политический журнал, выходивший в Петербурге с марта 1866 по март 1918 г. Редактор-издатель М. М. Стасюлевич (по 1908 г.) — *547*, *651*.

«Вестник промышленности», ежемесячный журнал, выходил в Москве в 1858 (с июля) — 1861 гг. Издатели-редакторы Ф. В. Чижов и И. К. Бабст — 84, *548*, *637*.

«Весть», политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 гг. Издатели-редакторы В. Д. Скарятин и Н. Юматов; с 1867 г.— В. Д. Скарятин — *613*, *620*.

«Взойди, взойди, солнце, не низко, высоко», русская народная песня — 15, *532*.

Виардо (урожд. Гарсиа) Полина (1821—1910), французская певица, гастролировала в России в 1843—1846 и в 1852—1853 гг.— 181.

Виланд Христоф Мартин (1733—1813), немецкий писатель — *674—675*.

«Агатон, или Картина философическая нравов и обычаев греческих» — *674*, *675*; Агатон — 461.

Владимир Святославович (ум. 1015), великий князь Киевский с 978 г.— 387.

Володимеров Матвей Ефимович, мировой посредник Порховского уезда, Псковской губ.— 232—234, 236, *600*.

Волькенштейн Семен Егорович, граф, прапорщик Измайловского полка — 437.

Вольтер Франсуа-Мари Аруэ (1694—1778) — 453, *608*, *672*.

«Кандид, или Оптимизм»; Панглосс — 250, 255, *608*.

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), издатель и книготорговец с 1853 г.— 415.

«Воскресный досуг». Народная иллюстрация — еженедельная газета, выходила в Петербурге в 1863—1872 гг., издатель А. О. Бауман, редактор П. М. Цейдлер, с 1865 г.— П. И. Петров — *612*.

«Время», ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1861—1863 гг. М. М. Достоевским при ближайшем участии Ф. М. Достоевского — 173, 303, 304, 334, 336, *576*, *584*, *586*, *594*, *597*, *608*, *611—614*, *622—625*, *627*, *636*, *637*, *646*, *649*, *650*, *660*, *661*, *676*.

Вьенне (Vienné), Жан-Пьер-Гильом (1777—1868), французский писатель и политический деятель, с 1830 г. академик — 160, *571*.

«Выйду ль я на реченьку» — русская народная песня — 328.

Высота Александр П., писатель — 442, *628*, *668*.

«Рассказы из записок старинного письмоводителя» — 442, *628*, *668*.

Гавриил (Григорий Григорьевич Банулеско-Бодони; 1746—1821), митрополит Молдавии и Валахии в 1792—1803 гг.— 65, 496.

Гагенмейстер Юлий Андреевич (1806—1878), финансист и экономист — *562*.

Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), педагог и историк литературы — 460.

Гарпина, полтавская крестьянка — 516, 517.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 465, *608*, *649*.

Гедеонов Степан Александрович (1818—1878), драматург, в 1867—1875 гг. директор императорских театров — *568*.

«Смерть Ляпунова» — *568*, *577*; Дмитрий Трубецкой — *568*.

Гейне Генрих (1797—1856) — 383, 417, *614, 628, 662, 663.*
«Германия» — 417.
«Лорелея» — 270, *614.*
«Рыбачка» — *662.*

Геннади Григорий Николаевич (1826—1880), библиограф, редактор Собрания сочинений А. С. Пушкина — 160, 162, 460, *571.*

Георгиевский Александр Иванович (1829—1911), историк и публицист, принимал участие в редактировании «Русского вестника», редактор «Журнала министерства народного просвещения» — 162.

Гербель Николай Васильевич (1827—1883), поэт и переводчик — 460.

Герсеванов Николай Борисович (ум. 1871), генерал-майор, публицист — 237, 239, 240—242, 505—509, *602.*
«Вести с южных полей» — 237, 505, *602.*

Герц Карл Карлович (1820—1883), профессор археологии и истории искусств Московского университета — *634.*
«Происхождение рафаэлевских картонов, принадлежащих А. Д. Лухманову» — *634.*

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — *530, 564, 565, 574, 579, 582—585, 593, 605, 608—610, 616, 619—621, 641, 644, 651, 654, 655, 659, 664, 666, 667.*
«Виселицы и журналы» — *620, 621.*
«В этапе» — *616.*
«Москва нам не сочувствует» — *564.*
«Письма из Франции и Италии» — *608, 610, 651.*
«Письмо гг. Каткову и Леонтьеву» — *585.*
«Протест» — *585.*
«Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле» — *605.*
«С того берега» — *605.*
«VII лет» — *584.*

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 10—12, 33, *528.*

Гизо Франсуа (1787—1874), французский государственный деятель и историк, руководитель партии доктринеров — 326, *608, 633.*
«История цивилизации Франции от падения Западной Римской империи» — *608.*

Гильдебранд Бруно (1812—1878), немецкий статистик и политико-эконом, с 1851 по 1861 г. был профессором Цюрихского и Бернского университетов — *559.*
«Политическая экономия настоящего и будущего» — *559.*

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887), публицист, профессор философии Московской духовной академии, цензор Московского цензурного комитета (1858—1863) — *534, 618.*

Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942), литературовед — *533, 541, 611, 653, 658.*

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — *595.*
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — 213, *595.*

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 12, 16, 31, 122, 123, 141, 148, 196, 303, 326, 409, 445, *531, 535, 565, 575, 589, 610, 623, 634, 661, 667.*
«Вечера на хуторе близ Диканьки» — 326, *634*; Рудый Панько — 326.
«Выбранные места из переписки с друзьями» — *531.*
«Иван Федорович Шпонька и его тетушка» — 326.
«Мертвые души» — *531, 634;* Костанжогло — 104; Манилов — 122, 167; Мижуев — 122; Ноздрев — 122, 126, 128, 129, 169; Петрушка — 327; Собакевич — 122.
«Ночь перед рождеством»; Оксана — 326.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — 327; Иван Иванович Перерепенко — 465.
«Ревизор» — 185, *595, 661*; Бобчинский — 266, 335; Земляника — 122; Пошлепкина — 215, *595*; Сквозник-Дмухановский — 324; Тяпкин-Ляпкин — 122; Хлестаков — 204, 206—215, 266, 335, 408, *592, 595, 661.*
«Театральный разъезд после представления новой комедии» — 185, 409, *575, 661.*
«Сорочинская ярмарка» — 327.
«Шинель» — 303, *624.*

Головачев Алексей Адрианович (1819—1903), публицист и общественный деятель, сотрудник «Отечественных записок» и «Русского вестника» (с 1858 г.) — 435, *666.*

Головачев Аполлон Филиппович (ум. 1877), публицист, секретарь редакции «Современника» — *666, 668.*

Головнин Александр Васильевич (1821—1886), министр народного просвещения с 1861 по 1866 г.— *599, 616.*

«Голос», ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в 1863—1884 гг. в Петербурге А. А. Краевским — 237, 239, 240, 242, 444, 448, 505—507, 510, *602, 609, 613, 632, 637, 668, 672.*

Гомер — 10, 309, 333, 336, *528.*

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — 309.

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), актер, беллетрист, историк театра — *586.*

Горский Петр Никитич (1826—1877), писатель-беллетрист — 442, *668.*

«Сатирические очерки и рассказы» — *668.*

Горчаков Александр Михайлович, князь (1798—1883), министр иностранных дел в 1856—1882 гг.— *573.*

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — *568.*

Гостомысл (IX в.), легендарный новгородский посадник или князь, с именем которого связывается предание о призвании варяжских князей — 344, 460, *642.*

«Гражданские мотивы», сборник стихотворений, изданный под редакцией А. П. Пятковского — 331, 332, *627, 635.*

«Грамотей», «журнал для народа», издавался И. Н. Кушнеревым сначала в Петербурге, а затем в Москве в 1861—1876 гг.— *656.*

Грангилльо Альсид (1829—1891), французский журналист, представитель правительственной прессы при Наполеоне III, директор «Constitutionel» и «Pays» — 255—258, *609.*

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, с 1839 г. профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории — 122, 285, 323, *574, 616, 631, 632.*

Греков Николай Порфирьевич (1810—1886), поэт и переводчик — 448, 454, *671.*

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 321, 432, *635.*

«Горе от ума» — *635;* Молчалин — 170, *559, 578, 635, 669*; Репетилов — 321, 322, 324; Скалозуб — 127, 129, 432, *560*; Чацкий — 332, *635.*

Григорий (Георгий Петрович Постников; 1784—1860), митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский с 1856 г.— 35, 475.

«Истинно древняя и истинно православная Христова церковь» — 35, 37, 475.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), писатель — 183, 196, 457, 458, *587, 588.*

«Антон-Горемыка» — 183.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), литературный критик и поэт — 323, *532, 535, 538, 584, 594, 606, 629, 649, 662, 672.*

«Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» — *629.*

«Искусство и правда» — *532.*

«О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» — *532.*

«Парадоксы органической критики» — *538.*

«Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены» — 173, *584.*

«Стихотворения Некрасова» — *606.*

Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), профессор-ориенталист Петербургского университета — 323, *632.*

«Т. Н. Грановский — до его профессорства в Москве» — *632.*

Григорьев Петр Григорьевич (Григорьев 2-й; 1807—1854), с 1831 г. актер петербургского Александринского театра, драматург-водевилист — *568*

«Багдадские пирожники, или Волшебная лампа»; Абдул-Гассан — *568.*

«Цырульник на Песках и парикмахер с Невского проспекта» — 173, *584.*

Григорьев Петр Иванович (1806—1871), актер петербургского Александринского театра, водевилист-драматург; инсценировал рассказы Салтыкова «Неприятное посещение» и «Обманутый подпоручик» (из «Губернских очерков») — 163, *584, 636.*

«Герои преферанса» — 334, *636.*

Гризи Карлотта (1819—1899), итальянская артистка балета, дебютировала в Парижской опере, в 1849—1850 гг. гастролировала в России — *594.*

Громека Степан Степанович (1823—1877), публицист, сотрудник «Русского вестника» и «Санкт-Петербургских ведомостей», затем «Отечественных записок» — 217, 237, 247, 266, 270, 303, 395—399, 504, 514, *598, 604, 611, 625, 628, 651, 656—657.*

«Киевские волнения в 1855 году» — 395—399, *628, 654, 656, 657.*

«Современная хроника России» — 246—247, 514, *598, 604, 625.*

Грюнберг Изабелла Львовна, в замужестве Ласкос, ученица М. И. Глинки, певица и романистка — *591.*

«Бедная племянница» — 195, *591.*

Гуд Томас (1799—1845), английский поэт — *583.*

«The song of the shirt» («Песня о рубашке») — 169, *583.*

Гюго Виктор (1802—1885) — 311, *630.*

«Отверженные» — *631;* Жан Вальжан — 311, *630.*

Дажук В., литературовед.

«Нові сторінки Салтыкова-критика» — *522.*

Даль (литературный псевдоним — Казак Луганский) Владимир Иванович (1801—1872), беллетрист, собиратель русских пословиц и составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» — 387, 391, 393, *617.*

Даниил, отшельник, жил в деревне Зерцала, близ города Ачинска — 64, 66, 67.

Данилевский (литературный псевдоним—А. Скавронский) Григорий Петрович (1829—1890), писатель — 334—337, 408, 410, 413, 416, *627, 628, 636, 649, 660, 661.*

«Беглые в Новороссии» («Воля») — 335, 336, 408, 410—416, *628, 636, 637, 660.*

«Беглые воротились» («Воля») — 408, 416, *628, 637, 660, 661*; Илья Танцур — 416, *662;* Настя Талаверка — 416, *662.*

«Девочка» — *636.*

«Княжна Тараканова» — *637.*

«Литературная подпись» — 334—337, *627, 636, 661.*

«Мирович» — *637.*

«Пенсильванцы и каролинцы на Украине» — 335, *636.*

«Село Сорокопановка» — 335, 336, *636.*

«Сожженная Москва» — *637.*

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), публицист, петрашевец — *606.*

«Россия и Европа» — *606.*

Данте Алигьери (1265—1321) — 310, 333, *626.*

Дараган (урожд. Балутьянская) Анна Михайловна (1806—1877), писательница для детей — 270, *611.*

Дебассини Ахилл (род. 1819), баритон, артист итальянской труппы в Петербурге (1852—1863) — 176—178, *584.*

Деланд (Deslandes) Раймон (1825—1890), французский драматург-водевилист — *608.*

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831), поэт и журналист — 30, *646.*

Дема Даниил Корнильевич, ссыльнокаторжный богомольского винокуренного завода (Томская губ.), раскольник — 62, 64, 66, 67, 493, 494, 497.

Дементьян, тюменец, бывший поп, проповедник самосожжения (XVII в.) — 51, 488.

«День», еженедельная газета, издававшаяся в Москве с 1861 по 1865 г. И. С. Аксаковым — 139, 153, 157, 290, 291, 294, 404, 516, 517, *565, 567, 570, 572, 597, 603, 617, 618, 626, 637, 647, 649, 660.*

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 122, 312, *630.*

«Памятник» — 312, 346, 353, *630.*

Диккенс Чарльз (1812—1870) — *643.*

«Крошка Доррит» — *643;* Спарклер — 345, *643.*

Дмитриевский (наст. фамилия Демерт) Владимир Александрович (1820—1871), актер московского Малого театра с 1848 г.— 139, 143.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 129, *526, 529, 549, 560, 588, 606, 614, 649—651, 654, 666.*

«Луч света в темном царстве» — *588, 651.*

«Темное царство» — *650.*

Долгомостьев (литературный псевдоним Игдев) Иван Григорьевич (ум. 1867), журналист и переводчик, сотрудник журналов «Время» и «Эпоха» — *676.*

«Сказание о Дураковой плеши» — 465, *676.*

«Домашняя беседа для народного чтения», еженедельная газета, издавалась в Петербурге с 1858 по 1877 г., редактор-издатель В. И. Аскоченский — *614.*

Доницетти Гаэтано (1797—1848), итальянский композитор — *585.*

«Люция ди Ламмермур»; Люция — 181, *585.*

Дорофей, монах — 37, 476.

Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), беллетрист, переводчик и журналист, издавал журналы «Время» и «Эпоха» при ближайшем участии Ф. М. Достоевского — 215, 266, 270, 303, 304, 460, 466, *584, 593, 594, 612, 623—627, 646.*

«Старшой и меньшой» — *624.*

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 204, 215, 303, 304, 457, 458, 463, 469, *534, 584, 593, 594, 608, 612, 623—627, 636, 637, 646, 649, 650, 673, 676.*

«Бедные люди» — *623, 624;* Макар Девушкин — *623, 624.*

«Братья Карамазовы» — *534.*

«Дневник писателя» — *626.*

«За умершего» — *626.*

«Записки из Мертвого дома». — *624, 625, 650.*

«Записки из подполья» — *623.*

«Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все лето» — *608, 624—626.*

«Идиот»; Мышкин — *624.*

«Молодое перо» — *625, 637.*

«Объявление о подписке на журнал «Эпоха» в 1865 году» — 460, 464, 466—469, *673.*

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), литературный критик, журналист и писатель, в 1856—1860 гг. редактор-издатель «Библиотеки для чтения» — *524, 526, 527, 534, 535, 580, 662.*

Дубенский (литературный псевдоним — Проезжий) Николай Филиппович, публицист, старший советник Рязанского губернского правления — 84—88, 90—93, 95—97, 335, *548, 549, 637.*

«Косвенные налоги на фабрики» — 84, 85, *548, 549, 637.*

Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), литературный критик и журналист, с 1860 г. редактор-издатель «Отечественных записок» — *588.*

Дьяченко Виктор Антонович (1818—1876), драматург — 148, 173, *568, 577, 591.*

«Жертва за жертву» — 148, *568.*

«Институтка» — 148, 149.

«Не первый и не последний» — 148.

«Неровня» — 195, *587, 591.*

Дыкансо, полтавский крестьянин — 516.

Дюма Александр (отец) (1803—1870), французский романист и драматург — 410, *580.*

«Кин, или Гений и беспутство» — *580;* Кин — 163, *580.*

Дюссо, владелец ресторана в Петербурге — 144, 145.

Евангелие — 44, 51, 342, *621.*

Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883—1955), литературовед — *522, 600, 601, 604, 616, 629, 677.*

«В тисках реакции» — *604, 677.*

«Новые материалы о сотрудничестве Щедрина в «Современнике» — *614, 629.*

«Последние годы «Современника» — *592.*

Евфимий (ум. 1792), основатель особого толка старообрядчества (беспоповщины) — бегунов или странников — *540.*

Егоров С., драматург.

«Новгородцы в Ревеле» (совместно с А. А. Соколовым) — 164, 173, *576, 577, 581.*

Екатерина II (1729—1796), императрица с 1762 г. — *622.*

Елена (ок. 244—327), мать римского императора Константина, способствовала распространению христианства, путешествовала в Палестину — 37, 476.

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), публицист, сотрудничал в «Современнике», редактировал «Искру» — *565, 582, 589, 618, 625.*

«Внутреннее обозрение» — *625.*

«Хроника прогресса» — *565, 589.*

Елисеев, владелец гастрономических и винных магазинов в Петербурге и в Москве — 145, *569.*

Ермолов Петр Алексеевич (ум. 1899), артист московского Малого театра — 148.

Есипов Григорий Васильевич (1812—1898), историк и журналист, сотрудничал в «Русском вестнике», «Отечественных записках», «Русской старине», «Русском архиве» и др. — 433.

Ефимович Кондратий Дмитриевич (1815—1847), драматург — *583.*

«Отставной театральный музыкант и княгиня» — 171, *583.*

Ефремов (литературный псевдоним А. Эфиров) Петр Александрович (1830—1907), библиограф и литературовед, сотрудничал в «Искре» и «Отечественных записках» — 160, *571.*

Жадовская Юлия Валериановна (1824—1883), писательница, печаталась в журналах «Москвитянин», «Русский вестник», «Библиотека для чтения» и др. — *635.*

«Грустная картина» — *635.*

Жандр Николай Павлович (1818—1895), писатель и драматург — *631.*

«Нерон» — *631.*

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт, один из создателей сатир Козьмы Пруткова (см.) — *645*.

Жемчужников Владимир Михайлович (1830—1884), поэт, один из создателей сатир Козьмы Пруткова — *645*.

Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804—1876), французская писательница — *591*.

«Жак» — 191, 192, *591*.

Жуковская Екатерина Ивановна (1841—1913), мемуаристка.

«Записки» — *580*.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт — 122, *633*.

Жуковский Юлий Галактионович (1822 или 1833—1907), экономист и журналист, с 1860 г. печатался в «Современнике» — *522*.

«Губерния, ее земские и правительственные учреждения» А. Лохвицкого» — *522*.

«Детские книги». Издания книгопродавца М. О. Вольфа с 1856 по 1864 г.» — *522*.

«Краткое руководство к изучению политической экономии» Ф. Г. Тернера» — *522*.

«О наместниках, воеводах и губернаторах». Сочинение Ивана Андреевского...» — *522*.

Жулев (литературный псевдоним Скорбный поэт) Гавриил Николаевич (1836—1878), поэт, с 1860 г. печатался в журнале «Искра» — 417, *635, 636, 662*.

«Литературные староверы» — 334, *636*.

«Песни Скорбного поэта» — 331, 334, *627, 635*.

Жулева (в замужестве Небольсина) Екатерина Николаевна (1830—1905), актриса петербургского Александринского театра с 1847 г.— 163, 171, *580*.

Журавлев Андрей Иоаннов (1751—1813), протоиерей, раскольник, под конец жизни присоединился к официальной церкви, автор полемических сочинений против раскольников — 37, 49, 64, 403, 477, 486, 487, 494, *539, 540*.

«Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, собранное из потаенных старообрядческих изданий, записок и писем» — 37, 50, 63, 64, 403, 477, 486, 487, 493, 494, *539, 540*.

«Журнал министерства внутренних дел», официальный орган министерства внутренних дел, выходил в Петербурге в 1829—1861 гг.— *546*.

З. Николай, полтавский помещик — 248, 249, 501, 509, 516.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель.

«Рославлев, или Русские в 1812 году» — 353.

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — 353.

Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), критик и публицист, с 1862 г. сотрудник «Русского слова» — *647, 648, 662, 670*.

«Заря», ежемесячный учено-литературный и политический журнал, издавался в Петербурге с 1869 по 1872 г. Редактор-издатель В. В. Кашпирев — *606*.

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), писатель — *549*.

Злобин, рязанский помещик, участник «хлудовской истории» — *550*.

Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), беллетрист, драматург и журналист, в 1858—1861 гг. редактор журнала «Иллюстрация» — 325, *525, 633*.

«Обзор периодических изданий» — *525*.

Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871), романист и драматург — 325, *579, 633*.

«Карл Смелый» (либретто) — *579*.

Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь Московский с 1462 г.— 395.

Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584), первый русский царь (с 1547 г.) — 352—361, *644, 645*.

Иван V Алексеевич (1666—1696), русский царь с 1682 г.— 51, 487.

Игдев, литературный псевдоним Долгомостьева И. Г. (см.).

Игнатьев Павел Николаевич, граф (1797—1879), генерал-адъютант, генерал-лейтенант, в 60-х годах был военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга — *543*.

Игорь (ум. 945), великий князь Киевский с 912 г., родоначальник династии русских князей, т. н. Рюриковичей — 395.

«Иллюстрация». Всемирное обозрение — еженедельный иллюстрированный

журнал, выходил в Петербурге в 1858—1863 гг., издатель А. О. Бауман, редактор В. Р. Зотов, с 1861 г.— Н. С. Курочкин — 386, *653*.

«Иллюстрированная газета», выходила в Петербурге в 1863—1873 гг., еженедельно, издатель А. О. Бауман; редактор В. Р. Зотов — *612*.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), историк и публицист, автор официальных учебников истории для начальной и средней школы дореволюционной России — 399, *657*.

Иоанн, монах, друг Парфения (см.) — 36, 51, 52, 475, 488.

Иоанн, схимник, жил близ монастыря Вороны (Молдавия) — 60.

Иоаннов Андрей — см. Журавлев А. И.

Иогансон Христиан Петрович (род. 1817), артист петербургского балета — *594*.

Иона, раскольник — 50, 51, 487.

«Искра», сатирический журнал революционно-демократического направления, выходил еженедельно, издавался в Петербурге с 1859 по 1873 г., редакторы-издатели В. С. Курочкин и Н. А. Степанов — 162, 183, 270, *565, 570, 589, 614, 617, 620, 622, 623, 625—626, 635, 636, 652, 664*.

«Исторический вестник», историко-литературный журнал, издавался в Петербурге в 1880—1917 гг., ежемесячно. Издатели-редакторы — С. Н. Шубинский, А. С. Суворин и др.— *583*.

«Историческое предание и описание праздника «Свистопляски» в Вятке», статья из «Санкт-Петербургских ведомостей» — *522*.

К., полтавский помещик — 516, 517.

К—ин А., корреспондент «Русской беседы» — *545*.

«Предположение об устройстве крестьянского быта и помещичьих имений по Рязанской губернии» — *545*.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), юрист, историк и публицист — 122.

Кайданов Иван Кузьмич (1782—1843), профессор Царскосельского лицея, автор учебников по истории — 181, 468.

«Калужский житель», псевдоним корреспондента газеты «День» — 335, *637*.

Кампи Феличе, итальянский художник (XVI в.) — *634*.

Камская М. — литературный псевдоним Словцовой Е. А. (см.).

Кант Иммануил (1724—1804) — 164.

Капнист Василий Васильевич (1757—1823), поэт и драматург — *603, 665*.

«На смерть Юлии» — 424, *665*.

«Ябеда»; Добров — 240, 508, *603*.

Капустин Михаил Николаевич (1828—1899), профессор международного права Московского университета — 139.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 122, 235, 314, 358, 394, 460, 502, *602, 645, 646, 674*.

«Бедная Лиза» — 460, *674*.

«История Государства Российского» — *645*.

«Марфа-Посадница, или Покорение Новгорода» — 235, 502, *602*.

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853), трагик, актер петербургского Александринского театра — 163.

Карл Великий (ок. 724—814), король франков, с 800 г.— римский император — 417.

Кассий Лонгин Гай (I в. до н. э), римский политический деятель, претор, народный трибун, один из инициаторов заговора против Цезаря (44 до н. э.) — 319, 320.

Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.), римский политический деятель — 453.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), публицист, с 1856 г. редактор-издатель «Русского вестника», с 1863 г. редактировал «Московские ведомости» — 157—162, 179, 181, 192, 295—297, 323, 325, 348—352, 465, *523, 525, 532, 533, 564, 567, 569, 572—574, 585, 589—591, 596—599, 603, 607—609, 612, 616—620, 622, 623, 630, 641—645, 650, 653, 656, 657, 670*.

«Заметка...» — 216—218, 221—231, *596—598*.

«Одного поля ягоды» — *644*.

«Отзывы и заметки. Польский вопрос» — 343, 346, *641, 642*.

«Русский вопрос» — *641*.

«Что нам делать с Польшей?» — *641*.

Кашин Николай Павлович (1874—1939), литературовед — *569*.

«Мартиролог Островского» — *569*.

Кедрин Георгий, автор учебников по истории — 62.

Кельсиев Иван Иванович (ок. 1841—1864), участник студенческих волнений

1861 г., член «Земли и воли», в 1863 г. эмигрировал за границу — *659.*

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872), публицист, в 1859 г. эмигрировал за границу, был близок Герцену и Огареву, в 1867 г. вернулся в Россию, заявив о раскаянии — *659.*

Кеммерер Александра Николаевна (1842—1931), петербургская танцовщица в 1861—1879 гг.— *594.*

Кетчер Николай Христофорович (1806—1886), врач и переводчик, был редактором первого Собрания сочинений Белинского (1859—1862) — 161, *574.*

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), писатель и собиратель русских народных песен, славянофил — 41, 46, *536.*

Кирилл (Киприан Тимофеев), митрополит Белокриницкой иерархии с конца 1847 г.— 403—406, *659, 660.*

Кирпотин Валерий Яковлевич, литературовед — *587, 610, 650.*

  «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина» — *587, 610, 650.*

Клаузов Василий Иванович (1831—1893), историк-расколовед — 460, 464, *676.*

  «Монтаны» — 460, 464, 468, *676.*

Клингенберг Михаил Карлович (1821—1873), рязанский губернатор до 1859 г.— *550.*

Клочан Иван, полтавский крестьянин — 516.

Клюшников Виктор Петрович (1841—1892), беллетрист, в 1877 г. редактор газеты «Собеседник» — 454, 456, *669.*

  «Марево» — 454, *669*; Русанов — 444, *669.*

Князев Иван Васильевич, литературовед — *548.*

Ковалевский Егор Петрович (1811—1868), писатель и путешественник, сенатор, министр народного просвещения — *542.*

Козьма Прутков, литературный псевдоним, под которым выступали поэты А. К. Толстой и братья А. М. и В. М. Жемчужниковы — 291, 302, 340, *634, 645.*

  «Желание быть испанцем» — *634.*

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик-миллионер, руководитель ряда промышленных и финансовых предприятий, в конце 50-х — начале 60-х годов выступал с либеральными статьями и речами — 295, *619.*

«Колокол», газета, издававшаяся Герценом и Огаревым с июля 1857 до апреля 1865 г. в Лондоне и с мая 1865 до июля 1867 г. в Женеве — 296, *564, 565, 585, 620, 641.*

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — 7, 8, 17—19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, *521, 523—528, 531, 535.*

  «Вторая песня Лихача Кудрявича» — 20, 21.
  «Доля бедняка» — 24.
  «Дума сокола» — 27—29.
  «Измена суженой» — 27, 28.
  «К ней» — 30.
  «Косарь» — 31.
  «Лес» — 30.
  «Люди добрые, скажите...» — 30, 31.
  «Неразгаданная истина» — 30, *533.*
  «Первая любовь» — 30.
  «Первая песня Лихача Кудрявича» — 20, 21.
  «Перепутье» — 21.
  «Песнь разбойника» — 27, 28.
  «Песня пахаря» — 21, 22.
  «Поминки» — 30.
  «По-под Доном сад цветет» — 30.
  «Размышление поселянина» — 20, 24, 26, *533.*
  «Русская песня» («Не на радость, не на счастье») — 24, 25.
  «Совет старца» — 30.
  «Тоска по воле» — 27.
  «Удалец» — 27.
  «Урожай» — 23.
  «Что ты спишь, мужичок?» — 24, 25, 26.

Кольцов Василий Петрович, воронежский мещанин, торговец скотом, отец поэта — 17.

Конисский Александр Яковлевич (1836—1900), украинский писатель — *600—602.*

Конт Огюст (1798—1857), французский философ, основатель позитивизма — *608.*

Корд Кремуций (ум. в 25 г.), римский историк, сенатор — 319, 320, *615.*

  «Анналы Римской республики» — 319, 320.

Корейша Иван Яковлевич (1780—1861), московский юродивый — 265.

Корнилий (ум. 1698), новгородский митрополит в 1674—1695 гг.— 51, 487.

Коровкин Николай Александрович, драматург-водевилист и переводчик — *580.*

  «Новички в любви» — 163, *580.*

Корш Валентин Федорович (1828—1883), журналист и историк литературы, в 1856—

1862 гг. редактор «Московских ведомостей», в 1863—1874 гг.— «Санкт-Петербургских ведомостей» — *612.*

Косица — псевдоним Страхова Н. Н. (см.).

Костомаров Всеволод Дмитриевич (1837—1865), поэт-переводчик — 417, *615, 662.*

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк и писатель, один из идеологов украинского буржуазного национализма — 277, 319, *540, 615, 627, 630.*

«Автобиография...» — *615.*

«Кремуций Корд» — 277, 319—321, *615, 627, 630;* Пинарий Натта — 320; Сатрий — 320; Юний Вибий — 319, 320.

«Костромские губернские ведомости», еженедельная газета, выходила с 1838 по 1917 г.— 183.

Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подьячий Посольского приказа, автор книги «О России в царствование Алексея Михайловича» — 16, *532.*

Кохановская Н., литературный псевдоним писательницы Сохановой Н. С. (см.).

Кошанский Николай Федорович (1784—1831), переводчик и педагог, в 1811—1828 гг. профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее — *665.*

«Общая риторика» — *665.*

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист и общественный деятель, славянофил, отстаивал созыв Земского собора — совещательного органа при царе, участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 г.— 295, *603, 619.*

Кошихин — см. Котошихин Г. К.

Коялович Михаил Осипович (1828—1891), историк и публицист, профессор Петербургской духовной академии — *570.*

«Письмо к редактору «Дня» — *570.*

Кр — ский, мировой посредник в Сердобском уезде Саратовской губ. — 239, 241, 242, 247, 506, 509, 510, 515.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), журналист, издатель журнала «Отечественные записки» (1839—1867), газет «Голос» (1863—1884) и «Санкт-Петербургские ведомости» (1852—1862) — 160, 164, 173, 304, *571, 609, 627.*

Красовская Вера Михайловна, искусствовед — *593.*

Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), поэт и беллетрист, автор эротических стихов и авантюрных романов — 324, 325, 329, 331, *627, 632, 634, 635, 642, 669.*

«Гитана» — 329, *634.*

«Затворница» — 329—330, *634, 642.*

«Испанские мотивы» — *634.*

«Петербургские трущобы» — 443, *632, 669.*

«Стихи» — 324, 325, *627, 632, 666.*

«Теремок» — 331, *635.*

Крестовский В., литературный псевдоним Хвощинской Н. Д. (см.).

Крузе фон Николай Федорович (1823—1901), журналист, в 1855—1859 гг. цензор — *525.*

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — 390, *595.*

«Ворона и лисица» — 268, *613.*

«Лжец» — *595.*

«Пустынник и медведь» — 128, 390.

Крылов Никита Иванович (1808—1879), профессор римского права Московского университета, славянофил — 139.

Ксенов Илларион Егорович, житель Стародуба, автор «Окружного послания» — *660.*

Ксенофонт, раскольник, перешел затем в православную церковь — 50, 51, 63—65, 487, 493—496.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), драматург, беллетрист и поэт — 34, *583.*

«Маркитантка» — 173, *577, 583—584.*

Куликов Николай Иванович (1815—1891), драматург, актер и режиссер петербургского Александринского театра — *665.*

«Ворона в павлиньих перьях» — 429, *665;* Шаров — 429.

Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт, журналист и общественный деятель, в 1859—1873 гг. редактировал сатирический журнал «Искра» — *565, 589.*

«Легенды о кукельване» — *614.*

«Лорд и маркиз, или Жертва казенных объявлений» — *565.*

«Печальный рыцарь тьмы кромешной...» — *614.*

Кушнерев Иван Николаевич (1827—1896), беллетрист и журналист, редактор-издатель журнала «Грамотей» (1861—1876) и «Народной газеты» (1863—1869) — 391, *656.*

«Очерки и рассказы» — *656.*

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), ученый и философ, один из руководителей и теоретиков революционного народничества — *607.*

Лагерроньер Луи-Этьен (1816—1875), французский публицист, в 50—60-е годы сторонник режима Наполеона III — 255, *609.*

Лажечников Иван Иванович (1792—1869), автор исторических романов, цензор — 307—311, 318, 319, 353, *523—524, 627, 629, 630, 646.*

«Басурман» — 307, *629, 646.*

«Беленькие, черненькие и серенькие» — 307, *629.*

«Горбун» — *629.*

«Дочь еврея» — *629.*

«Заметки для биографии В. Белинского» — *629.*

«Колдун на Сухаревой башне» — 307, *630.*

«Ледяной дом» — 307, *629;* Волынский — 307; Мариорица — 307.

«Мое знакомство с Пушкиным» — *629.*

«Немного лет назад» — 307, 311—319, *627, 629, 630.*

«Новобранец 1812 года» — 307.

«Опричник» — *629.*

«Последний Новик» — 307, *629.*

«Походные записки русского офицера» — *629.*

«Христиерн II и Густав Ваза» — *629.*

Ланской Сергей Степанович, граф (1797—1862), министр внутренних дел в 1855—1861 гг.— 70, *543, 545, 554, 558.*

Лебедева Прасковья Прохоровна (1839—1917), артистка балета, с 1857 г.— первая танцовщица московского Большого театра, в 1865 г. переведена в петербургскую балетную труппу — 154.

Леметр Антуан Луи Проспер (сценический псевдоним Фредерик Леметр; 1800—1876), французский драматический актер — 262, *610.*

Лемке Михаил Кондратьевич (1872—1923), историк и литературовед — *596.*

«Эпоха цензурных реформ» — *596.*

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — *582, 654.*

Ленский Дмитрий Тимофеевич (1805—1860), водевилист — *567.*

«Лев Гурыч Синичкин» — 139, *567.*

Леонар Никола Жермен, французский писатель — *676.*

«Алексис, пастушеская повесть» — 461, *674, 675;* Алексис — 461, *675;* Хлоя — 461, *675.*

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатель и публицист — 434—460, *628, 672, 673.*

«В своем краю» — 454, 456, *628, 672, 673;* Варя — 454, 459.

«Где разыскать мои сочинения после моей смерти» — *672, 673.*

«Мои дела с Тургеневым...» — *672.*

«Наше общество и наша изящная литература» — *672.*

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), реакционный публицист, профессор римской словесности и древностей Московского университета, с 1856 г. ближайший сотрудник Каткова по «Русскому вестнику» и «Московским ведомостям» — 157, 160, 162, 181, 285, 296, 297, *564, 574, 599, 612, 617, 622.*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 122, 311, *618, 633, 635.*

«Воздушный корабль» — 325, *633.*

«Демон» — 311.

«Есть речи — значенье...» — 291, *618.*

«Не верь себе» — 331, *635.*

Лешневич, генерал — 465.

Лжедимитрий I — см. Отрепьев Григорий.

Ливий Тит (59 до н. э.— 17 н. э.), римский историк, автор «Книги деяний римских от основания города» — 319.

Лимейрак Полэн (1817—1868), французский журналист, во время Июльской монархии сотрудничал в «Revue de deux mondes», затем сотрудник и редактор наполеоновских изданий — 255, *619.*

Линская (урожд. Коробьина) Юлия Николаевна (1820—1871), актриса петербургского Александринского театра с 1841 г.— 182, *586.*

«Литературное наследство» — *522, 523, 540, 541, 550, 563, 568, 576, 586, 591, 592, 595, 598, 604, 611, 614, 628, 629, 652, 653, 659, 668, 669, 673, 677.*

Лодыженская (литературный псевдоним Вахновская С.) Елизавета Александровна (урожд. Сушкова; 1828—1891), писательница — 335, 336, *637.*

«Рассказы и очерки» — *637.*

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), историк литературы и библиограф, сотрудничал в «Русском вестнике» —

160—162, 168, 288, 289, 297, 302, *571, 582, 618*

«Восстановление истины» — *571.*

«Письмо к редактору» — *618.*

Луи-Филипп (1773—1850), французский король в 1830—1848 гг.— *643.*

Лухманов Александр Дмитриевич (ум. 1865), купец, коллекционер — 327, *634.*

Львов Владимир Владимирович, князь (1804—1856), беллетрист и детский писатель — 390, 393, 394, 443—445, *628, 653—655.*

«Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал, и что она происходила» — 390, 393—395, *628, 654, 655.*

Львов Николай Михайлович (1821—1872), драматург — *669, 671.*

«Предубеждение, или Не место красит человека...» — 444, *671.*

«Свет не без добрых людей» — 443, 444.

Львов Павел Юрьевич (1770—1825), драматург и переводчик — *675.*

Лыкошин В., корреспондент «Русской беседы» — *545.*

«Мысли бельского вотчинника по вопросу об устройстве быта смоленских крестьян» — 71, *545.*

Любимов (литературный псевдоним Варфоломей Кочнев) Николай Алексеевич (1830—1897), физик, профессор Московского университета в 1854—1882 гг., публицист, сотрудник «Русского вестника» — *642.*

«М. Н. Катков» — *642.*

Лядова Вера Александровна (1839—1870), актриса петербургского балета, затем опереточная певица — *594.*

М — р, сердобский помещик — 509, 515.

Мазепа Иван Степанович (1644—1709), гетман Украины с 1687 г.— 342.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 201, 327—329, 333, 334, 424, 428—434, *588, 594, 634, 635, 664, 665.*

«Другу Илье Ильичу» — 430, 432, *666.*

«Коляска» — *666.*

«Картинка (после манифеста 19-го февраля 1861 г.)» — 433, 434, *665.*

«После бала» — 333, 334, *635.*

«1854-й год» — *666.*

Майков Валериан Николаевич (1823—1847), литературный критик и социолог, сотрудник «Отечественных записок» — 7, 8, *524, 527, 528, 530—532, 580.*

«Критические опыты» — *527, 532.*

«Стихотворения Кольцова» — 7, 8, *524, 531—532.*

Макарий (Михаил Петрович Булгаков; 1816—1882), епископ Винницкий, затем Московский митрополит, автор сочинений по истории русской церкви — 35, 48, 49, 475.

«История русского раскола» — 35, 37, 48, 49, 475, 498, 499.

Макарий, схимонах, жил на Афонской горе — 59, 60, 491.

Макашин Сергей Александрович, литературовед — *522, 541, 577, 582, 592, 669.*

«Новые материалы о Салтыкове-Щедрине» — *522.*

«Салтыков-Щедрин. Биография» — *541.*

Максимов Алексей Михайлович (1813—1861), актер петербургского Александринского театра — *586.*

Манасеина (литературный псевдоним — Николаенко) Мария Михайловна (ум. 1903), писательница, автор трудов по психологии и физиологии — 335, 336, *637.*

Манн Ипполит Александрович (1823—1894), драматург, театральный и музыкальный критик, член театрально-литературного комитета — 164, 173, *576.*

Марини Игнацио (1811—1873), итальянский артист (бас). Гастролировал в Петербурге в итальянской опере в 1853—1863 гг.— 178, *584.*

Маркович (литературный псевдоним — Марко Вовчок; урожд. Вилинская) Мария Александровна (1834—1907), писательница — 422, 423, *628, 664.*

«Медведь» — 422.

«Невольница» — 422, 423; Остап — 423, 424.

«О девяти братьях разбойниках и о десятой сестрице Гале» — 422, 423.

«Сказки» — 422, *664.*

«Марсельеза», французская революционная песня, с 1887 г. государственный гимн Франции, слова и музыка написаны в 1792 г. военным инженером Руже де Лилем — 262, *610.*

Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1906), артист петербургского Александринского театра — *586.*

Масе Жан (1815—1894), французский детский писатель — *666*

«История кусочка хлеба» — 435, *666.*

«Маяк современного просвещения и образованности», ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1840—1845 гг.— *606*.

Медведева (по мужу — Гайдукова) Надежда Михайловна (1832—1899), актриса московского Малого театра с 1849 г.— 143, 144, 146, 149.

Мейер Карл (1786—1870), немецкий поэт — 417.

Мейербер Джакомо (Якоб Бер; 1791—1864), французский композитор, пианист и дирижер.

«Гугеноты» — *579*.

Мейн Александр Данилович, биограф М. С. Щепкина — *667*.

Мельников (литературный псевдоним — Андрей Печерский) Павел Иванович (1819—1883), писатель — 86, 196, 266, 359, 387, 391, 403, *540, 550, 587, 612, 628, 653—655*.

«Заузольцы» — *654*.

«О русской правде и польской кривде...» — 384, *607, 627, 628, 653—655, 657*.

«Поярков» — *550, 654;* Поярков — 86, *550*.

«Старообрядческие архиереи» — 403.

«Старые годы» — *654*.

«У Макария» — *654*.

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), поэт и критик, профессор Московского университета — 30.

Мессала Корвин Марк Валерий (64—9 до н. э.), римский оратор — 319.

Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист, экономист и публицист — *605*.

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), экономист и социолог, профессор Петербургского университета — 122.

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), государственный деятель; в 1859 г. исполнял обязанности товарища министра внутренних дел, в 1862 г. выступал в защиту Земской реформы — *563*.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт и переводчик — *648*.

Минин Козьма (Козьма Минич Захарьев-Сухорук; ум. 1616), один из организаторов и руководителей борьбы за освобождение Русского государства от польско-шляхетских интервентов в начале XVII в.— 395.

Минкус Людвиг (Алоизий) Федорович (1827—1907), скрипач и композитор, с начала 50-х годов жил в России, в 1861—1872 гг.— солист оркестра Большого театра в Москве — *592*.

«Золотая рыбка» — *592*.

«Фиаметта, или Торжество любви» — *592*.

«Мировой посредник» (позже — «Вестник мировых учреждений»), газета, выходила в Петербурге в 1862—1863 гг., два раза в месяц, издатель-редактор Е. П. Карнович — 232, 235, 242, 247, 248, 515, *600, 601, 604*.

«Мирское слово», еженедельная газета, издавалась в Петербурге в 1863—1879 гг.— *612, 620*.

Миттермайер Карл Жозеф Антон (1787—1867), немецкий криминалист — 400, *658*.

«Руководство к судебной защите по уголовным делам» — 400, *658*.

Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), поэт, беллетрист и публицист, революционный демократ; арестован в 1861 г. и сослан на каторгу за распространение написанной им вместе с Н. В. Шелгуновым прокламации «К молодому поколению» — *583, 671*.

Мицкевич Адам (1798—1855) — *595*.

«Дзяды» — 214, *595*.

Монументов Владимир, псевдоним Буренина В. П. (см.).

«Москвитянин», ежемесячный журнал, выходил в Москве в 1841—1856 гг. Издатель-редактор М. П. Погодин, при активном участии С. П. Шевырева — *531, 532, 574*.

«Московские ведомости», ежедневная газета, выходившая с 1756 по 1917 г., в 1856—1862 гг. под редакцией В. Ф. Корша, в 1863—1887 гг.— М. Н. Каткова — 121, 123, 132, 152, 154, 159, 181, 203, 290, 296—298, 301, 304, 325, 337, 350, 444, 448, *549, 552, 554, 556, 564, 567, 569—572, 599, 603, 607—609, 612, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 639*.

«Московский наблюдатель», энциклопедический журнал, выходивший в Москве в 1835—1839 гг., два раза в месяц; в 1835—1837 гг. издатели — объединение «журнальная складчина»; в 1838—1839 гг. неофициальным редактором был В. Г. Белинский — *629*.

Мочалов Павел Степанович (1800—1848), трагик, актер московского Малого театра — 141, *565, 585*.

Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874), писатель и журналист — 337, *639*.

«Выкуп крестьянских угодий» — *639*.

Муравьев (Вешатель) Михаил Николаевич, граф (1796—1866), генерал-адъютант, член Государственного совета, министр государственных имуществ в 1857—1862 гг., член Главного комитета по крестьянскому делу — *565.*

Муравьева Марфа Николаевна (Никифоровна) (1838—1879), артистка балета, в 1860—1862 гг. выступала в московском Большом театре, в 1862 г. переехала в Петербург, где танцевала до 1865 г.— 202, 203, *594.*

Мюссе Альфред (1810—1857), французский писатель-романтик, поэт, прозаик и драматург — 448, 452, 453, *628, 671, 672.*

«Ролла» — 448, 452—454, *628, 671, 672.*

Н. М., псевдоним корреспондента «Эпохи» — 468, 469, *676.*

«Рим (Современный очерк)» — 460, 464, 468, *676.*

Н — н, сердобский помещик — 509, 515.

Назимов Владимир Иванович (1802—1874), генерал-адъютант, в 1855—1862 гг.— виленский губернатор, в 1862—1863 гг.— генерал-губернатор — *543, 545.*

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 324—326, *633.*

Наполеон III (1808—1873), император Франции в 1852—1870 гг.— 151, 289, 326, 463, *573, 605, 633, 643.*

«Народная газета», выходила еженедельно в 1863—1869 гг. в Петербурге, с апреля 1869 г.— в Москве. Издатель-редактор И. Н. Кушнерев — *620, 656.*

Натальин С., журналист, сотрудничал в «Нашем времени».

«Полицейские будки в Москве» — 299, *620.*

«Наше время», ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве с 1860 до 1863 г.; в 1862—1863 гг. редактор-издатель Н. Ф. Павлов; субсидировалась министерством внутренних дел — 101, 121, 151, 152, 154, 158, 181, 221, 237, 290, 295, 296, 298, 301, 323, 350, 505, 506, *552, 564, 566, 569, 595, 599, 602, 608, 609, 612, 614—618, 620, 621, 626, 632.*

«Не тронь менé», псевдоним корреспондента «Современника» — 248, 249, 501, 509, *600—602.*

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 129, 334, 337, *523, 531, 560, 568, 581, 592, 593, 601, 614, 635, 638, 646, 663.*

«На Волге» — *635.*

Нечкина Милица Васильевна, академик, историк — *541.*

Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк — *631.*

Никита (отец Никандр), монах, жил на Афонской горе, друг Арсения — 58, 490, 491.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877), академик, мемуарист и литературный критик, цензор, профессор русской словесности Московского университета — *580.*

Никитин Иван Саввич (1824—1861), поэт — 31.

Никитина Нина Серафимовна, литературовед, текстолог — *677.*

Никифоров Николай Матвеевич (1805—1881), актер московского Малого театра — 139, 144.

Николаенко, литературный псевдоним Манасеиной М. М. (см.) и Шамониной Н. Д. (см.).

Николай I (1796—1855), император с 1825 г.— *523, 581, 621, 631, 642, 666.*

Никон (Никита Минич Минин; 1605—1681), патриарх Московский и всея Руси в 1652—1667 гг., церковный реформатор — 407.

Нильский (настоящая фамилия — Нилус) Александр Александрович (1841—1899), артист петербургского Александринского театра, мемуарист — 164, 171, *586.*

«Ничего в волнах не видно», русская народная песня — 304.

«Новое время», политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1868—1917 гг., с 1869 г.— ежедневно. Издатели-редакторы — А. К. Киркор и Н. Юматов, затем Ф. Устрялов и И. Сухомлин и т. д., с 1876 г.— А. С. Суворин — 152, *547.*

Ободовский Александр Григорьевич (1796—1852), педагог и статистик, профессор статистики и педагогики Главного педагогического института в Петербурге, автор «Учебной книги всеобщей географии» — 181.

Ободовский Платон Григорьевич (1803—1864), драматург и переводчик — 181, *568, 580.*

«Велизарий» (переделка); Юстиниан — *568, 580.*

«Боярин Матвеев, друг царя и народа» — 174, 181, *584.*

Оболенский Дмитрий Александрович, князь (1822—1881), член Государственного совета, товарищ министра государственных имуществ, в 1862—1865 гг.— председатель комиссии для устройства цензуры и выработки нового закона о печати — *596.*

Обручев Владимир Александрович (1836—1912), участник революционного движения 60-х годов, сотрудник «Современника» — *671.*

«Общее вече», прибавление к «Колоколу», издавалось в 1862—1864 гг. (до октября 1862 г. при участии В. И. Кельсиева) — *659.*

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э. — 17 н. э.), римский поэт.

«Метаморфозы»; Бавкида — 25; Филемон — 25.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — *585, 599, 609, 654, 655, 659, 664.*

«Одесский вестник», политическая и литературная газета, выходившая в 1827—1893 гг.; с 1828 г.— ежедневно — *667.*

Ожье (Augier) Эмиль (1820—1889), французский драматург — 250, 251, 261—264, *608, 610.*

«Le fils de Giboyer» («Сын Жибуайе») — 250, 262, *608.*

Оз — н (Ознобишин Илья Семенович), мировой посредник в Сердобском уезде, Саратовской губ.— 239, 242, 247, 506, 509, 510, 515.

Оливинская, польская балерина, солистка Варшавского оперного театра — 300, *621.*

Орсини Феличе (1819—1858), итальянский буржуазный демократ, республиканец, участник борьбы за национальное освобождение и объединение Италии — 289.

Основский Нил Андреевич (ум. 1871), беллетрист и издатель — 296, 297, *619.*

Островинская Анна Орестовна (ум. 1903), детская писательница — *668.*

«Великий актер из народа» — *668.*

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 12, 15, 16, 141, 151, 182, 197, 323, 336, 415, 421, 422, 428, 449, 473, *521, 530—532, 565, 567, 569, 575, 580, 583, 585, 586, 632, 651, 664, 665.*

«Бедная невеста» — 16.

«Бедность не порок» — 415, *531, 532, 664*; Любим Торцов — 172, 415, 422, *664.*

«Грех да беда на кого не живет» — 182, *575, 583, 586.*

«Гроза» — *586, 588;* Катерина — *586.*

«Не сошлись характерами!»; Толстогараздова — 336, *637, 638.*

«Не так живи, как хочется» — 15, *530, 651.*

«Праздничный сон — до обеда» — *632;* Акулина Гавриловна Красавина — *632.*

«Свои люди — сочтемся!» — 12, 16, 323, *632;* Олимпиада Самсоновна Большова — 449; Устинья Наумовна — 323, *632.*

«Тяжелые дни» — 428, *586, 665;* Настасья Панкратьевна — 428, *665.*

«Отечественные записки», ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге с 1818 г. С 1839 г. редактор-издатель — А. А. Краевский. Перейдя в 1868 г. к Некрасову и Салтыкову, журнал стал органом революционной демократии — 8, 160, 247, 303, 304, 514, *531, 571, 576, 586, 590, 592, 598, 604, 615, 625, 630, 637, 643, 656, 663, 669.*

Отрепьев Григорий (Лжедимитрий I), монах Чудова монастыря; принято считать, что он в начале XVII в. выступил под именем царевича Дмитрия Ивановича. Убит в 1606 г.— 342.

Отсон Ф. X., директор фабрики купцов Хлудовых в г. Егорьевске Рязанской губ.— 85, 87, 90, 91.

«Очерки», политическая и литературная газета, выходила в Петербурге с 11 января по 8 апреля 1863 г., ежедневно в утреннем и вечернем изданиях. Издатель А. Н. Очкин; редактор Г. З. Елисеев — 289, 290, *612, 618.*

Очкин Амилий Николаевич (1791—1865), цензор Петербургского цензурного комитета (1841—1848), в 1836—1862 гг. редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» — *618.*

Павлов Иван Васильевич (1823—1904), журналист, учился с Салтыковым в Московском благородном пансионе и в Лицее, был близок славянофилам, в 1860 г. издавал журнал «Московский вестник» — *523, 546.*

Павлов Николай Филиппович (1805—1864), беллетрист, поэт, литературный критик и публицист, в 1860—1863 гг. редактор-издатель газеты «Наше время» — 158—160, 162, 181, 266, 270, 295—297, 304,

323, 391, *564, 566, 569, 573, 599, 608, 609, 611, 616—618, 626, 632, 655, 656.*
«Биограф-ориенталист» — 323, *632.*
«Чиновник». Комедия графа В. А. Соллогуба» — 323, *632.*

Павлова Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса и переводчица — 362—367, 420, *627, 646—648.*
«Есть любимцы вдохновений» — 365, *647.*
«И. С. Аксакову» — 363, *647.*
«К С. К. Н.» — 366, 367, *648.*
«Лампада из Помпеи» — 363, *647.*
«Монах» — 367.
«Мотылек» — 366, *648.*
«Поэт» — 363, 365, *647, 648.*
«Стихотворения» — 362—367, *627, 646, 647.*
«Сцена» — 363, *647.*
«Труд ежедневный, труд упорный!» — 364, *647.*

Пальтриньери, итальянский певец, артист итальянской оперы в Петербурге — 176, *584.*

Панаев Ипполит Александрович (1822—1901), заведующий конторой «Современника» в 1856—1866 гг.— *522, 614.*

Пановский Николай Михайлович (1802—1872), журналист, сотрудничал в «Московских ведомостях», «Москвитянине», «Нашем времени» и «Современной летописи» — 154, 155, 159, 162, 297, *570.*
«Бенефис г-жи Богдановой» — *570.*

Парфений (Павел Васильевич Васильев-Чертков; 1782—1853), архиепископ Владимирский (1821—1850), потом Воронежский, духовный писатель — 33—37, 51—54, 57, 61, 62, 65, 66, 68, 473—477, 480—484, 488—493, 495, 497, 498, 500, *521, 533—535, 537, 538, 658, 677.*
«Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святыя горы Афонския инока Парфения» — 33, 35—37, 51—58, 61, 62, 65, 66, 68, 473—477, 480—484, 488—493, 495, 497, 498, 500, *521, 533—538, 658, 677.*

Перро Жюль-Жозеф (1810—1892), французский балетмейстер и танцовщик, в 1848—1859 гг. работал в России (Петербург) — 199, *570, 591, 594.*
«Ундина, или Наяда и рыбак» (постановка) — 155, 199, *570, 591, 594, 676.*

«Песни Скорбного поэта», сборник стихотворений Жулева Г. Н. (см.).

Петипа Мариус Иванович (1822—1910), балетмейстер — *568.*

Петр I Алексеевич (1672—1725), император с 1696 г.— 51, 487, *563, 633.*

Петр Пустынник (или Петр Амьенский; ок. 1050—1115), аскет, которому приписывалась организация первого крестового похода — 40, 480, *540.*

Петров Антон (Антон Петрович Сидоров; 1824—1861), крестьянин села Бездна Казанской губ., руководитель крестьянского восстания — *555.*

Петрова Мария Осиповна, актриса петербургского Александринского театра с 1863 по 1876 г., дочь певца О. А. Петрова — 198.

Печаткин Вячеслав Петрович (1819—1898), петербургский издатель и книгопродавец — *524.*

Пиа (Pyat) Феликс (1810—1889), французский политический деятель и драматург — *569, 610.*
«Парижский ветошник» («Chifonier de Paris») — 151, 262, *569, 610.*

Пипт, итальянский композитор — *594.*
«Метеора, или Долина звезд» (совместно с Ц. Пуни) — *594.*

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — *566, 582, 607, 648, 662, 670.*
«Базаров» — *582.*
«Образованная толпа» — *566.*
«Очерки из истории печати во Франции» — *597.*
«Поэты всех времен и народов» — *662.*
«Реалисты» — *607.*
«Цветы невинного юмора» — *670.*

Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881), романист и драматург, в начале 60-х годов — редактор «Библиотеки для чтения» — 183—188, 190—193, 195—197, 309, 454—459, 473, *567, 576, 580, 586—589, 672.*
«Батька» — *590;* Тимофей — *590*
«Взбаламученное море» — 183, 458, *589—591, 673,* Дедовхин (Иона-циник) — 457, *673;* Ленева Софи — 186, *591;* Проскриптский — 458, *673.*
«Горькая судьбина» — 183, 184, 186, 188—198, *576, 586—591.*
«Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки» — *589*
«Ответ Никиты Безрылова своим

врагам — фельетонисту «Северной пчелы» и хроникеру «Искры» — *589.*

«Тысяча душ» — *588, 589, 591;* Калинович — 186, *591;*

«Тюфяк» — *588, 589.*

Письменный Андрей Петрович, предводитель дворянства в Павлоградском уезде — 239, 241, 507, 508.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — *607.*

«Социализм и политическая борьба» — *607.*

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), поэт демократического лагеря, участник кружка Петрашевского — 334, 417—418, 420, 421, *628, 663.*

«Лжеучителям» («Жрецы греха, пророки тьмы...») — *663.*

«Новые стихотворения» — 417, *628, 663.*

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор синода в 1880—1905 гг.— *658.*

«Повесть о Горе-Злочастьи и как Горе-Злочастье довело молодца во иноческий чин», произведение русской литературы XVII в.— 43, 485, *540.*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк и публицист, профессор Московского университета с 1826 по 1844 г., редактор-издатель журнала «Москвитянин» (1841—1856) — 140, 161, 297.

Познякова-Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925), выпускница Московской театральной школы, позднее выдающаяся артистка Малого театра — 49.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), журналист, беллетрист, историк и переводчик — 34, *581.*

«Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» — 164, 173, *577, 581.*

«Параша-сибирячка» — 173, *577, 584.*

Поллион Азиний (75 до н. э.— 4 н. э.), римский поэт и историк — 319.

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт — *635.*

«Женщине» — *635.*

Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803—1884), библиограф и библиофил — *566.*

«Новая драма на московской сцене» — *566.*

Понсар Франсуа (1814—1867), французский драматург — *608.*

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863), писатель — *661.*

Попельницкий Алексей Захарович (род. 1850), историк и публицист — *556, 557.*

«Специальная цензура книг и статей по крестьянскому вопросу в 1861—1862 гг.» — *556, 557.*

Попов Николай Иванович (1831—1878), историк и археолог — 442, *668, 669.*

«Сборник из истории старообрядства» — 442, *629, 668, 669.*

Потехин Николай Антипович (1834—1896), драматург, театральный критик, режиссер и актер — 421, 422, *586, 628, 664.*

«Благотворители» — *664.*

«Выборное начало» — *664.*

«На нижегородской ярмарке»; Кошедавлев — 422, *664.*

«Наши безобразники» — 421, *586, 628, 664.*

«Наши в Париже» — *664.*

«Откупные козыри» — *664.*

Прево-Парадоль Люсьен (1829—1870), французский журналист и профессор истории литературы, сотрудничал в «Journal des Debats», «Courrier de Dimanche» и «Presse» — 253, 254, 262—264, *610.*

«Le fils de Giboyer» par M. Emile Augier («Сын Жибуайе» М. Эмиля Ожье») — 264, *610.*

Пржецлавский Осип Антонович (1799—1879), журналист, цензор, член Совета по делам книгопечатания и Главного управления по делам печати — *598, 599, 612.*

Проезжий, литературный псевдоним Дубенского Н. Ф. (см.).

Прокопович Николай Яковлевич (1810—1857), поэт, издатель сочинений Н. В. Гоголя — *523, 531.*

Пронский (Владимиров) Платон Петрович (1825—1875), актер петербургского Александринского театра с 1858 г.— 164, 165, 171.

Пуни (Пуньи) Цезарь (1802—1870), итальянский композитор, с 1851 г. штатный композитор балетной музыки при петербургских императорских театрах — 199, *568, 570, 591, 594.*

«Дочь фараона» — 145, *568.*

«Метеора, или Долина звезд» (совместно с Пиптом) — *594.*

«Сирота Теолинда, или Дух долины» — 145, *568, 594.*

«Ундина, или Наяда и рыбак» — 155, 199, 201—203, *570, 571, 591, 594, 676.*

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 31, 122, 323, 325, *531, 623, 631, 633, 667.*

«Галуб» («Тазит») — 325, *633.*

«И дале мы пошли, и страх обнял меня...» (Подражание Данте) — 304, 325, *626.*

«Медный всадник» — 325.

«Моя эпитафия» — *623.*

«Русалка» — 325.

«Талисман» — 286, *617.*

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк и литературовед — *540, 563, 576, 586, 591, 592, 595—597, 611, 614, 629, 648, 653, 666, 672, 673.*

«М. Е. Салтыков» — *563, 576, 586, 595, 596, 598, 611, 614, 630, 673.*

«Процессы о печати в Австрии» — *597.*

Пятковский Александр Петрович (1840—1904), журналист и историк литературы, в 60-х — начале 70-х годов сотрудничал в журналах демократического направления — 331—334, 460, *627, 635.*

Р., павлоградский мировой посредник — 237, 239, 505—507.

Радецкий Иоанн Иосиф Венцель фон, граф (1766—1858), австрийский фельдмаршал — душитель революции 1848—1849 гг. в Италии — 367, *648.*

Ракан (Honorat de Bueil), маркиз (1589—1670), французский поэт, в 1625 г. закончил «Les bergeries» — прославившие его пасторали, главным героем которых был Тирсис — 304, 479, *626.*

Рассказов Александр Александрович (1832—1902), артист московского Малого театра в 1853—1866 гг., затем начал антрепренерскую деятельность — 139.

Рафаэль Санцио (1483—1520) — 314, 327, *629, 634.*

Рашель (настоящая фамилия — Элиза Рашель Феликс; 1821 — 1858), французская драматическая актриса — 262, *610.*

Рейсер Соломон Абрамович, литературовед — *628.*

«Гонорарные ведомости «Современника» — *522, 628.*

Ржевский (псевдоним Василий Заочный) Владимир Константинович (1811—1885), публицист, член Совета министра внутренних дел, сотрудник «Русского вестника», а затем «Северной почты» и «Вести» — 101, 121—130, *545, 551—553, 558—561.*

«Да или нет? По поводу статьи Н. П. Семенова «Освобождение крестьян в Пруссии» — *561—562.*

«Несколько мыслей по вопросу о доставлении помещичьим крестьянам возможности приобретения поземельной собственности» — *545.*

«Несколько слов о дворянстве» — 101, 121, 124, *552.*

«Ответ на заметку в фельетоне № 50 «С.-Петербургских ведомостей» — *562.*

«Ответ на статью г. Салтыкова об ответственности мировых посредников» — *553, 558, 559.*

«Письмо к редактору «Русского вестника» по случаю полемики с г. Салтыковым» — *559.*

Ристори Аделаида (1821—1906), итальянская трагическая актриса — 149.

Робеспьер Максимильен (1758—1794) — 433.

Рогов А. («Неизвестный материалист»), корреспондент «Очерков», автор анонимного письма к Юркевичу — 289, 290, *618.*

Розен Егор Федорович, барон (1800—1860), поэт, драматург и литературный критик — *595.*

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), либретто — 213, *595.*

Розенгейм Михаил Павлович (1820—1887), поэт и журналист, редактор журнала «Заноза» (1863—1865) — 359, 391.

Россини Джоакино (1792—1868), итальянский композитор — 163, 173, *576, 584.*

«Вильгельм Телль» («Карл Смелый») — 163, 173—180, *576, 578, 579, 584.*

Рубини Джиованни Батисто (1795—1854), итальянский певец, гастролировал в Петербурге в 1843—1845 гг.— 181, 428, *585.*

«Русская беседа», журнал славянофильского направления, издавался в Москве в 1856—1860 гг. Издатель-редактор А. И. Кошелев; соредакторы Т. И. Филиппов (1856—1857), затем П. И. Бартенев и М. А. Максимович, в 1859 г. фактическим редактором был И. С. Аксаков — 15, *532, 545, 632.*

«Русская старина», ежемесячный исторический журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1918 гг. Основатель журнала М. И. Семевский — *556, 557.*

«Русская сцена», театральный журнал, выходил ежемесячно в Петербурге в 1864—1865 гг. Издатель-редактор Н. В. Михно — *668.*

«Русские ведомости», общественно-политическая ежедневная газета, выходила в Москве в 1863—1918 гг. Основатель газеты Н. Ф. Павлов — 391, *655.*

«Русский вестник», литературный и политический журнал, издававшийся в 1856—1906 гг. в Москве, с 1887 г.— в Петербурге, до 1887 г. редактором-издателем был М. Н. Катков — 8, 46, 104, 143, 152, 158, 161, 162, 181, 216—222, 224—228, 230, 231, 238, 265, 271, 290, 301, 303, 315, 323, 325, 339, 343, 345—352, 403, 446, 496, 506, *523—526, 532, 535, 540, 542, 553, 558—560, 562, 564—566, 573, 589, 590, 595, 596, 598, 607, 612, 614, 620, 622, 623, 629, 632, 634, 637, 638, 641—644, 647, 650, 652, 660, 668, 670.*

«Русский дневник», ежедневная газета, выходила в Петербурге в 1859 г. (с января по июль). Издатель-редактор П. И. Мельников (А. Печерский) — *654.*

«Русский инвалид», военная, литературная и политическая газета, издававшаяся в Петербурге с 1813 по 1917 г. ежедневно, с 1855 до середины 1861 г.— под редакцией П. С. Лебедева и Л. Н. Турунова, в 1861—1862 гг.— Н. Г. Писаревского — 152, 154, *569, 612.*

«Русский листок», еженедельная газета, выходила в Петербурге в 1862—1863 гг. Издатель-редактор Ю. А. Волков, затем Г. И. Кори, в 1863 г. в редактировании газеты принимали участие В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов — 267—272, *611—613.*

«Русское обозрение», политический, литературный и научный журнал, выходил ежемесячно в Москве в 1890—1898, 1901 и 1903 гг.— *672.*

«Русское слово», ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Петербурге в 1859—1866 гг. Основан Г. А. Кушелевым-Безбородко; с 1860 г. издатель-редактор Г. Е. Благосветлов, соредакторы Я. П. Полонский и А. А. Григорьев — 446, *521, 576, 582, 590, 597, 604, 629, 632, 644, 647, 648, 652, 662, 670.*

Рыбников Павел Николаевич (1831—1885), этнограф — *664.*

Рызыкин, винодел — 456.

Рюрик (ум. 879), первый русский князь — 395.

С., корреспондент «Мирового посредника» — 232—235, 242, 247, 248, *600.*

«Еще пример дикости» — 232—234, *600.*

С. Григорий Павлович, полтавский мировой посредник — 248, 249, 501, 502, 515—517, *600—601.*

С — н Н., литературный псевдоним Субботина Н. И. (см.).

Садовский (настоящая фамилия — Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872), артист московского Малого театра — 139, 145, 146, 150, *567.*

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889).

«Богомольцы, странники и проезжие» («Губернские очерки») — *535—536.*

«В деревне» — *521, 562.*

«Гегемониев» («Невинные рассказы») — *584.*

«Глуповское распутство» — *606.*

«Господа ташкентцы» — *605.*

«Госпожа Падейкова» («Сатиры в прозе») — *558;* Падейкова — 118, *558.*

«Губернские очерки» — *524, 530, 534, 535, 558, 567, 670.*

«Для следующих номеров «Свистка» — *677.*

«Дневник провинциала в Петербурге» — *550, 571, 605.*

«Журнальный ад» — *643, 673.*

«За рубежом» — *609.*

«Запутанное дело» — *574, 579, 585, 663;* Алексис Звонский — *663;* Иван Мичулин — *579, 585.*

«История одного города» — *531, 584, 645, 646, 651.*

«К читателю» («Сатиры в прозе») — *561.*

«Как кому угодно» — *521.*

«Каплуны» — *609.*

«Литераторы-обыватели» («Сатиры в прозе») — *550, 630.*

«Литературные кусты» — *673, 674.*

«Литературные мелочи» — *580, 594, 624.*

«Мелочи жизни» — *550, 610.*

«Миша и Ваня» («Невинные рассказы») — *625.*

«Наша общественная жизнь» — *521, 557, 562, 586, 595, 604, 607, 612, 613, 616, 618, 622—624, 634, 636, 642, 644, 648, 651, 652, 654, 657, 664, 666, 676.*

«Невинные рассказы» — *579, 625, 673.*

«Неумелые» («Губернские очерки») — 129, 130, *558;* Голенков — 129, *560.*
«Один из деятелей русской мысли» — *631.*
«Письма к тетеньке» — *571, 579, 622.*
«Письма о провинции» — *592.*
«Погоня за счастьем» («Сатиры в прозе») — *553;* Матрена Ивановна — 105, *553;* Стрекоза — 105, *553.*
«Помпадуры и помпадурши» — *553.*
«Пошехонская старина» — *565, 574, 667.*
«Признаки времени» — *592, 605.*
«Проект современного балета» («Признаки времени») — *571.*
«Противоречия» — *574, 662.*
«Сатиры в прозе» — *553, 561.*
«Сила событий» («Признаки времени») — *605.*
«Скрежет зубовный» («Сатиры в прозе») — *548.*
«Современная идиллия» — *622, 650.*
«Современные призраки» — *521, 593.*
«Соглашение» («Сатиры в прозе») — *550.*
«Старец» («Губернские очерки») — 496, 497, *535.*
«Тени» — *567.*
«Тихое пристанище» — *579;* Веригин — *579;* Крестников — *579.*
«Тревоги «Времени» («Наша общественная жизнь») — *622, 623.*
«Утро Хрептюгина» («Невинные рассказы») — *580;* Хрептюгин — *580.*
«Характеры» — *570.*
«Что такое ташкентцы?» («Господа ташкентцы») — *631.*
Самарин Иван Васильевич (1817—1885), артист московского Малого театра — 139, 149, 161, *583.*
«Перемелется — мука будет» — *583.*
Самойлов Василий Васильевич (1813—1887), артист петербургского Александринского театра — 150, 163, 165, 166, 171, 172, 182, *567, 575, 579, 583, 586.*
«Санкт-Петербургские ведомости», ежедневная газета, выходившая в 1728—1917 гг., в 1836—1862 гг. арендатор А. Н. Очкин, редактировал в 1851—1862 гг. Краевский А. А., в 1862—1875 гг. арендные права перешли к В. Ф. Коршу — *522, 545, 593, 612, 667.*
Сапожников Ф., переводчик — *675.*
Сарду (Sardou) Викторьен (1831—1908), французский драматург — 250, 251, 261—263, *607, 608.*
«Глупцы» («Les Ganaches») — 250, 262, *607, 610.*
«Свисток», сатирический отдел в журнале «Современник», созданный Н. А. Добролюбовым. Вышло девять номеров в 1859—1863 гг.— 129, 273, 276, 291, 303, *522, 560, 567, 614, 622, 631, 642, 646, 666.*
Свифт Джонатан (1667—1745) — *599.*
«Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера...» — *599*; Гулливер — 221, 223.
Святогорец, литературный псевдоним иеромонаха Сергия (см.).
Святослав Игоревич (ум. 972 или 973), великий князь Киевский (ок. 945—972 гг.), выдающийся полководец — 395.
«Северная почта», ежедневная газета министерства внутренних дел, издававшаяся в Петербурге с 1862 по 1868 г., в 1862—1863 гг. ее редакторами были А. В. Никитенко, затем И. А. Гончаров; с 1863 г. Д. И. Каменский — 142, 152, 154, *552, 569.*
«Северная пчела», политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге в 1825—1864 гг., основана Ф. В. Булгариным, с 1831 по 1859 г. он редактировал ее с Н. И. Гречем, в 1860 г. газета перешла к П. С. Усову — 142, 337, *522, 555, 566, 636, 638, 654.*
«Северные цветы», литературный альманах, издававшийся в Петербурге ежегодно в 1825—1832 гг. Редактором-издателем первых семи выпусков был А. А. Дельвиг, восьмой выпуск издал А. С. Пушкин — 352, *676.*
Селиванов Илья Васильевич (1809—1882), писатель, во второй половине 50-х — начале 60-х годов сотрудник «Современника» — 442.
Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк и публицист, с 1870 г. начал издавать журнал «Русская старина» — 433.
Сенковский (литературный псевдоним — барон Брамбеус) Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858), историк и журналист, критик и писатель, редактор «Библиотеки для чтения» — *524.*
Сен-Леон (настоящее имя Шарль Виктор Артюр Мишель; 1821—1870), французский артист балета и балетмейстер, автор многочисленных балетов, работал в петербургских театрах — 202, *568, 592, 594.*
«Золотая рыбка» (постановка) — *592.*

«Метеора, или Долина звезд» (постановка) — *594.*

«Сирота Теолинда, или Дух долины» (постановка) — *568, 594.*

«Фиаметта, или Торжество любви» (постановка) — *592.*

Сен-Симон Анри-Клод (1760—1825), французский утопический социалист — *559.*

Сергий (С. А. Веснин; литературный псевдоним — Святогорец; 1814—1853), иеромонах, путешествовал на Афон и описал его в своих произведениях — 60.

«Письма к друзьям своим о святой горе Афонской» — 60, 62.

Сергий, архимандрит, один из ближайших сподвижников митрополита Кирилла — 404.

«Сердобский обыватель», корреспондент газеты «Голос» — 239, 241, 242, 335, 506, 509, *603, 637.*

«За и против. К вопросу об антагонизме между помещиками и посредниками» — 239, *603.*

Серебрянский Андрей Порфирьевич (1808—1838), поэт — 17.

Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), участник революционного движения, сотрудничал в «Колоколе» — *671.*

Серов Александр Николаевич (1820—1871), композитор и музыкальный критик — 204.

Сеян (Sejanus) Луций Элий (ум. 31), временщик при римском императоре Тиберии, в 26—31 гг. фактически управлял государством — 319, 320.

Синявский К. И., издатель — 343, *641.*

Скавронский А., литературный псевдоним Данилевского Г. П. (см.).

Скавронский Н., литературный псевдоним Ушакова А. С. (см.).

Скарятин Владимир Дмитриевич, журналист, издатель-редактор газеты «Весть» (1863—1870) — *612, 613.*

«Скорбный поэт», литературный псевдоним Жулева Г. Н. (см.).

Скотт Вальтер (1771—1832) — *585.*

«Ламмермурская невеста» — *585.*

Славин (Протопопов) Александр Павлович (1815—1869), актер Малого, затем петербургского Александринского театра — 149, 163, *568, 580.*

Слепцов Александр Александрович (1835—1906), участник революционного движения, один из основателей общества «Земля и воля» и член его центрального комитета — *641, 676.*

«Льется польская кровь, льется русская кровь» — *641.*

«Педагогические беседы» — *676.*

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878), писатель-демократ — 197, *612.*

«Письма об Осташкове» — 265, *612.*

Словцова (литературный псевдоним М. Камская) Екатерина Александровна (1838—1866), писательница и журналистка, сотрудничала в «Русском вестнике» и «Дне» — 439, *668.*

«Моя судьба» — 439, 441, *668.*

Смарагдов Семен Николаевич (ум. 1871), педагог, профессор Александровского лицея, автор учебников по истории — 468.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), книготорговец и издатель — *633.*

Снегирев Иван Михайлович (1793—1868), археолог и фольклорист, профессор Московского университета — 387, 391, 393.

Снеткова Фанни (Федосья) Александровна (1838—1869), актриса петербургского Михайловского театра с 1858 г.— 172, 182, *586.*

Соболев, винодел — 456.

«Современная летопись», еженедельное приложение к журналу «Русский вестник» (1861—1862), а в 1863—1871 гг.— к газете «Московские ведомости» — 122, 181, 221, *551, 553, 555, 558—560, 562, 564, 565, 597, 599, 609, 614, 634, 643.*

«Современник», основанный А. С. Пушкиным литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1836—1866 гг.; с 1847 г. редактировался Н. А. Некрасовым, до 1862 г. совместно с И. И. Панаевым, в 50—60-х годах ведущий орган революционной демократии — 143, 204, 221, 245, 248, 265—270, 272, 282, 295, 297, 336, 341, 417, 421, 442, 501, 515—517, *522, 523, 540, 546, 548, 557, 560, 562, 563, 565, 566, 571, 574, 576, 581, 582, 585—587, 589, 591, 593, 595, 597—600, 603—604, 608, 611, 612, 618, 622, 623, 625, 627—632, 634—636, 638, 640, 642, 644—648, 651, 653, 655—658, 661—674, 676, 677.*

«Современное слово», ежедневная газета, выходила в Петербурге с 1 июня 1862 г. по 2 июня 1863 г.; редактор — Н. Г. Писаревский — *578.*

Соколов Александр Александрович (ум. 1861), драматург.

«Новгородцы в Ревеле» (совместно с

С. Егоровым) — 164, 173, *576, 577, 581*; Гротенгельм — 163, *576, 580.*

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901), московский меценат, коллекционер, книгоиздатель, в 1862 г. возглавил издательство, организованное на кооперативных началах — 383, *651.*

Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), писатель — *585.*

«Аптекарша» — 181, *585.*

«История двух калош» — 181, *585.*

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк, с 1847 г. профессор Московского университета — 399, *534, 657.*

«История падения Польши» — *657.*

Сомов (литературный псевдоним Порфирий Байский) Орест Михайлович (1793—1833), беллетрист, редактор «Литературной газеты» и «Северных цветов» — *646.*

Соханская (литературный псевдоним Н. Кохановская) Надежда Степановна (1825—1884), писательница — 368, 369, 371—374, 376, 378, 379, 382, *627, 648—651.*

«Гайка» — 373.

«Давняя встреча» — 373.

«Из провинциальной галереи портретов» — 373.

«Кирила Петров и Настасья Дмитриева» — 373, 379—382, *651.*

«После обеда в гостях» — 368, 373.

«Старина» — 373.

Спиноза Барух (1632—1674) — 333.

Ст — в (Степанов Аркадий Аркадьевич), сердобский уездный предводитель дворянства — 239, 243, 506, 511.

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — *590.*

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), литератор, глава московского литературно-философского кружка (1832—1837) — 17, *616.*

Старчевский Альберт Викентьевич (1818—1901), журналист, в 1856—1870 гг. редактор «Сына отечества» — *524.*

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк и публицист, редактор «Вестника Европы» — *541, 547.*

Степанов Николай Александрович (1807—1877), карикатурист; в 1859 г. совместно с поэтом В. С. Курочкиным основал журнал «Искра», в 1865 г.— журнал «Будильник» — 162, *589, 620.*

«Стих Асафа-царевича», памятник русской народной поэзии — 42, 43, 484, 485, *540.*

«Стих о антихристе» — 47.

«Стих о грешной матери» — 46.

«Стих о нынешнем веке и будущем» — 44.

«Сто русских литераторов», альманах, издавался в Москве в 1839—1845 гг.; вышло три тома. Издатель А. Ф. Смирдин — *633.*

Стороженко Алексей (Олекса) Петрович (1805—1874), украинский писатель — 164, 173.

Страхов (литературный псевдоним — Косица) Николай Николаевич (1828—1896), философ-идеалист, критик и публицист, один из идеологов «почвенничества», сотрудничал в «Русском вестнике», «Времени», «Эпохе» и «Отечественных записках» — 204, 270, 303, 469, *594, 612, 614, 623, 649, 662, 676.*

«Об индюшках и Гегеле» — 464, *676.*

«Роковой вопрос» — *623.*

Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903), артистка, с 1881 г. играла на сцене петербургского Александринского театра — *590.*

Субботин (литературный псевдоним — Н. С — н) Николай Иванович (1827—1905), историк, профессор истории и обличения русского раскола Московской духовной академии — 400, 402, 406—408, *628, 658.*

«Современные движения в расколе» — 400, 402, *628, 658.*

Сумароков Александр Петрович (1718—1777), поэт и драматург — 314.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург.

«Свадьба Кречинского» — 172, *583.*

Суходаев П. Б., писатель и переводчик — 460, 464—468, *675.*

«О добродетелях и недостатках, какие замечаются на всех ступенях развития общественной жизни...» — 460, 464—468, *674, 675.*

Суходрев Вл., литературовед — *547.*

«Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина» — *547.*

«Сын отечества», еженедельный политический, ученый и литературный журнал, издавался в Петербурге в 1856—1861 гг. под редакцией А. В. Старчевского; в 1862 г. был превращен в ежедневную газету — 336, *525.*

Тамберлик Энрико (1820—1888), итальянский певец — 175—179, *584.*

Тамбурини Антонио (1800—1876), итальянский певец, баритон, в 1849—1852 гг. гастролировал в России — 181.

Тарновский (литературный псевдоним — Т. Арновский) Константин Августович (1826—1892), драматург и переводчик — 154, 155, *569, 570, 571.*
«Извозчик» (совместно с В. П. Бегичевым) — 151, *569.*
Тацит Публий Корнелий (ок. 55—120), древнеримский историк, оратор и политический деятель — 321, *631.*
«Театральные афиши и Антракт», ежедневная газета, выходила в Москве в 1864—1865 гг.— *667.*
Тенгоборский Людвиг Валерианович (1793—1857), экономист и статистик, член Государственного совета, с 1850 г. председатель тарифного комитета — *546.*
«Etudes sur les forces productives de la Russie» («О производительных силах России») — *546.*
Термеков, купец, винодел — 456.
Тиберий (Tiberius, Тиверий) Клавдий Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.), римский император с 14 г. н. э.— 227, 319, 320, *615.*
Тиблен Николай Львович, издатель, владелец типографии — *597.*
«По делу о преобразовании цензуры» — *597.*
Тимофей, схимник — 60.
Толстой Алексей Константинович (1817—1875), поэт, драматург и прозаик — 352—354, *622, 644—646.*
«Князь Серебряный» — 301, 352—362, *622, 627, 644—646.*
Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 454—456, 459, *528, 534, 672, 676.*
«Воспитание и образование» — *676.*
«Детство, отрочество и юность» — *673;* Любенька — *673;* Николенька Иртеньев — *673.*
Толстой Феофил Матвеевич (1809—1881), публицист, музыкальный критик, беллетрист и драматург, член совета Главного управления по делам печати — 143, *566—568, 661.*
«Болезни воли» — 143, *566.*
«Пасынок» — 141, 143, 149, 151, 409, *566, 568, 569, 587, 661.*
«Три возраста. Дневник, наблюдения и воспоминания музыканта-литератора» — 143, *566.*
Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769), поэт, ученый и переводчик — 454.
Троицкая Надежда Николаевна (ум. 1896), актриса петербургского балета—*594.*
Тройницкий Александр Григорьевич (1807—1871), в 1853—1863 гг. член Главного управления цензуры, позднее председатель Совета по делам печати и товарищ министра внутренних дел — *546.*
«О числе крепостных людей в России» — *546.*
Трофимов Иван Трофимович, литературовед — *592.*
«М. Е. Салтыков-Щедрин о художественном мастерстве писателя» — *592.*
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 122, 164, 168, 169, 197, 199, 309, 337, 452, 454—460, 473, *522, 528, 534, 535, 567, 578, 581, 582, 589, 638, 671, 673.*
«Гамлет и Дон Кихот» — *638.*
«Два приятеля»; Степан Петрович Барсуков — 454, *673.*
«Ермолай и мельничиха» («Записки охотника») — 451, *671, 673.*
«Затишье»; Веретьев — 454, *673.*
«Отцы и дети» — 168, 457, *576, 578, 581, 582, 588, 594, 671;* Базаров — 164, 165, 167—170, 199, 458, *578, 581, 582, 590;* Базаров-отец — 168; Кирсанов Николай — 168—170, 199, 200, 236, *582, 594, 601;* Кирсанов Павел — 168, 199, 200, 236, *594, 601;* Одинцова — 165, 168, 170.
«Письмо к издателю «Северной пчелы» — 337, *638.*
«Татьяна Борисовна и ее племянник» («Записки охотника») — 454, 458, *673.*
«Чертопханов и Недопюскин» («Записки охотника») — 454, *673;* Маша — 454, *673;* Чертопханов — 454.
Тьер Адольф (1797—1877), французский историк, публицист и политический деятель; в годы Июльской монархии премьер-министр и министр внутренних дел — 326.

Улитина, рязанская помещица, участница «хлудовской истории» — *550.*
Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), общественный деятель, в 1857—1859 гг. предводитель дворянства Тверской губернии: в 60-е годы выступал как публицист по крестьянскому и судебному вопросам — 400, *625, 658.*
Усов Павел Степанович (1828—1888), журналист, в 1860—1864 гг. редактор «Северной пчелы» — *654.*
«П. И. Мельников, его жизнь и литературная деятельность» — *654.*
Устрялов Федор Николаевич (1836—1885), журналист, переводчик и драма-

тург — 143, 163, 164, 168—171, 254, 394, 429, 443, 445—447, *521, 568, 575—578, 580, 581, 583, 609, 628, 665, 669, 670.*

«Воспоминания о русской сцене в шестидесятых годах» — *583.*

«Слово и дело» — 143, 163—172, 254, 429, 444, *568, 575—578, 580, 586, 665, 670;* Вертяев — 254, 429, 444, 445, 448, *578, 583, 609, 669.*

«Чужая вина» — 443, 445, *521, 577, 628, 669;* Зерновский — 445—447, *669.*

Ушаков (литературный псевдоним — Н. Скавронский) Александр Сергеевич, (род. 1836—?), писатель и журналист — 335—337, 459, 460, *636, 637.*

«Антон Иванович Пошехонин» — *637.*

«Были и повести» — *637.*

«Из купеческого быта» — *637.*

«Очерки Москвы» — *637.*

Феваль Поль (1817—1887), французский писатель, автор авантюрных романов — 410.

Федоров Михаил Павлович (1839—1900), драматург, переводчик и критик, редактор газеты «Новое время» с 1873 г.— *569.*

Федоров Павел Степанович (1800—1879), драматург, начальник репертуара императорских театров с 1853 г.— *579.*

«Хочу быть актрисой! или Двое из шестерых» — *579.*

Феофил (ум. 842), византийский император с 829 г.— 342, *641.*

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт — 201, 330, 331, 365, 366, 383, 384, 386, 387, 420, 450, *594, 627, 635, 645, 647, 651, 652, 662, 671.*

«Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь!..» — 452, *671.*

«Из деревни» — 365, *647, 652.*

«Колокольчик» — 386, *652.*

«На заре ты ее не буди» — 383, *652.*

«Не отходи от меня» — 383, *652.*

«Ночь весенней негой дышит» — 450, *671.*

«Ночью как-то вольнее дышать мне» — 385.

«О стихотворениях Тютчева» — *652.*

«Шепот, робкое дыханье...» — 384, 385, *651.*

«Я пришел к тебе с приветом...» — 450, *652, 671.*

Фиален Жан-Виктор, герцог де Персиньи (1808—1872), генерал, министр внутренних дел в 1852—1856 и 1860—1863 гг., один из приспешников Наполеона III — 326 *633.*

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — *566.*

«Запечатленный труд. Воспоминания» — *566.*

Филарет (Захарович), секретарь-письмоводитель при митрополите Кирилле — 404.

Филипп, стрелец, основатель секты старообрядцев-беспоповцев — 49, *541.*

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899), публицист — 15, *529, 532.*

«Не так живи, как хочется», соч. А. Островского» — 15, *530, 532.*

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ-идеалист — 164.

Флобер Гюстав (1821—1880) — 362.

«Саламбо» («Salammbo») — 362.

Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — 122.

«Недоросль» — *581;* Митрофан — 122. 167, *581.*

Фортуна, итальянский певец, солист итальянской оперы в Петербурге — 180, *584.*

Фрина (IV в. до н. э.), афинская гетера, послужившая натурой Праксителю при создании Афродиты Киндской и Апеллесу («Афродита, выходящая из моря») — 327.

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — *559, 610, 624.*

Хвощинская (литературный псевдоним — В. Крестовский, по мужу — Зайончковская) Надежда Дмитриевна (1825—1889), писательница — 441, *668.*

«В ожидании лучшего» — 441, *668.*

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), поэт, драматург и романист — 314.

Хлудовы, купцы, владельцы Егорьевской мануфактуры (Рязанская губ.) — 85, 87, 91, 95, 96.

Хотяинцев, рязанский помещик, участник «хлудовской истории» — *550.*

Хросцицкий Александр Каэтанович, чиновник особых поручений при рязанском губернаторе — *550.*

Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — 320.

Чеккони, итальянский певец, солист итальянской оперы в Петербурге — 176, *584.*

Чернышев Иван Егорович (1833—1863), петербургский артист и драматург — 173, *569, 577.*

«Испорченная жизнь» — 151, *569.*

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — *523, 524, 526, 528, 529, 534, 539, 544, 546, 579, 582, 583, 589, 599, 605—608, 610, 615, 630, 634, 639, 645, 647, 649, 652, 654, 662, 671, 673.*

«История из-за г-жи Свечиной» — *599.*

«О новых условиях сельского быта» — *544, 546.*

«О причинах падения Рима» — *605, 608.*

«Письма без адреса» — *639.*

«Пролог» — *639.*

«Французские законы по делам книгопечатания» — *597, 634.*

«Что делать?» — *583, 591, 652;* Лопухов — 191, *591;* Рахметов — *577, 669.*

«Эстетические отношения искусства к действительности» — *526, 528.*

Чернявский Николай Иванович (1840—1871), журналист и драматург, сотрудничал в «Очерках» — *577, 669.*

«Гражданский брак» — *577, 669.*

Четвериков Иван Иванович (1816—1871), московский купец, член коммерческого суда, почетный гражданин — 153, *570.*

Чижов Федор Васильевич (1811—1877), публицист, славянофил — *548.*

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист, историк и публицист, профессор государственного права Московского университета — 139, 323, 432, *542, 546, 567, 619, 632.*

«Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет» — *567, 619.*

«Москва сороковых годов» — *632.*

«О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян» — *546, 547.*

Чуковский Корней Иванович, писатель и литературовед — *566.*

Ш — н, сердобский помещик — 509, 515.

Шаликов Петр Иванович, князь (1767—1852), поэт, писатель и журналист — 362, *647.*

Шамонина (литературный псевдоним — Николаенко) Надежда Дмитриевна, писательница — 335, 336, *637.*

Шевырев Степан Петрович (1806—1864), поэт, критик и историк литературы, профессор Московского университета — 362, *647.*

Шекспир Вильям (1564—1616) — 10, 309, 451, *568, 671.*

«Венецианский купец» — *568.*

«Гамлет»; Гамлет — 141, 163, 429, *568, 580, 584, 599.*

«Король Лир» — 172, 429.

«Отелло» — 141.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854), немецкий философ-идеалист — *649.*

Шешковский Степан Иванович (1727—1794), начальник тайной канцелярии при Екатерине II — 302, *622.*

Шиллер Фридрих (1759—1805) — 11, 169, 333, *583.*

«Рыцарь Тогенбург» — 169, *583.*

Шилов А. А., библиограф — *522.*

Шуберт Франц Петер (1797—1828).

«Ожидание» — *583.*

«Рыцарь Тогенбург» — 169, *583.*

Шумский (наст. фамилия Чесноков) Сергей Васильевич (1820—1878), актер московского Малого театра, ученик М. С. Щепкина — 139, 144, 145, 149—151, 161, *567.*

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876), историк и публицист-демократ—*626.*

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 139, 140, 161, 436—439, *565, 574, 575, 628, 667, 668.*

«Записки крепостного актера» — 436, 438, 439, *628, 667, 668.*

Щепкин Семен Григорьевич, управляющий имениями графа Волькенштейна, отец артиста — 437.

Щепкина Мария Тимофеевна, мать артиста — 437.

Щербина Николай Федорович (1821—1869), поэт — 334, *574, 635.*

«Альбом ипохондрика» — *574.*

«Битва» — *635.*

Щуров И. С., литературовед — *522.*

«Затерянный ответ «Современника» И. С. Тургеневу» — *522.*

Эзоп (VI в. до н. э.) — *605, 607, 630, 631.*

Эккартсгаузен Карл фон (1752—1803), немецкий философ и писатель-мистик — *615.*

«Ключ к таинствам природы» — 276, *615.*

Эллиот Джордж (настоящая фамилия — Мария Эванс; 1819—1880), английская писательница — *668.*

«Адам Бид» — 440, 441, *668.*

Энгельс Фридрих (1820—1895) — *559, 633.*
«Положение рабочего класса в Англии» — *559.*

«Эпоха», ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1864—1865 гг. под редакцией М. М. и Ф. М. Достоевских — 201, 204, 215, 443, 460, 464—469, *521, 576, 593, 594, 624, 626, 636, 669, 673, 674, 676.*

Эспинасс Эспри (1815—1859), французский генерал, участник декабрьского переворота 1851 г., министр внутренних дел и общественной безопасности в 1858—1859 гг.— 326, *633.*

Эфиров, литературный псевдоним Ефремова П. А. (см.).

Ю — в, сердобский помещик — 509, 515.

Ювенал Децим Юний (ум. после 127 г.), римский поэт-сатирик — 428, 430.

Юматов (литературный псевдоним — Юхманов) Николай Николаевич, журналист, в 1863—1867 гг. редактор-издатель «Вести» (совместно с В. Д. Скарятиным) — 270, *611, 612, 613.*

Юркевич Памфил Данилович (1827—1874), философ-идеалист, профессор Киевской духовной академии, с 1861 г.— Московского университета, сотрудник «Русского вестника» — 155, 156, 173, 203, 204, 279, 288—294, 297, 325, 352, 366, *570, 571, 580, 593—595, 614, 615, 618, 647.*

Юркевич Петр Ильич (? — 1884), драматург и театральный критик, с 1860 г. председатель театрально-литературного комитета — 164, *580.*

Яблочкин Александр Александрович (1824—1895), артист петербургского Александринского театра в 1851—1873 гг., с 1851 по 1855 г. режиссер этого театра — 165, 171.

Яковлев Николай Васильевич, литературовед.
«Хронологический список произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина» — *551.*

«Якорь». Вестник общественной жизни, литературы, музыки и художеств, журнал выходил еженедельно в Петербурге в 1863—1865 гг. До 1864 г. издатель Ф. Т. Стелловский, редактор А. А. Григорьев — *620.*

Якушкин Евгений Иванович (1826—1905), юрист-этнограф, с 1859 г. служил в Ярославле — *555.*

Ямпольский Исаак Григорьевич, литературовед — *636.*
«Сатирическая журналистика 1860-х годов» — *636.*

«Ясная Поляна», журнал, издававшийся Л. Н. Толстым в 1862 г.— *676.*

Яфимович Николай Матвеевич (1804—1874), генерал-адъютант, генерал-лейтенант главного штаба — *657.*

Aponyme, псевдоним автора популярных брошюр — *674.*
«Зеркало прошедшего, выписки и записки многих годов» — 460, 464, *674, 675.*

«Revue des deux mondes», французский двухнедельный литературно-политический журнал, издается в Париже с 1829 г.— *610.*

«Le Temps», французская ежедневная газета, выходила в Париже с 1861 до 1943 г.— *621.*

«L'Univers», французская католическая газета — 38, 262, 479, *540.*

Z, псевдоним биографа М. С. Щепкина — *667.*
«Материалы для биографии М. С. Щепкина» — 437, *667.*

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ 1856—1860 гг.

Стихотворения Кольцова 7
Сказание о странствии и путешествии... инока Парфения . . 33
Заметка о взаимных отношениях помещиков и крестьян . . 69
Еще скрежет зубовный 84

ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ 1861 г.

Об ответственности мировых посредников 101
К крестьянскому делу 109
Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу 112
Ответ г. Ржевскому 121
Где истинные интересы дворянства? 131

СТАТЬИ ИЗ «СОВРЕМЕННИКА» 1863 г.

Московские письма 139
Петербургские театры («Слово и дело» Ф. Устрялова) . . 163
Петербургские театры (Первое представление новой драмы г. Островского) 182
Петербургские театры («Горькая судьбина» А. Писемского) 183
Петербургские театры («Наяда и рыбак») 199
Несколько слов по поводу «Заметки, помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год 216
Несчастие в Порхове 232
Драматурги-паразиты во Франции 250
Несколько полемических предположений 265

ФЕЛЬЕТОНЫ И ЮМОРЕСКИ ИЗ «СВИСТКА» 1863 г.

Цензор впопыхах 275
Московские песни об искушениях и невинности 282
Неблаговонный анекдот о г. Юркевиче... 288
Секретное занятие 295
Литературные будочники 298
Сопелковцы 301
<Для следующих номеров «Свистка»...> 303

РЕЦЕНЗИИ 1863—1864 гг.

«Немного лет назад» И. Лажечникова 307
«Кремуций Корд» Н. Костомарова 319
«Приключения, почерпнутые из моря житейского»... А. Вельтмана 321
Стихи Вс. Крестовского 324
«Гражданские мотивы». Сборник современных стихотворений. «Песни Скорбного поэта» 331
«Литературная подпись» А. Скавронского 334
«О старом и новом порядке...» Н. Безобразова 337
«Анафема, или Торжество православия...» А. Быстротокова 341
«Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге» М. Беницкого. «Заметки и отзывы» . . 343
«Князь Серебряный» А. Толстого 352
Стихотворения К. Павловой 362
Повести Кохановской 368
Стихотворения А. Фета 383
«О русской правде и польской кривде...» 387
«Сказание о том, что есть и что была Россия...» В. Львова 390
«Киевские волнения в 1855 году» С. Громеки 395
«Руководство к судебной защите...» К. Миттермайера . . . 400
«Современные движения в расколе» Н. С — на 400
«Воля» А. Скавронского 408
Полное собрание сочинений Г. Гейне 417
«Новые стихотворения» А. Плещеева 417
«Наши безобразники». Сцены Н. А. Потехина 421
«Сказки» Марко Вовчка 422
«Новые стихотворения» А. Майкова 424
«Воздушное путешествие через Африку» Ю. Верна 435
«Записки и письма» М. С. Щепкина 436
«Моя судьба» М. Камской 439
«Рассказы из записок старинного письмоводителя» А. Высоты 442
«Сборник из истории старообрядства» Н. Попова 442

«Чужая вина» Ф. Устрялова 443
«Ролла» А. Мюссе 448
«В своем краю» К. Леонтьева 454
«О добродетелях и недостатках...» 460

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Сказание о странствии и путешествии... инока Парфения (Первая редакция) 473
Известие из Полтавской губернии 501
Дополнение к «Известию из Полтавской губернии» . . . 515
Еще по поводу «Заметки из Полтавской губернии» . . . 517

Примечания 521
Указатель личных имен и названий периодической печати . 679

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 5

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 10/I 1966 г. Подписано к печати 13/II 1967 г. Бумага типогр. № 1, $60 \times 90^1/_{16}$. 44,5 печ. л. уч.-изд. л. 44,52 + 1 вкл. = 44,58 л. Тираж 59 000. Заказ № 3801.
Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата. Москва.
Краснопролетарская, 16.